



МИХАИЛ
БУЛГАКОВ

.....

ДЬЯВОЛЪАДА

ПОВЕСТИ,
РАССКАЗЫ,
ФЕЛЬЕТОНЫ,
ОЧЕРКИ

КИШИНЕВ • ЛИТЕРАТУРА АРТИСТИКЭ • 1989

СОСТАВИТЕЛЬ И. КОРЯВСКАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ Б. СОКОЛОВА

ХУДОЖНИК А. ОЛОЛЕНКО

ПЕЧАТАЕТСЯ ПО ИЗДАНИЯМ:

- М. Булгаков. Белая гвардия; Жизнь господина де Мольера, Рассказы. Минск, Масташкая літаратура, 1985;
М. Булгаков. Избранное. М., Художественная литература, 1980;
М. Булгаков. Избранная проза. М., Советская Россия, 1983;
М. Булгаков. Чаша жизни. М., Советская Россия, 1988;
М. Булгаков. Самоцветный быт. М., Правда, 1985.
(Библиотека Крокодила, № 12);
Литературная Грузия, 1975, № 2;
Аврора, 1977, № 6;
Вопросы литературы, 1979, № 5;
Знамя, 1987, № 6;
Книжное обозрение, 1987, № 12;
Новый мир, 1987, № 2;
Памир, 1984, № 7.

Булгаков Михаил Афанасьевич

- Б 90 Дьяволинада: Повести, рассказы, фельетоны, очерки/
Предисл. Б. В. Соколова; Сост. И. А. Корявской; Худож.
А. И. Ололенко. — Кишинев: Лит. артистикэ, 1989. — 608 стр.
ISBN 5—368—00440—0

В сборник малой прозы М. Булгакова «Дьяволинада» включены как достаточно известные рассказы («Записки юного врача»), так и произведения, с которыми наш читатель познакомился совсем недавно (повести «Собачье сердце», «Дьяволинада», «Роковые яйца», рассказы «Налет», «Красная корона», «Необыкновенные приключения доктора»)

Б 4702010201—177
М756(10) — 89 227—89

ББК 84Р7-44

О ТВОРЧЕСКОМ ПУТИ МИХАИЛА БУЛГАКОВА

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 15 (3) мая 1891 года в семье Афанасия Ивановича Булгакова (1859—1907), преподавателя Киевской духовной академии, за несколько недель до смерти ставшего ординарным профессором кафедры истории западных вероисповеданий. Булгаковы — провинциальная интеллигентная семья. Афанасий Иванович, сын сельского священника, пробился наверх только благодаря своим способностям и усердию. Параллельно с преподаванием в академии он работал в киевской цензуре, имел чин статского советника. (Этот чин давал Булгаковым потомственное дворянство.) Отцовского жалования хватало многодетной семье (у старшего, Михаила, было двое братьев и четыре сестры) для безбедного существования. Положение несколько осложнилось после безвременной кончины Афанасия Ивановича. Но все же ранняя смерть отца и связанные с ней житейские тяготы не помешали будущему писателю получить хорошее образование. Он окончил Первую Александровскую гимназию, где учились дети русской интеллигенции Киева. Уровень преподавания в гимназии был высокий, занятия вели порой даже университетские профессора.

В семье Булгаковых главную роль в воспитании детей играла мать, Варвара Михайловна, урожденная Покровская (1870—1922), дочь протоиерея Казаиской соборной церкви в городе Карачеве Орловской губернии (из этой губернии были родом и родители Афанасия Ивановича). Женщина энергичная, с волевым характером и в то же время необыкновенно тактичная и добрая, она, что называется, вела дом. От матери Михаил Булгаков унаследовал любовь к музыке и книгам. Позднее образ «мамы, светлой королевы» воплотился в первом булгаковском романе «Белая гвардия».

Булгаковы жили сначала на Воздвиженской, потом на Печерске, в Кудрявском переулке, а в 1906 году переехали на Андреевский спуск в дом № 13 — знаменитый ныне «дом Турбиных» в «Белой гвардии». Это был район центра, пограничный с Подолом — вотчиной украинских ремесленников и торговцев. Михаил Булгаков жил как бы на границе двух миров — русского и украинского. Не случайно он в «Белой гвардии» прекрасно передает характерную для города жителей Киева причудливую смесь русских и украинских слов.

В 1909 году Михаил Булгаков поступил на медицинский факультет Киевского университета. Возможно, к профессии медика, биолога-экспериментатора его влекла романтика. Не случайно окружены неким ореолом таинственности в булгаковских произведениях врачи и биологи, очевидно авторская любовь к таким героям, как профессор Персигов в «Роковых яйцах» или Филипп Филиппович в «Собачем сердце».

В 1913 году будущий врач женился на Т. Н. Лаппа, дочери управляюще-

го Саратовской казенной палатой. Семейство Лаппа, столбовые дворяне,— это уже другой мир, мир родовитой аристократии, высшего чиновничества, где и достаток выше и образ жизни несколько иной, чем у Булгаковых. Родители молодых настороженно относились к их роману, завершившемуся браком лишь через пять лет после знакомства, но потом смирились. Булгаков и Татьяна Николаевна сняли квартиру там же, на Андреевском спуске; жили скромно. Киев в начале века был крупным театральным центром, и молодые супруги часто посещали театральные премьеры. Булгаков, любивший и понимавший музыку, несколько раз слушал Шаляпина, приезжавшего на гастроль. Позднее черты шаляпинского Мефистофеля отразились в Воланде, герое последнего булгаковского романа.

В 1914 году разразилась первая мировая война, разрушив надежды Булгакова и миллионов его сверстников на мирное и благополучное будущее, хотя дыхание войны в Киеве в полной мере почувствовалось далеко не сразу. Сам Булгаков после окончания университета работал в полевом госпитале сначала в Каменец-Подольском, потом в Черновцах. Это было время прорыва австрийского фронта армиями генерала Брусилова в мае—июне 1916 года. Русские войска несли большие потери, Булгаков видел страдания сотен, тысяч искалеченных людей.

В сентябре 1916 года Булгакова отозвали с фронта и направили заведовать земской Никольской сельской больницей в Сычевский уезд Смоленской губернии, а осенью 1917 года он стал заведующим инфекционным и венерическим отделением городской земской больницы в Вязьме. Этот период жизни нашел отражение в «Записках юного врача» (1926), где предстает булгаковский герой — честный труженик, часто спасающий больных в безнадежных, казалось бы, ситуациях, человек, осознающий необходимость просвещения крестьян из глухих смоленских деревень, но бессильный изменить условия их существования и этим бессилием мучимый. Документы, в частности удостоверение, выданное Булгакову земской управой, свидетельствуют, что он был хорошим врачом, за год работы в Никольской больнице принял более 15 тысяч больных и успешно произвел многие хирургические операции (о которых и рассказывается в «Записках юного врача»).

Февральская революция нарушила привычный миропорядок, внесла зримые перемены и в жизнь молодого врача. В очерке «Киев-город» (1923) — в Киеве Булгаков побывал в марте 1918 года — он писал, что с революцией «внезапно и грозно наступила история». Через несколько месяцев после Октябрьской революции Булгаков был освобожден от военной службы (он числился ратником ополчения II разряда и работал земским врачом как военнообязанный) и вернулся в Киев, вскоре занятый германскими войсками. Так будущий писатель окупился в водоворот гражданской войны. Еще не раз и не два менялась власть в родном городе. Булгаков был хорошим врачом, и в его услугах нуждались воюющие стороны. По одному дню он прослужил в армиях германского ставленника гетмана Скоропадского и украинского националиста Петлюры, более длительный срок — от нескольких недель до нескольких месяцев — в Красной Армии и денкинских войсках. Молодой врач оставался верен гуманистическим идеалам, не приемля жестокость петлюровцев и белых, заклейменную впоследствии в «Белой гвардии», в рассказах «Налет» и «В ночь на 3-е число», в пьесах «Дни Турбиных» и «Бег». Булгаков честно выполнял свой врачебный долг, помогал страждущим, но в душе его рос протест против, пусть невольного, соучастия

в жестокостях и преступлениях, на которые он вдоволь насмотрелся в белой армии в должности начальника медицинской службы 3-го Терского конного полка.

Во Владикавказе (ныне Орджоникидзе) в самом конце 1919-го или в начале 1920 года Булгаков покинул ряды деникинской армии и стал сотрудничать в местных газетах, и всегда, по его собственным словам, бросив занятие медициной. Первый рассказ, как утверждает писатель в автобиографии 1924 года, был создан осенью 1919-го. Зимой 1919—1920 гг. Булгаков пишет несколько рассказов и фельетонов, один из которых (известен по подзаголовку «Дань восхищения»), опубликованный в феврале в одной из северокавказских газет, частично сохранился в булгаковском архиве. Это — первый дошедший до нас художественный текст Булгакова. В нем речь идет об уличных столкновениях в Киеве во время революции и гражданской войны.

Поворот к литературному творчеству был непосредственно спровоцирован как будто бы внешним обстоятельством — нежеланием участвовать в войне, что побуждало его скрывать свою профессию врача, но этот поворот был подготовлен внутренне давно пробудившейся тягой к литературе и театру. Еще в гимназические и студенческие годы он сочинял репризы для домашних спектаклей и, по воспоминаниям сестры, Н. А. Земской, на первом курсе написал свой первый рассказ «Огненный змей» — об алкоголике, ставшем жертвой белой горячки. Позднее, в 1918—1919 гг., в Киеве Булгаков уже создает черновые наброски каких-то произведений (скорее всего, будущих «Записок юного врача»). В одном из писем Н. А. Земской в апреле 1921 года он упоминает, что в Киеве остались его рукописи, и в частности «важный для меня чериовик «Недуг» (речь, по всей видимости, шла о варианте примыкающей к «Запискам» небольшой повести «Морфий», рассказывающей о трагедии врача-наркомана).

К моменту приезда во Владикавказ за плечами у Булгакова был уже немалый жизненный опыт. Он помнил и тихую, размеренную жизнь провинциального Киева, и глухую русскую деревню, и огненный водоворот гражданской войны. Об общественно-политических взглядах Булгакова в тот период можно судить только на основе его позднейших произведений. В среде, к которой он принадлежал по рождению, преобладали настроения умеренно монархические. В начале XX века потомственное дворянство Булгакова или столбовое дворянство его жены само по себе уже значило очень мало. Важнее была принадлежность к интеллигенции, к тому ее сравнительно обеспеченному слою, который стремился подчеркнуть стоять вне политики, но приветствовал всякое расширение интеллектуальной и духовной свободы. В «Белой гвардии» Булгаков подчеркнуто отделяет Алексея Турбина — героя с явными автобиографическими чертами, который, вернувшись, хочет «отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь», — от тех фронтовых офицеров, «сбитых с винтов жизни войной и революцией», которые «ненавидели большевиков ненавистью горячей и прямой, той, которая может двинуть в драку». Наиболее близкие Булгакову герои в конечном счете избавляются от монархических взглядов и приходят к признанию закономерности победы большевиков. Очевидно, такая же эволюция произошла и с самим писателем.

Булгаков всегда оставался русским патриотом. Согласно записи его ближайшего друга, философа и литературоведа П. С. Попова, в конце 20-х годов писатель так отзывался о фигуре полковника Най-Турса в «Белой гвардии»: «Най-Турс — образ отдаленный, отвлеченный. Идеал русского офицерства». Таких офицеров ему не доводилось встречать в белой армии, где преобладали

расчетливые карьеристы вроде Тальберга из той же «Белой гвардии», фанатичные палачи вроде полковника де Бризара из пьесы «Бег» или генерала из рассказа «Красная корона». Но национальное самосознание Булгакова никогда не было шовинистическим. Для Булгакова важнейшими оставались задачи просвещения как русского, так и других народов нашей страны. В «Сыновьях муллы» этнографически точно, без малейшего пренебрежения показан быт ингушей. В «Китайской истории» наше сочувствие вызывает китаец, героически погибающий в бою за революцию. В «Белой гвардии», рассказах «Налет», «В ночь на 3-е число» писатель с состраданием пишет о евреях — жертвах петлюровщины. Булгаков в своих произведениях предстает решительным противником межнациональной розни.

Незадолго до отступления белых из Владикавказа Булгаков заболел возвратным тифом. Когда он выздоровел в начале весны 1920 года, город уже заняли части Красной Армии. Булгаков стал сотрудничать в подотделе искусств местного ревкома. Для Первого советского театра Владикавказа, для осетинской и ингушской театральных трупп он написал пьесы, текст одной из которых — «Сыновья муллы» — сохранился. В этой пьесе рассказывается о приходе Февральской революции в ингушское селение. Сама революция здесь предстает как благо для народа, и в этом, вероятно, пьеса отражала не только требования момента, но и взгляды ее автора. Вообще же пьесы владикавказского периода были прежде всего агитками-однодневками, писались для того, чтобы заработать насущный кусок хлеба, и подлинное мастерство Булгакова-драматурга в них еще не раскрылось.

Уже во Владикавказе, во время публичного диспута, он отстаивает необходимость для новой, революционной культуры пушкинского наследия, борясь с пролеткультовским отрицанием классиков, с призывами сбросить их с корабля современности. Так началась его длительная борьба с вульгаризаторами культуры. Во Владикавказе подобные разногласия привели к изгнанию Булгакова из подотдела искусств в октябре 1920 года.

В мае 1921 года успешная постановка «Сыновей муллы» дала автору пьесы достаточную сумму денег, как пишет Булгаков в автобиографическом рассказе «Богема», для отъезда из Владикавказа в Тифлис, где он рассчитывал на более благоприятные условия для литературно-драматической деятельности. Владикавказские впечатления послужили материалом для повести «Записки на манжетах», так же как перипетии булгаковской биографии времен гражданской войны отразились в романе «Белая гвардия» и рассказах «Необыкновенные приключения доктора» и «В ночь на 3-е число».

В Тифлисе, а потом в Батуме у Булгакова была реальная возможность эмигрировать: из Батума регулярно ходили пароходы на Константинополь (Стамбул), и желающим не составляло особого труда достать место на них. Но Булгаков уже тогда сознавал, что русский писатель должен жить и писать в России. Он принимает решение поселиться в Москве, куда, после короткой остановки в Киеве, он прибыл в сентябре 1921 года. Остаток жизни Булгакова неразрывно связана с этим городом, и подавляющее большинство его произведений теперь оказываются настолько пронизаны реалиями столицы, что Булгакова справедливо считают одним из наиболее «московских» писателей.

Первые два месяца в Москве Булгаков работал секретарем литературного отдела Главполитпросвета. Затем настали тяжкие месяцы безработицы. Писатель пытается сотрудничать в частных газетах, возникших в эпоху изпа, но,

как правило, очень быстро прогоравших, поступил даже в труппу бродячих актеров. 9 февраля 1922 года Булгаков делает в дневнике отчаянную запись: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем... Обегал всю Москву — нет места. Валеики рассыпались». Никогда в своей жизни, ни до, ни после, он так не бедствовал. Переходный период от военного коммунизма к излу оказался в жизни страны едва ли не более тяжелым, чем сама эпоха военного коммунизма. Но по мере становления новой экономической политики жить стало легче. Как показывает писатель в «Торговом ренессансе» и других очерках и фельетонах того времени, ожила торговля, в магазинах появлялось все больше товаров, стоимость которых исчислялась уже не на инфляционные миллионы («лимона»). Упрочилось и материальное положение Булгакова. С весны 1922 года он стал регулярно печататься на страницах московских газет и журналов, а также в берлинской газете «Накануне». Эта газета издавалась группой русских эмигрантов, принадлежавших к идейному течению сменовеховства, получившего свое название по сборнику публицистических статей «Смена вех», вышедшему в Праге в 1921 году. Сменовеховцы призывали эмигрантов признать Советскую власть и сотрудничать с ней в деле создания развитой в экономическом и культурном отношении новой России. Деятели сменовеховства, в прошлом в большинстве своем принадлежавшие к правому крылу кадетской партии, рассчитывали, что в результате непа произойдет перерождение Советской власти и Россия превратится в буржуазно-демократическую парламентскую республику по западноевропейскому образцу. Путь к этому они видели в развитии государственного капитализма, где, по их мнению, частный капитал постепенно мог подчинить себе государственный. Булгаков широко печатался в сменовеховском органе, в том числе в его литературном приложении, однако, как можно судить по булгаковским произведениям, идеологию сменовеховства писатель не разделял. Он соглашался со сменовеховцами в необходимости экономического и культурного возрождения страны, объединения сил всех классов и социальных и национальных групп для решения этой задачи. Однако Булгаков, в отличие от многих авторов «Смены вех», понимал, что благодаря революции произошли такие качественные изменения в стране, в сознании народа, что поворот к парламентаризму на западноевропейский манер, к классическому капиталистическому развитию попросту невозможен.

В сатирических фельетонах и очерках объектом булгаковской сатиры становится не только «накипь непа» — иувориши-изпманы (вспомним новеллы «Триллионер» и «Чаша жизни»), но и та часть населения, чей низкий культурный уровень наблюдал писатель: обитатели московских коммуналок, базарные торговки, некомпетентные совслужащие и другие. Но Булгаков видит и ростки нового, приметы возвращения жизни в нормальное русло (символом этого в одном из очерков становится мальчик-школьник, идущий по улице с новеньким ранцем). Потому так подчеркнуто оптимистически завершает писатель очерк «Киев-город»: «Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять закият его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город».

В повести «Роковые яйца», созданной в 1924 году, Булгаков перенес действие в воображаемое будущее — в 1928 год, когда результаты новой экономической политики уже привели к резкому подъему уровня жизни народа. Великое открытие профессора Персикова, могущее принести благо всему человечеству, оборачивается трагедией, оказавшись в руках полуграмотных, самоуверенных людей, той новой бюрократии, которая пышно расцвела в эпоху военного

коммунизма и усилила свои позиции в годы нэпа. Не случайно в булгаковских повестях 20-х годов талантливые герои терпят неудачу. Так погибает в бюрократическом море герой «Дьяволиады». Гибнет от рук обаятой ужасом толпы профессор Персиков и с ним вместе — его великое открытие. Филипп Филиппович Преображенский («Собачье сердце») оказывается как будто более счастливым — жизни он не лишается. Однако эксперимент по очеловечиванию собаки оканчивается провалом: милый и добрый пес Шарик воспринимает худшие качества своего человеческого донора. В «Роковых яйцах» была показана неготовность общества принять новые гуманистические принципы взаимоотношений, основанные на уважении к усердному труду, культуре и знаниям, в «Собачьем сердце» та же проблема рассматривается на уровне личности, причем выясняется, что нравственно сознание трудящегося еще далеко не соответствует требованиям, предъявляемым новым строем. Позднее, в 1931 году, в антивоенной пьесе «Адам и Ева» Булгаков вернулся к теме ученого-творца и открытия, которое способно спасти мир от катастрофы. В пьесе показана перестройка мышления в обществе, но для такой перестройки потребовалось испытание всемирным бедствием — войной с применением смертоносного газа. Писатель хорошо понимал неимоверную грудность экономического и культурного возрождения страны, пережившей разруху и существенно отставшей от западноевропейского уровня. Упрощенные взгляды сменовеховцев, и не только их, на революцию, гражданскую войну и послевоенное развитие России спародированы Булгаковым в фельетоне «Багровый Остров» и одноименной пьесе.

Булгаков с первых дней литературной деятельности испытывал гонения со стороны «ненстовых ревнителей» РАППа, оберегавших «идеологическую чистоту» литературы и искусства, а фактически — свое положение надзирателей за литературно-художественным процессом: чиновников, от которых зависела судьба таланта, или штатных критиков, проводивших их взгляды на страницах печати. В условиях культурной отсталости основной массы населения власть бюрократов как в политике и экономике, так и в культуре оказалась во многом непреодолимой. Отсюда слова Булгакова из письма правительству от 28 марта 1930 года о его глубоком скептицизме «в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции».

В своих наиболее значительных пьесах «Дни Турбиных» и «Бег», созданных в 1925—1928 гг., Булгаков запечатлел поворот к принятию революции той части интеллигенции, которая первоначально отнеслась к ней настороженно или прямо боролась против нее. Здесь драматург показал самое начало процесса, весьма скоро приведшего к образованию «новой интеллигенции». Сам Булгаков всецело относил себя к этому слою, подчеркивая, хотя и не без грустного юмора, в фельетоне «Столица в блокаде»: «После революции народилась новая, железная интеллигенция. Она и мебель может грузить, и дрова колоты, и рентгеном заниматься. Я верю, она не пропадет! Выживет!» Эту интеллигенцию, познавшую тяжкие годы гражданской войны, знающую, что такое тяжелый физический труд для куска хлеба, как бы побывавшую в шкуре народа и сознающую неразрывное свое с ним единство, писатель рассматривает как необходимого участника грядущего возрождения страны. Слово «ренессанс» часто мелькает в булгаковских очерках и фельетонах и даже входит в заглавие одного из первых созданных им в Москве очерков — «Торговый ренессанс». Но слово это употребляется неизменно с ироническим оттенком. Булгаков как будто предчувствовал, что нэпу не

суждено долгое существование. И в «Роковых яйцах» картины всеобщего благоденствия в воображаемом 1928 году содержат элемент пародии.

Напомним читателям, что в 1924 году, когда была написана повесть, как в экономике, так и в культуре страны уже проявляются симптомы администрирования и бюрократизации. Скептицизм Булгакова в отношении революционного процесса в России, ясно выраженный в его письме правительству, с каждым годом все более подтверждался — жестоко проведенная коллективизация, гипертрофированный культ вождя (зарождение его показано в последней пьесе драматурга «Батум»), массовые репрессии 30-х годов, установление жестких норм в культурной жизни. И все-таки писателя никогда не покидала вера в человека, хотя иной раз из-за тяжелых жизненных обстоятельств в собственных силах он начинал сомневаться.

Интересен уже упоминавшийся рассказ «Китайская история». Нищий китаец — человек, стоящий на самой низшей ступеньке общества, впервые встретившись с человеческим отношением и уважением к себе, оказывается способным на подвиг, героическое самопожертвование во имя революции, которая дала ему возможность ощутить свое человеческое достоинство. Булгаков всегда оставался приверженцем общечеловеческих ценностей, считал, что, только опираясь на них, можно создать общество, исключающее эксплуатацию человека человеком и обеспечивающее всеобщее благо. Ему чужд гуманизм абстрактный, умозрительный. Вспомним драматурга Полиевкта Эдуардовича из рассказа «Был май», упивающегося рассказом о страданиях придуманного им Ганса и не замечающего стоящих рядом с ним нищих. В пьесе «Адам и Ева» (не менее актуальной и сегодня, когда мир стоит перед угрозой ядерной катастрофы), где речь идет о возможной гибели всего человечества в результате химической войны, академик Ефросимов отстаивает перед летчиком-коммунистом Дараганом «приоритет общечеловеческих ценностей перед всеми другими». Именно об этом говорил М. С. Горбачев в своем обращении к участникам Исык-Кульской встречи деятелей мировой культуры в октябре 1986 года. Но тогда, в 20-е годы, позиция Булгакова подвергалась решительному осуждению, а его произведениям был прочно закрыт путь в печать и на сцену.

В 1929 году нападки критики на Булгакова достигли апогея. Со сцены были сняты все его пьесы — «Дни Турбиных», пьеса-памфлет «Багровый Остров» и бытовая комедия «Зойкина квартира». После того как Главрепертком не рекомендовал к постановке новую булгаковскую пьесу «Мольер», драматург 28 марта 1930 года написал большое письмо правительству. Как и в написанном в сентябре 1929 года письме на имя секретаря ЦИК СССР А. С. Енукидзе, Булгаков указывал, что полное запрещение его произведений в СССР делает невозможным поддерживать даже простое физическое существование и потому просил разрешить ему выезд за границу. Письмо возымело действие: 18 апреля Булгакову позвонил Сталин. В результате состоявшегося разговора была удовлетворена просьба писателя о назначении его во МХАТ режиссером-ассистентом. (В 1936 году из-за конфликта с руководством театра после снятия «Мольера» Булгаков ушел из Художественного театра в Большой на должность либреттиста.) В 1932 году были возобновлены «Дни Турбиных» и там же, во МХАТе, поставлена булгаковская инсценировка «Мертвых душ». Теперь Булгакову до конца жизни уже не придется думать о куске хлеба. Однако после 1927 года на Ро-

дние писатель не увидел в печати ни единой своей строчки¹. Возможно, Сталину Булгаков был нужен как автор «Дней Турбиных», где доказывалась обреченность борьбы с Советской властью, которую Сталин привычно отождествлял со своей личностью. «Бег» же, гораздо более сложный в идейно-философском отношении, где человеческое сострадание и совесть пробуждаются даже в фанатике Хлудове, вызвал его решительное неприятие. Все последующие письма Булгакова, адресованные лично Сталину, остались без ответа. (Правда, мы не знаем, все ли эти письма были отправлены.)

Как нам представляется, даже в тяжелейший для себя период 1929—1930 гг. всерьез возможность эмиграции писатель не рассматривал. Везде Булгаков как писатель был порожден новой действительностью, и, как писал он сам в одном из писем: «...я невозможен ни на какой другой земле, кроме своей — СССР, потому что 11 лет черпал из него». Жизнь за рубежом, как Булгаков прекрасно понимал, свелась бы к творческому бесплодию. Жизненный опыт второй жены писателя Любови Евгеньевны Белозерской (их брак состоялся в 1924 году), до своего возвращения на родину несколько лет проведшей в эмиграции в Константинополе и Париже, достаточно красноречиво говорил Булгакову о возможном будущем. Как пишет Булгаков в одном из писем, Л. Е. Белозерская была убеждена, что он погибнет «там от тоски менее чем в год». Вариант возможной булгаковской судьбы в случае эмиграции дает нам жизнь писателя Евгения Замятина, которого близко знал Булгаков. Эмигрировавший в 1931 году, он умер в неизвестности, так и не создав за границей ничего значительного. В отличие, скажем, от такого писателя, как Бунин, чей талант и в условиях эмиграции продолжал развиваться в русле русской реалистической литературы начала XX века на основе запаса впечатлений, полученных на родине и в русской эмигрантской среде, Булгаков был, повторяем, писателем, сформировавшимся в условиях новой действительности и напряженно пытавшимся эту действительность объективно осмыслить. Именно как писатель он просто не мог существовать вне родины.

После разговора со Сталиным Булгаков получил средства к существованию и возможность творить — но не мог при жизни сделать свои творения всеобщим достоянием. Еще в 1928 году Осип Мандельштам, поэт с более трагической, чем у Булгакова, судьбой, в ответе на анику журнала «Читатель и писатель» писал: «Чувствую себя должником революции, но приношу ей дары, в которых она пока что не нуждается». Эти слова можно применить и к булгаковскому творчеству в том смысле, что писатель, видимо, уверился, что общество (точнее, те, кто определял культурную политику в стране) оказалось еще не готово к восприятию его творчества. После того как в 1933 году окончилась неудачей попытка издать в серии «ЖЗЛ» его роман «Жизнь господина де Мольера», Булгаков до самой смерти, последовавшей 10 марта 1940 года, более не пытался публиковать свои произведения. Делом жизни для него стала работа над романом «Мастер и Маргарита», которая продолжалась почти двенадцать лет, причем последние полтора года — уже смертельно больным писателем, сознававшим, что напечатанным роман увидеть не удастся. Но Булгаков верил, что придет время, когда созданное им будет необходимо соотечественникам...

¹ Исключением — булгаковский перевод «Скупого» Мольера, опубликованный в 1938 г. в изд. «Academia», а также «Седьмой сон» из пьесы «Бег» (сцена у Корзухина в Париже), опубликованный в «Красной газете» в 1932 г., 1 окт

И вот теперь мы наконец увидели опубликованными практически все булгаковские произведения. Роман «Мастер и Маргарита» вошел в нашу жизнь во второй половине 60-х годов, можно сказать, вслед за теми изменениями в обществе, которые были озаглавлены XX и XXII съездами партии. Сейчас же, в эпоху перестройки, пришли к широкому читателю почти все булгаковские произведения, которые не успели увидеть свет в 60-е годы. Поворот к иной, более гуманной и рациональной практике социализма в нашей стране естественным образом сопровождается усилением общественного интереса к творчеству Булгакова — писателя, который многое в таком повороте предугадал. Он оказался, таким образом, не позади существующей действительности, в чем обвиняла его критика 20—30-х годов (отзвуки этих взглядов можно встретить и в позднейших работах), а как бы впереди ее. Не случайно сам Булгаков, прочитав книгу ученого и философа П. А. Флоренского «Мнимости в геометрии», подчеркнул следующие слова: «Так, разрывая время, «Божественная комедия» неожиданно оказывается не позади, а впереди нам современной науки», — сопроводив эту фразу восклицательным знаком на полях. Создав свое великое произведение — «Мастера и Маргариту», где декларируемый идеал одновременно оказывается и небесно недостижимым и реальным до осязаемости, Булгаков дал новый импульс движению русской литературы в ее поисках нравственной истины.

Единственный раз в письме 1931 года Булгаков просил Сталина о личной встрече. Потом, как видно осознав бесполезность этого, писатель обращался к нему лишь с конкретными жалобами на произвол бюрократов и нередко с просьбами за других. Так, в 1935 году Булгаков совместно с Анной Ахматовой подготовил письмо к Сталину в защиту ее арестованных мужа и сына. В 1938 году он обратился в тот же адрес с просьбой о смягчении участи своего сосланиого друга драматурга Николая Эрדмана. Подобное обращение в то время со стороны писателя, имевшего репутацию «полуопального», было делом рискованным. Этот поступок — яркое свидетельство гражданского мужества Булгакова.

Непросто складывалась и личная жизнь писателя. В 1932 году он развелся с Л. Е. Белозерской и женился на Елене Сергеевне Шиловой (урожденной Нюриберг), которая позднее приняла фамилию Булгакова. Эта женщина стала верной подругой и помощником писателя до конца его дней, а после смерти Булгакова сделала все возможное и, казалось, невозможное для сохранения булгаковского наследия, популяризации его творчества и издания на родине писателя его основных произведений, в том числе главного — романа «Мастер и Маргарита». Как, должно быть, уже хорошо известно многим читателям, Е. С. Булгакова послужила прототипом Маргариты, и ее отношения с писателем во многом отразились в истории любви Маргариты и Мастера. Но гораздо менее известен тот факт, что вскоре после знакомства с Еленой Сергеевной, в 1929 году, Булгаков посвятил ей так и не завершенную повесть «Тайному другу», где отражены события первых лет его жизни в Москве и работы над романом «Белая гвардия». Это — своего рода исповедь, написанная для близкого человека, с которым в тот момент обстоятельства не позволяли соединиться. В дальнейшем повесть стала фактически первой редакцией также неоконченного «Театрального романа», где показана непростая история взаимоотношений драматурга с Художественным театром. Конечно, было бы ошибкой считать повесть «Тайному другу», как и другие произведения, имеющие автобиографическую основу, буквальным отражением биографии Булгакова. Важнее другое: эта повесть помогает заглянуть во внутренний мир писателя, в его творческую лабораторию. Мы

узнаем, как Булгаков работал над фельетонами, как рождались замыслы многих произведений, широко известных теперь и в нашей стране, и за рубежом. Вот перед героем явился дьявол, превратившийся потом в редактора Рудольфа (параллельно Булгаков в то время работал над «романом о дьяволе», первым вариантом «Мастера и Маргариты»). Здесь же возникает «дьявольский вопрос», не монархист ли автор романа? Булгаков пародирует вульгарно-социологическую критику и оценки некоторых участников гражданской войны, видевших в «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» «апологию», или, как считал А. В. Луначарский, «полуапологию» белогвардейщины, а заодно как бы предвосхищает споры будущих исследователей о своем будто бы явно выраженном и неизменном монархизме. Этим своим критикам — настоящим и будущим — Булгаков вполне резонно указывает, что «не всякий смазывающий голову бриллианом так-таки обязательно монархист».

В повести перечислены и многие литературные источники «Мастера и Маргариты»: геттевский «Фауст» (точнее, его оперный вариант, созданный Шарлем Гуно), мистическая проза А. К. Толстого, философская проза Анатоля Франса. Упомянут Лев Толстой, эпической традиции которого, нашедшей выражение в «Войне и мире», Булгаков творчески следовал в «Белой гвардии». Разговор о трех Толстых напоминает нам еще об одном «однофамильце» — литераторе Берлиозе («не композиторе»), заманившем в гибельную ловушку конъюнктуры молодого поэта Ивана Бездомного.

В ранних булгаковских повестях, рассказах, очерках и фельетонах отчетливо различимы и намеренно подчеркиваются самим автором многочисленные литературные ассоциации. В тот период Булгаков отдал немалую дань прозе Андрея Белого. От «Петербурга» короткий отрывистый стиль многих рассказов и фельетонов и нередко возникающий ритм (большие куски ритмизованной прозы есть, например, в «Киеве-городе», где они усиливают лиричность повествования) Роман Белого становится для Булгакова олицетворением всей дореволюционной России, вырастает до размеров мрачного символа. Не случайно во вступительной, «исторической», части рассказа «№ 13. — Дом Эллипс-Рабкоммуна» намеренно использованы образы «Петербурга».

Писатели, с которыми Булгаков считается как со своего рода ориентирами, называются им прямо по имени. Это прежде всего Герберт Уэллс, фантастические идеи из произведений которого отзываются и в «Роковых яйцах» и в «Собачем сердце», позднее — в «Адаме и Еве». Булгаков максимально заострил социальную фантастику уэллсовского типа и преобразовал ее сообразно условиям современной ему советской действительности.

Не оставляет без внимания Булгаков и образы приключенческих романов Жюль Верна и рассказов Редьярда Киплинга, в которых использован экзотический материал. Эти образы узнаются в героях фельетона-пародии «Багровый Остров» и в одноименной пьесе.

Очевидно, важное значение для Булгакова имела гофмановская традиция сочетания реального и фантастического, сверхъестественного. Как и у Э.-Т.-А. Гофмана, у Булгакова и в «Дьяволяде» и в «Мастере и Маргарите» имеется рациональное, реалистическое объяснение происходящих удивительных событий, но такое объяснение их далеко не исчерпывает. Здесь мы подходим к вопросу: с какой целью используются мистические образы в булгаковских произведениях, зачем писатель обращается к потустороннему миру? Сам Булгаков весьма недвусмысленно высказался на этот счет в письме правительству. Он назвал важной

чертой своего творчества «выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я — МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта». Таким образом, совершенно очевидно, что мистическое для Булгакова — это только литературный прием, призванный отделить действительность, способствовать более яркому показу в сатирическом свете негативных черт современной ему жизни, а также своеобразное средство эпатажа вульгарной критики. Писатель с явной иронией называет себя мистическим, смеясь над теми, кто обвинял его в мистицизме. Иной раз обращение к мистическим ассоциациям носит откровенно шуточный характер и подчеркнуто ориентировано на конкретный литературный образец. Так, в фельетоне «Столица в блокноте» в главке «Во что обходится курение» за спиной нарушителя, закурившего в неподобающем месте, «из воздуха соткался миллионер. Положительно это было гофмановское нечто». Позднее в «Мастере и Маргарите» вот так же соткался из знойного воздуха на Патриарших прудах черт Коровьев.

Пожалуй, наибольшее значение в литературной ориентации писателя имел Гоголь, особенно в ранний период творчества. В «Похождениях Чичикова» (1922) герои «Мертвых душ» перенесены в Москву 20-х годов, где они удивительно легко находят себе применение. Таким образом Булгаков демонстрирует живучесть пороков, которые обличал великий русский сатирик за восемь десятилетий до него. В «Дьяволиаде» получает дальнейшее развитие открытая Гоголем тема «маленького человека». Здесь развитие идет еще целиком в рамках гоголевского образа, вплоть до конечного сумасшествия булгаковского героя и его столкновения с нечистой силой. Неблагоприятные жизненные обстоятельства в «Дьяволиаде» сведены прежде всего к набирающей все новые обороты бюрократической машине, которая безжалостно перемалывает таких, как Коротков. В дальнейшем Булгаков, помимо упоминавшейся инсценировки в Художественном театре, написал также киносценарии по «Мертвым душам» и «Ревизору», к сожалению, до сих пор еще не нашедшие своего воплощения на экране. «Обожжаемый Гоголь», как его называл писатель, отразился некоторыми чертами своего портрета и судьбы и в образе Мастера в «заветном» булгаковском романе.

Показав в пьесах «Дни Турбиных» и «Бег» ярко и убедительно обреченность белого движения, закономерность и необходимость перехода интеллигенции на сторону Советской власти, а в повести «Собачье сердце» — опасность, грозящую обществу с обретением иррационально и культурно отсталой личностью права навязывать свою волю другим, Булгаков совершил открытие, вошедшее в систему русских национальных ценностей, и по праву заслужил звание русского национального писателя. А роман «Мастер и Маргарита» явился одним из величайших достижений русской и мировой прозы XX века. В этом произведении нашли свое законченное выражение все мотивы и идеи, характерные для творчества Булгакова. Ранние повести, рассказы, очерки и фельетоны в значительной мере послужили тем строительным материалом, из которого было сработано величественное здание «Мастера и Маргариты». Сама форма «романа в романе» уже предвосхищена пьесой «Багровый Остров», построенной как «пьеса в пьесе». Материалы московских очерков и фельетонов органически вошли в сцены «московской части» романа, а их герои стали как бы прообразами некоторых второстепенных персонажей «Мастера и Маргариты» (как, например, из героя «Чаши жизни» вырос Степа Лиходеев). В «Мастере и Маргарите» использованы мотивы и образы из произведений самых разных писателей — Гоголя,

А. Франса, Мэтьюрина, Андрея Белого, Гете, Достоевского. Но именно здесь, в самом «литературном» по своему происхождению булгаковском произведении, оказывается, на наш взгляд, невозможно говорить о литературных влияниях в строгом смысле слова. Булгаков поднимается над всеми литературными влияниями, подчиняет их своим целям и задачам и завершает выработку своего стиля, рождение которого мы видим в «Роковых яйцах» и, в еще большей степени, в «Собачьем сердце».

В «Мастере и Маргарите» находит свое завершение эпическое начало, проявившееся еще в «Белой гвардии». Не случайно в повествование об Иешуа и Пилате введены реалии военного быта, современного Булгакову.

Высокий мир евангельской легенды, обретший под булгаковским пером черты неповторимой реальности, снижается, пародийно искажается в иных мирах, иных измерениях. Современность становится мнимостью, потусторонний мир — действительностью. Булгаков максимально объективирует повествование и тем самым достигает поразительного эффекта. Читатель полностью погружается в мир сотворенной им фантастической реальности, которая на поверку оказывается самой высокой действительностью. Уходит в потусторонний мир Мастер, чтобы здесь дожидаться того часа, когда мир современный обновится и вновь потребует его к себе. И само знакомство читателя с текстом «Мастера и Маргариты» есть, по замыслу Булгакова, акт освобождения Мастера, возвращения его к своему народу.

Булгакову в лучших традициях русской и мировой литературы была свойственна боль за человека, будь то незаурядный мастер или никем не замеченный делопроизводитель. Писатель не принимал ту литературу, которая живописала страдания абстрактных, нереальных героев, проходя в то же время мимо правды жизни. Для Булгакова гуманизм был идейным стержнем литературы. И подлинный, бескомпромиссный гуманизм произведений мастера оказывается особенно близок нам сегодня.

Б. В. Соколов

ПОВЕСТИ.....

ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ
ТАЙНОМУ ДРУГУ
ДЬЯВОЛИАДА
РОКОВЫЕ ЯЙЦА
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

Плавающим, путешествующим и страждущим писателям рукам

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Кавказ

II

Тиф возвратный

Сотрудник покойного «Русского слова», в гетрах и с сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней.

Его рука машинально выписала сбоку: «в 2 колонки», но губы неожиданно сложились дудкой: — фью-ю!

Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал:

До Тифлиса сорок миль...
Кто продаст автомобиль?

Сверху: «Маленький фельетон», сбоку: «Корпус», снизу: «Грач».

И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингль:

— Тэк-с, тэк-с!.. Я так и знал! Возможно, что придется отчалить. Ну, что ж! В Риме у меня шесть тысяч лир. Gredito Italiano. Что? Шесть... И, в сущности, я итальянский офицер! Да-с. Finita la comedia!

И еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь, с телеграммой и фельетоном.

— Стойте! — завопил я, опомнившись. — Стойте! Какое Gredito? Finita?! Что? Катастрофа?!

Но он исчез.

Хотел выбежать за ним... но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что же меня мучит? Gredito непонятное? Сутолока? Нет, не то... Ах, да. Голова! Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту — наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман! Лишь бы не заболеть... Лишь бы не заболеть!..

Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана. Дома. Утес и море в золотой раме. Книги в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься, подушка жесткая, жесткая... Но ни за что не встал бы. Какая лень! Не хочется руки поднимать. Вот, полчаса уж думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну...

— Мишуня, поставьте термометр!

— Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет...

Боже мой, боже мой, бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять... да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не может быть! Откуда?! А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно... Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану, как ни в чем не бывало!

Тридцать девять и пять!

— Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А? Этот туман...

— Да, да... Туман. Дышите, голубчик... Глубже... Так!..

— Доктор, мне нужно по важному делу... Неадолго. Можно?

— С ума сошли!..

Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушку перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего... и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего — еду! Еду! Не надо распускаться! Пустячная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все забылось. Полежать, отдохнуть, но только, храни бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почитать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится... Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полоч. Вмиг полегчало бы... А потом — голым кинуться в сугроб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое хорошее, солидное, государственное слово — по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно:

— Взбранной воеводе победительная!..

— Ах, нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где, бишь, монашки? черные, белые, тонкие, васнецовские?..

— Ла-риса Леонтьевна, где монашки?!

— ...Бредит... бредит, бедный!..

— Ничего подобного. И не думаю бредить. Монашки! Ну что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вой, вон, с третьей полки. Мельников-Печерский...

— Мишуня, нельзя читать!..

— Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану! Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят! Бросят!

— Ну, хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.

— Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил. Там в скиту фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки...

Сашки-канашки- мои!..

— Лариса Леонтьевна... Ларочка! Вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно! В глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей... Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я должен был быть у него... Поймите!

— Понимаю, понимаю, молчите!

Туман. Жаркий, красноватый туман. Леса, леса... и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там напьюсь — и снимет, как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть — вовсе не хвоя, а простыня.

— Гос-по-ди! Что это за простыня... Песком, что ли, вы ее посыпали?... Пи-ить!

— Сейчас, сейчас!..

— А-ах, теплая, дрянная!

— ...ужасно! Опять сорок и пять!

— ...пузырь со льдом...

— Доктор! Я требую... Немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если не отправите, извольте дать мне мой бра... браунинг! Ларочк-а-а! Достаньте!..

— Хорошо. Хорошо. Достанем. Не волнуйтесь!..

Тьма. Просвет. Тьма... просвет. Хоть убейте, не помню...

Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут череп. Го-ло-ва!..

Просвет... тьма. Просв... нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все — все равно. Голова не болит. Тьма и сорок один и одна.

III

Что мы будем делать!!

Беллетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-

то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твэном мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). Френч, молю обгрызенный, и под мышкой — дыра. На ногах — серые обмотки. Одиа — длинная, другая — короткая. Во рту — двухкопеечная трубка. В глазах — страх с тоской в чехарду играют.

— Что же те-перь бу-дет с иами? — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и иад-треснут.

— Что? Что?

Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в око, за которым тихо шевелились еще обиаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:

— Сегодня ночью ингуши будут грабить город...

Слезкин дернулся в кресле и поправил:

— Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра.

Нервию отозвались флаконы за стеной.

— Боже мой? Осетины?! Тогда это ужасно!

— Ка-кая разница?..

— Как какая? Впрочем, вы ведь не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то... они грабят. А осетины грабят и убивают...

— Всех будут убивать? — деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубочкой.

— Ах, боже мой! Какой вы странный! Не всех... Ну, кто вообще... Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волнуем большого. Прощумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.

— Я не вол-ниуюсь...

— Пустяки, — сухо отрезал Слезкин, — пустяки!

— Что? Пус-тя-ки?

— Да это... Осетины там и другое. Вздор, — он выпустил клуб дыма.

Изнуренный мозг вдруг запел:

— Мама! Мама! Что мы будем делать?!

— В самом деле. Что мы бу-дем де-лать?

Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло вдохновение.

— Подотдел искусств откроем!

— Это... что та-кое?

— Что?

— Да вот... подудел?

— Ах, нет. Под-от-дел!

— Под?

— Угу!

— Почему под?

— А это... Видишь ли, — он шевельнулся, — есть отнаобраз

или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел. Под. Понимаешь?!

— Наро-браз. Дико-браз. Барбюсс, Барбос.

Взметнулась хозяйка.

— Ради бога, не говорите с ним! Опять бредить начнет...

— Вздор! — строго сказал Юра, — вздор! И все эти минг-рельцы имери... Как их? Черкесы. Просто дураки!

— Ка-кие?

— Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут грабить...

— А что с нами? Бу-дет?

— Пустяки. Мы откроем...

— Искусств?

— Угу. Все будет. Изо. Лито. Фото. Тео.

— Не по-ни-маю.

— Мишенька, не разговаривайте! Доктор....

— Потом объясню! Все будет! Я уже заведовал. Нам что? Мы аполитичны. Мы — искусство!

— А жить?

— Деньги за ковер будем бросать!

— За какой ковер?

— Ах, это у меня в том городишке, где я заведовал, ковер был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалованье, за ковер деньги бросали. Тревожно было. Но ели. Ели хорошо. Паек.

— А я?

— Ты завлито будешь. Да.

— Какой?

— Мишуня! Я вас прошу!..

IV

Лампадка

Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет. Лампадка трепетно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг горит. Туманится.

Мама! Мама!! Что мы будем делать?!

Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тео. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито-литераторы. Несчастные мы. Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отбирают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерница колет ноги камфарой: третий приступ!

— О-о! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду.

— Молчите, Мишенька милый, молчите!

После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:

— Ма-а-ма. Ма-а-ма!

Вот он — подотдел

Солнце. За колесами пролеток пыльные облака... В гулком здании ходят, выходят... В комнате на четвертом этаже два шкафа с оторванными дверцами, колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами то на машинках громко стучат, то курят.

С креста снятый сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел. Тео. 'Изо. Сизые актерские лица лезут на него. И денег требуют.

После возвратного — мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь.

— Завподиск. Наробраз. Литколлегия.

Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска режет воду. На кого ни глянет — все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням — ничего! Барышням — страх не свойствен.

Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа — кристалл!

Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.

— Завлито?

— Зав. Зав.

Пошел дальше. Парень будто ничего. Не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более.

Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута и чулки винтом. Стихи принесла.

Та, та, там, там.

В сердце бьется динамо-снаряд.

Та, та, там.

Стишки — ничего... Мы их... того... как это... в концерте прочитаем.

Глаза у поэтессы радостные. Ничего — барышня. Но почему чулки не подвывает?

VI

Камер-юнкер Пушкин

Все было хорошо. Все было отлично.

И вот пропал из-за Пушкина. Александра Сергеевича, царствие ему небесное!

Так дело было:

В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих брюках, да с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик, на шестидесятом году зачавший писать стихи, и еще несколько человек.

Косвенно выходил смелый с орлиным лицом и огромным ре-

вольвером на поясе. Он первый свое, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трэк в бывшее летнее собрание. Под неумолчный гул мутного Терека он проклял сирень и грянул:

Довольно пели вам луиу й чайку!
Я вам спою чрезвычайку!

Это было эффектно!

Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском. И обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. И посулил о нем специальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни», за «камер-юнкерство и холопскую стихию», вообще, за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами..

Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми. Улыбка не воробей!

- Выступайте оппонентом.
- Не хочется.
- У вас нет гражданского мужества.
- Вот как? Хорошо, я выступаю.

И я выступил, чтобы меня черти взяли. Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.

...Ложная мудрость мерцает и тлест
Пред солнцем бессмертным ума..

Говорил он:

Клевету приемлю равнодушно.

Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.

И показал. Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое:

— Дожми его! Дожми!

.....

Но зато потом!! Но потом...

Я — «волк в овечьей шкуре». Я — «господин». Я — «буржуазный подголосок»...

.....

Я — уже не завлито. Я — не завтео.

Я — безродный пес на чердаке. Скорчившись сижую. Ночью позвонят — вздрагиваю.

.....

О пыльные дни. О душные ночи...

И было в лето от Р. Х. 1920-е из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со старушечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался: дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на преysкурant вин. В книжечке — его стихи.

Лаидыш. Рифма: гадыш.

С ума сойду я, вот что...

Вознесивидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4 полоса, 4 колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит. Но тому что! Он там, идеже несть...

А я пропаду, как червяк.

VII

Бронзовый воротник

Что это за проклятый город Тифлис!

Второй приехал! В бронзовом воротничке. В бронзовом. Так и выступал в живом журнале. Не шучу я!!

В бронзовом, поймите!..

.

Беллетриста Слезкина выгнали к черту, несмотря на то, что у него всероссийское имя и беременная жена. А этот сел на его место. Вот тебе и изо, мизо. Вот тебе и деньги за ковер...

.

VIII

Мальчики в коробке

Луна в веице. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звездный полог. Но нет облегчения. Через несколько часов погаснут звезды и над нами вспыхнет огненный шар. И опять, как жуки на булавках, будем подыхать.

Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк. У черта на куличках, у подножия гор, в чужом городе, в игрушечно-звериной-тесной комнате, у голодного Слезкина родился сын. Его положили на окно в коробку с надписью:

«M-me Marie. Modes et Robes».

И он скулит в коробке.

Бедный ребенок.

Не ребенок. Мы бедные.

Горы замкнули нас. Спит под луной Столовая гора. Далеко, далеко на севере бескрайние равнины... На юге — ущелья, про-

валы, бурливые речки. Где-то на западе море. Над ним светит Золотой Рог.

...Мух на Tangle-foot'e видели?

Когда затихает писк, идем в клетку.

Помидоры. Черного хлеба не помногу. И араки. Какая гнусная водка! Мерзость! Но выпьешь — и легче.

И когда все кругом мертво спит, писатель читает мне свою новую повесть. Некому читать мне свою новую повесть. Некому больше ее слушать. Ночь плывет. Кончает и, бережно свернув рукопись, кладет под подушку. Письменного стола нету.

До бледного рассвета мы шепчемся.

Какие имена на иссохших наших языках! Какие имена! Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злости, писатели русские!

Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны. Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.

IX

Сквозной ветер

Евреиннов приехал. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли теперь? Писатель смеется: уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях.

Братья писатели, в вашей судьбе...

Без денег сидел. Вещи украли...

...А на другой, последний вечер, у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впились глазами.

Евренинов находчивый человек:

— А вот «Музыкальные гримасы»...

И, немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях на рояле, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и златом и, наконец, полька.

Через десять минут цех был приведен в состояние полней-

шей негодности. Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал...

...Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!..

Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один — из Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится:

— Вот не доедем, да и только!

Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!

Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву.

— В Москве лучше.

Доездили до того, что однажды лег у канавы:

— Не встану! Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве — и обедом накормил.

Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.

— В Тифлисе лучше.

Третий — Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голору держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:

— Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

— ...но денег не пла... — начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда...

Беллетрист Пильняк. В Ростов, с мучным поездом, в женской кофточке.

— В Ростове лучше?

— Нет, я отдохнуть!!

Оригинал — золотые очки.

Серафимович — с севера.

Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе.

— Помните, у Толстого платок на палке. То прилипнет, то опять плещется. Как живой — платок... Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул — сверху другое поставил. Подумал — еще раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза, как кованая... Теперь пишут... Необыкновенно пишут! Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз — то же. Так и отложишь в сторону...

Местный цех in согроге под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее!

Уехал Серафимович... Антракт.

Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках.

Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка.

Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре яблоку негде упасть. Временами я терялся. Еидел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Скопфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие.

Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал: — Чтoб их разорвало с их юмором! На Кавказ заехали, и тут голову морочат!..

Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник.

Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки:

— Пиши вторую программу!

Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер».

Любовно с Юрием составляли программу.

— Этот болван не умеет рисовать, — бушевал Слезкин, — отдадим Марии Ивановне!

У меня тут же возникло зловещее предчувствие. По-моему, эта Мария Ивановна так же умеет рисовать, как я играть на скрипке... Я решил это сразу, как только она явилась в подотдел и заявила, что она ученица самого N. (Ее немедленно назначили заведующей Изо.) Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал.

Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер... Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиде другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он громыхнет хохотом и скажет:

— А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух!

Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела под слоем пудры, прищурилась.

— Вам, по-видимому... э... не нравится?

— Нет. Что вы. Хе-хе! Очень... мило. Мило очень. Только вот... бакенбарды...

— Что?.. Бакенбарды? Ну, так вы, зиачит, Пушкина никогда не видели! Поздравляю! А еще литератор! Ха-ха! Что же, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?!

— Вниоват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл, а если и играл, то без всяких фокусов!

— Какие карты? Ничего не понимаю! Вы, я вижу, издеваетесь надо мной!

— Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего Пушкина глаза разбойничьи!

— А-ах... та-ак!

Бросила кисть. От двери:

— Я иа вас пожалуюсь в подотдел!

Что было! Что было!.. Лишь только раскрылся занавес, и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным потом, я начал говорить о «северном сиянии иа снежных пустынях словесности российской»... В зале хихикали иа бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мие:

— Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил иа первом дереве!

Так что я не выдержал и сам хихикиул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слыхал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло crescendo... Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта — театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Bis!!».

Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию...

Так я и знал! ... На столбе газета, а в ней иа четвертой полосе:

ОПЯТЬ ПУШКИН!

Столичные литераторы, укывшиеся в местном подотделе искусств, сделали иовую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника (каким, положим, он и был) с бакенбардами...

И т. д.

Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот крестии подведет меня под арест!..

О, чертова напудренная кукла Изо!

Кончено. Все кончено! Вчера запретили...

...Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?

XI

Портянки и черная мышь

Голодный, поздним вечером, иду в темноту по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян: И бормочу:

— Александр Пушкин. Lumen coeli Sancta rosa. И как гром его угроза.

Я с ума схожу, что ли? Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди и парашу из него сделали. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну.

Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь...

XII

Не хуже Кнута Гамсуна

Я голодаю

XIII

Бежать. Бежать!

— Сто тысяч... У меня сто тысяч!..

Я их заработал!

Помощник присяжного поверенного, из туземцев, научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:

— У меня тоже нет денег. Выход один — пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее...

Я тупо посмотрел на него и ответил:

— Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта. И вообще я ничего не могу писать. Я устал, и, кажется, у меня нет способности к литературе.

Он ответил:

— Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужчиной. Быт — чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам.

С того времени мы стали писать. У него была круглая жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахарником. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу...

И мы писали.

Он нежился у печки и говорил:

— Люблю творить!

Я скрежетал пером...

Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя, в неотапливаемой комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее! Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь... от людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Конечно! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Конечно!

В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла.

В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, — после того, как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, — кричали:

— Ва! Подлец! Так ему и надо!

И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: «автора!» За кулисами пожимали руки.

— Пирикрасная пьеса!

И приглашали в аул...

...Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море, и Францию — сушу — в Париж!

...Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал перулками в последний раз — домой...

...Вы, беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будете вы так способны, как Куприи, Буини или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале.

Сгинул город у подножья гор. Будь ты проклят...

Цихидзири. Махинджаури. Зеленый мыс! Магнолии цветут. Белые цветы величиной с тарелку. Бананы. Пальмы! Клянусь, сам видел: пальма из земли растет. И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах: солнце в море погружается. Краса морская. Высота поднебесная. Скала отвесная, а на ней ползучие растения. Чаква. Цихидзири. Зеленый мыс.

Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка. На манжетах кривые буквы. А в сердце у меня иероглифы тяжкие. И лишь один из таинственных знаков я расшифровал. Он значит: горе мне! Кто растолкует мне остальные?

На обточенных соленой водой голышах лежу, как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинается, до поздней ночи болит голова. И вот ночь на море. Я не вижу его, только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса трехъярусные огни.

«Полацкий» идет на Золотой Рог.

Слезы такие же соленые, как морская вода.

Видел поэта из неизвестных. Он ходил по Нури-Базару и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним.

Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он лгал! У него давно уже не было денег. Он три дня не ел... Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся. Но вдруг вспомнил: а я?..

Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал «новый заведывающий».

Он вошел и заявил:

— Па иному пути пайдем! Не нады нам больше этой парнографии: «Горе от ума» и «Ревизора». Гоголи. Моголи. Свои пьесы сачиним.

Затем сел в автомобиль и уехал.

Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу.

Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать!..

Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него.

Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит, значит...

XV

Домой

Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег — пешом. Но домой. Жизнь погублена. Домой!..

В Москву! В Москву!!

Прощай, Цихидзири. Прощай, Махннджаури. Зеленый мыс!

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Московская бездна. Дювлам

Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это — Москва. М-о-с-к-в-а.

На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается в тьме. В мозгу жуткие раскаты:

— C'est la lu-u-tte fina-a-le!

...L'Internationa-a-ale!!

И здесь — так же хрипло и страшно:

С Интернационалом!!

Во тьме — теплушек ряд. Смолк студенческий вагон...

Вниз, решившись, наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели, действительно, бездна под ногами?..

Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли... потекли...

Женский голос:

— Ах... не могу!

Разглядел в черном тумане курсистку-медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.

— Позвольте, я возьму.

На мгновение показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?

— Три пуда... Утапывали муку.

Качаясь, в искрах и зигзагах на огни.

От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стекланный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругатель-

ство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.

Воз нагружился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались, наконец, из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму.

Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов! Чего проще... В любой постучать. Пустите переночевать. Воображаю!

Голос медички:

— А вы куда?

— А не знаю.

— То есть, как?

...Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устройтесь...

— О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых.

Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу, как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали.

На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные, яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?

Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово. Ах, слово хорошо! А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан, Москва не так страшна, как ее малюют. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие, подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира, с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор — Конан-Дойль. Любимая опера — «Евгений Онегин». Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах.

Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни грозы, ни

бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Ивановича Иванова. У дома, в котором в темноте, от страха, показалось этажей пятнадцать, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигурка и шептала: «Папа, а масло?.. папа, а сало?.. папа, а белая?..»

Папа стоял во тьме и бормотал: «Сало... так, масло... так, белая, черная... так».

Затем вспышка вырвала из крошечного ада папин короткий палец, который отслюнил 20 бумажек ломовику.

Будут еще бури. Ох, большие будут бури! И все могут помереть. Но папа не умрет!

Воз превратился в огромную платформу, на которой затеялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубину.

II

Дом № 4, 6-й подъезд, 3-й этаж, кв. 50, комната 7.

В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестизэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них.

В 6-м подъезде — у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдыхался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба.

Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояля. Мелькнула комната, полная женщина в дыму. Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».

— Где Лито? — спросил я, облокотившись на деревянный барьер.

Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая — не знает. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад. Открыл одну дверь — ванная. А на другой двери — маленький клочок. Прибит косо, и край завернулся. Ли. А, слава богу. Да, Лито. Опять сердце. Из-за двери слышались голоса: ду-ду-ду...

Закрыв глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там — вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь — вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще большая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно... кто? Лито? В Москве? Да. Горький Максим. На дне. Мать. Больше кому же? Ду-ду-ду... Разговаривают... А вдруг это Брюсов с Белым?..

И я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду прекратилось, и глухо: — Да! Потом опять ду-ду-ду. Я дернул за ручку, и она оста-

тась у меня в руках. Я замер: хорошенькое начало карьеры — сломал! Опять постучал.— Да! Да!

— Не могу войти! — крикнул я.

В замочной скважине прозвучал голос:

— Вверните ручку вправо, потом налево, вы нас заперли... Вправо, влево, дверь мягко подалась, и...

III

После Горького я первый человек

Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой, в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые, в руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой — седоватый старик с живыми, чуть смеющимися глазами был в папаше, солдатской шинели. На ней не было места без дыры и карманы висели клочьями. Обмотки серые и лакированные, бальные туфли с бантами.

Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Tout. Как-то косноязычно:

— Это... Лито?

— Да.

— Нельзя ли видеть заведующего?

Старик ласково ответил:

— Это я.

Затем взял со стола огромный лист московской газеты, отодрал от нее четвертушку, всыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня:

— Нет ли спичечки?

Я машинально чиркнул спичкой, а затем под ласково-вопросительным взглядом старика достал из кармана заветную бумажку.

Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы он мог быть... Больше всего он походил на обритого Эмиля Золя.

Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением

Старик:

— Так вы?..

Я ответил:

— Я хотел бы должность в Лито.

Молодой восхищенно крикнул:

— Великолепно!.. Знаете!..

Подхватил старика под руку. Загудел шепотом: ду-ду-ду..

Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку. А молодой сказал скороговоркой:

— Пишите заявление.

Заявление было у меня за пазухой. Я подал.

Старик взмахнул ручкой. Она сделала: крак! и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та была суха.

— Нет ли карандашика?

Я вынул карандаш, и заведующий косо написал:

— Прошу назначить секретарем Лито. Подпись.

Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой росчерк.

Молодой дернул меня за рукав:

— Идите наверх, скорей, пока он не уехал. Скорей.

И я стрелой полетел наверх. Ворвался в двери, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и черкнул: «Назн.; секр.» Буква. Закорючка. Зевнул и сказал: вниз.

В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристое сопрано сказало: Мейерхольд. Октябрь театра...

Молодой бушевал вокруг старого и хохотал:

— Назначил? Прекрасно! Мы устроим! Мы все устроим!

Тут он хлопнул меня по плечу:

— Ты не унывай! Все будет.

Я не терплю фамильярности с детства и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что голько и мог сказать расслабленно:

— Но столы... стулья... чернила, наконец!

Молодой крикнул в азарте:

— Будет! Молодец! Все будет!

И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня:

— Деловой парняга! Как он это про столы сразу! Он иам все наладит!

Назн. секр. Господи! Лито. В Москве. Максим Горький... На дне. Шехерезада... Мать.

Молодой тряхнул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху.

— Это вам. Четверть пайка.

IV

Я включаю Лито

Историку литературы не забыть:

В конце 21-го года литературой в Республике занимались три человека: старик (драмы; он, конечно, оказался не Эмиль Золя, а незнакомый мне), молодой (помощник старика, тоже незнакомый — стихи) и я (ничего не писал).

Историку же: в Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было.

И я. Да, я из пустоты достал конторку красного дерева, старинную. В ней я нашел старый, пожелтевший золотообрезный картон со словами: «...дамы в полуоткрытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполетами; гражданские в мундирных фраках и лентах. Студенты в мундирах. Москва, 1899 г.»

И запах нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал флакон дорогих французских духов. За конторкой появился стул. Чернила и бумага и, наконец, барышня, медлительная, печальная.

По моему приказу она разложила на столе стопками все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то «вредителях», 12 номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов. И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и молодой пришли в восторг. Нежно похлопали меня по плечу и куда-то исчезли.

Часами мы сидели с печальной барышней. Я за конторкой, она за столом. Я читал «Трех мушкетеров» неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ванной, барышня сидела молча и временами тяжело и глубоко вздыхала.

Я спросил:

— Чего вы плачете?

В ответ она зарыдала и заломила руки. Потом промолвила:

— Я узнала, что вышла замуж по ошибке за бандита.

Я не знаю, есть ли на свете штука, которой можно было бы меня изумить после этих двух лет. Но тут... тупо посмотрел на барышню...

— Не плачьте. Бывает.

И попросил рассказать.

Она, вытирая платочком слезы, рассказала, что вышла замуж за студента, сделала увеличительный снимок с его карточки, повесила в гостиной. Пришел агент, посмотрел на снимок и сказал, что это вовсе не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент.

— Мо-мент... — говорила бедная барышня и вздрагивала и утиралась.

— Удрал он? Ну и плюньте.

Однако уже три дня. И ничего. Никто не приходил. Вообще ничего. Я и барышня...

Меня осенило сегодня: Лито не включено. Над нами есть какая-то жизнь. Топают ногами. За стеной тоже что-то. То глухо затахтят машины, то смех. Туда приходят какие-то люди с бритыми лицами. Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет.

У нас же ничего. Ни бумаг. Ничего. Я решил включить Лито.

По лестнице поднималась женщина с пачкой газет. На верхней красным карандашом написано: «в Изо».

— А в Лито?

Она испуганно посмотрела и не ответила ничего. Я поднялся наверх. Подошел к барышне, сидевшей под плакатом: «секретарь». Выслушав меня, она испуганно посмотрела на соседку.

— А ведь, верно, Лито... — сказала первая.

Вторая отозвалась:

— Им, Лидочка, есть бумага.

— Почему же вы ее не прислали? — спросил я ледяным тоном.

Посмотрели они напряженно:

— Мы думали — вас нет.

Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня сверху от барышень. Приносит женщина в платке. С книгой: распишитесь. Написал бумагу в хозяйственный отдел: дайте машину.

Через два дня пришел человек, пожал плечами:

— Разве вам нужна машина?

— Я думаю, что больше чем кому бы то ни было в этом здании.

Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик увидел машину и когда я сказал, что ему нужно подписать бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал губами:

— В вас что-то такое есть. Нужно было бы вам похлопотать об академическом пайке.

Мы с женой бандита начали составлять требовательную ведомость на жалованье. Лито зацепилось за общий ход.

Моему будущему биографу: это сделал я.

V

Первые ласточки

Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: Шторн.

— Чем могу вам служить?

— Я хотел бы получить место в Лито.

Я развернул листок с надписью: «Штаты». В Лито полагается 18 человек. Смутно я лелеял такое распределение:

Инструктора по поэтической части:

Брюсов, Белый... и т. д.

Прозаики:

Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович... и т. д.

Но никто из перечисленных не являлся.

И смелой рукой я черкнул на прошении Шторна: «пр. назн. инстр. За завед.». Буква. Завитушка.

— Идите наверх, пока он не уехал.

Потом пришел кудрявый, румяный и очень жизнерадостный поэт Скарцев.

— Идите наверх, пока он не уехал.

Из Сибири приехал необыкновенно мрачный в очках, лет 25, сбитый так плотно, что казался медным.

— Идите наверх...

Но он ответил:

— Никуда я не пойду.

Сел в угол на сломанный, шатающийся стул, вынул четвер-

тушку бумаги и стал что-то писать короткими строчками. По-видимому, бывалый человек.

Открылась дверь и вошел в хорошем, теплом пальто и котиковой шапке некто. Оказалось, поэт. Саша.

Старик написал магические слова. Саша осмотрел внимательно комнату, задумчиво потрогал висящий оборванный провод, — заглянул зачем-то в шкаф. Вздыхнул.

Подсел ко мне — конфиденциально:

— Деньги будут?..

VI

Мы развиваем энергию

За столами не было места. Писали лозунги все и еще один новый, подвижной и шумный, в золотых очках, называвший себя — король репортеров. Король явился на другое утро после получения нами аванса, без четверти девять, со словами:

— Слушайте, говорят, тут у вас деньги давали?

И поступил на службу к нам.

История лозунгов была такова.

Сверху пришла бумага:

Предлагается Лито к 12 час. дня такого-то числа в срочном порядке представить ряд лозунгов.

Теоретически это дело должно было обстоять так: старик при моем соучастии должен был издать какой-то приказ или клич по всему пространству, где только предполагалось — есть писатели. Лозунги должны были посылаться со всех сторон: телеграфно, письменно и устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч лозунгов лучшие и представить их к 12 час. такого-то числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия (т. е., печальная жена разбойника) должны были составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги.

Но это теория.

На практике же:

1) Никакого клича кликнуть было невозможно, ибо некого было кликать. Литераторов в то время в поле зрения было: все перечисленные плюс король.

2) Исключалось первым: никакого, стало быть, наплыва лозунгов быть не могло.

3) К 12 час. дня такого-то числа лозунги представить было невозможно по той причине, что бумага пришла в 1 час. 26 мин этого самого такого-то числа.

4) Ведомость можно было и не писать, так как никакой такой графы «на лозунги» не было. Но —

У старика была маленькая заветная сумма: на разъезды.

Поэтому: а) Лозунги в срочном порядке писать всем, находящимся налицо;

б) комиссию для рассмотрения лозунгов составить для полного ее беспристрастия также из всех находящихся налицо;
с) за лозунги уплатить по 15 тыс. за штуку, выбрав наилучшие.

Сели в 1 час. 50 мин., а в 3 час. лозунги были готовы. Каждый успел выдать из себя по 5—6 лозунгов, за исключением короля, написавшего 19 в стихах и прозе.

Комиссия была справедлива и строга.

Я — писавший лозунги — не имел ничего общего с тем мною, который принимал и критиковал лозунги.

В результате принято:

у старика — 3 лозунга,
у молодого — 3 лозунга,
у меня — 3 лозунга
и т. д. и т. д.
Словом: каждому 45 тыс.

У-у, как дует... Вот оно, вот начинает моросить. Пирог на Трубе с мясом, сырой от дождя, но вкусный до остервенения Трубочку сахарину. 2 фунта белого хлеба.

Обогнал Шторна. Он тоже что-то жевал.

VII

Неожиданный кошмар

Клянусь, это сон!!!

Что же это, колдовство, что ли?!

Сегодня я опоздал на 2 часа на службу.

Ввериул ручку, открыл, вошел и увидал: комната была пуста. Но как пуста! Не только не было столов, печальной женщины, машинки... не было даже электрических проводов. Ничего.

Значит, это был сон... Понятно... понятно...

Давно уже мне кажется, что кругом мираж. Зыбкий мираж. Там, где вчера... Впрочем, черт, почему вчера?! Сто лет назад... в вечности... может быть, не было вовсе... может быть, сейчас нет?.. Канатчикова дача!..

Значит, добрый старик... молодой... печальный Шторн... машинка... лозунги... не было?

Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми!!!

Ну, так куда же оно делось?..

Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под веками (чтобы сразу не взяли и не свезли) по полутемному коридорчику. И тут окончательно убедился, что со мной происходит что-то иладное. Во тьме над дверью, ведущей в соседнюю, освещенную комнату, загорелась огненная надпись, как в кинематографе:

МАРТА 25-го ЧИСЛА СЛУЧИЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ НЕОБЫКНОВЕННО
СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. ЦИРЮЛЬНИК ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ...

Я не стал дальше читать и в ужасе выскользнул. У барьера остановился, глубже спрятал глаза и спросил глухо:

— Скажите, вы не видели, куда делось Лнто?

Раздражительная, мрачная женщина с пунцовой лентой в черных волосах ответила:

— Ах, какое Лнто... Я не знаю.

Я закрыл глаза. Другой женский голос участливо сказал:

— Позвольте, это совсем не здесь. Вы не туда попали. Это на Волхонке.

Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину. Забыть все. Ведь, если я буду тих, смолчу, никто никогда не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не прогонит меня — душевнобольного.

Но последняя слабенькая надежда еще копошилась в сердце. И я пошел. Пошел. Это шестизэтажное здание было положительно страшно. Все пронизано продольными ходами, как муравейник, так что его все можно было пройти, из конца в конец, не выходя на улицу. Я шел по темным извилинам, временами попадал в какие-то ниши за деревянными перегородками. Горели красноватые неэкономические лампочки. Встречались озабоченные люди, которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели. Тарахтели машинки. Мелькали надписи. Финчасть. Нацмен. Попадая на светлые площадки, опять уходил во тьму. Наконец вышел на площадку, тупо посмотрел кругом. Здесь было уже какое-то другое царство... Глупо. Чем дальше я ухожу, тем меньше шансов найти заколдованное Лнто. Безнадежно. Я спустился вниз и вышел на улицу. Оглянулся: оказывается, 1-й подъезд...

...Злой порыв ветра. Небо опять стало лить холодные струи. Я глубже надвигал летнюю фуражку, поднимал воротник шинели. Через несколько минут через огромные щели у самой подошвы сапоги наполнились водой. Это было облегчением. Я не тешил себя мыслью, что мне удастся добраться домой сухим. Не перепрыгивал с камешка на камешек, удлиняя свой путь, а пошел прямо по лужам

VIII

2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, ком. 40

Огненная надпись:

ЧЕПУХА СОВЕРШЕННАЯ ДЕЛАЕТСЯ НА СВЕТЕ. ИНОГДА ВО ВСЕ НЕТ НИКАКОГО ПРАВДОПОДОБИЯ: ВДРУГ ТОТ САМЫЙ НОС, КОТОРЫЙ РАЗЪЕЗЖАЛ В ЧИНЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА И НАДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМУ В ГОРОДЕ, ОЧУТИЛСЯ, КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, ВНОВЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ...

Утро вечера мудренее. Это сущая правда. Когда утром я проснулся от холода и сел на диване, ероша волосы, показалось немного яснее в голове!

Логически: все же было оно? Ну, было, конечно. Я ведь помню и какое число, и как меня зовут. Куда-то делось... Ну так значит нужно его найти. Ну, а как же рядом-то женщины? На Волхонке... А, вздор! У них, у этих женщин, из-под носа могут украсть что угодно. Вообще я не знаю, зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская.

Одевшись и напившись воды, которой я запас с вечера в стакане, съел кусочек хлеба, одну картофелину и составил план.

6 подъездов по 6 этажей в каждом=36. 36 раз по 2 квартиры=72. 72 раза по 6 комнат=432 комнаты. Мыслимо найти? Мыслимо. Вчера прошел без системы две-три горизонтали. Сегодня систематически я обыщу весь дом в вертикальном и горизонтальном направлении. И найду. Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое измерение. Если в четвертое, тогда — да. Конец.

У 2-го подъезда носом к носу — Штори!

Боже ты мой! Родному брату...

Оказалось: вчера за час до моего прихода явился заведующий административной частью с двумя рабочими и переселил Лито во 2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, комн. 40.

На наше же место придет секция Музо.

— Зачем?!

— Я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик волновался.

— Да помилуйте! Откуда же я знаю, куда вы делись? Оставили бы записку на двери.

— Да мы думали — вам скажут...

Я скрипнул зубами.

— Вы видели этих женщин? Что рядом...

Шторн сказал:

Это верно.

IX

Полным ходом

...Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. Пр. назн. делопроизв.

Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. Пр. назн. секрет. бюро художествен. фельетонов.

Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему написали последнее «Пр.». Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа.

Деньги! Деньги!

12 таблеток сахарину и больше ничего...

...Простыня или пиджак?..

О жаловании ни слуху ни духу.

...Сегодня поднялся наверх. Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут Лито.

— Позвольте нашу ведомость проверить.

— Зачем вам?

— Хочу посмотреть, все ли внесены?

— Обратитесь к madame Крицкой.

Madame Крицкая встала, качнула пучком седеющих волос и сказала победно:

— Она затерялась.

Пауза.

— И вы молчали?

Madame Крицкая плаксиво:

— Ах, у меня голова кругом идет. Чего тут делается — уму непостижимо. Семь раз писала ведомость — возвращают. Не так. Да вы все равно не получите жалованья. Там у вас в списке кто-то не проведен приказом.

Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков. Бросился сам. Опять коридоры. Мрак. Свет. Свет. Мрак. Мейерхольд. Личный состав. Днем лампы горят. Серая шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы.

— Кто у нас не проведен приказом?!

Ответ:

— Ни один не проведен.

Но самое лучшее: не проведен основоположник Лито — старик! Что? И я сам не проведен?!

Да что же это такое?!

— Вы, вероятно, не писали анкету?

— Я не писал? Я написал у вас 4 анкеты. И лично вам дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет — 113 анкет.

— Значит, затерялась. Пишите наново.

Три дня так прошло. Через три дня все восстановлены в правах. Написаны новые ведомости.

Я против смертной казни. Но если madame Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. То же и барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя.

...Вон! Помедом!..

Madame Крицкая осталась с ведомостями на руках, и я торжественно заявляю: она их не двинет дальше. Я не могу понять

почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу! Тут, действительно, Рок!

Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде. Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу нигде второй день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии.

Простыню продал.

Денег не будет раньше, чем через две недели.

Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансом.

Слух верный. Все сидели, составляли ведомости. Четыре дня.

Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все печати налицо. Но дошел до того, что пробегая из 2-го этажа в 5-й, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены.

Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание на другой конец Москвы... Там утвердят. Вернут. Тогда деньги..

Сегодня я получил деньги. Деньги!

За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в 1-м этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала:

— Неправильно по форме. Надо задержать ведомость.

Не помню точно, что произошло. Туман.

Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул. Вроде:

— Вы издеваетесь надо мной?

Женщина раскрыла рот:

— А-ах, вы так...

Тогда я смирился. Я смирился. Сказал, что я взволнован. Извинился. Свой слова взял обратно. Согласилась поправить красными чернилами. Черкнули: Выдать. Закорючка.

В кассу. Волшебное слово: касса. Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки.

Потом опомнился: деньги!

С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 час.

Дома — чисто. Ни куртки. Ни простынь. Ни книг.

XI

О том, как нужно есть

Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски (жир). 3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром выпил 4 стакана. Спать захотелось. Лег на диван и заснул...

Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне. И женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят:

— Пожалуйста обедать.

А я боюсь сойти. И так дурачки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит:

— Иди. Вегетарианский обед.

И вдруг я рассердился.

— Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки.

Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне:

— Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович?

— Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора!

Скандал какой-то произошел.

Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-то за стеной на гармонике играют.

Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза. Нехорошие. Опять с блеском.

Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите займы деньги у буржуа (без отдачи), покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно.

Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон.

Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и $\frac{1}{4}$ фунта хлеба. Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба займы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь.

Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу.

Наконец хозяйка говорит:

— А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?

— Благодарю вас. С удовольствием.

Ели: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе — котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем.

Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят. Все роют. Находят золотые монеты в кальсонах в комоде. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяина...

Гадость так думать, а я думал.

Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. Иди к этим, что живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел.

XII

Гроза. Снег

Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже образовалось чутье. Под нашим Лито что-то начинает трещать.

Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни:

— Против меня интрига.

Лишь это я услышал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину... На 5—6 дней.

Старик вошел шумно и радостно.

— Я разбил их интригу, — сказал он. Лишь только он произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула:

— Которые тут? Распишитесь.

Я расписался.

В бумаге было:

С такого-то числа Лито ликвидируется.

...Как капитан с корабля, я сошел последним. Дела — Некрасова, Воскресшего Алкоголика, Голодные сборники, стихи, инструкции уездным Лито приказал подшить и слать. Потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон.

В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили.

Но: мадам Крицкая, Лидочка и когиковая шапочка остались.

ТАЙНОМУ ДРУГУ

Дионисовы мастера. Алтарь Диониса. Сцены.

«Трагедия машет мантией мишурной»

I

Открытие

Бесценный друг мой! Итак, Вы настаиваете на том, чтобы я сообщил Вам в год катастрофы, каким образом я сделался драматургом? Скажите только одно — зачем Вам это? И еще: дайте слово, что Вы не отдадите в печать эту тетрадь даже и после моей смерти.

II

Доисторические времена

Видите ли: в Москве в доисторические времена (годы 1921—1925) проживал один замечательный человек. Был он усеян веснушками, как небо звездами (и лицо, и руки), и отличался большим умом.

Профессия у него была такая: он редактор был чистой крови и божьей милостью и ухитрился издавать (в годы 1922—1925!!) частный толстый журнал! Чудовищнее всего то, что у него не было ни копейки денег. Но у него была железная неописуемая воля, и, сидя на окраине города Москвы в симпатичной и грязной квартире, он издавал.

Как увидите дальше, издание это привело как его, так и ряд других лиц, коих неумолимая судьба столкнула с этим журналом, к удивительным последствиям.

Раз человек не имеет денег, а между тем болезненная фантазия его пожирает, он должен куда-то бежать. Мой редактор и побегал к одному.

И с ним говорил.

И вышло так, что тот взял на себя издательство. Откуда-то появилась бумага, и книжки, вначале тонкие, а потом и толстые стали выходить.

И тотчас же издатель прогорел. Но ведь как? Начисто, форменно. От человека осталась только дымящаяся дыра.

Вы скажете, к чему я все это рассказываю? Еще бы мне не рассказывать! Вы спрашиваете, как я сделался драматургом, вот я и рассказываю.

Да. Так вот, прогорел.

Прогорел настолько, что, когда моя судьба закинула меня именно в тот дом и квартиру, где приютился прогоревший, я видел его единственное средство (по его мнению) к спасению.

Средство это заключалось в следующем. На большом листе бумаги были акварелью нарисованы вожди революции 1917 года, окруженные венком из колосьев, серпов и молотов. Серпы были нарисованы фиолетовой краской, молоты черной, а колосья желтой. Вожди были какие-то темные, печальные и необыкновенно непохожие.

Все это нарисовал собственноручно прогоревший страдалец, за коим в это время числилось начету казенного 18 тысяч (Вы сами понимаете, что основное его дело был, конечно, не этот частный журнал), долгу казне 40 тысяч и частным лицам 13 тысяч.

Зачем?!

Оказалось, изволите ли видеть, что какое-нибудь издательство купит это произведение искусства, отпечатает его в бесчисленном множестве экземпляров, все учреждения раскупят его и развешают по стенам у себя.

Впоследствии я нигде не видел его. Из чего заключаю, что не купили.

Впрочем, и сам автор рисунка недолго просидел в комнате на Пречистенке. После того, как в этой комнате остался только один диван, страдалец бежал. Куда? Мне неизвестно. Может быть сейчас, когда Вы читаете эти строки, он в Саратове или Ростове-на-Дону, а может быть, и вернее всего, в Берлине. Но где бы он ни был, нет никакой возможности мне получить одну тысячу с чем-то рублей.

Итак: книжка журнала была в типографии, страдалец в Буэнос-Айресе, редактор...

Вы интересуетесь вопросом о том, где же брал мой редактор деньги до встречи со страдальцем?

Теперь этот вопрос выяснен, и догадался я сам (я вижу мысленно, как Вы смеетесь! Если бы Вы были возле меня, наверное, Вы сказали бы, что вряд ли я догадался. Ах, неужто, друг мой, я уж действительно безнадежно глуп? Вы умнее меня, с этим согласен я...) Ну, догадался я: он продал душу Дьяволу. Сын погибели и снабжал его деньгами. Но в обрез, так что хватало только на бумагу и вообще типографские расходы, авторам же он платил так, что теперь, при воспоминании об этом, я смеюсь над собой.

Когда же дьяволы деньги кончились и страдалец уехал в Ташкент, он нашел нового издателя. Этот не был Дьяволом, не был страдальцем. Это был жулик.

Скажу Вам, мой нежный друг, за свою страшную жизнь я видел прохвостов. Меня обирали. Но такого негодяя, как этот, я не встречал. Нет сомнений, что, если бы такой теперь встретился на моем пути, я сумел бы уйти благополучно, потому что стал опытен и печален — знаю людей, страшусь за них, но тогда... Мой Бог, поймите, дорогая, это не было лицо, это был паспорт. И потом скажите, кому, кому, кроме интеллигентской размазни, придет в голову заключить договор с человеком, фамилия которого

Рвацкий! Да не выдумал я! Рвацкий. Маленького роста, в вишневом галстуке, с фальшивой жемчужной булавкой, в полосатых брюках, ногти с черной каймой, а глаза...

Но редактор, ах, редактор.

Я прихожу к нему.

Он говорит:

— Ну, теперь, дружок, поезжайте в контору к Рвацкому и подписывайте с ним договор. Все наладилось! Ах, какая прелесть.

Я ответил:

— Послушайте, Рудольф Рафаилович. Я видел Рвацкого. Я его боюсь. Рудольф Рафаилович, у него фальшивая булавка в галстуке. Лучше я с вами заключу договор.

Он улыбнулся, он сильный человек, он Тореадор из Гренады.

Нарисовал кружок на бумаге и сказал:

— Ребенок! Вы неопытны в жизни, как всякий писатель. Видите кружок? Это вы.

На бумаге появился второй кружок:

— Это я — редактор.

— Так-с.

Третий кружок обозначал, оказывается, издателя Рвацкого.

— Теперь смотрите: я соединяю писателя и с редактором, и с издателем. Видите? Получилась геометрическая фигура — равнобедренный треугольник. От издателя идет нить ко мне, и от него же идет нить к писателю. Мы с вами связаны только художественно: рукопись какую-нибудь прочитать, побеседовать о Гоголе... Денежных расчетов мы с вами никаких вести не будем и не можем вести. Я с вами могу говорить об Анатоле Франсе, а с Рвацким... нет, не могу, ибо он не понимает, что такое Анатоль Франс. Но с вами я не могу говорить о деньгах, и по двум причинам — во-первых, деньги не должны интересоваться писателя, а во-вторых, вы в них ничего не понимаете. Голубь, договоры заключаются с издателями, а не с редакторами, и кроме того, Рвацкий уезжает в 2¹/₂ часа дня в Наркомпрос, а сейчас без четверти два, так что поспешите, а не сидите у меня вялый и испуганный...

Вертелось у меня на языке:

— А почему же первый наш договор я подписал с вами?

Но уже надевая свое потертое пальтишко в передней, я спросил все-таки глухо:

— Но вы видели его глаза? У него треугольные веки, а глаза стальные и смотрят в угол.

Ответил он:

— Следующего издателя я достану с такими глазами, как у вас — хрустальными. Вы, однако, человек избалованный. Внимательно прочтите то, что будете подписывать, а также и векселя.

Не стану Вам, мой друг, описывать контору Семена Семеновича Рвацкого. Одно скажу, поразила меня вывеска: «Фотографические принадлежности». Причем здесь романы? Оглушительнее гораздо было то, что абсолютно ни одной фотопринадлеж-

ности в конторе не было. Лежали пять пакетов небольшого размера, и верхний был вскрыт, и я прочитал на коробочках надпись «Фенацетин». Фенацетин, мой друг, как Вам известно, конечно, не что иное, как пара-ацет-фенетидин, и примениться в фотографии может лишь в одном случае — это если у фотографа случится мигрень. Впрочем, я ведь фотографического дела не знаю, другое интересно: во втором углу лежали штук сто коробок килек. Так вот: Рвацкий, по словам редактора, в 2¹/₂ часа должен был ехать в Наркомпрос. Кильки в Наркомпросе предлагать? Да? Или наоборот, из Наркомпроса ему выдали кильки, и он хотел предъявить претензию, что они тухлые?

Масса народу толкалась в конторе Рвацкого. Все были в шляпах и почему-то встревожены. Я слышал слова «вексель», «Шапиро» и «провокола».

Принял меня Рвацкий как привидение. У меня создалось впечатление, что я его испугал.

Твердо могу сказать, что ему мучительно не хотелось подписывать ни векселя, ни договор. Выходило из его слов такое: что и договор, и векселя это предрассудок и что неужели я думаю, что он не заплатит мне? Представьте себе, был момент, когда я дрогнул... Вижу, как Вы топаете ногой.

Он хотел, чтобы я написал ему бумагу, что разрешаю ему печатать роман. Вы хотите? Погодите. У меня хватило твердости. Я почувствовал, что я бледнею, и пошел к выходу. Тогда он меня вернул, мучительно пожимая плечами; при общих неодобрительных взглядах послал в лавочку за вексельной бумагой. Словом, я вышел из конторы через час, имея в кармане четыре векселя на четыре ничтожных суммы и договор. Страшный стыд терзал меня за то, что я у Рвацкого взял векселя, я писатель, и у меня векселя в кармане!

Вы нетерпеливый пылкий человек и, конечно, знаете, что было дальше: то есть он исчез через месяц, векселя оказались фальшивыми, он не Рвацкий вовсе, роман не вышел...

Нет, нет, ничего такого. Зачем такой примитив. Гораздо хуже вышло.

Врать не стану, по всем четырем векселям я получил, правда, не сполна, а меньше (до срока их выкупили у меня), роман вышел, но не полностью, а до половины! Рвацкий исчез, это так, но не через месяц, а в тот же день. И не в Наркомпрос он ехал, как я узнал почти случайно, а на поезд. И, понимаете, с тех пор я его не видел никогда (однако, надеюсь, что рано или поздно увижу, если буду жив).

Но из-за того, что я в пыльный день сам залез зачем-то в контору к Рвацкому и как лунатик поставил свою подпись рядом с его, я:

- 1) принимал у себя на квартире три раза черт знает кого,
- 2) был в банке три раза,
- 3) был у нотариуса,
- 4) был еще где-то,

5) судился с редактором в третейском суде. При этом пять взрослых мужчин, разбирая договоры: мой с редактором, редактора со страдальцем, мой с Рвацким и редактора с Рвацким, — пришли в исступление. Даже Соломон не мог бы сказать, кто владеет романом, почему роман не допечатан, какие кильки лежали в конторе, куда девался сам Рвацкий.

Однако сообщить удалось одно: что я на три года по кабальному договору отдал свой роман некоему Рвацкому, что сам Рвацкий неизвестно где, но у Рвацкого есть доверенные в Москве, и, стало быть, мой роман похоронен на 3 года, я продать его во второй раз не имею права. Кончилось тем, что я расхохотался и плюнул. Курьезная подробность: я своими глазами видел в телефонной книжке телефон Рвацкого С. С. Когда же состоялся суд, я, заглянув в ту же самую телефонную книгу, не нашел там Рвацкого.

Богом клянусь — говорю правду!

Этот номер меня потряс. Каким образом можно вытравить свою фамилию из всех телефонных книг в Москве?

Теперь забегаю вперед: прошло несколько лет, и, как Вы сами догадываетесь, Рвацкий оказался за границей. И там овладел моим романом и пьесой. Каким образом ему удалось провезти за границу роман, увесистый, как надгробная плита, мне непонятно.

Словом, мне стыдно. Такое разгильдяйство все-таки непростительно.

Но послушайте дальше. В один прекрасный день грянула весть, что редактор мой Рудольф арестован и высылается за границу. И точно, он исчез. Но теперь я уверен, что его не высылали, ибо человек канул так, как пятак в пруд. Мало ли кого куда не высылали или кто куда не ездил в те знаменитые годы 1921—1925! Но все же, бывало, улетит человек в Мексику, к примеру. Кажется, чего дальше. Ан нет, получишь вдруг фотографию — российская блинная физиономия под кактусом. Нашелся. А этот не в Мексику, нет, говорят, был выслан всего только в Берлине. И ни звука. Ни слуху ни духу. Нету его в Берлине. Нет, и не может быть.

И лишь потом дело выяснилось. Встречаю я как-то раз умнейшего человека. Рассказал ему все. А он и говорит, усмехаясь:

— А знаете что, ведь вашего Рудольфа нечистая сила утащила, и Рвацкого тоже.

Меня осенило, а ведь верно.

— И очень просто. Ведь сами вы говорили, что Рудольф продал душу дьяволу?

— Так, да.

— Ну, натурально, срок-то прошел, ну, является черт и говорит: пожалуйте...

— Ой, господи! Где же они теперь?

Вместо ответа он показал пальцем в землю, и мне стало страшно.

Неврастения

Мне приснился страшный сон. Будто бы был лютый мороз и крест на чугунном Владимире в неизмеримой высоте горел над замерзшим Днепром.

И видел еще человека, еврея, он стоял на коленях, а изрытый оспой командир петлюровского полка бил его шомполом по голове, и черная кровь текла по лицу еврея. Он погибал под стальной тростью, и во сне я ясно понял, что его зовут Фурман, что он портной, что он ничего не сделал, и я во сне крикнул, заплакав:

— Не смей, каналья!

И тут же на меня бросились петлюровцы, и изрытый оспой крикнул:

— Тримай його!

Я погиб во сне. В мгновение решил, что лучше самому застрелиться, чем погибнуть в пытке, и кинулся к штабелю дров. Но браунинг, как всегда во сне, не захотел стрелять, и я, задыхаясь, закричал.

Проснулся, всхлипывая, и долго дрожал в темноте, пока не понял, что я безумно далеко от Владимира, что я в Москве, в моей постылой комнате, что это ночь бормочет кругом, что это 23-й год и что уже нет давным-давно изрытого оспой человека.

Хромая, еле ступая на больную ногу, я дотащился к лампе и зажег ее. Она осветила скудность и бедность моей жизни. Я увидел желтые встревоженные зрачки моей кошки. Я подобрал ее год назад у ворот. Она была беременна, а какой-то человек, проходя, совершенно трезвый, в черном пальто, ударил ее ногой в живот, и женщины у ворот видели это. Бессловесный зверь, истекая кровью, родил мертвых двух котят и долго болел у меня в комнате, но не зачах, я выходил его. Кошка поселилась у меня, но меня тоже боялась и привыкала необыкновенно трудно. Моя комната находилась под крышей и была расположена так, что я мог выпускать ее гулять на крышу и зимой и летом.

А в коридор квартиры я ее не выпускал, потому что боялся, что я из-за нее попаду в тюрьму. Дело в том, что однажды ко мне пристали в темном переулке у Патриарших прудов хулиганы. Я машинально схватился за карман, но вспомнил, что он уже несколько лет пуст. Тогда я на Сухаревке у одной подозрительной личности купил финский нож и с тех пор ходил всегда с ним. Так вот, я боялся, что если кто-нибудь еще раз ударит кошку, меня посадят.

Она затосковала, увидя, что я поднялся, открыла глаза и стала следить за мною хмуро и подозрительно. Я глядел на потертую клеенку и растравлял свои раны. Я вспомнил, как двенадцать лет тому назад, когда я был юношей, меня обидел один человек, и обида осталась неотомщенной. И мне захотелось уехать в тот

город, где он жил, и вызвать его на дуэль. Тут же вспомнил, что он уже много лет гниет в земле и праха даже его не найдешь. Тогда, как злые боли, вышли в памяти воспоминания еще о двух обидах. Они повлекли за собою те обиды, которые я нанес сам слабым существам, и тогда все ссадины на душе моей загорелись. Я, тоскуя, посмотрел на провод. Он свешивался и притягивал меня. Я думал о безнадежности моего положения, положив голову на клеенку. Была жизнь и вдруг разлетелась как дым, и я почему-то оказался в Москве, совершенно один в комнате, и еще на голову мою навязалась эта обиженная дымчатая кошка. Каждый день я должен был покупать ей на гривенник мяса и выпускать ее гулять, и, кроме того, она рожала три раза в год, и всякий раз мучительно, невыносимо, и приходилось ей помогать, а потом платить за то, чтобы одного котенка утопили, а другого растить и затем умильно предлагать кому-нибудь в доме, чтобы взяли и не обижали.

Обуза, обуза.

Из-за чего же это все?

Из-за дикой фантазии бросить все и заняться писательством.

Я простонал и пошел к дивану. Свет исчез. Во тьме некоторое время пели пружины простуженными голосами. Обиды и несчастья мало-помалу начали расплываться.

Опять был сон. Но мороз утих, и снег шел крупный и мягкий. Все было бело. И я понял, что это Рождество. Из-за угла выскочил гнедой рысак, крытый фиолетовой сеткой.

— Гись! — крикнул во сне кучер. Я откинул полость, дал кучеру деньги, открыл тихую и важную дверь подъезда и стал подниматься по лестнице.

В громадной квартире было тепло. Боже мой, сколько комнат! Их не перечесать, и в каждой из них важные, обольстительные вещи. От пианино отделился мой младший брат. Смеялся, поманил меня пальцем. Несмотря на то, что грудь его была прострелена и залеплена черным пластырем, я от счастья стал бормотать и захлебываться.

— Значит, рана твоя зажила? — спросил я.

— О, совершенно.

На пианино над раскрытыми клавишами стоял клавир «Фауста», он был раскрыт на той странице, где Валентин поет.

— И легкое не затронуто?

— О, какое легкое?

— Ну, спой каватину.

Он запел.

От парового отопления волнами ходило тепло, сверкали электрические лампы в люстре, и вышла Софочка в лакированных туфлях. Я обнял ее. Потом сидел на своем диване и вытирал заплаканное лицо. Мне захотелось увидеть какого-нибудь колдуна, умеющего толковать сны. Но и без колдуна я понял этот сон.

Фиолетовая сеть на рысаке — это был год 1913-й. Блестящий, пышный год. А простреленная грудь, это неверно — это было

гораздо позже — 1919-й. И в квартире этой брат быть не мог, это я когда-то жил в квартире. На Рождестве я вел под руку Софочку в кинематограф, снег хрустел у нее под ботинками, и Софочка хохотала.

Во всяком случае, черный пластырь, смех во сне, Валентин означать могли только одно — мой брат, которого в последний раз я видел в первых числах 1919 года, убит. Где и когда, я не знаю, а может быть, не узнаю никогда. Он убит, и, значит, от всего, что сверкало, от Софочки, ламп, Жени, фиолетовых помпонов остался только я один на продранном диване в Москве ночью 1923 года. Все остальное погибло.

Ночь беззвучна. Пахнет плесенью. Не понимаю только одного, как могло мне присниться тепло? В комнате у меня холодно.

«Я развинулся, я развинулся», — подумал я, вздрагивая. Сердце то уходило куда-то вниз, то оказывалось на месте. «Нужно прежде всего найти бром».

Вдыхая, я надел стоптанные туфли. Тотчас укололо пятку, в туфлю попала кнопка, «пусть колет меня, так легче».

Спальная старая шелковая рубашка послужила достаточно. Она разделилась на продольные полосы, но я ею дорожил как воспоминанием. Сверх рубашки набросил пальто и пополз, буквально пополз к столу.

«Интересно, в какую секунду я умру? Дойдя до стола, или раньше? Дойдя до стола, следует написать записку — а о чем? Вздор! Не поддаваться! Это просто отравление никотином и, вот, предсердечная тоска, страх смерти».

Во всяком случае, на пути к столу я не умер. Начал умирать за столом. Кошка давно уже следила за мной.

«Кто-то, зверь, возьмет тебя?»

Я взял ручку и написал на клочке бумаги:

«Мурочка! Возьмите, пожалуйста, мою кошку к себе и не давайте Булдину обижать ее...»

Руки похолодели и покрылись холодной влагой. Не успею дописать.

Но я успел дописать.

«За это все вещи, находящиеся в комнате, дарю соседке моей, Марии Потаповне Клёновой».

Проще всего крикнуть: «Мурочка!»

Но я смутился от стыда. Разбужу не только Мурочку, но и Тараканова с женой. Фу, мерзость!

Я сдержался.

«Это смерть от разрыва сердца», — подумал я и почувствовал, что она оскорбляет меня. Смерть в этой комнате — фу... Войдут... галдеть будут... Хоронить не на что. В Москве, в пятом этаже, один.

Неприличная смерть.

Хорошо умирать в квартире на чистом душистом белье или в поле. Уткнешься головой в землю, подползут к тебе, поднимут, повернут лицом к солнцу, а у тебя уж глаза стеклянные.

Но смерть что-то не шла.

«Бром? К чему бром? Разве бром помогает от разрыва?»

Все же руку я опустил к нижнему ящику, открыл его, стал шарить в нем, левой рукой держась за сердце. Брому не нашлось, обнаружил два порошка фенацетину и несколько стареньких фотографий. Вместо брома я выпил воды из холодного чайника, после чего мне показалось, что смерть отсрочена.

Прошел час. Весь дом по-прежнему молчал, и мне казалось, что во всей Москве я один в каменном мешке. Сердце давно успокоилось, и ожидание смерти уже представлялось постыдным. Я притянул насколько возможно мою казарменную лампу к столу и поверх ее зеленого колпака надел колпак из розовой бумаги, отчего бумага ожила. На ней я выписал слова: «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Затем стал писать, не зная еще хорошо, что из этого выйдет. Помнится, мне очень хотелось передать, как хорошо, когда дома тепло, часы, бьющие башенным боем в столовой, сонную дрему в постели, книги и мороз. И страшного человека в оспе, мои сны. Писать вообще очень трудно, но это почему-то выходило легко. Печатай этого я вообще не собирался.

Встал я из-за стола, когда в коридоре послышалось хриплое покашливание бабки Семеновны, женщины, ненавидимой мною всей душой за то, что она истязала своего сына, двенадцатилетнего Шурку. И сейчас даже, когда со времени этой ночи прошло шесть лет, я ненавижу ее по-прежнему.

Я откинул штору и увидел, что лампа больше не нужна, на дворе синело, на часах было семь с четвертью. Значит, я просидел за столом пять часов.

IV

Три жизни

С этой ночи каждую ночь в час я садился к столу и писал часов до трех-четырех. Дело шло легко ночью. Утром произошло объяснение с бабушкой Семеновной.

— Вы что же это. Опять у вас ночью светик горел?

— Так точно, горел.

— Знаете ли, электричество по ночам жечь не полагается.

— Именно для ночей оно и предназначено.

— Счетчик-то общий. Всем накладно.

— У меня темно от пяти до двенадцати вечера.

— Неизвестно тоже, чем это люди по ночам занимаются. Теперь не царский режим.

— Я печатаю червонцы.

— Как?

— Червонцы печатаю фальшивые.

— Вы не смейтесь, у нас домком есть для причесанных дворян. Их можно туда поселить, где интеллигенция, нам, рабочим, эти писания не надобны.

— Бабка, продающая тянучки на Смоленском, скорее частный торговец, чем рабочий.

— Вы не касайтесь тянучек, мы в особняках не жили. Надо будет на выселение вас подать.

— Кстати, о выселении. Если вы, Семеновна, еще раз начнете бить по голове Шурку и я услышу крик истязуемого ребенка, я подам на вас жалобу в народный суд, и вы будете сидеть месяца три, но мечта моя посадить вас на больший срок.

Для того, чтобы писать по ночам, нужно иметь возможность существовать днем. Как я существовал в течение времени с 1921 г. по 1923 г., я Вам писать не стану. Во-первых, Вы не поверите, во-вторых, это к делу не относится.

Но к 1923 году я возможность жить уже добыл.

На одной из своих абсолютно уж фантастических должностей со мной подружился один симпатичный журналист по имени Абрам.

Абрам меня взял за рукав на улице и привел в редакцию одной большой газеты, в которой он работал. Я предложил по его наущению себя в качестве обработчика. Так назывались в этой редакции люди, которые малограмотный материал превращали в грамотный и годный к печатанию.

Мне дали какую-то корреспонденцию из провинции, я ее переработал, ее куда-то унесли, и вышел Абрам с печальными глазами и, не зная, куда девать их, сообщил, что я найден негодным.

Из памяти у меня вывалилось совершенно, почему через несколько дней я подвергся вторичному испытанию. Хоть убейте, не помню. Но помню, что уже через неделю приблизительно я сидел за измызганным колченогим столом в редакции и писал, мысленно славословя Абрама.

Одно Вам могу сказать, мой друг, более отвратительной работы я не делал во всю свою жизнь. Даже сейчас она мне снится. Это был поток безнадежной серой скуки, непрерывной и неумолимой. За окном шел дождь.

Опять-таки не припоминаю, почему мне было предложено писать фельетон. Обработки мои здесь не играли никакой роли. Напротив, каждую секунду я ждал, что меня вытурят, потому что, я Вам только скажу по секрету, работник я был плохой, неряшливый, ленивый, относящийся к своему труду с отвращением.

Возможно (и кажется так), что сыграла здесь роль знаменитая, неподражаемая газета «Сочельник». Издавалась она в Берлине, и в ней я писал фельетоны. Какая-то дама, вся в шелках и кольцах, представительница этой газеты в Москве¹.

— Из этой заметочки лучше всего бы фельетон сделать.

¹ Здесь и далее — отточия авторские.

Секретарь взглянул на меня с удивлением.

— Но ведь вы не умеете?

Я покашлял.

— Попробуйте, — вдруг решительно сказал секретарь.

Я попробовал. Не припомню решительно, в чем там было дело. Какая-то лестница в библиотеке обледенела, рабочие падали с книжками. На другой день — это напечатали. Дальше — больше.

Среди скуки, в один прекрасный день ввалился наш знаменитый Июль, помощник редактора (его звали Юлий, а прозвали Июль), симпатичный человек, но фанатик, и заявил:

— Михаил, уж не ты ли пишешь фельетоны в «Сочельнике»?

Я поблбднел, решил, что пришел мой конец. «Сочельник» пользовался единодушным повальным презрением у всех на свете: его презирали за границей монархисты, московские беспартийные и, главное, коммунисты. Словом, это была еще в мире неслыханная газета.

Я поблбднел. Но, оказывается, что Июль хотел, чтобы я писал такие же хорошие фельетоны, как и в «Сочельнике». Я объяснил, что это, к сожалению, невозможно, что весь «Сочельник» другого стиля, фельетоны в нем также, но что я приложу все старания к тому, чтобы в газете Июля фельетоны выходили тоже хорошими.

И тут произошел договор. Меня переводили на жалование повыше того, чем у обработчика, а я за это обязывался написать восемь небольших фельетонов в месяц.

Так дело и пошло.

И стал я писать. Я писал о том, как.

Все это было мило, но вот в чем дело. Открою здесь еще один секрет: сочинение фельетона в строк семьдесят пять — сто занимало у меня, включая сюда и курение и посвистывание, от 18 до 22 минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой, — 8 минут. Словом, в полчаса все заканчивалось. Я подписывал фельетон или каким-нибудь глупым псевдонимом, или иногда зачем-то своей фамилией и нес его или к Июлю, или к другому помощнику редактора, который носил редко встречающуюся фамилию Навзикат.

Этот Навзикат был истинной чумой моей в течение лет трех. Выяснился Навзикат к концу третьих суток. Во-первых, он был неумеи. Во-вторых, груб. В-третьих — заносчив. С беспартийными сотрудниками, подчиненными ему, держал себя вызывающе, оскорблял их подозрительностью. В газетном деле ничего не понимал. Так что почему его назначили на столь ответственный пост, недоумеваю.

Навзикат начинал вертеть фельетон в руках и прежде всего искал в нем какой-нибудь преступной мысли по адресу самого советского строя. Убедившись, что явного вреда нет, он начинал давать советы и исправлять фельетон.

В эти минуты я нервничал, курил, испытывал желание ударить его пепельницей по голове.

Испортить по возможности фельетон, Навзикат ставил на нем пометку: «В набор», и день для меня заканчивался. Далее весь свой мозг я направлял на одну идею, как сбежать. Дело в том, что Июль лелеял такую схему в голове: все сотрудники, в том числе и фельетонисты, приходят мнута в минуту утром и сидят до самого конца в редакции, стараясь дать государству как можно более. При малейших уклонениях от этого честный Июль начинал худеть и истощаться.

Я же лелеял одну мысль, как бы удрать из редакции домой, в комнату, которую я ненавидел всею душой, но где лежала груда листов. По сути дела, мне совершенно незачем было оставаться в редакции. И вот происходил убой времени. Я, зеленея от скуки, начал таскаться из отдела в отдел, болтать с сотрудниками, выслушивать анекдоты, накуриваться до отупения.

Наконец, убив часа два, я исчезал.

Таким образом, мой друг, я зажил тройной жизнью. Одна в газете. День. Льет дождь. Скучно. Навзикат. Июль. Уходишь, в голове гудит и пусто.

Вторая жизнь. Днем после газеты я плелся в московское отделение редакции «Сочельника». Эта вторая жизнь мне нравилась больше первой. Там я мог несколько развернуть свои мысли.

Нужно Вам сказать, что, живя второю жизнью, я сочинил нечто листа на четыре приблизительно печатных. Повесть? Да нет, это была не повесть, а так что-то такое вроде мемуаров.

Отрывок из этого произведения искусства мне удалось напечатать в литературном приложении к «Сочельнику». Второй отрывок мне весьма удачно пришлось продать одному владельцу частного гастрономического магазина. Он пылал страстью к литературе и для того, чтобы иметь возможность напечатать свою новеллу под названием «Злодей», выпустил целый альманах. Там была, стало быть, новелла лавочника, рассказ Джека Лондона, рассказы советских писателей и отрывок Вашего слуги. Авторам он заплатил. Часть деньгами, часть шпротами. Следует отметить, что я впервые столкнулся здесь с цензурой. У всех было все благополучно, а у меня цензура выкинула несколько фраз. Когда эти фразы вывалились, произведение приобрело загадочный и бессмысленный характер, и, вне всяких сомнений, более контрреволюционный. Дальше заело. Сколько ни бегал по Москве с целью продать кому-нибудь кусок из моего произведения, я ничего не достиг. Кусок не прельщал никого, равно как и произведение в целом. В одном прочем месте мне сказал редактор, что считает написанное мной контрреволюционным и настойчиво советует мне более в таком роде не писать. Темные предчувствия тогда овладели мной, но быстро прошли. На выручку пришел «Сочельник». Прнехавший из Берлина один из заправил этого органа, человек с желтым портфелем из кожи какого-то тропического гада, прочитав написанное мной, изъявил желание напечатать полностью мое произведение.

Отделение «Сочельника», пользуясь нищетой, слякотью осени, предложило по 8 долларов за лист (16 рублей). Помню, то стыдясь за них, то изнывая в бессильной злобе, я получил кучку разноцветных безудержно падающих советских знаков.

Три месяца я ждал выхода рукописи и понял, что она не выйдет. Причина мне стала известна, над повестью повис нехороший цензурный знак. Они долго с кем-то шушукались и в Москве, и в Берлине.

И настали тем временем морозы. Обледенела вся Москва, и в драповом пальто как-то раз вечером я пришел в «Сочельник» и увидел там Рудольфа. Рудольф сидел в дьяконской шубе и с мокрыми ресницами. Разговорились.

— А вы ничего не сочиняете? — спросил Рудольф.

Я рассказал ему про свое сочинение. Было известно всем, что Рудольф очень любит печатать только людей, у которых уже есть имя, журнал свой (тогда он еще был тонким) он вел умно.

Снисходительно улыбнувшись, Рудольф сказал мне:

— А покажите-ка.

Я тотчас вынул рукопись из кармана (я даже спал с нею). Рудольф прочитал тут же все четыре листа и сказал:

— А знаете ли что? Я напечатаю отрывок.

Я всячески постарался не выдавать Рудольфу своей радости, но, конечно, выдал ее. Напечатать у Рудольфа что-нибудь мне было очень приятно, мне, человеку зимой в драповом пальто.

Честность всегда приводит к неприятностям. Я давно уже знаю, что жулики живут, во-первых, лучше честных, а во-вторых, пользуются дружным уважением. И все-таки я не удержался, чтобы не предупредить Рудольфа о том, что никто не хочет печатать этой вещи, потому что боятся цензуры. Сказал и испугался, что Рудольф вернет мне рукопись. Но на Рудольфа, к удивлению моему, это не произвело никакого впечатления. Помнится, он что-то мне заплатил за отрывок, и очень скоро я увидел его напечатанным. Это доставило мне громадное удовольствие. Не меньшее и то обстоятельство, что я был помещен на обложке в список сотрудников журнала.

Рассказываю Вам об этом незначительном случае в жизни, чтобы Вы знали, как я познакомился с Рудольфом.

И далее пошла вертеться зима. Третья жизнь. И третья жизнь моя цвела у письменного стола. Груда листов все пухла. Писал я и карандашом, и чернилом.

Меж тем фельетончики в газете дали себя знать. К концу зимы все было ясно. Вкус мой резко упал. Все чаще стали проскакивать в писаниях моих шаблонные словечки, истертые сравнения. В каждом фельетоне нужно было насмешить, и это приводило к грубостям. Лишь только я пытался сделать работу потоньше, на лице у палача моего Навзиката появлялось недоумение. В конце концов я махнул на все рукой и старался писать так, чтобы было смешно Навзикату. Волосы дыбом, дружок, могут встать от тех фельетончиков, которые я там насочинил.

Когда наступал какой-нибудь революционный праздник, Навзикат говорил:

— Надеюсь, что к послезавтрашнему празднику вы разразитесь хорошим героическим рассказом.

Я бледнел, и краснел, и мялся.

— Я не умею писать героические революционные рассказы,— говорил я Навзикату.

Навзикат этого не понимал. У него, как я уже давно понял, был странный взгляд на журналистов и писателей. Он полагал, что журналист может написать все, что угодно, и что ему безразлично, что ни написать. А меж тем, по некоторым соображениям, мне нельзя было объяснить Навзикату кой-что: например, для того, чтобы разразиться хорошим революционным рассказом, нужно, прежде всего, самому быть революционером и радоваться наступлению революционного праздника. В противном же случае, рассказ у того, кто им разразится по денежным или иным каким побуждениям, получится плохой. Сами понимаете, что на эту тему я с Навзикатом не беседовал. Июль был тоньше и умней и без бесед сообразил, что с героическими рассказами у меня не склеится. Печаль заволокла совершенно его бритую голову. Кроме того, я, спасая себя, украл к концу третьего месяца один фельетон, а к концу четвертого парочку, дав 7 и 6.

— Михаил,— говорил потрясенный Июль,— а ведь у тебя только шесть фельетонов.

Июль со всеми, начиная с наиответственного редактора и кончая уборщицей, был на «ты». И все ему платили тем же.

— Неужели только шесть? — удивлялся я.— Верно, шесть. Ты знаешь, Июль, у меня в последнее время частые мигрени.

— От пива,— поспешно вставил Июль.

— Не от пива, а от этих самых фельетонов.

— Помилуй, Михаил. Ты тратишь два часа в неделю на фельетон!

— Голубчик, если бы ты знал, чего стоит этот час.

— Ну, не понимаю... В чем дело!..

Навзикат сделал попытку прийти на помощь Июлю. Идеи рождались в его голове, как пузыри.

— Надеюсь, что вы разразитесь фельетоном по поводу французского министра.

Я почувствовал головокружение.

Вам, друг, объясняю, и Вы поймете: мыслимо ли написать хороший фельетон по поводу французского министра, если вам до этого министра нет никакого дела? Заметьте, вывод предreshен — вы должны этого министра выставить в смешном и нехорошем свете и обязательно обругать. Где министр, что министр? Фельетон политический можно хорошо написать лишь в том случае, если фельетонист сам искренне ненавидит этого министра. Азбука? Да?

Ну, давайте сочинять:

«Министр вошел в свой кабинет и позвонил...»

И стоп. Что дальше?

Ну, позвонил секретарю. А что он ему говорил?

Словом, в конце концов, отступились от меня. Навзикат в твердой уверенности, что я мелкий контрреволюционный спец, полегоньку саботирующий. Июль в уверенности, что я глубоко несчастливый человек из богемы, лентяй, заблудшая овца. Ни один из них не был прав, но один был ближе к истине.

На радостях, что я навеки избавился от французских министров и рурских горняков, я украл в том месяце 3 фельетона, дав 5 фельетонов. Стыжусь признаться, что в следующем я представил 4. Тут терпение Июля лопнуло, и он перевел меня на сдельную работу. Признаюсь, это меня очень расстроило. Мне очень хотелось бы, чтоб государство платило мне жалование, чтобы я ничего не делал, а лежал бы на полу у себя в комнате и сочинял бы роман. Но государство так не может делать, я это превосходно понимаю.

V

Он написан

В этот момент случилось что-то странное. В нижней квартире кто-то заиграл увертюру из «Фауста». Я был потрясен. Внизу было пианино, но давно уже никто на нем не играл. Мрачные звуки достигали ко мне. Я лежал на полу, почти уткнувшись лицом в стекло керосинки и смотрел на ад. Отчаяние мое было полным, я размышлял о своей ужасной жизни и знал, что сейчас она прервется наконец.

В голове возникли образы: к отчаянному Фаусту пришел Дьявол, ко мне же не придет никто. Позорный страх смерти кольнул меня еще раз, но я его стал побеждать таким способом: я представил себе, что меня ждет в случае, если я не решусь. Прежде всего, я вызвал перед глазами наш грязный коридор, гнусную уборную, представил себе крик замученного Шурки. Это очень помогло, и я, оскалив зубы, приложил ствол к виску. Еще раз испуг вызвало во мне прикосновение к коже холодного ствола.

«Никто не придет на помощь», — со злобой подумал я. Звуки глубокие и таинственные сочлились сквозь пол. В дверь постучали в то время, когда мой малодушный палец осторожно придвинулся к собачке. Именно благодаря этому стуку я чуть не пустил действительно себе пулю в голову, потому что от не-

ожиданности рука дрогнула и нажала собачку.

Но вездесущий Бог спас меня от греха. Автоматический пистолет был устроен без предохранителя. Для того, чтобы выстрелить, нужно было не только нажать собачку, но сжать весь револьвер в руке так, чтобы сзади вдавился в ручку второй спуск. Один без другого не производил выстрела. Так вот, о втором я забыл.

Стук повторился.

Я торопливо сунул револьвер в карман, записку скомкал и спрятал и крикнул сурово:

— Войдите! Кто там?

VI

При шпаге я!

Дверь отворилась беззвучно, и на пороге предстал Дьявол. Сын гибели, однако, преобразился. От обычного его наряда остался только черный бархатный берет, лихо надетый на ухо. Петушиного пера не было. Плаща не было, его заменила шуба на лисьем меху, и обыкновенные полосатые штаны облегали ноги, из которых одна была с копытом, упрятым в блестящую калошу.

Я, дрожа от страха, смотрел на гостя. Зубы мои стучали.

Багровый блик лег на лицо вошедшего снизу, и я понял, что черному пришлось в голову явиться ко мне в виде слуги своего Рудольфа.

— Здравствуйте,— молвил Сатана изумленно и снял берет и калоши.

— Здравствуйте,— отозвался я, все еще замирая.

— Вы что ж это на полу лежите? — осведомился черт.

— Да керосинка... видите ли... — проямлил я.

— Гм! — сказал Вельзевул.

— Садитесь, прошу вас.

— Мерси. А лампу нельзя зажечь?

— Видите ли. Лампочка у меня перегорела, а сейчас уже поздно...

Дьявол ухмыльнулся, расстегнул портфель и вынул электрическую лампочку, запакрованную в серый цилиндр.

— Вы так и носите с собой лампочки?

Дьявол усмехнулся снисходительно.

— Чистое совпадение,— ответил он,— только что купил.

Я ввинтил лампу, и неприятный свет озарил комнату. Дрожь моя прекратилась, и я внезапно сказал:

— А знаете ли, я до вашего прихода за минуту... гм... слышите, «Фауста» играют?

— Слышу!

Помолчали.

— А я шел мимо,— сказал дьявол,— да, думаю, вот, думаю, загляну.

— Очень приятно. Не прикажете ли чаю?

От чая дьявол отказался.

Помолчали.

— Роман написали? — вдруг после паузы спросил черт.

Я вздрогнул.

— Откуда вы знаете?

— Бусин говорил.

— Гм... Я Бусину не читал. А кто этот Бусин?

— Один человек, — ответил дьявол и зевнул.

— Написал, это верно, — отозвался я, страдая.

— А дайте-ка посмотреть, — сказал, скучая, сатана, — благо у меня сейчас время свободное.

— Видите ли, Рудольф Рафаилович, он не переписан, а почерк у меня ужасающий. Понимаете ли, букву «а» я пишу как «о», поэтому выходит...

— Это часто бывает, — сказал Мефистофель, зевая, — я каждый почерк читаю. Привычка. У вас в каком ящике он? В этом?

— Я, знаете ли, раздумал представлять его куда-нибудь.

— Почему? — спросил, прищурившись, Рудольф.

— Его цензура не пропустит.

Дьявол усмехнулся обольстительно.

— Откуда вы знаете?

— Говорили мне.

— Кто?

— Рюмкин, Плаксин, Порсов...

— Порсов, это маленький такой?

— Да, блондин.

— Я ведь не с тем, чтобы печатать, — объяснил лукавый, — а просто из любопытства. Люблю изящную словесность.

— Право... он мне разонравился... — и я сам не помню, как открыл ящик.

Дьявол снял шубу, повесил ее на гвоздик, надел пенсне, окончательно превратился в Рудольфа, взял первую тетрадь, и глаза его побежали по строкам. Это верно, по тому, как он перелистывал страницы, я убедился, что ни один самый нелепый почерк не может остановить его. Он читал как печатное.

Прошло четыре часа. За эти четыре часа лукавый подкреплялся только один раз. Он съел кусок булки с колбасой и выпил стакан чаю. Когда стрелки на часах стали «на караул», ровно в двенадцать ночи, Рудольф прочитал последние слова про звезды и закрыл пятую и последнюю тетрадь. Моей попытке настал конец, а за время ее я перечитал 1-й том «Записок Пиквикского клуба». Я старался не глядеть Рудольфу в глаза, не выдавать себя трусливым и жалким взглядом. Но глаза мои бежали.

«Ему не понравилось. Он брезгливо опустил углы губ, — подумал я, — я — несчастливцев... И зачем я давал читать?»

— Это черновик, видите ли, я его не исправлял еще... «Фу, и голос какой противный...»

— Ваша мама умерла? — спросил Рудольф.

— Да,— ответил я изумленно.

— А когда?

— Моя матушка скончалась в позапрошлом году от тифа, к великому моему горю,— сурово сказал я.

Дьявол выразил на лице вежливое официальное сожаление.

— А скажите, пожалуйста, где вы учились?

— В церковно-приходской школе,— ответил я проворно наобум. (Дело, видите ли, в том, что я тогда почему-то считал нужным скрывать свое образование. Мне было стыдно, что человек с таким образованием служит в газете, лежит перед керосинкой на полу и у него нет картин на стенах).

— Так,— сказал Рудольф, и глаза его сверкнули.

— Виноват, собственно, к чему эти вопросы?

— Графу Толстому подражаете,— заметил черт и похлопал пальцем по тетради.

— Какому именно Толстому,— осведомился я, раздраженный загадочностью вопросов Рудольфа,— Льву Николаевичу, Алексею Константиновичу или, может быть, еще более знаменитому Петру Андреевичу, заманившему царевича Алексея в ловушку?

— Однако! — молвил Рудольф и прибавил: — Да вы не сердитесь. А скажите, вы не монархист?

Как полагается всякому при таком вопросе, я побледнел как смерть.

— Помилуйте! — вскричал я.

Дьявол хитро прищурился, спросил:

— Скажите, вы сколько раз бреетесь в неделю?

— Семь раз,— ответил я, теряясь.

— Сидите у керосинки,— дьявол обвел глазами комнату,— один с кошкой и керосинкой, бреетесь каждый день... Кроме того, простите, еще один вопросик можно задать, каким образом вы достигаете того, что у вас пробор такой?

— Бриолином я смазываю голову,— ответил я хмуро,— но не всякий смазывающий голову бриолином так-таки обязательно монархист.

— О, я в ваши убеждения не вмешиваюсь,— отозвался дьявол. Потом помолчал, возвел глаза к закопченному потолку и процедил: — Бриолином голову...

Тут интонации его изменились. Сурово сверкнув стеклами пенсне, он сказал гробовым голосом:

— Роман ваш никто не печатает. Ни Римский, ни Агреев. И я вам не советую его даже носить никуда.

Дымчатый зверь вышел из-под стола, потерялся о мою ногу «Как мы с тобой живем, кошка, как живем»,— подумал я печально и поник.

— Есть только один человек на свете, который его может напечатать,— продолжал Рудольф,— и этот человек я!

Холод прошел под сердцем у меня, и я прислушался, но звуков «Фауста» более не слышал, дом уже спал.

— Я,— продолжал Рудольф,— напечатаю его в своем жур-

нале и даже издам отдельной книгой. И даже я вам деньги заплачу хорошие.

Тут он назвал чудовищно-ничтожную сумму.

— Я вам даже сейчас дам вперед пятьдесят рублей.

Я молчал.

— Нижеследующая просьба,— заговорил он вновь,— нельзя ли ваш пробор размочить на неделю? И даже вообще, я вам дружески советую, вы не носите его. И нельзя ли попросить вас не бриться эту неделю?

Я удивленно открыл рот.

— Завтра он будет перепечатан на машинке,— задумчиво сказал Рудольф.

— В нем 17 печатных листов! — испуганно отозвался я,— как он может быть перепечатан завтра?!

— Я,— железным голосом ответил дьявол,— завтра в 9 часов утра сдам его в бюро и посажу 12 машинисток, разниму его на 12 частей, и они перепишут его к вечеру.

Я понял, что мне не следует с ним спорить, я восхищенно лежал у его ног.

— Это обойдется целковых в полтораста, заметьте, на счет автора. Послезавтра утром я отвезу его в цензуру, а через три дня вы поедете со мною туда.

— Слушаю,— сказал я мертвым голосом.

— Там вы не будете произносить ни одного слова, и никаких проборов,— сурово сказал Рудольф.

Тут я опять произвел слабую попытку бунтовать.

— Разве я такой дурак,— забурчал я,— что мне нельзя и рта открыть? А если это так, то поезжайте один. Зачем я нужен?

— Вы нужны вот зачем,— ледяным голосом продолжал Рудольф,— он вздумает что-нибудь вычеркнуть. Что именно — мне неизвестно. Хотя кой о чем я догадываюсь. Так вот, вы изъявите полное свое согласие на все, что он ни скажет. И хорошо было бы даже, если бы вы сказали ему какой-нибудь комплимент. Вроде того, что вот, мол, как он здорово придумал и что вы, автор, находите, что с такими купюрами ваш роман стал лучше в два раза.

— До чего мне это не по вкусу,— забормотал я и вдруг произнес громовую филиппику по адресу цензуры. Продолжалась она пять минут. Рудольф, раскинувшись, сидел на дырявом диване и от удовольствия шурил глазки. Наконец я закрыл рот.

— Вы кончили?

— Кончил.

— Дитя! — сказал Рудольф и, вынув красный красивый шестигранный карандаш, вычеркнул из эпиграфа «Из Апокалипсиса».

— Это вы напрасно,— заметил я, заглядывая к нему через плечо,— ведь он, наверное, и так знает, откуда это?

— Ни черта он не знает,— угрюмо ответил Рудольф и тут же пробежал по всем пяти тетрадам и вычеркнул еще штук шесть фраз, каждый раз вежливо осведомляясь у меня: «Разреците?»

Затем он вручил мне пять червонцев, а затем сам он в бере-

те и мой роман провалились сквозь пол. Мне почудилось, что я видел клоч пламени, выскочивший из паркетной шашки, и долго еще пахло в комнате серой. Впрочем, может быть, это мне и показалось.

Уж давным-давно погасла оставленная мне в презент лампочка, и кошка заснула на газетах, а я все стрял у стекла и смотрел во мрак. Мой дом плыл, как многоярусный корабль, распустив черные паруса. Над ним варилось дымное месиво.

Когда я заснул, мне приснились юнкера 18-го года. Они шли валом и свистели и пели дикую песню. Сны кошки мне неизвестны. Надо полагать, что она видела во сне собак, а может быть, и людей. А это много страшнее¹.

VII

Размытая фотография

Что происходило в дальнейшем, Вам, бесценный друг, известно из ранее написанного: разорение человека с колосьями, кильки, и векселя, Рвацкий, чепуха.

Все остальное размыло в моей памяти начисто. Не помню ничего! Кажется, шел дождь. И еще знаю, что скука, одуряющая скука терзала меня. Она разливалась повсюду, она вошла в меня, и от нее гнила моя кровь. Помнится, видел я окурки и плевки на Страстной площади, каких-то баб с мокрыми подолами, Навзиката, нога у меня болела, и я, хромая, ходил в газету. И стал лохматый. Мимо! Мимо!²

VIII

Выход романа

И настал день, в который я все-таки дрогнул. Когда загорелись лампы и фонари и кубиковая мостовая залоснилась, я пошел в помещение Рвацкого. И вот вам доказательство того, как все размыло: не помню, весна ли это была, быть может, лето. Или февраль? Февраль? Не помню.

В помещении все изменилось. Ни килек не было, ни Рвацкого, но зато воздвигли какие-то фанерные перегородки, и в одной из клетушек восседал Рудольф под ослепительнейшей лампой, а перед ним в двух колоннах стояли свежевypущенные книжки журнала. Синие их обложки выглядели нарядно. Рудольф сиял и встретил меня теплым рукопожатием.

Перед Рудольфом сидел молодой человек совершенно особого типа. Я нередко встречал их в различных редакциях. Приметы их следующие. Лет от 25 до 30. Никогда не больше и не меньше. Одет прилично. Пиджак, а иногда и визитка, правда,

¹ Здесь в тексте пропуск до конца страницы.

² Здесь в тексте пропуск до конца страницы.

старенькая. Брючки непременно полосатые. Галстух непременно или длинный внешневого цвета, или бабочкой в клетку. Непременно с тростью, и трость с набалдашником из серебра. Непременно хорошо причесаны. Кто их родители? Чем они живут? Кто они такие — никто не знает. Сами они не пишут. На вопрос, как их фамилия, редакторы отвечают, шурясь:

— Фамилия? Пи... черт, забыл!

Они бывают в редакциях во все торжественные дни, в день выхода очередных книжек, в дни больших литературных скандалов, в дни закрытий журналов. Особая примета: любят шептаться с женщинами в редакциях, очень вежливы с ними и всех народных комиссаров называют дружески по имени и отчеству.

Так они не говорят:

— Народный комиссар такой-то.

Или:

— Т. такой-то...

А так:

— Вчера Анатолий Васильевич рассказывал нам, мы очень смеялись...

Из чего можно заключить, что они бывают у наркомов, что ли? Впрочем, не знаю.

Словом, он сидел уже тут.

Сел и я.

Рудольф немедленно обратился к незнакомцу и спросил его:

— Ну, как вы находите новый роман?

У меня дрогнуло сердце, я искоса глянул на руки молодому человеку. В них была книжка, раскрытая как раз на моем романе.

Молодой человек очень оживился и заговорил, картавя:

— Рудольф Максимыч! Не понимаю! Воля ваша! Что вас заставило напечатать его, решительно не понимаю. Во-первых, это вовсе не роман.

— А что же это? — спросил Рудольф, наслаждаясь моим лицом, глаза его пылали.

— Черт... не понимаю!.. Во всяком случае, с моей точки зрения, Рудольф Максимыч, это очень дурно, вы меня простите. Бездарно в полной мере! И, кроме того, здесь он пишет «петухи налетали». Петух не летает, Р[удольф] М[аксимыч]! Скажите это автору. Он бездарен, еще и неграмотен.

— А вы ему сами скажите, — ответил бандит Рудольф, — вот он. Познакомьтесь. Он утверждает, что кончил ц[ерковно]-п[рходскую] школу.

Я немедленно встал и, любезно оскалившись, протянул молодому человеку руку. Она была мертва и холодна. Он, бледный, закинулся на спинку стула и молчал все время, пока я получал у Рудольфа авторские экземпляры и вышел.

Но когда выходил, слышал тонкий вой:

— Рудольф Максимович!

И хохот весельчака Рудольфа.

Мой друг! Вам, наверное, приходилось читать такие сообщения:

«Французский писатель N. написал роман. Роман разошелся во Франции в течение месяца в количестве 600 тысяч экземпляров и переведен на немецкий, английский, итальянский, шведский и датский языки. В течение месяца бывший скромный (или клерк, или офицер, или приказчик, или начальник станции) приобрел мировую известность».

Через некоторое время в ваши руки попадает измызанный номер французского или немецкого иллюстрированного журнала, и вы видите избранника судьбы. Он в белых брюках и синем пиджаке. Волосы его растрепаны, потому что с моря дует ветер. Рядом с ним в короткой юбке и шляпе некрасивая женщина с чудесными зубами. На руках у нее лохматая собачонка с острыми ушами. Видна бортовая сетка парохода и кусок шезлонга, за сеткой лохматые волны. Подпись показывает, что счастлив избранник, он уезжает в Америку с женой и собачкой.

Отравленный завистью, скрипнув зубами, швыряете вы журнал на стол, закуриваете, нестерпимый смрад поднимается от годами не чищенной пепельницы. Пахнет в редакции сапогами и почему-то карболкой. На вешалке висят мокрые пальто сотрудников. Осень, но один из сотрудников пришел в капитанской кепке с белым верхом, и она мокнет и гниет на гвоздике. За стеклами идет дождь. Он шел вчера, идет сегодня и будет идти завтра...

Не солгу вам, мой друг, мой роман не только не вышел в количестве шестисот тысяч, но он не вышел и вовсе. Что касается же тех двух третей романа, что были напечатаны в журнале Рудольфа, то они не были переведены на датский язык, и в Америку с собачкой на яхте я не ездил. Даже более того, он настолько не произвел никакого впечатления, что иногда мне начинало казаться, будто он и вовсе не выходил. В течение месяцев двух я не встретил ни одной живой души, которая бы читала мой роман. Сам я зато перечитал напечатанное раз пятнадцать и пришел к выводу, что Рудольф ночью уволок у меня из комнаты черновика. Если бы над этими черновиками я просидел еще несколько месяцев, действительно можно было бы сделать приличный роман.

Итак, прошло два месяца. К концу второго месяца я, наконец, убедился, что люди, прочитавшие мое произведение искусства, на свете имеются.

В редакции встретил я развязного и выпившего поэта Вову Баргузина. Вова сказал:

— Читал, Мишенька, я ваш роман в журнале «Страна». Плохонький роман, Мишун, вы...¹

¹ На этом текст обрывается.

ДЬЯВОЛИАДА

Повесть о том, как близнецы погубили делопроизводителя

I

Происшествие 20-го числа

В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентризбазспимате (Главная Центральная База Спичечных Материалов) на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых 11 месяцев.

Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нее уверенность, что он — Коротков — будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так...

20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов пополудни.

Вернулся же кассир в 4^{1/2} часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку — портфель и сказал:

— Не напирайте, господа.

Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу — свою правую руку и молвил:

— Денег не будет.

— Завтра? — хором закричали женщины.

— Нет, — кассир замотал головой, — и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокинете.

— Как? — вскричали все и в том числе наивный Коротков.

— Граждане! — плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. — Я же прошу!

— Да как же? — кричали все и громче всех этот комик Коротков.

— Ну, пожалуйста, — сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.

Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами:

«Выдать. За т. Субботникова — Сенат».

Ниже фиолетовыми чернилами было написано:

«Денег нет. За т. Иванова — Смирнов».

— Как? — крикнул один Коротков, а остальные, пыхтя, навалились на кассира.

— Ах, ты, господи! — растерянно заныл тот. — При чем я тут. Боже ты мой!

Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул курицей, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» — и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.

За ним с писком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю.

И в комнате осталась она, босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.

II

Продукты производства

Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:

— Товарищ Коротков, идите жалованье получать.

— Как? — радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надписью «Касса». У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой пришил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:

«Выдать продуктами производства.

За т. Богоявленского — Преображенский.

И я полагаю — Кшесинский».

Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было 4 больших желтых пачки, 5 маленьких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел.

Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе:

— Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать.

Он постучался к соседке своей, Александре Федоровне, слушающей в Губвинскладе.

— Войдите, — глухо отозвалось в комнате.

Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненной жидкостью густого красного

цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.

— 46,— сказала она и повернулась к Короткову.

— Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федоровна,— вымолвил пораженный Коротков.

— Церковное вино,— всхлипнув, ответила соседка.

— Как, и вам? — ахнул Коротков.

— И вам церковное? — изумилась Александра Федоровна.

— Нам — спички,— угасшим голосом ответил Коротков и закурил пуговицу на пиджаке.

— Да ведь они же не горят! — вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.

— Как это так, не горят? — испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с шипением вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй — в левый глаз товарища Короткова.

— А-ах! — крикнул Коротков и выронил коробку.

Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.

— Ах, боже мой! — расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненного в бою.

Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычиркал он, таким образом, три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички.

— Врет, дура,— ворчал Коротков,— прекрасные спички.

Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидал дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный, живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, Коротков заснул и уже не просыпался.

III

Лысый появился

На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать.

Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Корот-

ков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом укомплектования запрашивал заведующего базой, — будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом, Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой т. Чекушина.

И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом.

Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была тоже, как яйцо, и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было обложено в расстегнутый, сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.

«Т-типик», — подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу.

— Что вам надо? — спросил лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того, Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недалековидный Коротков сделал то, чего делать ни в коем случае не следовало, — обиделся.

— Гм... довольно странно. Я иду с бумагой... А позвольте узнать, кто вы так...

— А вы видите, что на двери написано?

Коротков посмотрел на дверь и увидел давно знакомую надпись: «Без доклада не входить».

— Я и иду с докладом, — сгруппировался Коротков, указывая на свою бумагу.

Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками.

— Вы, товарищ, — сказал он, оглушая Короткова кастрюльными звуками, — настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Вообще тут у вас много

интересного, например эти подбитые глаза на каждом шагу. Ну, ничего, это мы все приведем в порядок. («А-а!» — ахнул про себя Коротков.) Дайте сюда!

И с последними словами неизвестный вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кармана штанов обгрызанный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.

— Ступайте! — рывкнул он и ткнул бумагу Короткову так, что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении, — в кабинете Чекушина не было.

Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку де-Руни, личную секретаршу т. Чекушина.

— А-ах! — ахнул т. Коротков. Глаз у Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом.

— Что это у вас?

— Спички! — раздраженно ответила Лидочка. — Проклятые.

— Кто там такой? — шепотом спросил убитый Коротков.

— Разве вы не знаете? — зашептала Лидочка. — Новый.

— Как? — пискнул Коротков. — А Чекушин?

— Выгнали вчера, — злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: — Ну и гу-у-сь. Вот это фрукт. Такого противного я в жизнь свою не видала. Орет! Уволить!.. Подштанники лысые! — добавила она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз.

— Как фа...

Коротков не успел спросить. За дверью кабинета грянул страшный голос: «Курьера!» Делопроизводитель и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь:

— Ай, яй, яй... Ну, Коротков, ты влопался. Нужно это дельце исправлять... «Неразвиты»... Хм... Нахал... Ладно! Вот ты увидишь, как это так Коротков неразвит.

И одним глазом делопроизводитель прочел писание лысого. На бумаге стояли кривые слова: «Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны».

— Вот это здорово! — восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах. Он немедленно вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил:

«Телефонограмма.

Заведующему отделом укомплектования точка В ответ на отношение ваше за № 0,15015 (6) от 19-го числа запятая Главспимат сообщает запятая что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны точка

Заведывающий тире подпись Делопроизводитель гире Варфоломеей Коротков точка».

Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал: — Заведующему на подпись.

Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел.

Четыре часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведывающий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких звуков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугуинный голос, как будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно, Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. В 3½ часа пополудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона:

— Уехали на машине.

Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой т. Коротков.

IV

Параграф первый — Коротков вылетел

На следующее утро Коротков с радостью убедился, что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, поэтому он с облегчением сбросил бинт и сразу похорошел и изменился. Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на 50 минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы Альпийской Розы пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де-Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Номерацкий, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир — словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана Альпийская Роза, а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание, и все потупились.

— Здравствуйте, господа, что это такое? — спросил удивленный Коротков.

Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке. Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый, ошеломляющий туман.

«П р и к а з № 1»

§ 1. «За недопустимо халатное отношение к своим обязан-

ностям, вызывающее вопнющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно».

Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись:

«Заведующий Кальсонер».

Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале Альпийской Розы царило идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло.

— Как? Как? — прозвенел два раза Коротков, совершенно как разбитый о каблук альпийский бокал. — Его фамилия Кальсонер?..

При страшном слове канцелярские брызнули в разные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменяло гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур.

— Ай, яй, яй, — загудел в отдалении, выглядывая из гробсбуха, Скворец, — как же вы это так, батюшка, промахнулись? А?

— Я думал, думал... — прохрустел осколками голоса Коротков, — прочитал вместо «Кальсонер» «кальсоны». Он с маленькой буквы пишет фамилию!

— Подштанники я не одену, пусть он успокоится! — хрустально звякнула Лидочка.

— Тсс! — змеей зашипел Скворец. — Что вы? — Он нырнул, спрятался в гробсбухе и прикрылся страницей.

— А насчет лица он не имеет права! — негромко выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым как гориостай. — Я нашим же сволочными спичками выжиг глаз, как и товарищ де-Руни!

— Тише! — пискинул побледневший Гитис. — Что вы? Он вчера испытывал их и нашел превосходными.

«Д-р-р-р-р-р-р-р» — неожиданно зазвенел электрический звонок над дверью... и тотчас тяжелое тело Пантелеймона упало с табурета и покатилося по коридору.

— Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! — высоко и тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он стал перед странной дверью и очутился в объятиях Пантелеймона.

— Товарищ Пантелеймон, — заговорил беспокойно Коротков. — Ты меня, пожалуйста,пусти. Мне нужно к заведующему сию минутку...

— Нельзя, нельзя, никого не велено пущать, — захрипел Паи-

телеймон и страшным запахом луку затушил решимость Короткова, — нельзя. Идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет...

— Пантелеймон, мне же нужно, — угасая, попросил Коротков, — тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ... Пустите меня, милый Пантелеймон.

— Ах ты ж, господи... — в ужасе обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон, — говорю вам, нельзя. Нельзя, товарищ!

В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и ухнул в медь тяжкий голос:

— Еду! Сейчас!

Пантелеймон и Коротков расступились: дверь распахнулась, и по коридору понесся Кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон впритруску побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побежал перед ним задом.

— Товарищ Кальсонер, — забормотал он прерывающимся голосом, — позвольте одну минуточку сказать... Тут я по поводу приказа...

— Товарищ! — звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая Короткова в беге. — Вы же видите, я занят? Еду! Еду!..

— Так я насчет прика...

— Неужели вы не видите, что я занят!.. Товарищ! Обратитесь к делопроизводителю.

Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган Альпийской Розы.

— Я ж делопроизводитель! — в ужасе облившийся потом, визгнул Коротков. — Выслушайте меня, товарищ Кальсонер!

— Товарищ! — заревел, как сирена, ничего не слушая, Кальсонер и, на ходу обернувшись к Пантелеймону, крикнул: — Примите меры, чтоб меня не задерживали!

— Товарищ! — испугавшись, захрипел Пантелеймон. — Что ж вы задерживаете?

И не зная, какую меру нужно принять, принял такую — ухватил Короткова поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась действительной, — Кальсонер ускользнул, словно на роликах скатился с лестницы и выскочил в парадную дверь.

— Пит! Питт! — закричала за стеклами мотоциклетка, выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла. Тут только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот с лица и проревел:

— Бе-да!

— Пантелеймон... — трясущимся голосом спросил Коротков. — Куда он поехал? Скорей скажи, он другого, понимаешь ли...

— Кажись, в Центроснаб.

Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шинельную, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.

Дьявольский фокус

Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с Альпийской Розой. Удачно прыгнув, Коротков понесся вперед, стучаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарахтела впереди трамвая, и Коротков то терял из глаз, то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут пять Короткова колотило и мяло на площадке, наконец у серого здания Центроснаба мотоциклетка стала. Квадратное тело закрылось прохожими и исчезло. Коротков на ходу вырвался из трамвая, повернулся по оси, упал, ушиб колено, поднял кепку и под носом автомобиля поспешил в вестибюль.

Покрывая полы мокрыми пятнами, десятки людей шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная спина мелькнула на втором марше лестницы, и, задыхаясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со странной, неестественной скоростью, и у Короткова сжималось сердце при мысли, что он упустит его. Так и случилось. На 5-й площадке, когда делопроизводитель совершенно обессилел, спина растворилась в гуще физиономий, шапок и портфелей. Как молния Коротков взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью, на которой было две надписи. Одна золотая по зеленому с твердым знаком «Дортуар пепиньерок», другая черным по белому без твердого «Начканцуправделснаб». Наудачу Коротков устремился в эти двери и увидел стеклянные огромные клетки и много белокурых женщин, бегавших между ними. Коротков открыл первую стеклянную перегородку и увидел за нею какого-то человека в синем костюме. Он лежал на столе и весело смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова, а возле собрания неизвестная пожилая женщина в платке взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу. В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоночки — там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых мелкозубых женщин. За последней перегородкой открывалось большое пространство с пухлыми колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе, и виднелась масса голов — женских и мужских, но кальсонеровой среди них не было. Запутавшись и завертевшись, Коротков остановил первую полавшуюся женщину, пробегавшую с зеркальцем в руках.

— Не видели ли вы Кальсонера?

Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза:

— Да, но он сейчас уезжает. Догоняйте его.

Коротков побежал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Проскакав зал, он очутился на узкой и темноватой площадке и увидел открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в

ноги Короткову, — догнал... пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель.

— Товарищ Кальсонер, — прокричал Коротков и окоченел. Зеленые круги в большом количестве запрыгали по площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, превратилась в богатырскую грудь. Все, все узнал Коротков: и серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной ассирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь. В мозгу Короткова немедленно родилась мысль: «Борода выросла, когда он ехал на мотоциклетке и поднимался по лестнице, — что же это такое?» И затем вторая: «Борода фальшивая, — это что же такое?»

А Кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот, борода, последними глазки и рот, выкрикнувший нежные теноровые слова:

— Поздно, товарищ, в пятницу.

«Голос тоже привязной», — стукнуло в коротковском черепе. Секунды три мучительно горела голова, но потом, вспомнив, что никакое колдовство не должно останавливать его, что остановка — гибель, Коротков двинулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на канате кровля. Томная красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и, нежно коснулась руки Короткова, спросила его:

— У вас, товарищ, порок сердца?

— Нет, ох нет, товарищ, — выговорил ошеломленный Коротков и шагнул в сетку, — не задерживайте меня.

— Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу, — сказала печально красавица, преграждая Короткову дорогу к лифту.

— Я не хочу! — плаксиво вскричал Коротков. — Товарищ! Я спешу. Что вы?

Но женщина осталась непреклонной и печальной.

— Ничего не могу сделать, вы сами знаете, — сказала она и придержала за руку Короткова. Лифт остановился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз.

— Пустите меня! — визгнул Коротков и, вырвав руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице. Пролетев шесть мраморных маршей и чуть не убив высокую перекрестившуюся старуху в наколке, он оказался внизу возле огромной новой стеклянной стены под надписью вверх серебром по синему: «Дежурные классные дамы» и внизу пером по бумаге: «Справочное». Темный ужас охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул Кальсонер. Кальсонер — иссиня-бритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и потряс ее, но она не подалась.

Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь и тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись: «Кругом, через 6-й подъезд».

Кальсонер мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом.

— Где шестой? Где шестой? — слабо крикнул он кому-то. Прохожие шарахнулись. Маленькая боковая дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок в синих очках с огромным списком в руках. Глянув на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами.

— Что? Все ходите? — зашамкал он. — Ей-богу, напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте. Все равно я вас уже вычеркнул. Хи-хи.

— Откуда вычеркнули? — остоленел Коротков.

— Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком — чирк, и готово — хи-хи, — старичок сладострастно засмеялся.

— Поз... вольте... Откуда же вы меня знаете?

— Хи. Шутник вы, Василий Павлович.

— Я Варфоломей, — сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб, — Петрович.

Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка.

Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным ногтем провел по строчкам.

— Что ж вы путаете меня? Вот он — Колобков, В. П.

— Я — Коротков, — нетерпеливо крикнул Коротков.

— Я и говорю: Колобков, — обиделся старичок. — А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место Кальсонера — Чекушин.

— Что?.. — не помня себя от радости, крикнул Коротков. — Кальсонера выкинули?

— Точно так-с. День всего успел поуправлять, и вышибли.

— Боже! — ликуя, воскликнул Коротков. — Я спасен! Я спасен! — И, не помня себя, он сжал костлявую когтистую руку старичка. Тот улыбнулся. На миг радость Короткова померкла. Что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и улыбка, обнажавшая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился.

— Стало быть, мне сейчас в Спимат нужно бежать?

— Обязательно, — подтвердил старичок, — тут и сказано — в Спимат. Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком.

Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в другой, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми, отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камнями, у нее что-то спросить и увидал, что красавица превратилась в уродливого, сопливого мальчишку.

— Голубчик! — бросился к нему Коротков. — Бумажник мой, желтый...

— Неправда это, — злобно ответил мальчишка, — не брал я, врут они.

— Да нет, милый, я не то... не ты... документы.

Мальчишка посмотрел исподлобья и вдруг заревел басом.

— Ах, боже мой! — в отчаянии вскричал Коротков и понесся вниз к старичку.

Но когда он прибежал, старичка уже не было. Он исчез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-чуть серой.

Мысли закрутились в голове Короткова метелью, и выпрыгнула одна ивовая: «Трамвай!» Он ясно вдруг вспомнил, как жали его на площадке двое молодых людей, один из них худенький, с черными, словно приклеенными усиками.

— Ах, беда-то, вот уж беда,— бормотал Коротков,— это уж всем бедам беда.

Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свернул в переулок и очутился у подъезда небольшого здания неприятной архитектуры. Серый человек, косой и мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону, спросил:

— Куда ты лезешь?

— Я, товарищ, Коротков, Вэ, Пэ, у которого только что украли документы... Все до единого... Меня забрать могут...

— И очень просто,— подтвердил человек на крыльце.

— Так вот позвольте...

— Пушай Коротков самолично и придет.

— Так я же, товарищ, Коротков.

— Удостоверение дай.

— Украли его у меня только что,— застонал Коротков,— украли, товарищ, молодой человек с усиками.

— С усиками? Это, стало быть, Колобков. Беспременно он. Он в нашем районе специально работает. Ты его теперь по чайным ищи.

— Товарищ, я не могу,— заплакал Коротков,— мне в Спимат нужно к Кальсонеру. Пустите меня.

— Удостоверение дай, что украли.

— От кого?

— От домового.

Коротков покинул крыльцо и побежал по улице.

«В Спимат или к домовому? — подумал он. — У домового прием с утра; в Спимат, стало быть».

В это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне, и тотчас из всех дверей побежали люди с портфелями. Наступили сумерки, и редкий мокрый снег пошел с неба.

«Поздно,— подумал Коротков,— домой».

VI

Первая ночь

В ушке замка торчала белая записка. В сумерках Коротков прочитал ее.

Я уезжаю к маме в Звенигород. Оставляю вам в подарок вино. Пейте на здоровье — его никто не хочет покупать. Они в углу.

Ваша А. Пайкова».

Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, в двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки, стоящие в углу коридора, зажег лампу и, как был, в кепке и пальто, повалился на кровать. Как зачарованный около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, растворяющийся в густых сумерках, потом вскочил и внезапно впал в какой-то припадок буйного характера. Сорвав кепку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил на пол пачки со спичками и начал топтать их ногами.

— Вот! Вот! Вот! — провыл Коротков и с хрустом давил чертовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову Кальсонера.

При воспоминании об яйцевидной голове, появилась вдруг мысль о лице бритом и бородатом, и тут Коротков остановился.

— Позвольте... как же это так?.. — прошептал он и провел рукой по глазам. — Это что же? Чего же это я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно. Ведь не двойной же он в самом деле?

Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но от этого не легчало. Двойное лицо, то обрастая бородой, то внезапно обриваясь, выплывало по временам из углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец, Коротков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет треснуть от напряжения, тихонечко заплакал.

Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчерашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к проклятой загадке, немного поплакал.

— Позвольте... — вдруг пробормотал он. — Чего же это я плачу, когда у меня есть вино?

Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут, — мучительно заболел левый висок, и жгуче и тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно закатывая глаза, повалился на постель. «Пирамидону бы...» — шептал он долго, пока мутный сон не сжалился над ним.

VII

Орган и кот

В 10 часов утра следующего дня Коротков наскоро вскипятил чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный, хлопотливый день, покинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На две-

ри флигеля было написано: «Домовой». Рука Короткова уже протянулась к кнопке, как глаза его прочитали: «По случаю смерти свидетельства не выдаются».

— Ах ты, господи,— досадливо воскликнул Коротков,— что же это за неудачи на каждом шагу.— И добавил: — Ну, тогда с документами потом, а сейчас в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин уже вернулся.

Пешком, так как деньги все были украдены, Коротков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцелярии он приостановился и открыл рот. Ни одного знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда, ни Лины Евграфовны, словом — никого. За столами, напоминая уже не воров и проволоку, а трех соколов Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинаковых бритых блондина в светло-серых клетчатых костюмах и одна молодая женщина с мечтательными глазами и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не обратили на Короткова никакого внимания и продолжали скрипеть в grossбухах, а женщина сделала Короткову глазки. Когда же он в ответ на это растерянно улыбнулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. «Странно», — подумал Коротков и, загнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался, вздохнул, глядя на старую милую надпись: «Делопроизводитель», открыл дверь и вошел. Свет немедленно померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено строча пером, сидел своей собственной персоной Кальсонер: Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь. Дыхание перехватило у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание.

— Что вам угодно, товарищ? — вежливо проворковал он фальцетом.

Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно:

— Кхм... я, товарищ, здешний делопроизводитель... То есть... ну да, ежели помните приказ...

Изумление изменило резко верхнюю часть лица Кальсонера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармонику.

— Извинюсь,— вежливо ответил он,— здешний делопроизводитель — я.

Временная немота поразила Короткова. Когда же она прошла, он сказал такие слова:

— А как же? Вчера то есть. Ах, ну да. Извините, пожалуйста. Впрочем, я спутал. Пожалуйста.

Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло:

— Коротков, припомни-ка, какое сегодня число?

И сам же себе ответил:

— Вторник, т. е. пятница. Тысяча девятьсот.

Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом

шаре слоновой кости две коридорные лампочки, и бритое лицо Кальсонера заслонило весь мир.

— Хорошо! — грохнул таз, и судорога свела Короткова. — Я жду вас. Отлично. Рад познакомиться.

С этими словами он пододвинулся к Короткову и так пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист на крыше.

— Штат я разверстал, — быстро, отрывисто и веско заговорил Кальсонер. — Трое там, — он указал на дверь в канцелярию, — и, конечно, Манечка. Вы — мой помощник. Кальсонер — делопроизводитель. Прежних всех в шею. И идиота Пантелеймона также. У меня есть сведения, что он был лакеем в Альпийской Розе. Я сейчас сбегая в отдел, а вы пока напишите с Кальсонером отношение насчет всех и в особенности насчет этого, как его... Короткова. Кстати: вы немного похожи на этого мерзавца. Только у того глаз подбитый.

— Я. Нет, — сказал Коротков, качаясь и с отвисшей челюстью, — я не мерзавец. У меня украли все документы. До единого. — Все? — выкрикнул Кальсонер. — Вздор. Тем лучше.

Он впился в руку тяжело задышавшего Короткова и, пробежав по коридору, втащил его в заветный кабинет и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съезжился и, закрыв глаза, забормотал: «Двадцатое было понедельник, значит, вторник, двадцать первое. Нет. Что я? Двадцать первый год. Исходящий № 0,15, место для подписи тире Варфоломей Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник на Пэ и пятница на Пэ, а воскресенье... вскрсс... на Эс, как и среда...»

Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение яростно зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее:

— Ага! Так. Так. Сию минуту приеду.

Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, прикрыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами:

— Ждите меня у Кальсонера.

Все решительно помутилось в глазах Короткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом:

«Предъявитель сего суть действительно мой помощник т. Василий Павлович Колобков, что действительно верно. Кальсонер».

— О-о! — простонал Коротков, роняя на пол бумагу и фуражку. — Что же это такое делается?

В эту же минуту дверь спела визгливо, и Кальсонер вернулся в своей бороде.

— Кальсонер уже удрал? — тоненько и ласково спросил он у Короткова.

Свет кругом потух.

— А-а-а-а-а... — взвыл, не вытерпев пытки, Коротков и, не помня себя, подскочил к Кальсонеру, оскалив зубы. Ужас изобра-

зился на лице Кальсонера до того, что оно сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь, он с грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросился бежать с криком:

— Курьер! Курьер! На помощь!

— Стойте. Стойте. Я вас прошу, товарищ... — опомнившись, выкрикнул Коротков и бросился вслед.

Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили как по команде. Мечтательные глаза женщины взметнулись у машины.

— Будут стрелять. Будут стрелять! — пронесся ее истерический крик.

Кальсонер выскочил в вестибюль на площадку с органом первым, секунду поколебался, куда бежать, рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Коротков бросился за ним, поскользнулся и, наверно, разбил бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полу коротковского пальто, гнилой шевнот с тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на холодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном захлопнулась за Кальсонером.

— Боже... — начал Коротков и не кончил.

В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул стакан, затем пыльное, утробное ворчание, странный хроматический писк и удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, бодрящая полнокровная струя, и весь желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри залежи застоявшегося звука:

Шумел, гремел пожар московский...

В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг, и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристыженная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками.

Ды-ым расстился по реке-е.

— Что я наделал? — ужаснулся Коротков.

Машина, провернув первые застоявшиеся волны, пошла ровно, тысячеголовым, львиным ревом и звоном наполняя пустынные залы Спимата.

А на стенах ворот кремлевских...

Сквозь вой и грохот, и колокола прорвался сигнал автомобиля, и тотчас Кальсонер возвратился через главный вход, — Кальсонер бритый, мстительный и грозный. В зловещем синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы зашевелились на Короткове, и, взвизгивая, он через боковые двери по кривой лестнице за органом выбежал на усыянный щерб-

нем двор, а затем на улицу. Как на угонке полетел он по улице, слушая, как вслед ему глухо рокотало здание Альпийской Розы:

Стоял он в сером сюртуке...

На углу извозчик, взмахивая кнутом, бешено рвал клячу с места.

— Господи! господи! — бурно зарыдал Коротков. — Опять он! Да что же это?

Кальсонер бородатый вырос из мостовой возле пролетки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину, приговаривая тоненьким голосом:

— Гони! Гони, негодяй!

Кляча рванула, стала лягать ногами, затем под жгучими ударами кнута понеслась, наполнив экипажным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика, а из-под нее разлетелись в разные стороны выющиеся денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул вожжи, но Кальсонер бешено начал тузить его в спину с воплем:

— Езжай! Езжай! Я заплачу.

Извозчик, выкрикнув отчаянно:

— Эх, ваше здоровье, погибать, что ли? — пустил клячу карьером, и все исчезло за углом.

Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несущееся над головой, пошатался и закричал болезненно:

— Довольно. Я так не оставляю! Я его разъясню. — Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеленого здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника:

— Где бюро претензий, товарищ?

— 8-й этаж, 9-й коридор, квартира 41-я, комната 302, — ответил чайник женским голосом.

— 8-й, 9-й, 41-й, триста... триста... сколько бишь... 302, — бормотал Коротков, избегая по широкой лестнице. — 8-й, 9-й, 8-й, стоп, 40... нет 42... нет, 302, — мычал он, — ах, боже, забыл... да 40-я, сороковая...

В 8-м этаже он миновал три двери, увидел на четвертой черную цифру «40» и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами. В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными отрывками. В отдалении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колоннами сошла, тяжело ступая, массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые отвисшие усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь необыкновенно вежливой, безжизненной гипсовой улыбкой, подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками:

— Ян Собесский.

— Не может быть... — ответил пораженный Коротков.

Мужчина приятно улыбнулся.

— Представьте, многие изумляются, — заговорил он с неправильными ударениями, — но вы не подумайте, товарищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом. О, нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии — Соцвосский. Это гораздо красивее и не так опасно. Впрочем, если вам неприятно, — мужчина обидчиво скриivil рот, — я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут.

— Помилуйте, что вы! — болезненно выкрикнул Коротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он оглянулся травленным взором, боясь, что откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина-скорлупа, а потом добавил суконным языком: — Я очень рад, да, очень...

Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке; нежно поднимая руку Короткова, он повлек его к столику, приговаривая:

— И я очень рад. Но вот беда, вообразите: мне даже негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наше значение (мужчина махнул рукой на катушки бумаги). Интриги... Но-о, мы развернемся, не беспокойтесь... Гм... Чем же вы порадуете нас новеньким? — ласково спросил он у бледного Короткова. — Ах, да, виноват, виноват тысячу раз, позвольте вас познакомить, — он изящно махнул белой рукой в сторону машинки, — Генриетта Потаповна Персимфанс.

Женщина тотчас же пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно.

— Итак, — сладко продолжал хозяин, — чем же вы нас порадуете? Фельетон? Очерки? — закатив белые глаза, протянул он. — Вы не можете себе представить, до чего они нужны нам.

«Царица небесная... что это такое?» — туманно подумал Коротков, потом заговорил, судорожно переводя дух:

— У меня... э... произошло ужасное. Он... Я не понимаю. Вы не подумайте, ради бога, что это галлюцинации... Кхм... ха-кха... (Коротков попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него.) Он живой. Уверяю вас... но я ничего не пойму, то с бородой, а через минуту без бороды. Я прямо не понимаю... И голос меняет... кроме того, у меня украли все документы до единого, а домового, как на грех, умер. Этот Кальсонер...

— Так я и знал, — вскричал хозяин, — это они?

— Ах, боже мой, ну, конечно, — отозвалась женщина, — ах, эти ужасные Кальсонеры.

— Вы знаете, — перебил хозяин взволнованно, — я из-за него сижу на полу. Вот-с, полюбуйтесь. Ну, что он понимает в журналистике?... — хозяин ухватил Короткова за пуговицу. — Будьте добры, скажите, что он понимает? Два дня он пробыл здесь и совершенно меня замучил. Но, представьте, счастье. Я ездил к Федору Васильевичу, и тот, наконец, убрал его. Я поставил воп-

рос остро: я или он. Его перевели в какой-то Спимат или, черт его знает, еще куда. Пусть воняет там этими спичками! Но мебель, мебель он успел передать в это проклятое бюро. Всю. Не угодно ли? На чем я, позвольте узнать, буду писать? На чем будете писать вы? Ибо я не сомневаюсь, что вы будете наш, дорогой (хозяин обнял Короткова). Прекрасную атласную мебель Луи Каторз этот прохвост безответственным приемом спихнул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно закроют к чертовой матери.

— Какое бюро? — глухо спросил Коротков.

— Ах, да эти претензии или как их там, — с досадой сказал хозяин.

— Как? — крикнул Коротков. — Как? Где оно?

— Там, — изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол. Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь № 40.

— Ах, черт! — ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо и через 5 минут опять был там же. № 40. Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и тут увидал хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки с обиженным лицом.

— Извините, что я не попрощался... — начал было Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа, и левая рука у него была отломана. Пятясь и холодея, Коротков выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь напротив вдруг открылась, и из нее вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле.

— Баба! Баба! — тревожно закричал Коротков. — Где бюро?

— Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец, — ответила баба, — да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разве мыслимо — десять этажов.

— У-у... д-дура, — стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь. Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода. Бросаясь в стены и царапаясь, как засыпанный в шахте, он, наконец, навалился на белое пятно, и оно выпустило его на какую-то лестницу. Дробно стуча, он побежал вниз. Шаги слышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он стал отставиваться. Еще миг — и показалась блестящая фуражка, мелькнуло серое одеяло и длинная борода. Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры, и оба завывали тонкими голосами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх, Кальсонер попятился вниз, полный неизбывного ужаса.

— Пойдите, — прохрипел Коротков, — минутку... вы только объясните...

— Спасите! — заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом упал вниз затылком: удар не прошел ему даром. Обернувшись в черного кота с фарфоровыми глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на мгн заволочла коротковскнй мозг, но тотчас свалилась, и наступило необыкновенное прояснение.

— Теперь все понятно,— прошептал Коротков и тихонько рассмеялся,— ага, понял. Вот оно что. Коты! Все понятно. Коты.

Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулкими раскатами.

VIII

Вторая ночь

В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и успокоить. Голова теперь у него болела вся: правый и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть поднималась со дна желудка, ходила внутри волнами, и два раза тов. Короткова рвало в таз.

— Я вот так сделаю,— слабо шептал Коротков, свесив вниз голову,— завтра я постараюсь не встречаться с ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду: в переулочке или в тупичке. Он себе мимо и пройдет. А если он погонится за мной, я убегу. Он и отстанет. Иди себе, мол, своей дорогой. И я уж больше не хочу в Спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведующим и делопроизводителем, и трамвайных денег я не хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое. Кот ты или не кот, с бородой или без бороды,— ты сам по себе, я сам по себе. Я себе другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни я никого не трогаю, ни меня никто. И претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы — и шабаш...

В отдаленнн глухо начали бить часы. Бам... бам... «Это у Пеструхиных»,— подумал Коротков и стал считать:

— Десять... одиннадцать... полночь, 13, 14, 15... 40... Сорок раз пробил часики,— горько усмехнулся Коротков, а потом опять заплакал. Потом его опять судорожно и тяжело стошнило церковным вином.

— Крепкое, ох, крепкое вино,— выговорил Коротков и со стоном откинулся на подушку. Прошло часа два, и непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы.

Машинная жуть

Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на 8-й этаж, повернул наобум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись «Комнаты 302—349». Следуя пальцу спасательной руки, он добрался до двери с надписью «302 — бюро претензий». Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней — смуглой и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова.

— Выйдем в коридор, — резко сказала матовая и судорожно поправила прическу.

«Боже мой, опять что-то...» — тоскливо мелькнуло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повиновался. Шесть оставшихся взволнованно зашущукали вслед.

Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала:

— Вы ужасны... Из-за вас я не спала всю ночь и решилась. Будь по-вашему. Я отдамся вам.

Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала:

— Что ж ты молчишь, соблазнитель? Ты покори меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.

Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова.

— Я отдамся тебе... — шепнуло у самого рта Короткова.

— Мне не надо, — сипло ответил он, — у меня украли документы.

— Тэк-с, — вдруг раздалось сзади.

Коротков обернулся и увидел люстринового старичка.

— А-ах! — вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь.

— Хи, — сказал старичок, — здорово. Куда ни придешь, вы, господин Колобков. Ну, и хват же вы. Да что там, целуй, не целуй, не выщелуете командировку. Мне, старичку, дали, мне и ехать. Вот что-с.

С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш.

— А заявлениице я на вас подам, — злобно продолжал лю-

стрин,— да-с. Растлили трех в главном отделе, теперь, стало быть, до подотделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют они теперь, бедные девочки, да ау, поздно-с. Не воротншь девичьей чести. Не воротншь.

Старичок вытащил большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.

— Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать, господин Колобков? Что ж... — Старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель,— берите, кушайте. Пушай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду помирает... Пушай, мол. Туда ему и дорога, старой собаке. Ну, только попомните, господин Колобков,— голос старичка стал пророчески грозным и налилса колоколами,— не пойдут онн вам впрок, денежки эти сатанинские. Колом в горле они у вас станут,— и старичок разлился в буйных рыданиях.

Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожиданно для самого себя он дробно затопал ногами.

— К чертовой матери! — тонко закричал он, и его больной голос разнесся по сводам.— Я не Колобков. Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду!

Он начал рвать на себе воротничок.

Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.

— Следующий! — каркнула дверь. Коротков смолк и кинулся в нее, свернув влево, миновав машинки, и очутился перед рослым изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:

— Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава или Иркутск?

— Документы украли,— дико озираясь, ответил растерзанный Коротков,— и кот появился. Не имеет права. Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер. У меня украли до...

— Ну, это вздор,— ответил сний,— обмундирование дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже и полушубок подержанный. Короче.

Он музыкально звукнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал:

— Пожалте, Сергей Николаевич.

И тотчас из ясеневового ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как зменная, шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду законченный секретарь, с пнском «Доброе утро», вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил.

Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему:

— Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это такое?..

— Естественно вылез,— ответил сний,— не лежать же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.

— Но как? Как? — зазвенел Коротков.

— Ах ты, господн,— взволновался снний,— не задерживайте, товарищ.

Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и радостно:

— Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43-м градусом широты и 5-м долготы.

— Ну и чудесно,— ответил блондин,— а то мне надоела эта волянка.

— Я не хочу! — вскричал Коротков, блуждая взором.— Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите!

— Товарищ, это в отделе брачующихся,— запищал секретарь,— мы ничего не можем сделать.

— О, дурашка! — воскликнула брюнетка, выглянув опять.— Соглашайся! Соглашайся! — кричала она суфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась.

— Товарищ! — зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы.— Товарищ! Умоляю тебя, дай документы. Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и я уйду в монастырь.

— Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложить письменно и устно, срочно и секретно — Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Разменом денег не затруднять! — выйдя из себя загремел блондин.

— Рукопожатия отменяются! — кукарекнул секретарь.

— Да здравствуют объятия! — страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею Короткова.

— Сказано в заповедн тринадцатой: не входи без доклада к ближнему твоему,— прошамкал люстринный и пролетел по воздуху, взмахивая лапами крылатки... — Я и не вхожу, не вхожу-с,— а бумажку все-таки подброшу, вот так, хлоп!.. подпишешь любую — и на скамье подсудимых.— Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки скалы на берегу.

Муть заходила в комнате, и окна стали качаться.

— Товарищ блондин! — плакал истомленный Коротков.— Застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой-ни на есть документик. Руку я тебе поцелую.

В мутн блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием.

— Черт с ним! — загремел блондин.— Черт с ним. Машинистки, гей!

Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Колыша бедрами, сладострастно поводя плечами,

взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.

Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами. «Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа».

— Надевай! — грохнул блондин в тумане.

— И-и-и-и,— тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова стола. Голове полегчало на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым.

— Валерьянки! — крикнул кто-то на потолке.

Крылатка, как черная птица, закрыла свет, старичок зашептал тревожно:

— Теперь одно спасение — к Дыркину в пятое отделение. Ходу! Ходу!

Запахло эфиром, потом руки нежно вынесли Короткова в полутемный коридор. Крылатка обняла Короткова и повлекла, шепча и хихикая:

— Ну, я уж им удружил: такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу! Ходу!.

Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть.

Х

Страшный Дыркин

Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Коротковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встретил Короткова словами:

— И чудесно. Вот я вас и арестую.

— Меня нельзя арестовать, — ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом, — потому что я неизвестно кто. Конечно. Ни арестовать, ни женить меня нельзя. А в Полтаву я не поеду.

Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки Короткову и стал оседать назад.

— Арестуй-ка, — пискнул Коротков и показал толстяку дрожащий бледный язык, пахнувший валерьянкой, — как ты арестуешь, ежели вместо документов — фига? Может быть, я Гогенцоллерн.

— Господи Иисусе, — сказал толстяк, трясущейся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого.

— Кальсонер не попадался? — отрывисто спросил Коротков и оглянулся. — Отвечай, толстун.

— Никак нет, — ответил толстяк, меняя розовую окраску на серенькую.

— Как же теперь быть? А?

— К Дыркину, не иначе,— пролепетал толстяк,— к нему самое лучшее. Только грозен. Ух, грозен! И не подходи. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон сломал нынче.

— Ладно,— ответил Коротков и залихватски сплюнул,— нам теперь все равно. Подымай!

— Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный,— нежно сказал толстяк, подсаживая Короткова в лифт.

На верхней площадке попался маленький лет шестнадцати и страшно закричал:

— Куда ты? Стой!

— Не бей, дяденька,— сказал толстяк, съевшись и закрыв голову руками,— к самому Дыркину.

— Проходи! — крикнул маленький.

Толстяк зашептал:

— Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке вас подожду. Больно жутко...

Коротков попал в темную переднюю, а из нее в пустынный зал, в котором был распростерт голубой вытертый ковер.

Перед дверью с надписью «Дыркин» Коротков немного колебался, но потом вошел и оказался в уютно обставленном кабинете с огромным малиновым столом и часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на пружине из-за стола и, вздыбив усы, рявкнул:

— М-молчать!.. — хоть Коротков еще ровно ничего не сказал.

В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыбовыми морщинами.

— А-а! — вскричал он сладко.— Артур Артурыч. Наше вам.

— Слушай, Дыркин,— заговорил юноша металлическим голосом,— ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмиритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер эмиритурные майские деньги? Ты? Отвечай, паршивая сволочь.

— Я?.. — забормотал Дыркин, колдовски превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина добряка.— Я, Артур Диктатурыч... Я, конечно... Вы это напрасно...

— Ах ты, мерзавец, мерзавец,— отдельно сказал юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку.

Коротков машинально охнул и застыл.

— То же будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела,— внушительно сказал юноша и, грозив на прощание Короткову красным кулаком, вышел.

Минуты две в кабинете стояло молчание, и лишь подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то грузовика.

— Вот, молодой человек,— горько усмехнувшись, сказал добрый и униженный Дыркин,— вот и награда за усердие. Ночей не досыпашь, не доедаешь, не допиваешь, а результат всегда один — по морде. Может быть, и вы с тем же пришли? Что ж... Бейте Дыркина, бейте. Морда у него, видно, казенная. Может

быть, вам рукой больно? Так вы канделябрик возьмите.

И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного стола. Ничего не понимая, Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув «караул», убежал через внутреннюю дверь.

— Ку-ку! — радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из нюрнбергского разрисованного домика на стене.

— Ку-клукс-клан! — закричала она и превратилась в лысую голову. — Запишем, как вы работников лупите!

Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью «исходящий» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина: «лови его, разбойника!», и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать.

XI

Парфорсное кино и бездна

С площадки толстяк скакнул в кабину, забросился сетками и ухнул вниз, а по огромной, изгрызенной лестнице побежали в таком порядке: первым черный цилиндр толстяка, за ним — белый исходящий петух, за петухом — канделябр, пролетевший в верхушке над острой белой головкой, затем Коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди, топочущие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном, и тревожно захлопали двери на площадках.

Кто-то свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в рупор:

— Какая секция переезжает? Несгораемую кассу забыли!

Женский голос внизу ответил:

— Бандиты!!

В огромные двери на улицу Коротков, обогнал цилиндр и канделябр, выскочил первым и, заглотав огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах, черная крылатка соткалась из воздуха и поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и протажным:

— Артельщиков бьют, товарищи!

По пути Короткова прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались тревожные сильные крики: «Держи». С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал:

— Началось!

Выстрелы летели теперь за Коротковым частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку, то сверху. Рыча-

ший, как кузнечный мех, Коротков стремился к гиганту — одиннадцатизэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулок. На самом углу — стеклянная вывеска с надписью «Restoran i pivo» треснула звездой, и пожилой извозчик пересел с козел на мостовую с томным выражением лица и словами:

— Здорово! Что ж вы, братцы, в кого попало, стало быть?..

Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел несколько саженей и вбежал в зеркальное пространство вестибюля. Мальчик в галунах и золоченых пуговках отскочил от лифта и заплакал.

— Садись, дядя. Садись! — проревел он. — Только не бей сиrotу!

Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх. И тотчас внизу, в вестибюле, загремели выстрелы и завертелись стеклянные двери.

Лифт мягко и тошно пошел вверх, мальчишка, успокоившись, утирал нос одной рукой, а другой перебирал веревку.

— Деньги покрал, дяденька? — с любопытством спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова.

— Кальсонера... атакуем... — задыхаясь, отвечал Коротков. — Да он в наступление перешел...

— Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где бильярдные, — посоветовал мальчишка, — там на крыше отсидишься, если с маузером.

— Давай наверх... — согласился Коротков.

Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка распахнул двери и, шмыгнув носом, сказал:

— Вылазь, дяденька, сыпь на крышу.

Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался. Снизу донесся нарастающий, поднимающийся гул, сбоку — стук каменных шагов через стеклянную перегородку, за которой мелькали встревоженные лица. Мальчишка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз.

Орлиным взором окинув позицию, Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем «вперед!» вбежал в бильярдную. Замелькали зеленые площадки с лоснящимися белыми шарами и бледные лица. Снизу совсем близко бухнул в оглушительном эхо выстрел, и со звоном где-то посыпались стекла. словно по сигналу игроки побросали кии и гуськом, топоча, кинулись в боковые двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную, и вмиг вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь,

и выросла вторая голова, за ней — третья. Шары полетели один за другим, и стекла полопались в перегородке. Перекатывающийся стук покрыл лестницу, и в ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезало в верхней части, как ножом, и тучей пудры понеслась штукатурка по всей бильярдной.

Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Разбежавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в третью стеклянную стену, за которой начиналась плоская асфальтированная кровля громады. Стена треснула и высыпалась. Коротков под бешущим огнем успел выкинуть на крышу пять пирамид, и они разбежались по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними выскочил Коротков и очень вовремя, потому что пулемет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы.

— Сдавайся! — смутно донеслось до него.

Перед Коротковым сразу открылось худосочное солнце над самой головой, бледненькое небо, ветерок и промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать тревожным, смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подскочил к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его замерло. Открылись перед ним кровли домов, казавшихся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи, и жучки-народ, и тотчас Коротков разглядел серенькие фигурки, проплывавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеянную золотыми сияющими головками.

— Окружили! — ахнул Коротков. — Пожарные.

Перегнувшись через парапет, он прицелился и пустил один за другим три шара. Они взвились, затем, описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще одну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустил и их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и исчезли. Короткову показалось, что жучки забегали встревоженно на залитой солнцем площади. Коротков наклонился, чтобы подхватить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском стекол в проломе бильярдной показались люди. Они сыпались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели серые фуражки, серые шинели, а через верхнее стекло, не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. Затем стена совсем распалась, и грозно выкатился на роликах страшный бритый Кальсонер со старинным мушкетером в руках.

— Сдавайся! — завывало спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас.

— Кончено, — слабо прокричал Коротков, — кончено. Бой проигран. Та-та-та! — запел он губами трубный отбой.

Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, Коротков взобрался на столб парапета, покачнувшись на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:

— Лучше смерть, чем позор!

Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков видел

протянутые руки, уже выскочило пламя изо рта Кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так, что у него захватило дух. С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. Вмиг перерезало ему дыхание. Неясно, очень неясно он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва, взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало вниз, а сам он поднялся вверх к узкой щели переулка, которая оказалась над ним. Затем кровавое солнце со звоном лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал.

1924 г.

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

(Повесть)

Глава I

Куррикулюм витэ¹ профессора Персикова

16 апреля 1928 года, вечером, профессор зоологии IV Государственного университета и директор зооинститута в Москве Персиков вошел в свой кабинет, помещающийся в зооинституте, что на улице Герцена. Профессор зажег верхний матовый шар и огляделся.

Начало ужасающей катастрофы нужно считать заложенным именно в этот злосчастный вечер, равно как первопричиною этой катастрофы следует считать именно профессора Владимира Ипатьевича Персикова.

Ему было ровно 58 лет. Голова замечательная, толкачом, лысая, с пучками желтоватых волос, торчащими по бокам. Лицо гладко выбритое, нижняя губа выпячена вперед. От этого персиковское лицо вечно носило на себе несколько капризный отпечаток. На красном носу старомодные маленькие очки в серебряной оправе, глазки блестящие, небольшие, росту высокого, сутуловат. Говорил скрипучим, тонким, квакающим голосом и среди других странностей имел такую: когда говорил что-либо веско и уверенно, указательный палец правой руки превращал в крючок и шурил глазки. А так как он говорил всегда уверенно, ибо эрудиция в его области у него была совершенно феноменальная, то крючок очень часто появлялся перед глазами собеседников профессора Персикова. А вне своей области, т. е. зоологии, эмбриологии, анатомии, ботаники и географии, профессор Персиков почти ничего не говорил.

Газет профессор Персиков не читал, в театр не ходил, а жена профессора сбежала от него с тенором оперы Зимина в 1913 году, оставив ему записку такого содержания:

«Невыносимую дрожь отвращения возбуждают во мне твои

¹ Жизненный путь (лат.).

лягушки. Я всю жизнь буду несчастна из-за них».

Профессор больше не женился и детей не имел. Был очень вспыльчив, но отходчив, любил чай с морошкой, жил на Пречистенке, в квартире из 5 комнат, одну из которых занимала сучонья старушка, экономка Марья Степановна, ходившая за профессором, как нянька.

В 1919 году у профессора отняли из 5 комнат 3. Тогда он заявил Марье Степановне:

— Если они не прекратят эти безобразия, Марья Степановна, я уеду за границу.

Нет сомнения, что если бы профессор осуществил этот план, ему очень легко удалось бы устроиться при кафедре зоологии в любом университете мира, ибо ученый он был совершенно первоклассный, а в той области, которая так или иначе касается земноводных или голых гадов, и равных себе не имел, за исключением профессоров Уильяма Веккля в Кембридже и Джакомо Бартоломео Беккари в Риме. Читал профессор на 4 языках, кроме русского, а по-французски и немецки говорил, как по-русски. Намерения своего относительно заграницы Персиков не выполнил, и 20-й год вышел еще хуже 19-го. Произошли события, и притом одно за другим. Большую Никитскую переименовали в улицу Герцена. Затем часы, врезанные в стену дома на углу Герцена и Моховой, остановились на 11 с $\frac{1}{4}$, и, наконец в террариях зоологического института, не вынеся всех пертурбаций знаменитого года, издохли первоначально 8 великолепных экземпляров квакшей, затем 15 обыкновенных жаб и, наконец, исключительнейший экземпляр жабы Суринамской.

Непосредственно вслед за жабами, опустошившими тот первый отряд голых гадов, который по справедливости назван классом гадов бесхвостых, переселился в лучший мир бессменный сторож института старик Влас, не входящий в класс голых гадов. Причина смерти его, впрочем, была та же, что и у бедных гадов, и ее Персиков определил сразу:

— Бескормица!

Ученый был совершенно прав: Власа нужно было кормить мукой, а жаб мучными червями, но поскольку пропала первая, постольку исчезли и вторые. Персиков оставшиеся 20 экземпляров квакш попробовал перевести на питание тараканами, но и тараканы куда-то провалились, показав свое злостное отношение к военному коммунизму. Таким образом, и последние экземпляры пришлось выкинуть в выгребные ямы на дворе института.

Действие смертей и в особенности Суринамской жабы на Персикова не поддается описанию. В смертях он целиком почему-то обвинил тогдашнего наркома просвещения.

Стоя в шапке и калошах в коридоре выставящего института, Персиков говорил своему ассистенту Иванову, изящнейшему джентльмену с острой белокурой бородкой:

— Ведь за это же его, Петр Степанович, убить мало! Что же они делают? Ведь они ж погубят институт! А? Бесподобный са-

мец, исключительный экземпляр Пипа американа, длиной в 13 сантиметров...

Дальше пошло хуже. По смерти Власа окна в институте замерзли насквозь, так что цветистый лед сидел на внутренней поверхности стекол. Издохли кролики, лисицы, волки, рыбы и все до единого ужи. Персиков стал молчать целыми днями, потом заболел воспалением легких, но не умер. Когда оправился, приходил 2 раза в неделю в институт и в круглом зале, где было всегда, почему-то не изменяясь, 5 градусов мороза, независимо от того, сколько на улице, читал в калошах, в шапке с наушниками и в кашие, выдыхая белый пар, 8 слушателям цикл лекций на тему «Пресмыкающиеся жаркого пояса». Все остальное время Персиков лежал у себя на Пречистенке на диване, в комнате, до потолка набитой книгами, под пледом, кашлял и смотрел в пасть огненной печурки, которую золочеными стульями топила Марья Степановна, вспомнил Суриинскую жабу.

Но все на свете кончается. Кончился 20-й и 21-й год, а в 22-м началось какое-то обратное движение. Во-первых: на месте покойного Власа появился Панкрат, еще молодой, но подающий большие надежды зоологический сторож, институт стали топить поемному. А летом Персиков, при помощи Панкрата, на Клязьме поймал 14 штук вульгарных жаб. В террариях вновь закипела жизнь... В 23-м году Персиков уже читал 8 раз в неделю — 3 в институте и 5 в университете, в 24-м году 13 раз в неделю и, кроме того, на рабфаках, а в 25-м, весной, прославился тем, что на экзаменах срезал 76 человек студентов и всех на голых гадах:

— Как, вы не знаете, чем отличаются голые гады от пресмыкающихся? — спрашивал Персиков. — Это просто смешно, молодой человек. Тазовых почек нет у голых гадов. Они отсутствуют. Так-то-с. Стыдитесь. Вы, вероятно, марксист?

— Марксист, — угасая, отвечал зарезанный.

— Так вот, пожалуйста, осенью, — вежливо говорил Персиков и бодро кричал Панкрату: — Давай следующего!

Подобно тому, как амфибии оживают после долгой засухи, при первом обильном дожде, ожил профессор Персиков в 1926 году, когда соединенная американо-русская компания выстроила, начав с угла Газетного переулка и Тверской, в центре Москвы, 15 пятнадцатизэтажных домов, а на окраинах 300 рабочих коттеджей, каждый на 8 квартир, раз и навсегда прикончив тот страшный и смешной жилищный кризис, который так терзал москвичей в годы 1919—1925.

Вообще это было замечательное лето в жизни Персикова, и порою он с тихим и довольным хихиканьем потирал руки, вспоминая, как он жался с Марьей Степановной в 2 комнаты. Теперь профессор все 5 получил обратно, расширился, расположил 2½ тысячи книг, чучела, диаграммы, препараты, зажег на столе зеленую лампу в кабинете.

Институт тоже узнать было нельзя: его покрыли кремовою краской, провели по специальному водопроводу воду в комнату

гадов, сменили все стекла на зеркальные, прислали 5 новых микроскопов, стеклянные препарационные столы, шары по 2000 ламп с отраженным светом, рефлекторы, шкапы в музей.

Персиков ожил, и весь мир неожиданно узнал об этом, лишь только в декабре 1926 года вышла в свет брошюра:

«Еще к вопросу о размножении бляшконосных или хитонов». 126 стр. «Известия IV Университета».

А в 1927-м, осенью, капитальный труд в 350 страниц, переведенный на 6 языков, в том числе японский:

«Эмбриология пип, чесночниц и лягушек». Цена 3 руб. Госиздат.

А летом 1928 года произошло то невероятное, ужасное....

Глава II

Цветной завиток

Итак, профессор зажег шар и огляделся. Зажег рефлектор иа длинном экспериментальном столе, надел белый халат, позволил какими-то инструментами на столе...

Многие из 30 тысяч механических экипажей, бегавших в 28-м году по Москве, проскакивали по улице Герцена, шурша по гладким торцам, и через каждую минуту с гулом и скрежетом скатывался с Герцена к Моховой трамвай 16, 22, 48 или 53-го маршрута. Отблески разноцветных огней забрасывал в зеркальные стекла кабинета, и далеко и высоко был виден рядом с темной и грузной шапкой Храма Христа туманный, бледный месячный серп.

Но ни он, ни гул весенней Москвы нисколько не занимали профессора Персикова. Он сидел на винтящемся трехионом табурете и побуревшими от табаку пальцами вертел кремальеру великолепного цейсовского микроскопа, в который был заложен обыкновенный неокрашенный препарат свежих амёб. В тот момент, когда Персиков менял увеличение с 5 на 10 тысяч, дверь приоткрылась, показалась остренькая борода, кожаный нагрудник, и ассистент позвал:

— Владимир Ипатьич, я установил брызжейку, не хотите ли взглянуть?

Персиков живо сполз с табурета, бросив кремальеру на полдороге, и, медленно вертя в руках папироску, прошел в кабинет ассистента. Там, на стеклянном столе, полузадушенная и обмершая от страха и боли лягушка была распята на пробковом штативе, а ее прозрачные слюдяные внутренности вытянуты из окровавленного живота в микроскоп.

— Очень хорошо,— сказал Персиков и припал глазом к окуляру микроскопа.

Очевидно, что-то очень интересное можно было рассмотреть в брызжейке лягушки, где, как на ладони видные, по рекам сосудов бойко бежали живые кровяные шарики. Персиков забыл

о своих амебах и в течение полутора часа по очереди с Ивановым припадал к стеклу микроскопа. При этом оба ученые перебрашивались оживленными, но непонятными простым смертным словами.

Наконец Персиков отвалился от микроскопа, заявив:

— Сворачивается кровь, ничего не поделаешь.

Лягушка тяжело шевельнула головой, и в ее потухающих глазах были явственны слова: «сволочи вы, вот что...»

Разминая затекшие ноги, Персиков поднялся, вернулся в свой кабинет, зевнул, потер пальцами вечно воспаленные веки и, присев на табурет, заглянул в микроскоп, пальцы он наложил на кремальеру и уже собирался двинуть винт, но не двинул. Правым глазом видел Персиков мутноватый белый диск и в нем смутных бледных амеб, а посредине диска сидел цветной завиток, похожий на женский локон. Этот завиток и сам Персиков и сотни его учеников видели очень много раз, и никто не интересовался им, да и незачем было. Цветной пучочек света лишь мешал наблюдению и показывал, что препарат не в фокусе. Поэтому его безжалостно стирали одним поворотом винта, освещая поле ровным белым светом. Длинные пальцы зоолога уже вплотную легли на нарезку винта и вдруг дрогнули и слезли. Причиной этого был правый глаз Персикова, он вдруг насторожился, изумился, наполнился даже тревогой. Не бездарная посредственность на горе республике сидела у микроскопа. Нет, сидел профессор Персиков! Вся жизнь, его помыслы сосредоточились в правом глазу. Минут пять в каменном молчании высшее существо наблюдало низшее, мучая и напрягая глаз над стоящим вне фокуса препаратом. Кругом все молчало. Панкрат заснул уже в своей комнате в вестибюле, и один только раз в отдалении музыкально и нежно прозвенели стекла в шкапах — это Иванов, уходя, запер свой кабинет. За ним простонала входная дверь. Потом уже послышался голос профессора. У кого он спросил — неизвестно.

— Что такое? Ничего не понимаю...

Запоздалый грузовик прошел по улице Герцена, колыхнув старые стены института. Плоская стеклянная чашечка с пинцетами звякнула на столе. Профессор побледнел и занес руки над микроскопом, так, словно мать над дитятей, которому угрожает опасность. Теперь не могло быть и речи о том, чтобы Персиков двинул винт, о нет, он боялся уже, чтобы какая-нибудь посторонняя сила не вытолкнула из поля зрения того, что он увидал.

Было полное белое утро с золотой полосой, перерезавшей кремное крыльцо института, когда профессор покинул микроскоп и подошел на онемевших ногах к окну. Он дрожащими пальцами нажал кнопку, и черные глухие шторы закрыли утро, и в кабинете ожила мудрая ученая ночь. Желтый и вдохновенный Персиков растопырил ноги и заговорил, уставившись в паркет слезящими глазами.

— Но как же это так? Ведь это же чудовишно!.. Это чудовишно, господа,— повторил он, обращаясь к жабам в террарии,

но жабы спали и ничего ему не ответили.

Он помолчал, потом подошел к выключателю, поднял шторы, потушил все огни и заглянул в микроскоп. Лицо его стало напряженным, он сдвинул кустоватые желтые брови.

— Угу, угу,— пробурчал он,— пропал. Понимаю. По-о-нимаю,— протянул он сумасшедше и вдохновенно глядя на погасший шар над головой,— это просто.

И он вновь опустил шипящие шторы и вновь зажег шар. Заглянул в микроскоп, радостно и как бы хищно осклабился.

— Я его поймаю,— торжественно и важно сказал он, поднимая палец кверху,— поймаю. Может быть, и от солнца.

Опять шторы взвились. Солнце теперь было налицо. Вот оно залило стены института и косяком легло на торцах Герцена. Профессор смотрел в окно, соображая, где будет солнце днем. Он то отходил, то приближался, легонько пританцовывая, и наконец животом лег на подоконник.

Приступил к важной и таинственной работе. Стеклянным колпаком накрыл микроскоп. На синеватом пламени горелки расплавил кусок сургуча и края колокола припечатал к столу, а на сургучных пятнах оттиснул свой большой палец. Газ потушил, вышел и дверь кабинета запер на английский замок.

Полусвет был в коридорах института. Профессор добрался до комнаты Панкрата и долго и безуспешно стучал в нее. Наконец, за дверью послышалось урчанье как бы цепного пса, харканье и мычанье, и Панкрат в полосатых подштанниках, с завязками на шиколотках предстал в светлом пятне. Глаза его дико уставились на ученого, он еще легонько поддвигал со сна.

— Панкрат,— сказал профессор, глядя на него поверх очков,— извини, что я тебя разбудил. Вот что, друг, в мой кабинет завтра утром не ходить. Я там работу оставил, которую сдвигать нельзя. Понял?

— У-у-у, по-по-понял,— ответил Панкрат, ничего не поняв. Он пошатывался и рычал.

— Нет, слушай, ты проснись, Панкрат,— молвил зоолог и легонько потыкал Панкрата в ребра, отчего у того на лице появился испуг и некоторая тень осмысленности в глазах.— Кабинет я запер,— продолжал Персигов,— так убирать его не нужно до моего прихода. Понял?

— Слушаю-с,— прохрипел Панкрат.

— Ну вот и прекрасно, ложись спать.

Панкрат повернулся, исчез в двери и тотчас обрушился на постель, а профессор стал одеваться в вестибюле. Он надел серое летнее пальто и мягкую шляпу, затем, вспомнив про картину в микроскопе, уставился на свои калоши и несколько секунд глядел на них, словно видел их впервые. Затем левую надел и на левую хотел надеть правую, но та не полезла.

— Какая чудовищная случайность, что он меня отозвал,— сказал ученый,— иначе я его так бы и не заметил. Но что это сулит?.. Ведь это сулит черт знает что такое!..

Профессор усмехнулся, прищурился на калоши и левую снял, а правую надел.— Боже мой! Ведь даже нельзя представить себе всех последствий...— Профессор с презрением ткнул левую калошу, которая раздражала его, не желая налезать на правую, и пошел к выходу в одной калоше. Тут же он потерял носовой платок и вышел, хлопнув тяжелою дверью. На крыльце он долго искал в карманах спичек, хлопая себя по бокам, нашел и тронулся по улице с незажженной папиросой во рту.

Ни одного человека ученый не встретил до самого храма. Там профессор, задрав голову, приковался к золотому шлему. Солнце сладостно лизало его с одной стороны.

— Как же раньше я не видал его, какая случайность?.. Тыфу, дурак,— профессор наклонился и задумался, глядя на разно обутые ноги,— гм... как же быть? К Панкрату вернуться? Нет, его не разбудишь. Бросить ее, подлую, жалко. Придется в руках нести.— Он снял калошу и брезгливо понес ее.

На стареньком автомобиле с Пречистенки выехали трое. Двое пьяненьких и на коленях у них ярко раскрашенная женщина в шелковых шароварах по моде 28-го года.

— Эх, папаша! — крикнула она низким сиповатым голосом.— Что ж ты другую-то калошу пропил!

— Видно, в Альказаре набрался старичок,— завыл левый пьяненький, правый высунулся из автомобиля и прокричал:

— Отец, что, ночная на Волхонке открыта? Мы туда!

Профессор строго посмотрел на них поверх очков, выронил изо рта папиросу и тотчас забыл об их существовании. На Пречистенском бульваре рождалась солнечная прорезь, а шлем Христа начал пылать. Вышло солнце.

Глава III

Персигов поймал

Дело было вот в чем. Когда профессор приблизил свой гениальный глаз к окуляру, он впервые в жизни обратил внимание на то, что в разноцветном завитке особенно ярко и жирно выделялся один луч. Луч этот был ярко-красного цвета и из завитка выпадал, как маленькое острие, ну, скажем, с иголку, что ли.

Просто уж такое несчастье, что на несколько секунд луч этот приковал наметанный глаз виртуоза.

В нем, в луче, профессор разглядел то, что было в тысячу раз значительнее и важнее самого луча, непрочного дитяти, случайно родившегося при движении зеркала и объектива микроскопа. Благодаря тому, что ассистент отозвал профессора, амёбы пролежали полтора часа под действием этого луча, и получилось вот что: в то время, как на диске вне луча зернистые амёбы валялись вяло и беспомощно, в том месте, где пролегал красный заостренный меч, происходили странные явления. В красной полосочке кипела жизнь. Серенькие амёбы, выпуская ложноножки, тяну-

лись из всех сил в красную полосу и в ней (словно волшебным образом) оживали. Какая-то сила вдохнула в них дух жизни. Они лезли стаями и боролись друг с другом за место в луче. В нем шло бешеное, другого слова не подобрать, размножение. Ломая и опрокидывая все законы, известные Персикову как свои пять пальцев, они почковались на его глазах с молниеносной быстротой. Они разваливались на части в луче, и каждая из частей в течение 2 секунд становилась новым и свежим организмом. Эти организмы в несколько мгновений достигали роста и зрелости лишь затем, чтобы в свою очередь тотчас же дать новое поколение. В красной полосе, а потом и во всем диске стало тесно, и началась неизбежная борьба. Вновь рожденные яростно набрасывались друг на друга и рвали в клочья и глотали. Среди рожденных лежали трупы погибших в борьбе за существование. Побеждали лучшие и сильные. И эти лучшие были ужасны. Во-первых, они объемом приблизительно в два раза превышали обыкновенных амев, а во-вторых, отличались какою-то особенной злобой и резвостью. Движения их были стремительны, их ложноножки гораздо длиннее нормальных, и работали они ими, без преувеличения, как спруты щупальцами.

Во второй вечер профессор, осунувшийся и побледневший, без пищи, взвинчивая себя лишь толстыми самокрутками, изучал новое поколение амев, а в третий день он перешел к первоисточнику, то есть к красному лучу.

Газ тихонько шипел в горелке, опять по улице шаркало движение, и профессор, отравленный сотой папиросою, полузакрыв глаза, откинулся на спинку винтового кресла.

— Да, теперь все ясно. Их оживил луч. Это новый, не исследованный никем, никем не обнаруженный луч. Первое, что придется выяснить, это — получается ли он только от электричества или также и от солнца, — бормотал Персиков самому себе.

И в течение еще одной ночи это выяснилось. В три микроскопа Персиков поймал три луча, от солнца ничего не поймал и выразился так:

— Надо полагать, что в спектре солнца его нет... гм... ну, одним словом, надо полагать, что добыть его можно только от электрического света. — Он любовно поглядел на матовый шар сверху, вдохновенно подумал и пригласил к себе в кабинет Иванова. Он все ему рассказал и показал амев.

Приват-доцент Иванов был поражен, совершенно раздавлен: как же такая простая вещь, как эта тоненькая стрела, не была замечена раньше, черт возьми! Да кем угодно, и хотя бы им, Ивановым, и действительно это чудовищно! Вы только посмотрите...

— Вы посмотрите, Владимир Ипатьич! — говорил Иванов, в ужасе прилипа глазом в окуляру. — Что делается?! Они растут на моих глазах... Гляньте, гляньте...

— Я их наблюдаю уже третий день, — вдохновенно ответил Персиков.

Затем произошел между двумя учеными разговор, смысл которого сводился к следующему: приват-доцент Иванов берется соорудить при помощи линз и зеркал камеру, в которой можно будет получить этот луч в увеличенном виде и вне микроскопа. Иванов надеется, даже совершенно уверен, что это чрезвычайно просто. Луч он получит, Владимир Ипатьич может в этом не сомневаться. Тут произошла маленькая заминка.

— Я, Петр Степанович, когда опубликую работу, напишу, что камеры сооружены вами,— вставил Персиков, чувствуя, что заминочку надо разрешить.

— О, это не важно... Впрочем, конечно...

И заминка тотчас разрешилась. С этого времени луч поглотил и Иванова. В то время как Персиков, худея и истощаясь, просиживал дни и половину ночей за микроскопом, Иванов возился в сверкающем от ламп физическом кабинете, комбинируя линзы и зеркала. Помогал ему механик.

Из Германии, после запроса через комиссариат просвещения, Персикову прислали три посылки, содержащие в себе зеркала, двояковыпуклые, двояковогнутые и даже какие-то выпукло-вогнутые шлифованные стекла. Кончилось все это тем, что Иванов соорудил камеру и в нее действительно уловил красный луч. И надо отдать справедливость, уловил мастерски: луч вышел жирный, сантиметра 4 в поперечнике, острый и сильный.

1-го июня камеру установили в кабинете Персикова, и он жадно начал опыты с икрой лягушек, освещенной лучом. Опыты эти дали потрясающие результаты. В течение двух суток из икринок вылупились тысячи головастиков. Но этого мало, в течение одних суток головастики выросли необычайно в лягушек, и до того злых и прожорливых, что половина их тут же была перелопана другой половиной. Зато оставшиеся в живых начали вне всяких сроков метать икру и в 2 дня уже без всякого луча вывели новое поколение, и при этом совершенно бесчисленное. В кабинете ученого началось черт знает что: головастики расползались из кабинета по всему институту, в террариях и просто на полу, во всех закоулках завывали зычные хоры, как на болоте. Панкрат, и так боявшийся Персикова как огня, теперь испытывал по отношению к нему одно чувство: мертвенный ужас. Через неделю и сам ученый почувствовал, что он шалест. Институт наполнился запахом эфира и цианистого калия, которым чуть-чуть не отравился Панкрат, не вовремя снявший маску. Разросшееся болотное поколение, наконец, удалось перебить ядами, кабинеты проветрить.

Иванову Персиков сказал так:

— Вы знаете, Петр Степанович, действие луча на дейтероплазму и вообще на яйцеклетку изумительно.

Иванов, холодный и сдержанный джентльмен, перебил профессора необычным тоном:

— Владимир Ипатьич, что же вы толкуете о мелких деталях, о дейтероплазме. Будем говорить прямо: вы открыли что-то

неслыханное,— видимо, с большой потугой, но все же Иванов выдавил из себя слова: — профессор Персиков, вы открыли луч жизни!

Слабая краска показалась на бледных, небригых скулах Персикова.

— Ну-ну-ну,— пробормотал он.

— Вы,— продолжал Иванов,— вы приобретете такое имя... У меня кружится голова. Вы понимаете,— продолжал он страстно,— Владимир Ипатьич, герои Уэльса по сравнению с вами просто вздор... А я-то думал, что это сказки.. Вы помните его «Пищу богов»?

— А, это роман,— ответил Персиков.

— Ну да, господи, известный же!..

— Я забыл его,— ответил Персиков,— помню, читал, но забыл.

— Как же вы не помните, да вы гляньте,— Иванов за ножку поднял со стеклянного стола невероятных размеров мертвую лягушку с распухшим брюхом. На морде ее даже после смерти было злобное выражение,— ведь это же чудовищно!

Глава IV

Попадья Дроздова

Бог знает почему, Иванов ли тут был виноват, или потому, что сенсационные известия передаются сами собой по воздуху, но только в гигантской кипящей Москве вдруг заговорили о луче и о профессоре Персикове. Правда, как-то вскользь и очень туманно. Известие о чудодейственном открытии прыгало, как подстреленная птица, в светящейся столице, то исчезая, то вновь взвиваясь, до половины июля, когда на 20-й странице газеты «Известия» под заголовком «Новости науки и техники» появилась короткая заметка, трактующая о луче. Сказано было глухо, что известный профессор IV Университета изобрел луч, невероятно повышающий жизнедеятельность низших организмов, и что луч этот нуждается в проверке. Фамилия, конечно, была перевернута и напечатано: «Певсиков».

Иванов принес газету и показал Персикову заметку.

— «Певсиков»,— проворчал Персиков, возясь с камерой в кабинете,— откуда эти свистуны все знают?

Увы, перевернутая фамилия не спасла профессора от событий, и они начались на другой же день, сразу нарушив всю жизнь Персикова.

Панкрат, предварительно постучавшись, явился в кабинет и вручил Персикову великолепнейшую атласную визитную карточку.

— Он тамотко,— робко прибавил Панкрат.

На карточке было напечатано изящным шрифтом

*Альфред Аркадьевич
Бронский.*

Сотрудник московских журналов — «Красный огонек»,
«Красный перец», «Красный журнал»,
«Красный проектор» и газеты «Красная вечерняя газета».

— Гони его к чертовой матери,— монотонно сказал Персиков и смахнул карточку под стол.

Панкрат повернулся, вышел и через пять минут вернулся со страдальческим лицом и со вторым экземпляром той же карточки.

— Ты что же, смеешься? — проскрипел Персиков и стал страшен.

— Из гепею, они говорят,— бледнея, ответил Панкрат.

Персиков ухватился одной рукой за карточку, чуть не перервал ее пополам, а другой швырнул пинцет на стол. На карточке было приписано кудрявым почерком: «Очень прошу и извиняюсь, принять меня, многоуважаемый профессор, на три минуты по общественному делу печати и сотрудник сатирического журнала «Красный ворон», издания ГПУ».

— Позови-ка его сюда,— сказал Персиков и задохнулся.

Из-за спины Панкрата тотчас вынырнул молодой человек с гладковыбритым маслянистым лицом. Поражали вечно поднятые, словно у китайца, брови и под ними ни секунды не глядящие в глаза собеседнику агатовые глазки. Одет был молодой человек совершенно безукоризненно и модно. В узкий и длинный до колен пиджак, широчайшие штаны колоколом и неестественной ширины лакированные ботинки с носами, похожими на копыта. В руках молодой человек держал трость, шляпу с острым верхом и блокнот.

— Что вам надо? — спросил Персиков таким голосом, что Панкрат мгновенно ушел за дверь.— Ведь вам же сказали, что я занят?

Вместо ответа молодой человек поклонился профессору два раза на левый бок и на правый, а затем его глазки колесом прошлись по всему кабинету, и тотчас молодой человек поставил в блокноте знак.

— Я занят,— сказал профессор, с отвращением глядя в глазки гостя, но никакого эффекта не добился, так как глазки были неуловимы.

— Прошу тысячу раз извинения, глубокоуважаемый профессор,— заговорил молодой человек тонким голосом,— что я врываюсь к вам и отнимаю ваше драгоценное время, но известие о вашем мировом открытии, прогремевшее по всему миру, заставляет наш журнал просить у вас каких-либо объяснений.

— Какие такие объяснения по всему миру? — заныл Персиков визгливо и пожелтев.— Я не обязан вам давать объяснения и ничего такого... Я занят... страшно занят.

— Над чем же вы работаете? — сладко спросил молодой

человек и поставил второй знак в блокноте.

— Да я... вы что? Хотите напечатать что-то?

— Да,— ответил молодой человек и вдруг застрочил в блокноте.

— Во-первых, я не намерен ничего опубликовывать, пока я кончу работы... тем более в этих ваших газетах... Во-вторых, откуда вы все это знаете?..— И Персиков вдруг почувствовал, что теряется.

— Верно ли известие, что вы изобрели луч новой жизни?

— Какой такой новой жизни? — остервенился профессор. — Что вы мелете чепуху! Луч, над которым я работаю, еще далеко не исследован, и вообще ничего еще не известно! Возможно, что он повышает жизнедеятельность протоплазмы...

— Во сколько раз? — торопливо спросил молодой человек.

Персиков окончательно потерялся... «Ну тип. Ведь это черт знает что такое!»

— Что за обывательские вопросы?.. Предположим, я скажу, ну, в тысячу раз!..

В глазах молодого человека мелькнула хищная радость.

— Получаются гигантские организмы?

— Да ничего подобного! Ну, правда, организмы, полученные мною, больше обыкновенных... Ну, имеют некоторые новые свойства... Но ведь тут же главное не величина, а невероятная скорость размножения,— сказал на свое горе Персиков и тут же ужаснулся. Молодой человек исписал целую страницу, перелистнул ее и застрочил дальше.

— Вы же не пишите! — уже сдаваясь и чувствуя, что он в руках молодого человека, в отчаянии просипел Персиков. — Что вы такое пишете?

— Правда ли, что в течение двух суток из икры можно получить 2 миллиона головастиков?

— Из какого количества икры? — вновь взбеленясь, закричал Персиков. — Вы видели когда-нибудь икринку... ну, скажем, — квакши?

— Из полуфунта? — не смущаясь, спросил молодой человек.

Персиков побагровел.

— Кто же так мерит? Тыфу! Что вы такое говорите? Ну, конечно, если взять полфунта лягушачьей икры... тогда пожалуй... черт, ну около этого количества, а может быть, и гораздо больше! Бриллианты загорелись в глазах молодого человека, и он в один взмах исчеркал еще одну страницу.

— Правда ли, что это вызовет мировой переворот в животноводстве?

— Что это за газетный вопрос,— завыл Персиков,— и вообще я не даю вам разрешения писать чепуху. Я вижу по вашему лицу, что вы пишете какую-то мерзость!

— Вашу фотографическую карточку, профессор, убедительнейше прошу,— молвил молодой человек и захлопнул блокнот.

— Что? Мою карточку? Это в ваши журнальчики? Вместе с этой чертовщиной, которую вы там пишете. Нет, нет, нет... И я занят... попрошу вас!..

— Хотя бы старую. И мы вам ее вернем моментально.

— Панкрат! — закричал профессор в бешенстве.

— Честь имею кланяться, — сказал молодой человек и пропал.

Вместо Панкрата послышалось за дверью странное мерное скрипенье машины, кованое постукивание в пол, и в кабинете появился необычайной толщины человек, одетый в блузу и штаны, сшитые из одеяльного драпа. Левая его, механическая, нога щелкала и гроыхала, а в руках он держал портфель. Его бритое круглое лицо, налитое желтоватым студнем, являло приветливую улыбку. Он по-военному поклонился профессору и выпрямился, отчего его нога пружинно щелкнула. Персиков онемел.

— Господин профессор, — начал незнакомец приятным сиповатым голосом, — простите простого смертного, нарушившего ваше уединение.

— Вы репортер? — спросил Персиков. — Панкрат!!

— Никак нет, господин профессор, — ответил толстяк, — позвольте представиться — капитан дальнего плавания и сотрудник газеты «Вестник Промышленности» при Совете Народных Комиссаров.

— Панкрат!! — истерически закричал Персиков, и тотчас в углу выкинул красный сигнал и мягко прозвенел телефон. — Панкрат! — повторил профессор. — Я слушаю.

— Ферцайен зи битте, херр профессор, — захрипел телефон по-немецки, — дас их штёре. Их бин митарбейтер дес Берлинер тагеблатс...¹

— Панкрат! — закричал в трубку профессор, — бин моменталь зер бешефтигт унд кан зи десхальб етцт нихт емфанген!..² Панкрат!!

А на парадном ходе института в это время начались звонки.

* * *

— Кошмарное убийство на Бронной улице!! — завывали неестественные сильные голоса, вертясь в гуще огней между колесами и вспышками фонарей на нагретой июньской мостовой, — кошмарное появление болезни кур у вдовы попадьян Дроздовой с ее портретом!.. Кошмарное открытие луча жизни профессора Персикова!!.

Персиков мотнулся так, что чуть не попал под автомобиль на Моховой, и яростно ухватился за газету.

— 3 копейкн, гражданин! — закричал мальчишка и, вжимаясь

¹ Извините меня, господин профессор, за беспокойство. Я сотрудник «Берлинер тагеблатс»... (искаж. нем.)

² В данный момент я очень занят и никак не могу принять вас! (нем.)

в толпу на тротуаре, вновь завыл: — «Красная Вечерняя Газета», открытие икс-луча!!

Ошеломленный Персиков развернул газету и прижался к фонарному столбу. На второй странице в левом углу в смазанной рамке глянул на него лысый, с безумными и незрячими глазами, с повисшею нижнею челюстью человек, плод художественного творчества Альфреда Бронского. «В. И. Персиков, открывший загадочный красный луч», гласила подпись под рисунком. Ниже, под заголовком «Мировая загадка», начиналась статья словами:

«Садитесь,— приветливо сказал нам маститый ученый Персиков...»

Под статьей красовалась подпись: «Альфред Бронский (Алонзо)».

Зеленоватый свет взлетел над крышей университета, на небе выскочили огненные слова «Говорящая Газета», и тотчас толпа запрудил Моховую.

«Садитесь!!! — завыл вдруг в рупоре на крыше неприятнейший тонкий голос, совершенно похожий на голос увеличенного в тысячу раз Альфреда Бронского,— приветливо сказал нам маститый ученый Персиков! — Я давно хотел познакомить московский пролетариат с результатами моего открытия...»

Тихое механическое скрипение послышалось за спиною Персикова, и кто-то потянул его за рукав. Обернувшись, он увидел желтое круглое лицо владельца механической ноги. Глаза у того были увлажнены слезами и губы вздрагивали.

— Меня, господин профессор, вы не пожелали познакомить с результатами вашего изумительного открытия,— сказал он печально и глубоко вздохнул.— Пропали мои полтора червячка.

Он тоскливо глядел на крышу университета, где в черной пасти бесновался невидимый Альфред. Персикову почему-то стало жаль толстяка.

— Я,— пробормотал он, с ненавистью ловя слова с неба,— никакого «садитесь» ему не говорил! Это просто наглец необыкновенного свойства! Вы меня простите, пожалуйста,— но, право же, когда работаешь и врываются... Я не про ваа, конечно, говорю...

— Может быть, вы мне, господин профессор, хотя описание вашей камеры дадите? — заискивающе и скорбно говорил механический человек.— Ведь вам теперь все равно...

— Из полуфунта икры в течение 3-х дней вылупляется такое количество головастиков, что их нет никакой возможности сосчитать,— ревел невидимка в рупоре.

— Ту-ту,— глухо кричали автомобили на Моховой.

— Го-го-го... Ишь ты, го-го-го,— шуршала толпа, задирая головы.

— Каков мерзавец? А? — дрожа от негодования, зашипел Персиков механическому человеку.— Как вам это нравится? Да я жаловаться на него буду!

— Возмутительно! — согласился толстяк.

Ослепительнейший фиолетовый луч ударил в глаза профессора, и все кругом вспыхнуло — фонарный столб, кусок торцевой мостовой, желтая стена, любопытные лица.

— Это вас, господин профессор, — восхищенно шепнул толстяк и повис на рукаве профессора, как гири. В воздухе что-то застрекотало.

— А ну их всех к черту! — тоскливо вскричал Персиков, выдираясь с гирей из толпы. — Эй, таксомотор. На Пречистенку!

Облупленная старенькая машина, конструкции 24-го года, заклокотала у тротуара, и профессор полез в ландо, стараясь отцепиться от толстяка.

— Вы мне мешаете, — шипел он и закрывался кулаками от фиолетового света.

— Читали?! Чего оруть?.. Профессора Персикова с детишками зарезали на Малой Бронной!.. — кричали кругом в толпе.

— Никаких у меня детишек нету, сукины дети, — заорал Персиков и вдруг попал в фокус черного аппарата, застрелившего его в профиль с открытым ртом и яростными глазами.

— Крх... ту... крх... ту, — закричал таксомотор и врезался в гущу.

Толстяк уже сидел в ландо и грел бок профессору.

Глава V

Куриная история

В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии, Стекловского уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне Персональной улице, вышла повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что вскорости из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула:

— Что ты, Степаювниа, али еще?

— Семнадцатая! — разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова.

— Ахти-х-ти-х, — заскулила и закачала головой баба в платке, — ведь это что ж такое? Прогневался господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла?

— Да ты глянй, глянй, Матрена, — бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжко, — ты глянй, что с ей!

Хлопнула серенькая покосившаяся калитка, бабьи босые ноги проишлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрену на свой птичий двор.

Надо сказать, что вдова отца протоиерея Савватия Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательнейшее куроводство. Лишь

только вдовьины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрешка и вдовьяна глухая племянница. Налог со вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхины. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке, вдовьины яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло Чичкина в Москве».

И вот, семнадцатая по счету с утра брамапутра, любимая хохлатка, ходила по двору, и ее рвало. «Эр... рр... урл... урл го-го-го», — выделывала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце так, как будто видела его в последний раз. Перед носом курицы на корточках плясала член артели Матрешка с чашкой воды.

— Хохлаточка, миленькая... цып-цып-цып... нспей водицы, — умоляла Матрешка и гонялась за клювом хохлатки с чашкой, но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начало рвать кровью.

— Господисусе! — вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам. — Это что ж такое делается? Одна резаная кровь. Никогда не видала, с места не сойти, чтобы курица, как человек, маялась животом.

Это и были последние запутственные слова бедной хохлатке. Она вдруг кувырнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задирала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадья — председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала:

— Степаиовна, землю буду есть, что кур твоих испортили. Где ж это видано! Ведь таких и курьих болезней нет! Это твоих кур кто-то заколдовал.

— Враги жизни моей! — воскликнула попадья к небу. — Что ж они со свету меня сжить хочут?

Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдергаанный поджарый петух. Он зверски выкатил из них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился, и его стошнило, потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, перевернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор. И в куриных домках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.

— Ну, не порча? — победоносно спросила гостья. — Зови отца Сергия, пушай служнт.

В шесть часов вечера, когда солнце сидело низко огненной рожею между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергей, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канареечный рванный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался господь, но только не скажет.

Засим толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попадья Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с наместа вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо, лежала грудой заколовшаяся птица.

Наутро город встал, как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На Персональной ул. к полудню осталось в живых только три курицы, в крайнем домике, где снимал квартиру уездный фининспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный Боец», в статье под заголовком «Неужели куриная чума?», а оттуда пронеслось в Москву.

* * *

Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявши трубку, а вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черною надписью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь, и зеленая, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. Засим выскочила огненная надпись: «Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру капитану Степанову». И точно: мимо Храма Христа, по Волхонке, проскочил зыбкий автомобиль, и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была, как у затравленного волка.

— Это какие-то черти, а не люди,— сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал.

Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки, Марьи Степановны, 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марьи Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидал приписку: «Народный комиссар здравоохранения».

— Что, такое? — искренно недоумевал ученый чудака. — Что с ними такое сделалось?

В 10¹/₄ того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено (без имени и фамилии): «Полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов».

— Черт бы его взял, — прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне: — Позовите его сюда, в кабинет, этого самого уполномоченного.

— Чем могу служить? — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа», — почему-то подумал Персиков.

Начал гость издалека, именно попросил разрешения закурить сигару, вследствие чего Персиков с большою неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел поздно: «но... господина профессора невозможно днем никак поймать... хи-хи... пардон... застать» (гость, смеясь, всхлипывал, как гиена).

— Да, я занят! — так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю.

Тем не менее он позволил себе беспокоить знаменитого ученого:

— Время — деньги, как говорится... сигара не мешает профессору?

— Мур-мур-мур, — ответил Персиков. Он позволил.

— Профессор ведь открыл луч жизни?

— Помилуйте, какой такой жизни?! Это выдумки газетчиков! — оживился Персиков.

— Ах, нет, хи-хи-хэ... он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых... о чем же говорить... Сегодня есть телеграммы... В мировых городах, как-то: Варшаве и Риге уже все известно насчет луча. Имя проф. Персикова повторяет весь мир... Весь мир следит за работой проф. Персикова, заставив дыхание... Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в Советской России. Антр ну суа ди.

¹ Между нами говоря... (фр.)

Здесь никого нет посторонних?.. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды, так вот он хотел бы переговорить с профессором... Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в священном писании. Государству известно, как тяжело профессору пришлось в 19-м и 20-м годах во время этой хи-хи... революции. Ну, конечно, строгая тайна... профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру, вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры....

И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек...

Какой-нибудь пустяк, 5000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту... и расписки не надо... профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке.

— Вои!!! — вдруг гаркнул Персиков так страшно, что pianino в гостинице издало звук из тонких клавишах.

Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация.

— Его калоши?! — выл через минуту Персиков в передней.

— Они забыли, — отвечала дрожащая Марья Степаювна.

— Выкинуть их вои!

— Куда же я их выкину. Они придут за ними.

— Сдать их в домовую комитет. Под расписку. Чтоб не было духу этих калош! В комитет! Пусть примут шпионские калоши!..

Марья Степаювна, крестясь, забрала великолепные кожаные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.

— Сдали? — бушевал Персиков.

— Сдала.

— Расписку мне.

— Да, Владимир Ипатьич. Да неграмотный же председатель!..

— Сю. Секуиду. Чтоб. Была. Расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется!

Марья Степаювна только pokrutila головой, ушла и вернулась через $\frac{1}{4}$ часа с запиской:

«Получено в фонд от проф. Персикова 1 (одна) па кало. Колесов».

— А это что?

— Жетон-с.

Персиков жетон топтал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвился Паикрата в институте и спросил у него: «Все ли благополучно?». Паикрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он

уцепился за телефон и наговорил в трубку такое:

— Дайте мне эту, как ее, Лубянку. Мерси... Кому тут из вас надо сказать... у меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят, да... Профессор IV Университета Персиков...

Трубка вдруг резко оборвала разговор, Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.

— Чай будете пить, Владимир Ипатьич? — робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет.

— Не буду я пить никакого чаю... мур-мур-мур, и черт их всех возьми... как взбесились все равно.

Ровно через десять минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидело, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском, но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость повел себя особенно, он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный струями табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который был тоже в штатском, красовалось дымчатое пенсне.

Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о пяти тысячах и заставляя описывать наружность гостя.

— Да черт его знает, — бубнил Персиков, — ну противная физиономия. Дегенерат.

— А глаз у него не стеклянный? — спросил маленький хрипло.

— А черт его знает. Нет, впрочем, не стеклянный, бегают глаза.

— Рубинштейн? — вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.

— Рубинштейн не даст без расписки, ни в коем случае, — забурчал он, — это не рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее.

История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов: «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова с калошами» — и Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках.

— Васенька! — негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и словно развинченный поплелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.

— Ну? — спросил он лаконически и сонно.

— Калоши.

Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок, на одно мгновение, сверкнули

вовсе не сонные, а наоборот, изумительно колющие глаза. Но они моментально угасли.

— Ну, Васенька?

Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом:

— Ну, что тут ну. Пеленжковского калоши.

Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся ангел во френче встал и начал жать руку профессору, и даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему: это делает честь профессору.... Профессор может быть спокоен... больше его никто не потревожит, ни в институте, ни дома... меры будут приняты, камеры его в совершеннейшей безопасности.

— А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли? — спросил Персиков, глядя поверх очков.

Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что это невозможно.

— А что это за каналья у меня была?

Тут все перестали улыбаться, и ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист, не стоит обращать внимания... тем не менее он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера, и гости ушли.

Персиков вернулся в кабинет, к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в семь комнат. Персиков завыл в трубку:

— Я вам советую лечиться у профессора Россолимо...— и получил второй звонок.

Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо, достаточно известное, звонило из Кремля, долго и сочувственно расспрашивало Персикова о его работе и изъявило желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загрелись странные трубы и полетели вопли Валкирий,— радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре. Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, что он уедет из Москвы к чертовой матери, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавишей знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра.

Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами,

и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института кроме растерянного Панкрата навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал:

— Здравствуйте, гражданин профессор.

— Что вам надо? — страшно спросил Персиков, сдвигая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептал, что профессор напрасно беспокоится. Он, котелок, именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей... что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.

— Гм... однако, у вас здорово поставлено дело, — промычал Персиков и прибавил наивно: — А что вы здесь будете есть?

На это котелок усмехнулся и объяснил, что его будут смеять.

Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.

— Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией, — неслось из кабинета.

— Строг? — спрашивал котелок у Панкрата.

— У, не приведи бог, — отвечал Панкрат, — ежели какой-нибудь и выдержит, выходит, голубчик, из кабинета и шатается. Семь потов с него сойдет. И сейчас в пивную.

За всеми этими делишками профессор не заметил трех суток, но на четвертые его вновь вернули к действительной жизни, и причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.

— Владимир Ипатьич! — прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена. Голосу повезло: Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле. Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством он выглянул в окно и увидел на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.

— Ах, это вы? — спросил профессор. У него не хватило сил рассердиться, и даже любопытно показалось, что такое будет дальше. Прикрытый окном, он чувствовал себя в безопасности от Альфреда. Бессменный котелок на улице немедленно повернул ухо к Бронскому. Умильнейшая улыбка расцвела у того на лице.

— Пару минуточек, дорогой профессор, — заговорил Бронский, напрягая голос с тротуара, — я только один вопросик и чисто зоологический. Позволите предложить?

— Предложите, — лаконически и иронически ответил Персиков и подумал: «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское»

— Что вы скажете за кур, дорогой профессор? — крикнул Бронский, сложив руки щитком.

Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно:

— Панкрат,пусти этого с тротуара.

Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рывкнул ему:

— Садитесь!

И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.

— Объясните мне, пожалуйста,— заговорил Персиков,— вы пишете там, в этих ваших газетах?

— Точно так,— почтительно ответил Альфред.

— И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски. Что это за «пара минуточек» и «за кур»? Вы, вероятно, хотели спросить «насчет кур»?

Бронский жидко и почтительно рассмеялся:

— Валентин Петрович исправляет.

— Кто это такой Валентин Петрович?

— Заведующий литературной частью.

— Ну, ладно. Я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?

— Вообще все, что вы скажете, профессор.

Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.

— Вы напрасно обратились ко мне, я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову, в 1-м университете. Я лично знаю весьма мало...

Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка — мало!» — черкнул он в блокноте.

— Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или гребенчатые... род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых... — заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то в даль, где перед ним подразумевались тысяча столетий... — из семейства фазановых... фазанидэ. Представляют собою птиц с мясистожаным гребнем и двумя лопастями под нижней челюстью... гм... хотя, впрочем, бывает и одна в середине подбородка... Ну, что ж еще. Крылья короткие и округленные. Хвост средней длины, несколько ступенчатый и даже, я бы сказал, крышеобразный, средние перья серпообразно изогнуты... Панкрат... принеси из модельного кабинета модель № 705, разрезной петух... впрочем, вам это не нужно?.. Панкрат, не приноси модели... Повторяю вам, я не специалист, идите к Португалову. Ну-с, мне лично известно 6 видов диких живущих кур... гм... Португалов знает больше... в Индии и на Малайском архипелаге. Например, Банкивский петух или Казинту, он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме... Вилохвостый петух или

Галлус Вариус на Ломбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух Галлус Энеус, на юго-востоке Индонезии могу вам рекомендовать очень красивого Зоннератова петуха.... Я вам потом покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стенли, больше он нигде не водится.

Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.

— Еще что-нибудь вам сообщить?

— Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней,— тихонечко шепнул Альфред.

— Гм, не специалист я... вы Португалова спросите... А впрочем... Ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек... Пневмококк, туберкулез, куриные парши... мало ли, что может быть... (искры прыгали в глазах Персикова)... отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Ахорион Шенляйна... очень интересная болезнь. При заболевании им на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень...

Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.

— А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?

— Какой катастрофы?

— Как, разве вы не читали, профессор? — удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».

— Я не читаю газет,— ответил Персиков и насупился.

— Но почему же, профессор? — нежно спросил Альфред.

— Потому что они чепуху какую-то пишут,— не задумываясь, ответил Персиков.

— Но как же, профессор? — мягко шепнул Бронский и развернул лист.

— Что такое? — спросил Персиков и даже поднялся с места. Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым, лакированным пальцем невероятнейшей величьи заголовков через всю страницу газеты: «Куриный мор в республике».

— Как? — спросил Персиков, сдвигая на лоб очки...

Глава VI

Москва в июне 1928 года

Она светилась, огни танцевали, гасли и вспыхивали. На Театральной площади вертелись белые фонари автобусов, зеленые огни трамваев; над бывшим Мюр и Мерилизом, над десятым надстроенным на него этажом, прыгала электрическая разноцветная женщина, выбрасывая по буквам разноцветные слова: «р а б о ч и й к р е д и т». В сквере против Большого театра, где бил ночью разноцветный фонтан, толкалась и гудела толпа. А над Большим театром гигантский рупор завывал:

— Антикуринные прививки в Лефортовском ветеринарном институте дали блестящие результаты. Количество... куриных смертей за сегодняшнее число уменьшилось вдвое...

Затем рупор менял тембр, что-то рычало в нем, над театром вспыхивала и угасала зеленая струя, и рупор жаловался басом:

— Образована чрезвычайная комиссия по борьбе с куриною чумой в составе наркомздрава, наркомзема, заведующего животноводством товарища Птахи-Поросюка, профессора Персикова и Португалова... и товарища Рабиновича!.. Новые попытки интервенции...— хохотал и плакал, как шакал, рупор,— в связи с куриною чумой!

Театральный проезд, Неглинный и Лубянка пылали белыми и фиолетовыми полосами, брызгали лучами, выли сигналами, клубились пылью. Толпы народа теснились у стен у больших листов объявлений, освещенных резкими красными рефлекторами:

«Под угрозой тягчайшей ответственности воспрещается населению употреблять в пищу куриное мясо и яйца. Частные торговцы при попытках продажи их на рынках подвергаются уголовной ответственности с конфискацией всего имущества. Все граждане, владеющие яйцами, должны в срочном порядке сдать их в районные отделения милиции».

На крыше «Рабочей газеты» на экране грудой до самого неба лежали куры, и зеленоватые пожарные, дробясь и искрясь, из шлангов поливали их керосином. Затем красные волны ходили по экрану, неживой дым распухал и мотался клочьями, полз струей, выскакивала огненная надпись: «Сожжение куриных трупов на Ходынке».

Слепыми дырами глядели среди бешено пылающих витрин магазинов, торгующих до 3 часов ночи, с двумя перерывами на обед и ужин, заколоченные окна под вывесками: «Яичная торговля. За качество гарантия». Очень часто, тревожно завывая, обгоняя тяжелые автобусы, мимо милиционеров проносились шипящие машины с надписью: «Мосздравотдел. Скорая помощь».

— Обожрался еще кто-то гнилыми яйцами,— шуршали в толпе.

В Петровских линиях зелеными и оранжевыми фонарями сиял знаменитый на весь мир ресторан «Амбир», и в нем на століках, у переносных телефонов, лежали картонные вывески, залитые пятнами ликеров: «По распоряжению — омлета нет. Получены свежие устрицы».

В Эрмитаже, где бусинками жалобно горели китайские фонарики в неживой, задушенной зелени, на убивающей глаза своим пронзительным светом эстраде куплетисты Шрамс и Карманчиков пели куплеты, сочиненные поэтами Ардо и Аргуевым:

Ах, мама, что я буду делать

Без яиц?? —

и грохотали ногами в чечетке.

Театр имени покойного Всеволода Мейерхольда, погибшего, как известно, в 1927 году при постановке пушкинского «Бориса Годунова», когда обрушились трапеции с голыми боярами, выбросил движущуюся разных цветов электрическую вывеску, возвещавшую пьесу писателя Эрендорга «Курийдох» в постановке ученика Мейерхольда, заслуженного режиссера республики Кухтермана. Рядом, в Аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов шло обозрение писателя Ленивцева «Курицыны дети». А по Тверской, с фонариками по бокам морд, шли вереницею цирковые ослики, несли на себе сияющие плакаты. В театре Корш возобновляется «Шантеклер» Ростана.

Мальчишки-газетчики рычали и выли между колес моторов:

— Кошмарная находка в подземелье! Польша готовится к кошмарной войне!! Кошмарные опыты профессора Персикова!!

В цирке бывшего Никитина, на приятно пахнущей навозом коричневой жирной арене мертвенно-бледный клоун Бом говорил распухшему в клетчатой водянке Биму:

— Я знаю, отчего ты такой печальный!

— Отциво? — пискливо спрашивал Бим.

— Ты зарыл яйца в землю, а милиция 15-го участка их нашла.

— Га-га-га-га,— смеялся цирк так, что в жилах стыла радостно и тоскливо кровь и под стареньким куполом веяли трапеции и паутина.

— А-а-а! — пронзительно кричали клоуны, и кормленая белая лошадь выносила на себе чудной красоты женщину, на стройных ногах, в малиновом трико.



Не глядя ни на кого, никого не замечая, не отвечая на подталкивания и тихие и нежные зазывания проституток, пробирался по Моховой, вдохновенный и одинокий, увенчанный неожиданною славой Персиков к огненным часам у манежа. Здесь, не глядя кругом, поглощенный своими мыслями, он столкнулся со странным, старомодным человеком, пребольно ткнувшись пальцами прямо в деревянную кобуру револьвера, висящего у человека на поясе.

— Ах, черт! — пискнул Персиков. — Извините.

— Извиняюсь,— отвечал встречный неприятным голосом, и кое-как они расцепились в людской каше. И профессор, направляясь на Пречистенку, тотчас забыл о столкновении.

Рокк

Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умели ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе республик было совершенно чисто. Кое-где в дворишках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах поправлялись последние из жадных, доканчивая кровавый понос со рвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж кур вызван не кем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность, а во-вторых, стекла на телеграфе встали.

Дойдя на севере до Архангельска и Сюмкина Выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему дальше было некуда, — в Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком юге — пропал и затих где-то в выжженных пространствах Ордубата, Джульфы и Карабулака, а на западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной, или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой, в составе шестнадцати товарищей. Был основан «Доброкур», почетными товарищами председателя в который вошли Персиков и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки: «Массовая закупка яиц за границей» и «Господин Юз хочет сорвать яичную кампанию». Прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами: «Не зарьтесь, господин Юз, на наши яйца, — у вас есть свои!»

Профессор Персиков совершенно измучился и заработался в последние три недели. Куриные события выбили его из колеи и

навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседании куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгартом анатомизировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы и даже в течение трех вечеров на скорую руку написать брошюру: «Об изменениях печени у кур при чуме».

Работал Персиков без особого жара в куриной области, да оно и понятно,— вся его голова была полна другим — основным и важным — тем, от чего его оторвала его куриная катастрофа, т. е. от красного луча. Расстраивая свое и без того надломленное здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на Пречистенку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа.

К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами, в камере под лучом зрела со сказочной быстротою рыба и лягушачья икра. Из Кенигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла, и в последних числах июля, под наблюдением Иванова, механики соорудили две новые большие камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе — целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего, он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка навакала ему самое любезное и всяческое содействие, а затем Персиков по телефону же вызвал товарища Птаху-Поросюка, заведующего отделом животноводства при верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаха сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела, и важный и ласковый голос спросил, не нужен ли Персикову автомобиль.

— Нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае,— ответил Персиков.

— Но почему же? — спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся.

С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как 'маленькому, хоть и крупному ребенку.

— Он быстрее ходит,— ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил:

— Ну, как хотите.

Прошла неделя, причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала свет-

ла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале Цекубу на Пречистенке сделать доклад о своем луже и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков, и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цекубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжело дыша и серея, на блюде влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было семь любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель Цекубу, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые, и черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей, и вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но, уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру в вестибюле, и Персикову стало смутно, тошновато... Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее... И дрожащею рукой схватился профессор за перила.

— Вам нехорошо, Владимир Ипатьич? — набросились со всех сторон встревоженные голоса.

— Нет, нет, — ответил Персиков, оправляясь, — просто я переутомился... да... Позвольте мне стакан воды.

* * *

Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтавшегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча.

В дверь постучали.

— Ну? — спросил Персиков.

Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнее от страха перед божеством, сказал так:

— Там до вас, господин профессор, Рок пришел.

Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил:

— Это интересно. Только я занят.

— Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля.

— Рок с бумагой? Редкое сочетание, — вымолвил Персиков

и добавил: — Ну-ка, дай-ка его сюда!

— Слушаю-с,— ответил Панкрат и, как уж, исчез за дверью.

Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни — он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы, он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен. В то время как наиболее даже оставшая часть пролетариата — пекаря — ходили в пиджаках, когда в Москве редкостью был френч — старомодный костюм, оставленный окончательно в конце 1924 года, на вошедшем была кожаная двубортная куртка, зеленые штаны, на ногах обмотки и штиблеты, а на боку огромный старой конструкции пистолет маузер в желтой битой кобуре. Лицо вошедшего произвело на Персикова то же впечатление, что и на всех,— крайне неприятное впечатление. Маленькие глазки смотрели на весь мир изумленно и в то же время уверенно, что-то развязное было в коротких ногах с плоскими ступнями. Лицо иссиня-бритое. Персиков сразу нахмурился. Он безжалостно похрипел винтом и, глядя на вошедшего уже не поверх очков, а сквозь них, молвил:

— Вы с бумагой? Где же она?

Вошедший, видимо, был ошеломлен тем, что он увидел. Вообще он был мало способен смущаться, но тут смутился. Судя по глазкам, его поразил прежде всего шкаф в 12 полок, уходивший в потолок и битком набитый книгами. Затем, конечно, камеры, в которых, как в аду, мерцал малиновый, разбухший в стеклах луч. И сам Персиков в полутьме у острой иглы луча, выпадавшего из рефлектора, был достаточно странен и величественен в винтовом кресле. Пришелец вперил в него взгляд, в котором явственно прыгали искры почтения сквозь самоуверенность, никакой бумаги не подал, а сказал:

— Я Александр Семенович Рокк!

— Ну-с? Так что?

— Я назначен заведующим показательным совхозом «Красный Луч»,— пояснил пришлый.

— Ну-с?

— И вот к вам, товарищ, с секретным отношением.

— Интересно было бы узнать. Покороче, если можно.

Пришелец расстегнул борт куртки и высунул приказ, напечатанный на великолепной плотной бумаге. Его он протянул Персикову. А затем без приглашения сел на винтящийся табурет.

— Не толкните стол,— с ненавистью сказал Персиков.

Пришелец испуганно оглянулся на стол, на дальнем краю которого в сыром темном отверстии мерцали безжизненно, как изумруды, чьи-то глаза. Холодом веяло от них.

Лишь только Персиков прочитал бумагу, он поднялся с табурета и бросился к телефону. Через несколько секунд он уже гово-

рил торопливо и в крайней степени раздражения:

— Простите... Я не могу понять... Как же так? Я... без моего согласия, совета... Да ведь он черт знает что наделает!!

Тут незнакомец повернулся крайне обиженно на табурете.

— Извиняюсь,— начал он,— я завед...

Но Персиков махнул на него крючочком и продолжал:

— Извините, я не могу понять... Я, наконец, категорически протестую. Я не даю своей санкции на опыты с яйцами... Пока я сам не попробую их...

Что-то квакало и постукивало в трубке, и даже издали было понятно, что голос в трубке,нисходительный, говорит с малым ребенком. Кончилось тем, что багровый Персиков с громом повесил трубку и мимо нее в стену сказал:

— Я умываю руки.

Он вернулся к столу, взял с него бумагу, прочитал ее раз сверху вниз поверх очков, затем снизу вверх сквозь очки и вдруг взвыл:

— Панкрат!

Панкрат появился в дверях, как будто поднялся по трапу в опере. Персиков глянул на него и рявкнул:

— Выйди вон, Панкрат!

И Панкрат, не выразив на своем лице ни малейшего изумления, исчез.

Затем Персиков повернулся к пришельцу и заговорил:

— Извольте-с... Повинуюсь. Не мое дело. Да мне и неинтересно.

Пришельца профессор не столько обидел, сколько изумил.

— Извиняюсь,— начал он,— вы же, товарищ?..

— Что вы все товарищ да товарищ... — хмуро пробубнил Персиков и смолк.

«Однако»,— написалось на лице у Рокка.

— Изви...

— Так вот-с, пожалуйста,— перебил Персиков.— Вот дуговой шар. От него вы получаете путем передвижения окуляра,— Персиков щелкнул крышкой камеры, похожей на фотографический аппарат,— пучок, который вы можете собрать путем передвижения объективов, вот № 1... и зеркало № 2,— Персиков погасил луч, опять зажег его на полу асбестовой камеры,— а на полу в луче можете разложить все, что вам нравится, и делать опыты. Чрезвычайно просто, не правда ли?

Персиков хотел выразить иронию и презрение, но пришелец их не заметил, внимательно блестящими глазками всматриваясь в камеру.

— Только предупреждаю,— продолжал Персиков,— руки не следует совать в луч, потому что, по моим наблюдениям, он вызывает разрастание эпителия... а злокачественные они или нет, я, к сожалению, еще не мог установить.

Тут пришелец проворно спрятал свои руки за спину, уронив кожаный картуз, и поглядел на руки профессора. Они были насквозь прожжены йодом, а правая у кисти забинтована.

— А как же вы, профессор?
— Можете купить резиновые перчатки у Швабе на Кузнецком,— раздраженно ответил профессор.— Я не обязан об этом заботиться.

Тут Персиков посмотрел на пришельца словно в лупу:

— Откуда вы взялись? Вообще... почему вы?..

Рокк, наконец, обиделся сильно.

— Изви...

— Ведь нужно же знать, в чем дело!.. Почему вы уцепились за этот луч?..

— Потому, что это величайшей важности дело...

— Ага. Величайшей? Тогда... Панкрат!

И когда Панкрат появился:

— погоди, я подумаю.

И Панкрат покорио исчез.

— Я,— говорил Персиков,— не могу понять вот чего: почему нужна такая спешность и секрет?

— Вы, профессор, меня уже сбили с панталыку,— ответил Рокк,— вы же знаете, что куры все издохли до единой.

— Ну так что из этого? — завопил Персиков,— что же вы хотите их воскресить моментально, что ли? И почему при помощи еще не изученного луча?

— Товарищ профессор,— ответил Рокк,— вы меня, честное слово, сбиваете. Я вам говорю, что нам необходимо возобновить у себя куроводство, потому что за границей пишут про нас всякие гадости. Да.

— И пусть себе пишут...

— Ну, знаете,— загадочно ответил Рокк и покрутил головой.

— Кому, желал бы я знать, пришла в голову мысль растить кур из яиц...

— Мие,— ответил Рокк...

— Угу... Тэк-с... А почему, позвольте узнать? Откуда вы узнали о свойствах луча?

— Я, профессор, был на вашем докладе.

— Я с яйцами еще ничего не делал!.. Только собираюсь!

— Ей-богу, выйдет,— убедительно вдруг и задушевно сказал Рокк,— ваш луч такой знаменитый, что хоть слонов можно вырастить, не только цыплят.

— Знаете что,— молвил Персиков,— вы не зоолог? нет? жаль... из вас вышел бы очень смелый экспериментатор... Да... только вы рискуете... получить неудачу... и только у меня отнимаете время...

— Мы вам вернем камеры. Что значит?

— Когда?

— Да вот, я выведу первую партию.

— Как вы это уверенно говорите! Хорошо-с! Панкрат!

— У меня есть с собой люди,— сказал Рокк,— и охрана...

К вечеру кабинет Персикова осиротел... Опустели столы. Люди Рокка увезли три больших камеры, оставив профессору

только первую, его маленькую, с которой он начинал опыты.

Надвигались июльские сумерки, серость овладела институтом, потекла по коридорам. В кабинете слышались монотонные шаги — это Персиков, не зажигая огня, мерил большую комнату от окна к дверям... Странное дело: в этот вечер необъяснимо тоскливое настроение овладело людьми, населяющими институт, и животными. Жабы почему-то подняли особенно тоскливый концерт и стрекотали зловеще и предостерегающе. Панкрату пришлось ловить в коридорах ужа, который ушел из своей камеры, и когда он его поймал, вид у ужа был такой, словно тот собрался куда глаза глядят, лишь бы только уйти.

В глубоких сумерках прозвучал звонок из кабинета Персикова. Панкрат появился на пороге. И увидел странную картину. Ученый стоял одиноко посреди кабинета и глядел на столы. Панкрат кашлянул и замер.

— Вот, Панкрат,— сказал Персиков и указал на опустевший стол.

Панкрат ужаснулся. Ему показалось, что глаза у профессора в сумерках заплаканы. Это было так необыкновенно, так страшно.

— Так точно,— плаксиво ответил Панкрат и подумал: «Лучше б ты уж наорал на меня!»

— Вот,— повторил Персиков, и губы у него дрогнули точно так же, как у ребенка, у которого отняли ни с того ни с сего любимую игрушку.

— Ты знаешь, дорогой Панкрат,— продолжал Персиков, отворачиваясь к окну,— жена-то моя, которая уехала пятнадцать лет назад, в оперетку она поступила, а теперь умерла, оказывается... Вот история, Панкрат милый... Мне письмо прислали...

Жабы кричали жалобно, и сумерки одевали профессора, вот она... ночь. Москва... где-то какие-то белые шары за окнами загорались... Панкрат, растерявшись, тосковал, держал от страха руки по швам...

— Иди, Панкрат,— тяжело вымолвил профессор и махнул рукой,— ложись спать, миленький, голубчик, Панкрат.

И наступила ночь. Панкрат выбежал из кабинета почему-то на цыпочках, прибежал в свою каморку, разрыв тряпье в углу, вытащил из-под него початую бутылку русской горькой и разом выхлюпнул около чайного стакана. Закусил хлебом с солью, и глаза его несколько повеселели.

Поздним вечером, уже ближе к полуночи, Панкрат, сидя боком на скамье в скупом освещенном вестибюле, говорил бессонному дежурному котелку, почесывая грудь под ситцевой рубашкой.

— Лучше б убил, ей бо...

— Неужто плакал? — с любопытством спрашивал котелок.

— Ей... бо... — уверял Панкрат.

— Великий ученый,— согласился котелок,— известно, лягушка жены не заменит.

— Никак,— согласился Панкрат.

Потом он подумал и добавил:

— Я свою бабу подумываю выписать сюды... чего ей в самом деле в деревне сидеть. Только она гадов этих не выносит нипочем...

— Что говорить, пакость ужаснейшая, — согласился котелок.

Из кабинета ученого не слышно было ни звука. Да и света в нем не было. Не было полоски под дверью.

Глава VIII

История в совхозе

Положительно нет прекраснее времени, нежели зрелый август в Смоленской хотя бы губернии. Лето 1928 года было, как известно, отличнейшее, с дождями весной вовремя, с полным жарким солнцем, с отличным урожаем... Яблоки в бывшем имении Шереметевых зрели... леса зеленели, желтизной квадратов лежали поля... Человек-то лучше становится на лоне природы. И не так уже неприятен казался бы Александр Семенович, как в городе. И куртки противной на нем не было. Лицо его медно загорело, ситцевая расстегнутая рубашка показывала грудь, поросшую густейшим черным волосом, на ногах были парусиновые штаны. И глаза его успокоились и подобрили.

Александр Семенович оживленно сбежал с крыльца с колоннадой, на коей была прибита вывеска под звездой: «Совхоз «Красный Луч», и прямо к автомобилю-полугрузовичку, привезшему три черных камеры под охраной.

Весь день Александр Семенович хлопотал со своими помощниками, устанавливая камеры в бывшем зимнем саду — оранжерее Шереметевых... К вечеру все было готово. Под стеклянным потолком загорелся белый матовый шар, на кирпичях устанавливали камеры, и механик, приехавший с камерами, пощелкав и повертев блестящие винты, зажег на асбестовом полу в черных ящиках красный таинственный луч.

Александр Семенович хлопотал, сам влезал на лестницу, проверяя провода.

На следующий день вернулся со станции тот же полугрузовичок и выплюнул три ящика великолепной гладкой фанеры, кругом оклеенной ярлыками и белыми по черному фону надписями:

«Vorsicht: Eier!!»

Осторожно: яйца!!

— Что же так мало прислали? — удивился Александр Семенович, однако тотчас захлопотался и стал распаковывать яйца. Распаковывание происходило все в той же оранжерее, и принимали в нем участие: сам Александр Семенович; его необыкновенной толщины жена Маня; кривой бывший садовник бывших Шереметевых, а ныне служащий в совхозе на универсальной должности сторожа; охранитель, обреченный на житье в совхозе; и уборщица Дуня. Это не Москва, и все здесь носило более

простой, семейный и дружественный характер. Александр Семенович распоряжался, любовно поглядывая на ящики, выглядевшие таким солидным компактным подарком, под нежным закатным светом верхних стекол оранжерей. Охранитель, винтовка которого мирно дремала у дверей, клещами взламывал скрепы и металлические обшивки. Стоял треск... Сыпалась пыль. Александр Семенович, шлепая сандалиями, суетился возле ящиков.

— Вы потише, пожалуйста, — говорил он охранителю. — Осторожнее. Что ж вы, не видите — яйца?..

— Ничего, — хрипел уездный воин, буравя, — сейчас...

Тр-р-р... — и сыпалась пыль.

Яйца оказались упакованными превосходно: под деревянной крышкой был слой парафиновой бумаги, затем промокательной, затем следовал плотный слой стружек, затем опилки, и в них замелькали белые головки яиц.

— Заграничной упаковочки, — любовно говорил Александр Семенович, роясь в опилках, — это вам не то что у нас. Маня, осторожнее, ты их побьешь.

— Ты, Александр Семенович, сдурел, — отвечала жена, — какое золото, подумаешь. Что я, никогда яиц не видала? Ой!.. какие большие!

— Заграница, — говорил Александр Семенович, выкладывая яйца на деревянный стол, — разве это наши мужицкие яйца... Все, вероятно, брамапутры, черт их возьми! немецкие...

— Известное дело, — подтверждал охранитель, любуясь яйцами.

— Только не понимаю, чего они грязные, — говорил задумчиво Александр Семенович... — Маня, ты присматривай. Пускай дальше выгружают, а я иду на телефон.

И Александр Семенович отправился на телефон в контору совхоза через двор.

Вечером, в кабинете зоологического института затрещал телефон. Профессор Персиков взъерошил волосы и подошел к аппарату.

— Ну? — спросил он.

— С вами сейчас будет говорить провинция, — тихо с шипением отозвалась трубка женским голосом.

— Ну. Слушаю, — брезгливо спросил Персиков в черный рот телефона... В том что-то щелкало, а затем дальний мужской голос сказал в ухо встревоженно:

— Мыть ли яйца, профессор?

— Что такое? Что? Что вы спрашиваете? — раздражился Персиков. — Откуда говорят?

— Из Никольского, Смоленской губернии, — ответила трубка.

— Ничего не понимаю. Никакого Никольского не знаю. Кто это?

— Рокк, — сурово сказала трубка.

— Какой Рокк? Ах, да... это вы... так вы что спрашиваете?

— Мыть ли их?.. прислал из-за границы мне партию курьих яиц...

— Ну?

— А они в грязюке в какой-то...

— Что-то вы путаете... Как они могут быть в «грязюке», как вы выражаетесь? Ну, конечно, может быть немного... помет присох... или что-нибудь еще...

— Так не мыть?

— Конечно, не нужно... Вы, что, хотите уже заряжать яйцами камеры?

— Заряжаю. Да,— ответила трубка.

— Гм,— хмыкнул Персиков.

— Пока,— цокнула трубка и стихла.

— «Пока»,— с ненавистью повторил Персиков приват-доценту Иванову,— как вам нравится этот тип, Петр Степанович?

Иванов рассмеялся.

— Это он? Воображаю, что он там напечет из этих яиц.

— Д... д... д... — заговорил Персиков злобно.— Вы вообразите, Петр Степанович... ну, прекрасно... очень возможно, что на дейтероплазму куриного яйца луч окажет такое же действие, как и на плазму голых. Очень возможно, что куры у него вылупятся... Но ведь ни вы, ни я не можем сказать, какие это куры будут... может быть, они ни к черту негодные куры. Может быть, они подохнут через два дня. Может быть, их есть нельзя! А разве я поручусь, что они будут стоять на ногах. Может быть, у них кости ломкие.— Персиков вошел в азарт и махал ладонью и загибал пальцы.

— Совершенно верно,— согласился Иванов.

— Вы можете поручиться, Петр Степанович, что они дадут поколение? Может быть, этот тип выведет стерильных кур. Догонит их до величины собаки, а потомства от них жди потом до второго пришествия.

— Нельзя поручиться,— согласился Иванов.

— И какая развязность,— расстраивал сам себя Персиков.— Бойкость какая-то! И, ведь, заметьте, что этого прохвоста мне же поручено инструктировать.— Персиков указал на бумагу, доставленную Рокком (она валялась на экспериментальном столе)...— а как я его буду, этого невежду, инструктировать, когда я сам по этому вопросу ничего сказать не могу.

— А отказаться нельзя было? —спросил Иванов.

Персиков побагровел, взял бумагу и показал ее Иванову. Тот прочел ее и иронически усмехнулся.

— М-да... — сказал он многозначительно.

— И, ведь, заметьте... Я своего заказа жду два месяца, и о нем ни слуху ни духу. А этому моментально и яйца прислали и вообще всяческое содействие...

— Ни черта у него не выйдет, Владимир Ипатьич. И просто кончится тем, что вернут вам камеры.

— Да если бы скорее, а то ведь они же мои опыты задерживают.

— Да вот это скверно. У меня все готово.

— Вы скафандры получили?

— Да, сегодня.

Персиков несколько успокоился и оживился.

— Угу... я думаю, мы так сделаем. Двери операционной можно будет наглухо закрыть, а окно мы откроем...

— Конечно,— согласился Иванов.

— Три шлема?

— Три. Да.

— Ну вот-с... Вы, стало быть, я и кого-нибудь из студентов можно назвать. Дадим ему третий шлем.

— Гринмута можно.

— Это который у вас сейчас над саламандрами работает?.. Гм... он ничего... хотя, позвольте, весной он не мог сказать, как устроен плавательный пузырь у голозубых,— злопамятно добавил Персиков.

— Нет, он ничего... Он хороший студент,— заступился Иванов.

— Придется уж не поспать одну ночь,— продолжал Персиков,— только вот что, Петр Степанович, вы проверьте газ, а то черт их знает, эти добροхимы ихние. Пришлют какую-нибудь гадость.

— Нет, нет,— и Иванов замахал руками,— вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатьич, превосходный газ.

— Вы на ком пробовали?

— На обыкновенных жабах. Пустишь струйку — мгновенно умирают. Да, Владимир Ипатьич, мы еще так сделаем. Вы напишите отношение в Гепеу, чтобы вам прислали электрический револьвер.

— Да я не умею с ним обращаться...

— Я на себя беру,— ответил Иванов,— мы на Клязьме из него стреляли, шутки ради... там один гепеур рядом со мной жил... Замечательная штука. И просто чрезвычайно... Бьет бесшумно, шагов на сто и наповал. Мы в ворон стреляли... По-моему, даже и газа не нужно.

— Гм... это остроумная идея... Очень.— Персиков пошел в угол, взял трубу и квакнул:

— Дайте-ка мне эту, как ее... Лубянку...

* * *

Дни стояли жаркие до чрезвычайности. Над полями видно было ясно, как переливался прозрачный, жирный зной. А ночи чудные, обманчивые, зеленые. Луна светила и такую красоту навела на бывшее имение Шереметевых, что ее невозможно выразить. Дворец-совхоз, словно сахарный, светился, в парке тени дрожали, а пруды стали двухцветными пополам — косяком лунный столб, а половина бездонная тьма. В пятнах луны можно было свободно читать «Известия», за исключением шахматного отдела, набранного мелкой непарелью. Но в такие ночи никто «Известия», понятное дело, не читал... Дуня-уборщица оказалась в роще за совхозом, и там же оказался, вследствие совпадения,

рыжеусый шофер потрепанного совхозного полугрузовичка. Что они там делали — неизвестно. Приютились они в непрочной тени вяза, прямо на разостланном кожаном пальто шофера. В кухне горела лампочка, там ужинали два огородника, а мадам Рокк в белом капоте сидела на колонной веранде и мечтала, глядя на красавицу луну.

В 10 часов вечера, когда замолкали звуки в деревне Концовке, расположенной за совхозом, идиллический пейзаж огласился прелестными нежными звуками флейты. Выразить немислимо, до чего же они были уместны над рощами и бывшими колоннами Шереметевского дворца. Хрупкая Лиза из «Пиковой Дамы» смешала в дуэте свой голос с голосом страстной Полины и унеслась в лунную высь, как видение старого и все-таки бесконечно милого, до слез очаровывающего режима.

Угасают... Угасают... —

свистала, переливая и вздыхая, флейта.

Замерли рощи, и Дуня, гибельная, как лесная русалка, слушала, приложив щеку к жесткой, рыжей и мужественной щеке шофера.

— А хорошо дудит, сукин сын, — сказал шофер, обнимая Дуню за талию мужественной рукой.

Играл на флейте сам заведующий совхозом Александр Семенович Рокк, и играл, нужно отдать ему справедливость, превосходно. Дело в том, что некогда флейта была специальностью Александра Семеновича. Вплоть до 1917 года он служил в известном концертном ансамбле маэстро Петухова, ежевечерне оглашающем стройными звуками фойе уютного кинематографа «Волшебные грезы» в городе Екатеринославе. Но великий 1917 год, переломивший карьеру многих людей, и Александра Семеновича повел по новым путям. Он покинул «Волшебные грезы» и пыльный звездный сатин в фойе и бросился в открытое море войны и революции, сменив флейту на губительный маузер. Его долго швыряло по волнам, неоднократно выплескивая то в Крыму, то в Москве, то в Туркестане, то даже во Владивостоке. Нужна была именно революция, чтобы вполне выявить Александра Семеновича. Выяснилось, что этот человек положительно велик, и, конечно, не в фойе «Грез» ему сидеть. Не вдаваясь в долгие подробности, скажем, что последний 1927-й и начало 28-го года застали Александра Семеновича в Туркестане, где он, во-первых, редактировал огромную газету, а засим, как местный член высшей хозяйственной комиссии, прославился своими изумительными работами по орошению туркестанского края. В 1928 году Рокк прибыл в Москву и получил вполне заслуженный отдых. Высшая комиссия той организации, билет которой с честью носил в кармане провинциально-старомодный человек, оценила его и назначила ему должность спокойную и почетную. Увы! Увы! На горе республике кипучий мозг Александра Семеновича не потух, в Москве Рокк столкнулся с изобретением Персикова, и в номерах

на Тверской «Красный Париж» родилась у Александра Семеновича идея, как при помощи луча Персикова возродить в течение месяца кур в республике. Рокка выслушали в комиссии животноводства, согласились с ним, и Рокк пришел с плотной бумагой к чудаку зоологу.

Концерт над стеклянными водами и рощами и парком уже шел к концу, как вдруг произошло нечто, которое прервало его раньше времени. Именно в Концовке собаки, которым по времени уже следовало бы спать, подняли вдруг невыносимый лай, который постепенно перешел в общий мучительнейший вой. Вой, разрастаясь, полетел по полям, и вою вдруг ответил трескучий в миллион голосов концерт лягушек на прудах. Все это было так жутко, что показалось даже на мгновение, будто померкла таинственная колдовская ночь.

Александр Семенович оставил флейту и вышел на веранду.

— Маня. Ты слышишь? Вот проклятые собаки... Чего они, как ты думаешь, разбесились?

— Откуда я знаю? — ответила Маня, глядя на луну.

— Знаешь, Манечка, пойдем посмотрим на яички, — предложил Александр Семенович.

— Ей-богу, Александр Семенович, ты совсем помешался со своими яйцами и курами. Отдохни ты немножко!

— Нет, Манечка, пойдем.

В оранжерее горел яркий шар. Пришла и Дуня с горящим лицом и блистающими глазами. Александр Семенович нежно открыл контрольные стекла, и все стали поглядывать внутрь камер. На белом асбестовом полу лежали правильными рядами испещренные пятнами ярко-красные яйца, в камерах было беззвучно... а шар сверху в 15 000 свечей тихо шипел...

— Эх, выведу я цыпляток! — с энтузиазмом говорил Александр Семенович, заглядывая то сбоку в контрольные прорезы, то сверху, через широкие вентиляционные отверстия. — Вот увидите... Что? Не выведу?

— А вы знаете, Александр Семенович, — сказала Дуня, улыбаясь, — мужики в Концовке говорили, что вы антихрист. Говорят, что ваши яйца дьявольские. Грех машиной выводить. Убить вас хотели.

Александр Семенович вздрогнул и повернулся к жене. Лицо его пожелтело.

— Ну, что вы скажете? Вот народ! Ну что вы сделаете с таким народом? А? Манечка, надо будет им собрание сделать... Завтра вызову из уезда работников. Я им сам скажу речь. Надо будет вообще тут поработать... А то это медвежий какой-то угол...

— Темнота, — молвил охранитель, расположившийся на своей шкуре у двери оранжереи.

Следующий день ознаменовался страшнейшими и необъяснимыми происшествиями. Утром, при первом же блеске солнца, рощи, которые приветствовали обычно светило неумолчным и мощным стрекотанием птиц, встретили его полным безмолвием. Это

было замечено решительно всеми. Словно пред грозой. Но никакой грозы и в помине не было. Разговоры в совхозе приняли странный и двусмысленный для Александра Семеновича оттенок, и в особенности потому, что со слов дяди, по прозвищу Козий Зоб, известного смутьяна и мудреца из Концовки, стало известно, что якобы все птицы собрались в косяки и на рассвете убрались куда-то из Шереметева вон, на север, что было просто глупо. Александр Семенович очень расстроился и целый день потратил на то, чтобы созвониться с городом Грачевкой. Оттуда обещали Александру Семеновичу прислать дня через два ораторов на две темы — международное положение и вопрос о Доброкуре.

Вечер тоже был не без сюрпризов. Если утром умолкли рощи, показав вполне ясно, как подозрительно-неприятна тишина среди деревьев, если в полдень убрались куда-то воробьи с совхозного двора, то к вечеру умолк пруд в Шереметевке. Это было поистине изумительно, ибо всем в окрестностях на сорок верст было превосходно известно знаменитое стрекотание шереметевских лягушек. А теперь они словно вымерли. С пруда не доносилось ни одного голоса, и беззвучно стояла осока. Нужно признаться, что Александр Семенович окончательно расстроился. Об этих происшествиях начали толковать, и толковать самым неприятным образом, т. е. за спиной Александра Семеновича.

— Действительно, это странно, — сказал за обедом Александр Семенович жене, — я не могу понять, зачем этим птицам понадобилось улетать?

— Откуда я знаю? — ответила Маня. — Может быть, от твоего луча?

— Ну ты, Маня, обыкновеннейшая дура, — ответил Александр Семенович, бросив ложку, — ты — как мужики. При чем здесь луч?

— А я не знаю. Оставь меня в покое.

Вечером произошел третий сюрприз — опять взвыли собаки в Концовке, и ведь как! Над лунными полями стоял непрерывный стой, злобные тоскливые стенания.

Вознаградил себя несколько Александр Семенович еще сюрпризом, но уже приятным, а именно в оранжерее. В камерах начал слышаться непрерывный стук в красных яйцах. «Токи... токи... токи...» — стучало то в одном, то в другом, то в третьем яйце.

Стук в яйцах был триумфальным стуком для Александра Семеновича. Тотчас были забыты странные происшествия в роще и на пруде. Сошлись все в оранжерее: и Маня, и Дуня, и сторож, и охранитель, оставивший винтовку у двери.

— Ну, что? Что вы скажете? — победоносно спрашивал Александр Семенович. Все с любопытством наклоняли уши к дверцам первой камеры.

— Это они клювами стучат, цыплятки, — продолжал, сияя, Александр Семенович. — Не выведу цыпляток, скажете? Нет, дорогие мои. — И от избытка чувств он похлопал охранителя

по плечу.— Выведу таких, что вы ахнете. Теперь мне в оба смотреть,— строго добавил он.— Чуть только начнут вылупливаться, сейчас же мне дать знать.

— Хорошо,— хором ответили сторож, Дуня и охранитель.

«Таки... таки... таки...» — закипало то в одном, то в другом яйце первой камеры. Действительно, картина на глазах нарождающейся новой жизни в тонкой отсвечивающей коже была настолько интересна, что все общество еще долго просидело на опрокинутых пустых ящиках, глядя, как в загадочном мерцающем свете созрели малиновые яйца. Разошлись спать довольно поздно, когда над совхозом и окрестностями разлилась зеленоватая ночь. Была она загадочна и даже, можно сказать, страшна, вероятно потому, что нарушал ее полное молчание то и дело начинающийся беспричинный тоскливейший и ноющий вой собак в Концовке. Чего бесились проклятые псы — совершенно неизвестно.

Наутро Александра Семеновича ожидала неприятность. Охранитель был крайне сконфужен, руки прикладывал к сердцу, клялся и божился, что не спал, но ничего не заметил.

— Непонятное дело,— уверял охранитель,— я тут непричинен, товарищ Рокк.

— Спасибо вам, и от души благодарен,— распекал его Александр Семенович,— что вы, товарищ, думаете? Вас зачем приставили? Смотреть. Так вы мне и скажите, куда они делись? Ведь вылупились они? Значит, удрали. Значит, вы дверь оставили открытой да и ушли себе сами. Чтоб были мне цыплята!

— Некуда мне ходить. Что я, своего дела не знаю? — обиделся наконец воин.— Что вы меня попрекаете даром, товарищ Рокк!

— Куды ж они подевались?

— Да я почему знаю,— взбесился наконец воин,— что я их, укараую разве? Я зачем приставлен. Смотреть, чтобы камеры никто не утер, я и исполняю свою должность. Вот вам камеры. А ловить ваших цыплят я не обязан по закону. Кто его знает, какие у вас цыплята вылупятся, может, их на велосипеде не догонийте!

Александр Семенович несколько осекся, побурчал еще что-то и впал в состояние изумления. Дело-то на самом деле было странное. В первой камере, которую зарядили раньше всех, два яйца, помещающиеся у самого основания луча, оказались взломанными. И одно из них даже откатилось в сторону. Скорлупа валялась на асбестовом полу, в луче.

— Черт их знает,— бормотал Александр Семенович,— окна заперты, не через крышу же они улетели!

Он задрал голову и посмотрел туда, где в стеклянном переплете крыши были несколько широких дыр.

— Что вы, Александр Семенович,— крайне удивилась Дуня,— станут вам цыплята летать. Они тут где-нибудь... Цып... цып... цып... — начала она кричать и заглядывать в углы оранжерей, где стояли пыльные цветочные вазоны, какие-то доски и хлам. Но

никакие цыплята нигде не отзывались.

Весь состав служащих часа два бегал по двору совхоза, разыскивая проворных цыплят, и нигде ничего не нашел. День прошел крайне возбужденно. Караул камер был увеличен еще сторожем, и тому был дан строжайший приказ, каждые четверть часа заглядывать в окна камер и, чуть что, звать Александра Семеновича. Охранитель сидел насупившись у дверей, держа винтовку между колен. Александр Семенович совершенно захлопотался и только во втором часу дня пообедал. После обеда он поспал часок в прохладной тени на бывшей оттоманке Шереметева, написал совхозовского сухарного кваса, сходил в оранжерею и убедился, что теперь там все в полном порядке. Старик сторож лежал животом на рогоже и, мигая, смотрел в контрольное стекло первой камеры. Охранитель бодрствовал, не уходя от дверей.

Но были и новости: яйца в третьей камере, заряженные позже всех, начали как-то причмокивать и цокать, как будто внутри их кто-то всхлипывал.

— Ух, зреют,— сказал Александр Семенович,— вот это зреют, теперь вижу. Видал? — отнесся он к сторожу.

— Да, дело замечательное,— ответил тот, качая головой и совершенно двусмысленным тоном.

Александр Семенович посидел немного у камер, но при нем никто не вылутился, он поднялся с корточек, размялся и заявил, что из усадьбы никуда не уходит, а только пройдет на пруд выкупаться и чтобы его, в случае чего, немедленно вызвали. Он сбегал во дворец в спальню, где стояли две узких пружинных кровати со скомканным бельем, и на полу была навалена груда зеленых яблоков и горы проса, приготовленного для будущих выводков, вооружился мохнатым полотенцем, а подумав, захватил с собой и флейту, с тем чтобы на досуге поиграть над водною гладью. Он бодро выбежал из дворца, пересек двор совхоза и по ивовой аллейке направился к пруду. Бодро шел Рокк, помахивая полотенцем и держа флейту под мышкой. Небо изливало зной сквозь ивы, и тело ныло и просилось в воду. На правой руке у Рокка началась заросль лопухов, в которую он, проходя, плюнул. И тотчас в глубине разлапистой путаницы послышалось шуршанье, как будто кто-то поволок бревно. Почувствовав мимолетное неприятное сосание в сердце, Александр Семенович повернул голову к заросли и посмотрел с удивлением. Пруд уже два дня не отзывался никакими звуками. Шуршание смолкло, поверх лопухов мелькнула привлекательно гладь пруда и серая крыша купаленки. Несколько стрекоз метнулись перед Александром Семеновичем. Он уже хотел повернуть к деревянным мосткам, как вдруг шорох в зелени повторился, и к нему присоединилось короткое сипение, как будто высочилось масло и пар из паровоза. Александр Семенович насторожился и стал всматриваться в глухую стену сорной заросли.

— Александр Семенович,— прозвучал в этот момент голос жены Рокка, и белая ее кофточка мелькнула, скрылась, но опять —

мелькнула в малиннике.— Подожди, я тоже пойду купаться.

Жена спешила к пруду, но Александр Семенович ничего ей не ответил, весь приковавшись к лопухам. Сероватое и оливковое бревно начало подниматься из их чаши, вырастая на глазах. Какне-то мокрые желтоватые пятна, как показалось Александру Семеновичу, усеивали бревно. Оно начало вытягиваться, изгибаясь и шевелясь, и вытянулось так высоко, что перегибло низенькую корявую иву... Затем верх бревна надломился, немного склонился, и над Александром Семеновичем оказалось что-то, напоминающее по высоте электрический московский столб. Но только это что-то было раза в три толще столба и гораздо красивее его благодаря чешуйчатой татуировке. Ничего еще не понимая, но уже холодея, Александр Семенович глянул на верх ужасного столба, и сердце в нем на несколько секунд прекратило бой. Ему показалось, что мороз ударил внезапно в августовский день, а перед глазами стало так сумеречно, точно он глядел на солнце сквозь летние штаны.

На верхнем конце бревна оказалась голова. Она была сплюснута, заострена и украшена желтым круглым пятном по оливковому фону. Лишенные век, открытые ледяные и узкие глаза сидели в крыше головы, и в глазах этих мерцала совершенно невиданная злоба. Голова сделала такое движение, словно клюнула воздух, весь столб вобрался в лопухи, и только один глаз остался и, не мигая, смотрели на Александра Семеновича. Тот, покрытый липким потом, произнес четыре слова, совершенно невероятных и вызванных сводящим с ума страхом. Настолько уж хороши были эти глаза между листьями.

— Что это за шутки...

Затем ему вспомнилось, что факиры... да... да... Индия... плетеная корзинка и картинка... Заклинают.

Голова вновь взвилась, и стало выходить и туловище. Александр Семенович поднес флейту к губам, хрипло пискнул и заиграл, ежесекундно задыхаясь, вальс из «Евгения Онегина». Глаза в зелени тотчас же загорелись непримиримой ненавистью к этой опере.

— Что ты, одурел, что играешь на жаре? — слышался веселый голос Мани, и где-то краем глаза справа уловил Александр Семенович белое пятно.

Затем истошный визг пронизал весь совхоз, разросся и взлетел, а вальс запрыгал как с перебитой ногой. Голова из зелени рванулась вперед, глаза ее покинули Александра Семеновича, отпустив его душу на покаяние. Змея приблизительно в пятнадцать аршин и толщиной в человека, как пружина, выскочила из лопухов. Туча пыли брызнула с дороги, и вальс кончился. Змея махнула мимо заведующего совхозом прямо туда, где была белая кофточка на дороге. Рокк видел совершенно отчетливо: Маня стала желто-белой и ее длинные волосы как провололочные поднялись на пол-аршина над головой. Змея на глазах Рокка, раскрыв на мгновение пасть, из которой вынырнуло что-то похожее на вил-

ку, ухватила зубами Маню, оседающую в пыль, за плечо, так что вздернула ее на аршии над землей. Тогда Маня повторила режущий предсмертный крик. Змея извернулася пятисаженым вином, хвост ее взмел смерч, и стала Маню давить. Та больше не издала ни одного звука, и только Рокк слышал, как лопались ее кости. Высоко над землей взметнулася голова Мани, нежно прижавшись в змеиной щеке. Из рта у Мани плеснуло кровью, выскочила сломанная рука и из-под ногтей брызнули фонтанчики крови. Затем змея, вывихнув челюсти, раскрыла пасть и разом надела свою голову на голову Мани и стала налезать на нее, как перчатка на палец. От змеи во все стороны било такое жаркое дыхание, что оно коснулось лица Рокка, а хвост чуть не смел его с дороги в едкой пыли. Вот тут-то Рокк и поседел. Сначала левая и потом правая половина его черной, как сапог, головы покрылась серебром. В смертной тошноте он оторвался, наконец, от дороги и, ничего и никого не видя, оглашая окрестности диким ревом, бросился бежать...

Глава IX

Живая каша

Агент государственного политического управления на станции Дугино Шукин был очень храбрым человеком. Он задумчиво сказал своему товарищу, рыжему Полайтису:

— Ну, что ж, поедем. А? Давай мотоцикл,— потом помолчал и добавил, обращаясь к человеку, сидящему на лавке: — Флейту-то положите.

Но седой трясущийся человек на лавке, в помещении дугинского ГПУ, флейты не положил, а заплакал и замычал. Тогда Шукин и Полайтис поняли, что флейту нужно вынуть. Пальцы присохли к ней. Шукин, отличавшийся огромной, почти цирковой силой, стал палец за пальцем отгибать и отогнул все. Тогда флейту положили на стол.

Это было ранним солнечным утром следующего за смертью Мани дня.

— Вы поедете с нами,— сказал Шукин, обращаясь к Александру Семеновичу,— покажете нам где и что.— Но Рокк в ужасе отстранился от него и руками закрылся, как от страшного видения.

— Нужно показать,— добавил сурово Полайтис.

— Нет, оставь его. Видишь, человек не в себе.

— Отправьте меня в Москву,— плача, попросил Александр Семенович.

— Вы разве совсем не вернетесь в совхоз?

Но Рокк вместо ответа опять заслонился руками, и ужас потек из его глаз.

— Ну, ладно,— решил Шукин,— вы действительно не в силах... Я вижу. Сейчас курьерский пойдет, с ним и поезжайте.

Затем у Шукина с Полайтисом, пока сторож станционный

отпанивал Александра Семеновича водой и тот лязгал зубами по синей выщербленной кружке, произошло совещание. Полайтис полагал, что вообще ничего этого не было, а просто-напросто Рокк душевнобольной и у него была страшная галлюцинация. Шукин же склонялся к мысли, что из города Грачевки, где в настоящий момент гастролировал цирк, убежал удав-констриктор. Услышав их сомневающийся шепот, Рокк привстал. Он несколько пришел в себя и сказал, простирая руки, как библейский пророк:

— Слушайте меня. Слушайте. Что же вы не верите? Она была. Где же моя жена?

Шукин стал молчалив и серьезен и немедленно дал в Грачевку какую-то телеграмму. Третий агент, по распоряжению Шукина, стал неотступно находиться при Александре Семеновиче и должен был сопровождать его в Москву. Шукин же с Полайтисом стали готовиться к экспедиции. У них был всего один электрический револьвер, но и это уже была хорошенькая защита. Пятидесятизарядная модель 27-го года, гордость французской техники для ближнего боя, билась всего на сто шагов, но давала поле 2 метра в диаметре и в этом поле все живое убивала наповал. Промахнуться было очень трудно. Шукин надел блестящую электрическую игрушку, а Полайтис обыкновенный 25-зарядный поясной пулеметик, взял обоймы, и на одном мотоцикле, по утренней росе и холодку, они по шоссе покатались к совхозу. Мотоцикл простучал 20 верст, отделявших станцию от совхоза, в четверть часа (Рокк шел всю ночь, то и дело прячась, в припадках смертного страха, в придорожную траву), и когда солнце начало значительно припекать, на пригорке, под которым вилась речка Тонь, глянул сахарный с колоннами дворец в зелени. Мертвая тишина стояла вокруг. У самого подъезда к совхозу агенты обогнали крестьянина на подводе. Тот плелся не спеша, нагруженный какими-то мешками, и вскоре остался позади. Мотоциклетка пробежала по мосту, и Полайтис затрубил в рожок, чтобы вызвать кого-нибудь. Но никто и нигде не отзывался, за исключением отдаленных остервенившихся собак в Концовке. Мотоцикл, замедляя ход, подошел к воротам с позеленевшими львами. Запыленные агенты в желтых гетрах соскочили, прицепили цепью с замком к переплету решетки машину и вошли во двор. Тишина их поразила.

— Эй, кто тут есть! — окликнул Шукин громко.

Но никто не отзывался на его бас. Агенты обошли двор кругом, все более удивляясь. Полайтис нахмурился. Шукин стал по-смаживать серьезно, все более хмурия светлые брови. Заглянули через закрытое окно в кухню и увидели, что там никого нет, но весь пол усеян белыми осколками посуды.

— Ты знаешь, что-то действительно у них случилось. Я теперь вижу. Катастрофа, — молвил Полайтис.

— Эй, кто там есть! Эй! — кричал Шукин, но ему отвечало только эхо под сводами кухни.

— Черт их знает! — ворчал Шукин. — Ведь не могла же

она слопать их всех сразу. Или разбежались. Идем в дом.

Дверь во дворце с колонной верандой была открыта настежь, и в нем было совершенно пусто. Агенты прошли даже в мезонин, стучали и открывали все двери, но ничего решительно не добились и через вымершее крыльцо вновь вышли во двор.

— Обойдем кругом. К оранжереям,— распорядился Шукин,— все обшарим, а там можно будет протелефонировать.

По кирпичной дорожке агенты пошли, минуя клумбы, на задний двор, пересекли его и увидали блестящие стекла оранжереи.

— Погоди-ка,— заметил шепотом Шукин и отстегнул с пояса револьвер. Полайтис насторожился и снял пулеметик. Страшный и очень зычный звук тянулся в оранжерею и где-то за нею. Похоже было, что где-то шипит паровоз. «Зау-зау... зау-зау... с-с-с-с...»— шипела оранжерея.

— А ну-ка, осторожно,— шепнул Шукин, и, стараясь не стучать каблуками, агенты придвинулись к самым стеклам и заглянули в оранжерею.

Тотчас Полайтис откинулся назад, и лицо его стало бледно. Шукин открыл рот и застыл с револьвером в руке.

Вся оранжерея жила как червивая каша. Свиваясь и развиваясь в клубки, шипя и разворачиваясь, шаря и качая головами, по полу оранжереи ползли огромные змеи. Битая скорлупа валялась на полу и хрустела под их телами. Вверху бледно горел огромной силы электрический шар, и от этого вся внутренность оранжереи освещалась странным кинематографическим светом. На полу торчали три темных, словно фотографических, огромных ящика, два из них, сдвинутые и покосившиеся, потухли, а в третьем горело небольшое густо-малиновое световое пятно. Змеи всех размеров ползли по проводам, поднимались по переплетам рам, вылезали через отверстия в крыше. На самом электрическом шаре висела совершенно черная, пятнистая змея в несколько аршин, и голова ее качалась у шара, как маятник. Какие-то погремушки звякали в шипении, из оранжереи тянуло странным гниlostным, словно прудовым запахом. И еще смутно разглядели агенты кучи белых яиц, валяющиеся в пыльных углах, и странную гигантскую голенастую птицу, лежащую неподвижно у камер, и труп человека в сером у двери, рядом с винтовкой.

— Назад,— крикнул Шукин и стал пятиться, левой рукою отдавливая Полайтиса и поднимая правой револьвер. Он успел выстрелить раз девять, прошипев и выбросив около оранжереи зеленатую молнию. Звук страшно усилился, и в ответ на стрельбу Шукина вся оранжерея пришла в бешеное движение, и плоские головы замелькали во всех дырах. Гром тотчас же начал скакать по всему совхозу и играть отблесками на стенках. «Чах-чах-чах-тах»— стрелял Полайтис, отступая задом. Страшный, четырехлапый, шорох послышался за спиной, и Полайтис вдруг страшно крикнул, падая навзничь. Существо на вывернутых лапах, коричнево-зеленого цвета, с громадной острой мордой, с гребенчатым хвостом, похожее на страшных размеров ящерицу, вы-

катилось из-за угла сарая и, яростно перекусив ногу Полайтису, сбilo его на землю.

— Помоги,— крикнул Полайтис, и тотчас левая рука его попала в пасть и хрустнула, правой рукой он, тщетно пытаясь поднять ее, повез револьвером по земле. Шукин обернулся и заметался. Раз он успел выстрелить, но сильно взял в сторону, потому что боялся убить товарища. Второй раз он выстрелил по направлению оранжереи, потому что оттуда среди небольших змеиных морд высунулась одна огромная, оливковая, и туловище выскочило прямо по направлению к нему. Этим выстрелом он гигантскую змею убил и опять, прыгая и вертясь возле Полайтиса, полумертвого уже в пасти крокодила, выбирал место, куда бы выстрелить, чтобы убить страшного гада, не тронув агента. Наконец, это ему удалось. Из электроревольвера хлопнуло два раза, осветив вокруг все зеленоватым светом, и крокодил, прыгнув, вытянулся, окоченев, и выпустил Полайтиса. Кровь у того текла из рукава, текла изо рта, и он, припадая на правую здоровую руку, тянул переломленную левую ногу. Глаза его угасали.

— Шукин... беги,— промывчал он, всхлипывая.

Шукин выстрелил несколько раз по направлению оранжереи, и в ней вылетело несколько стекол. Но огромная пружина, оливковая и гибкая, сзади, выскочив из подвального окна, перескользила двор, заняв его весь пятисажженным телом, и во мгновение обвила ноги Шукина. Его швырнуло вниз на землю, и блестящий револьвер отпрыгнул в сторону. Шукин крикнул мощно, потом задохся, потом кольца скрыли его совершенно, кроме головы. Кольцо прошло раз по голове, сдирая с нее скальп, и голова эта треснула. Больше в совхозе не послышалось ни одного выстрела. Все погасил шипящий, покрывающий звук. И в ответ ему очень далеко по ветру донесся из Концовки вой, но теперь уже нельзя было разобрать, чей это вой, собачий или человеческий.

Глава X

Катастрофа

В ночной редакции газеты «Известия» ярко горели шары, и толстый выпускающий редактор на свинцовом столе верстал вторую полосу с телеграммами «По Союзу республик». Одна гранка попала ему на глаза, он всмотрелся в нее через пенсне и захохотал, созвал вокруг себя корректоров из корректорской и метранпажа и всем показал эту гранку. На узенькой полоске сырой бумаги было напечатано:

«Грачевка, Смоленской губернии. В уезде появилась курица величиною с лошадь и лягается, как конь. Вместо хвоста у нее буржуазные дамские перья».

Наборщики страшно хохотали.

— В мое время,— заговорил выпускающий, хихикая жирно,— когда я работал у Вани Сытина в «Русском слове», допива-

лись до слонов. Это верно. А теперь, стало быть, до страусов.

Наборщики хохотали.

— А ведь верно, страус,— заговорил метранпаж,— что же ставить, Иван Вонифатьевич?

— Да что ты, сдурел,— ответил выпускающий,— я удивляюсь, как секретарь пропустил,— просто пьяная телеграмма.

— Попраздновали, это верно,— согласились наборщики, и метранпаж убрал со стола сообщение о страусе.

Поэтому «Известия» и вышли на другой день, содержа, как обыкновенно, массу интересного материала, но без каких бы то ни было намеков на грачевского страуса. Приват-доцент Иванов, аккуратно читающий «Известия», у себя в кабинете свернул лист, зевнув, молвил: ничего интересного, и стал надевать белый халат. Через некоторое время в кабинете у него загорелись горелки и заквакали лягушки. В кабинете же профессора Персикова была кутерьма. Испуганный Панкрат стоял и держал руки по швам.

— Понял... слушаю-с,— говорил он.

Персиков запечатанный сургучом пакет вручил ему, говоря:

— Поедешь прямо в отдел животноводства к этому заведующему Птахе и скажешь ему прямо, что он — свинья. Скажи, что я так, профессор Персиков, так и сказал. И пакет ему отдай.

«Хорошенькое дело...» — подумал бледный Панкрат и убрался с пакетом.

Персиков бушевал.

— Это черт знает что такое,— скулил он, разгуливая по кабинету и потирая руки в перчатках,— это неслыханное издевательство надо мной и над зоологией. Эти проклятые куриные яйца везут горами, а я 2 месяца не могу добиться необходимого. Словно до Америки далеко! Вечная кутерьма, вечное безобразие.— Он стал считать по пальцам: — Ловля... ну, десять дней самое большее, ну, хорошо — пятнадцать... ну, хорошо, двадцать и перелет два дня, из Лондона в Берлин день... Из Берлина к нам шесть часов... какое-то неопишное безобразие...

Он яростно набросился на телефон и стал куда-то звонить.

В кабинете у него было все готово для каких-то таинственных и опаснейших опытов, лежала полосами нарезанная бумага для заклейки дверей, лежали водолазные шлемы с отводными трубками и несколько баллонов, блестящих как ртуть, с этикеткою «доброхим», «не прикасаться» и рисунком черепа со скрещенными костями.

Понадобилось по меньшей мере три часа, чтоб профессор успокоился и приступил к мелким работам. Так он и сделал. В институте он работал до одиннадцати часов вечера, и поэтому ни о чем не знал, что творится за кремовыми стенами. Ни нелепый слух, пролетевший по Москве о каких-то змеях, ни странная выкрикнутая телеграмма в вечерней газете ему остались неизвестны, потому что доцент Иванов был в Художественном театре на «Федоре Иоанновиче», и, стало быть, сообщить новость профессору было некому.

Персиков около полуночи приехал на Пречистенку и лег спать, почитав еще на ночь в кровати какую-то английскую статью в журнале «Зоологический Вестник», полученном из Лондона. Он спал, да спала и вся вертящаяся до поздней ночи Москва, и не спал лишь громадный серый корпус на Тверской ул. во дворе, где страшно гудели, потрясая все здание, ротационные машины «Известий». В кабинете выпускающего происходила невероятная кутерьма и путаница. Он, совершенно бешеный, с красными глазами, метался, не зная, что делать, и посылал всех к чертовой матери. Метранпаж ходил за ним и, дыша винным духом, говорил:

— Ну что же, Иван Вонифатьевич, не беда, пускай завтра утром выпускают экстренное приложение. Не из машины же номер выдирать.

Наборщики не разошлись домой, а ходили стаями, сбивались кучами и читали телеграммы, которые шли теперь всю ночь напролет, через каждые четверть часа, становясь все чудовищнее и страшнее. Острая шляпа Альфреда Бронского мелькала в ослепительном розовом свете, заливавшем типографию, и механический толстяк скрипел и ковылял, показываясь то здесь, то там. В подъезде хлопали двери, и всю ночь появлялись репортеры. По всем 12 телефонам типографии звонили непрерывно, и станция почти механически подавала в ответ на загадочные трубки «занято», «занято», и на станции перед бессонными бабышками пели и пели сигнальные рожки...

Наборщики облепили механического толстяка, и капитан дальнего плавания говорил им:

— Аэропланы с газом придется посылать.

— Не иначе, — отвечали наборщики, — ведь это что ж такое. — Затем страшная матерная ругань перекачивалась в воздухе и чей-то визгливый голос кричал:

— Этого Персикова расстрелять надо.

— При чем тут Персиков, — отвечали из гущи, — этого сукина сына в совхозе — вот кого расстрелять.

— Охрану надо было поставить, — выкрикивал кто-то.

— Да, может, это вовсе и не яйца.

Все здание тряслось и гудело от ротационных колес, и создавалось такое впечатление, что серый неприглядный корпус полыхает электрическим пожаром.

Занявшийся день не остановил его. Напротив, только усилил, хоть и электричество погасло. Мотоциклетки одна за другой вкатывались в асфальтовый двор попеременно с автомобилями. Вся Москва встала, и белые листы газеты одели ее, как птицы. Листы сыпались и шуршали у всех в руках, и у газетчиков к одиннадцати часам дня не хватило номеров, несмотря на то, что «Известия» выходили в этом месяце с тиражом в полтора миллиона экземпляров. Профессор Персиков выехал с Пречистенки на автобусе и прибыл в институт. Там его ожидала новость. В вестибюле стояли аккуратные обшитые металлическими полосами деревянные ящики, в количестве трех штук, испещренные заграничными наклей-

ками на немецком языке, и над ними царствовала одна русская меловая надпись: «осторожно — яйца».

Бурная радость овладела профессором.

— Наконец-то! — вскричал он. — Панкрат, взламывай ящики немедленно и осторожно, чтобы не побить. Ко мне в кабинет.

Панкрат немедленно исполнил приказание, и через четверть часа в кабинете профессора, усеянном опилками и обрывками бумаги, забушевал его голос.

— Да они что же, издеваются надо мною, что ли? — выль профессор, потрясая кулаками и вертя в руках яйца. — Это какая-то скотина, а не Птаха. Я не позволю смеяться надо мной. Это что такое, Панкрат?

— Яйца-с, — отвечал Панкрат горестно.

— Куриные, понимаешь, куриные, черт бы их задрал! На какого дьявола они мне нужны. Пусть посылают их этому негодяю в его совхоз!

Персиков бросился в угол к телефону, но не успел позвонить.

— Владимир Ипатьич! Владимир Ипатьич! — загремел в коридоре института голос Иванова.

Персиков оторвался от телефона, и Панкрат стрельнул в сторону, давая дорогу приват-доценту. Тот вбежал в кабинет, вопреки своему джентльменскому обычаю, не снимая серой шляпы, сидящей на затылке, и с газетным листом в руках.

— Вы знаете, Владимир Ипатьич, что случилось, — выкрикивал он и взмахнул перед лицом Персикова листом с надписью: «экстренное приложение», посередине которого красовался яркий цветной рисунок.

— Нет, выслушайте, что они сделали, — в ответ закричал, не слушая, Персиков, — они меня вздумали удивить куриными яйцами. Этот Птаха форменный идиот, посмотрите!

Иванов совершенно ошалел. Он в ужасе уставился на вскрытые ящики, потом на лист, затем глаза его почти выпрыгнули с лица.

— Так вот что, — задыхаясь, забормотал он, — теперь я понимаю... Нет, Владимир Ипатьич, вы только гляньте, — он мгновенно развернул лист и дрожащими пальцами указал Персикову на цветное изображение. На нем, как страшный пожарный шланг, извивалась оливковая, в желтых пятнах змея, в странной смазанной зелени. Она была снята сверху, с легонькой летательной машины, осторожно скользнувшей над змеей. — Кто это, по-вашему, Владимир Ипатьич?

Персиков сдвинул очки на лоб, потом передвинул их на глаза, всмотрелся в рисунок и сказал в крайнем удивлении:

— Что за черт. Это... да это анаконда, водяной удав...

Иванов сбросил шляпу, опустился на стул и сказал, выстукивая каждое слово кулаком по столу:

— Владимир Ипатьич, эта анаконда из Смоленской губернии. Что-то чудовищное. Вы понимаете, этот негодяй вывел змей вместо кур, и, вы поймите, они дали такую же самую феноменальную кладку, как лягушки!

— Что такое? — ответил Персиков, и лицо его сделалось бурым... — Вы шутите, Петр Степанович... Откуда?

Иванов онемел на мгновение, потом получил дар слова и, тыча пальцем в открытый ящик, где сверкали беленькие головки в желтых опилках, сказал:

— Вот откуда.

— Что-о?! — завыл Персиков, начиная соображать.

Иванов совершенно уверенно взмахнул двумя сжатыми кулаками и закричал:

— Будьте покойны. Они ваш заказ на змеинные и страусовые яйца переслали в совхоз, а куриные вам по ошибке.

— Боже мой... боже мой, — повторил Персиков и, зелenea лицом, стал садиться на винтящийся табурет.

Панкрат совершенно одурел у двери, побледнел и онемел. Иванов вскочил, схватил лист и, подчеркивая острым ногтем строчку, закричал в уши профессору:

— Ну, теперь они будут иметь веселую историю!.. Что теперь будет, я решительно не представляю. Владимир Ипатьч, вы гляньте, — и он завопил вслух, вычитывая первое попавшееся место со скомканного листа... — Змеи идут стаями в направлении Можайска... откладывая невероятные количества яиц. Яйца были замечены в Духовском уезде... Появились крокодилы и страусы. Части особого назначения... и отряды государственного управления прекратили панику в Вязьме после того, как зажгли пригородный лес, остановивший движение гадов...

Персиков, разноцветный, иссиня-бледный, с сумасшедшими глазами, поднялся с табурета и задыхаясь начал кричать:

— Анаконда... анаконда... водяной удав! Боже мой! — в таком состоянии его еще никогда не видели ни Иванов, ни Панкрат.

Профессор сорвал одним взмахом галстук, оборвал пуговицы на сорочке, побагровел страшным параличным цветом и, шатаясь, с совершенно тупыми стеклянными глазами ринулся куда-то вон. Вопль разлетелся под каменными сводами института.

— Анаконда... анаконда... — загремело эхо.

— Лови профессора! — взвизгнул Иванов Панкрату, заплывавшему от ужаса на месте. — Воды ему... у него удар.

Глава XI

Бой и смерть

Пылала бешеная электрическая ночь в Москве. Горели все огни, и в квартирах не было места, где бы не сияли лампы со сброшенными абажурами. Ни в одной квартире Москвы, насчитывающей 4 миллиона населения, не спал ни один человек, кроме неосмысленных детей. В квартирах ели и пили как попало, в квартирах что-то выкрикивали, и поминутно искаженные лица выглядывали в окна во всех этажах, устремляя взоры в небо, во всех направлениях изрезанное прожекторами. На небе то и

дело вспыхивали белые огни, отбрасывали тающие бледные конусы на Москву и исчезали и гасли. Небо непрерывно гудело очень низким аэропланным гулом. В особенности страшно было на Тверской-Ямской. На Александровский вокзал через каждые 10 минут приходили поезда, сбитые как попало из товарных и разноклассных вагонов и даже цистерн, облепленных обезумевшими людьми; и по Тверской-Ямской бежали густой кашей, ехали в автобусах, ехали на крышах трамваев, давили друг друга и попадали под колеса. На вокзале то и дело вспыхивала трескучая тревожная стрельба поверх толпы — это воинские части останавливали панику сумасшедших, бегущих по стрелкам железных дорог из Смоленской губернии на Москву. На вокзале то и дело с бешеным легким всхлипыванием вылетали стекла в окнах и выли все паровозы. Все улицы были усеяны плакатами, брошенными и растоптанными, и эти же плакаты под жгучими малиновыми рефлекторами глядели со стен. Они всем уже были известны, и никто их не читал. В них Москва объявлялась на военном положении. В них грозили за панику и сообщали, что в Смоленскую губернию часть за частью уже едут отряды Красной Армии, вооруженные газами. Но плакаты не могли остановить воюющей ночи. В квартирах роняли и били посуду и цветочные вазоны, бегали, задевая за углы, разматывали и сматывали какие-то узлы и чемоданы в тщетной надежде пробраться на Каланчевскую площадь, на Ярославский или Николаевский вокзал. Увы, все вокзалы, ведущие на север и восток, были оцеплены густейшим слоем пехоты, и громадные грузовики, колыша и брэнча цепями, доверху нагруженные ящиками, поверх которых сидели армейцы в остроконечных шлемах, ошетилившиеся во все стороны штыками, увозили запасы золотых монет из подвалов народного комиссариата финансов и громадные ящики с надписью: «Осторожно. Третьяковская галерея». Машины рывкали и бегали по всей Москве.

Очень далеко на небе дрожал ответ пожара, и слышались, колыша густую черноту августа, непрерывные удары пушек.

Под утро, по совершенно бессонной Москве, не потушившей ни одного огня, вверх по Тверской, сметая все встречное, что жалось в подъезды и витрины, выдавливая стекла, прошла многотысячная, стрекочущая копытами по торцам змея конной армии. Малиновые башлыки мотались концами на серых спинах, и кончики пик кололи небо. Толпа, мечущаяся и воюющая, как будто ожила сразу, увидав ломящиеся вперед, рассекающие расплеснутое варево безумия шеренги. В толпе на тротуарах начали призывно, с надеждою, выть.

— Да здравствует конная армия! — кричали исступленные женские голоса.

— Да здравствует! — отзывались мужчины.

— Задавят!! давят!.. — выли где-то.

— Помогите! — кричали с тротуара.

Коробки папирос, серебряные деньги, часы полетели в шеренги

с тротуаров, какие-то женщины выскакивали на мостовую и, рискуя костями, плелись с боков конного строя, цепляясь за стремяна и целуя их. В непрерывном стрекоте копыт изредка взмывали голоса взвонивших:

— Короче повод.

Где-то пели весело и разухабисто, и с коней смотрели в зыбком рекламном свете лица в заломленных малиновых шапках. То и дело прерывая шеренги конных с открытыми лицами, шли на конях же странные фигуры, в странных чадрах, с отводными за спиной трубками и с баллонами на ремнях за спиной. За ними ползли громадные цистерны-автомобили, с длиннейшими рукавами и шлангами, точно на пожарных повозках, и тяжелые, раздавливающие торцы, наглухо закрытые и светящиеся узенькими бойницами танки на гусеничных лапах. Прерывались шеренги конных, и шли автомобили, зашитые наглухо в серую броню, с теми же трубками, торчащими наружу, и белыми нарисованными черепами на боках с надписью «газ», «Доброхим».

— Выручайте, братцы,— завывали с тротуаров,— бейте гадов... Спасайте Москву!

— Мать... мать...— перекатывалось по рядам. Папиросы пачками прыгали в освещенном ичном воздухе, и белые зубы скалились на ошалевших людей с коней. По рядам разливалось глухое и щиплющее сердце пение:

...Ни туз, ни дама, ни валет,
Побьем мы гадов без сомненья,
Четыре с боку, ваших нет.

Гудящие раскаты «ура» выплывали над всей этой кашей, потому что пронесся слух, что впереди шеренг на лошади, в таком же малиновом башлыке, как и все всадники, едет ставший легендарным 10 лет назад, постаревший и поседевший командир конной громады. Толпа завывала, и в небо улетал, немного успокаивая мятущиеся сердца, гул «ура... ура»...

* * *

Институт был скупо освещен. События в него долетали только отдельными, смутными и глухими отзвуками. Раз под огненными часами близ манаежа грохнул веером залп, это расстреляли на месте мародеров, пытавшихся ограбить квартиру на Волхонке. Машиноного движения на улице здесь было мало, оно все сбивалось к вокзалам. В кабинете профессора, где тускло горела одна лампа, отбрасывая лучок на стол, Персиков сидел, положив голову на руки, и молчал. Слоистый дым веял вокруг него. Луч в ящике погас. В террариях лягушки молчали, потому что уже спали. Профессор не работал и не читал. В стороне, под левым его локтем, лежал вечерний выпуск телеграмм на узкой полосе, сообщавший, что Смоленск горит весь и что артиллерия обстреливает Можайский лес по квадратам, громя залежи крокодилий

яиц, разложенных во всех сырых оврагах. Сообщалось, что эскадрилья аэропланов под Вязьмою действовала весьма удачно, залив газом почти весь уезд, но что жертвы человеческие в этих пространствах неисчислимы из-за того, что население, вместо того чтобы покидать уезды в порядке правильной эвакуации, благодаря панике металось разрозненными группами на свой риск и страх, кидаясь куда глаза глядят. Сообщалось, что отдельная кавказская кавалерийская дивизия в Можайском направлении блистательно выиграла бой со страусовыми стаями, перерубив их всех и уничтожив громадные кладки страусовых яиц. При этом дивизия понесла незначительные потери. Сообщалось от правительства, что в случае, если гадов не удастся удержать в 200-верстной зоне от столицы, она будет эвакуирована в полном порядке. Служащие и рабочие должны соблюдать полное спокойствие. Правительство примет самые жестокие меры к тому, чтобы не допустить смоленской истории, в результате которой, благодаря смятению, вызванному неожиданным нападением гремучих змей, появившихся в количестве нескольких тысяч, город загорался во всех местах, где бросили горящие печи и начали безнадежный повальный исход. Сообщалось, что продовольствием Москва обеспечена по меньшей мере на полгода и что совет при главнокомандующем предпринимает срочные меры к бронировке квартир для того, чтобы вести бои с гадами на самых улицах столицы, в случае если красным армиям и аэропланам и эскадрильям не удастся удержать нашествие пресмыкающихся.

Ничего этого профессор не читал, смотрел остекленевшими глазами перед собой и курил. Кроме него только два человека были в институте — Панкрат и то и дело заливающаяся слезами экономка Марья Степановна, бессонная уже третью ночь, которую она проводила в кабинете профессора, ни за что не желающего покинуть свой единственный оставшийся потухший ящик. Теперь Марья Степановна приютилась на клеенчатом диване, в тени в углу, и молчала в скорбной думе, глядя, как чайник с чаем, предназначенным для профессора, закипал на треножнике газовой горелки. Институт молчал, и все произошло внезапно.

С тротуара вдруг слышались ненавистные звонкие крики, так что Марья Степановна вскочила и взвизгнула. На улице замелькали огни фонарей, и отозвался голос Панкрата в вестибюле. Профессор плохо воспринял этот шум. Он поднял на мгновение голову, пробормотал: «Ишь как беснуются... что ж я теперь подаю». И вновь впал в оцепенение. Но оно было нарушено. Страшно загремели кованые двери института, выходящие на Герцена, и все стены затряслись. Затем лопнул сплошной зеркальный слой в соседнем кабинете. Зазвенело и высыпалось стекло в кабинете профессора, и серый булыжник прыгнул в окно, развалив стеклянный стол. Лягушки шарахнулись в террариях и подняли вопль. Заметалась, завизжала Марья Степановна, бросилась к профессору, хватая его за руки и крича: «Убегайте, Владимир Ипатьич, убегайте». — Тот поднялся с винтящегося стула, выпря-

мился и, сложив палец крючочком, ответил, причем его глаза на миг приобрели прежний остренький блеск, напоминавший прежнего вдохновенного Персикова.

— Никуда я не пойду, — проговорил он, — это просто глупость, — они мечутся как сумасшедшие... Ну, а если вся Москва сошла с ума, то куда же я уйду. И, пожалуйста, перестаньте кричать. При чем здесь я. Панкрат! — позвал он и нажал кнопку.

Вероятно, он хотел, чтоб Панкрат прекратил всю суету, которой он вообще никогда не любил. Но Панкрат ничего уже не мог поделывать. Грохот кончился тем, что двери института растворились и издалека донесли хлопнушки выстрелов, а потом весь каменный институт загрохотал бегом, выкриками, боем стекол. Марья Степановна вцепилась в рукав Персикова и начала его тащить куда-то, он отбил ее от себя, вытянулся во весь рост и, как был в белом халате, вышел в коридор.

— Ну? — спросил он. Двери распахнулись, и первое, что появилось в дверях, это спина военного с малиновым шевроном и звездой на левом рукаве. Он отступал из двери, в которую напирала яростная толпа, спиной и стрелял из револьвера. Потом он бросился бежать мимо Персикова, крикнув ему:

— Профессор, спасайтесь, я больше ничего не могу сделать.

Его словам ответил визг Марьи Степановны. Военный проскочил мимо Персикова, стоящего как белое изваяние, и исчез во тьме извилистых коридоров в противоположном конце. Люди вылетали из дверей, завывая:

— Бей его! Убивай...

— Мирового злодея!

— Ты распустил гадов!

Искаженные лица, разорванные платья запрыгали в коридорах, и кто-то выстрелил. Замелькали палки. Персиков немного отступил назад, прикрыл дверь, ведущую в кабинет, где в ужасе на полу на коленях стояла Марья Степановна, распростер руки, как распятый... он не хотел пустить толпу и закричал в раздражении:

— Это форменное сумасшествие... вы совершенно дикие звери. Что вам нужно? — Завыл: — Вон отсюда! — и закончил фразу резким, всем знакомым выкриком: — Панкрат, гони их вон.

Но Панкрат никого уже не мог выгнать. Панкрат с разбитой головой, истоптанный и рваный в клочья, лежал недвижимо в вестибюле, и новые и новые толпы рвались мимо него, не обращая внимания на стрельбу милиции с улицы.

Низкий человек, на обезьяньих кривых ногах, в разорванном пиджаке, в разорванной манишке, сбившейся на сторону, опередил других, дорвался до Персикова и страшным ударом палки раскроил ему голову. Персиков качнулся, стал падать на бок, и последним его словом было:

— Панкрат... Панкрат...

Ни в чем не повинную Марью Степановну убили и растерзали в кабинете, камеру, где потух луч, разнесли в клочья, в клочья

разнесли террарии, перебив и истоптав обезумевших лягушек, раздробили стеклянные столы, раздробили рефлекторы, а через час институт пылал, возле него валялись трупы, оцепленные шеренгой вооруженных электрическими револьверами, и пожарные автомобили, насасывая воду из кранов, лили струи во все окна, из которых, гудя, длинно выбивалось пламя.

Глава XII

Морозный бог на машине

В ночь с 19-го на 20-е августа 1928 года упал неслыханный, никем из старожилов никогда еще не отмеченный мороз. Он пришел и продержался двое суток, достигнув 18 градусов. Остервеневшая Москва заперла все окна, все двери. Только к концу третьих суток поняло население, что мороз спас столицу и те безграничные пространства, которыми она владела и на которые упала страшная беда 28-го года. Конная армия под Можайском, потерявшая три четверти своего состава, начала изнемогать, и газовые эскадрильи не могли остановить движения мерзких пресмыкающихся, полуколосьмом заходивших с запада, юго-запада и юга по направлению к Москве.

Их задушил мороз. Двух суток по 18 градусов не выдержали омерзительные стаи, и в 20-х числах августа, когда мороз исчез, оставив лишь сырость и мокроту, оставив влагу в воздухе, оставив побитую неожиданным холодом зелень на деревьях, биться больше было не с кем. Беда кончилась. Леса, поля, необозримые болота были еще завалены разноцветными яйцами, покрытыми порою странным, нездешним, невиданным рисунком, который безвестно пропавший Рокк принимал за грязюку, но эти яйца были совершенно безвредны. Они были мертвы, зародыши в них прикончены.

Необозримые пространства земли еще долго гнили от бесчисленных трупов крокодилов и змей, вызванных к жизни таинственным, родившимся на улице Герцена в гениальных глазах лучом, но они уже не были опасны, непрочные создания гниlostных жарких тропических болот погибли в два дня, оставив на пространстве трех губерний страшное зловоние, разложение и гной.

Были долгие эпидемии, были долго повальные болезни от трупов гадов и людей, и долго еще ходила армия, но уже не снабженная газами, а саперными принадлежностями, керосинными цистернами и шлангами, очищая землю. Очистила, и все кончилось к весне 29-го года.

А весной 29-го года опять затанцевала, загорелась и завертелась огнями Москва, и опять по-прежнему шаркало движение механических экипажей, и над шапкою Храма Христа висел, как на ниточке, лунный серп, и на месте сгоревшего в августе 28-го года двухэтажного института выстроили новый зоологический дворец и им заведовал приват-доцент Иванов, но Персикова уже

не было. Никогда не возникал перед глазами людей скорченный убедительный крючок из пальца, и никто больше не слышал скрипучего квакающего голоса. О луче и катастрофе 28-го года еще долго говорил и писал весь мир, но потом имя профессора Владимира Ипатьевича Персикова оделось туманом и погасло, как погас и самый открытый им в апрельскую ночь красный луч. Луч же этот вновь получить не удалось, хоть иногда изящный джентльмен и ныне ординарный профессор Петр Степанович Иванов и пытался. Первую камеру уничтожила разъяренная толпа в ночь убийства Персикова. Три камеры сгорели в никольском совхозе «Красный Луч» при первом бос эскадрильи с гадами, а восстановить их не удалось. Как ни просто было сочетание стекол с зеркальными пучками света, его не скомбинировали второй раз, несмотря на старания Иванова. Очевидно, для этого нужно было что-то особенное, кроме знания, чем обладал в мире только один человек — покойный профессор Владимир Ипатьевич Персиков.

Москва, 1924 г., октябрь

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

I

У-у-у-у-у-гу-гу-гуу! О, гляньте на меня, я погибаю. Выюга в подворотне ревет мне отходную, и я вою с ней. Пропал я, пропал. Негодяй в грязном колпаке — повар столовой нормального питания служащих Центрального Совета Народного Хозяйства — плеснул кипятком и обварил мне левый бок. Какая гадина, а еще пролетарий. Господи, боже мой — как больно! До костей проело кипятком. Я теперь вою, вою, да разве воем поможешь.

Чем я ему помешал? Неужели я обожру Совет Народного Хозяйства, если в помойке пороюсь? Жадная тварь! Вы гляньте когда-нибудь на его рожу: ведь он поперек себя шире. Вор с медной мордой. Ах, люди, люди. В полдень угостил меня колпак кипятком, а сейчас стемнело, часа четыре приблизительно пополудни, судя по тому, как луком пахнет из пожарной Пречистенской команды. Пожарные ужинают кашей, как вам известно. Но это — последнее дело, вроде грибов. Знакомые псы с Пречистенки, впрочем, рассказывали, будто бы на Неглинном в ресторане «Бар» жрут дежурное блюдо — грибы, соус пикан по 3 р. 75 к. порция. Это дело на любителя — все равно, что калошу лизать... У-у-у-у-у.

Бок болит нестерпимо, и даль моей карьеры видна мне совершенно отчетливо: завтра появятся язвы и, спрашивается, чем я их буду лечить? Летом можно смотаться в Сокольники, там есть особенная, очень хорошая травка, а кроме того, нажрешься бесплатно колбасных головок, бумаги жирной набросают граждане, налижешься. И если бы не гримза какая-то, что поет на

кругу при луне — «милая Аида» — так, что сердце падает, было бы отлично. А теперь куда пойдешь? Не били вас по заду сапогом? Били. Кирпичом по ребрам получали? Кушано достаточно. Все испытал, с судьбой своей мирюсь и, если плачу сейчас, то только от физической боли и холода, потому что дух мой еще не угас... Живуч собачий дух.

Но вот тело мое изломанное, битое, надругались над ним люди достаточно. Ведь главное что — как врезал он кипятком, под шерсть проело, и защиты, стало быть, для левого бока нет никакой. Я очень легко могу получить воспаление легких, а получив его, я, граждане, подохну с голоду. С воспалением легких, полагается лежать на парадном ходе под лестницей, а кто же вместо меня, лежащего холостого пса, будет бегать по сорным ящикам в поисках питания? Прохватит легкое, поползу я на животе, ослабею, и любой спец пришибет меня палкой насмерть. И дворники с бляхами ухватят меня за ноги и выкинут на телегу...

Дворники из всех пролетариев — самая гнусная мразь. Человечья очистки — самая низшая категория. Повар попадает из разных. Например — покойный Влас с Пречистенки. Скольким он жизнь спас. Потому что самое главное во время болезни перехватить кус. И вот, бывало, говорят старые псы, махнет Влас кость, а на ней с осьмушку мяса. Царство ему небесное за то, что был настоящая личность, барский повар графов Толстых, а не из Совета Нормального питания. Что они там вытворяют в нормальном питании — уму собачьему непостижимо. Ведь они же, мерзавцы, из вонючей солонины щи варят, а те, бедняги, ничего и не знают. Бегут, жрут, лакают.

Иная машинисточка получает по IX разряду четыре с половиной червонца, ну; правда, любовник ей фильдеперсовы чулочки подарит. Да ведь сколько за этот фильдеперс ей издевательств надо вынести. Ведь он ее не каким-нибудь обыкновенным способом, а подвергает французской любви. Сволочи эти французы, между нами говоря. Хотя и лопают богато, и все с красным вином. Да... Прибежит машинисточка, ведь за 4,5 червонца в «Бар» не пойдешь. Ей и на кинематограф не хватает, а кинематограф у женщин единственное утешение в жизни. Дрожит, морщится, а лопает... Подумать только: 40 копеек из двух блюд, а они, оба эти блюда, и пятналтыного не стоят, потому что остальные 25 копеек завхоз уворовал. А ей разве такой стол нужен? У нее и верхушка правого легкого не в порядке, и женская болезнь на французской почве, на службе с нее вычли, тухлятиной в столовой накормили, вот она, вон она.. Бежит в подворотню в любовниковых чулках. Ноги холодные, в живот дует, потому что шерсть на ней вроде моей, а штаны она носит холодные, одна кружевная видимость. Рвань для любовника. Надень-ка она фланелевые, попробуй, он и заорет: до чего ты не изящна! Надоела мне моя Матрена, намучился я с фланелевыми штанами, теперь пришло мое времечко. Я теперь председатель, и сколько ни накраду — все на женское тело, на раковые шейки, на Абрау-Дюрсо. Потому что наголо-

дался я в молодости достаточно, будет с меня, а загробной жизни не существует.

Жаль мне ее, жаль! Но самого себя мне еще больше жаль. Не из эгоизма говорю, о нет, а потому что мы действительно не в равных условиях. Ей-то хоть дома тепло, ну а мне, а мне... Куда пойду? У-у-у-у-у!..

— Куть, куть, куть! Шарик, а Шарик... Чего ты скулишь, бедняжка? Кто тебя обидел? Ух...

Ведьма сухая метель загремела воротами и помелом съездила по уху барышню. Юбчонку взбила до колен, обнажила кремовые чулочки и узкую полосочку плохо стиранного кружевного-бельишка, задушила слова и замела пса.

Боже мой... Какая погода... Ух... И живот болит. Это солонина, это солонина! И когда же это все кончится?

Наклонив голову, бросилась барышня в атаку, прорвалась в ворота, и на улице начало ее вертеть, вертеть, раскидывать, потом завинтило снежным винтом, и она пропала.

А пес остался в подворотне и, страдая от изуродованного бока, прижался к холодной стене, задохся и твердо решил, что больше отсюда никуда не пойдет, тут и сдохнет в подворотне. Отчаяние повалило его. На душе у него было до того больно и горько, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали. Испорченный бок торчал свалявшимися промерзшими комьями, а между ними глядели красные зловещие пятна обвара. До чего бессмысленны, тупы, жестокости повара. «Шарик» — она назвала его... Какой он к черту «Шарик»? Шарик — это значит круглый, упитанный, глупый, овсянку жрет, сын знатных родителей, а он лохматый, долговязый и рваный, шляйка поджарая, бездомный пес. Впрочем, спасибо на добром слове.

Дверь через улицу в ярко освещенном магазине хлопнула, и из нее показался гражданин. Именно гражданин, а не товарищ, и даже — вернее всего — господин. Ближе — яснее — господин. Вы думаете, я сужу по пальто? Вздор. Пальто теперь очень многие и из пролетариев носят. Правда, воротники не такие, об этом и говорить нечего, но все же издали можно спутать. А вот по глазам — тут уж и вблизи и издали не спутаешь. О, глаза — значительная вещь. Вроде барометра. Все видно — у кого великая сушь в душе, кто ни за что ни про что может ткнуть носком сапога в ребра, а кто сам всякого боится. Вот последнего холуя именно и приятно бывает тяпнуть за лодыжку. Боишься — получай. Раз боишься — значит стоишь... р-р-р... гау-гау...

Господин уверенно пересек в столбе метели улицу и двинулся в подворотню. Да, да, у этого все видно. Этот тухлой солонины лопать не станет, а если где-нибудь ему ее и подадут, поднимет такой скандал, в газеты напишет: меня, Филиппа Филипповича, обкормили.

Вот он все ближе и ближе. Этот ест обильно и не ворует, этот не станет пинать ногой, но и сам никого не боится, а не боится

потому, что вечно сыт. Он умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой и усами седыми, пушистыми и лихими, как у французских рыцарей, но запах по метели от него летит скверный — больницей. И сигарой.

Какого же лешего, спрашивается, носило его в кооператив Центрохоза? Вот он рядом... Чего ищет? У-у-у-у... Что он мог покупать в дрянном магазинишке, разве ему мало Охотного ряда? Что такое?! Кол-ба-су. Господин, если бы вы видели, из чего эту колбасу делают, вы бы близко не подошли к магазину. Отдайте ее мне.

Пес собрал остаток сил и в безумии пополз из подворотни на тротуар. Вьюга захлопала из ружья над головой, взметнула громадные буквы полотняного плаката «Возможно ли омоложение?».

Натурально, возможно. Запах омолодил меня, поднял с брюха, жгучими волнами стеснил двое суток пустующий желудок, запах, победивший больницу, райский запах рубленой кобылы с чесноком и перцем. Чувствую, знаю — в правом кармане шубы у него колбаса. Он надо мной. О, мой властитель! Глянь на меня. Я умираю. Рабская наша душа, подлая доля!

Пес пополз, как змея, на брюхе, обливаясь слезами. Обратите внимание на поварскую работу. Но ведь вы ни за что не дадите. Ох, знаю я очень хорошо богатых людей! А в сущности — зачем она вам? Для чего вам гнилая лошадь? Нигде кроме такой отравы не получите, как в Моссельпроме. А вы сегодня завтракали, вы, величина мирового значения, благодаря мужским половым железам. У-у-у-у... Что же это делается на белом свете? Видно, помирать-то еще рано, а отчаяние — и подлинно грех. Руки ему лизать, больше ничего не остается.

Загадочный господин наклонился к псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас же овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «Особенная краковская». И псу этот кусок. О, бескорыстная личность! У-у-у!

— Фить-фить,— посвистал господин и добавил строгим голосом: — Бери! Шарик, Шарик!

Опять Шарик. Окрестили. Да называйте, как хотите. За такой исключительный ваш поступок.

Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета. При этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. Еще, еще лижу вам руку. Целую штаны, мой благодетель!

— Будет пока что...— Господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к Шарiku, пылливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по шарикову животу.

— А-га,— многозначительно молвил он,— ошейника нету, ну вот и прекрасно, тебя-то мне и надо. Ступай за мной.— Он пощелкал пальцами.— Фить-фить!

За вами идти? Да на край света. Пинайте меня вашими фетровыми ботинками, я слова не вымолвлю.

По всей Пречистенке сияли фонари. Бок болел нестерпимо, но Шарик временами забывал о нем, поглощенный одной мыслью — как бы не утратить в сутолоке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик, у Мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу, раза два подвыл, чтобы поддержать жалость к себе.

Какой-то сволочный, под сибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на выюгу, учуял краковскую. Шарик света не взвидел при мысли, что богатый чужак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго, и этого вора прихватит с собой, и придется делиться мосельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, забрался по трубе до второго этажа. — Ф-р-р-р...гау! Вон! Не напасешься Моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке.

Господин оценил преданность и у самой пожарной команды, у окна, из которого слышалось приятное ворчание валторны, наградил пса вторым куском, поменьше, золотников на пять.

Эх, чужак. Подманивает меня. Не беспокойтесь! Я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда ни прикажете.

— Фить-фить-фить! Сюда!

В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок.

— Фить-фить! Сюда? С удово... Э, нет, позвольте. Нет. Тут швейцар. А уж хуже этого ничего на свете нет. Во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов Живоде-р в позументе.

— Да не бойся ты, иди.

— Здравия желаю, Филипп Филиппович.

— Здравствуй, Федор.

Вот это — личность. Боже мой, на кого же ты нанесла меня, собачья моя доля! Что это за такое лицо, которое может псов с улицы мимо швейцаров вводить в дом жилищного товарищества? Посмотрите, этот подлец — ни звука, ни движения! Правда, в глазах у него пасмурно, но, в общем, он равнодушен под околышем с золотыми галунами. Словно так и полагается. Уважает, господа, до чего уважает! Ну-с, а я с ним и за ним. Что, тронул? Выкуси. Вот бы тяпнуть за пролетарскую мозолистую ногу. За все издевательства вашего брата. Щеткой сколько раз морду уродовал мне, а?

— Иди, иди.

Понимаем, понимаем, не извольте беспокоиться. Куда вы, туда и мы. Вы только дорожку указывайте, а я уж не отстану, несмотря на отчаянный мой бок.

С лестницы вниз:

— Писем мне, Федор, не было?

Снизу на лестницу почтительно:

— Никак нет, Филипп Филиппович (интимно вполголоса вдогонку); — а в третью квартиру жилтоварищей вселили.

Важный песий благотворитель круто обернулся на ступеньке и, перегнувшись через перила, в ужасе спросил:

— Ну-у?

Глаза его округлились и усы встали дыбом.

Швейцар снизу задрал голову, приладил ладошку к губам и подтвердил:

— Точно так, целых четыре штуки.

— Боже мой! Воображаю, что теперь будет в квартире. Ну и что ж они?

— Да ничего-с.

— А Федор Павлович?

— За ширмами поехали и за кирпичом. Перегородки будут ставить.

— Черт знает, что такое!

— Во все квартиры, Филипп Филиппович, будут вселять, кроме вашей. Сейчас собрание было, выбрали новое товарищество, а прежних — в шею.

— Что делается. Ай-яй-яй... Фить-фить.

Иду-с, поспешаю. Бок, извольте ли видеть, дает себя знать. Разрешите лизнуть сапожок.

Галун швейцара скрылся внизу. На мраморной площадке повеяло теплом от труб, еще раз повернули, и вот — бельэтаж.

II

Учиться читать совершенно не к чему, когда мясо и так пахнет за версту. Тем не менее, ежели вы проживаете в Москве и хоть какие-нибудь мозги у вас в голове имеются, вы волей-неволей выучитесь грамоте, и притом безо всяких курсов. Из сорока тысяч московских псов разве уж какой-нибудь совершенный идиот не сумеет сложить из букв слово «колбаса».

Шарик начал учиться по цветам. Лишь только исполнилось ему четыре месяца, по всей Москве развесили зелено-голубые вывески с надписью МСПО — мясная торговля. Повторяем, все это ни к чему, потому что и так мясо слышно. И путаница раз произошла: равняясь по голубоватому едкому цвету, Шарик, обоняние которого зашиб бензиновым дымом мотор, вкатил вместо мясной в магазин электрических принадлежностей братьев Голубизнер на Мясницкой улице. Там у братьев пес отведаль изолированной проволоки, а она будет почище извозничьего кнута. Этот знаменитый момент и следует считать началом шариковского образования. Уже на тротуаре тут же Шарик начал соображать, что «голубой» не всегда означает «мясной», и, зажимая от жгучей боли хвост между задними лапами и воя, припомнил.

что на всех мясных первой слева стоит золотая или рыжая раско-
ряка, похожая на санки.

Далее пошло еще успешней. «А» он выучил в «Главрыбе» на
углу Моховой, а потом и «Б» — подбегать ему было удобнее с
хвоста слова «рыба», потому что при начале слова стоял мили-
ционер.

Израцовые квадратники, облицовывавшие угловые места в
Москве, всегда и неизбежно означали «С-ы-р». Черный кран от
самовара, возглавлявший слово, обозначал бывшего хозяина
Чичкина, горы голландского красного, зверей-приказчиков, нена-
видевших собак, опилки на полу и гнуснейший, дурно пахнущий
бакштейн.

Если играли на гармошке, что было немногим лучше «милой
Аиды», и пахло сосисками, первые буквы на белых плакатах чре-
звычайно удобно складывались в слово «неприли...», что означало
«неприличными словами не выражаться и на чай не давать». Здесь порою винтом заклипали драки, людей бил кулаком по
морде, правда, в редких случаях, псов же постоянно — салфет-
ками или сапогами.

Если в окнах висели несвежие окорока ветчины и лежали
мандарины... гау-гау.. га... строномия. Если темные бутылки с
плохой жидкостью... Ве-и-ви-на-а-вина... Елисеевы братья быв-
шие.

Неизвестный господин, притащивший пса к дверям своей
роскошной квартиры, помещавшейся в бельэтаже, позвонил, а
пес тотчас поднял глаза на большую, черную с золотыми бук-
вами карточку, висящую сбоку широкой, застекленной волни-
стым и розовым стеклом двери. Три первые буквы он сложил
сразу: «Па-ер-о — Про». Но дальше шла пузатая двубокая дрянь,
неизвестно что обозначающая. «Неужто пролетарий?» — подумал
Шарик с удивлением... «Быть этого не может». Он поднял нос
кверху, еще раз обнюхал шубу и уверенно подумал: «Нет, здесь
пролетарием не пахнет. Ученое слово, а бог его знает — что оно
значит».

За розовым стеклом вспыхнул неожиданный и радостный
свет, еще более оттенив черную карточку. Дверь совершенно
бесшумно распахнулась, и молодая красивая женщина в белом
фартучке и кружевной наколке предстала перед псом и его
господином. Первого из них обдало божественным теплом, и
юбка женщины запахла, как ландыш.

«Вот это да, это я понимаю», — подумал пес.

— Пожалуйтё, господин Шарик, — иронически пригласил
господин, и Шарик благоговейно пожаловал, вертя хвостом.

Великое множество предметов загромождало богатую перед-
нюю. Тут же запомнилось зеркало до самого пола, немедленно
отразившее второго истасканного и рваного Шарика, страшные
оленьи рога в высоте, бесчисленные шубы и калоши и опаловый
тюльпан с электричеством под потолком.

— Где же вы такого взяли, Филипп Филиппович? — улыбаясь,

спрашивала женщина и помогала снимать тяжелую шубу на чернобурой лисе с синеватой искрой.— Батюшки! До чего паршивый!

— Вздор говоришь. Где паршивый? — строго и отрывисто спрашивал господин.

По снятии шубы он оказался в черном костюме английского сукна, и на животе у него радостно и неярко засверкала золотая цепь.

— Погоди-ка, не вертись, фить... да не вертись, дурачок. Гм!.. Это не парши... да стой ты, черт... Гм! А-а. Это ожог. Какой же негодяй тебя обварил? А? Да стой ты смирно!..

«Повар-каторжник, повар!» — жалобными глазами молвил пес и слегка подвыл.

— Зина, — скомандовал господин, — в смотровую его сейчас же и мне халат.

Женщина повсistала, пощелкала пальцами, и пес, немного поколебавшись, последовал за ней. Они вдвоем попали в узкий, гускло освещенный коридор, одну лакированную дверь миновали, пришли в конец, а затем попали налево и оказались в темной каморке, которая мгновенно не понравилась псу своим зловещим запахом. Тьма щелкнула и превратилась в ослепительный день, причем со все стороны засверкало, засияло и забелело.

«Э, нет... — мысленно завыл пес, — извините, не дамся! Понимаю, о черт бы взял их с их колбасой. Это меня в собачью лечебницу заманили. Сейчас касторку заставят жрать и весь бок изрежут ножиками, а до него и так дотронуться нельзя!»

— Э, нет, куда?! — закричала та, которую называли Зиной.

Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в дверь здоровым боком так, что хряснуло по всей квартире. Потом отлетел назад, закрутился на месте, как кубарь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из которого разлетелись комья ваты. Во время верчения кругом него порхали стены, уставленные шкафами с блестящими инструментами, запрыгал белый передник и искаженное женское лицо.

— Куда ты, черт лохматый?.. — кричала отчаянно Зина, — вот окаянный!

«Где у них черная лестница?..» — соображал пес. Он размахнулся и комком ударил наобум в стекло, в надежде, что это вторая дверь. Туча осколков вылетела с громом и звоном, выпрыгнула пузатая банка с рыжей гадостью, которая мгновенно залила весь пол и завоняла. Настоящая дверь распахнулась.

— Стой, с-скотина, — кричал господин, прыгая в халате, надетом на один рукав, и хватая пса за ноги. — Зина, держи его за шиворот, мерзавца!

— Ба... Батюшки, вот так пес!

Еще шире распахнулась дверь, и ворвалась еще одна личность мужского пола в халате. Давя битые стекла, она кинулась не ко псу, а к шкафу, раскрыла его и всю комнату наполнила сладким и тошным запахом. Затем личность навалилась на пса сверху

животом, причем пес с увлечением тянул ее повыше шнурков на ботинке. Личность охнула, но не потерялась. Тошнотворная жидкость перехватила дыхание пса, и в голове у него завертелось, потом ноги отвалились, и он поехал куда-то криво и вбок. «Спасибо, конечно,— мечтательно думал он, валясь прямо на острые стекла: — Прощай, Москва! Не видать мне больше Чичкина и пролетариев и краковской колбасы. Иду в рай за собачье долготерпение. Братцы, живодееры, за что же вы меня?»

И тут он окончательно завалился на бок и издох.

Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе, бока же как будто не было, бок сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидел, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделили, сукины дети,— подумал он смутно,— но ловко, надо отдать им справедливость».

— От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей,— запел над ним рассеянный и фальшивый голос.

Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидел мужскую ногу на белом табурете. Штапина и кальсоны на ней были поддержаны, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом.

«Угодники! — подумал пес,— это, стало быть, я его кусанул. Моя работа. Ну, будут драть!»

— Р-раздаются серенады, раздается стук мечей! Ты зачем, бродяга, доктора укусил? А? Зачем стекло разбил? А?

— У-у-у,— жалобно заскулил пес.

— Ну, ладно, опомнился и лежи, болван.

— Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса? — спросил приятный мужской голос и триковая кальсона откатилась книзу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки.

— Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделаты нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был — белый, красный и даже коричневый! Террор совершенно парализует нервную систему. Знай! Я купил этому прохвосту краковской колбасы на один рубль сорок копеек. Потрудишься накормить его, когда его перестанет тошнить.

Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил:

— Краковской! Господи, да ему обрезков нужно было купить на двугривенный в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.

— Только попробуй. Я тебе съем! Это отравка для челове-

ческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость. Не смей! Предупреждаю: ни я, ни доктор Борменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя живот схватит... «Всех, кто скажет, что другая здесь сравнивается с тобой...»

Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире, а в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон. Зина исчезла.

Филипп Филиппович бросил окурочек папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса:

— Фить, фить. Ну, ничего, ничего. Идем принимать.

Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развешивающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидел, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом: горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене, в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятым оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку.

— Ложись,— приказал Филипп Филиппович.

Противоположная резная дверь открылась, вошел тот, тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым, с острой бородкой, подал лист и молвил:

— Прежний...

Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерши полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.

«Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал,— в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана,— а сову эту мы разъясим...»

Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко...

— Молчать! Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик.

Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.

— Хи-хи! Вы маг и чародей, профессор,— сконфуженно вымолвил он.

— Снимайте штаны, голубчик,— скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.

«Господи Иисусе,— подумал пес,— вот так фрукт!»

На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет, морщины расплывались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского шелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень.

От интереса у пса даже прошла тошнота.

Тяу, тяу!..— он легонько потявкал.

— Молчать! Как сон, голубчик?

— Хе-хе. Мы один, профессор? Это неопишимо,— конфузливо заговорил посетитель.— Пароль д'оннер — 25 лет ничего подобного,— субъект взялся за пуговицу брюк,— верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями. Я положительно очарован. Вы — кудесник.

— Хм,— озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя.

Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки. Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами.

Пес не выдержал кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.

— Ай!

— Я тебя выдеру! Не бойтесь, он не кусается.

«Я не кусаюсь?» — удивился пес.

Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел.

— Вы, однако, смотрите,— предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем,— все-таки, смотрите, не злоупотребляйте!

— Я не зло...— смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться,— я, дорогой профессор, только в виде опыта.

— Ну, и что же? Какие результаты? — строго спросил Филипп Филиппович.

Субъект в экстазе махнул рукой.

— 25 лет, клянусь Богом, профессор, ничего подобного. Последний раз в 1899-м году в Париже на рю де ла Пэ.

— А почему вы позеленели?

Лицо пришельца затуманилось.

— Проклятая Жиркость!¹ Вы не можете себе представить, профессор, что эти бездельники подсунули мне вместо краски. Вы только поглядите,— бормотал субъект, ница глазами зеркало.— Им морду нужно бить! — свирепея, добавил он.— Что же мне теперь делать, профессор? — спросил он плаксиво.

— Хм, обрейтесь наголо.

— Профессор,— жалобно восклицал посетитель,— да ведь они опять седые вырастут. Кроме того, мне на службу носить нельзя будет показать, я и так уже третий день не езжу. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживаты!

— Не сразу, не сразу, мой дорогой,— бормотал Филипп Филиппович.

¹ «Жиркость» — трест по изготовлению косметических средств.— (Ред.)

Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента:

— Ну, что ж — прелестно, все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. Много крови, много песен... Одевайтесь, голубчик!

— «Я же той, что всех прелестней!..» — дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филипповичу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.

— Две недели можете не показываться, — сказал Филипп Филиппович, — но все-таки прошу вас: будьте осторожны.

— Профессор! — из-за двери в экстазе воскликнул голос, — будьте совершенно спокойны, — он сладостно хихикнул и пропал.

Рассыпной звонок пролетел по квартире, лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил:

— Годы показаны неправильно. Вероятно 54—55. Тоны сердца глуховаты.

Он исчез и сменился шуршащей дамой в лихо заломленной набок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеваной шее. Страшные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она сильно волновалась.

— Сударыня! Сколько вам лет? — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.

Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.

— Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!..

— Лет вам сколько, сударыня? — еще суровее повторил Филипп Филиппович.

— Честное слово... Ну, сорок пять...

— Сударыня, — возопил Филипп Филиппович, — меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста. Вы же не одна!

Грудь дамы бурно вздымалась.

— Я вам одному, как светилу науки. Но клянусь — это такой ужас...

— Сколько вам лет? — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.

— Пятьдесят один! — корчась от страху, ответила дама.

— Снимайте штаны, сударыня, — облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.

— Клянусь, профессор, — бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, — этот Мориц... Я вам признаюсь, как на духу...

— От Севильи до Гренады... — рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.

— Богом клянусь! — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные проридались на ее щеках, — я знаю — это моя

последняя страсть. Ведь это такой негодяй! О, профессор! Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки. Ведь он так дьявольски молод.— Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клочок.

Пес совершенно затуманился, и все в голове у него пошло кверху ногами.

«Ну вас к черту,— мутно подумал он, положив голову на лапы и задремав от стыда,— и стараться не буду понять, что это за штука — все равно не пойму».

Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки.

Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал.

— Я вам, сударыня, вставляю яичники обезьяны,— объявил он и посмотрел строго.

— Ах, профессор, неужели обезьяны?

— Да,— непреклонно ответил Филипп Филиппович.

— Когда же операция? — бледнее и слабым голосом спрашивала дама.

— От Севильи до Гренады... Угм... в понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас.

— Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?

— Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого — 50 червонцев.

— Я согласна, профессор!

Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал, тошнота прошла, пес наслаждался утихим боком и теплом, даже всхрапнул и успел увидеть кусочек приятного сна; будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста... потом взволнованный голос таякнул над головой.

— Я слишком известен в Москве, профессор. Что же мне делать?

— Господа,— возмущенно кричал Филипп Филиппович,— нельзя же так! Нужно сдерживать себя. Сколько ей лет?

— Четырнадцать, профессор... Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку.

— Да ведь я же не юрист, голубчик... Ну, подождите два года и женитесь на ней.

— Женат я, профессор.

— Ах, господа, господа!

Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафе, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.

«Похабная квартирка,— думал пес,— но до чего хорошо! А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть, он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый. Видно, мое

счастье! А сова эта дрянь... Наглая».

Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу четверо. Все молодые люди и все одеты очень скромно.

«Этим что нужно?»— удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел на вошедших, как полководец на врагов. Ноздри его ястребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.

— Мы к вам, профессор,— заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на четверть аршина копна густейших вьющихся волос,— вот по какому делу...

— Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду,— перебил его наставительно Филипп Филиппович,— во-первых, вы простудитесь, а во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские.

Тот, с копной, умолк, и все четверо в изумлении усталились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.

— Во-первых, мы не господа,— молвил, наконец, самый юный из четверых, персикового вида.

— Во-первых,— перебил и его Филипп Филиппович,— вы мужчина или женщина?

Четверо вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот, с копной.

— Какая разница, товарищ? — спросил он горделиво.

— Я — женщина,— признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших — блондин в папаше.

— В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, прошу снять ваш головной убор,— внушительно сказал Филипп Филиппович.

— Я вам не милостивый государь,— резко заявил блондин, снимая папаху.

— Мы пришли к вам,— вновь начал черный с копной.

— Прежде всего — кто это мы?

— Мы — новое домоуправление нашего дома,— в сдержанной ярости заговорил черный.— Я — Швондер, она — Вяземская, он — товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...

— Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Саблина?

— Нас,— ответил Швондер.

— Боже, пропал Калабуховский дом! — в отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.

— Что вы, профессор, смеетесь? — возмутился Швондер.

— Какое там смеюсь?! Я в полном отчаянии,— крикнул Филипп Филиппович,— что же теперь будет с паровым отоплением?

— Вы издеваетесь, профессор Преображенский?

— По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее, я сейчас иду обедать.

— Мы, управление дома,— с ненавистью заговорил Швондер,— пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома...

— Кто на ком стоял? — крикнул Филипп Филиппович,— потрудитесь излагать ваши мысли яснее.

— Вопрос стоял об уплотнении.

— Довольно! Я понял! Вам известно, что постановлением от 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений?

— Известно,— ответил Швондер,— но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живете в семи комнатах.

— Я один живу и работаю в семи комнатах,— ответил Филипп Филиппович,— и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку.

Четверо онемели.

— Восьмую! Э-хе-хе,— проговорил блондин, лишенный головного убора,— однако, это здорово.

— Это неопишимо! — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.

— У меня приемная — заметьте — она же библиотека, столовая, мой кабинет — 3. Смотровая — 4. Операционная — 5. Моя спальня — 6 и комната прислуги — 7. В общем, не хватает... Да, впрочем, это неважно. Моя квартира свободна, и разговору конец. Могу я идти обедать?

— Извиняюсь,— сказал четвертый, похожий на крепкого жука.

— Извиняюсь,— перебил его Швондер,— вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли поговорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых нет ни у кого в Москве.

— Даже у Айседоры Дункан,— звонко крикнула женщина.

С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, и он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.

— И от смотровой также,— продолжал Швондер,— смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом.

— Угу,— молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом,— а где же я должен принимать пищу?

— В спальне,— хором ответили все четверо.

Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.

— В спальне принимать пищу,— заговорил он слегка придуманным голосом,— в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать.

Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айседора Дункан!..— вдруг рывкнул он, и багровость его стала желтой.— Я буду обедать в столовой, оперировать в операционной! Передайте это общему собранию, и покорнейше вас прошу вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской.

— Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия,— сказал взволнованный Швондер,— мы подадим на вас жалобу в высшие инстанции.

— Ага,— молвил Филипп Филиппович,— так? — и голос его принял подозрительно вежливый оттенок,— одну минуточку попрошу вас подождать.

«Вот это парень,— в восторге подумал пес,— весь в меня. Ох, тыпнет он их сейчас, ох, тыпнет. Не знаю еще — каким способом, но так тыпнет... Бей их! Этого голенастого взять сейчас повыше сапога за подколенное сухожилие... р-р-р...»

Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так:

— Пожалуйста... да... благодарю вас... Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский. Петр Александрович? Очень рад, что вас застал. Благодарю вас, здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется. Что? Совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему: я прекращаю работу в Москве и вообще в России... Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодетая мужчиной, и двое вооруженных револьверами, и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее.

— Позвольте, профессор,— начал Швондер, меняясь в лице.

— Извините... У меня нет возможности повторить все, что они говорили. Я не охотник до бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но и не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует.

Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.

— Что же делать... Мне самому очень неприятно... Как? О, нет, Петр Александрович! О, нет. Больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца. Как? Гм... Как угодно. Хотя бы. Но только одно условие: кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая! Броня. Чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста. Кем? Ага... Ну, это другое дело. Ага... Хорошо. Сейчас передаю

трубку. Будьте любезны,— зменным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру,— сейчас с вами будут говорить.

— Позвольте, профессор,— сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая,— вы извратили наши слова.

— Попрошу вас не употреблять таких выражений.

Швондер растерянно взял трубку и молвил:

— Я слушаю. Да... Председатель домкома... Мы же действовали по правилам... Так у профессора и так совершенно исключительное положение... Мы знаем об его работах... Целых пять комнат хотели оставить ему... Ну, хорошо... Раз так... Хорошо...

Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.

«Как оплевал! Ну и парень! — восхищенно подумал пес,— что он слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а я отсюда не уйду».

Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.

— Это какой-то позор! — несмело вымолвил тот.

— Если бы сейчас была дискуссия,— начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем,— я бы доказала Петру Александровичу.

— Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию? — вежливо спросил Филипп Филиппович.

Глаза женщины загорелись.

— Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас уйдем... Только я, как заведующий культотделом дома...

— За-ве-дующая, — поправил ее Филипп Филиппович.

— Хочу предложить вам,— тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов,— взять несколько журналов в пользу детей Германии. По полтиннику штука.

— Нет, не возьму,— кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы.

Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.

— Почему же вы отказываетесь?

— Не хочу.

— Вы не сочувствуете детям Германии?

— Сочувствую.

— Жалеете по полтиннику?

— Нет.

— Так почему же?

— Не хочу.

Помолчали.

— Знаете ли, профессор,— заговорила девушка, тяжело вздохнув,— если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступались бы самым возмутительным образом (блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась) лица, которых, я уверена, мы еще разъясим, вас следовало бы арестовать.

— А за что? — с любопытством спросил Филипп Филиппович.

— Вы ненавистник пролетариата! — гордо сказала женщина.

— Да, я не люблю пролетариата,— печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор.

— Зина,— крикнул Филипп Филиппович,— подавай обед. Вы позволите, господа?

Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю, и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь.

Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

III

На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймой лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, мариннованные угри. На тяжелой доске кусок сыра со слезой, и в серебряной кадлушке, обложенной снегом,— икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоединившемся к громадному резного дуба буфету, изрыгающему пучки стеклянного и серебряного света. Посреди комнаты — тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свернутые в виде папских твар, и три темных бутылки.

Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчалось. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семнраинды!» — подумал он и застучал по паркету хвостом, как палкой.

— Сюда их,— хитро скомандовал Филипп Филиппович.— Доктор Борменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое. И если хотите послушаться доброго совета: налейте не английской, а быкновенной русской водки.

Красавец-тяпнутый — он был уже без халата, в приличном черном костюме — передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачной.

— Ново-благословенная? — осведомился он.

— Бог с вами, голубчик,— отозвался хозяин.— Это спирт, Дарья Петровна сама отлично готовит водку.

— Не скажите, Филипп Филиппович, все утверждают, что очень приличная — 30 градусов.

— А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30, это во-первых,— наставительно перебил Филипп Филиппович,— а во-вторых,— Бог их знает, чего они туда плеснули. Вы можете сказать — что им придет в голову?

— Все, что угодно,— уверенно молвил тяпнутый.

— И я того же мнения,— добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло,— ...мм... доктор Борменталь, умоляю вас, мгновенно эту штучку,

и если вы скажете, что это... я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады...

Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились.

— Это плохо? — жуя, спрашивал Филипп Филиппович. — Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор.

— Это бесподобно, — искренно ответил тяпнутый.

— Еще бы... Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только не дорезанные большевиками помещики. Мало-мальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими. А из горячих московских закусок — это первая. Когда-то их великолепно приготавливали в Славянском базаре. На, получай.

— Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда калачом не выманишь.

— Ничего. Бедняга наголодался, — Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу.

Засим от тарелок поднимался пахнущий раками пар; пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал:

— Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, а представьте себе — большинство людей вовсе есть не умеют. Нужно не только знать — что съесть, но и когда и как. (Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой.) И что при этом говорить. Да-с. Если вы заботитесь о своем пищеварении, мой добрый совет — не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет.

— Гм... Да ведь других нет.

— Вот никаких и не читайте. Вы знаете, я произвел о наблюдений у себя в клинике. И что же вы думаете? Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать «Правду», — теряли в весе.

— Гм... — с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина.

— Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа.

— Вот черт...

— Да-с. Впрочем, что ж это я? Сам же заговорил о медицине.

Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портъере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Словив его, пес вдруг

почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение,— думал он, захлопывая отяжелевшие веки,— глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу. А курить после обеда — это глупость».

Столовая наполнилась неприятным синим дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы.

— Сен-Жюльен — приличное вино,— сквозь сон слышал пес,— но только ведь теперь же его нету.

Глухой, смягченный потолками и коврами хорал донесся откуда-то сверху и сбоку.

Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина.

— Зинуша, что это такое значит?

— Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович,— ответила Зина.

— Опять! — горестно воскликнул Филипп Филиппович,— ну, теперь, стало быть, пошло, пропал Калабуховский дом. Придется уезжать, но куда — спрашивается. Все будет, как по маслу. Вначале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову.

— Убивается Филипп Филиппович,— заметила, улыбаясь, Зина и унесла груды тарелок.

— Да ведь как не убиваться?! — возопил Филипп Филиппович,— ведь это какой дом был — вы поймите!

— Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович,— возразил красавец-тяпнутый,— они теперь резко изменились.

— Голубчик, вы меня знаете? Не правда ли? Я — человек фактов, человек наблюдения. Я — враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт: вешалка и калошная стойка в нашем доме.

— Это интересно...

«Ерунда — калоши. Не в калошах счастье,— подумал пес,— но личность выдающаяся».

— Не угодно ли — калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот, в течение этого времени до марта 1917 года не было ни одного случая — подчеркиваю красным карандашом и н о д н о г о, чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня прием. В марте 17-го в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, 3 палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик! Я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю. Пусть: раз социальная революция — не нужно топить. Но я спрашиваю: почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши нужно до сих

пор еще запирают под замок? И еще приставляют к ним солдата, чтобы кто-либо их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Разве где-нибудь у Карла Маркса сказано, что 2-й подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу, а пачкает мрамор?

— Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош,— заикнулся было тяпнутый.

— Ничего похожего! — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. — Гм... я не признаю ликеров после обеда: они тяжелят и скверно действуют на печень... Ничего подобного! На нем есть теперь калоши, и эти калоши... мои! Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Саблин? (Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок.) Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов? (Филипп Филиппович указал вбок.) Ни в коем случае! Это сделали вот эти самые певуны! Да-с! Но хоть бы они их снимали на лестнице! (Филипп Филиппович начал багроветь.) На какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, тухло в течение 20-ти лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц? Доктор Борменталь, статистика — ужасная вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому.

— Разруха, Филипп Филиппович.

— Нет, — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович, — нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович, воздержитесь от употребления самого этого слова. Это — мираж, дым, фикция, — Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти. — Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной картонной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом, и сам же ответил за нее: — Это вот что: если я, вместо того чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будет делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху!» — я смеюсь. (Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот.) Клянусь вам, мне смешно! Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку! И вот, когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев — прямым своим делом, — разруха исчезнет сама собой. Двум богам служить нельзя! Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и

устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев! Это никому не удастся, доктор, и тем более — людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают свои собственные штаны!

Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром.

Его слова на сонного пса падали, точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа повара в белом грязном колпаке, то лихой ус Филиппа Филипповича, освещенный резким электричеством от абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа.

«Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать, — мутно мечтал пес, — первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют».

— Городовой! — кричал Филипп Филиппович. — Городовой! — «Угу-гу-гу!» — какие-то пузыри лопались в мозгу пса... — Городовой! Это и только это. И совершенно неважно — будет ли он с бляхой или же в красном кепи. Поставить городского рядом с каждым человеком и заставить этого городского умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите — разруха. Я вам скажу, доктор, что ничто не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирят этих певцов! Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему.

— Контрреволюционные вещи вы говорите, Филипп Филиппович, — шутиливо заметил тяпшутый, — не дай бог вас кто-нибудь услышит.

— Ничего опасного, — с жаром возразил Филипп Филиппович. — Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно — что под ним скрывается? Черт его знает! Так я и говорю: никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них здравый смысл и жизненная острота.

Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил: «Мерси».

— Минутку, доктор! — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: — Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу.

Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.

— Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович? — осведомился он.

— Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не

будем. Во-первых, кролик издох, а во-вторых, сегодня в Большом — «Аида». А я давно не слышал. Люблю... Помните? Дуэт... Тарира-рим.

— Как это вы успеваете, Филипп Филиппович? — с уважением спросил врач.

— Успевает всюду тот, кто никуда не торопится, — назидательно объяснил хозяин. — Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел, — под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир, — начало девятого... Ко второму акту поеду... Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разлух... Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно: как только подходящая смерть, тотчас со стола — в питательную жидкость и ко мне!

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, — патологоанатомы мне обещали.

— Отлично, а мы пока этого уличного неврастеника понаблюдаем. Пусть бок у него заживет.

«Обо мне заботится, — подумал пес, — очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он — волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки... Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне. А вдруг — сон? (Пес во сне дрогнул.) Вот проснусь... и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди... Столовая, снег... Боже, как тяжело мне будет!..»

Но ничего этого не случилось. Именно подворотня растаяла, как мерзкое сновидение, и более не вернулась.

Видно, уж не так страшна разлука. Невзирая на нее, дважды в день серые гармоник под подоконником наливались жаром, и тепло волнами расходилось по всей квартире.

Совершенно ясно: пес вытащил самый главный собачий билет. Глаза его теперь не менее двух раз в день наливались благодарными слезами по адресу пречистенского мудреца. Кроме того, все трюмо в гостиной, в приемной между шкафами отражали удачливого пса-красавца.

«Я — красавец. Быть может, неизвестный собачий принц-инкогнито, — размышлял пес, глядя на лохматого кофейного пса с довольной мордой, разгуливающего в зеркальных далах. — Очень возможно, что бабушка моя согрешила с водолазом. То-то я смотрю — у меня на морде — белое пятно. Откуда оно, спрашивается? Филипп Филиппович — человек с большим вкусом, не возьмет он первого попавшегося пса-дворнягу».

В течение недели пес сожрал столько же, сколько в полтора последних голодных месяца на улице. Но, конечно, только по весу. О качестве еды у Филиппа Филипповича и говорить не приходилось. Если даже не принимать во внимание того, что ежедневно Дарьей Петровной закупалась громада обрезков на Смоленском рынке на 18 копеек, достаточно упомянуть обеды

в 7 вечера в столовой, на которых пес присутствовал, несмотря на протесты изящной Зины. Во время этих обедов Филипп Филиппович окончательно получил звание божества. Пес становился на задние лапы и жевал пиджак, пес изучил звонок Филиппа Филипповича — два полнозвучных отрывистых хозяйских удара, и вылетал с лаем встречать его в передней. Хозяин вваливался в чернобурой лисе, сверкая миллионом снежных блесков, пахнувший мандаринами, сигарами, духами, лимонами, бензином, одеколоном, сукном, и голос его, как командная труба, разносился по всему жилищу.

— Зачем ты, свинья, сову разорвал? Она тебе мешала? Мешала, я тебя спрашиваю? Зачем профессора Мечникова разбил?

— Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, — возмущенно говорила Зина, — а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.

— Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда. На человека и на животное можно действовать только внушением. Мясо ему давали сегодня?

— Господи, он весь дом обожрал. Что вы спрашиваете, Филипп Филиппович. Я удивляюсь — как он не лопнет.

— Ну и пусть ест на здоровье... Чем тебе помешала сова, хулиган?

— У-у! — скулил пес-подлиза и полз на брюхе, вывернув лапы.

Затем его с гвалтом волокли за шиворот через приемную в кабинет. Пес подвывал, огрызался, цеплялся за ковер, ехал на зад, как в цирке. Посредине кабинета на ковре лежала стеклянноглазая сова с распоротым животом, из которого торчали какие-то красные тряпки, пахнувшие нафталином. На столе валялся вдребезги разбитый портрет.

— Я нарочно не убрала, чтобы вы полюбовались, — расстроено докладывала Зина, — ведь на стол вскочил, мерзавец! И за хвост ее — цап! Я опомниться не успела, как он ее всю растерзал. Мордой его потычьте в сову, Филипп Филиппович, чтобы он знал, как вещи портить.

И начинался вой. Пса, прилипшего к ковра, тащили тыкать в сову, причем пес заливался горькими слезами и думал: «Бейте, только из квартиры не выгоняйте».

— Сову чучельнику отправить сегодня же. Кроме того, вот тебе 8 рублей и 16 копеек на трамвай, съезди к Мюру, купи ему хороший ошейник с цепью.

На следующий день на пса надели широкий блестящий ошейник. В первый момент, поглядевшись в зеркало, он очень расстроился, поджал хвост и ушел в ванную комнату, размышляя — как бы ободрать его о сундук или ящик. Но очень скоро пес понял, что он — просто дурак. Зина повела его гулять на цепи по Обухову переулку. Пес шел, как арестант, сгорая от стыда, но, пройдя по Пречистенке до Храма Христа, отлично сообразил, что значит

в жизни ошейник. Бешеная зависть читалась в глазах у всех встречных псов, а у Мертвого переулкa — какой-то долговязый с обрубленным хвостом дворняга облаял его «барской сволочью» и «шестеркой». Когда пересекали трамвайные рельсы, милиционер посмотрел на ошейник с удовольствием и уважением, а когда вернулись, произошло самое невиданное в жизни: Федор-швейцар собственноручно отпер парадную дверь и впустил Шарика, Зине он при этом заметил:

— Ишь, каким лохматым обзавелся Филипп Филиппович. И удивительно жирный.

— Еще бы — за шестерых лопает, — пояснила румяная и красивая от мороза Зина.

«Ошейник — все равно, что портфель», — сострил мысленно пес и, виляя задом, последовал в бельэтаж, как барин.

Оценив ошейник по достоинству, пес сделал первый визит в то главное отделение рая, куда до сих пор вход ему был категорически запрещен — именно в царство поварихи Дарьи Петровны. Вся квартира не стоила и двух пядей Дарьиного царства. Всякий день в черной и сверху облицованной кафелем плите стреляло и бушевало пламя. Духовой шкаф потрескивал. В багровых столбах горело вечной огненной мукой и неутоленной страстью лицо Дарьи Петровны. Оно лоснилось и отливало жиром. В модной прическе на уши и с корзинкой светлых волос на затылке светились 22 поддельных бриллианта. По стенам на крюках висели золотые кастрюли, вся кухня громыхла запахами, клокотала и шипела в закрытых сосудах...

— Вон! — завопила Дарья Петровна, — вон, беспризорный карманник! Тебя тут не хватало! Я тебя кочергой!..

— Чего ты? Ну, чего лаешься? — умильно щурил глаза пес. — Какой же я карманник? Ошейник вы разве не замечаете? — и он боком лез в дверь, просовывая в нее морду.

Шарик-пес обладал каким-то секретом покорять сердца людей. Через два дня он уже лежал рядом с корзиной углей и смотрел, как работает Дарья Петровна. Острым узким ножом она отрубала беспомощным рябчикам головы и лапки, затем, как яростный палач, с костей сдирала мякоть, из кур вырывала внутренности, что-то вертела в мясорубке. Шарик в это время терзал рябчикову голову. Из миски с молоком Дарья Петровна вытаскивала куски размокшей булки, смешивала их на доске с мясной кашцей, заливала все это сливками, посыпала солью и на доске лепила котлеты. В плите гудело, как на пожаре, а на сковородке ворчало, пузырилось и прыгало. Заслонка с громом отпрыгивала, обнаруживала страшный ад, в котором пламя клокотало и переливалось.

Вечером потухала каменная пасть, в окне кухни над белой половинной занавесочкой стояла густая и важная пречистенская ночь с одинокой звездой. В кухне было сыро на полу, кастрюли сияли таинственно и тускло, на столе лежала пожарная фуражка. Шарик лежал на теплой плите, как лев на воротах и, задрав от

любопытства одно ухо, глядел, как черноусый и взволнованный человек в широком кожаном поясе за полуприкрытой дверью в комнате Зины и Дарьи Петровны обнимал Дарью Петровну. Лицо у той горело мукой и страстью, все, кроме мертвенного напудренного носа. Щель света лежала на портрете черноусого, и пасхальный розан свисал с него.

— Как демон пристал, — бормотала в полумраке Дарья Петровна, — отстань! Зина сейчас придет. Что ты, чисто тебя тоже омолодили?

— Нам это ни к чему, — плохо владея собой и хрипло отвечал черноусый. — До чего вы огненная!

Вечерами пречистенская звезда скрывалась за тяжелыми шторами, и, если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле. Огней под потолком не было. Горела только одна зеленая лампа на столе. Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги.

— К берегам священных Нила, — тихонько напевало божество, закусывая губы и вспоминая золотую внутренность Большого театра.

Трубы в этот час нагревались до высшей точки. Тепло от них поднималось к потолку, оттуда расходилось по всей комнате, в песьей шкуре оживала последняя, еще не вычесанная самим Филиппом Филипповичем, но уже обреченная блоха. Ковры глушили звуки в квартире. А потом далеко звенела входная дверь.

«Зинка в кинематограф пошла, — думал пес, — а как придет, ужинать, стало быть, будем. Сегодня, надо полагать, — телячьи отбивные!»

В этот ужасный день еще утром Шарика кольнуло предчувствие. Вследствие этого он вдруг заскучал и утренний завтрак — полчашики овсянки и вчерашнюю баранью косточку — съел безо всякого аппетита. Он скучно прошелся в приемную и легонько подвыл там на собственное отражение. Но днем после того, как Зина сводила его погулять на бульвар, день пошел обычно. Приема сегодня не было потому, что, как известно, по вторникам приема не бывает, и божество сидело в кабинете, развернув на столе какие-то тяжелые книги с пестрыми картинками. Ждали обеда. Пса несколько оживила мысль о том, что сегодня на второе блюдо, как он точно узнал на кухне, будет индейка. Проходя по коридору, пес услышал, как в кабинете Филиппа Филипповича

неприятно и неожиданно прозвенел телефон. Филипп Филиппович взял трубку, прислушался и вдруг взволновался.

— Отлично,— послышался его голос,— сейчас же везите, сейчас же!

Он засуетился, позвонил и вошедшей Зине приказал срочно подавать обед.

— Обед! Обед! Обед!

В столовой тотчас застучали тарелками, Зина забегала, из кухни послышалась воркотня Дарьи Петровны, что индейка не готова. Пес опять почувствовал волнение.

«Не люблю кутерьмы в квартире»,— раздумывал он... И только он это подумал, как кутерьма приняла еще более неприятный характер. И прежде всего благодаря появлению тяпнутого некогда доктора Борменталья. Тот привез с собой дурно пахнущий чемодан и, даже не раздеваясь, устремился с ним через коридор в смотровую. Филипп Филиппович бросил недопитую чашку кофе, чего с ним никогда не случалось, выбежал навстречу Борменталю, чего с ним тоже никогда не бывало.

— Когда умер? — закричал он.

— Три часа назад,— ответил Борменталь, не снимая заснеженной шапки и расстегивая чемодан.

«Кто такое умер? — хмуро и недовольно подумал пес и сунулся под ноги,— терпеть не могу, когда мечутся».

— Уйди из-под ног! Скорей, скорей, скорей! — закричал Филипп Филиппович на все стороны и стал звонить во все звонки, как показалось псу. Прибежала Зина.— Зина! К телефону Дарью Петровну, записывать, никого не принимать! Ты нужна. Доктор Борменталь, умоляю вас — скорей, скорей, скорей!

«Не нравится мне, не нравится»,— пес обиженно нахмурился и стал шляться по квартире, а вся суета сосредоточилась в смотровой. Зина оказалась неожиданно в халате, похожем на саван, и начала бегать из смотровой в кухню и обратно.

«Пойти, что ль, пожрать? Ну их в болото»,— решил пес и вдруг получил шорпиз.

— Шарiku ничего не давать,— загремела команда из смотровой.

— Усмотришь за ним, как же.

— Запереть!

И Шарика заманули и заперли в ванной.

«Хамство,— подумал Шарик, снѣдя в полутемной ванной комнате,— просто глупо...»

И около четверти часа он пробыл в ванной в странном настроении духа — то в злобе, то в каком-то тяжелом упадке. Все было скучно, неясно...

«Ладно, будете вы иметь калоши завтра, многоуважаемый Филипп Филиппович,— думал он,— две пары уже пришлось прикупить и еще одну купите. Чтоб вы псов не запирали».

Но вдруг его яростную мысль перебило. Внезапно и ясно почему-то вспомнился кусок самой ранней юности — солнечный

необъятный двор у Преображенской заставы, осколки солнца в бутылках, битый кирпич, вольные псы-побродяги.

«Нет, куда уж, ни на какую волю отсюда не уйдешь, зачем лгать,— тосковал пес, сопя носом,— привык. Я барский пес, интеллигентное существо, отведал лучшей жизни. Да и что такое воля? Так, дым, мираж, фикция... Бред этих злосчастных демократов...»

Потом полутьма ванной стала страшной, он завыл, бросился на дверь, стал царапаться.

— У-у-у! — как в бочку пролетело по квартире.

«Сову раздеру опять»,— бешено, но бессильно подумал пес. Затем ослаб, полежал, а когда поднялся, шерсть на нем стала вдруг дыбом, почему-то в ванне померещились отвратительные волчьи глаза.

И в разгар муки дверь раскрылась. Пес вышел, отряхнувшись, и угрюмо собрался на кухню, но Зина за ошейник настойчиво повлекла его в смотровую. Холодок прошел у пса под сердцем.

«Зачем же я понадобился? — подумал он подозрительно,— бок зажил — ничего не понимаю».

И он поехал лапами по скользкому паркету, так и был привезен в смотровую. В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриарший куколь; божество было все в белом, а поверх белого, как епитрахиль, был надет резиновый узкий фартук. Руки — в черных перчатках.

В куколке оказался и тяпнутый. Длинный стол был раскнут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге.

Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза. Обычно смелые и прямые, ныне они бегали во все стороны от песьих глаз. Они были настороженные, фальшивые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое преступление. Пес глянул на него тяжело и пасмурно и ушел в угол.

— Ошейник, Зина,— негромко молвил Филипп Филиппович,— только не волнуй его.

У Зины мгновенно стали такие же мерзкие глаза, как у тяпнутого. Она подошла к псу и явно фальшиво погладила его. Тот с тоской и презрением поглядел на нее.

«Что же... вас трое. Возьмете, если захотите. Только стыдно вам... Хотя бы я знал, что будете делать со мной...»

Зина отстегнула ошейник, пес помотал головой, фыркнул. Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутнящий запах разлился от него.

«Фу, гадость... Отчего мне так мутно и страшно...» — подумал пес и попятился от тяпнутого.

— Скорее, доктор,— нетерпеливо молвил Филипп Филиппович.

Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз, высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарик оторопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. Тяпнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. «Злодей...» — мелькнуло в голове. — «За что?» И еще раз облепили. Тут неожиданно посреди смотровой представилось озеро, а на нем в лодках очень веселые загробные, небывалые розовые псы. Ноги лишились костей и согнулись.

— На стол! — веселым голосом бухнули где-то слова Филиппа Филипповича и расплылись в оранжевых струях. Ужас исчез, сменился радостью. Секунды две угасающий пес любил тяпнутого. Затем весь мир перевернулся дном кверху и была еще почувствована холодная, но приятная рука под животом. Потом — ничего.

IV

На узком операционном столе лежал, раскинувшись, пес Шарик, и голова его беспомощно колотилась о белую клеенчатую подушку. Живот его был выстрижен, и теперь доктор Борменталь, тяжело дыша и спеша, машинкой въедаясь в шерсть, стриг голову Шарика. Филипп Филиппович, опершись ладонями на край стола, блестящими, как золотые обода его очков, глазами наблюдал за этой процедурой и говорил взволнованно:

— Иван Арнольдович, самый важный момент — когда я войду в турецкое седло. Мгновенно, умоляю вас, подайте отросток и тут же шить. Если там у меня начнет кровить, потеряем время и пса потеряем. Впрочем, для него и так никакого шанса нету, — он помолчал, прищуря глаз, заглянул в как бы насмешливо полуприкрытый глаз пса и добавил: — А знаете, жалко его. Представьте, я привык к нему.

Руки он вздымал в это время, как будто благословлял на трудный подвиг злосчастного пса Шарика. Он старался, чтобы ни одна пылинка не села на черную резину.

Из-под выстриженной шерсти засверкала беловатая кожа собаки. Борменталь отшвырнул машинку и вооружился бритвой. Он намылил беспомощную маленькую голову и стал брить. Сильно хрустело под лезвием, кое-где выступила кровь. Обрив голову, тяпнутый мокрым бензиновым комочком обтер ее, затем оголенный живот пса растянул и промолвил, отдуваясь: «Готово».

Зина открыла кран над раковиной, и Борменталь бросился мыть руки. Зина из склянки полила их спиртом.

— Можно мне уйти, Филипп Филиппович? — спросила она, боязливо косясь на бритую голову пса.

— Можешь.

Зина пропала. Борменталь засуетился дальше. Легкими марлевыми салфеточками он обложил голову Шарика, и тогда на подушке оказался никем не виданный лысый песий череп и странная бородатая морда.

Тут шевельнулся жрец. Он выпрямился, глянул на собачью голову и сказал:

— Ну, Господи, благослови. Нож.

Борменталь из сверкающей груды на столике вынул маленький брюхатый ножик и подал его жрецу. Затем он облекся в такие же черные перчатки, как и жрец.

— Спит? — спросил Филипп Филиппович.

— Спит.

Зубы Филиппа Филипповича сжались, глазки приобрели остренький колющий блеск, и, взмахнув ножичком, он метко и длинно протянул по животу Шарика рану. Кожа тотчас разошлась, и из нее брызнула кровь в разные стороны. Борменталь набросился хищно, стал комьями марли давить Шарикову рану, затем маленькими, как бы сахарными щипчиками зажал ее края, и она высохла. На лбу у Борменталья пузырьками выступил пот. Филипп Филиппович полоснул второй раз, и тело Шарика вдвоем начали разрывать крючьями, ножницами, какими-то скобками. Выскочили розовые и желтые, плачущие кровавой росой ткани. Филипп Филиппович вертел ножом в теле, потом крикнул: «Ножницы!»

Инструмент мелькнул в руках у тяпнутого, как у фокусника. Филипп Филиппович залез в глубину и в несколько поворотов вырвал из тела Шарика его семенные железы с какими-то обрывками. Борменталь, совершенно мокрый от усердия и волнения, бросился к стеклянной банке и извлек из нее другие, мокрые, обвисшие семенные железы. В руках у профессора и ассистента запрыгали, завились короткие влажные струны. Дробно зашелкали кривые иглы в зажимах, семенные железы вшили на место Шариковых. Жрец отвалился от раны, ткнул в нее комком марли и скомандовал:

— Шейте, доктор, мгновенно кожу, — затем оглянулся на круглые белые стенные часы.

— 14 минут делали, — сквозь стиснутые зубы пропустил Борменталь и кривой иголкой впился в дряблую кожу. Затем оба заволновались, как убийцы, которые спешат.

— Нож! — крикнул Филипп Филиппович.

Нож вскочил ему в руки как бы сам собой, после чего лицо Филиппа Филипповича стало страшным. Он оскалил фарфоровые и золотые коронки и одним приемом навел на лбу Шарика красный венец. Кожу с бритыми волосами откинули, как скальп. Обнажили костяной череп. Филипп Филиппович крикнул:

— Трепан!

Борменталь подал ему блестящий коловорот. Кусая губы, Филипп Филиппович начал втыкать коловорот и высверливать в черепе Шарика маленькие дырочки в сантиметре расстояния

одна от другой так, что они шли кругом всего черепа. На каждую он тратил не более пяти секунд. Потом пилой невиданного фасона, всунув ее хвост в первую дырочку, начал пилить, как выпиливают дамский рукодельный ящик. Череп тихо визжал и трясся. Минуты через три крышку черепа с Шарика сняли.

Тогда обнажился купол Шарикового мозга — серый с синеватыми прожилками и красноватыми пятнами. Филипп Филиппович ввселся ножницами в оболочки и их вскрыл. Один раз ударил тонкий фонтан крови, чуть не попал в глаз профессору и окропил его колпак. Борменталь с торзионным пинцетом, как тигр, бросился зажимать и зажал. Пот с Борменталья полз потоками, и лицо его стало мясистым и разноцветным. Глаза его металсь от рук профессора к тарелке на инструментальном столе. Филипп же Филиппович стал положительно страшен. Сипение вырывалось из его носа, зубы открылись до десен. Он ободрал оболочку с мозга и пошел куда-то вглубь, выдвигая из вскрытой чаши полушария мозга. В это время Борменталь начал бледнеть, одной рукой охватил грудь Шарика и хрипловато сказал:

— Пульс резко падает...

Филипп Филиппович зверски оглянулся на него, что-то промычал и врезался еще глубже. Борменталь с хрустом сломал стеклянную ампулку, насосал из нее шприц и коварно кольнул Шарика где-то у сердца.

— Иду к турецкому седлу, — зарычал Филипп Филиппович и окровавленными скользкими перчатками выдвинул серо-желтый мозг Шарика из головы. На мгновение он скосил глаза на морду Шарика, и Борменталь тотчас же сломал вторую ампулу с желтой жидкостью и вытянул ее в длинный шприц.

— В сердце? — робко спросил он.

— Что вы еще спрашиваете? — злобно заревел профессор, — все равно он уже 5 раз у вас умер. Колите! Разве мыслимо? — Лицо у него при этом стало, как у вдохновенного разбойника.

Доктор с размаху легко всадил иглу в сердце пса.

— Живет, но еле-еле, — робко прошептал он.

— Некогда рассуждать тут — живет не живет, — заспел страшный Филипп Филиппович, — я в седле. Все равно помрет... ах, ты че... К берегам священных Нил... Придаatok давайте.

Борменталь подал ему склянку, в которой болтался на нитке в жидкости белый комочек. Одной рукой — «Не имеет равных в Европе... ей-богу!», — смутно подумал Борменталь, — он выхватил болтающийся комочек, а другой ножницами выстриг такой же в глубине где-то между распыленными полушариями. Шариков комочек он вышвырнул на тарелку, а новый заложил в мозг вместе с ниткой и своими короткими пальцами, ставшими точно чудом тонкими и гибкими, ухитрился янтарной нитью его там заматывать. После этого он выбросил из головы какие-то распялки, пинцет, мозг упрятал назад в костяную чашу, откинулся и уже поспокойнее спросил:

— Умер, конечно?..

— Нитевидный пульс,— ответил Борменталь.

— Еще адреналину.

Профессор оболочками забросал мозг, отпиленную крышку приложил как по мерке, скальп надвинул и взревел:

— Шейте!

Борменталь минут в пять зашил голову, сломав три иглы.

И вот на подушке появилась на окрашенном кровью фоне безжизненная потухшая морда Шарика с кольцевой раной на голове. Тут же Филипп Филиппович отвалился окончательно, как сытый вампир, сорвал одну перчатку, выбросив из нее облако потной пудры, другую разорвал, швырнул на пол и позвонил, нажав кнопку в стене. Зина появилась на пороге, отвернувшись, чтобы не видеть Шарика в крови. Жрец снял меловыми руками окровавленный куколь и крикнул:

— Папиросу мне сейчас же, Зина. Все свежее белье и ванну.

Он подбородком лег на край стола, двумя пальцами раздвинул правое веко пса, заглянул в явно умирающий глаз и молвил:

— Вот, черт возьми. Не издох. Ну, все равно издохнет. Эх, доктор Борменталь, жаль пса, ласковый был, хотя и хитрый.

▼

ИЗ ДНЕВНИКА ДОКТОРА БОРМЕНТАЛЯ

Тонкая, в писчий лист форматом тетрадь. Исписана почерком Борменталья. На первых двух страницах он аккуратен, уборист и четок, в дальнейшем размашист, взволнован, с большим количеством клякс.

22 декабря 1924 г. Понедельник.

История болезни

Лабораторная собака приблизительно 2-х лет от роду. Самец. Порода — дворняжка. Кличка — Шарик. Шерсть жидкая, кустами, буроватая, с подпалинами. Хвост цвета топленого молока. На правом боку следы совершенно зажившего ожога. Питание до поступления к профессору — плохое, после недельного пребывания — крайне упитанный. Вес 8 кг. (*знак восклицат.*). Сердце, легкие, желудок, температура...

23 декабря. В 8.30 часов вечера произведена первая в Европе операция по проф. Преображенскому: под хлороформным наркозом удалены яички Шарика и вместо них пересажены мужские яички с придатками и семенными канатиками, взятые от скончавшегося за 4 часа, 4 минуты до операции мужчины 28 лет и сохранившиеся в стерилизованной физиологической жидкости по проф. Преображенскому.

Непосредственно вслед за сим удален после трепанации черепной крышки придаток мозга — гипофиз и заменен челове-

ческим от вышеуказанного мужчины.

Введено 8 кубиков хлороформа, 1 шприц камфары, 2 шприца адреналина в сердце.

Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем и о его влиянии на омоложение организма у людей.

Оперировал проф. Ф. Ф. Преображенский.

Ассистировал д-р И. А. Борменталь.

В ночь после операции: грозные повторные падения пульса. Ожидание смертельного исхода. Громадные дозы камфары по Преображенскому.

24 декабря. Утром — улучшение. Дыхание учащено вдвое, температура 42. Камфара, кофеин под кожу.

25 декабря. Вновь ухудшение. Пульс еле прощупывается, похолодание конечностей, зрачки не реагируют. Адреналин в сердце, камфара по Преображенскому, физиологический раствор в вену.

26 декабря. Некоторое улучшение. Пульс 180, дыхание 92, температура 41. Камфара, питание клизмами.

27 декабря. Пульс 152, дыхание 50, температура 39,8, зрачки реагируют. Камфара под кожу.

28 декабря. Значительное улучшение. В полдень внезапный проливной пот, температура 37,0. Операционные раны в прежнем состоянии. Перевязка. Появляется аппетит. Питание жидкое.

29 декабря. Внезапно обнаружено выпадение шерсти на лбу и на боках туловища. Вызваны для консультации: профессор по кафедре кожных болезней Василий Васильевич Бундарев и директор московского ветеринарного показательного института. Ими случай признан не описанным в литературе. Диагностика осталась неустановленной. Температура — нормальна.

(Запись карандашом)

Вечером появился первый лай (8 ч. 15 мин.). Обращает внимание резкое изменение тембра и понижение тона. Лай вместо слова «гау-гау» на слоги «а-о», по окраске отдаленно напоминает стон.

30 декабря. Выпадение шерсти приняло характер общего облысения. Взвешивание дало неожиданный результат — вес 30 кг за счет роста (удлинения) костей. Пес по-прежнему лежит.

31 декабря. Колоссальный аппетит.

(В тетради — клякса. После кляксы торопливым почерком).

В 12 ч. 12 мин. дня пес отчетливо пролаял А-б-ыр.

(В тетради перерыв и дальше, очевидно, по ошибке от волнения написано):

1 декабря. *(Перечеркнуто, поправлено)* 1 января 1925 г. Фотографирован утром. Отчетливо лает «Абыр», повторяя это слово громко и как бы радостно. В 3 часа дня *(крупными буквами)* засмеялся, вызвав обморок горничной Зины. Вечером произнес

8 раз подряд слово «Абыр-валг», «Абыр».

(*Косыми буквами карандашом*): профессор расшифровал слово «Абыр-валг», оно означает «Главрыба»... Что-то чудовищ...

2 января. Фотографирован во время улыбки при магии. Встал с постели и уверенно держался полчаса на задних лапах. Моего почти роста.

(*В тетради вкладной лист*).

Русская наука чуть не понесла тяжелую утрату.

История болезни профессора Ф. Ф. Преображенского.

В 1 час 13 мин.— глубокий обморок с проф. Преображенским. При падении ударился головой о ножку стула. Тинктура Валериана.

В моем и Зины присутствии пес (если псом, конечно, можно назвать) обругал проф. Преображенского по матери.

(*Перерыв в записях*).

6 января. (*То карандашом, то фиолетовыми чернилами*).

Сегодня после того, как у него отвалился хвост, он произнес совершенно отчетливо слово «пивная». Работает фонограф. Черт знает что такое.

Я теряюсь.

Прием у профессора прекращен. Начиная с 5-ти час. дня из смотровой, где расхаживает это существо, слышатся явственно вульгарная ругань и слова «еще парочку».

7 января. Он произносит очень много слов: «Извозчик», «Мест нету», «Вечерняя газета», «Лучший подарок детям» и все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе.

Вид его странен. Шерсть осталась только на голове, на подбородке и на груди. В остальном он лыс, с дряблой кожей. В области половых органов — формирующийся мужчина. Череп увеличился значительно. Лоб скошен и низок.

Ей-богу, я с ума сойду.

Филипп Филиппович все еще чувствует себя плохо. Большинство наблюдений веду я. (*Фонограф, фотографии*).

По городу расплылись слухи.

Последствия неисчислимые. Сегодня днем весь переулочек был полон какими-то бездельниками и старухами. Зеваки стоят и сейчас еще под окнами. В утренних газетах появилась удивительная заметка. «Слухи о марсианине в Обуховом переулке ни на чем не основаны. Они распущены торговцами с Сухаревки и будут строго наказаны». О каком, к черту, марсианине? Ведь это — кошмар.

Еще лучше в «Вечерней» — написали, что родился ребенок, который играет на скрипке. Тут же рисунок — скрипка и моя фотографическая карточка, и под ней подпись: «Проф. Преображенский, делавший кесарево сечение у матери». Это что-то неопишемое... Он говорит новое слово «милиционер».

Оказывается, Дарья Петровна была в меня влюблена и свистнула карточку из альбома Филиппа Филипповича. После того, как прогнал репортеров, один из них пролез на кухню и т. д.

Что творится во время приема! Сегодня было 82 звонка. Телефон выключен. Бездетные дамы с ума сошли и идут...

В полном составе домком во главе со Швондером. Зачем — сами не знают.

8 ноября. Поздним вечером поставили диагноз. Филипп Филиппович, как истый ученый, признал свою ошибку — перемена гипотеза дает не омоложение, а полное очеловечение (*подчеркнуто три раза*). От этого его изумительное, потрясающее открытие не становится ничуть меньше.

Тот сегодня впервые прошелся по квартире. Смеялся в коридоре, глядя на электрическую лампу. Затем, в сопровождении Филиппа Филипповича и меня, он проследовал в кабинет. Он стойко держится на задних лапах (*зачеркнуто*)... на ногах и производит впечатление маленького и плохо сложенного мужчины.

Смеялся в кабинете. Улыбка его неприятна и как бы искусственна. Затем он почесал затылок, огляделся, и я записал новое отчетливо произнесенное слово: «буржуи». Ругался. Ругань эта методическая, непрерывная и, по-видимому, совершенно бессмысленная. Она носит несколько фонографический характер: как будто это существо где-то раньше слышало бранные слова, автоматически, подсознательно занесло их в свой мозг и теперь изрыгает их пачками. А впрочем, я не психиатр, черт меня возьми.

На Филиппа Филипповича брань производит почему-то удивительно тягостное впечатление. Бывают моменты, когда он выходит из сдержанного и холодного наблюдения новых явлений

и как бы теряет терпение. Так, в момент ругани он вдруг нервно выкрикнул:

— Перестать!

Это не произвело никакого эффекта.

После прогулки в кабинете общими усилиями Шарик был водворен в смотровую.

После этого мы имели совещание с Филиппом Филипповичем. Впервые, я должен сознаться, видел я этого уверенного и поразительно умного человека растерянным. Напевая по своему обыкновению, он спросил: «Что же мы теперь будем делать?» И сам же ответил буквально так: «Москвошвея, да... От Севильи до Гренады, Москвошвея, дорогой доктор...» Я ничего не понял. Он пояснил: — «Я вас прошу, Иван Арнольдович, купить ему белье, штаны и пиджак».

9 января. Лексикон обогащается каждые пять минут (в среднем) новым словом, с сегодняшнего утра, и фразами. Похоже, что они, замерзшие в сознании, оттаивают и выходят. Вышедшее слово остается в употреблении. Со вчерашнего вечера фонографом отмечены: «Не толкайся», «Подлец» «Слезай с подножки», «Я тебе покажу», «Признание Америки», «Примус».

10 января. Произошло одевание. Нижнюю сорочку позволил надеть на себя охотно, даже весело смеясь. От кальсон отказался, выразив протест хриплыми криками: «В очередь, сукины дети, в очередь!» Был одет. Носки ему велики.

(В тетради какие-то схематические рисунки, по всем признакам изображающие превращение собачьей ноги в человеческую).

Удлиняется задняя половина скелета стопы (planta). Вытягивание пальцев. Когти.

Повторное систематическое обучение посещения уборной. Прислуга совершенно подавлена.

Но следует отметить понятливость существа. Дело вполне идет на лад.

11 января. Совершенно примирился со штанами. Произнес длинную веселую фразу: «Дай папиросочку,— у тебя брюки в полосочку».

Шерсть на голове — слабая, шелковистая. Легко спутать с волосами. Но подпалины остались на темени. Сегодня облез последний пух с ушей. Колоссальный аппетит. С увлечением ест селедку.

В 5 часов дня событие: впервые слова, произнесенные существом, не были оторваны от окружающих явлений, а явились реакцией на них. Именно: когда профессор приказал ему: «Не бросай объедки на пол»,— неожиданно ответил: «Отлезь, гнида».

Филипп Филиппович был поражен, потом оправился и сказал: — Если ты еще раз позволишь себе обругать меня или доктора, тебе влетит.

Я фотографировал в это мгновение Шарика. Ручаюсь, что он понял слова профессора. Угрюмая тень легла на его лицо. По-

глядел исподлобья довольно раздраженно, но стих.

Ура, он понимает!

12 января. Закладывание рук в карманы штанов. Отучаем от ругани. Свистал «Ой, яблочко». Поддерживает разговор.

Я не могу удержаться от нескольких гипотез: к чертям омоложение пока что. Другое неизмеримо более важно: изумительный опыт проф. Преображенского раскрыл одну из тайн человеческого мозга. Отныне загадочная функция гипофиза — мозгового придатка — разъяснена. Он определяет человеческий облик. Его гормоны можно назвать важнейшими в организме — гормонами облика. Новая область открывается в науке: безо всякой реторты Фауста создан гомункул. Скальпель хирурга вызвал к жизни новую человеческую единицу. Проф. Преображенский, вы — творец. (*Клякса*).

Впрочем, я уклонился в сторону... Итак, он поддерживает разговор. По моему предположению, дело обстоит так: прижившийся гипофиз открыл центр речи в собачьем мозгу, и слова хлынули потоком. По-моему, перед нами оживший развернувшийся мозг, а не мозг вновь созданный. О, дивное подтверждение эволюционной теории! О, цепь величайшая от пса до Менделеева-химика! Еще моя гипотеза: мозг Шарика в собачьем периоде его жизни накопил бездну понятий. Все слова, которыми он начал оперировать в первую очередь, — уличные слова, он их слышал и затаил в мозгу. Теперь, проходя по улице, я с тайным ужасом смотрю на встречающих псов. Бог их знает, что у них таится в мозгах.

Шарик читал. Читал (*3 восклицательных знака*). Это я догадался. По главрыбе. Именно с конца читал. И я даже знаю, где разрешение этой загадки: в перерыве зрительных нервов у собаки.

Что в Москве творится — уму не постижимо человеческому. Семь сухаревских торговцев уже сидят за распространение слухов о светопреставлении, которое навлекли большевики. Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось... Какие-то жулики уже читают лекции. Такой кабак мы сделали с этим гипофизом, что хоть вон беги из квартиры. Я переехал к Преображенскому по его просьбе и ночью в приемной с Шариком. Смотровая превращена в приемную. Швондер оказался прав. Домком злорадствует. В шкафах ни одного стекла, потому что прыгал. Еле отучили.

С Филиппом что-то странное делается. Когда я ему рассказывал о своих гипотезах и о надежде развить Шарика в очень высокую психическую личность, он хмыкнул и ответил: «Вы думаете».

те?» Тон его зловещий. Неужели я ошибся? Старик что-то придумал. Пока я вожусь с историей болезни, он сидит над историей того человека, от которого мы взяли гипофиз.

(В тетради вкладной лист).

Клим Григорьевич Чугункин, 25 лет¹, холост. Беспартийный, сочувствующий. Судился 3 раза и оправдан: в первый раз благодаря недостатку улик, второй раз происхождение спасло, в третий раз — условно каторга на 15 лет. Кражи. Профессия — игра на балалайке по трактирам.

Маленького роста, плохо сложен. Печень расширена (алкоголь). Причина смерти — удар ножом в сердце в пивной («Стоп-Сигнал» у Преображенской заставы).

Старик, не отрываясь, сидит над Климовской болезнью. Не понимаю — в чем дело. Бурчал что-то насчет того, что вот не догадался осмотреть в патолого-анатомическом весь труп Чугункина. В чем дело — не понимаю. Не все ли равно, чей гипофиз?

17 января. Не записывал несколько дней: болел инфлюэнцей. За это время облик окончательно сложился.

- а) совершенный человек по строению тела;
 - б) вес около 3-х пудов;
 - в) рост маленький;
 - г) голова маленькая;
 - д) начал курить;
 - е) ест человеческую пищу;
 - ж) одевается самостоятельно;
 - з) гладко ведет разговор.
-

Вот так гипофиз (*клякса*).

Этим историю болезни заканчиваю. Перед нами новый организм; наблюдать его нужно с начала.

Приложение: стенограммы речи, записи фонографа, фотографические снимки.

Подпись: ассистент профессора Ф. Ф. Преображенского
Доктор Борменталь.

VI

Был зимний вечер. Конец января. Предобеденное, предприемное время. На притолке у двери в приемную висел белый лист бумаги, на коем рукою Филиппа Филипповича было написано:

¹ В тексте расхождение: ср. стр. 183 (*ред.*).

«Семечки есть в квартире запрещаю».

Ф. Преображенский.

И синим карандашом крупными, как пирожные, буквами рукой Борменталья:

«Игра на музыкальных инструментах от 5 часов дня до 7 часов утра воспрещается».

Затем рукой Зины:

«Когда вернетесь, скажите Филиппу Филипповичу: я не знаю — куда он ушел. Федор говорил, что со Швондером».

Рукой Преображенского:

«Сто лет буду ждать стекольщика?»

Рукой Дарьи Петровны (*печатно*):

«Зина ушла в магазин, сказала, приведет».

В столовой было совершенно по-вечернему, благодаря лампе под шелковым абажуром. Свет из буфета падал, перебитый пополам, — зеркальные стекла были заклеены косым крестом от одной фасетки до другой. Филипп Филиппович, склонившись над столом, погрузился в развернутый громадный лист газеты Молнии коверкали его лицо, и сквозь зубы сыпались оборванные, куцые воркующие слова. Он читал заметку:

«Никаких сомнений нет в том, что это его незаконнорожденный (как выражались в гнилом буржуазном обществе) сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия! Семь комнат каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом.

Шв...р».

Очень настойчиво, с заливчатской ловкостью играли за двумя стенами на балалайке, и звуки хитрой вариации «Светит месяц» смешивались в голове Филиппа Филипповича со словами заметки в ненавистную кашу. Дочитав, он сухо плюнул через плечо и машинально запел сквозь зубы:

— Све-е-етит месяц... све-е-етит месяц... све-тит месяц... Тьфу, прицепилась, вот окаянная мелодия!

Он позвонил. Зинино лицо просунулось между полотнищами портьеры.

— Скажи ему, что 5 часов, чтобы прекратил, и позови его сюда, пожалуйста.

Филипп Филиппович сидел у стола в кресле. Между пальцами левой руки торчал коричневый окуроч сигары. У портьеры, прислонившись к притолоке, стоял, заложив ногу на ногу, человек маленького роста и несимпатичной наружности. Волосы у него на голове росли жесткие, как бы кустами на выкорчеванном поле, а лицо покрывал небритый пух. Лоб поражал своей малой вышиной. Почти непосредственно над черными кисточками раскиданных бровей начиналась густая головная щетка.

Пиджак, прорванный под левой мышкой, был усеян соломой, полосатые брючки на правой коленке продраны, а на левой вы-

пачканы лиловой краской. На шее у человека был повязан ядовито-небесного цвета галстук с фальшивой рубиновой булавкой. Цвет этого галстука был настолько бросок, что время от времени, закрывая утомленные глаза, Филипп Филиппович в полной тьме то на потолке, то на стене видел пылающий факел с голубым венцом. Открывая их, слеп вновь, так как с полу, разбрызгивая веера света, бросались в глаза лаковые штиблеты с белыми гетрами.

«Как в калошах», — с неприятным чувством подумал Филипп Филиппович, вздохнул, засопел и стал возиться с затухшей сигарой. Человек у двери мутноватыми глазами поглядывал на профессора и курил папиросу, посылая манишку пеплом.

Часы на стене рядом с деревянным рябчиком прозвенели пять раз. Внутри них еще что-то стонало, когда вступил в беседу Филипп Филиппович.

— Я, кажется, два раза уже просил не спать на полатах в кухне — тем более днем?

Человек кашлянул силло, точно подавившись косточкой, и ответил:

— Воздух в кухне приятнее.

Голос у него был необыкновенный, глуховатый и в то же время гулкий, как в маленький бочонок.

Филипп Филиппович покачал головой и спросил:

— Откуда взялась эта гадость? Я говорю о галстуке.

Человечек, глазами следуя пальцу, скосил их через оттопыренную губу и любовно поглядел на галстук.

— Чем же «гадость»? — заговорил он. — Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила.

— Дарья Петровна вам мерзость подарила, вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Откуда? Я что просил? Купить приличные ботинки; а это что? Неужели доктор Борменталь такие выбрал?

— Я ему велел, чтобы лаковые. Что я, хуже людей? Пойдите на Кузнецкий — все в лаковых.

Филипп Филиппович повертел головой и заговорил веско: — Спать на полатах прекращается. Понятно? Что это за нахальство! Ведь вы мешаете. Там женщины.

Лицо человека потемнело, и губы оттопырились.

— Ну, уж и женщины. Подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга, а форсу, как у комиссарши. Это все Зинка объединяет.

Филипп Филиппович глянул строго:

— Не смей называть Зину Зинкой! Понятно?

Молчание.

— Понятно, я вас спрашиваю?

— Понятно.

— Убрать эту пакость с шеи... Вы... ты... вы посмотрите на себя в зеркало — на что вы похожи. Балаган какой-то. Окурки на пол не бросать — в сотый раз прошу. Чтобы я более не слышал

ни одного ругательного слова в квартире! Не плевать! Вот плевательница. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Смотрите! Кто ответил пациенту «пес его знает!»? Что вы, в самом деле, в кабаке, что ли?

— Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво выговорил человек.

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!

Дерзкое выражение загорелось в человечке.

— Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что уж это на самом деле? Чисто как в трамвае. Что вы мне жить не даете?! И насчет «папаши» — это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? — человек возмущенно лаял. — Хорошенькое дело! Ухватили животную, исполосовали ножиком голову, а теперь гнушаются. Я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно (человек завел глаза к потолку, как бы вспоминая некую формулу), а равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить.

Глаза Филиппа Филипповича сделались совершенно круглыми, сигара вывалилась из рук. «Ну, тип», — пролетело у него в голове.

— Вы изволите быть недовольным, что вас превратили в человека? — прищурившись, спросил он. — Вы, может быть, предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Ну, если бы я знал...

— Да что вы все попрекаете — помойка, помойка. Я свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножом? Вы что на это выразите, товарищ?

— Филипп Филиппович! — раздраженно воскликнул Филипп Филиппович, — я вам не товарищ! Это чудовищно! «Кошмар, кошмар», — подумалось ему.

— Уж, конечно, как же... — иронически заговорил человек и победоносно отставил ногу, — мы понимаем-с. Какие уж мы вам товарищи! Где уж. Мы в университетах не обучались, в квартирах по 15 комнат с ванными не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право...

Филипп Филиппович, бледнея, слушал рассуждения человека. Тот прервал речь и демонстративно направился к пепельнице с изжеванной папиросой в руке. Походка у него была развалистая. Он долго мял окурок в раковине с выражением, ясно говорящим: «На! На!» Затушив папиросу, он на ходу вдруг лязгнул зубами и сунул нос под мышку.

— Пальцами блох ловить! Пальцами! — яростно крикнул Филипп Филиппович, — я не понимаю — откуда вы их берете?

— Да что уж, развожу я их, что ли? — обиделся человек, —

видно, блохи меня любят, — тут он пальцами пошарил в подкладке под рукавом и выпустил в воздух клочок рыжей легкой ваты.

Филипп Филиппович обратил взор к гирляндам на потолке и забарабанил пальцами по столу. Человек, казнив блоху, отошел и сел на стул. Руки он при этом, опустив кисти, развесил вдоль лацканов пиджака. Глаза его скосились к шашкам паркета. Он созерцал свои башмаки, и это доставляло ему большое удовольствие. Филипп Филиппович посмотрел туда, где сияли резкие блики на тупых носках, глаза прижмурил и заговорил:

— Какое дело еще вы мне хотели сообщить?

— Да что ж дело! Дело простое. Документ, Филипп Филиппович, мне надо.

Филиппа Филипповича несколько передернуло.

— Хм.... Черт! Документ! Действительно... Кхм... а, может быть, это как-нибудь можно... — голос его звучал неуверенно и тоскливо.

— Помилуйте, — уверенно ответил человек, — как же так без документа? Это уж — извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком...

— При чем тут домком?

— Как это при чем? Встречают, спрашивают — когда ж ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься?

— Ах ты, Господи, — уныло воскликнул Филипп Филиппович, — встречаются, спрашивают... Воображаю, что вы им говорите. Ведь я же вам запрещал шлаться по лестницам.

— Что я, каторжный? — удивился человек, и сознание его правоты загорелось у него даже в рубине. — Как это так «шлаться»? Довольно обидные ваши слова. Я хожу, как все люди.

При этом он посучил лакированными ногами по паркету.

Филипп Филиппович умолк, глаза его ушли в сторону. «Надо все-таки сдерживать себя», — подумал он. Подойдя к буфету, он одним духом выпил стакан воды.

— Отлично-с, — поспокойнее заговорил он, — дело не в словах. Итак, что говорит этот ваш прелестный домком?

— Что ж ему говорить... Да вы напрасно его прелестным ругаете. Он интересы защищает.

— Чьи интересы, позвольте осведомиться?

— Известно чьи — трудового элемента.

Филипп Филиппович выкатил глаза.

— Почему же вы — труженик?

— Да уж известно — не эзман.

— Ну, ладно. Итак, что же ему нужно в защитах вашего революционного интереса?

— Известно что — прописать меня. Они говорят — где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это — раз. А самое главное — учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же — союз, биржа...

— Позвольте узнать, по чему я вас пропишу? — По этой

скатерти или по своему паспорту? Ведь нужно все-таки считаться с положением! Не забывайте, что вы... Э... гм... вы ведь, так сказать,— неожиданно явившееся существо, лабораторное.— Филипп Филиппович говорил все менее уверенно.

Человек победоносно молчал.

— Отлично-с. Что же, в конце концов, нужно, чтобы вас прописать и вообще устроить все по плану этого вашего домкома? Ведь у вас же нет ни имени, ни фамилии.

— Это вы несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатаю в газете, и шабаш.

— Как же вам угодно именоваться?

Человек поправил галстук и ответил:

— Полиграф Полиграфович.

— Не ваяйте дурака,— хмуро отозвался Филипп Филиппович,— я с вами серьезно говорю.

Язвительная усмешка искривила усишки человека.

— Что-то не пойму я,— заговорил он весело и осмысленно.— Мне по матушке нельзя. Плевать — нельзя. А от вас только и слышу: «Дурак, дурак». Видно, только профессорам разрешается ругаться в Ресефесере.

Филипп Филиппович налил кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя».

Он повернулся на стуле, преувеличенно вежливо склонил стан и с железной твердостью произнес:

— Из-вините. У меня расстроены нервы. Ваше имя показалось мне странным. Где вы, интересно знать, откопали себе такое?

— Домком посоветовал. По календарю искали — какое тебе, говорят? Я и выбрал.

— Ни в каком календаре ничего подобного быть не может.

— Довольно удивительно,— человек усмехнулся,— когда у вас в смотровой висит.

Филипп Филиппович, не вставая, закинулся к кнопке на обоях, и на звонок явилась Зина.

— Календарь из смотровой.

Протекла пауза. Когда Зина вернулась с календарем, Филипп Филиппович спросил:

— Где?

— 4-го марта празднуется.

— Покажите... Гм... Черт... В печку его, Зина, сейчас же. Зина, испуганно тараща глаза, ушла с календарем, а человек покачал укоризненно головою.

— Фамилию позвольте узнать?

— Фамилию я согласен наследственную принять.

— Как? Наследственную? Именно?

— Шариков.

В кабинете перед столом стоял председатель домкома Швондер в кожаной тужурке. Доктор Борменталь сидел в кресле. При этом на румяных от мороза щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное выражение, как и у Филиппа Филипповича, сидящего рядом.

— Как же писать? — нетерпеливо спросил он.

— Что же, — заговорил Швондер, — дело не сложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так, предъявитель сего действительно Шариков Полиграф Полиграфович, гм... зародившийся в вашей, мол, квартире.

Борменталь недоуменно шевельнулся в кресле. Филипп Филиппович дернул ухом.

— Гм... вот черт! Глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... ну, одним словом...

— Это — ваше дело, — со спокойным злорадством вымолвил Швондер, — зародился или нет... В общем и целом ведь вы делали опыт, профессор! Вы и создали гражданина Шарикова.

— И очень просто, — пролаял Шариков от книжного шкафа. Он вглядывался в галстук, отражавшийся в зеркальной бездне.

— Я бы очень просил вас, — огрызнулся Филипп Филиппович, — не вмешиваться в разговор. Вы напрасно говорите «и очень просто» — это очень не просто.

— Как же мне не вмешиваться, — обидчиво забубнил Шариков.

Швондер немедленно его поддержал:

— Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право — участвовать в обсуждении его собственной участи, в особенности постольку, поскольку дело касается документов. Документ — самая важная вещь на свете.

В этот момент оглушительный трезвон над ухом оборвал разговор. Филипп Филиппович сказал в трубку: «Да...», покраснел и закричал:

— Прошу не отрывать меня по пустякам. Вам какое дело? — И он с силой всадил трубку в рогульки.

Голубая радость разлилась по лицу Швондера.

Филипп Филиппович, багровея, прокричал:

— Одним словом, кончим это.

Он оторвал листок от блокнота и набросал несколько слов, затем раздраженно прочитал вслух:

— «Сим удостоверяю... Черт знает, что такое... Гм... «Предъявитель сего — человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах»... Черт! Да я вообще против получения этих idiotских документов. Подпись — «профессор Преображенский».

— Довольно странно, профессор, — обиделся Швондер, — как это так вы документы называете idiotскими? Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милицией. А вдруг война с империалистическими хищниками?

— Я воевать не пойду никуда! — вдруг хмуро тявкнул Шариков в шкаф.

Швондер оторопел, но быстро оправился и учтиво заметил Шарикову:

— Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени не-совестливо. На воинский учет необходимо взяться.

— На учет возьмусь, а воевать — шиш с маслом, — неприязненно ответил Шариков, поправляя бант.

Настала очередь Швондера смутиться. Преображенский злобно и тоскливо переглянулся с Борменталем: «Не угодно ли — мораль». Борменталь многозначительно кивнул головой.

— Я тяжело раненный при операции, — хмуро подвыл Шариков, — меня, вишь, как отделали, — и он показал на голову. Поперек лба тянулся очень свежий операционный шрам.

— Вы анархист-индивидуалист? — спросил Швондер, высоко поднимая брови.

— Мне белый билет полагается, — ответил Шариков на это.

— Ну-с, хорошо, не важно пока, — ответил удивленный Швондер, — факт в том, что мы удостоверение профессора отправим в милицию и вам выдадут документ.

— Вот что, э... — внезапно перебил его Филипп Филиппович, очевидно терзаемый какой-то думой, — нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен ее купить.

Желтенькие искры появились в карих глазах Швондера.

— Нет, профессор, к величайшему сожалению. И не предвидится.

Филипп Филиппович сжал губы и ничего не сказал. Опять как оглашенный загремел телефон. Филипп Филиппович, ничего не спрашивая, молча сбросил трубку с рогулек так, что она, покрутившись немного, повисла на голубом шнуре. Все вздрогнули. «Изнервничался старик», — подумал Борменталь, а Швондер, сверкая глазами, поклонился и вышел.

Шариков, скрипя сапожным рантом, отправился за ним следом.

Профессор остался наедине с Борменталем. Немного помолчав, Филипп Филиппович мелко потряс головой и заговорил:

— Это кошмар, честное слово. Вы видите? Клянусь вам, дорогой доктор, я измучился за эти две недели больше, чем за последние 14 лет! Вот — тип, я вам доложу...

В отдалении глухо треснуло стекло, затем вспорхнул заглушенный женский визг и тотчас потух. Нечистая сила шарахнула по обоям в коридоре, направляясь к смотровой, там чем-то грохнуло и мгновенно пролетело обратно. Захлопали двери, и в кухне отозвался низкий крик Дарьи Петровны. Затем завыл Шариков.

— Боже мой, еще что-то! — закричал Филипп Филиппович, бросаясь к дверям.

— Кот, — сообразил Борменталь и выскочил за ним вслед. Они понеслись по коридору в переднюю, ворвались в нее, оттуда свернули в коридор к уборной и ванной. Из кухни выскочила

Зина и вплотную наскочила на Филиппа Филипповича.

— Сколько раз я приказывал — котов чтобы не было, — в бешенстве закричал Филипп Филиппович. — Где он?! Иван Арнольдович, успокойте, ради Бога, пациентов в приемной!

— В ванной, в ванной проклятый черт сидит, — задыхаясь, закричала Зина.

Филипп Филиппович навалился на дверь ванной, но та не поддавалась.

— Открыть сию секунду!

В ответ в запертой ванной по стенам что-то запрыгало, обрушились тазы, дикий голос Шарикова глухо проревел за дверью:

— Убью на месте...

Вода зашумела по трубам и полилась. Филипп Филиппович налег на дверь и стал ее рвать. Распаренная Дарья Петровна с искаженным лицом появилась на пороге кухни. Затем высокое стекло, выходящее под самым потолком ванной в кухню, треснуло червивой трещиной, и из него вывалились два осколка, а за ними выпал громаднейших размеров кот в тигровых кольцах и с голубым бантом на шее, похожий на городского. Он упал прямо на стол в длинное блюдо, расколов его вдоль, с блюда на пол, затем повернулся на трех ногах, а правой взмахнул, как будто в танце, и тотчас просочился в узкую щель на черную лестницу. Щель расширилась, и кот сменился старушечьей физиономией в платке. Юбка старухи, усеянная белым горохом, оказалась в кухне. Старуха указательным и большим пальцем обтерла запавший рот, припухшими и колючими глазами окинула кухню и произнесла с любопытством:

— О, Господи Иисусе!

Бледный Филипп Филиппович пересек кухню и спросил старуху грозно:

— Что вам надо?

— Говорящую собачку любопытно поглядеть, — ответила старуха заискивающе и перекрестилась.

Филипп Филиппович еще более побледнел, к старухе подошел вплотную и шепнул удушливо:

— Сию секунду из кухни вон!

Старуха попятилась к дверям и заговорила, обидевшись:

— Чтой-то уж больно дерзко, господин профессор.

— Вон, я говорю! — повторил Филипп Филиппович, и глаза его сделались круглыми, как у совы. Он собственноручно трахнул черной дверью за старухой. — Дарья Петровна, я же просил вас!

— Филипп Филиппович, — в отчаянье ответила Дарья Петровна, сжимая обнаженные руки в кулаки, — что же я поделаю? Народ целые дни ломится, хоть все бросай.

Вода в ванной ревела глухо и грозно, но голоса более не было слышно. Вошел доктор Борменталь.

— Иван Арнольдович, убедительно прошу... гм... сколько там пациентов?

— Одиннадцать, — ответил Борменталь.

— Отпустите всех, сегодня принимать не буду.

Филипп Филиппович постучал костяшкой пальца в дверь и крикнул:

— Сию минуту извольте выйти! Зачем вы заперлись?

— Гу-гу! — жалобно и тускло ответил голос Шарикова.

— Какого черта!.. Не слышу, закройте воду.

— Гау! Гау!..

— Да закройте воду! Что он сделал — не понимаю... — приходя в исступление, вскричал Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна, открыв дверь, выглядывали из кухни. Филипп Филиппович еще раз прогрохотал кулаком в дверь.

— Вот он! — выкрикнула Дарья Петровна из кухни.

Филипп Филиппович ринулся туда. В разбитое окно под потолком показалась и высунулась в кухню физиономия Полиграфа Полиграфовича. Она была перекошена, глаза плаксивы, а вдоль носа тянулась, пламенея от свежей крови, царапина.

— Вы с ума сошли? — спросил Филипп Филиппович. — Почему вы не выходите?

Шариков и сам в тоске и страхе оглянулся и ответил:

— Защелкнулся я.

— Откройте замок. Что ж, вы никогда замка не видели?

— Да не открывается, окайнный! — испуганно ответил Полиграф.

— Батюшки! Он предохранитель защелкнул! — вскричала Зина и всплеснула руками.

— Там пуговка есть такая! — выкрикивал Филипп Филиппович, стараясь перекричать воду, — нажмите ее книзу... Вниз нажимайте! Вниз!

Шариков пропал и через минуту вновь появился в окошке.

— Ни пса не видно, — в ужасе пролаял он в окно.

— Да лампу зажгите. Он взбесился!

— Котяра проклятый лампу раскокал, — ответил Шариков, — а я стал его, подлеца, за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу.

Все трое всплеснули руками и в таком положении застыли.

Минут через пять Борменталь, Зина и Дарья Петровна сидели рядышком на мокром ковре, свернутом трубкою у подножия двери, и задними местами прижимали его к щели под дверью, а швейцар Федор с зажженной венчальной свечой Дарьи Петровны по деревянной лестнице лез в слуховое окно. Его зад в крупной серой клетке мелькнул в воздухе и исчез в отверстии.

— Ду... гу-гу! — что-то кричал Шариков сквозь рев воды.

Послышался голос Федора:

— Филипп Филиппович, все равно надо открывать, пусть разойдется, отсосем из кухни.

— Открывайте! — сердито крикнул Филипп Филиппович.

Тройка поднялась с ковра, дверь из ванной нажали, и тотчас волна хлынула в коридорчик. В нем она разделилась на три потока: прямо — в противоположную уборную, направо — в

кухню и налево — в переднюю. Шлепая и прыгая, Зина захлопнула в нее дверь. По щиколотку в воде вышел Федор, почему-то улыбаясь. Он был как в клеенке — весь мокрый.

— Еле заткнул, напор большой,— пояснил он.

— Где этот? — спросил Филипп Филиппович и с проклятием поднял одну ногу.

— Боятся выходить,— глупо усмехаясь, объяснил Федор.

— Бить будете, папаша? — донесся плаксивый голос Шарикова из ванной.

— Болван! — коротко отозвался Филипп Филиппович.

Зина и Дарья Петровна в подоткнутых до колен юбках, с голыми ногами, и Шариков с швейцаром, босые, с закатанными штанами шваркали мокрыми тряпками по полу кухни и отжимали их в грязные ведра и раковину. Заброшенная плита гудела. Вода уходила через дверь на гулкую лестницу прямо в пролет лестницы и падала в подвал.

Борменталь, вытянувшись на цыпочках, стоял в глубокой луже на паркете в передней и вел переговоры через чуть приоткрытую дверь на цепочке.

— Не будет сегодня приема, профессор нездоров. Будьте добры отойти от двери, у нас труба лопнула...

— А когда же прием? — добивался голос за дверью,— мне бы только на минуточку...

— Не могу,— Борменталь переступил с носков на каблуки,— профессор лежит, и труба лопнула. Завтра прошу. Зина! Милая! Отсюда вытирайте, а то она на парадную лестницу выльется.

— Тряпки не берут.

— Сейчас кружками вычерпаем,— отозвался Федор,— сейчас.

Звонки следовали один за другим, и Борменталь уже подошвой стоял в воде.

— Когда же операция? — приставал голос и пытался просунуться в щель.

— Труба лопнула...

— Я бы в калошах прошел...

Синеватые силуэты появлялись за дверью.

— Нельзя, прошу завтра.

— А я записан.

— Завтра. Катастрофа с водопроводом.

Федор у ног доктора ерзал в озере, скреб кружкой, а исцарапанный Шариков придумал новый способ. Он скатал громадную тряпку в трубку, лег животом в воду и погнал ее из передней обратно к уборной.

— Что ты, леший, по всей квартире гоняешь? — сердилась Дарья Петровна.— Выливай в раковину.

— Да что в раковину,— ловя руками мутную воду, отвечал Шариков,— она на парадное вылезет.

Из коридора со скрежетом выехала скамеечка, и на ней вытянулся, балансируя, Филипп Филиппович в синих с полосками носках.

— Иван Арнольдович, бросьте вы отвечать. Идите в спальню, я вам туфли дам.

— Ничего, Филипп Филиппович, какие пустяки.

— В калоши станьте.

— Да ничего. Все равно уже ноги мокрые.

— Ах, боже мой! — расстраивался Филипп Филиппович.

— До чего вредное животное! — отозвался вдруг Шариков и выехал на корточках с суповой миской в руке.

Борменталь захлопнул дверь, не выдержал и засмеялся. Ноздри Филиппа Филипповича раздулись, очки вспыхнули.

— Вы про кого говорите? — спросил он у Шарикова с высоты, — позвольте узнать.

— Про кота я говорю. Такая сволочь, — ответил Шариков, бегая глазами.

— Знаете, Шариков, — переводя дух, отозвался Филипп Филиппович, — я положительно не видал более наглого существа, чем вы.

Борменталь хихикнул.

— Вы, — продолжал Филипп Филиппович, — просто нахал. Как вы смеете это говорить? Вы все это учинили и еще позволяете... Да нет! Это черт знает что такое!

— Шариков, скажите мне, пожалуйста, — заговорил Борменталь, — сколько времени еще вы будете гоняться за котами? стыдитесь! Ведь это же безобразие! Дикарь!

— Какой я дикарь, — хмуро отозвался Шариков, — ничего я не дикарь. Его терпеть в квартире невозможно. Только и ищет — как бы что своровать. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел.

— Вас бы самого поучить! — ответил Филипп Филиппович, — вы поглядите на свою физиономию в зеркале.

— Чуть глаза не лишил, — мрачно отозвался Шариков, трогая глаз мокрой грязной рукой.

Когда черный от влаги паркет несколько подсох, все зеркала покрылись банным налетом, и звонки прекратились. Филипп Филиппович в сафьяновых красных туфлях стоял в передней.

— Вот вам, Федор.

— Покорнейше благодарю.

— Переоденьтесь сейчас же. Да вот что: выпейте у Дарьи Петровны водки.

— Покорнейше благодарю, — Федор помялся, потом сказал: — Тут еще, Филипп Филиппович. Я извиняюсь, уж прямо и совестно. Только — за стекло в 7-й квартире... Гражданин Шариков камнями швырял...

— В кота? — спросил Филипп Филиппович, хмурясь, как облако.

— То-то, что в хозяина квартиры. Он уж в суд грозился подавать.

— Черт!

— Кухарку Шариков ихнюю обнял, а тот его гнать стал. Ну, повздорили.

— Ради Бога, вы мне всегда сообщайте сразу о таких вещах! Сколько нужно?

— Полтора.

Филипп Филиппович извлек три блестящих полтинника и вручил Федору.

— Еще за такого мерзавца полтора целковых платить,— послышался в дверях глухой голос,— да он сам...

Филипп Филиппович обернулся, закусил губу и молча нажал на Шарикова, вытеснил его в приемную и запер его на ключ. Шариков изнутри тотчас загрохотал кулаками в дверь.

— Не смей! — явно болезненным голосом воскликнул Филипп Филиппович.

Ну, уж это действительно,— многозначительно заметил Федор,— такого наглого я в жизнь свою не видал.

Борменталь как из-под земли вырос.

— Филипп Филиппович, прошу вас, не волнуйтесь.

Энергичный эскулап отпер дверь в приемную, и оттуда донесся его голос:

— Вы что? В кабаке, что ли?

— Это так...— добавил решительный Федор,— вот это так... Да по уху бы еще...

— Ну, что вы, Федор,— печально буркнул Филипп Филиппович.

Помилуйте, вас жалко, Филипп Филиппович.

VII

— Нет, нет и нет! — настойчиво заговорил Борменталь,— извольте заложить.

— Ну, что, ей-богу,— забурчал недовольно Шариков.

— Благодарю вас, доктор,— ласково сказал Филипп Филиппович,— а то мне уже надоело делать замечания.

— Все равно не позволю есть, пока не заложите. Зина, примите майонез у Шарикова.

— Как это так «примите»? — расстроился Шариков,— я сейчас заложу.

Левой рукой он заслонил блюдо от Зины, а правой запахнул салфетку за воротник и стал похож на клиента в парикмахерской.

— И вилок, пожалуйста,— добавил Борменталь.

Шариков длинно вздохнул и стал ловить куски осетрины в густом соусе.

— Я еще водочки выпью? — заявил он вопросительно.

— А не будет ли вам? — осведомился Борменталь,— вы последнее время слишком налегаете на водку.

— Вам жалко? — осведомился Шариков и глянул исподлобья.

— Глупости говорите...— вмешался суровый Филипп Филиппович, но Борменталь его перебил.

— Не беспокойтесь, Филипп Филиппович, я сам. Вы, Ша-

риков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль, тем более, что она и не моя, а Филиппа Филипповича. Просто — это вредно. Это — раз, а второе — вы и без водки держите себя неприлично.

Борменталь указал на заклеенный буфет.

— Зинуша, дайте мне, пожалуйста, еще рыбы, — произнес профессор.

Шариков тем временем потянулся к графинчику и, покосившись на Борменталья, налил рюмочку.

— И другим надо предложить, — сказал Борменталь, — и так: сперва Филиппу Филипповичу, затем мне, а в заключение себе.

Шариковский рот тронула едва заметная сатирическая улыбка, и он разлил водку по рюмкам.

— Вот все у вас, как на параде, — заговорил он, — салфетку — туда, галстук — сюда, да «извините», да «пожалуйста — мерси», а так, чтобы по-настоящему, — это нет. Мучаете сами себя, как при царском режиме.

— А как это «по-настоящему»? — позвольте осведомиться.

Шариков на это ничего не ответил Филиппу Филипповичу, а поднял рюмку и произнес:

— Ну, желаю, чтобы все...

— И вам также, — с некоторой иронией отозвался Борменталь.

Шариков выплеснул содержимое рюмки себе в глотку, сморщился, кусочек хлеба поднес к носу, понюхал, а затем проглотил, причем глаза его налились слезами.

— Стаж, — вдруг отрывисто и как бы в забытьи проговорил Филипп Филиппович.

Борменталь удивленно покосился.

— Виноват...

— Стаж! — повторил Филипп Филиппович, и горько качнул головой, — тут уж ничего не поделаешь — Клим.

Борменталь с чрезвычайным интересом остро взгляделся в глаза Филиппа Филипповича:

— Вы полагаете, Филипп Филиппович?

— Нечего полагать, уверен в этом.

— Неужели... — начал Борменталь и остановился, покосившись на Шарикова.

Тот подозрительно нахмурился.

— *Später*... — негромко сказал Филипп Филиппович.

— *Gut*², — отозвался ассистент.

Зина внесла индейку. Борменталь налил Филиппу Филипповичу красного вина и предложил Шарикову.

— Я не хочу. Я лучше водочки выпью. — Лицо его замаслилось, на лбу проступил пот, он повеселел. И Филипп Филиппович несколько подобрел после вина. Его глаза прояснились, он бла-

¹ Позже (нем.).

² Хорошо (нем.).

госклоннее поглядывал на Шарикова, черная голова которого в салфетке сидела, как муха в сметане.

Борменталь же, подкрепившись, обнаружил склонность к деятельности.

— Ну-с, что же мы с вами предпримем сегодня вечером? — осведомился он у Шарикова.

Тот поморгал глазами, ответил:

— В цирк пойдем, лучше всего.

— Каждый день в цирк, — благодушно заметил Филипп Филиппович, — это довольно скучно, по-моему. Я бы на вашем месте хоть раз в театр ходил.

— В театр я не пойду, — неприязненно отозвался Шариков и перекрестил рот.

— Икание за столом отбивает у других аппетит, — машинально сообщил Борменталь. — Вы меня извините... Почему, собственно, вам не нравится театр?

Шариков посмотрел в пустую рюмку, как в бинокль, подумал и оттопырил губы.

— Да дурака валяние... Разговаривают, разговаривают... Контрреволюция одна.

Филипп Филиппович откинулся на готическую спинку и захохотал так, что во рту у него засверкал золотой частокол. Борменталь только повертел голову.

— Вы бы почитали что-нибудь, — предложил он, — а то, знаете ли...

— Уж и так читаю, читаю... — ответил Шариков и вдруг хищно и быстро налил себе полстакана водки.

— Зина, — тревожно закричал Филипп Филиппович, — убирай, детка, водку. Больше уж не нужна. Что же вы читаете?

В голове у него вдруг мелькнула картина: необитаемый остров, пальма, человек в звериной шкуре и колпаке. «Надо будет Робинзона...»

— Эту... Как ее... переписку Энгельса с этим... как его — дьявола — с Каутским.

Борменталь остановил на полдороге вилку с куском белого мяса, а Филипп Филиппович расплескал вино. Шариков в это время изловчился и проглотил водку.

Филипп Филиппович локти положил на стол, взгляделся в Шарикова и спросил:

— Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного?

Шариков пожал плечами.

— Да не согласен я.

— С кем? С Энгельсом или с Каутским?

— С обоими, — ответил Шариков.

— Это замечательно, клянусь Богом. Всех, кто скажет, что другая... А что бы вы со своей стороны могли предложить?

— Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять все, да и поделить...

— Так я и думал,— воскликнул Филипп Филиппович, шлепнув ладонью по скатерти,— именно так и полагал.

— Вы и способ знаете? — спросил заинтересованный Борменталь.

— Да какой тут способ,— становясь словоохотливым после водки, объяснил Шариков,— дело не хитрое. А то что ж: один в семи комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой шляется, в сорных ящиках питание ищет.

— Насчет семи комнат — это вы, конечно, на меня намекаете? — горделиво прищурившись, спросил Филипп Филиппович. Шариков съехался и промолчал.

— Что же, хорошо, я не против дележа. Доктор, скольким вы вчера отказали?

— 39-ти человекам,— тотчас ответил Борменталь.

— Гм... 390 рублей. Ну, грех на трех мужчин. Дам — Зину и Дарью Петровну — считать не станем. С вас, Шариков, 130 рублей. Потрудитесь внести.

— Хорошенькое дело,— ответил Шариков, испугавшись,— это за что такое?

— За кран и за кота,— рявкнул вдруг Филипп Филиппович, выходя из состояния иронического спокойствия.

— Филипп Филиппович,— тревожно воскликнул Борменталь.

— Погодите. За безобразие, которое вы учинили и благодаря которому сорвали прием. Это же нестерпимо. Человек, как первобытный, прыгает по всей квартире, рвет краны. Кто убил кошку у мадам Поласухер? Кто...

— Вы, Шариков, третьего дня укусили даму на лестнице,— подделал Борменталь.

— Вы стойте...— рычал Филипп Филиппович.

— Да она меня по морде хлопнула,— взвизгнул Шариков,— у меня не казенная морда!

— Потому что вы ее за грудь ущипнули,— закричал Борменталь, опрокинув бокал,— вы стойте...

— Вы стойте на самой низшей ступени развития,— перекричал Филипп Филиппович,— вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо, все ваши поступки чисто звериные, и вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить... а в то же время вы наглотались зубного порошку...

— Третьего дня,— подтвердил Борменталь.

— Ну вот-с,— гремел Филипп Филиппович,— зарубите себе на носу,— кстати, почему вы стерли с него цинковую мазь? — что вам нужно молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой?

— Все у вас негодяи,— испуганно ответил Шариков, оглушенный нападением с двух сторон.

— Я догадываюсь,— злобно краснея, воскликнул Филипп Филиппович.

— Ну, что же. Ну, Швондер дал. Он не негодяй.. Чтоб я развивался...

— Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского,— визгливо и пожелтев, крикнул Филипп Филиппович. Тут он яростно нажал на кнопку в стене.— Сегодняшний случай показывает это как нельзя лучше. Зина!

— Зина! — кричал Борменталь.

— Зина! — орал испуганный Шариков.

Зина прибежала бледная.

— Зина, там в приемной... Она в приемной?

— В приемной,— покорно ответил Шариков,— зеленая, как купорос.

— Зеленая книжка...

— Ну, сейчас палить,— отчаянно воскликнул Шариков,— она казенная, из библиотеки!

— Переписка — называется, как его... Энгельса с этим чертом... В печку ее!

Зина улетела.

— Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку,— воскликнул Филипп Филиппович, яростно впиваясь в крыло индюшки,— сидит изумительная дрянь в доме — как нарыв. Мало того, что он пишет всякие бессмысленные пасквили в газетах..

Шариков злобно и иронически начал коситься на профессора. Филипп Филиппович в свою очередь отправил ему косой взгляд и умолк.

«Ох, ничего доброго у нас, кажется, не выйдет в квартире»,— вдруг пророчески подумал Борменталь.

Зина внесла на круглом блюде рыжую с правого и румяную с левого бока бабу и кофейник.

— Я не буду ее есть,— сразу угрожающе неприязненно заявил Шариков.

— Никто вас не приглашает. Держите себя прилично. Доктор, прошу вас.

В молчании закончился обед.

Шариков вытащил из кармана смятую папиросу и задымил. Откушав кофею, Филипп Филиппович поглядел на часы, нажал на репетир, и они проиграли нежно восемь с четвертью. Филипп Филиппович откинулся по своему обыкновению на готическую спинку и потянулся к газете на столике.

— Доктор, прошу вас, съездите с ним в цирк. Только ради бога, посмотрите в программе — котов нету?

— И как такую сволочь в цирк пускают,— хмуро заметил Шариков, покачивая головой.

— Ну, мало ли кого туда допускают,— двусмысленно отозвался Филипп Филиппович,— что там у них?

— У Соломонского,— стал вычитывать Борменталь,— четыре

какие-то... Юссемс и человек мертвой точки.

— Что это за Юссемс? — подозрительно осведомился Филипп Филиппович.

— Бог их знает. Впервые это слово встречаю.

— Ну, тогда лучше смотрите у Никитиных. Необходимо, чтобы было все ясно.

— У Никитиных... У Никитиных.. гм... слоны и предел человеческой ловкости.

— Так-с. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? — недоверчиво спросил Филипп Филиппович у Шарикова.

Тот обиделся.

— Что же, я не понимаю, что ли. Кот — другое дело. Слоны — животные полезные, — ответил Шариков.

— Ну-с, и отлично. Раз полезные, поезжайте и поглядите на них. Ивана Арнольдовича слушаться надо. И ни в какие разговоры там не пускаться в буфете! Иван Арнольдович, покорнейше прошу пива Шарикову не предлагать.

Через 10 минут Иван Арнольдович и Шариков, одетый в кепку с утиным носом и драповое пальто с поднятым воротником, уехали в цирк. В квартире стихло. Филипп Филиппович оказался в своем кабинете. Он зажег лампу под тяжелым зеленым колпаком, отчего в громадном кабинете стало очень мирно, и начал мерять комнату. Долго и жарко светился кончик сигары бледно-зеленым огнем. Руки профессор заложил в карманы брюк, и тяжкая дума терзала его ученый с зализами лоб. Он причмокивал, напевал сквозь зубы «к берегам священным Нила...» и что-то бормотал. Наконец отложил сигару в пепельницу, подошел к шкафу, сплошь состоящему из стекла, и весь кабинет осветил тремя сильнейшими огнями с потолка. Из шкафа, с третьей стеклянной полки Филипп Филиппович вынул узкую банку и стал, нахмурившись, рассматривать ее на свет огня. В прозрачной и тяжелой жидкости плавал, не падая на дно, малый беленький комочек, — извлеченный из недр Шарикова мозга. Пожимая плечами, кривя губы и хмыкая, Филипп Филиппович пожирал его глазами, как будто в белом нетонущем комке хотел разглядеть причину удивительных событий, перевернувших вверх дном жизнь в пречистенской квартире.

Очень возможно, что высокоученый человек ее и разглядел. По крайней мере, вдоволь насмотревшись на придаток мозга, он банку спрятал в шкаф, запер его на ключ, ключ положил в жилетный карман, а сам обрушился, вдавив голову в плечи и глубочайше засунув руки в карманы пиджака, на кожу дивана. Он долго палил вторую сигару, совершенно изжевав ее конец, и, наконец, в полном одиночестве, зелено окрашенный, как седой Фауст, воскликнул:

— Ей-богу, я, кажется, решусь.

Никто ему не ответил на это. В квартире прекратились всякие звуки. В Обуховом переулке в 11 часов, как известно, затихает

движение. Редко-редко звучали отдаленные шаги запоздавшего пешехода, они постукивали где-то за шторами и угасали. В кабинете нежно звенел под пальцами Филиппа Филипповича репетир в карманчике... Профессор нетерпеливо поджидал возвращения д-ра Борменталья и Шарикова из цирка.

VIII

Неизвестно, на что решился Филипп Филиппович. Ничего особенного в течение следующей недели он не предпринимал, и, может быть, вследствие его бездействия, квартирная жизнь переполнилась событиями.

Дней через 6 после истории с водой и котом из домкома к Шарикову явился молодой человек, оказавшийся женщиной, и вручил ему документы, которые Шариков немедленно заложил в карман и немедленно после этого позвал д-ра Борменталья.

— Борменталь!

— Нет, уж вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте! — отозвался Борменталь, меняясь в лице.

Нужно заметить, что в эти 6 дней хирург ухитрился раз 8 поссориться со своим воспитанником. И атмосфера в обуховских комнатах была душная.

— Ну и меня называйте по имени и отчеству! — совершенно основательно ответил Шариков.

— Нет! — загремел в дверях Филипп Филиппович. — По такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если вам угодно, чтобы вас перестали именовать фамильярно «Шариков», и я, и доктор Борменталь будем называть вас «господин Шариков».

— Я не господин, господа все в Париже! — отлаял Шариков.

— Швондерова работа! — кричал Филипп Филиппович. — Ну, ладно, посчитаюсь я с этим негодяем. Не будет никого, кроме господ, в моей квартире, пока я в ней нахожусь! В противном случае или я или вы уйдете отсюда и, вернее всего, вы. Сегодня я помещу в газетах объявление и, поверьте, я вам найду комнату.

— Ну да, такой я дурак, чтобы я съехал отсюда, — очень четко ответил Шариков.

— Как? — спросил Филипп Филиппович и до того изменился в лице, что Борменталь подлетел к нему и нежно и тревожно взял его за рукав.

— Вы, знаете, не нахальничайте, мосье Шариков! — Борменталь очень повысил голос. Шариков отступил, вытащил из кармана 3 бумаги: зеленую, желтую и белую и, тыча в них пальцами, заговорил:

— Вот. Член жилищного товарищества, и площадь мне полагается определенно в квартире № 5 у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин, — Шариков подумал

и добавил слово, которое Борменталь машинально отметил в мозгу, как новое: благоволите.

Филипп Филиппович закусил губу и сквозь нее неосторожно вымолвил:

— Клянусь, что я этого Швондера в конце концов застрелю.

Шариков в высшей степени внимательно и остро принял эти слова, что было видно по его глазам.

— Филипп Филиппович, vorsichtig!¹...— предостерегающе начал Борменталь.

— Ну, уж знаете... Если уж такую подлость!..— вскричал Филипп Филиппович по-русски.— Имейте в виду, Шариков... господин, что я, если вы позволите себе еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 аршин — это прелестно, но ведь я вас не обязан кормить по этой лягушечьей бумаге!

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

— Я без пропитания оставаться не могу,— забормотал он,— где же я буду харчеваться?

— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого себя: пользуясь небольшой отлучкой Борменталья, он завладел его бритвой и распорол себе скулу так, что Филипп Филиппович и д-р Борменталь накладывали ему на порез швы, отчего Шариков долго выл, заливаясь слезами.

Следующую ночь в кабинете профессора в зеленом полумраке сидели двое — сам Филипп Филиппович и верный, привязанный к нему Борменталь. В доме уже спали. Филипп Филиппович был в своем лазоревом халате и красных туфлях, а Борменталь в рубашке и синих подтяжках. Между врачами на круглом столе рядом с пухлым альбомом стояла бутылка коньяку, блюдечко с лимоном и сигарный ящик. Ученые, накурив полную комнату, с жаром обсуждали последнее событие: этим вечером Шариков присвоил в кабинете Филиппа Филипповича 2 червонца, лежавшие под пресс-папье, пропал из квартиры, вернулся поздно и совершенно пьяный. Этого мало. С ним явились 2 неизвестных личности, шумевших на парадной лестнице и изъяснявших желание ночевать в гостях у Шарикова. Удалились означенные личности лишь после того, как Федор, присутствовавший при этой сцене в осеннем пальто, накинутом сверх белья, позвонил по телефону в сорок пятое отделение милиции. Личности мгновенно отбыли, лишь только Федор повесил трубку. Неизвестно куда после ухода личностей задевалась малахитовая пепельница с подзеркальником в передней, бобровая шапка Филиппа Филипповича и его же трость, на каковой трости золотую вязью было написано: «Дорогому и уважаемому Филиппу Филипповичу

¹ Осторожно (нем.)

благодарные ординаторы в день...», дальше шла римская цифра XXV.

— Кто они такие? — наступал Филипп Филиппович, сжимая кулаки, на Шарикова.

Тот, шатаясь и прилипая к шубам, бормотал насчет того, что личности ему неизвестны, что они не сукины сыны какие-нибудь, а — хорошие.

— Изумительнее всего, что ведь они же оба пьяные... Как же они ухитрились? — поражался Филипп Филиппович, глядя на то место в стойке, где некогда помещалась память юбилея.

— Специалисты, — пояснил Федор, удаляясь спать с рублем в кармане.

От двух червонцев Шариков категорически отперся и при этом выговорил что-то неясственное насчет того, что вот, мол, он не один в квартире.

— Ага, быть может, это доктор Борменталь свистнул червонцы? — осведомился Филипп Филиппович тихим, но страшным по оттенку голосом.

Шариков качнулся, открыл совершенно посоловевшие глаза и высказал предположение:

— А может быть, Зинка взяла...

— Что такое?.. — закричала Зина, появившись в дверях как привидение, прикрывая на груди расстегнутую кофточку ладонью, — да как он...

Шея Филиппа Филипповича налилась красным цветом.

— Спокойно, Зинуша, — молвил он, простирая к ней руку, — не волнуйся, мы все это устроим.

Зина немедленно заревела, распустив губы, и ладонь запрыгала у нее на ключице.

— Зина, как вам не стыдно? Кто же может подумать? Фу, какой срам! — заговорил Борменталь растерянно.

— Ну, Зина, ты — дура, прости господи, — начал было Филипп Филиппович.

Но тут Зинин плач прекратился сам собой, и все умолкли. Шарикову стало плохо. Стукнувшись головой об стену, он издал звук — не то «и», не то «е» — вроде «эээ!». Лицо его побледнело, и судорожно задвигалась челюсть.

— Ведро ему, негодяю, из смотровой даты!

И все забежали, ухаживая за заболевшим Шариковым. Когда его отводили спать, он, пошатываясь в руках Борменталья, очень нежно и мелодически ругался скверными словами, выговаривая их с трудом.

Вся эта история произошла около часу, а теперь было часа 3 полуночи, но двое в кабинете бодрствовали, взвинченные коньяком с лимоном. Накурили они до того, что дым двигался густыми медленными плоскостями, даже не колыхаясь.

Доктор Борменталь, бледный, с очень решительными глазами, поднял рюмку со стрекозиной талней.

— Филипп Филиппович, — прочувственно воскликнул он, —

я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня при кафедре. Поверьте, Филипп Филиппович, вы для меня гораздо больше, чем профессор, учитель... Мое безмерное уважение к вам... Позвольте вас поцеловать, дорогой Филипп Филиппович.

— Да, голубчик мой...— растерянно промычал Филипп Филиппович и поднялся навстречу. Борменталь его обнял и поцеловал в пушистые, сильно прокуренные усы.

— Ей-богу, Филипп Фили...

— Так растрогали, так растрогали... Спасибо вам,— говорил Филипп Филиппович,— голубчик, я иногда на вас ору на операциях. Уж простите стариковскую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок... От Севильи до Гренады...

— Филипп Филиппович, не стыдно ли вам?...— искренно воскликнул пламенный Борменталь,— если вы не хотите меня обижать, не говорите мне больше таким образом...

— Ну, спасибо вам... К берегам священным Нила... Спасибо... И я вас полюбил как способного врача.

— Филипп Филиппович, я вам говорю!..— страстно воскликнул Борменталь, сорвался с места, плотнее прикрыл дверь, ведущую в коридор, и, вернувшись, продолжал шепотом,— ведь это — единственный исход. Я не смею вам, конечно, давать советы, но, Филипп Филиппович, посмотрите на себя, вы совершенно замучились, ведь так нельзя же больше работать!

— Абсолютно невозможно,— вздохнув, подтвердил Филипп Филиппович.

— Ну, вот, это же немыслимо,— шептал Борменталь,— в прошлый раз вы говорили, что боитесь за меня, и если бы вы знали, дорогой профессор, как вы меня этим тронули. Но ведь я же не мальчик и сам соображаю, насколько это может получиться ужасная штука. Но по моему глубокому убеждению, другого выхода нет.

Филипп Филиппович встал, замахал на него руками и воскликнул:

— И не соблазняйте, даже и не говорите,— профессор заходил по комнате, закачав дымные волны,— и слушать не буду. Понимаете, что получится, если нас накроют. Нам ведь с вами на «принимая во внимание происхождение» — отъехать не придется, невзирая на нашу первую судимость. Ведь у вас нет подходящего происхождения, мой дорогой?

— Какой там черт! Отец был судебным следователем в Вильно,— горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.

— Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее и представить себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси. От Севильи до Гренады... в тихом сумраке ночей... вот, черт ее возьми.

— Филипп Филиппович, вы — величина мирового значения, и из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына... Да

разве они могут вас тронуть, помилуйте!

— Тем более не пойду на это, — задумчиво возразил Филипп Филиппович, останавливаясь и озираясь на стеклянный шкаф.

— Да почему?

— Потому что вы-то ведь не величина мирового значения.

— Где уж...

— Ну вот-с. А бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите... Я — московский студент, а не Шариков.

Филипп Филиппович горделиво поднял плечи и сделался похож на французского древнего короля.

— Филипп Филиппович, эх... — горестно воскликнул Борменталь, — значит, что же? Теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека?

Филипп Филиппович жестом руки остановил его, налил себе коньяку, хлебнул, пососал лимон и заговорил:

— Иван Арнольдovich, как по-вашему, я понимаю что-либо в анатомии и физиологии ну, скажем, человеческого мозгового аппарата? Как ваше мнение?

— Филипп Филиппович, что вы спрашиваете? — с большим чувством ответил Борменталь и развел руками.

— Ну, хорошо. Без ложной скромности. Я тоже полагаю, что в этом я не самый последний человек в Москве.

— А я полагаю, что вы — первый не только в Москве, а и в Лондоне и в Оксфорде! — яростно перебил Борменталь.

— Ну, ладно, пусть будет так. Ну так вот-с, будущий профессор Борменталь: это никому не удастся. Конечно. Можете и не спрашивать. Так и сошлитесь на меня, скажите, Преображенский сказал. *Finita*. Клим! — вдруг торжественно воскликнул Филипп Филиппович, и шкаф ответил ему звоном, — Клим, — повторил он. — Вот что, Борменталь, вы первый ученик моей школы и, кроме того, мой друг, как я убедился сегодня. Так вот вам, как другу, сообщу по секрету, — конечно, я знаю, вы не станете срамить меня — старый осел Преображенский нарвался на этой операции как третьекурсник. Правда, открытие получилось, вы сами знаете — какое, — тут Филипп Филиппович горестно указал обеими руками на оконную штору, очевидно, намекая на Москву, — но только имейте в виду, Иван Арнольдovich, что единственным результатом этого открытия будет то, что все мы теперь будем иметь этого Шарикова вот где — здесь, — Преображенский похлопал себя по крутой и склонной к параличу шее, — будьте спокойны! Если бы кто-нибудь, — сладострастно продолжал Филипп Филиппович, — разложил меня здесь и выпорол, — я бы, кланусь, заплатил бы червонцев пять! От Севильи до Гренады... Черт меня возьми... Ведь я пять лет сидел, выковыривал придатки из мозгов... Вы знаете, какую я работу проделал — уму непостижимо. И вот теперь спрашивается — зачем? Чтобы в один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы дыбом встают.

— Исключительное что-то!

— Совершенно с вами согласен. Вот, доктор, что получается, когда исследователь вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приподымает завесу: на, получай Шарикова и ешь его с кашей.

— Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы?

— Да! — рявкнул Филипп Филиппович. — Да! Если только злосчастная собака не помрет у меня под ножом, а вы видели — какого сорта эта операция. Одним словом, я, Филипп Преображенский, ничего труднее не делал в своей жизни. Можно привить гипофиз Спинозы или еще какого-нибудь такого лешего и соорудить из собаки чрезвычайно высоко стоящего. Но на какого дьявола? — спрашивается. Объясните мне, пожалуйста, зачем нужно искусственно фабриковать Спиноз, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого! Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар. Теперь вам понятно, доктор, почему я опорочил ваш вывод в истории Шариковской болезни. Мое открытие, черти б его съели, с которым вы носитесь, стоит ровно один ломаный грош... Да, не спорьте, Иван Арнольдович, я ведь уж понял. Я же никогда не говорю на ветер, вы это отлично знаете. Теоретически это интересно. Ну, ладно! Физиологи будут в восторге. Москва беснуется... Ну, а практически что? Кто теперь перед вами? — Преображенский указал пальцем в сторону смотровой, где почивал Шариков.

— Исключительный прохвост.

— Но кто он? — Клим, Клим, — крикнул профессор, — Клим Чугунов¹ (Борменталь открыл рот) — вот что-с: две судимости, алкоголизм, «все поделить», шапка и два червонца пропали (тут Филипп Филиппович вспомнил юбилейную палку и побагровел) — хам и свинья... Ну, эту палку я найду. Одним словом, гипофиз — закрытая камера, определяющая человеческое данное лицо. Данное! От Севильи до Гренады... — свирепо вращая глазами, кричал Филипп Филиппович, — а не общечеловеческое. Это — в миниатюре — сам мозг. И мне он совершенно не нужен, ну его ко всем свиньям. Я заботился совсем о другом, об евгенике, об улучшении человеческой породы. И вот на омоложении нарвался. Неужели вы думаете, что из-за денег произвожу их? Ведь я же все-таки ученый.

— Вы великий ученый, вот что! — молвил Борменталь, глотая коньяк. Глаза его налились кровью.

— Я хотел проделать маленький опыт после того, как 2 года тому назад впервые получил из гипофиза вытяжку полового гормона. И вместо этого что же получилось? Боже ты мой! Этих гормонов в гипофизе, о Господи... Доктор, передо мной — тупая безнадержность я, клянусь, потерялся.

¹ В тексте расхождение: ср. стр. 189 (Ред.)

Борменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу:

— Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск накормлю его мышьяком. Черт с ним, что папа судебный следователь. Ведь в конце концов — это ваше собственное экспериментальное существо.

Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал:

— Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками.

— Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обрабатывает этот Швондер, что ж из него получится?! Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова!

— Ага! Теперь поняли? А я понял через 10 дней после операции. Ну так вот, Швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него более грозная опасность, чем для меня. Ну сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки.

— Еще бы! Одни коты чего стоят! Человек с собачьим сердцем.

— О нет, нет,— протяжно ответил Филипп Филиппович,— вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради бога не клеветайте на пса. Коты — это временно... Это вопрос дисциплины и двух-трех недель. Уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц, и он перестанет на них кидаться.

— А почему не теперь?

— Иван Арнольдович, это элементарно... Что вы, на самом деле, спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг, дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего, и поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе!

До последней степени взвинченный Борменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами, твердо молвил:

— Кончено. Я его убью!

— Запрещаю это! — категорически ответил Филипп Филиппович.

— Да помилуйте...

Филипп Филиппович вдруг насторожился, поднял палец.

— Погодите-ка.... Мне шаги слышались.

Оба прислушались, но в коридоре было тихо.

— Показалось,— молвил Филипп Филиппович и с жаром

заговорил по-немецки. В его словах несколько раз звучало русское слово «уголовщина».

— Минуточку,— вдруг насторожился Борменталь и шагнул к двери. Шаги слышались явственно и приблизились к кабинету. Кроме того, бубнил голос. Борменталь распахнул двери и отпрянул в изумлении. Совершенно пораженный Филипп Филиппович застыл в кресле.

В освещенном четырехугольнике коридора предстала в одной ночной сорочке Дарья Петровна с боевым и пылающим лицом. И врача и профессора ослепило обилие мощного и, как от страха показалось обоним, совершенно голого тела. В могучих руках Дарья Петровна волокла что-то, и это «что-то», упираясь, садилось на зад, и небольшие его ноги, крытые черным пухом, заплетались по паркету. «Что-то», конечно, оказалось Шариковым, совершенно потерянным, все еще пьяненьким, разлохмаченным и в одной рубашке.

Дарья Петровна, грандиозная и нагая, тряхнула Шарикова, как мешок с картофелем, и произнесла такие слова:

— Полюбуйтесь, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича. Я замужем была, а Зина — невинная девушка. Хорошо, что я проснулась.

Окончив эту речь, Дарья Петровна впала в состояние стыда, вскрикнула, закрыла грудь руками и унеслась.

— Дарья Петровна, извините, ради бога,— опомнившись, крикнул ей вслед красный Филипп Филиппович.

Борменталь повыше засучил рукава рубашки и двинулся к Шарикову. Филипп Филиппович заглянул ему в глаза и ужаснулся.

— Что вы, доктор! Я запрещаю...

Борменталь правой рукой взял Шарикова за шиворот и тряхнул его так, что полотно на сорочке спереди треснуло.

Филипп Филиппович бросился наперерез и стал выдирать щуплого Шарикова из цепких хирургических рук.

— Вы не имеете права биться! — полузадушенный, кричал Шариков, садясь наземь и трезвея.

— Доктор! — вопил Филипп Филиппович.

Борменталь несколько пришел в себя и выпустил Шарикова, после чего тот сейчас же захныкал.

— Ну, ладно,— прошипел Борменталь,— подождем до утра. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится.

Тут он ухватил Шарикова под мышки и поволок его в приемную спать.

При этом Шариков сделал попытку брыкаться, но ноги его не слушались.

Филипп Филиппович растопырил ноги, отчего лазоревые полы разошлись, возвел руки и глаза к потолочной лампе в коридоре и молвил:

— Ну-ну...

Бенефис Шарикова, обещанный доктором Борменталем, не состоялся, однако, на следующее утро по той причине, что Полиграф Полиграфович исчез из дома. Борменталь пришел в яростное отчаяние, обругал себя ослом за то, что не спрятал ключ от парадной двери, кричал, что это непростительно, и кончил пожеланием, чтобы Шариков попал под автобус. Филипп Филиппович сидел в кабинете, запустив пальцы в волосы, и говорил:

— Воображаю, что будет твориться на улице... Вообража-а-ю. От Севильи до Гренады, боже мой.

— Он в домкоме еще может быть,— бесновался Борменталь и куда-то бегал.

В домкоме он поругался с председателем Швондером до того, что тот сел писать заявление в народный суд Хамовнического района, крича при этом, что он не сторож питомца профессора Преображенского, тем более, что этот питомец Полиграф не далее, как вчера, оказался прохвостом, взяв в домкоме якобы на покупку учебников в кооперативе 7 рублей.

Федор, заработавший на этом деле три рубля, обыскал весь дом сверху донизу. Нигде никаких следов Шарикова не было.

Выяснилось только одно — что Полиграф отбыл на рассвете в кепке, шарфе и пальто, захватив с собой бутылку рябиновой в буфете, перчатки доктора Борменталья и все свои документы. Дарья Петровна и Зина, не скрывая, выразили свою бурную радость и надежду, что Шариков больше не вернется. У Дарьи Петровны Шариков занял накануне три рубля пятьдесят копеек.

— Так вам и надо! — рычал Филипп Филиппович, потрясая кулаками. Целый день звенел телефон, звенел телефон на другой день. Врачи принимали необыкновенное количество пациентов, а на третий день вплотную встал в кабинете вопрос о том, что нужно дать знать в милицию, каковая должна разыскать Шарикова в московском омуте.

И только что было произнесено слово «милиция», как благоговейную тишину Обухова переулка прорезал лай грузовика, и окна в доме дрогнули. Затем прозвучал уверенный звонок, и Полиграф Полиграфович вошел с необычайным достоинством, в полном молчании снял кепку, пальто повесил на рога и оказался в новом виде. На нем была кожаная куртка с чужого плеча, кожаные же потертые штаны и английские высокие сапожки со шнуровкой до колен. Неимоверный запах котов тотчас расплылся по всей передней. Преображенский и Борменталь точно по команде скрестили руки на груди, стали у притолоки и ожидали первых сообщений от Полиграфа Полиграфовича. Он пригладил жесткие волосы, кашлянул и осмотрелся так, что видно было: смущение Полиграф желает скрыть при помощи развязности.

— Я, Филипп Филиппович,— начал он наконец говорить,— на должность поступил.

Оба врача издали неопределенный сухой звук горлом и ше-

вельнулись. Преображенский опомнился первый, руку протянул и молвил:

— Бумагу дайте.

Было напечатано: «Предъявитель сего товарищ Полиграф Полиграфович Шариков действительно состоит заведующим подотделом очистки города Москвы от бродячих животных (котов и пр.) в отделе МКХ».

— Так, — тяжело молвил Филипп Филиппович, — кто же вас устроил? Ах, впрочем, я и сам догадываюсь.

— Ну, да, Швондер, — ответил Шариков.

— Позвольте вас спросить — почему от вас так отвратительно пахнет?

Шариков понюхал куртку озабоченно.

— Ну, что ж, пахнет... известно: по специальности. Вчера котов душили, душили...

Филипп Филиппович вздрогнул и посмотрел на Борменталья. Глаза у того напоминали два черных дула, направленных на Шарикова в упор. Без всяких предисловий он двинулся к Шарикову и легко и уверенно взял его за глотку.

— Караул! — пискнул Шариков, бледнея.

— Доктор!

— Ничего не позволю себе дурного, Филипп Филиппович, — не беспокойтесь, — железным голосом отозвался Борменталь и завопил: — Зина и Дарья Петровна!

Те появились в передней.

— Ну, повторяйте, — сказал Борменталь и чуть-чуть притиснул горло Шарикова к шубе, — извините меня...

— Ну хорошо, повторяю, — сильным голосом ответил совершенно пораженный Шариков, вдруг набрал воздуха, дернулся и попытался крикнуть «караул», но крик не вышел, и голова его совсем погрузилась в шубу.

— Доктор, умоляю вас.

Шариков закивал головой, давая знать, что он покоряется и будет повторять.

— ...Извините меня, многоуважаемая Дарья Петровна и Зинаида?..

— Прокофьевна, — шепнула испуганно Зина.

— Уф, Прокофьевна... — говорил, перехватывая воздух, охрипший Шариков, — ...что я позволил себе...

— Себе гнусную выходку ночью в состоянии опьянения.

— Опьянения...

— Никогда больше не буду...

— Не бу...

— Пустите, пустите его, Иван Арнольдович, — взмолились одновременно обе женщины, — вы его задушите.

Борменталь выпустил Шарикова на свободу и сказал:

— Грузовик вас ждет?

— Нет, — почтительно ответил Полиграф, — он только меня привез.

— Зина, отпустите машину. Теперь имейте в виду следующее: вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича?

— Куда же мне еще? — робко ответил Шариков, блуждая глазами.

— Отлично-с. Быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь со мною дело. Понятно?

— Понятно, — ответил Шариков.

Филипп Филиппович во все время насилия над Шариковым хранил молчание. Как-то жалко он съежился у притолоки и грыз ноготь, потупив глаза в паркет. Потом вдруг поднял их на Шарикова и спросил, глухо и автоматически:

— Что же вы делаете с этими... с убитыми котами?

— На польты пойдут, — ответил Шариков, — из них белок будут делать на рабочий кредит.

Засим в квартире настала тишина и продолжалась двое суток. Полиграф Полиграфович утром уезжал на грузовике, появлялся вечером, тихо обедал в компании Филиппа Филипповича и Борменталья.

Несмотря на то, что Борменталь и Шариков спали в одной комнате — приемной, они не разговаривали друг с другом, так что Борменталь соскучился первый.

Дня через два в квартире появилась худенькая с подрисованными глазами барышня в кремовых чулочках и очень смущалась при виде великолепия квартиры. В потертом пальтишке она шла следом за Шариковым и в передней столкнулась с профессором.

Тот, оторопелый, остановился, приниурился и спросил:

— Позвольте узнать?

— Я с ней расписываюсь, это — наша машинистка, жить со мной будет. Борменталья надо будет выселить из приемной. У него своя квартира есть, — крайне неприятно и хмуро пояснил Шариков.

Филипп Филиппович поморгал глазами, подумал, глядя на побагровевшую барышню, и очень вежливо пригласил ее.

— Я вас попрошу на минуточку ко мне в кабинет.

— И я с ней пойду, — быстро и подозрительно молвил Шариков.

И тут моментально вынырнул как из-под земли Борменталь.

— Извините, — сказал он, — профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь.

— Я не хочу, — злобно отозвался Шариков, пытаясь устремиться вслед за сгорающей от стыда барышней и Филиппом Филипповичем.

— Нет, простите, — Борменталь взял Шарикова за кисть руки, и они пошли в смотровую.

Минут пять из кабинета ничего не слышалось, а потом вдруг глухо донеслись рыдания барышни.

Филипп Филиппович стоял у стола, а барышня плакала в грязный кружевной платочек.

— Он сказал, негодяй, что ранен в боях,— рыдала барышня.

— Лжет,— непреклонно отвечал Филипп Филиппович. Он покачал головою и продолжал.— Мне вас искренне жаль, но нельзя же так с первым встречным только из-за служебного положения... Детка, ведь это безобразие... Вот что... — Он открыл ящик письменного стола и вынул три бумажки по три червонца.

— Я отравлюсь,— плакала барышня,— в столовке солонина каждый день... и угрожает... говорит, что он красный командир... со мною, говорит, будешь жить в роскошной квартире... каждый день ананасы... психика у меня добрая, говорит, я только котов ненавижу. Он у меня кольцо на память взял...

— Ну, ну, ну,— психика добрая... От Севильи до Гренады,— бормотал Филипп Филиппович,— нужно перетерпеть,— вы еще так молоды...

— Неужели в этой самой подворотне?

— Ну, берите деньги, когда дают взаймы,— рывкнул Филипп Филиппович.

Затем торжественно распахнулись двери, и Борменталь по приглашению Филиппа Филипповича ввел Шарикова. Тот бегал глазами, и шерсть на голове у него возвышалась, как щетка.

— Подлец,— выговорила барышня, сверкая заплаканными размазанными глазами и полосатым напудренным носом.

— Отчего у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме,— вкрадчиво спросил Филипп Филиппович.

Шариков сыграл ва-банк:

— Я на колчаковских фронтах ранен,— пролаял он.

Барышня встала и с громким плачем вышла.

— Перестаньте! — крикнул вслед Филипп Филиппович,— погодите, колечко позвольте,— сказал он, обращаясь к Шарикову.

Тот покорно снял с пальца дутое колечко с изумрудом.

— Ну, ладно,— вдруг злобно сказал он,— попомнишь ты у меня. Завтра я тебе устрою сокращение штатов.

— Не бойтесь его,— крикнул вслед Борменталь,— я ему не позволю ничего сделать.— Он повернулся и поглядел на Шарикова так, что тот попятился и стукнулся затылком о шкаф.

— Как ее фамилия? — спросил у него Борменталь.— Фамилия! — заревел он и вдруг стал дик и страшен.

— Васнецова,— ответил Шариков, ница глазами, как бы улизнуть.

— Ежедневно,— взявшись за лацкан шариковской куртки, выговорил Борменталь,— сам лично буду справляться в очистке — не сократили ли гражданку Васнецову. И если только вы... узнаю, что сократили, я вас... собственными руками здесь же пристрелю. Берегитесь, Шариков,— говорю русским языком!

Шариков, не отрываясь, смотрел на борменталевский нос.

— У самих револьверы найдутся... — пробормотал Полиграф, но очень вяло и вдруг, изловчившись, брызнул в дверь.

— Берегитесь! — донесся ему вдогонку борменталевский крик.

Ночь и половину следующего дня висела, как туча перед грозой, тишина. Все молчали. Но на следующий день, когда Полиграф Полиграфович, которого утром кольнуло скверное предчувствие, мрачный уехал на грузовике к месту службы, профессор Преображенский в совершенно неурочный час принял одного из своих прежних пациентов, толстого и рослого человека в военной форме. Тот настойчиво добивался свидания и добился. Войдя в кабинет, он вежливо щелкнул каблуками к профессору.

— У вас боли, голубчик, возобновились? — спросил осунувшийся Филипп Филиппович, — садитесь, пожалуйста.

— Мерси. Нет, профессор, — ответил гость, ставя шлем на угол стола, — я вам очень признателен... Гм... Я приехал к вам по другому делу, Филипп Филиппович... питаю большое уважение... гм... предупредить. Явная ерунда. Просто он прохвост... — Пациент полез в портфель и вынул бумагу, — хорошо, что мне непосредственно доложили...

Филипп Филиппович оседлал нос пенсне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду. «...а также угрожая убить председателя домкома товарища Швондера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие. И произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке, как явный меньшевик со своим ассистентом Борменталем Иваном Ариольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего подотделом очистки П. П. Шарикова — удостоверяю. Председатель домкома Швондер, секретарь Пеструхин».

— Вы позволите мне это оставить у себя? — спросил Филипп Филиппович, покрываясь пятнами, — или, виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу?

— Извините, профессор, — очень обиделся пациент и раздул ноздри, — вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... — И тут он стал надуваться, как индейский петух.

— Ну, извините, извините, голубчик! — забормотал Филипп Филиппович, — простите, я, право, не хотел вас обидеть. Голубчик, не сердитесь, меня он так задержал...

— Я думаю, — совершенно отошел пациент, — но какая все-таки дрянь! Любопытно было бы взглянуть на него. В Москве прямо легенды какие-то про вас рассказывают...

Филипп Филиппович только отчаянно махнул рукой. Тут пациент разглядел, что профессор сторбился и даже как будто посидел за последнее время.

* * *

Преступление созрело и упало, как камень, как это обычно и бывает. С сосущим нехорошим сердцем вернулся в грузовике Полиграф Полиграфович. Голос Филиппа Филипповича пригласил

сил его в смотровую. Удивленный Шариков пришел и с неясным страхом заглянул в дуло на лице Борменталья, а затем на Филиппа Филипповича. Туча ходила вокруг ассистента, и левая его рука с папироской чуть вздрагивала на блестящей ручке акушерского кресла.

Филипп Филиппович со спокойствием очень зловещим сказал:

— Сейчас заберите вещи: брюки, пальто, все, что вам нужно, — и вон из квартиры!

— Как это так? — искренне удивился Шариков.

— Вон из квартиры — сегодня, — монотонно повторил Филипп Филиппович, щурясь на свои ногти.

Какой-то нечистый дух вселился в Полиграфа Полиграфовича; очевидно, гибель уже караулила его, и рок стоял у него за плечами. Он сам бросился в объятия неизбежного и гавкнул злобно и отрывисто:

— Да что такое, в самом деле! Что я управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть.

— Убирайтесь из квартиры, — задумчиво шепнул Филипп Филиппович.

Шариков сам пригласил свою смерть. Он поднял левую руку и показал Филиппу Филипповичу обкусанный с нестерпимым кошачьим запахом шиш. А затем правой рукой по адресу опасного Борменталья из кармана вынул револьвер. Папироса Борменталья упала падучей звездой, а через несколько секунд прыгающий по битым стеклам Филипп Филиппович в ужасе метался от шкафа к кушетке. На ней, распростертый и хрипящий, лежал подотделом очистки, а на груди у него помещался хирург Борменталь и душил его беленькой малой подушкой.

Через несколько минут доктор Борменталь с не своим лицом прошел на передний ход и рядом с кнопкой звонка наклеил записку:

«Сегодня приема по случаю болезни профессора нет. Просят не беспокоить звонками».

Блестящим перочинным ножиком он перерезал провод звонка, в зеркале осмотрел исцарапанное в кровь свое лицо и изодранные, мелкой дрожью прыгающие руки. Затем он появился в дверях кухни и настороженным Зине и Дарье Петровне сказал:

— Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры.

— Хорошо, — робко ответили Зина и Дарья Петровна.

— Позвольте мне запереть дверь на черный ход и забрать ключ, — заговорил Борменталь, прячась за дверь в тень и прикрывая ладонью лицо. — Это временно, не из недоверия к вам. Но кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете, а нам нельзя мешать. Мы заняты.

— Хорошо, — ответили женщины и сейчас же стали бледными. Борменталь запер черный ход, запер парадный, запер дверь из коридора в переднюю, и шаги его пропали у смотровой.

Тишина покрыла квартиру, заползла во все углы. Полезли сумерки, скверные, настороженные, одним словом, мрак. Правда,

впоследствии соседи через двор говорили, что будто бы в окнах смотровой, выходящих во двор, в этот вечер горели у Преображенского все огни, и даже будто бы они видели белый колпак самого профессора... Проверить трудно. Правда, и Зина, когда уже кончилось, болтала, что в кабинете у камина после того как Борменталь и профессор вышли из смотровой, ее до смерти напугал Иван Арнольдович. Якобы он сидел в кабинете на корточках и жег в камине собственноручно тетрадь в синей обложке из той пачки, в которой записывались истории болезни профессорских пациентов! Лицо будто бы у доктора было совершенно зеленое и все, ну, все... вдребезги исцарапанное. И Филипп Филиппович в тот вечер сам на себя не был похож. И еще, что... впрочем, может быть, невинная девушка из пречистенской квартиры и врет...

За одно можно поручиться: в квартире в этот вечер была полнейшая и ужаснейшая тишина.

Конец повести.

ЭПИЛОГ

Ночь в ночь через десять дней после сражения в смотровой в квартире профессора Преображенского, что в Обуховском переулке, ударил резкий звонок.

— Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть.

Забегали шаги, застучали, стали входить, и в сверкающей от огня приемной с заново застекленными шкафами оказалась масса народу. Двое в милицмейской форме, один в черном пальто, с портфелем, злорадный и бледный председатель Швондер, юноша-женщина, швейцар Федор, Зина, Дарья Петровна и полуодетый Борменталь, стыдливо прикрывающий горло без галстука.

Дверь из кабинета пропустила Филиппа Филипповича. Он вышел в известном всем лазоревом халате, и тут же все могли убедиться сразу, что Филипп Филиппович очень поправился в последнюю неделю. Прежний властный и энергичный Филипп Филиппович, полный достоинства, предстал перед ночными гостями и извинился, что он в халате.

— Не стесняйтесь, профессор, — очень смущенно отозвался человек в штатском, затем он замялся и заговорил. — Очень неприятно. У нас есть ордер на обыск в вашей квартире и, — человек покосился на усы Филиппа Филипповича и dokonчил, — и арест, в зависимости от результата.

Филипп Филиппович прищурился и спросил:

— А по какому обвинению, смею спросить, и кого?

Человек почесал щеку и стал вычитывать по бумажке из портфеля.

— По обвинению Преображенского, Борменталья, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего подотде-

лом очистки МКХ Полиграфа Полиграфовича Шарикова.

Рыдания Зины покрыли конец его слов. Произошло движение.

— Ничего я не понимаю,— ответил Филипп Филиппович, королевски вздергивая плечи,— какого такого Шарикова? Ах, виноват, этого моего пса... которого я оперировал?

— Простите, профессор, не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело.

— То есть он говорил? — спросил Филипп Филиппович. — Это еще не значит быть человеком. Впрочем, это неважно. Шарик и сейчас существует, и никто его решительно не убивал.

— Профессор,— очень удивленно заговорил черный человек и поднял брови,— тогда его придется предъявить. Десятый день, как пропал, а данные, извините меня, очень нехорошие.

— Доктор Борменталь, благоволи́те предъявить следователю,— приказал Филипп Филиппович, овладевая ордером.

Доктор Борменталь, криво улыбнувшись, вышел.

Когда он вернулся и посвистал, за ним из двери кабинета выскочил пес странного качества. Пятнами он был лыс, пятнами на нем отрастала шерсть. Вышел он, как ученый циркач, на задних лапах, потом опустился на все четыре и осмотрелся. Гробовое молчание застыло в приемной, как желе. Кошмарного вида пес с багровым шрамом на лбу вновь поднялся на задние лапы и, улыбнувшись, сел в кресло.

Второй милиционер вдруг перекрестился размашистым крестом и, отступив, сразу отдал Зине обе ноги.

Человек в черном, не закрывая рта, выговорил такое:

— Как же, позвольте?.. Он служил в очистке...

— Я его туда не назначал,— ответил Филипп Филиппович,— ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь.

— Я ничего не понимаю,— растерянно сказал черный и обратился к первому милиционеру.— Это он?

— Он,— беззвучно ответил милицейский.— Форменно он.

— Он самый,— послышался голос Федора,— только, сволочь, опять оброс.

— Он же говорил... кхе... кхе...

— И сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше, так что пользуйтесь случаем, а то он скоро совсем умолкнет.

— Но почему же? — тихо осведомился черный человек.

Филипп Филиппович пожал плечами.

— Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот я попробовал, да только неудачно, как видите. Поговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм.

— Неприличными словами не выражаться,— вдруг гаркнул пес с кресла и встал.

Черный человек внезапно побледнел, уронил портфель и стал падать на бок, милицейский подхватил его сбоку, а Федор сзади. Произошла суматоха, и в ней отчетливей всего были слышны три фразы:

Филиппа Филипповича: — Валерьянки. Это обморок.

Доктора Борменталья: — Швондера я собственноручно сброшу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского.

И Швондера: — Прошу занести эти слова в протокол.

* * *

Серые гармонии труб грели. Шторы скрыли густую пречистенскую ночь с ее одинокою звездой. Высшее существо, важный песней благодетель сидел в кресле, а пес Шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана. От мартовского тумана пес по утрам страдал головными болями, которые мучили его кольцом по головному шву. Но от тепла к вечеру они проходили. И сейчас легчало, легчало, и мысли в голове у пса текли складные и теплые.

«Так свезло мне, так свезло, — думал он, задремывая, — просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой 'квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ей небесное, старушке. Правда, голову всю исполосовали зачем-то, но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть».

В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой.

Седой же волшебник сидел и напевал:

— К берегам священным Нила...

Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках важный человек погружал в сосуд, доставал мозги, — упорный человек, настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, шурился и пел:

— К берегам священным Нила...

*Январь—март 1925 г.
Москва*

РАССКАЗЫ

ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА
МОРФИИ
ПСАЛОМ
ХАНСКИЙ ОГОНЬ
КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ
Я УБИЛ
В НОЧЬ НА ТРЕТЬЕ ЧИСЛО
НАЛЕТ
КРАСНАЯ КОРОНА
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА
БОГЕМА
и другие...

ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА

ПОЛОТЕНЦЕ С ПЕТУХОМ

Если человек не ездил на лошадях по глухим проселочным дорогам, то рассказывать мне ему об этом нечего: все равно он не поймет. А тому, кто ездил, и напоминать не хочу.

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьевской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьевской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нетерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится — они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Со знаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич.

«Парализис», — отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе.

— П... по вашим дорогам, — заговорил я деревянными, синенькими губами, — нужно п... привыкнуть ездить.

И при этом злобно почему-то уставился на возницу, хотя он, собственно, и не был виноват в такой дороге.

— Эх... товарищ доктор, — отозвался возница, тоже еле шевеля губами под светлыми ушишками, — пятнадцать годов езжу, а все привыкнуть не могу.

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию — двухэтажный, очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул. И тут же мутно мелькнула в голове вместо латинских слов сладкая фраза, которую спел в ошалевших от качки и холода мозгах полный тенор с голубыми ляжками:

«...Привет тебе... при-ют свя-щенный...»

Прощай, прощай надолго, золото-красный Большой театр, Москва, витрины... ах, прощай.

«Я тулуп буду в следующий раз надевать... — в злобном отчаянии думал я и рвал чемодан за ремни негнушимися руками,— я... хотя в следующий раз будет уже октябрь... хоть два тулупа надевай. А раньше чем через месяц я не поеду, не поеду в Грачевку... Подумайте сами... ведь ночевать пришлось! Двадцать верст сделали и оказались в могильной тьме... ночь.. в Грабиловке пришлось ночевать... учитель пустил. А сегодня утром выехали в семь утра... и вот едешь... батюшки-светы... медленнее пешехода. Одно колесо ухает в яму, другое на воздух подымается, чемодан на ноги — бух... потом на бок, потом на другой, потом носом вперед, потом затылком. А сверху сеет и сеет, и стынут кости. Да разве я мог бы поверить, что в середине серенького кислого сентября человек может мерзнуть в поле, как в лю-тую зиму?! Ан, оказывается, может. И пока умираешь медленной смертью, видишь одно и то же, одно. Справа горбатое обглоданное поле, слева чахлый перелесок, а возле него серые драные избы, штук пять или шесть. И кажется, что в них нет ни одной живой души. Молчание, молчание кругом...»

Чемодан наконец поддался. Возница налег на него животом и выпихнул его прямо на меня. Я хотел удержать его за ремень, но рука отказалась работать, и распухший, осточертевший мой спутник с книжками и всяким барахлом плюхнулся прямо на траву, шарахнув меня по ногам.

— Эх ты, госпо... — начал возница испуганно, но я никаких претензий не предъявлял — ноги у меня были все равно хоть выбрось их.

— Эй, кто тут? Эй! — закричал возница и захлопал руками, как петух крыльями.— Эй, доктора привез!

Тут в темных стеклах фельдшерского домика показались лица, прилипли к ним, хлопнула дверь, и вот я увидел, как заковылял по траве ко мне человек в рваненьком пальтишке и сапожишках. Он почтительно и торопливо снял картуз, подбежав на два шага ко мне, почему-то улыбнулся стыдливо и хриплым голоском приветствовал меня:

— Здравствуйте, товарищ доктор.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Егорыч я,— отрекомендовался человек,— старик здешний. Уж мы ждем вас ждем, ждем...

И тут же он ухватился за чемодан, вскинул его на плечо и

понес. Я захромал за ним, безуспешно пытаюсь всунуть руку в карман брюк, чтобы вынуть портмоне.

Человеку, в сущности, очень немного нужно. И прежде всего ему нужен огонь. Направляясь в мурьевскую глушь, я, помнится, еще в Москве давал себе слово держать себя солидно. Мой юный вид отравлял мне существование на первых шагах. Каждому приходилось представляться:

— Доктор такой-то.

И каждый обязательно поднимал брови и спрашивал:

— Неужели? А я-то думал, что вы студент.

— Нет, я кончил,— хмуро отвечал я и думал: «Очки мне нужно завести, вот что». Но очки было заводить не к чему, глаза у меня были здоровые, и ясность их еще не была омрачена житейским опытом. Не имея возможности защищаться от всегдашних снисходительных и ласковых улыбок при помощи очков, я старался выработать особую, внушающую уважение, повадку. Говорить пытался размеренно и веско, порывистые движения по возможности сдерживать, не бегать, как бегают люди в двадцать три года, окончившие университет, а ходить. Выходило все это, как теперь, по прошествии многих лет, понимаю, очень плохо.

В данный момент я этот свой неписанный кодекс поведения нарушил. Сидел, скорчившись, сидел в одних носках, и не где-нибудь в кабинете, а сидел в кухне и, как огнепоклонник, вдохновенно и страстно тянулся к пылающим в плите березовым поленьям. На левой руке у меня стояла перевернутая дном кверху кадушка, и на ней лежали мои ботинки, рядом с ними ободранный, голокожий петух с окровавленной шеей, рядом с петухом его разноцветные перья грудой. Дело в том, что еще в состоянии очоления я успел произвести целый ряд действий, которых требовала сама жизнь. Востроносая Аксинья, жена Егорыча, была утверждена мною в должности моей кухарки. Вследствие этого и погиб под ее руками петух. Его я должен был съесть. Я со всеми перезнакомился. Фельдшера звали Демьян Лукич, акушерок — Пелагея Ивановна и Анна Николаевна. Я успел обойти больницу и с совершеннейшей ясностью убедился в том, что инструментарий в ней богатейший. При этом с той же ясностью я вынужден был признать (про себя, конечно), что очень многих блестящих девственно инструментов назначение мне вовсе не известно. Я их не только не держал в руках, но даже, откровенно признаюсь, и не видел.

— Гм,— очень многозначительно промычал я,— однако у вас инструментарий прелестный. Гм...

— Как же-с,— сладко заметил Демьян Лукич,— это все стараниями вашего предшественника Леопольда Леопольдовича. Он ведь с утра до вечера оперировал.

Тут я обильно прохладным потом и тоскливо поглядел на зеркальные сияющие шкафики.

Засим мы обошли пустые палаты, и я убедился, что в них свободно можно разместить сорок человек.

— У Леопольда Леопольдовича иногда и пятьдесят лежало,— утешил меня Демьян Лукич, а Анна Николаевна, женщина в короне поседевших волос, к чему-то сказала:

— Вы, доктор, так моложавы, так моложавы... Прямо удивительно. Вы на студента похожи.

«Фу ты, черт,— подумал я,— как сговорились, честное слово!»

И проворчал сквозь зубы, сухо:

— Гм... нет, я... то есть я... да, моложав...

Затем мы спустились в аптеку, и сразу я увидел, что в ней не было только птичьего молока. В темноватых двух комнатах крепко пахло травами, и на полках стояло все что угодно. Были даже патентованные заграничные средства, и нужно ли добавлять, что я никогда не слыхал о них ничего.

— Леопольд Леопольдович выпцсал,— с гордостью доложила Пелагея Ивановна.

«Прямо гениальный человек был этот Леопольд»,— подумал я и проникся уважением к таинственному, покинувшему тихое Мурье Леопольду.

Человеку, кроме огня, нужно еще освоиться. Петух был давно мною съеден, сенник для меня набит Егорычем, покрыт простыней, горела лампа в кабинете в моей резиденции. Я сидел и, как зачарованный, глядел на третье достижение легендарного Леопольда: шкаф был битком набит книгами. Одних руководств по хирургии на русском и немецком языках я насчитал бегло около тридцати томов. А терапия! Накожные чудные атласы!

Надвигался вечер, и я осваивался.

«Я ни в чем не виноват,— думал я упорно и мучительно,— у меня есть диплом, я имею пятнадцать пятаков. Я же преждедаль еще в том большом городе, что хочу идти вторым врачом. Нет. Они улыбались и говорили: «Освойтесь». Вот тебе и освойтесь. А если грыжу привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в особенности каково будет себя чувствовать больной с грыжей у меня под руками? Освоится он на том свете (тут у меня холод по позвоночнику)...

А гнойный аппендицит? Га! А дифтерийный круп у деревенских ребят? Когда трахеотомия показана? Да и без трахеотомии будет мне не очень хорошо... А... а роды? Роды-то забыл! Неправильные положения. Что ж я буду делать? А? Какой я легкомысленный человек! Нужно было отказаться от этого участка. Нужно было. Достали бы себе какого-нибудь Леопольда».

В тоске и сумерках я прошелся по кабинету. Когда поравнялся с лампой, увидел, как в безграничной тьме полей мелькнул мой бледный лик рядом с огоньками лампы в окне.

«Я похож на Лжедмитрия»,— вдруг глупо подумал я и опять уселся за стол.

Часа два в одиночестве я мучил себя и домучил до тех пор, что уж больше мои нервы не выдерживали созданных мною страхов. Тут я начал успокаиваться и даже создавать некоторые планы. Так-с... Прием, они говорят, сейчас ничтожный. В деревнях

мнут лен, бездорожье... «Тут-то тебе грыжу и привезут,— бухнул суровый голос в мозг,— потому что по бездорожью человек с насморком (нетрудная болезнь) не поедет, а грыжу притащат, будь покоен, дорогой коллега доктор».

Голос был неглуп, не правда ли? Я вздрогнул.

«Молчи,— сказал я голосу,— не обязательно грыжа. Что за неврастения? Взялся за гуж, не говори, что не дюж».

«Назвался груздем, полезай в кузов»,— ехидно отозвался голос.

Так-с... со справочником я расставаться не буду... Если что выписать, можно, пока руки моешь, обдумать. Справочник будет раскрытым лежать прямо на книге для записи больных. Буду выписывать полезные, но нетрудные рецепты. Ну, например, натри салицилицы 0,5 по одному порошку три раза в день...

«Соду можно выписать!»— явно издеваясь, отозвался мой внутренний собеседник.

При чем тут сода? Я и ипекакуанку выпишу — инфузум... на 180. Или на двести. Позвольте.

И тут же, хотя никто и не требовал от меня в одиночестве у лампы ипекакуанки, я малодушно перелистал рецептурный справочник, проверил ипекакуанку, а попутно прочитал машинально и о том, что существует на свете какой-то «инсипин». Он не кто иной, как «сульфат эфира хининдигликолевой кислоты»... Оказывается, вкуса хинина не имеет! Но зачем он? И как его выписать? Он что — порошок? Черт его возьми!

«Инсипин инсипином, а как же все-таки с грыжей будет?» — упорно приставал страх в виде голоса.

«В ванну посажу,— остервенело защищался я,— в ванну. И попробую вправить».

«Ущемленная, мой ангел! Какие тут, к черту, ванны! Ущемленная,— демонским голосом пел страх.— Резать надо...»

Тут я сдался и чуть не заплакал. И моление тьме за окном послал: все, что угодно, только не ущемленную грыжу.

А усталость напевала:

«Ложись ты спать, злосчастный эскулап. Выспишься, а утром будет видно. Успокойся, юный неврастеник. Гляди — тьма за окнами покойна, спят стынувшие поля, нет никакой грыжи. А утром будет видно. Освонись... Спи... Брось атлас... Все равно ни пса сейчас не разберешь. Грыжевое кольцо...»

Как он влетел, я даже не сообразил. Помнится, болт на двери загремел, Аксинья что-то пискнула. Да еще за окнами проскрипела телега.

Он без шапки, в расстегнутом полушубке, со свалывшейся бородкой, с безумными глазами.

Он перекрестился, и повалился на колени, и бухнул лбом в пол. Это мне.

«Я пропал»,— тоскливо подумал я.

— Что вы, что вы, что вы! — забормотал я и потянул за серый рукав.

Лицо его перекосило, и он, захлебываясь, стал бормотать в ответ прыгающие слова:

— Господин доктор... господин... единственная, единственная... единственная! — выкрикнул он вдруг по-юношески звонко, так, что дрогнул ламповый абажур. — Ах ты, господи... Ах... — Он в тоске заломил руки и опять забухал лбом в половицы, как будто хотел разбить его. — За что? За что наказание?.. Чем прогневали?

— Что? Что случилось? — выкрикнул я, чувствуя, что у меня холодеет лицо.

Он вскочил на ноги, метнулся и прошептал так:

— Господин доктор... что хотите... денег дам... Деньги берите, какие хотите. Какие хотите. Продукты будем доставлять... Только чтоб не померла. Только чтоб не померла. Калекой останется — пушай. Пушай! — кричал он в потолок. — Хватит прокормить, хватит.

Бледное лицо Аксины висело в черном квадрате двери. Тоска обвила вокруг моего сердца.

— Что?.. Что? Говорите! — выкрикнул я болезненно.

Он стих и шепотом, как будто по секрету, сказал мне, и глаза его стали бездонны:

— В мялку попала...

— В мялку... в мялку?.. — переспросил я. — Что это такое?

— Лен, лен мяли... господин доктор... — шепотом пояснила Аксиныя, — мялка-то... лен мнут...

«Вот начало. Вот. О, зачем я приехал!» — в ужасе подумал я.

— Кто?

— Дочка моя, — ответил он шепотом, а потом крикнул: — Помогите! — И вновь повалился, и стриженные его в скобку волосы метнулись на его глаза.

Лампа-«молния» с покривившимся жестяным абажуром горела жарко, двумя рогами. На операционном столе, на белой, свежеспавнувшей клеенке я ее увидел, и грыжа померкла у меня в памяти.

Светлые, чуть рыжеватые волосы свешивались со стола сбившимся засохшим колтуном. Коса была гигантская, и конец ее касался пола.

Ситцевая юбка была изорвана, и кровь на ней разного цвета — пятно бурое, пятно жирное, алое. Свет «молнии» показывал мне желтым и живым, а ее лицо бумажным, белым, нос заострен.

На белом лице у нее, как гипсовая, неподвижная, потухала действительно редкостная красота. Не всегда, не часто встретишь такое лицо.

В операционной секунд десять было полное молчание, но за закрытыми дверями слышно было, как глухо выкрикивал кто-то и бухал, все бухал головой.

«Обезумел, — думал я, — а сиделки, значит, его отпаивают... Почему такая красавица? Хотя у него правильные черты лица... Видно, мать была красивая... Он вдовец...»

— Он вдовец? — машинально шепнул я.

— Вдовец,— тихо ответила Пелагея Ивановна.

Тут Демьян Лукич резким, как бы злобным движением от края до верха разорвал юбку и сразу ее обнажил. Я глянул, и то, что увидел, превысило мои ожидания. Левой ноги, собственно, не было. Начиная от раздробленного колена, лежала кровавая рвань, красные мятые мышцы и остро во все стороны торчали белые раздавленные кости. Правая была переломлена в голени так, что обе кости концами выскочили наружу, пробив кожу. От этого ступня ее безжизненно, как бы отдельно, лежала, повернувшись набок.

— Да,— тихо молвил фельдшер и ничего больше не прибавил.

Тут я вышел из оцепенения и взялся за ее пульс. В холодной руке его не было. Лишь после нескольких секунд нашел я чуть заметную редкую волну. Она прошла... потом была пауза, во время которой я успел глянуть на синеющие крылья носа и белые губы... Хотел уже сказать: конец... по счастью, удержался... Опять прошла ниточкой волна.

«Вот как потухает изорванный человек,— подумал я,— тут уж ничего не сделаешь...»

Но вдруг сурово сказал, не узнавая своего голоса:

— Камфары.

Тут Анна Николаевна склонилась к моему уху и шепнула:

— Зачем, доктор? Не мучайте. Зачем еще колоть? Сейчас отойдет... Не спасете.

Я злобно и мрачно оглянулся на нее и сказал:

— Попрошу камфары...

Так, что Анна Николаевна с вспыхнувшим обиженным лицом сейчас же бросилась к столику и сломала ампулу.

Фельдшер тоже, видимо, не одобрял камфары. Тем не менее он ловко и быстро взялся за шприц, и желтое масло ушло под кожу плеча.

«Умирай. Умирай скорее,— подумал я, — умирай. А то что же я буду делать с тобой?»

— Сейчас помрет,— как бы угадав мою мысль, шепнул фельдшер. Он покосился на простыню, но, видимо, раздумал: жаль было кровавить простыню. Однако через несколько секунд ее пришлось прикрыть. Она лежала, как труп, но она не умерла. В голове моей вдруг стало светло, как под стеклянным потолком нашего далекого анатомического театра.

— Камфары еще,— хрипло сказал я.

И опять покорно фельдшер впрыснул масло.

«Неужели же не умрет?..— отчаянно подумал я.— Неужели придется...»

Все светлело в мозгу, и вдруг без всяких учебников, без советов, без помощи я сообразил — уверенность, что сообразил, была железной,— что сейчас придется в первый раз в жизни на угасающем человеке делать ампутацию. И человек этот умрет под ножом. Ах, под ножом умрет. Ведь у нее же нет крови! За десять верст вытекло все через раздробленные ноги, и неизвестно даже,

чувствует ли она что-нибудь сейчас, слышит ли. Она молчит. Ах, почему она умирает? Что скажет мне безумный отец?

— Готовьте ампутацию, — сказал я фельдшеру чужим голосом.

Акушерка посмотрела на меня дико, но у фельдшера мелькнула искра сочувствия в глазах, и он заметался у инструментов. Под руками у него взревел примус...

Прошло четверть часа. С суеверным ужасом я вглядывался в угасший глаз, приподымая холодное веко. Ничего не постигаю... Как может жить полутруп? Капли пота неудержимо бежали у меня по лбу из-под белого колпака, и марлей Пелагея Ивановна вытирала соленый пот. В остатках крови в жилах у девушки теперь плавал и кофеин. Нужно было его впрыскивать или нет? На бедрах Анна Николаевна, чуть-чуть касаясь, гладила бугры, набухшие от физиологического раствора. А девушка жила.

Я взял нож, стараясь подражать (раз в жизни в университете я видел ампутацию) кому-то... Я умолял теперь судьбу, чтобы уж в ближайшие полчаса она не померла... «Пусть умрет в палате, когда я окончу операцию...»

За меня работал только мой здравый смысл, подхлестнутый необычайностью обстановки. Я кругообразно и ловко, как опытный мясник, острейшим ножом полоснул бедро, и кожа разошлась, не дав ни одной росинки крови. «Сосуды начнут кровить, что я буду делать?» — думал я и, как волк, косился на грудь торзионных пинцетов. Я срезал громадный кус женского мяса и один из сосудов — он был в виде беловатой трубочки, — но ни капли крови не выступило из него. Я зажал его торзионным пинцетом и двинулся дальше. Я натыкал эти торзионные пинцеты всюду, где предполагал сосуды... «Arteria... arteria... как, черт, ее?..» В операционной стало похоже на клинику. Торзионные пинцеты висели гроздьями. Их марлей оттянули кверху вместе с мясом, и я стал мелкозубой ослепительной пилой пилить круглую кость.

«Почему не умирает?.. Это удивительно... ох, как живуч человек!»

И кость отпала. В руках у Демьяна Лукича осталось то, что было девичьей ногой. Лохмы мяса, кости! Всё это отбросили в сторону, и на столе оказалась девушка, как будто укороченная на треть, с оттянутой в сторону культи. «Еще, еще немножко... Не умирай, — вдохновенно думал я, — потерпи до палаты, дай мне выскочить благополучно из этого ужасного случая моей жизни».

Потом вязали лигатурами, потом, шелкая колленом, я стал редкими швами зашивать кожу... но остановился, осененный, сообразил... оставил сток... вложил марлевый тампон... Пот застилал мне глаза, и мне казалось, будто я в бане...

Отдулся. Тяжело посмотрел на культю, на восковое лицо. Спросил:

— Жива?

— Жива... — как беззвучное эхо, отозвались сразу и фельдшер и Анна Николаевна.

— Еще минуточку проживет, — одними губами, без звука в ухо сказал мне фельдшер. Потом запнулся и деликатно посоветовал: — Вторую ногу, может, и не трогать, доктор. Марлей, знаете ли, замотаем... а то не дотянет до палаты... А? Все лучше, если не в операционной скончается.

— Гипс давайте, — сипло отозвался я, толкаемый неизвестной силой.

Весь пол был заляпан белыми пятнами, все мы были в поту. Полутруп лежал неподвижно. Правая нога была забинтована гипсом, и зияло на голени вдохновенно оставленное мною окно на месте перелома.

— Живет... — удивленно хрипнул фельдшер.

Затем ее стали поднимать, и под простыней был виден гигантский провал — треть ее тела мы оставили в операционной.

Затем колыхались тени в коридоре, шмыгали сиделки, и я видел, как по стене прокралась растрепанная мужская фигура и издала сухой вопль. Но его удалили. И стихло.

В операционной я мыл окровавленные по локоть руки.

— Вы, доктор, вероятно, много делали ампутаций? — вдруг спросила Анна Николаевна. — Очень, очень хорошо... Не хуже Леопольда...

В ее устах слово «Леопольд» неизменно звучало, как «Дуайен».

Я исподлобья взглянул на лица. И у всех — и у Демьяна Лукича и у Пелаген Ивановны — заметил в глазах уважение и удивление.

— Кхм... я... Я только два раза делал, видите ли...

Зачем я солгал? Теперь мне это непонятно.

В больнице стихло. Совсем.

— Когда умрет, обязательно пришлите за мной, — вполголоса приказал я фельдшеру, и он почему-то вместо «хорошо» ответил почтительно:

— Слушаю-с...

Через несколько минут я был у зеленой лампы в кабинете докторской квартиры. Дом молчал.

Бледное лицо отражалось в чернейшем стекле.

«Нет, я не похож на Дмитрия Самозванца, и я, видите ли, постарел как-то... Складка над переносицей... Сейчас постучат... Скажут: «Умерла...»

«Да, пойду и погляжу в последний раз... сейчас раздастся стук...»

В дверь постучали. Это было через два с половиной месяца. В окне сиял один из первых зимних дней.

Вошел он; я его разглядел только тогда. Да, действительно черты лица правильные. Лет сорока пяти. Глаза искрятся.

Затем шелест. На двух костылях впрыгнула очаровательной красоты одноногая девушка в широчайшей юбке, обшитой по подолу красной каймой.

Она поглядела на меня, и щеки ее замело розовой краской.

— В Москве... в Москве... — И я стал писать адрес. — Там

устроят протез, искусственную ногу.

— Руку поцелуй,— вдруг неожиданно сказал отец.

Я до того растерялся, что вместо губ поцеловал ее в нос.

Тогда она, обвисая на костылях, развернула сверток, и выпало длинное снежно-белое полотенце с безыскусственным красным вышитым петухом. Так вот что она прятала под подушку на осмотрах. То-то, я помню, нитки лежали на столике.

— Не возьму,— сурово сказал я и даже головой замотал. Но у нее стало такое лицо, такие глаза, что я взял...

И много лет оно висело у меня в спальне в Мурьеве, потом странствовало со мной. Наконец обветшало, стерлось, прорвалось и исчезло, как стираются и исчезают воспоминания.

1926 г.

СТАЛЬНОЕ ГОРЛО

Итак, я остался один. Вокруг меня — ноябрьская тьма с вертящимся снегом, дом завалило, в трубах завьюло. Все двадцать четыре года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что вьюга воет только в романах. Оказалось: она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинные, лампа под синим абажуром отражалась в черном окне, и я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе — он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, четыре врача, с ними можно было посоветоваться, во всяком случае не так страшно. Но убежать не было никакой возможности, да временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете...

«...Ну, а если привезут женщину и у нее неправильные роды? Или, предположим, больного, у него ущемленная грыжа? Что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. Сорок восемь дней тому назад я кончил факультет с отличием, но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию ущемленной грыжи. Он делал, а я сидел в амфитатре. И только...»

Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю: под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству, сверху маленький Додерляйн. А справа десять различных томов по оперативной хирургии, с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай...

И вот я заснул; отлично помню эту ночь — 29 ноября, я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе: уши мои стали не-

обычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа чем поперечное положение младенца: привезли ко мне в Никольский пункт-больницу в одиннадцать часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала:

— Слабая девочка, помирает... Пожалуйте, доктор, в больницу...

Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы, как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня одетый и в халатах. Это были: фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опрятных акушерки — Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь двадцатичетырехлетним врачом, два месяца назад выпущенным заведовать Никольской больницей.

Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как влетела, скользя в валенках, и снег еще не стоял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел. Лицо у матери было искажено, она беззвучно плакала. Когда она сбросила свой тулуп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию, одиночество, мой негодный университетский груз, забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей — волосы сами от природы вьются в крупные кольца почти спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась на дне ее глаз, и я понял, что это страх, — ей нечем было дышать. «Она умрет через час», — подумал я совершенно уверенно, и сердце мое болезненно сжалось...

Ямки втягивались в горле у девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело, и первый мой диагноз поставил совершенно правильно и, главное, одновременно с акушерками — они-то были опытные: «У девочки дифтерийный круп, горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо...»

— Сколько дней девочка больна? — спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала.

— Пятый день, пятый, — сказала мать и сухими глазами глубоко посмотрела на меня.

— Дифтерийный круп, — сквозь зубы сказал я фельдшеру, а матери сказал: — Ты о чем же думала? О чем думала?

И в это время раздался сзади меня плаксивый голос:

— Пятый, батюшка, пятый!

Я обернулся и увидел бесшумную, круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если б бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал:

— Ты, бабка, замолчи, мешаешь. — Матери же повторил: — О чем ты думала? Пять дней? А?

Мать вдруг автоматическим движением передала девочку бабке и стала передо мною на колени.

— Дай ей капель,— сказала она и стукнулась лбом в пол,— удавлюсь я, если она помрет.

— Встань сию же минуточку,— ответил я,— а то я с тобой и разговаривать не стану.

Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал:

— Так они все делают. На-род. На-род.— Усы у него при этом скривились набок.

— Что ж, значит, помрет она? — глядя на меня, как мне показалось, с черной яростью, спросила мать.

— Помрет,— негромко и твердо сказал я.

Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом:

— Дай ей, помоги! Капель дай!

Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд.

— Каких же я капель дам? Посоветуй. Девочка задыхается, горло ей уже забило. Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня. А теперь что прикажешь делать?

— Тебе лучше знать, батюшка,— заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел.

— Замолчи! — сказал я ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы-«молнии» девочке в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то kloкочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятый своей мыслью.

— Вот что,— сказал я, удивляясь собственному спокойствию,— дело такое. Поздно. Девочка умирает. И ничто ей не поможет, кроме одного — операции.

И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. «А если они согласятся?» — мелькнула у меня мысль.

— Как это? — спросила мать.

— Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать, тогда, может быть, спасем ее,— объяснил я.

Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочку от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила:

— Что ты! Не давай резать! Что ты? Горло-то?!

— Уйди, бабка! — с ненавистью сказал я ей.— Камфару впрысните! — приказал я фельдшеру.

Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей

объяснили, что это не страшно.

— Может, это ей поможет? — спросила мать.

— Нисколько не поможет.

Тогда мать зарыдала.

— Перестань,— промолвил я. Вынул часы и добавил: — Пять минут даю думать. Если не согласитесь, после пяти минут сам уже не возьмусь делать.

— Не согласна,— резко сказала мать.

— Нет нашего согласия! — добавила бабка.

— Ну, как хотите,— глухо добавил я и подумал: «Ну, вот и все! Мне легче. Я сказал, предложил, вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались, и я спасен». И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил:

— Что вы, с ума сошли? Как это так не согласны? Губите девочку. Соглашайтесь. Как вам не жаль?

— Нет! — снова крикнула мать.

Внутри себя я думал так: «Что я делаю? Ведь я же зарежу девочку». А говорил иное:

— Ну, скорей, скорей соглашайтесь! Соглашайтесь! Ведь у нее уже ногти синеют.

— Нет! Нет!

— Ну, что же, уведите их в палату, пусть там сидят.

Их увели через полутемный коридор. Я слышал плач женщин и свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал:

— Соглашаются!

Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно:

— Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонд!

Через минуту я перебежал двор, где, как бес, летала и шаркала метель, прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу, перелистал ее, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто: горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал, слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Э, теперь уж поздно»,— подумал я, взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, не заметив выюги, в больницу.

В приемной тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос занял:

— Батюшка, как же так, горло девчонке резать? Да разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась. А моего согласия нету, нету. Каплями согласна лечить, а горло резать не дам.

— Бабку эту вон! — закричал я и в запальчивости добавил: — Ты сама глупая баба! Сама! А та именно умная! И вообще никто не спрашивает! Вон ее!

Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты.

— Готово! — вдруг сказал фельдшер.

Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесу, увидал блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку...

В последний раз я вышел к матери, из рук которой девочку еле вырвали. Я услышал лишь хриплый голос, который говорил: «Мужа нет. Он в городе. Придет, узнает, что я наделала,— убьет меня!»

— Убьет,— повторила бабка, глядя на меня в ужасе.

— В операционную их не пускать! — приказал я.

Мы остались одни в операционной. Персонал, я и Лидка — девочка. Она, голенькая, сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож, при этом подумал: «Что я делаю?» Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступала меж раздавленной кожей. Опять ни кровинки. Медленно, стараясь вспомнить какие-то рисунки в атласах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетом стал зажимать края раны, но ничего не выходило.

Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцетом наобум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, нища дыхательное горло. И к концу второй минуты я отчаялся его найти. «Конец,— подумал я,— зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию, и Лидка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда, ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей...» Акушерка молча вытерла мой лоб. «Положить нож, сказать: не знаю, что дальше делать»,— так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Лидку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло.

— Крючки! — силно бросил я.

Фельдшер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой — с другой, и один из них передал фельдшеру. Теперь я видел только одно: сероватые колечки горла. Острый нож я вколол в горло — и обмер. Горло поднялось из раны, фельдшер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума: он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело: фельдшер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючка, рвал дыхательное горло. «Всё против меня, судьба,— подумал я,— теперь уж,

несомненно, зарезали мы Лидку, — и мысленно строго добавил: — Только дойду домой — и застрелюсь...» Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная, как-то хищно рванулась к фельдшеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы:

— Продолжайте, доктор...

Фельдшер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколот нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но Лидка осталась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился: больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как Лидка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг Лидка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло; потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать.

Сквозь сон и пелену пота, застилавшую мне глаза, я видел счастливые лица акушеров, и одна из них мне сказала:

— Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию.

Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно, исподлобья глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеяло свежестью. Лидку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были как у дикого зверя. Она спросила у меня:

— Что?

Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы Лидка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил:

— Будь поспокойнее. Жива. Будет, надеюсь, жива. Только, пока трубку не вынем, ни слова не будет говорить, так не бойтесь.

И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал Лидке впрыснуть камфару и по очереди дежурить возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете, лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть что бы то ни было; заснул и даже снов не видел.

Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал, и было уже кое-что страшнее Лидкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то, в новом уже году, вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девочку. Женщина сияла глазами. Я всмотрелся — узнал.

— А, Лидка! Ну, что?

— Да хорошо все.

Лидке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швов.

— Все в порядке, — сказал я, — можете больше не приезжать.
— Благодарю вас, доктор, спасибо, — сказала мать, а Лидке велела: — Скажи дяденьке спасибо!

Но Лидка не желала мне ничего говорить.

Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял сто десять человек. Мы начали в девять часов утра и кончили в восемь часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая акушерка-фельдшерица сказала мне:

— За такой прием благодарите трахеотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Лидке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор, поздравляю.

— Так и живет со стальным? — осведомился я.

— Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно как делаете, прелесть!

— М-да... Я, знаете ли, никогда не волнуюсь, — сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу, только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилало, фонарь горел, и дом мой был одиноко, спокоен и важен. И я, когда шел, хотел одного — спать.

1925 г.

КРЕЩЕНИЕ ПОВОРОТОМ

Побежали дни в N-ской больнице, и я стал понемногу привыкать к новой жизни.

В деревнях по-прежнему яли лен, дороги оставались непроезжими, и на приемах у меня бывало не больше пяти человек. Вечера были совершенно свободны, и я посвящал их разбору библиотеки, чтению учебников по хирургии и долгим одиноким чаепитиям у тихо поющего самовара.

Целыми днями и ночами лил дождь, и капли неумолчно стучали по крыше, и хлестала под окном вода, стекая по желобу в кадку. На дворе была слякоть, туман, черная мгла, в которой тусклыми, расплывчатыми пятнами светились окна фельдшерского домика и керосиновый фонарь у ворот.

В один из таких вечеров я сидел у себя в кабинете над атласом по топографической анатомии. Кругом была полная тишина, и только изредка грызня мышей в столовой за буфетом нарушала ее.

Я читал до тех пор, пока не начали слипаться отяжелевшие веки. Наконец зевнул, отложил в сторону атлас и решил ложиться. Потягиваясь и предвкушая мирный сон под шум и стук дождя, перешел в спальню, разделся и лег.

Не успел я коснуться подушки, как передо мной в сонной

мгле всплыло лицо Анны Прохоровой, семнадцати лет, из деревни Торопово. Анне Прохоровой нужно было рвать зуб. Проплыл бесшумно фельдшер Демьян Лукич с блестящими щипцами в руках. Я вспомнил, как он говорит «таковой» вместо «такой» — из любви к высокому стилю, усмехнулся и заснул.

Однако не позже чем через полчаса я вдруг проснулся, словно кто-то дернул меня, сел и, испуганно всматриваясь в темноту, стал прислушиваться.

Кто-то настойчиво и громко барабанил в наружную дверь, и удары эти показались мне сразу зловещими.

В квартиру стучали.

Стук замолк, загремел засов, послышался голос кухарки, чей-то неясный голос в ответ, затем кто-то, скрипя, поднялся по лестнице, тихонько прошел кабинет и постучался в спальню.

— Кто там?

— Это я, — ответил мне почтительный шепот, — я, Акулиня, сиделка.

— В чем дело?

— Анна Николаевна прислала за вами, велят вам, чтоб вы в больницу шли поскорей.

— А что случилось? — спросил я и почувствовал, как явственно екнуло сердце.

— Да женщину там привезли из Дульцева. Роды у ней неблагополучные.

«Вот оно. Началось! — мелькнуло у меня в голове, и я никак не мог попасть ногами в туфли. — А, черт! Спички не загораются. Что ж, рано или поздно это должно было случиться. Не всю же жизнь одни ларингиты да катары желудка».

— Хорошо. Иди, скажи, что я сейчас приду! — крикнул я и встал с постели. За дверью зашлепали шаги Акулиньи, и снова загремел засов. Сон соскочил мигом. Торопливо, дрожащими пальцами я зажег лампу и стал одеваться. Половина двенадцатого... Что там такое у этой женщины с неблагополучными родами? Гм... неправильное положение... узкий таз. Или, может быть, еще что-нибудь хуже. Чего доброго, щипцы придется накладывать. Отослать ее разве прямо в город? Да немисливо это! Хорошенький доктор, нечего сказать, скажут все! Да и права не имею так сделать. Нет, уж нужно делать самому. А что делать? Черт его знает. Беда будет, если потеряюсь; перед акушерками срам. Впрочем, нужно сперва посмотреть, не стоит прежде времени волноваться...»

Я оделся, накинул пальто и, мысленно надеясь, что все обойдется благополучно, под дождем, по хлопающим досочкам побежал в больницу. В полутьме у входа виднелась телега, лошадь стукнула копытом в гнилые доски.

— Вы, что ль, привезли роженицу? — для чего-то спросил у фигуры, шевелившейся возле лошади.

— Мы... как же, мы, батюшка, — жалобно ответил бабий голос.

В больнице, несмотря на глухой час, было оживление и суета. В приемной, мигая, горела лампа-«молния». В коридорчике, ведущем в родильное отделение, мимо меня прошмыгнула Аксинья с тазом. Из-за двери вдруг донесся слабый стон и замер. Я открыл дверь и вошел в родилку. Выбеленная небольшая комната была ярко освещена верхней лампой. Рядом с операционным столом на кровати, укрытая одеялом до подбородка, лежала молодая женщина. Лицо ее было искажено болезненной гримасой, а намокшие пряди волос прилипли ко лбу. Анна Николаевна, с градусником в руках, готовила раствор в эсмарховской кружке, а вторая акушерка, Пелагея Ивановна, доставала из шкафчика чистые простыни. Фельдшер, прислонившись к стене, стоял в позе Наполеона. Увидев меня, все встреपнулись. Роженица открыла глаза, заломила руки и вновь застонала жалобно и тяжко.

— Ну-с, что такое? — спросил я и сам подивился своему тону, настолько он был уверен и спокоен.

— Поперечное положение, — быстро ответила Анна Николаевна, продолжая подливать воду в раствор.

— Та-ак, — протянул я, нахмурясь, — что ж, посмотрим...

— Руки доктору мыть! Аксинья! — тотчас крикнула Анна Николаевна. Лицо ее было торжественно и серьезно.

Пока стекала вода, смывая пену с покрасневших от щетки рук, я задавал Анне Николаевне незначительные вопросы, вроде того, давно ли привезли роженицу, откуда она... Рука Пелагеи Ивановны откинула одеяло, и я, присев на край кровати, тихонько касаясь, стал ощупывать вздувшийся живот. Женщина стонала, вытягивалась, вливалась пальцами, комкала простыню.

— Тихонько, тихонько... потерпи, — говорил я, осторожно прикладывая руки к растянутой жаркой и сухой коже.

Собственно говоря, после того как опытная Анна Николаевна подсказала мне, в чем дело, исследование это было ни к чему не нужно. Сколько бы я ни исследовал, больше Анны Николаевны я все равно бы не узнал. Диагноз ее, конечно, был верный: поперечное положение. Диагноз налицо. Ну, а дальше?..

Хмурясь, я продолжал ощупывать со всех сторон живот и искося поглядывал на лица акушеров. Обе они были сосредоточенно серьезны, и в глазах их я прочитал одобрение моим действиям. Действительно, движения мои были уверенны и правильны, а беспокойство свое я постарался спрятать как можно глубже и ничем его не проявлять.

— Так, — вздохнув, сказал я и приподнялся с кровати, так как смотреть снаружи было больше нечего, — поисследуем изнутри.

Одобрение опять мелькнуло в глазах Анны Николаевны.

— Аксинья!

Опять полилась вода.

«Эх, Додерляйна бы сейчас почитать!» — тоскливо думал я, намыливая руки. Увы, сделать это сейчас было невозможно. Да

и в чем бы помог мне в этот момент Додерляйн? Я смыл густую пену, смазал пальцы йодом. Зашуршала чистая простыня под руками Пелагеи Ивановны, и, склонившись к роженице, я стал осторожно и робко производить внутреннее исследование. В памяти у меня невольно всплыла картина операционной в акушерской клинике. Ярко горящие электрические лампы в матовых шарах, блестящий плиточный пол, всюду сверкающие краны и приборы. Ассистент в снежно-белом халате манипулирует над роженицей, а вокруг него три помощника-ординатора, врачи-практиканты, толпа студентов-кураторов. Хорошо, светло и безопасно.

Здесь же я — один-одинешенек, под руками у меня мучающаяся женщина; за нее я отвечаю. Но как ей нужно помогать, я не знаю, потому что вблизи роды видел только два раза в своей жизни в клинике, и те были совершенно нормальны. Сейчас я делаю исследование, но от этого не легче ни мне, ни роженице; я ровно ничего не понимаю и не могу прощупать там у нее внутри.

А пора уже на что-нибудь решиться.

— Поперечное положение... раз поперечное положение, значит, нужно... нужно делать...

— Поворот на ножку,— не утерпела и словно про себя заметила Анна Николаевна.

Старый, опытный врач покосился бы на нее за то, что она суется вперед со своими заключениями... Я же человек необходимый...

— Да,— многозначительно подтвердил я,— поворот на ножку.

И перед глазами у меня замелькали странички Додерляйна. Поворот прямой... поворот комбинированный... поворот не прямой...

Страницы, страницы... а на них рисунки. Таз, искривленные, сдавленные младенцы с огромными головами... свисающая ручка, на ней петля.

И ведь недавно еще читал. И еще подчеркивал, внимательно вдумываясь в каждое слово, мысленно представляя себе соотношение частей и все приемы. И при чтении казалось, что весь текст отпечатывается навеки в мозг.

А теперь только и всплывает из всего прочитанного одна фраза:

...Поперечное положение есть абсолютно неблагоприятное положение.

Что правда, то правда. Абсолютно неблагоприятное как для самой женщины, так и для врача, шесть месяцев тому назад окончившего университет.

— Что ж... будем делать,— сказал я, приподнимаясь.

Лицо у Анны Николаевны оживилось.

— Демьян Лукич,— обратилась она к фельдшеру,— приготовляйте хлороформ.

Прекрасно, что сказала, а то ведь я еще не был уверен, под наркозом ли делается операция! Да, конечно, под наркозом — как же иначе!

Но все-таки Додерляйна надо просмотреть...

И я, обмыв руки, сказал:

— Ну-с, хорошо... вы готовьте для наркоза, укладывайте ее, а я сейчас приду, возьму только папиросы дома.

— Хорошо, доктор, успеется, — ответила Анна Николаевна.

Я вытер руки, сиделка набросила мне на плечи пальто, и, не надевая его в рукава, я побежал домой.

Дома в кабинете я зажег лампу и, забыв снять шапку, кинулся к книжному шкафу.

Вот он — Додерляйн. «Оперативное акушерство». Я торопливо стал шелестеть глянцевыми страничками.

...поворот всегда представляет опасную для матери операцию...

Холодок прополз у меня по спине, вдоль позвоночника.

...Главная опасность заключается в возможности самопроизвольного разрыва матки.

Само-про-из-воль-но-го...

...Если акушер при введении руки в матку, вследствие недостатка простора или под влиянием сокращения стенок матки, встречает затруднения к тому, чтобы проникнуть к ножке, то он должен отказаться от дальнейших попыток к выполнению поворота...

Хорошо. Если я сумею даже каким-нибудь чудом определить эти «затруднения» и откажусь от «дальнейших попыток», что, спрашивается, я буду делать с захлороформированной женщиной из деревни Дульцево.

Дальше:

...Совершенно воспрещается пытаться проинкинуть к ножкам вдоль спинки плода...

Примем к сведению.

...Захватывание верхней ножки следует считать ошибкой, так как при этом легко может получиться осевое перекручивание плода, которое может дать повод к тяжелому вколачиванию плода и, вследствие этого, к самым печальным последствиям...

«Печальным последствиям». Немного неопределенные, но какие внушительные слова! А что, если муж дульцевской женщины останется вдовцом? Я вытер испарину на лбу, собрался с силой и, минуя все эти страшные места, постарался запомнить только самое существенное: что, собственно, я должен делать, как и куда вводить руку. Но, пробегая черные строчки, я все время наталкивался на новые страшные вещи. Они били в глаза.

...ввиду огромной опасности разрыва...

внутренний и комбинированный повороты представляют операции, которые должны быть отнесены к опаснейшим для матери акушерским операциям..

И в виде заключительного аккорда:

...С каждым часом промедления возрастает опасность...

Довольно! Чтение принесло свои плоды: в голове у меня все

спуталось окончательно, и я мгновенно убедился, что я не понимаю ничего, и прежде всего, какой, собственно, поворот я буду делать: комбинированный, некомбинированный, прямой, непрямой!..

Я бросил Додерляйна и опустился в кресло, силясь привести в порядок разбегающиеся мысли... Потом глянул на часы. Черт! Оказывается, я уже двенадцать минут дома. А там ждут.

...С каждым часом промедления...

Часы состояются из минут, а минуты в таких случаях летят бешено. Я швырнул Додерляйна и побежал обратно в больницу.

Там все уже было готово. Фельдшер стоял у столика, приготавливая на нем маску и склянку с хлороформом. Роженица уже лежала на операционном столе. Непрерывный стон разносился по больнице.

— Терпи, терпи,— ласково бормотала Пелагея Ивановна, наклоняясь к женщине,— доктор сейчас тебе поможет...

— О-ой! Моченьки... нет... Нет моей моченьки!.. Я не вытерплю!

— Небось... небось...— бормотала акушерка,— выдержишь! Сейчас понюхать тебе дадим... Ничего и не услышишь.

Из кранов с шумом потекла вода, и мы с Анной Николаевной стали чистить и мыть обнаженные по локоть руки. Анна Николаевна под стои и вопли рассказывала мне, как мой предшественник — опытный хирург — делал повороты. Я жадно слушал ее, стараясь не проронить ни слова. И эти десять минут дали мне больше, чем все то, что я прочел по акушерству к государственным экзаменам, на которых именно по акушерству я получил «весьма». Из отрывочных слов, неоконченных фраз, мимоходом брошенных намеков я узнал то самое необходимое, чего не бывает ни в каких книгах. И к тому времени, когда стерильной марлей я начал вытирать идеальной белизны и чистоты руки, решимость овладела мной и в голове у меня был совершенно определенный и твердый план. Комбинированный там или некомбинированный, сейчас мне об этом и думать не нужно.

Все эти ученые слова ни к чему в этот момент. Важно одно: я должен ввести одну руку внутрь, другой рукой снаружи помогать повороту и, полагаясь не на книги, а на чувство меры, без которого врач никуда не годится, осторожно, но настойчиво низвести одну ножку и за нее извлечь младенца.

Я должен быть спокоен и осторожен и в то же время безгранично решителен, нетруслив.

— Давайте,— приказал я фельдшеру и начал смазывать пальцы йодом.

Пелагея Ивановна тотчас же сложила руки роженицы, а фельдшер закрыл маской ее измученное лицо. Из темно-желтой склянки медленно начал капать хлороформ. Сладкий и тошный запах начал наполнять комнату. Лица у фельдшера и акушеров стали строгими, как будто вдохновенными...

— Га-а! А!! — вдруг выкрикнула женщина. Несколько секунд она судорожно рвалась, стараясь сбросить маску.

— Держите!

Пелагея Ивановна схватила ее за руки, уложила и прижала к груди. Еще несколько раз выкрикнула женщина, отворачивая от маски лицо. Но реже... реже... Глухо забормотала:

— Га-а... пусти!.. а!..

Потом все слабее, слабее. В белой комнате наступила тишина. Прозрачные капли все падали и падали на белую марлю.

— Пелагея Ивановна, пульс?

— Хорош.

Пелагея Ивановна приподняла руку женщины и выпустила; та безжизненно, как плеть, шлепнулась о простыни. Фельдшер, сдвинув маску, посмотрел зрачок.

— Спит.

.
.

Лужа крови. Мои руки по локоть в крови. Кровяные пятна на простынях. Красные сгустки и комки марли. А Пелагея Ивановна уже встряхивает младенца и похлопывает его. Аксинья гремит ведрами, наливая в тазы воду. Младенца погружают то в холодную, то в горячую воду. Он молчит, и голова его безжизненно, словно на ниточке, болтается из стороны в сторону. Но вот вдруг не то скрип, не то вздох, а за ним слабый, хриплый первый крик.

— Жив... жив... — бормочет Пелагея Ивановна и укладывает младенца на подушку.

И мать жива. Ничего страшного, по счастью, не случилось. Вот я сам ощупываю пульс. Да, он ровный и четкий, и фельдшер тихонько трясет женщину за плечо и говорит:

— Ну, тетя, тетя, просыпайся.

Отбрасывают в сторону окровавленные простыни и торопливо закрывают мать чистой, и фельдшер с Аксиньей уносят ее в палату. Спеленатый младенец уезжает на подушке. Сморщенное коричневое личико глядит из белого ободка, и не прерывается тоненький, плаксивый писк.

Вода бежит из кранов умывальников. Анна Николаевна жадно затягивается, щурится от дыма, кашляет.

— А вы, доктор, хорошо сделали поворот, уверенно так.

Я усердно тру щеткой руки, искоса взглядываю на нее: не смеется ли? Но на лице у нее искреннее выражение горделивого удовольствия. Сердце мое полно радости. Я гляжу на кровавый и белый беспорядок кругом, на красную воду в тазу и чувствую себя победителем. Но в глубине где-то шевелится червяк сомнения.

— Посмотрим еще, что будет дальше, — говорю я.

Анна Николаевна удивленно вскидывает на меня глаза.

— Что же может быть? Все благополучно.

Я неопределенно бормочу что-то в ответ. Мне, собственно говоря, хочется сказать вот что: все ли там цело у матери, не повредил ли я ей во время операции... Это-то смутно терзает мое сердце. Но мои знания в акушерстве так неясны, так книжно отрывочны! Разрыв? А в чем он должен выразиться? И когда он даст знать о себе — сейчас же или, быть может, позже?.. Нет, уж лучше не заговаривать на эту тему.

— Ну, мало ли что,— говорю я,— не исключена возможность заражения,— повторяю я первую попавшуюся фразу из какого-то учебника.

— Ах, э-это! — спокойно тянет Анна Николаевна.— Ну, даст бог, ничего не будет. Да и откуда? Все стерильно, чисто.

Было начало второго, когда я вернулся к себе. На столе в кабинете в пятне света от лампы мирно лежал раскрытый на странице «Опасности поворота» Додерляйн. С час еще, глотая простывший чай, я сидел над ним, перелистывая страницы. И тут произошла интересная вещь: все прежние темные места сделались совершенно понятными, словно налились светом, и здесь, при свете лампы, ночью, в глуши, я понял, что значит настоящее знание.

«Большой опыт можно приобрести в деревне,— думал я, засыпая,— но только нужно читать, читать, побольше... читать...»

1925 г.

ВЬЮГА

*То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.*

Вся эта история началась с того, что, по словам всезнающей Аксины, конторщик Пальчиков, проживающий в Шалометьеве, влюбился в дочь агронома. Любовь была пламенная, иссушающая беднягино сердце. Он съездил в уездный город Грачевку и заказал себе костюм. Вышел этот костюм ослепительным, и очень возможно, что серые полоски на конторских штанах решили судьбу несчастного человека. Дочка агронома согласилась стать его женой.

Я же — врач N-ской больницы, участка, такой-то губернии, после того прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на прием по накатанному санному пути стали ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика — жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут... пять! Пятьсот минут — восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать

человек. И, кроме того, я ведь делал операции.

Одним словом, возвращаясь из больницы в девять часов вечера, я не хотел ни есть, ни пить, ни спать. Ничего не хотел, кроме того, чтобы никто не приехал звать меня на роды. И в течение двух недель по санному пути меня ночью увозили раз пять.

Темная влажность появилась у меня в глазах, а над переносицей легла вертикальная складка, как червяк. Ночью я видел в зыбком тумане неудачные операции, обнаженные ребра, а руки свои в человеческой крови и просыпался, липкий и прохладный, несмотря на жаркую печку-голландку.

На обходе я шел стремительной поступью, за мною мело фельдшера, фельдшерицу и двух сиделок. Останавливаясь у постели, на которой, тая в жару и жалобно дыша, болел человек, я выжимал из своего мозга все, что в нем было. Пальцы мои шарили по сухой, пылающей коже, я смотрел в зрачки, постукивал по ребрам, слушал, как таинственно бьет в глубине сердце, и нес в себе одну мысль — как его спасти? И этого — спасти. И этого! Всех!

Шёл бой. Каждый день он начинался утром при бледном свете снега, а кончался при желтом мигании пылкой лампы-«молнии».

«Чем это кончится, мне интересно было бы знать? — говорил я сам себе ночью. — Ведь этак будут ездить на санях и в январе, и в феврале, и в марте».

Я написал в Грачевку и вежливо напомнил о том, что на N-ском участке полагается и второй врач.

Письмо на дровнях уехало по ровному снежному океану за сорок верст. Через три дня пришел ответ: писали, что, конечно, конечно... Обязательно... но только не сейчас... никто пока не едет...

Заклучали письмо некоторые приятные отзывы о моей работе и пожелания дальнейших успехов.

Окрыленный ими, я стал тампонировать, впрыскивать дифтерийную сыворотку, вскрывать чудовищных размеров гнойники, накладывать гипсовые повязки...

Во вторник приехало не сто, а сто одиннадцать человек. Прием я кончил в девять часов вечера. Заснул я, стараясь угадать, сколько будет завтра — в среду? Мне приснилось, что приехало девятьсот человек.

Утро заглянуло в окошко спальни как-то особенно бело. Я открыл глаза, не понимая, что меня разбудило. Потом сообразил — стук.

— Доктор, — узнал голос акушерки Пелагеи Ивановны, — вы проснулись?

— Угу, — ответил я диким голосом спросонья.

— Я пришла вам сказать, чтоб вы не спешили в больницу. Два человека всего приехали.

— Вы — что. Шутите?

— Честное слово. Выюга, доктор, выюга, — повторила она

радостно в замочную скважину.— А у этих зубы кариозные. Демьян Лукич вырвет.

— Да ну...— Я даже с постели соскочил неизвестно почему. Замечательный выдался денек. Побывав на обходе, я целый день ходил по своим апартаментам (квартира врачу была отведена в шесть комнат, и почему-то двухэтажная — три комнаты вверх, а кухня и три комнаты вниз), свистел из опер, курил, барабанил в окна... А за окнами творилось что-то, мною еще никогда не виданное. Неба не было, земли тоже. Вертело и крутило белым и косо и криво, вдоль и поперек, словно черт зубным порошком баловался.

В полдень отдан был мною Аксинье — исполняющей обязанности кухарки и уборщицы при докторской квартире — приказ: в трех ведрах и в котле вскипятить воды. Я месяц не мылся.

Мною с Аксиньей было из кладовки извлечено невероятных размеров корыто. Его установили на полу в кухне (о ваннах, конечно, и разговора в Н-ске быть не могло. Были ванны только в самой больнице — и те испорченные).

Около двух часов вертящаяся сетка за окном значительно поредела, а я сидел в корыте голый и с намыленной головой.

— Эт-то я понимаю...— сладостно бормотал я, выплескивая себе на спину жгучую воду, — эт-то я понимаю! А потом мы, знаете ли, пообедаем, а потом заснем. А если я выплюсь, то пусть завтра хоть полтораста человек приезжает. Какие новости, Аксинья?

Аксинья сидела за дверью в ожидании, пока кончится банная операция.

— Конторщик в Шалометьевом имении женится,— отвечала Аксинья.

— Да ну! Согласилась?

— Ей-богу! Влюбле-ен...— пела Аксинья, погромыхая посудой.

— Невеста-то красивая?

— Первая красавица! Блондинка, тоненькая...

— Скажи пожалуйста!

И в это время грохнуло в дверь. Я хмуро облил себя водой и стал прислушиваться.

— Доктор-то купается...— выпевала Аксинья.

— Бур... бур...— бурчал бас.

— Записка вам, доктор,— пискнула Аксинья в скважину.

— Протяни в дверь.

Я вылез из корыта, пожимаясь и негодуя на судьбу, и взял из рук Аксиньи сыроватый конвертик.

— Ну, дудки. Я не поеду из корыта. Я ведь тоже человек,— не очень уверенно сказал я себе и в корыте распечатал записку.

Уважаемый коллега (большой восклицательный знак). Умол (зачеркнуто) прошу убедительно приехать срочно. У женщины после удара головой кровотечение из полост (зачеркнуто) из носа и рта. Без сознания. Справиться не могу. Убедительно прошу. Лошади отличные. Пульс плох. Камфара есть. Доктор (подпись неразборчива).

«Мне в жизни не везет», — тоскливо подумал я, глядя на жаркие дрова в печке.

— Мужчина записку привез?

— Мужчина.

— Сюда пусть войдет.

Он вошел и показался мне древним римлянином вследствие блистательной каски, надетой поверх ушастой шапочки. Волчья шуба облекала его, и струйка холода ударила в меня.

— Почему вы в каске? — спросил я, прикрывая свое недомытое тело простыней.

— Пожарный я из Шалометьева. Там у нас пожарная команда... — ответил римлянин.

— Это какой доктор пишет?

— В гости к нашему агроному приехал. Молодой врач. Несчастье у нас, вот уж несчастье...

— Какая женщина?

— Невеста конторщика.

Аксинья за дверью охнула.

— Что случилось? (Слышно было, как тело Аксиньи прилипло к двери.)

— Вчера помолвка была, а после помолвки-то конторщик покатасть ее захотел в саночках. Рысачка запряг, усадил ее, да в ворота. А рысачок-то с места как взял, невесту-то мотнуло да лбом об косяк. Так она вылетела. Такое несчастье, что выразить невозможно... За конторщиком ходят, чтоб не удавился. Обезумел.

— Купаюсь я, — жалобно сказал я, — ее сюда-то чего же не привезли? — И при этом я облил водой голову, и мыло ушло в корыто.

— Немыслимо, уважаемый гражданин доктор, — прочувственно сказал пожарный и руки молитвенно сложил, — никакой возможности. Помрет девушка.

— Как же мы поедем-то? Вьюга!

— Утихло. Что вы-с. Совершенно утихло. Лошади резвые, гуськом. В час долетим...

Я кротко простонал и вылез из корыта. Два ведра вылил на себя с остервенением. Потом, сидя на корточках перед пастью печи, голову засовывал в нее, чтобы хоть немного просушить.

«Воспаление легких у меня, конечно, получится. Крупозное, после такой поездки. И, главное, что я с нею буду делать? Этот врач, уж по записке видно, еще менее, чем я, опытен. Я ничего не знаю, только практически за полгода нахватался, а он и того менее. Видно, только что из университета. А меня принимает за опытного...»

Размышляя таким образом, я и не заметил, как оделся. Одевание было непростое: брюки и блуза, валенки, свех блузы кожаная куртка, потом пальто, а сверху баранья шуба, шапка, сумка, в ней кофеин, камфара, морфий, адреналин, торзионные пинцеты, стерильный материал, шприц, зонд, браунинг, папиросы, спички, часы, стетоскоп.

Показалось вовсе не страшно, хоть и темнело, уже день таял, когда мы выехали за околицу. Мело как будто полегче. Косо, в одном направлении, в правую щску. Пожарный горой заслонял от меня круп первой лошади. Взяли лошади действительно бодро, вытянулись, и саночки пошли метать по ухабам. Я завалился в них, сразу согрелся, подумал о крупозном воспалении, о том, что у девушки, может быть, треснула кость черепа изнутри, осколок в мозг вонзился...

— Пожарные лошади? — спросил я сквозь бараний воротник.

— Угу... гу... — пробурчал возница, не оборачиваясь.

— А доктор что сй делал?

— Да он... гу, гу... он, вишь ты, на венерические болезни выучился... угу.... гу...

— Гу... гу... — загремела в перелеске вьюга, потом свистнула сбоку, сыпнула... Меня начало качать, качало, качало... пока я не оказался в Сандуновских банях в Москве. И прямо в шубе, в раздевальне, и испарина покрыла меня. Затем загорелся факел, напустили холоду, я открыл глаза, увидел, что сияет кровавый шлем, подумал, что пожар... затем очнулся и понял, что меня привезли. Я у порога белого здания с колоннами, видимо, времен Николая I. Глубокая тьма кругом, а встретили меня пожарные, и пламя танцует у них над головами. Тут же я извлек из щели шубы часы, увидел — пять. Ехали мы, стало быть, не час, а два с половиной.

— Лошадей мне сейчас же обратно дайте, — сказал я.

— Слушаю, — ответил возница.

Полусонный и мокрый, как в компрессе, под кожаной курткой, я вошел в сени. Сбоку ударил свет лампы, полоса легла на крашенный пол. И тут выбежал светловолосый юный человек с затравленными глазами и в брюках со свежезаутюженной складкой. Белый галстук с черными горошинками сбился у него на сторону, манишка выскочила горбом, но пиджак был с иголочки, новый, как бы с металлическими складками.

Человек взмахнул руками, вцепился в мою шубу, потряс меня, пригнул и стал тихонько выкрикивать:

— Голубчик мой... доктор... скорее... умирает она. Я убийца. — Он глянул куда-то вбок, сурово и черно раскрыл глаза, кому-то сказал: — Убийца я, вот что.

Потом зарыдал, ухватился за жиденькие волосы, рванул, и я увидел, что он по-настоящему рвет пряди, наматывая на пальцы.

— Перестаньте, — сказал я ему и стиснул руку.

Кто-то повлек его. Выбежали какие-то женщины.

Шубу кто-то с меня снял, повели по праздничным половичкам и привели к белой кровати. Навстречу мне поднялся со стула молоденький врач. Глаза его были замучены и растеряны. На миг в них мелькнуло удивление, что я так же молод, как и он сам. Вообще мы были похожи на два портрета одного и того же лица, да и одного года. Но потом он обрадовался мне до того, что даже захлебнулся.

— Как я рад... коллега... вот... видите ли, пульс падает. Я, собственно, венеролог. Страшно рад, что вы приехали...

На клоке марли на столе лежал шприц и несколько ампул с желтым маслом. Плач конторщика донесся из-за двери, дверь прикрыли, фигура женщины в белом выросла у меня за плечами. В спальне был полумрак, лампу сбоку завесили зеленым клоком. В зеленоватой тени лежало на подушке лицо бумажного цвета. Светлые волосы прядями обвисли и разметались. Нос заострился, и ноздри были забиты розовой от крови ватой.

— Пульс... — шепнул мне врач.

Я взял безжизненную руку, привычным уже жестом наложил пальцы и вздрогнул. Под пальцами задрожало мелко, часто, потом стало срываться, тянуться в нитку. У меня похолодело привычно под ложечкой, как всегда, когда я в упор видел смерть. Я ее ненавижу. Я успел обломать конец ампулы и насосать в свой шприц жирное масло. Но вколол его уже машинально, протолкнул под кожу девичьей руки напрасно.

Нижняя челюсть девушки задержалась, она словно давилась, потом обвисла, тело напряглось под одеялом, как бы замерло, потом ослабело. И последняя нитка пропала у меня под пальцами.

— Умерла, — сказал я на ухо врачу.

Белая фигура с седыми волосами повалилась на ровное одеяло, припала и затряслась.

— Тише, тише, — сказал я на ухо женщине в белом, а врач страдальчески покосился на дверь.

— Он меня замучил, — очень тихо сказал врач.

Мы с ним сделали так: плачущую мать оставили в спальне, никому ничего не сказали, увели конторщика в дальнюю комнату.

Там я ему сказал:

— Если вы не дадите себе впрыснуть лекарство, мы ничего не можем делать. Вы нас мучаете, работать мешаете!

Тогда он согласился; тихо плача, снял пиджак, мы откатали рукав его праздничной сорочки и впрыснули ему морфий. Врач ушел к умершей, якобы ей помогать, а я задержался возле конторщика. Морфий помог быстрее, чем я ожидал. Конторщик через четверть часа, все тише и бессвязнее жалуясь и плача, стал дремать, потом заплаканное лицо уложил на руки и заснул. Возни, плача, шуршания и заглушенных воплей он не слышал.

— Послушайте, коллега, ехать опасно. Вы можете заблудиться, — говорил мне врач шепотом в передней. — Оставайтесь, переночуйте...

— Нет, не могу. Во что бы то ни стало уеду. Мне обещали, что меня сейчас же обратно доставят.

— Да они-то доставят, только смотрите...

— У меня трое тифозных таких, что бросить нельзя. Я их ночью должен видеть.

— Ну, смотрите...

Он разбавил спирт водой, дал мне выпить, и я тут же в передней съел кусок ветчины. В животе потеплело, и тоска на сердце немного съежилась. Я в последний раз пришел в спальню, поглядел на мертвую, зашел к конторщику, оставил ампулу морфия врачу и, закутанный, ушел на крыльцо.

Там свистело, лошади понурились, их секло снегом. Факел метался.

— Дорогу-то вы знаете? — спросил я, кутая рот.

— Дорогу-то знаем,— очень печально ответил возница (шлема на нем уже не было),— а остаться бы вам переночевать...

Даже по ушам его шапки было видно, что он до смерти не хочет ехать.

— Надо остаться,— прибавил и второй, державший разъяренный факел,— в поле нехорошо-с.

— Двенадцать верст...— угрюмо забурчал я,— доедем. У меня тяжелые больные...— И полез в санки.

Каюсь, я не добавил, что одна мысль остаться во флигеле, где беда, где я бессилен и бесполезен, казалась мне невыносимой.

Возница безнадежно плюхнулся на облучок, выровнялся, качнулся, и мы проскочили в ворота. Факел исчез, как провалился, или же потух. Однако через минуту меня заинтересовало другое. С трудом обернувшись, я увидел, что не только факела нет, но Шалометьево пропало со всеми строениями, как во сне. Меня это неприятно кольнуло.

— Однако это здорово...— не то подумал, не то забормотал я. Нос на минуту высунул и опять спрятал, до того нехорошо было. Весь мир свился в клубок, и его трепало во все стороны.

Проскочила мысль — а не вернуться ли? Но я ее отогнал, завалился поглубже в сено на дно саней, как в лодку, съежился, глаза закрыл. Тотчас выплыл зеленый лоскут на лампе и белое лицо. Голову вдруг осветило: «Это перелом основания черепа... Да, да, да... Ага-га... именно так!» Загорелась уверенность, что это правильный диагноз. Осенило. Ну, а к чему? Теперь не к чему, да и раньше не к чему было. Что с ним сделаешь! Какая ужасная судьба! Как нелепо и страшно жить на свете! Что теперь будет в доме агронома? Даже подумать тошно и тоскливо! Потом себя стало жаль: жизнь моя какая трудная. Люди сейчас спят, печки натоплены, а я опять и вымыться не мог. Несет меня вьюга, как листок. Но вот, я домой приеду, а меня, чего доброго, опять повезут куда-нибудь. Вот воспаление легких схвачу и сам помру здесь... Так, разжалобив самого себя, я и провалился в тьму, но сколько времени в ней пробыл, не знаю. Ни в какие бани я не попал, а стало мне холодно. И все холоднее и холоднее.

Когда я открыл глаза, увидел черную спину, а потом уже сообразил, что не едем, а стоим.

— Приехали? — спросил я, мутно тараща глаза.

Черный возница тоскливо шевельнулся, вдруг слез, мне показалось, что его вертит во все стороны... и заговорил без всякой почтительности:

— Приехали.... Людей-то нужно было послушать... Ведь что же это такое! И себя погубим и лошадей...

— Неужели дорогу потеряли? — У меня похолодела спина.

— Какая тут дорога, — отозвался возница расстроенным голосом, — нам теперь весь белый свет — дорога. Пропали ни за грош... Четыре часа едем, а куда... Ведь это что делается...

Четыре часа. Я стал копошиться, нащупал часы, вынул спички. Зачем? Это было ни к чему, ни одна спичка не дала вспышки. Чиркнешь, сверкнет — и мгновенно огонь слизнет.

— Говорю, часа четыре, — похоронно молвил возница. — Что теперь делать?

— Где же мы теперь?

Вопрос был настолько глуп, что возница не считал нужным на него отвечать. Он поворачивался в разные стороны, но мне временами казалось, что он стоит неподвижно, а меня в саних вертит. Я выкарабкался и сразу узнал, что снегу мне до колена у полоза. Задняя лошадь завязла по брюхо в сугробе. Грива ее свисала, как у простоволосой женщины.

— Сами стали?

— Сами. Замучились животные...

Я вдруг вспомнил кой-какие рассказы и почему-то почувствовал злобу на Льва Толстого.

«Ему хорошо было в Ясной Поляне, — думал я, — его небось не возили к умирающим...»

Пожарного и меня мне стало жаль. Потом я опять пережил вспышку дикого страха. Но задавил его в груди.

— Это — малодушие... — пробормотал я сквозь зубы.

И бурная энергия возникла во мне.

— Вот что, дядя, — заговорил я, чувствуя, что у меня стынют зубы, — унынию тут предаваться нельзя, а то мы действительно пропадем к чертям. Они немножко постояли, отдохнули, надо дальше двигаться. Вы идите, берите переднюю лошадь под уздцы, а я буду править. Надо вылезать, а то нас заметет.

Уши шапки выглядели отчаянно, но все же возница полез вперед. Ковыляя и проваливаясь, он добрался до первой лошади. Наш выезд показался мне бесконечно длинным. Фигуру возницы размыло в глазах, в глаза мне мело сухим вьюжным снегом.

— Но-о, — застонал возница.

— Но! Но! — закричал я, захлопав вожжами.

Лошади тронулись помаленьку, пошли месить. Сани качало, как на волне. Возница то вырастал, то уменьшался, выбирался вперед.

Четверть часа приблизительно мы двигались так, пока наконец я не почувствовал, что сани закрипели как будто ровней. Радость хлынула в меня, когда я увидел, как замелькали задние копыта лошади.

— Мелко, дорога! — закричал я.

— Го... го... — отозвался возница. Он приковылял ко мне и сразу вырós.

— Кажись, дорога,— радостно, даже с трелью в голосе отозвался пожарный.— Лишь бы опять не сбиться... Авось..

Мы поменялись местами. Лошади пошли бодрее. Вьюга точно сжималась, стала ослабевать, как мне показалось. Но вверху и по сторонам ничего не было, кроме мути. Я уж не надеялся приехать именно в больницу. Мне хотелось приехать куда-нибудь. Ведь ведет же дорога к жилью.

Лошади вдруг дернули и заработали ногами оживленное. Я обрадовался, не зная еще причины этого.

— Жилье, может, почувствовали? — спросил я.

Возница мне не ответил. Я приподнялся в санях, стал всматриваться. Станный звук, тоскливый и злобный, возник где-то во мгле, но быстро потух. Почему-то неприятно мне стало и вспомнился конторщик и как он тонко скулил, положив голову на руки. По правой руке я вдруг различил темную точку, она выросла в черную кошку, потом еще подросла и приблизилась. Пожарный вдруг обернулся ко мне, причем я увидел, что челюсть у него прыгает, и спросил:

— Видели, гражданин доктор?..

Одна лошадь метнулась вправо, другая влево, пожарный навалился на секунду мне на колени, охнул, выправился, стал опираться, рвать вожжи. Лошади всхрапнули и понесли. Они взметывали копытами снег, швыряли его, шли неровно, дрожали.

И у меня прошла дрожь несколько раз по телу. Оправясь, я залез за пазуху, вынул браунинг и проклял себя за то, что забыл дома вторую обойму. Нет, если уж я не остался ночевать, то факел почему я не взял с собой?! Мысленно я увидел короткое сообщение в газете о себе и злосчастном пожарном.

Кошка выросла в собаку и покатилась невядалеке от саней. Я обернулся и увидел совсем близко за санями вторую четвероногую тварь. Могу поклясться, что у нее были острые уши и шла она за санями легко, как по паркету. Что-то грозное и наглое было в ее стремлении. «Стая или их только две?»— думалось мне, и при слове «стая» варом облило меня под шубой и пальцы на ногах перестали стыть.

— Держись крепче и лошадей придерживай, я сейчас выстрелю,— выговорил я голосом, но не своим, а неизвестным мне.

Возница только охнул в ответ и голову втянул в плечи. Мне сверкнуло в глаза и оглушительно ударило. Потом второй раз и третий раз. Не помню, сколько минут трепало меня на дне саней. Я слышал дикий, визгливый храп лошадей, сжимал браунинг, головой ударился обо что-то, старался вынырнуть из сена и в смертельном страхе думал, что у меня на груди вдруг окажется громадное жилистое тело. Видел уже мысленно свои рваные кишки...

В это время возница завыл:

— Ого... го... вон он... вон... господи, выноси, выноси...

Я наконец справился с тяжелой овчиной, выпростал руки, поднялся. Ни сзади, ни с боков не было черных зверей. Мело

очень редко и прилично, и в редкой пелене мерцал очаровательнейший глаз, который я бы узнал из тысячи, который узнаю и теперь,— мерцал фонарь моей больницы. Темное громоздилось сзади него. «Куда красивее дворца...» — подумал и вдруг в экстазе еще два раза выпустил пули из браунинга назад, туда, где пропали волки.

Пожарный стоял посредине лестницы, ведущей из нижнего отдела замечательной врачебной квартиры, я — наверху этой лестницы. Аксинья в тулупе — внизу.

— Озолотите меня,— заговорил возница,— чтоб я в другой раз... — Он не договорил, залпом выпил разведенный спирт и крикнул страшно, обернулся к Аксинье и прибавил, растопырив руки, сколько позволяло его устройство: — Во величиной...

— Померла? Не отстояли? — спросила Аксинья у меня.

— Померла,— ответил я равнодушно.

Через четверть часа стихло. Внизу потух свет. Я остался наверху один. Почему-то судорожно усмехнулся, расстегнул пуговицы на блузе, потом их застегнул, пошел к книжной полке, вынул том хирургии, хотел посмотреть что-то о переломах основания черепа, бросил книгу.

Когда разделся и влез под одеяло, дрожь поколотила меня с полминуты, затем отпустила, и тепло пошло по всему телу.

— Озолотите меня,— задремывая, пробурчал я,— но больше я не по...

— Поедешь... ан, поедешь... — насмешливо засвистала выюга. Она с громом проехала по крыше, потом пропела в трубе, вылетела из нее, прошуршала за окном, пропала.

— Поедете... по-е-де-те... — стучали часы, но глуше, глуше...

И ничего. Тишина. Сон.

1926 г.

ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ

Где же весь мир в день моего рождения? Где электрические фонари Москвы? Люди? Небо? За окошками нет ничего! Тьма...

Мы отрезаны от людей. Первые керосиновые фонари от нас в девяти верстах на станции железной дороги. Мигает там, наверное, фонарик, издыхает от метели. Пройдет в полночь с воем скорый в Москву и даже не остановится — не нужна ему забытая станция, погребенная в буране. Разве что занесет пути.

Первые электрические фонари в сорока верстах, в уездном городе. Там сладостная жизнь. Кинематограф есть, магазины. В то время как воем и валит снег на полях, на экране, возможно, плывет тростник, качаются пальмы, мигает тропический остров...

Мы же одни.

— Тьма египетская,— заметил фельдшер Демьян Лукич, приподняв штору.

Выражается он торжественно, но очень метко. Именно — египетская.

— Прошу еще по рюмке, — пригласил я. (Ах, не осуждайте! Ведь врач, фельдшер, две акушерки, ведь мы тоже люди! Мы не видим целыми месяцами никого, кроме сотен больных. Мы работаем, мы погребены в снегу. Неужели же нельзя нам выпить по две рюмки разведенного спирту по рецепту и закусить уездными шпротами в день рождения врача?)

— За ваше здоровье, доктор! — прочувственно сказал Демьян Лукич.

— Желаем вам привыкнуть у нас! — сказала Анна Николаевна и, чокаясь, поправила парадное свое платье с разводами.

Вторая акушерка Пелагея Ивановна чокнулась, хлебнула, сейчас же присела на корточки и кочергой пошевелила в печке. Жаркий блеск метнулся по нашим лицам, в груди теплело от водки.

— Я решительно не постигаю, — заговорил я возбужденно и глядя на тучу искр, взметнувшихся под кочергой, — что эта баба сделала с белладонной. Ведь это же кошмар!

Улыбки заиграли на лицах фельдшера и акушеров.

Дело было вот в чем. Сегодня на утреннем приеме в кабинет ко мне протиснулась румяная бабочка лет тридцати. Она поклонилась акушерскому креслу, стоящему за моей спиной, затем из-за пазухи достала широкогорлый флакон и запела льстиво:

Спасибо вам, гражданин доктор, за капли. Уж так помогли, так помогли!.. Пожалуйте еще баночку.

Я взял у нее из рук флакон, глянул на этикетку, и в глазах у меня позеленело. На этикетке было написано размашистым почерком Демьяна Лукича: «Tinct Belladonn...» и т. д. «16 декабря 1917 года».

Другими словами, вчера я выписал бабочке порядочную порцию белладонны, а сегодня, в день моего рождения, 17 декабря, бабочка приехала с сухим флаконом и с просьбой повторить.

— Ты... ты... все приняла вчера? — спросил я диким голосом.

— Все, батюшка милый, все, — пела бабочка сдобным голосом, — дай вам бог здоровья за эти капли... полбаночки — как приехала, а полбаночки — как спать ложиться. Как рукой сняло...

Я прислонился к акушерскому креслу.

— Я тебе по сколько капель говорил? — задушевым голосом заговорил я. — Я тебе по пять капель... Что ж ты делаешь, бабочка? Ты ж... я ж....

Ей-богу, приняла! — говорила баба, думая, что я не доверяю ей, будто она лечилась моей белладонной.

Я охватил руками румяные щеки и стал всматриваться в зрачки. Но зрачки были как зрачки. Довольно красивые, совершенно нормальные. Пульс у бабы был тоже прелестный. Вообще никаких признаков отравления белладонной у бабы не замечалось.

— Этого не может быть!..— заговорил я и завопил: — Демьян Лукич!!!

Демьян Лукич в белом халате вынырнул из аптечного коридора.

— Полюбуйтесь, Демьян Лукич, что эта красавица сделала! Я ничего не понимаю...

Баба испуганно вертела головой, поняв, что в чем-то она провинилась.

Демьян Лукич завладел флаконом, поиюхал его, повертел в руках и строго молвил:

— Ты, милая, врешь. Ты лекарство не принимала!

— Ей-бо...— начала баба.

Бабочка, ты нам очков не втирай,— сурово, искривив рот, говорил Демьян Лукич,— мы всё досконально понимаем. Со-знавайся, кого лечила этими каплями?

Баба возвела свои нормальные зрачки на чисто выбеленный потолок и перекрестилась.

— Вот чтоб мне...

— Брось, брось...— бубнил Демьян Лукич и обратился ко мне: — Они, доктор, ведь как делают. Съездит такая артистка в больницу, выпишут ей лекарство, а она придет в деревню и всех баб угостит.

— Что вы, граждане фершал...

— Брось! — отрезал фельдшер. — Я у вас восьмой год. Знаю. Конечно, раскапала весь флакончик по всем дворам,— продолжал он мне.

— Еще этих капелек дайте,— умильно попросила баба.

— Ну, нет, бабочка,— ответил я и вытер пот со лба,— этими каплями больше тебе лечиться не придется. Живот полегчал?

— Прямо-таки, ну, рукой сняло!..

— Ну, вот и превосходно. Я тебе других выпишу, тоже очень хорошие.

И я выписал бабочке валерьянки, и она, разочарованная, уехала.

Вот об этом случае мы и толковали у меня в докторской квартире в день моего рождения, когда за окнами висела тяжким занавесом метельная египетская тьма.

— Это что,— говорил Демьян Лукич, деликатно прожевывая рыбку в масле,— это что: мы-то привыкли уже здесь. А вам, дорогой доктор, после университета, после столицы, весьма придется привыкать. Глушь!

— Ах, какая глушь! — как эхо, отозвалась Аня Николаевна.

Метель загудела где-то в дымоходах, прошелестела за стеной. Багровый отсвет лег на темный железный лист у печки. Благословение огню, согревающему медперсонал в глуши!

— Про вашего предшественника Леопольда Леопольдовича изволили слышать? — заговорил фельдшер и, деликатно угостив папирской Аию Николаевну, закурил сам.

— Замечательный доктор был! — всторжению молвила Пела-

гея Иванна, блестящими глазами всматриваясь в благостный огонь. Праздничный гребень с фальшивыми камушками вспыхивал и погасал у нее в черных волосах.

— Да, личность выдающаяся,— подтвердил фельдшер.— Крестьяне его прямо обожали. Подход знал к ним. На операцию ложиться к Липонтию — пожалуйста! Они его вместо Леопольд Леопольдович Липонтий Липонтьевич звали. Верили ему. Ну, и разговаривать с ними умел. Нуте-с, приезжает к нему как-то приятель его, Федор Косой из Дульцева, на прием. Так и так, говорит, Липонтий Липонтьич, заложил мне грудь. Ну не продохнуть. И, кроме того, как будто в глотке царапает...

— Ларингит,— машинально молвил я, привыкнув уже за месяц бешеной гонки к деревенским молниеносным диагнозам.

Совершенно верно. «Ну,— говорит Липонтий,— я тебе дам средство. Будешь ты здоров через два дня. Вот тебе французские горчишники. Один налепишь на спину между крыл, другой — на грудь. Подержишь десять минут, сымешь. Марш! Действуй!» Забрал тот горчишники и уехал. Через два дня появляется на приеме.

«В чем дело?» — спрашивает Липонтий.

А Косой ему:

«Да что ж,— говорит,— Липонтий Липонтьич, не помогают ваши горчишники ничего».

«Врешь! — отвечает Липонтий.— Не могут французские горчишники не помочь! Ты их, наверное, не ставил?»

«Как же, говорит, не ставил? И сейчас стоит...»

И при этом поворачивается спиной, а у него горчишник на тулупе налеплен!..

Я расхохотался, а Пелагея Ивановна захихикала и ожесточенно застучала кочергой по полену.

— Воля ваша, это — анекдот,— сказал я,— не может быть!

— Анек-дот?! Анекдот?! — впереводку воскликнули акушерки.

— Нет-с! — ожесточенно воскликнул фельдшер.— У нас, знаете ли, вся жизнь из подобных анекдотов состоит... У нас тут такие вещи...

А сахар?! — воскликнула Анна Николаевна.— Расскажите про сахар, Пелагея Иванна!

Пелагея Иванна прикрыла заслонку и заговорила, потупившись:

— Приезжаю я в то же Дульцево к роженице...

Это Дульцево — знаменитое место,— не удержался фельдшер и добавил: — Виноват! Продолжайте, коллега!

— Ну, понятное дело, исследую,— продолжала коллега Пелагея Иванна,— чувствую под пальцами в родовом канале что-то непонятное... То рассыпчатое, то кусочки... Оказывается — сахар-рафинад!

— Вот и анекдот! — торжественно заметил Демьян Лукич.

— Поз-вольте... ничего не понимаю...

— Бабка! — отозвалась Пелагея Иванна.— Знахарка научи-

ла. Роды, говорит, у ей трудные. Младенчик не хочет выходить на божий свет. Стало быть, нужно его выманить. Вот они, значит, его на сладкое и выманивали!

— Ужас! — сказал я.

— Волосы дают жевать роженицам, — сказала Анна Николаевна.

— Зачем?!

— Шут их знает. Раза три привозили нам рожениц. Лежит и плюется бедная женщина. Весь рот полон щетины. Примета есть такая, будто роды легче пойдут...

Глаза у акушеров засверкали от воспоминаний. Мы долго у огня сидели за чаем, и я слушал как зачарованный. О том, что, когда приходится вести роженицу из деревни к нам в больницу, Пелагея Иванна свои сани всегда сзади пускает: не передумали бы по дороге, не вернули бы бабу в руки бабки. О том, как однажды роженицу при неправильном положении, чтобы младенчик повернулся, кверху ногами к потолку подвешивали. О том, как бабка из Коробова, наслышавшись, что врачи делают прокол плодного пузыря, столовым ножом изрезала всю голову младенцу, так что даже такой знаменитый и ловкий человек, как Липонтий, не мог его спасти, и хорошо, что мать спас. О том...

Печку давно закрыли. Гости мои ушли в свой флигель. Я видел, как некоторое время тускловато светилось оконце у Анны Николаевны, потом погасло. Все скрылось. К метели примешался густейший декабрьский вечер, и черная завеса скрыла от меня и небо и землю.

Я расхаживал у себя по кабинету, и пол поскрипывал под ногами, и было тепло от голландки-печки, и слышно было, как грызла где-то деловитая мышь.

«Ну, нет, — раздумывал я, — я буду бороться с египетской тьмой ровно столько, сколько судьба продержит меня здесь в глуши. Сахар-рафинад... Скажите пожалуйста!..»

В мечтаниях, рождавшихся при свете лампы под зеленым колпаком, возник громадный университетский город, а в нем клиника, а в клинике — громадный зал, изразцовый пол, блестящие краны, белые стерильные простыни, ассистент с острокопечной, очень мудрой, седеющей бородкой...

Стук в такие моменты всегда волнует, страшит. Я вздрогнул...

— Кто там, Аксинья? — спросил я, свешиваясь с балюстрады внутренней лестницы (квартира у врача была в двух этажах: вверх — кабинет и спальни, вниз — столовая, еще одна комната — неизвестного назначения и кухня, в которой и помещалась эта Аксинья — кухарка — и муж ее, бессменный сторож больницы).

Загремел тяжелый запор, свет лампочки заходил и закачался внизу, повеяло холодом. Потом Аксинья доложила:

— Да больной приехал...

Я, сказать по правде, обрадовался. Спать мне еще не хоте-

лось, а от мышиной грызни и воспоминаний стало немного тоскливо, одиноко. Притом больной, значит, не женщина, значит, не самое страшное — не роды.

— Ходит он?

Ходит, — зевая, ответила Аксинья.

— Ну, пусть идет в кабинет.

Лестница долго скрипела. Поднимался кто-то солидный, большого веса человек. Я в это время уже сидел за письменным столом, стараясь, чтобы двадцатичетырехлетняя моя живость не выскакивала по возможности из профессиональной оболочки эскулапа. Правая моя рука лежала на стетоскопе, как на револьвере.

В дверь втиснулась фигура в бараньей шубе, валенках. Шапка находилась в руках у фигуры.

— Чего же это вы, батюшка, так поздно? — солидно спросил я для очистки совести.

— Извините, гражданин доктор, — приятным, мягким басом отозвалась фигура, — метель — чистое горе! Ну, задержались, что поделаешь, уж простите, пожалуйста!

«Вежливый человек», — с удовольствием подумал я. Фигура мне очень понравилась, и даже рыжая густая борода произвела хорошее впечатление. Видимо, борода эта пользовалась некоторым уходом. Владелец ее не только подстригал, но даже и смазывал каким-то веществом, в котором врачу, пробывшему в деревне хотя короткий срок, нетрудно угадать постное масло.

— В чем дело? Снимите шубу. Откуда вы?

Шуба легла горой на стул.

— Лихорадка замучила, — ответил больной и скорбно глянул.

— Лихорадка? Ага! Вы из Дульцева?

— Так точно. Мельник.

— Ну, как же она вас мучает? Расскажите!

— Каждый день, как двенадцать часов, голова начинает болеть, потом жар как пойдет... Часа два потреплет и отпустит.

«Готов диагноз», — победно звякнуло у меня в голове.

— А в остальные часы ничего?

— Ноги слабые...

— Ага... Расстегнитесь! Гм... так.

К концу осмотра больной меня очаровал. После бестолковых старушек, испуганных подростков, с ужасом шарахающихся от металлического шпателя, после этой утренней шутки с белладонной на мельнике отдышал мой университетский глаз.

Речь мельника была толкова. Кроме того, он оказался грамотным, и даже всякий жест его был пропитан уважением к науке, которую я считаю своей любимой, — к медицине.

— Вот что, голубчик, — говорил я, постукивая по широчайшей теплой груди, — у вас малярия. Перемежающаяся лихорадка... У меня сейчас целая палата свободна. Очень советую лечиться ко мне. Мы вас как следует понаблюдаем. Начну вас

лечить порошками, а если не поможет, мы вам впрыскивания сделаем. Добьемся успеха. А? Ложитесь?..

— Покорнейше вас благодарю! — очень вежливо ответил мельник. — Наслышаны об вас. Все довольны. Говорят, так помогаете... И на впрыскивания согласен, лишь бы поправиться.

«Нет, это поистине светлый луч во тьме!» — подумал я и сел писать за стол. Чувство у меня при этом было настолько приятное, будто не посторонний мельник, а родной брат приехал ко мне погостить в больницу.

На одном бланке я написал:

«Chinini mur 0,5
D. T. dos № 10
Мельнику Худову
по 1 порошку в полночь».

И поставил лихую подпись.

А на другом бланке:

«Пелагея Ивановна! Примите во 2-ю палату мельника. У него malagia. Хинин по одному порошку, как полагается, часа за 4 до припадка, значит, в полночь.

Вот вам исключение! Интеллигентный мельник!»

Уже лежа в постели, я получил из рук хмурой и зевающей Аксины ответную записку:

«Дорогой доктор! Все исполнила. Пел. Лбова».

И заснул.

...И проснулся.

— Что ты? Что? Что, Аксины?! — забормотал я.

Аксины стояла, стыдливо прикрываясь юбкой с белым горошком по темному полю. Стеариновая свеча трепетно освещала ее заспанное и встревоженное лицо.

— Марья сейчас прибежала, Пелагея Иванна велела, чтоб вас сейчас же позвать.

— Что такое?

— Мельник, говорит, во второй палате помирает.

— Что-о?! Помирает? Как это так помирает?!

Босые мои ноги мгновенно ощутили прохладный пол, не попадая в туфли. Я ломал спички и долго тыкал в горелку, пока она не зажглась синеватым огоньком. На часах было ровно шесть.

«Что такое?.. Что такое? Да неужели же не малярия?! Что же с ним такое? Пульс прекрасный...»

Не позже чем через пять минут я, в надетых наизнанку носках, в незастегнутом пиджаке, взъерошенный, в валенках, проскочил через двор, еще совершенно темный, и вбежал во вторую палату.

На раскрытой постели, рядом со скомканной простыней в одном больничном белье сидел мельник. Его освещала маленькая керосиновая лампочка. Рыжая его борода была взъерошена, а глаза мне показались черными и огромными. Он покачивался, как пьяный. С ужасом осматривался, тяжело дышал...

Сиделка Марья, открыв рот, смотрела на его темно-багровое лицо.

Пелагея Ивановна, в криво надетом халате, простоволосая метнулась навстречу мне.

— Доктор! — воскликнула она хриловатым голосом. — Клянусь вам, я не виновата! Кто же мог ожидать? Вы же сами черкнули — интеллигентный...

— В чем дело?!

Пелагея Ивановна всплеснула руками и молвила:

— Вообразите, доктор! Он все десять порошков хинину съел сразу! В полночь.

Был мутноватый зимний рассвет. Демьян Лукич убирал желудочный зонд. Пахло камфарным маслом. Таз на полу был полон буроватой жидкостью. Мельник лежал истощенный, побледневший, до подбородка укрытый белой простыней. Рыжая борода торчала дыбом. Я, наклонившись, пощупал пульс и убедился, что мельник выскочил благополучно.

— Ну, как? — спросил я.

— Тьма египетская в глазах... О... ох... — слабым басом отозвался мельник.

— У меня тоже! — раздраженно ответил я.

— Ась? — отозвался мельник (слышал он еще плохо).

— Объясни мне только одно, дядя: зачем ты это сделал?! — в ухо погромче крикнул я.

И мрачный и неприязненный бас отозвался:

— Да, думаю, что валандаться с вами по одному порошочку? Сразу принял — и делу конец.

— Это чудовищно! — воскликнул я.

— Анекдот-с! — как бы в язвительном забытии отозвался фельдшер.

«Ну, нет... я буду бороться. Я буду... Я...» И сладкий сон после трудной ночи охватил меня. Потянулась пеленою тьма египетская... и в ней будто бы я... не то с мечом, не то со стетоскопом. Иду... борюсь... В глуши. Но не один. А идет моя рать: Демьян Лукич, Анна Николаевна, Пелагея Иванна. Все в белых халатах. и всё вперед, вперед...

Сон — хорошая штука!..

1926 г.

ПРОПАВШИЙ ГЛАЗ

Итак, прошел год. Ровно год, как я подъехал к этому самому дому. И так же, как сейчас, за окнами висела пелена дождя, и так же тоскливо никли желтые последние листья на березах. Ничто не изменилось, казалось бы, вокруг. Но я сам сильно изменился. Буду же в полном одиночестве праздновать вечер воспоминаний...

И по-скрипящему полу я прошел в свою спальню и поглядел в зеркало. Да, разница велика. Год назад в зеркале, вынутом из чемодана, отразилось бритое лицо. Косой пробор украшал тогда двадцатитрехлетнюю голову. Ныне пробор исчез. Волосы были закинута назад без особых претензий. Пробором никого не прельстишь в тридцати верстах от железного пути. То же и относительно бритья. Над верхней губой прочно утвердилась полоска, похожая на жесткую пожелтевшую зубную щеточку, щеки стали как терка, так что приятно, если зачешется предплечье во время работы, почесать его щекой. Всегда так бывает, ежели бриться не три раза в неделю, а только один раз.

Вот читал я как-то, где-то... где — забыл... об одном англичанине, попавшем на необитаемый остров. Интересный был англичанин. Досиделся он на острове даже до галлюцинаций. И когда подошел корабль к острову и лодка выбросила людей-спасителей, он — отшельник — встретил их револьверной стрельбой, приняв за мираж, обман пустого водяного поля. Но он был выбрит. Брился каждый день на необитаемом острове. Помнится, громаднейшее уважение вызвал во мне этот гордый сын Британии. И когда я ехал сюда, в чемодане у меня лежала и безопасная «Жиллет», а к ней дюжина клинков, и опасная, и кисточка. И твердо решил я, что буду бриться через день, потому что у меня здесь ничем не хуже необитаемого острова.

Но вот однажды, это было в светлом апреле, я разложил все эти английские прелести в косом золотистом луче и только что отделал до глянца щеку, как ворвался, топоча, как лошадь, Егорыч в рваных сапожищах и доложил, что роды происходят в кустах у Заповедника над речушкой. Помнится, я полотенцем вытер левую щеку и выметнулся вместе с Егорычем. И бежали мы втроем к речке, мутной и вздувшейся среди оголенных куплозняка, — акушерка с торзионным пинцетом и свертком марли и банкой с йодом, я с дикими, выпученными глазами, а сзади — Егорыч. Он через каждые пять шагов присаживался на землю и с проклятиями рвал левый сапог: у него отскочила подметка. Ветер летел навстречу, сладостный и дикий ветер русской весны, у акушерки Пелагеи Ивановны выскочил гребешок из головы, узел волос растрепался и хлопал ее по плечу.

— Какого ты черта пропиваешь все деньги? — бормотал я на лету Егорычу. — Это свинство. Больничный сторож, а ходишь, как босяк.

— Какие ж это деньги, — злобно огрызался Егорыч, — за двадцать целковых в месяц муку мученскую принимать... Ах ты, проклятая! — Он бил ногой в землю, как яростный рысак. — Деньги... тут не то что сапоги, а пить-есть не на что...

— Пить-то тебе — самое главное, — сипел я, задыхаясь, — оттого и шляешься оборванцем...

У гнилого мостика послышался жалобный легкий крик, он пролетел над стремительным половодьем и угас. Мы подбежали и увидели растрепанную женщину. Платок с нее свалился, и

волосы прилипли к потному лбу, она в мучении заводила глаза и ногтями рвала на себе тулуп. Яркая кровь заляпала первую жиденькую, бледную зеленую травку, проступившую на жирной, пропитанной водой земле.

— Не дошла, не дошла,— торопливо говорила Пелагея Ивановна, и сама, простоволосая, похожая на ведьму, разматывала сверток.

И вот тут, слушая веселый рев воды, рвущейся через потемневшие бревенчатые устои моста, мы с Пелагеей Ивановной приняли младенца мужского пола. Живого приняли и мать спасли. Потом две сиделки и Егорыч, босой на левую ногу, освободившись наконец от ненавистной истлевшей подметки, перенесли родильницу в больницу на носилках.

Когда она, уже утихшая и бледная, лежала, укрытая простынями, когда младенец поместился в люльке рядом и все пришло в порядок, я спросил у нее:

— Ты что же это, мать, лучшего места не нашла рожать, как на мосту? Почему же на лошади не приехали?

Она ответила:

— Свекор лошади не дал. Пять верст, говорит, всего, дойдешь. Баба ты здоровая. Нечего лошадь зря гонять....

— Дурак твой свекор и свинья,— отозвался я.

— Ах, до чего темный народ,— жалостливо добавила Пелагея Ивановна, а потом чего-то хихикнула.

Я поймал ее взгляд, он упирался в мою левую щеку.

Я вышел и в родильной комнате заглянул в зеркало. Зеркало это показало то, что обычно показывало: перекошенную физиономию явно дегенеративного типа с подбитым как бы правым глазом. Но — и тут уже зеркало не было виновато — на правой щеке дегенерата можно было плясать, как на паркете, а на левой тянулась густая рыжеватая поросль. Разделом служил подбородок. Мне вспомнилась книга в желтом переплете с надписью «Сахалин». Там были фотографии разных мужчин.

«Убийство, взлом, окровавленный топор,— подумал я,— десять лет... Какая все-таки оригинальная жизнь у меня на необитаемом острове. Нужно идти добриться...»

Я, вдыхая апрельский дух, приносимый с черных полей, слушал вороний грохот с верхушек берез, шурился от первого солнца, шел через двор добриваться. Это было около трех часов дня. А добрился я в девять вечера. Никогда, сколько я заметил, такие неожиданности в Мурьеве, вроде родов в кустах, не приходят в одиночку. Лишь только я взялся за скобку двери на своем крыльце, как лошадиная морда показалась в воротах, телегу, облепленную грязью, сильно трянуло. Правила баба и тонким голосом кричала:

— Н-но, лешай!

И с крыльца я услышал, как в ворохе тряпья хныкал мальчишка.

Конечно, у него оказалась переломленная нога и вот два

часа мы с фельдшером возились, накладывая гипсовую повязку на мальчишку, который был подряд два часа. Потом обедать нужно было, потом лень было бриться, хотелось что-нибудь почитать, а там приползли сумерки, затянуло дали, и я, скорбно морщась, добрился. Но так как зубчатый «Жиллет» пролежал позабытым в мыльной воде — на нем навеки осталась ржавенькая полосочка, как память о весенних родах у моста.

Да... бриться два раза в неделю было ни к чему. Порою нас заносило снегом, выла несусветная метель, мы по два дня сидели в Мурьевской больнице, не посылали даже в Вознесенск за девять верст за газетами, и долгими вечерами я мерил свой кабинет и жадно хотел газет, так жадно, как в детстве жаждал куперовского «Следопыта». Но все же английские замашки не потухли вовсе на мурьевском необитаемом острове, и время от времени я вынимал из черного футлярчика игрушку и вяло брился, выходил гладкий и чистый, как гордый островитянин. Жаль лишь, что некому было полюбоваться на меня.

Позвольте... да... ведь был и еще случай, когда, помнится, вынул бритву и только что Аксинья принесла в кабинет выщербленную кружку с кипятком, как в дверь грозно застучали и вызвали меня. И мы с Пелагеей Ивановной уехали в страшную даль, закутанные в бараньи тулупы, пронеслись, как черный призрак, состоящий из коней, кучера и нас, сквозь взбесившийся белый океан. Вьюга свистела, как ведьма, выла, плевалась, хохотала, все к черту исчезло, и я испытывал знакомое похолодание где-то в области солнечного сплетения при мысли, что собьемся мы с пути в этой сатанинской вертящейся мгле и пропадем за ночь все: и Пелагея Ивановна, и кучер, и лошади, и я. Еще, помню, возникла у меня дурацкая мысль о том, что, когда мы будем замерзать и вот нас наполовину занесет снегом, я и акушерке, и себе, и кучеру впрысну морфий... Зачем?.. А так, чтобы не мучиться... «Замерзнешь ты, лекарь, и без морфия превосходнейшим образом,— помнится, отвечал мне сухой и здоровый голос,— ништо тебе...» У-гу-гу!.. Ха-ссс!.. свистала ведьма, и нас мотало, мотало в санях... Ну, напечатают там в столичной газете на задней странице, что вот, мол, так и так, погибли при исполнении служебных обязанностей лекарь такой-то, а равно Пелагея Ивановна с кучером и парюю коней. Мир их праху в снежном море. Тьфу... что в голову лезет, когда тебя так называемый долг службы несет и несет...

Мы не погибли, не заблудились, а приехали в село Грищево, где я стал производить второй поворот на ножку в моей жизни. Родильница была жена деревенского учителя, и пока мы по локоть и по глаза в поту при свете лампы бились с Пелагеей Ивановной над поворотом, слышно, как за дощатой дверью стонал и мотался по черной половине избы муж. Под стоны родильницы и под его неумолчные всхлипывания я ручку младенцу, по секрету скажу, сломал. Младенчика получили мы мертвого. Ах, как у меня тек пот по спине! Мгновенно мне пришло в голову, что явится кто-то

грозный, черный и огромный, ворвется в избу, скажет каменным голосом: «Ага. Взять у него диплом!»

Я, угасая, глядел на желтое мертвое тельце и восковую мать, лежавшую недвижно, в забытьи от хлороформа. В форточку била струя метели, мы открыли ее на минуту, чтобы разредить удушающий запах хлороформа, и струя эта превращалась в клуб пара. Потом я захлопнул форточку и снова вперил взор в мотающуюся беспомощно ручку в руках акушерки. Ах, не могу я выразить того отчаяния, в котором я возвращался домой один, потому что Пелагею Ивановну я оставил ухаживать за матерью. Меня швыряло в санях в поредевшей метели, мрачные леса смотрели укоризненно, безнадежно, отчаянно. Я чувствовал себя побежденным, разбитым, раздавленным жестокой судьбой. Она меня бросила в эту глушь и заставила бороться одного, без всякой поддержки и указаний. Какие невероятные трудности мне приходится переживать. Ко мне могут привести какой угодно каверзный или сложный случай, чаще всего хирургический, и я должен стать к нему лицом, своим небритым лицом, и победить его. А если не победишь, вот и мучайся, как сейчас, когда валяет тебя по ухабам, а сзади остался трупик младенца и мамаша. Завтра, лишь утихнет метель, Пелагея Ивановна привезет ее ко мне в больницу, и очень большой вопрос — удастся ли мне отстоять ее? Да и как мне отстоять ее? Как понимать это величественное слово? В сущности, действую я наобум, ничего не знаю. Ну, до сих пор везло, сходили с рук благополучно изумительные вещи, а сегодня не свезло. Ах, в сердце шемит от одиночества, от холода, оттого, что никого нет кругом. А может, я еще и преступление совершил — ручку-то. Поехать куда-нибудь, повалиться кому-нибудь в ноги, сказать, что вот, мол, так и так, я лекарь такой-то, ручку младенцу переломил. Берите у меня диплом, недостойн я его, дорогие коллеги, посылайте меня на Сахалин. Фу, невращения!

Я завалился на дно саней, съежился, чтобы холод не жрал меня так страшно, и самому себе казался жалкой собачонкой, псом, бездомным и неумелым.

Долго, долго ехали мы, пока не сверкнул маленький, но такой радостный, вечно родной фонарь у ворот больницы. Он мигал, таял, вспыхивал и опять пропадал и манил к себе. И при взгляде на него несколько полегчало в одинокой душе, и, когда фонарь уже прочно утвердился перед моими глазами, когда он рос и приближался, когда стены больницы превратились из черных в беловатые, я, въезжая в ворота, уже говорил самому себе так:

«Вздор — ручка. Никакого значения не имеет. Ты сломал ее уже мертвому младенцу. Не о ручке нужно думать, а о том, что мать жива».

Фонарь меня подбодрил, знакомое крыльцо тоже, но все же уже внутри дома, поднимаясь к себе в кабинет, ощущая тепло от печки, предвкушая сон, избавитель от всех мучений, бормотал так:

«Так-то оно так, но все-таки страшно и одиноко. Очень одиноко».

Бритва лежала на столе, а рядом стояла кружка с простывшим кипятком. Я с презрением швырнул бритву в ящик. Очень, очень мне нужно бриться...

И вот целый год. Пока он тянулся, он казался многоликим, многообразным, сложным и страшным, хотя теперь я понимаю, что он пролетел, как ураган. Но вот в зеркале я смотрю и вижу след, оставленный им на лице. Глаза стали строже и беспокойнее, а рот увереннее и мужественнее, складка на переносице останется на всю жизнь, как останутся мои воспоминания. Я в зеркале их вижу, они бегут буйной чередой. Позвольте, когда еще я трясся при мысли о своем дипломе, о том, что какой-то фантастический суд будет меня судить и грозные судьи будут спрашивать:

«А где солдатская челюсть? Отвечай, злодей, окончивший университет!»

Как не помнить! Дело было в том, что хотя на свете и существует фельдшер Демьян Лукич, который рвет зубы так же ловко, как плотник — ржавые гвозди из старых шалевок, но такт и чувство собственного достоинства подсказали мне на первых шагах моих в Мурьевской больнице, что зубы нужно выучиться рвать самому. Демьян Лукич может и отлучиться или заболеть, а акушерки у нас все могут, кроме одного: зубов они, извините, не рвут, не их дело.

Стало быть... я помню прекрасно румяную, но истрадавшуюся физиономию передо мной на табурете. Это был солдат, вернувшийся в числе прочих с развалившегося фронта после революции. Отлично помню и здоровеннейший, прочно засевший в челюсти крепкий зуб с дуплом. Щурясь с мудрым выражением и озабоченно побрякивая, я наложил щипцы на зуб, причем, однако, мне отчетливо вспомнился всем известный рассказ Чехова о том, как дьячку рвали зуб. И тут мне впервые показалось, что рассказ этот нисколько не смешон. Во рту громко хрустнуло, и солдат коротко взвыл:

— Ого-о!

После этого под рукой сопротивление прекратилось, и щипцы выскочили изо рта с зажатым окровавленным и белым предметом в них. Тут у меня екнуло сердце, потому что предмет этот превышал по объему всякий зуб, хотя бы даже солдатский коренной. Вначале я ничего не понял, но потом чуть не зарыдал: в щипцах, правда, торчал и зуб с длинейшими корнями, но на зубе висел огромный кусок ярко-белой неровной кости.

«Я сломал ему челюсть...» — подумал я, и ноги мои подкосились. Благословляя судьбу за то, что ни фельдшера, ни акушера нет возле меня, я воровским движением завернул плод моей лихой работы в марлю и спрятал в карман. Солдат качался на табурете, вцепившись одной рукой в ножку акушерского кресла, а другою в ножку табурета, и выпученными, совершенно ошалевшими глазами смотрел на меня. Я растерянно ткнул ему стакан

с раствором марганцевокислого кали и велел:

— Положи.

Это был глупый поступок. Он набрал в рот раствор, а когда выпустил его в чашку, тот вытек, смешавшись с алою солдатской кровью, по дороге превращаясь в густую жидкость невиданного цвета. Затем кровь хлынула изо рта солдата так, что я замер. Если б я полоснул беднягу бритвой по горлу, вряд ли она текла бы сильнее. Отставив стакан с калием, я набрасывался на солдата с комками марли и забивал зияющую в челюсти дыру. Марля мгновенно становилась алой, и, вынимая ее, я с ужасом видел, что в дыру можно свободно поместить больших размеров сливу реноклод.

«Отделал я солдата на славу», — отчаянно думал я и таскал длинные полосы марли из банки. Наконец кровь утихла, и я вымал яму в челюсти йодом.

— Часа три не ешь ничего, — дрожащим голосом сказал я своему пациенту.

— Покорнейше вас благодарю, — отозвался солдат, с некоторым изумлением глядя в чашку, полную его крови.

— Ты, дружок, — жалким голосом сказал я, — ты вот чего... ты езжай завтра или послезавтра показаться мне. Мне... видишь ли... нужно будет посмотреть... У тебя рядом еще зуб подозрительный... Хорошо?

— Благодарим покорнейше, — ответил солдат хмуро и удалился, держась за щеку, а я бросился в приемную и сидел там некоторое время, охватив голову руками и качаясь, как от зубной у самого боли. Раз пять я вытаскивал из кармана твердый окровавленный ком и опять прятал его.

Неделю жил я как в тумане, исхудал и захирел.

«У солдата будет гангрена, заражение крови... Ах ты, черт возьми! Зачем я сунулся к нему со щипцами?»

Нелепые картины рисовались мне. Вот солдата начинает трясти. Сперва он ходит, рассказывает про Керенского и фронт, потом становится все тише. Ему уже не до Керенского. Солдат лежит на ситцевой подушке и бредит. У него — 40°. Вся деревня навещает солдата. А затем солдат лежит на столе под образами с заострившимся носом.

В деревне начинаются пересуды.

«С чего бы это?»

«Дохтур зуб ему вытаскал...»

«Вот оно што...»

Дальше больше. Следствие. Приезжает суровый человек:

«Вы рвали зуб солдату?..»

«Да... я».

Солдата выкапывают. Суд. Позор. Я причина смерти. И вот я уже не врач, а несчастный, выброшенный за борт человек, вернее, бывший человек.

Солдат не показывался, я тосковал, ком ржавел и высыхал в письменном столе. За жалованием персоналу нужно было ехать

через неделю в уездный город. Я уехал через пять дней и прежде всего пошел к врачу уездной больницы. Этот человек с прокуренной бороденкой двадцать пять лет работал в больнице. Виды он видал. Я сидел вечером у него в кабинете, уныло пил чай с лимоном, ковыряя скатерть, наконец не вытерпел и обиняками повел туманную фальшивую речь: что вот, мол... бывают такие случаи... если кто-нибудь рвет зуб... и челюсть обломает... ведь гангрена может получиться, не правда ли?.. Знаете, кусок... я читал...

Тот слушал, слушал, уставив на меня свои вылинявшие глазки под косматыми бровями, и вдруг сказал так:

— Это вы ему лунку выломали... Здорово будете зубы рвать. Бросайте чай, идем водки выпьем перед ужином.

И тотчас и навсегда ушел мой мучитель-солдат из головы.

Ах, зеркало воспоминаний. Прошел год. Как смешно мне вспоминать про эту лунку! Я, правда, никогда не буду рвать зубы так, как Демьян Лукич. Еще бы! Он каждый день рвет штук по пяти, а я раз в две недели по одному. Но все же я рву так, как многие хотели бы рвать. И лунок не ломаю, а если бы и сломал, не испугался бы.

Да что зубы. Чего только я не перевидал и не сделал за этот неповторяемый год.

Вечер тек в комнату. Уже горела лампа, и я, плавая в горьком табачном дыму, подводил итог. Сердце мое переполнялось гордостью. Я делал две ампутации бедра, а пальцев не считаю. А вычистки. Вот у меня записано восемнадцать раз. А грыжа. А трахеотомия. Делал, и вышло удачно. Сколько гигантских гнойников я вскрыл. А повязки при переломах. Гипсовые и крахмальные. Вывихи вправлял. Интубации. Роды. Приезжайте, с какими хотите. Кесарева сечения делать не стану, это верно. Можно в город отправить. Но щипцы, повороты — сколько хотите.

Помню государственный последний экзамен по судебной медицине. Профессор сказал:

— Расскажите о ранах в упор.

Я развязно стал рассказывать и рассказывал долго, и в зрительной памяти проплывала страница толстейшего учебника. Наконец я выдохся, профессор поглядел на меня брезгливо и сказал скрипуче:

— Ничего подобного тому, что вы рассказали, при ранах в упор не бывает. Сколько у вас пятерок?

— Пятнадцать, — ответил я.

Он поставил против моей фамилии тройку, и я вышел в тумане и позоре вон...

Вышел, потом вскоре поехал в Мурьево, и вот я здесь один. Черт его знает, что бывает при ранах в упор, но когда здесь передо мной на операционном столе лежал человек и пузыристая пена, розовая от крови, вскакивала у него на губах, разве я потерялся? Нет, хотя вся грудь у него в упор была разнесена волчьей дробью и было видно легкое, и мясо груди висело клоками, разве

я потерялся? И через полтора месяца он ушел у меня из больницы живым. В университете я не удостоился ни разу поддержать в руках акушерские щипцы, а здесь, правда, дрожа, наложил их в одну минуту. Не скрою того, что младенца я получил странного: половина его головы была раздувшаяся, сине-багровая, безглазая. Я похолодел. Смутно выслушал утешающие слова Пелагеи Ивановны:

— Ничего, доктор, это вы ему на глаз наложили одну ложку

Я трясся два дня, но через два дня голова пришла в норму.

Какие я раны зашивал. Какие видел гнойные плевриты и взламывал при них ребра, какие пневмонии, тифы, раки, сифилис, грыжи (и вправлял), геморрой, саркомы.

Вдохновенно я развернул амбулаторную книгу и час считал. И сосчитал. За год, вот до этого вечернего часа, я принял 15 613 больных. Стационарных у меня было 200, а умерло только шесть.

Я закрыл книгу и пошел спать. Я, юбиляр двадцати четырех лет, лежал в постели и, засыпая, думал о том, что мой опыт теперь громаден. Чего мне бояться? Ничего. Я таскал горох из ушей мальчишек, я резал, резал, резал... Рука моя мужественна, не дрожит. Я видел всякие каверзы и научился понимать такие бабы речи, которых никто не поймет. Я в них разбираюсь, как Шерлок Холмс в таинственных документах... Сон все ближе...

— Я,— пробурчал я, засыпая,— я положительно не представляю себе, чтобы мне привезли случай, который бы мог меня поставить в тупик... может быть, там, в столице, и скажут, что это фельдшеризм... пусть... им хорошо... в клиниках, в университетах... в рентгеновских кабинетах... я же здесь... всё... крестьяне не могут жить без меня... Как я раньше дрожал при стуке в дверь, как корчился мысленно от страха... А теперь...

Когда же это случилось?

С неделю, батюшка, с неделю, милый... Выперло...

И баба захныкала.

Смотрело серенькое октябрьское утро первого дня моего второго года. Вчера я вечером гордился и хвастался, засыпая, а сегодня утром стоял в халате и растерянно вглядывался.

Годовалого мальчишку она держала в руках, как полено, и у мальчишки этого левого глаза не было. Вместо глаза из растянутых, источенных век выпирал шар желтого цвета величиной с небольшое яблоко. Мальчишка страдальчески кричал и бился, баба хныкала. И вот я потерялся.

Я заходил со всех сторон. Демьян Лукич и акушерка стояли сзади меня. Они молчали, ничего такого они никогда не видели.

«Что это такое. Мозговая грыжа... Гм... он живет... Саркома... Гм... мягковата... Какая-то невиданная, жуткая опухоль... Откуда же она развилась... Из бывшего глаза... А может быть, его никогда и не было... Во всяком случае сейчас нет...»

— Вот что,— вдохновенно сказал я,— нужно будет вырезать эту штуку...

И тут же я представил себе, как я надсеку веко, разведу в стороны и...

«И что... Дальше-то что? Может, это действительно из мозга.. Фу, черт... Мягковато... на мозг похоже...»

— Что резать? — спросила баба, бледнея. — На глазу резать? Нету моего согласия...

И она в ужасе стала заворачивать младенца в тряпки.

— Никакого глаза у него нету, — категорически ответил я, — ты гляди, где ж ему быть. У твоего младенца странная опухоль...

— Капелек дайте, — говорила баба в ужасе.

— Да что ты, смеешься? Каких таких капелек? Никакие капельки тут не помогут!

— Что ж ему, без глаза, что ли, оставаться?

— Нету у него глаза, говорю тебе...

— А третьего дня был! — отчаянно воскликнула баба.

«Черт!..»

— Не знаю, может, и был... черт... только теперь нету... И вообще, знаешь, милая, вези ты своего младенца в город. И немедленно, там сделают операцию. Демьян Лукич. А?

— М-да, — глубокомысленно отозвался фельдшер, явно не зная, что и сказать, — штука невиданная.

Резать в городе? — спросила баба в ужасе. — Не дам.

Кончилось это тем, что баба увезла своего младенца, не дав притронуться к глазу.

Два дня я ломал голову, пожимал плечами, рылся в библиотеке, разглядывал рисунки, на которых были изображены младенцы с вылезающими вместо глаз пузырями... Черт.

А через два дня младенец был мною забыт.

Прошла неделя.

— Анна Жухова! — крикнул я.

Вошла веселая баба с ребенком на руках.

В чем дело? — спросил я привычно.

— Бока закладывает, не продохнуть, — сообщила баба и почему-то насмешливо улыбнулась.

Звук ее голоса заставил меня встрепенуться.

— Узнали? — спросила баба насмешливо.

— Постой... постой... да это что... Постой... это тот самый ребенок?

— Тот самый. Помните, господин доктор, вы говорили, что глаза нету и резать чтобы...

Я ошалел. Баба победоносно смотрела, в глазах ее играл смех.

На руках молчаливо сидел младенец и глядел на свет кари-ми глазами. Никакого желтого пузыря не было в помине.

«Это что-то колдовское...» — расслабленно подумал я.

Потом, несколько придя в себя, осторожно оттянул веко. Младенец хныкал, пытался вертеть головой, но все же я увидел... малюсенький шрамик на слизистой... А-а...

— Мы как выехали от вас тады... Он и лопнул...

Не надо, баба, не рассказывай,— сконфуженно сказал я,— я уже понял.

— А вы говорите, глаза нету... Ишь, вырос.— И баба издевательски хихикинула.

«Понял, черт меня возьми... у него из нижнего века развился громаднейший гнойник, вырос и оттеснил глаз, закрыл его совершенно... а потом как лопнул, гной вытек... и все пришло на место...»

Нет. Никогда... даже засыпая, не буду горделиво бормотать о том, что меня ничем не удивишь. Нет. И год прошел, пройдет другой год и будет столь же богат сюрпризами, как и первый... Значит, нужно покорно учиться.

1926 г.

МОРФИЯ

I

Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы,— как вспоминаешь о счастье, о, как вспоминаешь!

Что касается меня, то я, как выяснилось это теперь, был счастлив в 1917 году, зимой. Незабываемый, вьюжный, стремительный год!

Начавшаяся вьюга подхватила меня, как клочок изорванной газеты, и перенесла с глухого участка в уездный город. Велика штука, подумаешь, уездный город? Но если кто-нибудь подобно мне просидел в снегу зимой, в строгих и бедных лесах летом, полтора года, не отлучаясь ни на один день, если кто-нибудь разрывал бандероль на газете от прошлой недели с таким сердечным биением, точно счастливый любовник голубой конверт, ежели кто-нибудь ездил на роды 18 верст в санях, запряженных гуськом, тот, надо полагать, поймет меня.

Уютнейшая вещь керосиновая лампа, но я за электричество!

И вот я увидел их вновь, наконец, обольстительные электрические лампочки! Главная улица городка, хорошо укатанная крестьянскими санями, улица, на которой, чаруя взор, висели — вывеска с сапогами, золотой крендель, изображение молодого человека со свинными и наглыми глазками и с абсолютно неестественной прической, означавшей, что за стеклянными дверями помещается местный Базиль, за 30 копеек бравшийся вас брить во всякое время, за исключением дней праздничных, коими изобилует отечество мое.

До сих пор с дрожью вспоминаю салфетки Базиля, салфетки, заставлявшие неотступно представлять себе ту страницу в германском учебнике кожных болезней, на которой с убедительной ясностью изображен твердый шанкр на подбородке у ка-

кого-то гражданина.

Но и салфетки эти все же не омрачат моих воспоминаний.

На перекрестке стоял живой милиционер, в запыленной витрине смутно виднелись железные листы с тесными рядами пирожных с рыжим кремом, сено устилало площадь, и шли, и ехали, и разговаривали, в будке торговали вчерашними московскими газетами, содержащими в себе потрясающие известия, невдалеке призывно пересвистывались московские поезда. Словом, это была цивилизация, Вавилон, Невский проспект.

О больнице и говорить не приходится. В ней было хирургическое отделение, терапевтическое, заразное, акушерское. В больнице была операционная, в ней сиял автоклав, серебрились краны, столы раскрывали свои хитрые лапы, зубья, винты. В больнице был старший врач, три ординатора (кроме меня). Фельдшера, акушерки, сиделки, аптека и лаборатория. Лаборатория, подумать только! С цейсовским микроскопом, прекрасным запахом красок.

Я вздрагивал и холодел, меня давили впечатления. Немало дней прошло, пока я не привык к тому, что одноэтажные корпуса больницы в декабрьские сумерки, словно по команде, загорались электрическим светом.

Он слепил меня. В ваннах бушевала и гремела вода, и деревянные измызганные термометры ныряли и плавали в них. В детском заразном отделении весь день вспыхивали стоны, слышался тонкий жалостливый плач, хриплое бульканье...

Сиделки бегали, носились...

Тяжкое бремя соскользнуло с моей души. Я больше не нес на себе роковой ответственности за все, что бы ни случилось на свете. Я не был виноват в ущемленной грыже и не вздрагивал, когда приезжали сани и привозили женщину с поперечным положением, меня не касались гнойные плевриты, требовавшие операции. Я почувствовал себя впервые человеком, объем ответственности которого ограничен какими-то рамками. Роды? — Пожалуйста, вон — низенький корпус, вон — крайнее окно, завешенное белой марлей. Там врач-акушер, симпатичный и толстый, с рыженькими усиками и лысоватый. Это его дело. Сани, поворачивайте к окну с марлей! Осложненный перелом — главный врач-хирург. Воспаление легких? — В терапевтическое отделение к Павлу Владимировичу.

О, величественная машина большой больницы на налаженном, точно смазанном ходу! Как новый винт по заранее взятой мерке, и я вошел в аппарат и принял детское отделение. И дифтерит, и скарлатина поглотили меня, взяли мои дни. Но только дни. Я стал спать по ночам, потому что не слышалось более под моими окнами зловещего ночного стука, который мог поднять меня и увлечь в тьму на опасность и неизбежность. По вечерам я стал читать (про дифтерит и скарлатину, конечно, в первую голову и затем почему-то со странным интересом Фенимора Купера) и оценил вполне и лампу над столом, и седые угольки на подносе

самовара, и стынувший чай, и сон после бессонных полутора лет...

Так я был счастлив в 17-м году зимой, получив перевод в уездный город с глухого व्योжиого участка.

II

Пролетел месяц, за ним второй и третий, 17-й год отошел, и полетел февраль 18-го. Я привык к своему новому положению и мало-помалу свой дальний участок стал забывать. В памяти стерлись зеленая лампа с шипящим керосином, одиночество, сугробы... Неблагодарный! Я забыл свой боевой пост, где я один без всякой поддержки боролся с болезнями своими силами, подобно герою Фенимора Купера выбираясь из самых диковинных положений.

Изредка, правда, когда я ложился в постель с приятной мыслью о том, как сейчас я усну, какие-то обрывки проносились в темнеющем уже сознании. Зеленый огонек, мигающий фонарь... скрип саией... короткий стон, потом тьма, глухой вой метели в полях... Потом все это боком кувыркалось и проваливалось...

«Интересно, кто там сидит сейчас на моем месте?.. кто-нибудь да сидит... Молодой врач вроде меня... ну, что же, я свое высидел. Февраль, март, апрель... ну, и, скажем, май — и конец моему стажу. Значит, в конце мая я расстанусь с моим блистательным городом и вернусь в Москву. И ежели революция подхватит меня на свое крыло — придется, возможно, еще поездить... но во всяком случае своего участка я более никогда в жизни не увижу... Никогда... Столица... Клиника... Асфальт, огни...»

Так думал я.

«...А все-таки хорошо, что я пробыл на участке... Я стал отважным человеком... Я не боюсь... Чего я только не лечил?! В самом деле? А?.. Психических болезней не лечил... Ведь... верно нет, позвольте... А агроном допился тогда до чертей... И я его лечил и довольно неудачно... Белая горячка... Чем не психическая болезнь? Почитать надо бы психиатрию... Да ну ее. Как-нибудь впоследствии в Москве... А сейчас, в первую очередь, детские болезни... и еще детские болезни... и в особенности эта каторжная детская рецептура... Фу, черт... Если ребенку 10 лет, то, скажем, сколько пирамидону ему можно дать на прием? 0,1 или 0,15?.. Забыл. А если три года?.. Только детские болезни... и ничего больше... довольно умопомрачительных случайностей! Прощай, мой участок!.. И почему мне этот участок так настойчиво сегодня вечером лезет в голову?.. Зеленый огонь... Ведь я покоился с ним расчеты на всю жизнь... Ну и довольно... Спать...»

Вот письмо. С оказией привезли...
Давайте сюда.

Сиделка стояла у меня в передней. Пальто с облезшим воротником было накинута поверх белого халата с клеймом. На синем дешевом конверте таял снег.

— Вы сегодня дежурите в приемном покое? — спросил я, зевая.

Я.

— Никого нет?

— Нет, пусто.

— Ешли... (зевота раздирала мне рот и от этого слова я произносил неряшливо), — кого-нибудь привезут... вы дайте мне знать шюда... Я лягу спать...

— Хорошо. Можно иттить?

— Да, да. Идите.

Она ушла. Дверь визгнула, а я зашлепал туфлями в спальню, по дороге безобразно и криво раздирая пальцами конверт.

В нем оказался продолговатый смятый бланк с синим штемпелем моего участка, моей больницы... Незабываемый бланк...

Я усмехнулся.

«Вот интересно... весь вечер думал об участке, и вот он явился сам напомнить о себе... Предчувствие...»

Под штемпелем химическим карандашом был начертан рецепт. Латинские слова, неразборчивые, перечеркнутые...

Ничего не понимаю... Путаный рецепт...—пробормотал я и уставился на слово «morphini...». «Что, бишь, тут необычайного в этом рецепте?.. Ах, да... Четырехпроцентный раствор! Кто же выписывает четырехпроцентный раствор морфия?.. Зачем?!»

Я перевернул листок, и зевота моя прошла. На обороте листка чернилами, вялым и разгонистым почерком было написано:

«11 февраля 1918 года.

Милый collega!

Извините, что пишу на клочке. Нет под руками бумаги. Я очень тяжело и нехорошо заболел. Помочь мне некому, да я и не хочу искать помощи ни у кого, кроме Вас.

Второй месяц я сижу на бывшем Вашем участке, знаю, что Вы в городе и сравнительно недалеко от меня.

Во имя нашей дружбы и университетских лет прошу Вас приехать ко мне поскорее. Хоть на день. Хоть на час. И если Вы скажете, что я безнадежен, я Вам поверю... А может быть, можно спастись?.. Да, может быть, еще можно спастись?.. Надежда блеснет для меня? Никому, прошу Вас, не сообщайте о содержании этого письма».

— Марья! Сходите сейчас же в приемный покой и вызовите ко мне дежурную сиделку... как ее зовут?.. Ну, забыл... Одним словом, дежурную, которая мне письмо принесла сейчас. По-скорее!

Счас.

Через несколько минут сиделка стояла передо мной, и снег таял на облезшей кошке, послужившей материалом для воротника.

— Кто привез письмо?

— А не знаю я. С бородой. Кооператор он. В город ехал, говорит.

— Гм... ну ступайте. Нет, постойте. Вот я сейчас записку напишу главному врачу, отнесите, пожалуйста, и ответ мне верните.

— Хорошо.

Моя записка главному врачу:

«13 февраля 1918 года.

Уважаемый Павел Илларионович. Я сейчас получил письмо от моего товарища по университету доктора Полякова. Он сидит на Гореловском моем бывшем участке в полном одиночестве. Заболел, по-видимому, тяжело. Считаю своим долгом съездить к нему. Если разрешите, я завтра сдам на один день отделение доктору Родовичу и съезжу к Полякову. Человек беспомощен.

Уважающий вас

д-р Бомгард»

Ответная записка главного врача:

«Уважаемый Владимир Михайлович, поезжайте

Перов»

Вечер я провел над путеводителем по железным дорогам. Добраться до Горелова можно было таким образом: завтра выехать в два часа дня с московским почтовым поездом, проехать 30 верст по железной дороге, высадиться на станции N., а от нее двадцать две версты поехать на санях до Гореловской больницы.

«При удаче я буду в Горелове завтра ночью,— думал я, лежа в постели.— Чем он заболел? Тифом, воспалением легких? Ни тем, ни другим... Тогда бы он и написал просто: «я заболел воспалением легких». А тут сумбуриное, чуть-чуть фальшивое письмо... «Тяжко... и нехорошо заболел...» Чем? Сифилисом? Да, несомненно, сифилисом. Он в ужасе... он скрывает... он бонтсся... Но на каких лошадях, интересно знать, я со станции поеду в Горелово? Плохой номер выйдет, как приедешь на станцию в сумерки, а добраться-то будет и не на чем... Ну, нет. Уж я найду способ. Найду у кого-нибудь лошадей на станции. Послать телеграмму, чтоб он выслал лошадей! Ни к чему! Телеграмма придет через день после моего приезда... Она ведь по воздуху в Горелово не перелетит. Будет лежать на станции, пока не случится оказия. Знаю я это Горелово. О, медвежий угол!»

Письмо на бланке лежало на ночном столике в круге света от лампы, и рядом стояла спутница раздражительной бессонницы, с щетиной окурков, пепельница. Я ворочался на скомканной простыне, и досада рождалась в душе. Письмо начало раздражать меня.

В самом деле: если ничего острого, а, скажем, сифилис, то почему он не едет сюда сам? Зачем я должен иестись через вьюгу к нему? Что, я в один вечер вылечу его от люеса, что ли? Или от рака пищевода? Да какой там рак! Он на два года моложе меня. Ему 25 лет... «Тяжко...» Саркома? Письмо иелепое, истерическое.

Письмо, от которого у получающего может сделаться мигрень... И вот она налицо. Стягивает жилку на виске... Утром проснешься, стало быть, и от жилки полезет вверх на темя, скует полголовы, и будешь к вечеру глотать пирамидон с кофенином. А каково в санях с пирамидоном? Надо будет у фельдшера шубу взять разъездную, замерзнешь завтра в своем пальто... Что с ним такое?.. «Надежда блеснет...» в романах так пишут, и вовсе не в серьезных докторских письмах!.. Спать, спать... Не думать больше об этом. Завтра все станет ясно... Завтра».

Я привернул выключатель, и мгновенно тьма съела мою комнату. Спать... Жилка ноет... Но я не имею права сердиться на человека за нелепое письмо, еще не зная, в чем дело. Человек страдает по-своему, вот пишет другому. Ну, как умеет, как понимает... И недостойно из-за мигрени, из-за беспокойства порочить его хотя бы мысленно. Может быть, это и не фальшивое и не романическое письмо. Я не видел его, Сережку Полякова, два года, но помню его отлично. Он был всегда очень рассудительным человеком... Да. Значит, стряслась какая-то беда... И жилка моя легче...

Видно, сон идет. В чем механизм сна?.. Читал в физиологии... но история темная... не понимаю, что значит сон... как засыпают мозговые клетки?! Не понимаю, говорю, по секрету. Да почему-то уверен, что и сам составитель физиологии тоже не очень твердо уверен... Одна теория стоит другой... Вон стоит Сережка Поляков в зеленой тужурке с золотыми пуговицами над цинковым столом, а на столе труп...

Хм, да... ну это сон...

III

Тук, тук... Бух, бух, бух... Ага... Кто? Кто? Что?.. Ах, стучат, ах, черт, стучат... Где я? Что я?.. В чем дело? Да, у себя в постели... Почему же меня будят? Имеют право потому, что я дежурный. Проснитесь, доктор Бомгард. Вон Марья зашлепала к двери открывать. Сколько времени? Половина первого... Ночь. Спал я, значит, только один час. Как мигрень? Налицо. Вот она!

В дверь тихо постучали.

— В чем дело?

Я приоткрыл дверь в столовую. Лицо сиделки глянуло на меня из темноты, и я разглядел сразу, что оно бледно, что глаза расширены, взбудоражены.

— Кого привезли?

— Доктора с Гореловского участка,— хрипло и громко ответила сиделка,— застрелился доктор.

По-ля-ко-ва? Не может быть! Полякова?!

Фамилии-то я не знаю.

Вот что... Сейчас, сейчас иду. А вы бегите к главному

врачу, будите его, сию секунду. Скажите, что я вызываю его срочно в приемный покой.

Сиделка метнулась — и белое пятно исчезло из глаз.

Через две минуты злая вьюга, сухая и колючая, хлестнула меня по щекам на крыльце, вздула полы пальто, оледенила испуганное тело.

В окнах приемного покоя полыхал свет белый и беспокойный. На крыльце, в туче снега, я столкнулся со старшим врачом стремившимся туда же, куда и я.

— Ваш? Поляков? — спросил, покашливая, хирург.

— Ничего не пойму. Очевидно, он, — ответил я, и мы стремительно вошли в покой.

С лавки навстречу поднялась закутанная женщина. Знакомые глаза заплаканно глянули на меня из-под края бурого платка. Я узнал Марью Власьевну, акушерку из Горелова, верную мою помощницу во время родов в Гореловской больнице.

— Поляков? — спросил я.

— Да, — ответила Марья Власьевна, — такой ужас, доктор, ехала, дрожала всю дорогу, лишь бы довести...

— Когда?

— Сегодня утром на рассвете, — бормотала Марья Власьевна, — прибежал сторож, говорит... «у доктора выстрел в квартире...».

Под лампой, изливающей скверный тревожный свет, лежал доктор Поляков, и с первого же взгляда на его безжизненные, словно каменные, ступни валенок у меня привычно екнуло сердце.

Шапку с него сняли — и показались слипшиеся, влажные волосы. Мои руки, руки сиделки, руки Марьи Власьевны замескали над Поляковым, и белая марля с расплывавшимися желто-красными пятнами вышла из-под пальто. Грудь его поднималась слабо. Я пощупал пульс и дрогнул, пульс исчезал под пальцами, тянулся и срывался в ниточку с узелками, частыми и непрочными. Уже тянулась рука хирурга к плечу, брала бледное тело в шипок на плече, чтобы впрыснуть камфару. Тут раненый расклеил губы, причем на них показалась розоватая кровавая полоска, чуть шевельнул синими губами и сухо, слабо выговорил:

— Бросьте камфару. К черту.

— Молчите, — ответил ему хирург и толкнул желтое масло под кожу.

— Сердечная сумка, надо полагать, задета, — шепнула Марья Власьевна, цепко взялась за край стола и стала всматриваться в бесконечные веки раненого (глаза его были закрыты). Тени серо-фиолетовые, как тени заката, все ярче стали зацветать в углублениях у крыльев носа, и мелкий, точно ртутный, пот росой выступал на тенях.

— Револьвер? — дернув щекой, спросил хирург.

— Браунинг, — пролепетала Марья Власьевна.

— Э-эх, — вдруг, как бы злобно и досадуя, сказал хирург и вдруг, махнув рукой, отошел.

Я испуганно обернулся к нему, не понимая. Еще чьи-то глаза мелькнули за плечом. Подошел еще один врач.

Поляков вдруг шевельнул ртом, криво, как сонный, когда хочет согнать липнущую муху, а затем его нижняя челюсть стала двигаться, как бы он давился комочком и хотел его проглотить. Ах, тому, кто видел скверные револьверные или ружейные раны, хорошо знакомо это движение! Марья Власьевна болезненно сморщилась, вздохнула.

— Доктора Бомгарда...— еле слышно сказал Поляков.

— Я здесь,— шепнул я, и голос мой прозвучал нежно у самых его губ.

— Тетрадь вам...— хрипло и еще слабее отозвался Поляков.

Тут он открыл глаза и возвел их к нерадостному, уходящему в темь потолку покоя. Как будто светом изнутри стали наливаться темные зрачки, белок глаз стал как бы прозрачен, голубоват. Глаза остановились в выси, потом помутнели и потеряли эту мимолетную красу.

Доктор Поляков умер.

Ночь. Близ рассвета. Лампа горит очень ясно, потому что городок спит и току электрического много. Все молчит, а тело Полякова в часовне. Ночь.

На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат вскрытый конверт и листок. На нем написано:

«Милый товарищ!

Я не буду Вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю: будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда мне казались человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует вас, прочтите историю моей болезни.

Прощайте, Ваш С. Поляков».

Приписка крупными буквами:

«В смерти моей прошу никого не винить.

Лекарь Сергей Поляков.

13 февраля 1918 года».

Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке. Первая половина страниц из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи, вначале карандашом или чернилами, четким мелким почерком, в конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым красным, почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами.

«...7 год*, 20-го января.

...и очень рад. И слава богу: чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу, а здесь я никаких людей не увижу, кроме больных и крестьян. Но они ведь ничем не тронут моей раны? Других, впрочем, не хуже моего рассадили по земским участкам. Весь мой выпуск, не подлежащий призыву на войну (ратники ополчения 2-го разряда выпуска 1916 г.), разместили в земствах. Впрочем, это неинтересно никому. Из приятелей узнал только об Иванове и Бомгарде. Иванов выбрал Архангельскую губернию (дело вкуса), а Бомгард, как говорила фельдшерица, сидит на глухом участке вроде моего за три уезда от меня в Горелове. Хотел ему написать, но раздумал. Не желаю видеть и слышать людей.

21 января.

Вьюга. Ничего.

25 января.

Какой ясный закат. Мигренин — соединение *antipyrgina coffeina* и *ас citric*.

В порошках по 1,0... разве можно по 1,0?.. Можно.

3 февраля.

Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. «Аида» шла на прошлой неделе. Значит, она выходила на возвышение и пела: «Мой милый друг, приди ко мне...»

У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный дан темной душонке...

(здесь перерыв, вырваны две или три страницы.)

...конечно, недостойно, доктор Поляков. Да и гимназически — глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла! Не хочет жить — ушла. И конец. Как все просто, в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом, пожила год и ушла.

Убить ее? Убить? Ах, как все глупо, пусто. Безнадежно!

Не хочу думать. Не хочу...

11 февраля.

Все вьюги да вьюги... Заносит меня! Целыми вечерами я один, один. Зажигаю лампу и сижу. Днем-то я еще вижу людей. Но работаю механически. С работой я свыкся. Она не так страшна, как я думал раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Все-таки не вовсе неграмотным я приехал сюда.

Сегодня в первый раз делал операцию поворота.

Итак, три человека погребены здесь под снегом: я, Анна Кирилловна — фельдшерица-акушерка и фельдшер. Фельдшер женат. Они (фельдш. персонал) живут во флигеле. А я один.

* Несомненно, 1917 год. — Д-р Бомгард.

15 февраля.

Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие! Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина — сомнительная наука, должен заметить. Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника (аппенд., напр.), у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели?

Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим, Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего?

Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим, а Анна Кирилловна очень милый и развитой человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену.

Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через семь минут после укола. Интересно: боли шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты через четыре после укола я стал различать волнообразность боли.

Было бы очень хорошо, если б врач имел возможность на себе проверить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их действия. После укола впервые за последние месяцы спал глубоко и хорошо, — без мыслей о моей, обманувшей меня.

16 февраля.

Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня нехмурым.

— Разве я хмурый?

— Очень, — убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу.

— Такой уж я человек.

Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейной драмы.

Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли, где-то за грудную костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро один сантиграмм.

Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек.

18-го.

Четыре укола не страшны.

25-го февраля.

Чудак эта Анна Кирилловна! Точно я не врач, 1^{1/2} шприца morph. Да.

1-го марта.

Доктор Поляков, будьте осторожны!

Вздор.

Сумерки.

Но вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщине. Мотив из партии ее Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я — мужчина.

Анна К. стала моей тайной женой. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров.

Снег изменился, стал как будто серее. Лютых морозов уже нет, но метели по временам возобновляются...

Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием. В самом деле: куда к черту годится человек, если малейшая невралгика может выбить его совершенно из седла!

Анна К. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства отличался громадной силой воли.

2 марта.

Слухи о чем-то грандиозном. Будто бы свергли Николая II.

Я ложусь спать очень рано. Часов в девять. И сплю сладко.

10 марта.

Там происходит революция. День стал длиннее, а сумерки

как будто чуть голубоватее.

Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны.

Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачен.

Так что вот, — я вижу жутко освещенную лампу, из нее пышет разноцветная лента огней. Амнерис, колыша зеленым пером, поет. Оркестр, совершенно неземной, необыкновенно полнозвучен. Впрочем, я не могу передать это словами. Одним словом, в нормальном сне музыка беззвучна... (в нормальном? Еще вопрос, какой сон нормальнее! Впрочем, шучу...) беззвучна, а в моем сне она слышна совершенно небесно. И главное, что я по своей воле могу усилить или ослабить музыку. Помнится, в «Войне и мире» описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой — замечательный писатель!

Теперь о прозрачности; так вот, сквозь переливающиеся краски Айды выступает совершенно реально край моего письменного стола, видный из двери кабинета, лампа, лоснящийся пол, и слышны, прорываясь сквозь волну оркестра Большого театра, ясные шаги, ступающие приятно, как глухие кастаньеты.

Значит, — восемь часов, — это Анна К., идет ко мне будить меня и сообщить, что делается в приемной.

Она не догадывается, что будить меня не нужно, что я все слышу и могу разговаривать с нею.

И такой опыт я проделал вчера:

А н н а. — Сергей Васильевич...

Я. — Я слышу... (тихо музыке — «сильнее»).

Музыка — великий аккорд.

Ре-диез...

А н н а. — Записано двадцать человек.

А м н е р и с (поет).

Впрочем, этого на бумаге передать нельзя.

Вредны ли эти сны? О нет. После них я встаю сильным и бодрым. И работаю хорошо. У меня даже появился интерес, а раньше его не было. Да и мудрено, все мои мысли были сосредоточены на бывшей жене моей.

А теперь я спокоен.

Я спокоен.

19 марта.

Ночью у меня была ссора с Анной К.

— Я не буду больше готовить раствор.

Я стал ее уговаривать:

— Глупости, Аннуся. Что я, маленький, что ли?

— Не буду. Вы погибнете.

— Ну, как хотите. Поймите, что у меня боли в груди!

— Лечитесь.

— Где?

— Уезжайте в отпуск. Морфием не лечатся. (Потом подумала и добавила.) — Я простить себе не могу, что приготовила вам тогда вторую склянку

- Да что я, морфинист, что ли?
- Да, вы становитесь морфинистом.
- Так вы не пойдете?
- Нет.

Тут я впервые обнаружил в себе неприятную способность злиться и, главное, кричать на людей, когда я не прав.

Впрочем, это не сразу. Пошел в спальню. Посмотрел. На донышке склянки чуть плескалось. Набрал в шприц,— оказалось четверть шприца. Швырнул шприц, чуть не разбил его и сам задрожал. Бережно поднял, осмотрел,— ни одной трещинки. Просидел в спальне около 20 минут. Выхожу,— ее нет.

Ушла.

Представьте себе,— не вытерпел, пошел к ней. Постучал в ее флигеле в освещенное окно. Она вышла, закутавшись в платок, на крылечко. Ночь тихая, тихая. Снег рыхл. Где-то далеко в небе тянет весной.

— Анна Кирилловна, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки.

Она шепнула:

— Не дам.

— Товарищ, будьте добры, дайте мне ключи от аптеки. Я говорю вам, как врач.

Вижу в сумраке: ее лицо изменилось, очень побелело, а глаза углубились, провалились, почернели. И она ответила голосом, от которого у меня в душе шелохнулась жалость.

Но тут же злость опять наплыла на меня.

Она:

— Зачем, зачем вы так говорите? Ах, Сергей Васильевич, я — жалею вас.

И тут высвободила руки из-под платка, и я вижу, что ключи у нее в руках. Значит, она вышла ко мне и захватила их.

Я (грубо):

— Дайте ключи!

И вырвал их из ее рук.

И пошел к белеющему корпусу больницы по гнилым, прыгающим мосткам.

В душе у меня ярость шипела, и прежде всего потому, что я ровным счетом понятия никакого не имею о том, как готовить раствор морфия для подкожного впрыскивания. Я врач, а не фельдшерица!

Шел и трясся.

И слышу: сзади меня, как верная собака, пошла она. И нежность взмыла во мне, но я задушил ее. Повернулся и, оскалившись, говорю:

— Сделаете или нет?

И она взмахнула рукою, как обреченная, «все равно, мол», и тихо ответила:

— Давайте сделаю...

...Через час я был в нормальном состоянии. Конечно, я попросил у нее извинения за бессмысленную грубость. Сам не знаю, как это со мной произошло. Раньше я был вежливым человеком.

Она отнеслась к моему извинению странно. Опустилась на колени, прижалась к моим рукам и говорит:

— Я не сержусь на вас. Нет. Я теперь уже знаю, что вы пропали. Уж знаю. И себя я проклиная за то, что я тогда сделала вам впрыскивание.

Я успокоил ее как мог, уверив, что она здесь ровно ни при чем, что я сам отвечаю за свои поступки. Обещал ей, что с завтрашнего дня начну серьезно отвыкать, уменьшая дозу.

— Сколько вы сейчас впрыснули? <...>

— Да не волнуйтесь вы!

...В сущности говоря, мне понятно ее беспокойство. Действительно, *Morphium hydrochloricum* грозная штука, привычка создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм?..

...По правде говоря, эта женщина единственный верный настоящий мой человек. И, в сущности, она и должна быть моей женой. Ту я забыл. Забыл. И все-таки спасибо за это морфию...

8 апреля 1917 года.

Это мучение.

9 апреля.

Весна ужасна.

Черт в склянке. Кокаин — черт в склянке.

Действие его таково:

При впрыскивании <...> почти мгновенно наступает состояние спокойствия, тотчас переходящее в восторг и блаженство. И это продолжается только одну, две минуты. И потом все исчезает бесследно, как не было. Наступает боль, ужас, тьма. Весна гремит, черные птицы перелетают с обнаженных ветвей на ветви, а вдали лес щетиной, ломаной и черной, тянется к небу, и за ним горит, охватив четверть неба, первый весенний закат.

Я меряю шагами одинокую пустую большую комнату в моей докторской квартире по диагонали от дверей к окну, от окна к дверям. Сколько таких прогулок я могу сделать? Пятнадцать или шестнадцать — не больше. А затем мне нужно поворачивать и идти в спальню. На марле лежит шприц рядом со склянкой. Я беру его и, небрежно смазав йодом исколотое бедро, всаживаю иголку в кожу. Никакой боли нет. О, наоборот: я предвкушаю эйфорию, которая сейчас возникнет. И вот она возникает. Я узнаю об этом потому, что звуки гармошки, на которой играет обрадовавшийся весне сторож Влас на крыльце, рваные, хриплые звуки гармошки, глухо летящие сквозь стекло ко мне, становятся ангельскими голосами, а грубые басы в раздувающихся мехах

гудят, как небесный хор. Но вот мгновение, и кокаин в крови по какому-то таинственному закону, не описанному ни в какой из фармакологий, превращается во что-то новое. Я знаю: это смесь дьявола с моей кровью. И никнет Влас на крыльце, и я ненавижу его, а закат, беспокойно громыхая, выжигает мне внутренности. И так несколько раз подряд, в течение вечера, пока я не пойму, что отравлен. Сердце начинает стучать так, что я чувствую его в руках, в висках... а потом оно проваливается в бездну, и бывают секунды, когда я мыслю о том, что более доктор Поляков не вернется к жизни...

13 апреля.

Я — несчастный доктор Поляков, заболевший в феврале этого года морфинизмом, предупреждаю всех, кому выпадет на долю такая же участь, как и мне, не пробовать заменить морфий кокаином. Кокаин — сквернейший и коварнейший яд. Вчера Анна еле отходила меня камфарой, а сегодня я — полутруп..

6-го мая 1917 года.

Давненько я не брался за свой дневник. А жаль. По сути дела, это не дневник, а история болезни, и у меня, очевидно, профессиональное тяготение к моему единственному другу в мире (если не считать моего скорбного и часто плачущего друга Анны).

Итак, если вести историю болезни, то вот: я впрыскиваю себе морфий два раза в сутки <...>

Прежние мои записи несколько истеричны. Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями, я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачевным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. Но другое меня мучает. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. И мне тяжело на приеме чувствовать на своей спине тяжелый пытливый взгляд моего ассистента-фельдшера.

Взор! Он не догадывается. Ничто не выдаст меня. Зрачки меня могут предать лишь вечером, а вечером я никогда не сталкиваюсь с ним.

Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина, которого у нас сколько угодно, и говорит:

— 40 грамм морфия?

И я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснею.

Он говорит:

— Нет у нас такого количества. Граммов десять дам.

И действительно, у него нет, но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он шупает и сверлит меня глазами, и я волнуюсь и мучаюсь.

Нет, зрочки, только зрочки опасны, и поэтому поставлю себе за правило: вечером с людьми не сталкиваться. Удобнее, впрочем, места, чем мой участок, для этого не найти, вот уже более полу года я никого не вижу, кроме моих больных. А им до меня дела нет никакого.

18 мая.

Душная ночь. Будет гроза. Брюхо черное вдали за лесом растет и пучится. Вон и блеснуло бледно и тревожно. Идет гроза.

Книга у меня перед глазами, и в ней написано по поводу воздержания от морфия:

«...большое беспокойство, тревожное тоскливое состояние, раздражительность, ослабление памяти, иногда галлюцинация и небольшая степень затемнения сознания...»

Галлюцинаций я не испытывал, но по поводу остального я могу сказать: — о, какие тусклые, казенные, ничего не говорящие слова!

«Тоскливое состояние»!..

Нет, я, заболевший этой ужасной болезнью, предупреждаю врачей, чтобы они были жалостливее к своим пациентам. Не «тоскливое состояние», а смерть медленная овладевает морфином, лишь только вы на час или два лишите его морфия. Воздух не сытный, его глотать нельзя... в теле нет клеточки, которая бы не жаждала... Чего? Этого нельзя ни определить, ни объяснить. Словом, человека нет. Он выключен. Двигается, тоскует, страдает труп. Он ничего не хочет, ни о чем не мыслит, кроме морфия. Морфия!

Смерть от жажды — райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Так заживо погребенный, вероятно, ловит последние ничтожные пузырьки воздуха в гробу и раздирает кожу на груди ногтями. Так еретик на костре стонет и шевелится, когда первые языки пламени лижут его ноги...

Смерть — сухая, медленная смерть...

Вот что кроется под этими профессорскими словами «тоскливое состояние».

Больше не могу. И вот взял и сейчас уколол себя. Вдох. Еще вдох.

Легче. А вот... вот... мятный холодок под ложечкой..

<...> Этого мне хватит до полуночи...

Вздор. Эта запись — вздор. Не так страшно. Рано или поздно я брошу!.. А сейчас спать, спать.

Эта глупую борьбой с морфием я только мучаю и ослабляю себя.

(Далее в тетради вырезано десятка два страниц.)

...ря

...ять рвота в 4 час. 30 минут.

Когда мне полегчает, запишу свои ужасные впечатления.

14 ноября 1917 г.

Итак, после побега из Москвы из лечебницы доктора... (фамилия тщательно зачеркнута) я вновь дома. Дождь льет пеленою и скрывает от меня мир. И пусть скроет его от меня. Он не нужен мне, как и я никому не нужен в мире. Стрельбу и переворот я пережил еще в лечебнице. Но мысль бросить это лечение воровски созрела у меня еще до боя на улицах Москвы. Спасибо морфию за то, что он сделал меня храбрым. Никакая стрельба мне не страшна. Да и что вообще может испугать человека, который думает только об одном, — о чудных божественных кристаллах. Когда фельдшерница, совершенно терроризованная пушечным буханием....

(здесь страница вырвана.)

...вал эту страницу, чтоб никто не прочитал позорного описания того, как человек с дипломом бежал воровски и трусливо и крал свой собственный костюм.

Да что костюм!

Рубашку я захватил больничную. Не до того было. На другой день, сделав укол, ожил и вернулся к доктору Н. Он встретил меня жалостливо, но сквозь эту жалость сквозило все-таки презрение. И это напрасно. Ведь он — психиатр и должен понимать, что я не всегда владею собой. Я болен. Что ж презирать меня? Я вернул больничную рубашку.

Он сказал:

— Спасибо, — и добавил: — что же вы теперь думаете делать?

Я сказал бойко (я был в этот момент в состоянии эйфории):

— Я решил вернуться к себе в глушь, тем более что отпуск мой истек. Я очень благодарен вам за помощь, я чувствую себя значительно лучше. Буду продолжать лечиться у себя.

Ответил он так:

— Вы ничуть не чувствуете себя лучше. Мне, право, смешно, что вы говорите это мне. Ведь одного взгляда на ваши зрачки достаточно. Ну, кому вы говорите?..

— Я, профессор, не могу сразу отвыкнуть... в особенности теперь, когда происходят все эти события... меня совершенно издергала стрельба...

— Она кончилась. Вот новая власть. Ложитесь опять.

Тут я вспомнил все. холодные коридоры.. пустые, масляной краской выкрашенные стены.. и я ползу, как собака с перебитой ногой... чего-то жду... Чего? Горячей ванны?.. Укольчика в

0,05 морфия. Дозы, от которой, правда, не умирают... но только... а вся тоска остается, лежит бременем, как и лежала... Пустые ночи, рубашку, которую я изорвал на себе, умоляя, чтобы меня выпустили?..

Нет. Нет. Изобрели морфий, вытянули его из высохших щелкающих головок божественного растения, ну так найдите же способ и лечить без мучений! Я упрямо покачал головой. Тут он приподнялся, и я вдруг испуганно бросился к двери. Мне показалось, что он хочет запереть за мною дверь и силою удержать меня в лечебнице...

Профессор побагровел.

— Я не тюремный надзиратель, — не без раздражения молвил он, — и у меня не Бутырки. Сидите спокойно. Вы хвастались, что вы совершенно нормальны, две недели назад. А между тем... — он выразительно повторил мой жест испуга, — я вас не держу-с.

— Профессор, верните мне мою расписку. Умоляю вас, и даже голос мой жалостливо дрогнул.

— Пожалуйста.

Он щелкнул ключом в столе и отдал мне мою расписку (о том, что я обязуюсь пройти весь двухмесячный курс лечения и что меня могут задержать в лечебнице и т. д., словом, обычного типа).

Дрожащей рукой я принял записку и спрятал, пролепетав:

— Благодарю вас.

Затем встал, чтобы уходить. И пошел.

— Доктор Поляков! — раздалось мне вслед. Я обернулся, держась за ручку двери. — Вот что, — заговорил он, — одумайтесь. Поймите, что вы все равно попадете в психиатрическую лечебницу, ну, немножко попозже... И притом попадете в гораздо более плохом состоянии. Я с вами считался все-таки как с врачом. А тогда вы придете уже в состоянии полного душевного развала. Вам, голубчик, в сущности, и практиковать нельзя и, пожалуй, преступно не предупредить ваше место службы.

Я вздрогнул и ясно почувствовал, что краска сошла у меня с лица (хотя и так ее очень немного у меня).

— Я, — сказал я глухо, — умоляю вас, профессор, ничего ни кому не говорить... Что ж, меня удалят со службы... Ославят больным... За что вы хотите мне это сделать?

— Идите, — досадливо крикнул он, — идите. Ничего не буду говорить. Все равно вас вернут...

Я ушел и, клянусь, всю дорогу дергался от боли и стыда... Почему?..

Очень просто. Ах, мой друг, мой верный дневник. Ты-то ведь не выдашь меня? Дело не в костюме, а в том, что я в лечебнице украл морфий. 3 кубика в кристаллах и 10 грамм однопроцентного раствора.

Меня интересует не только это, а еще вот что. Ключ в шкафу торчал. Ну, а если бы его не было? Взломал бы я шкаф или нет? А? По совести?

Взломал бы.

Итак, доктор Поляков — вор. Страницу я успею вырвать.

Ну, насчет практики он все-таки пересолил. Да, я дегенерат. Совершенно верно. У меня начался распад моральной личности. Но работать я могу, я никому из моих пациентов не могу причинить зла или вреда.

Да, почему украл? Очень просто. Я решил, что во время боев и всей кутерьмы, связанной с переворотом, я нигде не достану морфия. Но когда утихло, я достал еще в одной аптеке на окраине — <...> раствора — вещь для меня бесполезная и нудная. <...>. И унижаться еще пришлось. Фармацевт потребовал печать, смотрел на меня хмуро и подозрительно. Но зато на другой день я, придя в норму, получил без всякой задержки в другой аптеке <...> — написал рецепт для больницы (попутно, конечно, выписал кофеин и аспирин). Да в конце концов, почему я должен прятаться, бояться? В самом деле, точно на лбу у меня написано, что я — морфинист? Кому какое дело, в конце концов?

Да и велик ли распад? Привожу в свидетели эти записи. Они отрывочны, но ведь я же не писатель! Разве в них какие-нибудь безумные мысли? По-моему, я рассуждаю совершенно здраво.

У морфиниста есть одно счастье, которое у него никто не может отнять, — способность проводить жизнь в полном одиночестве. А одиночество — это важные, значительные мысли, это созерцание, спокойствие, мудрость...

Ночь течет, черна и молчалива. Где-то оголенный лес, за ним речка, холод, осень. Далеко, далеко взъерошенная буйная Москва. Мне ни до чего нет дела, мне ничего не нужно, и меня никуда не тянет.

Гори, огонь, в моей лампе, гори тихо, я хочу отдохнуть после московских приключений, я хочу их забыть.

И забыл.

Забыл.

18-го ноября.

Заморозки. Подсохло. Я вышел пройтись к речке по тропинке, потому что я почти никогда не дышу воздухом.

Распад личности — распадом, но все же я делаю попытки воздерживаться от него. Например, сегодня утром я не делал

впрыскивания. <...> Мне жаль Анны. Каждый новый процент убивает ее. Мне жаль. Ах, какой человек!

Да... Так... вот... когда стало плохо, я решил все-таки помучиться (пусть бы полюбовался на меня профессор N) и оттянуть укол и ушел к реке.

Какая пустыня. Ни звука, ни шороха. Сумерек еще нет, но они где-то притаились и ползут по болотцам, по кочкам, меж пней... Идут, идут к Левковской больнице... И я ползу, опираясь на палку (сказать по правде, я несколько ослабел в последнее время).

И вот вижу, от речки по склону летит ко мне быстро и ножками не перебирает под своей пестрой юбкой колоколом старушонка с желтыми волосами... В первую минуту я ее не понял и даже не испугался. Старушонка как старушонка. Странно — почему на холоде старушонка простоволосая, в одной кофточке?.. А потом, откуда старушонка, какая? Кончится у нас прием в Левкове, разбедутся последние мужицкие сани, и на десять верст кругом — никого. Туманцы, болотца, леса! А потом вдруг пот холодный потек у меня по спине — понял! Старушонка не бежит, а именно летит, не касаясь земли. Хорошо? Но не это вырвало у меня крик, а то, что в руках у старушонки вилы. Почему я так испугался? Почему? Я упал на одно колено, простирая руки, закрываясь, чтобы не видеть ее, потом повернулся и, ковыляя, побежал к дому, как к месту спасения, ничего не желая, кроме того, чтобы у меня не разрывалось сердце, чтобы я скорее вбежал в теплые комнаты, увидел живую Анну... и морфию...

И я прибежал.

Вздор. Пустая галлюцинация. Случайная галлюцинация.
19-го ноября.

Рвота. Это плохо.

Ночной мой разговор с Анной 21-го.

А н н а.— Фельдшер знает.

Я.— Неужели? Все равно. Пустяки.

А н н а.— Если не уедешь отсюда в город, я удавлюсь. Ты слышишь?

Посмотри на свои руки, посмотри.

Я.— Немного дрожат. Это ничуть не мешает мне работать.

А н н а.— Ты посмотри — они же прозрачны. Одна кость и кожа...

Погляди на свое лицо... Слушай, Сережа, уезжай, заклинаю тебя, уезжай...

Я.— А ты?

А н н а.— Уезжай. Уезжай. Ты погибаешь.

Я.— Ну, это сильно сказано. Но я действительно сам не пойму, почему так быстро я ослабел? Ведь неполный год, как я болею. Видно, такая конституция у меня.

А н н а (печально).— Что тебя может вернуть к жизни? Может быть, эта твоя Амнерис-жена?

Я.— О нет. Успокойся. Спасибо морфию, он меня избавил от нее.

А н н а.— Ах ты, боже... что мне делать?..

Я думал, что только в романах бывают такие, как эта Анна. И если я когда-нибудь поправлюсь, я навсегда соединю свою судьбу с нею. Пусть тот не вернется из Германии.

27-го декабря.

Давно я не брал в руки тетрадь. Я закутан, лошади ждут. Бомгард уехал с Гореловского участка, и меня послали заметить его. На мой участок — женщина-врач.

Анна — здесь... Будет приезжать ко мне...

Хоть 30 верст.

Решили твердо, что с 1 января я возьму отпуск на один месяц по болезни — и к профессору в Москву. Опять я дам подписку, и месяц я буду страдать у него в лечебнице нечеловеческой мук.

Прощай, Левково. Анна, до свиданья.

1918 год

Январь.

Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим растворимым божком.

Во время лечения я погибну.

И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно.

15-го января.

Рвота утром.

Три шприца четырехпроцентного раствора в сумерки.

Три шприца четырехпроцентного раствора ночью.

16-го января.

Операционный день, потому большое воздержание — с ночи до 6 часов вечера.

В сумерки — самое ужасное время — уже на квартире слышал отчетливо голос, монотонный и угрожающий, который повторял: — Сергей Васильевич. Сергей Васильевич.

После впрыскивания все прошло сразу.

17-го января.

Вьюга — нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб, надежды нет.

Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество.

Здесь нужно быть осторожным — здесь фельдшер и две акушерки. Нужно быть очень внимательным, чтобы не выдать себя. Я стал опытен и не выдам. Никто не узнает, пока у меня есть запас морфия. Растворы я готовлю сам или посылаю Анне заблаговременно рецепт. Один раз она сделала попытку (нелепую) подменить пятипроцентный двухпроцентным. Сама привезла его из Левкова в стужу и буран.

Из-за этого у нас была тяжелая ссора ночью. Убедил ее не делать этого. Здешнему персоналу я сообщил, что болен. Долго ломал голову, какую бы болезнь придумать. Сказал, что у меня ревматизм ног и тяжелая неврастения. Они предупреждены, что я уезжаю в феврале в отпуск в Москву лечиться. Дело идет гладко. В работе никаких сбоев. Избегаю оперировать в те дни, когда у меня начинается неудержимая рвота с икотой. Поэтому пришлось приписать и катар желудка. Ах, слишком много болезней у одного человека!

Персонал здешний жалостлив и сам гонит меня в отпуск.

Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью.

Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда 15 фунтов. Испугался, взглянув на стрелку, потом это прошло.

На предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же на бедрах. Я не умею стерильно готовить растворы, кроме того, раза три я впрыскивал некипяченым шприцем, очень спешил перед поездкой.

Это недопустимо.

18-го января.

Была такая галлюцинация: жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог.

Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому своему действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно это мучение, а не жизнь!

Гладко ли я выражаю свои мысли? По-моему, гладко.

Жизнь? Смешно!

19-го января.

Сегодня во время антракта на приеме, когда мы отдыхали и

курили в аптеке, фельдшер, крутя порошки, рассказывал (почему-то со смехом), как одна фельдшерица, болея морфинизмом и не имея возможности достать морфий, принимала по полрюмки опийной настойки. Я не знал, куда девать глаза во время этого мучительного рассказа. Что тут смешного? Мне он ненавистен. Что смешного в этом? Что?

Я ушел из аптеки воровской походкой.

«Что вы видите смешного в этой болезни?..»

Но удержался, удерж...

В моем положении не следует быть особенно заносчивым с людьми.

Ах, фельдшер. Он так же жесток, как эти психиатры, не умеющие ничем, ничем, ничем помочь больному.

Предыдущие строки написаны во время воздержания, и в них много несправедливого.

1 февраля.

Анна приехала. Она желта, больна.

Доконал я ее. Доконал. Да, на моей совести большой грех.

Дал ей клятву, что уезжаю в середине февраля.

Исполню ли ее?

Да. Исполню.

Е. т. буду жив.

3 февраля.

Итак: горка. Ледяная и бесконечная, как та, с которой в детстве сказочного Кая уносили сани. Последний мой полет по этой горке, и я знаю, что ждет меня внизу. Ах, Анна, большое горе будет вскоре, если ты любила меня...

11 февраля.

Я решил так. Обращусь к Бомгарду. Почему именно к нему? Потому что он не психиатр, потому что молод и товарищ по университету. Он здоров, силен, но мягок, если я прав. Помню его. Быть может, он над... я в нем найду участливость. Он что-нибудь придумает. Пусть отвезет меня в Москву. Я не могу к нему ехать. Отпуск я получил уже. Лежу. В больницу не хожу.

На фельдшера я наклеветал. Ну, смеялся... Неважно. Он приходил навещать меня. Предлагал выслушать.

Я не позволил. Опять предлоги для отказа? Не хочу выдумывать предлога.

Записка Бомгарду отправлена.

Люди! Кто-нибудь поможет мне?

Патетически я стал восклицать. И если кто-нибудь прочел бы это, подумал — фальшь. Но никто не прочт.

Перед тем как написать Бомгарду, все вспоминал. В особенности всплыл вокзал в Москве в ноябре, когда я убежал из Москвы. Какой ужасный вечер. Краденый морфий я впрыскивал в уборной... Это мучение. В двери ломились, голоса гремят, как железные, ругают за то, что я долго занимаю место, и руки прыгают, и прыгает крючок, того и гляди, распахнется дверь...

С тех пор и фурункулы у меня.

Плакал ночью, вспомнив это.

12-го ночью.

И опять плак. К чему эта слабость и мерзость ночью?

1918 года 13 февраля на рассвете в Гореловке

Могу себя поздравить: я без укола уже четырнадцать часов! Четырнадцать! Это немыслимая цифра. Светает мутно и беловато. Сейчас я буду совсем здоров?

По зрелому размышлению. Бомгард не нужен мне и не нужен никто. Позорно было бы хоть минуту длить свою жизнь. Такую — нет, нельзя. Лекарство у меня под рукой. Как я раньше не догадался?

Ну-с, приступаем. Я никому ничего не должен. Погубил я только себя. И Анну. Что же я могу сделать?

Время залечит, как пела Амнер. С ней, конечно, просто и легко.

Тетрадь Бомгарду. Все...

▼

На рассвете 14-го февраля 1918 года в далеком маленьком городке я прочитал эти записки Сергея Полякова. И здесь они полностью, без всяких каких бы то ни было изменений. Я не психиатр, с уверенностью не могу сказать, поучительны ли, нужны ли?

По-моему, нужны.

Теперь, когда прошло десять лет, — жалость и страх, вызванные записями, ушли. Это естественно, но, перечитав эти записки теперь, когда тело Полякова давно истлело, а память о нем совершенно исчезла, я сохранил к ним интерес. Может быть, они нужны? Беру на себя смелость решить это утвердительно. Анна К. умерла в 1922 г. от сыпного тифа, на том же участке, где работала. Амнерис — первая жена Полякова — за границей. И не вернется.

Могу ли я печатать записки, подаренные мне?

Могу. Печатаю. Доктор Бомгард.

1927 г. Осень

ПСАЛОМ

Первоначально кажется, что это крыса царапается в дверь. Но слышен очень вежливый человеческий голос:

— Можно зайти?

— Можно, пожалуйста.

Поют дверные петли.

— Иди и садись на диван.

(От двери).— А как я по паркету пойду?

— А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?

— Нициво.

— Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?

(Тягостная пауза).— Я ревел.

— Почему?

— Меня мать наслепала.

— За что?

(Напряженная пауза).— Я Сурке ухо укусил.

— Однако.

— Мама говорит, Сурка — негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал.

— Все равно, таких декретов нет, чтоб из-за копеек уши людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.

(Обида).— Я с тобой не возусь.

— И не надо.

(Пауза).— Папа приедет, я ему скажу. (Пауза).— Он тебя застрелит.

— Ах, так! Ну, тогда я чай не буду делать. К чему? Раз меня застрелят...

— Нет, ты чай делай.

— А ты выпьешь со мной?

— С конфетами? Да?

— Непременно.

— Я выпью.

На короточках два человеческих тела — большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джером Джерома.

— Стихи-то ты, наверно, забыл?

— Нет, не забыл.

— Ну, читай.

— Ку... Куплю я себе туфли...

— К фраку.

— К фраку, и буду петь по ночам...

— Псалом.

— Псалом... и заведу... себе собаку....

— Ни...

— Ни-це-во-о...

— Как-нибудь проживем.

— Нибудь как. Пра-зи-ве-ем.

— Вот именно. Чай закипит, выпьем, проживем.

(Глубокий вздох).— Пра-зи-ве-ем.

Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.

— Ты одинокий.

Джером падает на паркет. Страница угасает.

(Пауза).— Это кто же тебе говорил?

(Безмятежная ясность).— Мама.

— Когда?

— Тебе пуговицу когда присивала. Присивала. Присывает, присывает и говорит Натаске...

— Тек-с. Погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обварю. .
Ух!..

— Горящий, ух!

— Конфету какую хочешь, такую и бери.

— Вот я эту большую хочу.

— Подуй, подуй и ногами не болтай.

(Женский голос за сценой).— Славка!

Стучит дверь. Петли поют приятно.

— Опять он у вас. Славка, иди домой!

— Нет, нет, мы с ним чай пьем.

— Он же недавно пил.

(Тихая откровенность).— Я... не пил.

— Вера Ивановна. Идите чай пить.

— Спасибо, я недавно...

— Идите, идите, я вас не пушу...

— Руки мокрые... белье я вешаю...

(Непрощеный заступник).— Не смей мою маму тянуть.

— Ну, хорошо, не буду тянуть... Вера Ивановна, садитесь...

— Погодите, я белье повешу, тогда приду.

— Великолпно. Я не буду тушить керосинку.

— А ты, Славка, выпьешь, иди к себе. Спать. Он вам мешает.

— Я не месаяю. Я не салю.

Петли поют неприятно. Конусы в разные стороны. Чайник безмолвен.

— Ты уже спать хочешь?

— Нет, я не хочу. Ты мне сказку Расскажи.

— А у тебя уже глаза маленькие.

— Нет. Не маленькие, Расскажи.

— Ну, иди сюда, ко мне. Голову клади. Так. Сказку? Какую же тебе сказку рассказать? А?

— Про мальчика, про того...

— Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя, так и быть. Ну-с, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький, лет так приблизительно четырех. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.

— Угу... Как меня?

— Довольно красивый, но был он, к величайшему сожалению,— драчун. И дрался он чем ни попало — кулаками, и ногами, и даже калошами. А однажды на лестнице девочку из 8-го номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.

- Она сама дерется...
- Погоди. Это не о тебе речь идет
- Другой Славка?

Совершенно другой. На чем, бишь, я остановился? Да... Ну, натурально, пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же, в самом деле, драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик такой был, и, недолго думая, хватя его зубами за ухо, и пол-уха — как не бывало. Гвалт тут поднялся, Шурка орет, Славку порют, он тоже орет... Кой-как приклеили Шуркино ухо синдетиконом, Славку, конечно, в угол поставили... И вдруг — звонок... И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: «А, позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает: «Это я Славка». — «Ну, вот что, — говорит, — Славка, я — надзиратель над всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы. В Туркестан». Видит Славка, дело плохо, и чистосердечно раскаялся. «Признаюсь, — говорит, — что дрался, я и на лестнице играл в копейки, и маме бессовестно наврал — сказал, что не играл... Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь». — «Ну, — говорит надзиратель, — это другое дело. Тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние». И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: «Выбирай, что твоя душа хочет». А вот что Славка выбрал, я и забыл...

(Сладкий, сонный бас). — Велосипед!..

Да, да, вспомнил велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и в рожок трубит, а публика стоит на тротуаре, удивляется: «Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет?» А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи!» Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, и идут солдаты и марш играют, так что в ушах звенит...

— Уже?

Петли поют Коридор. Дверь. Белые руки, обнаженные по локоть.

— Боже мой. Давайте, я его раздену.

— Приходите же. Я жду.

— Поздно...

Нет, нет... И слышать не хочу...

— Ну, хорошо.

Конусы света. Начинает звенеть. Выше фитили. Джером не нужен — лежит на полу. В слюдяном окне керосинки — маленький радостный ад. Буду петь по ночам псалом. Как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален. Я не умею жить. Мучительнее всего в жизни — пуговицы. Они отваливаются, как будто

отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не придет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: «Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург». Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. Семь месяцев его нет, и три раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые, теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть.

Как радостно спели петли...

Конусов нет. В слюдяном окошке — черная мгла. Давно замолк чайник.

Свет лампы тысячью маленьких глазков глядит сквозь реденький сатинет.

— Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть.

— Вот поеду в Петербург, опять буду играть..

— Вы не поедете в Петербург... У Славки на шее такие же завитки, как и у вас... А у меня тоска, знаете ли. Скучно так, чрезвычайно как-то. Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы, пуго...

— Не целуйте меня... не целуйте... мне нужно уходить... Поздно...

— Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.

— Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?

— Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать, а у меня тоска... тоска....

— Что я делаю... что вы делаете...

Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла.

Пуговиц нет. Я куплю Славке велосипед. Не куплю себе туфли к фракку, не буду петь по иочам псалом. Ничего, как-нибудь проживем.

1923 г.

ХАНСКИЙ ОГОНЬ

Когда солнце начало садиться за орешневские сосны и бог Аполлон Печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяна Михайловна прибежала уборщица Дунька и закричала:

— Иона Васильич! А, Иона Васильич! Идите, Татьяна Михайловна вас кличут. Насчет экскурсий. Хворая она. Во щека!

Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно.

Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне.

Ставии во флигельке были прикрыты, и уже в сеицах сильно пахло йодом и камфарным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка Мумка и белое заячье с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз.

— Аль зубы? — сострадательно прошамкал Иона.

— Зу-убы... — вздохнуло белое.

— У... у... у... вот она, история, — пособолеизовал Иона, — беда! То-то Цезарь воет, воет... Я говорю: чего, дурак, воешь среди бела дня? А? Ведь это к покойнику. Так ли я говорю? Молчи, дурак. На свою голову воешь. Куринный помет нужно прикладывать к щеке — как рукой сиимет.

— Иона... Иона Васильич, — слабо сказала Татьяна Михайловна, — день-то показательный — среда. А я выйти не могу. Вот горе-то. Вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами. Покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит.

— Ну, что ж... Велика мудрость. Пушай. И сами управимся. Присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки самое главное. Ходят, ходят разные... Долго ли ее... Возьмет какой-нибудь в карман, и поминай как звали. А отвечать — кому? Нам. Картину — ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?

— Дуняша с вами пойдет — сзади присмотрит. А если объяснений будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела.

— Ладно, ладно. А вы — пометом. Доктора — у них сейчас рвать, щеку резать. Одиому так-то вот вырвали, Федору орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе.

Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала:

— Идите, идите, Иона Васильич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже...

Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом.

УСАДЬБА-МУЗЕЙ
ХАНСКАЯ СТАВКА

Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям
от 6 до 8 час. веч.

И в половине седьмого из Москвы на дачиом поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых смеющихся людей человек в двадцать. Были среди них подростки в рубашках-хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в саидалиях на босу ногу, в черных стоптаных туфлях; юноши в тупоносых высоких сапогах.

И вот среди молодых оказался немолодой лет сорока, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до

колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой «1-е реальное училище», да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные — правая толще левой, и обе разрисованы на голених узловатыми венами.

Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы, но старого скорбного Иону голый поразило и удивило.

Голый между девушек, задрал голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен и борода подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голого. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голого залаял с особенной хрипотой, старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл — истошно, мучительно.

«Тьфу, окаянный, — злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя, — принесла нелегкая. И чего Цезарь воет. Ежели кто помрет, то уж пушай этот голый».

Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голого. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой красивой и подкрашенной и пожилой богатый господин-иностранец, в золотых очках колесами, широким светлом пальто, с тростью. Цезарь с голого перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на не известном никому языке.

Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал.

— Ноги о половичок вытирайте, — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул: «Посматривай, Дунь...» — и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей.

Те стали подниматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени.

Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней пло-

щадке экскурсанты, повернувшись, увидели пройденный провал лестницы, и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетаая куда-то, вились и розовели амуры.

— Смотри, смотри, Верочка,— зашептала толстая мать,— видишь, как князья жили в нормальное время.

Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице тихо, по-вечернему.

Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал:

— Растрелли строил. Это несомненно. Восемнадцатый век.

— Какой Растрелли? — отозвался Иона, тихонько кашлянув.— Строил князь Антон Иоаннович, царство ему небесное, полтора ста лет назад. Вот как,— он вздохнул.— Пра-пра-пра-дед нынешнего князя.

Все повернулись к Ионе.

— Вы не понимаете, очевидно,— ответил голый,— при Антоне Иоанновиче, это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был? А во-вторых, царствия небесного не существует и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?

— Руководительница,— начал Иона и засопел от ненависти к голому,— с зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия — это вы верно. Для кой-кого его нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?

Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы.

— Однако, я вам скажу, ваши симпатии к царству небесному и к князьям довольно странны в теперешнее время... И мне кажется...

— Бросьте, товарищ Антонов,— примирительно сказал в толпе девичий голос.

— Семен Иванович, оставь, пускай! — прогудел срывающийся бас.

Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, заткнувшего стеклянную дверь на террасе с белыми вязами. Шесть белых колонн с резными листьями сверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестили трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно, золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные гроздьи кенкетов глядели со стен, и, точно вчера потушенные, были в них обгоревшие белые свечи. Амуры вились и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжел и мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща.

В смутном говоре зазвучал голос голого. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы:

— Кто паркет делал?

— Крепостные крестьяне, — ответил неприязненно Иона, — наши крепостные.

Голый усмехнулся неодобрительно.

— Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунейдцы на них ногами шаркали. Онегины... трэнь... брень... Ночи напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего.

Иона про себя подумал: «Вот чума голая навязалась, прости господи», — вздохнул, покрутил головой и повел дальше.

Стены живятой под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае, с диадемой на взбитых белых волосах, с насурьмленными бровями, смотрела на всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, острокопечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый, с четырехугольными звездами на груди, красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бег-Ордынские со своими родственниками.

Отливая глянцем, чернея трещинами, выписанный старательной кистью живописца XVIII века по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли родоначальник — повелитель Малой орды Хан Тугай.

За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-Бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнея пятнами, с полотен вставала история рода с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата...

На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимая в развратной выдумке, носившая всю жизнь две славы — ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой потому, что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугай-Бега-отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее нагую на канате купали в пруду четыре красавца-гайдука...

Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал:

— Вот, товарищи, замечательная особа. Знаменитая развратница первой половины девятнадцатого века...

Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону

Это бог знает что такое.. Верочка, смотри, какие портреты предков...

— Любовница Николая Палкина, — продолжал голый, поправляя пенсне, — о ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут что она в имении вытворяла — уму непостижимо. Ни одного не было смазливового парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания... Афинские ночи устраивала...

Иона перекошил рот, глаза его налились мутной влагой и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил, лишь два раза глубоко набрал воздуха. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голого, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом, и даже важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов, вперил в спину голого тяжелый взгляд и долго его не отрывал.

Шли через кабинет князя, с эспантонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями — группами кавалергардского, где служили старшие Тугай-Беги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей тугай-беговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг.

Шли через курительные, затканые сплошь текинскими коврами, с кальянами, тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиные с бледно-зелеными гобеленами, с карсельскими старыми лампами. Шли через боскетную, где до сих пор не зачехли пальмовые ветви, через игральную зеленую, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньке. Здесь, в игровой, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные, стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы

Это кто же такой?

— Последний князь, — вздохнув, ответил Иона, — Антон Иоаннович, в кавалергардской форме. Они все в кавалергардах служили.

— А где он теперь? Умер? — почтительно спросила дама.

— Зачем умер... Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале, — Иона заикнулся от злобы, что голый опять вяжется и скажет какую-нибудь штучку.

И голый хмыкнул и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил:

— Да илюнь, Семен... старик он...

И голый заикнулся.

— Как? Жив? — изумилась дама. — Это замечательно!.. А дети у него есть?

Деток нету, — ответил Иона печально, — не благословил господь... Да. Братец ихний младший, Павел Иоаннович, тот на войне убит. Да. С немцами воевал... Он в этих... в конных гренадерах служил. Он нездешний. У того имение в Самарской губернии было...

— Классный старик... — восхищенно шепнул кто-то.

— Его самого бы в музей, — проворчал голый.

Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверх и плыл со стен волнами, розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать. Как будто недавно еще в эту ночь спали в ней два тела. Жилым все казалось в шатре: и зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете и портрет последней княгини на мольберте — княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой... Раз триста уже водил Иона экскурсантов в спальню Тугай-Бегов и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голого и еще чего-то неясного, что и понять было нельзя... Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился. Повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу и вон.

Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь и Дунька заперла ее на замок.

Вечер настал, и родились вечерние сумерки. Где-то под Орешневым засвистели пастухи на дудках, за прудами звякали тонкие колокольцы — гнали коров. Вечером вдаль пророкотало несколько раз — на учебной стрельбе в красноармейских лагерях.

Иона брел по гравию ко двору, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали посетители, старик аккуратно возвращался во дворец, один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях.

Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый, но вот покоя на душе у Ионы как назло не было. Вероятно, потому, что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице.

На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел.

Во дворце были шаги. Они слышались со стороны бильярдной, прошли боксетную, потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду, ему показалось, что он умирает. Потом сердце

забилось часто-часто, в перебой с шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения, твердыми шагами, и паркет скрипел уже в кабинете.

«Воры! Беда,— мелькнуло в голове у старика.— Вот оно, вешее, чуяло... беда». Иона судорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, куда бежать, кричать. Беда...

В дверях бального зала мелькнуло серое пальто и показались иностранец в золотых очках. Увидев Иону, он вздрогнул, испугался, даже попытался, но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем.

— Что вы? Господин? — в ужасе забормotal Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью.— Тут нельзя. Вы как же это остались? Господи, боже мой... — Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк.

Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись, негромко сказал по-русски:

— Иона, ты успокойся! Помолчи немного. Ты один?

— Один... — перевел дух, молвил Иона, — да вы зачем, царица небесная?

Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет, вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко, картаво:

— Не узнал, Иона? Плохо, плохо... Если уж ты не узнаешь, то это плохо.

Звуки его голоса убили Иону, колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.

— Господи Иисусе! Ваше сиятельство. Батюшка, Антон Иоаннович. Да что же это? Что же это такое?

Слезы заволокли туманом зал, в тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.

Успокойся, Иона, успокойся, бога ради,— бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо,— услышать может кто-нибудь...

Ба... батюшка,— судорожно прошептал Иона,— да как же... как же вы приехали? Как? Никого нету. Нету никого, один я...

— И прекрасно, бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!

Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошaleвший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал:

Садись, Иона, в кресло!

Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого, с выдвижным пультом для чтения, табличку с надписью «В кресла не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в сафьян.

В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково,

как зайцы из мешка, в разные стороны.

— Ах, как ты подрыхлел, Иона, боже, до чего ты старенький! — заговорил князь, волнуясь. — Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили...

От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза...

— Ну, полно, полно, перестань...

— Как... как же вы приехали, батюшка? — шмыгая носом, спрашивал Иона. — Как же это я не узнал вас, старый хрен? Глаза у меня слепнут... Как же это вернулись вы, батюшка? Очки-то на вас, очки, вот главное, и борода... И как же вы вошли, что я не заметил?

Тугай-Бег вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.

— Через малую веранду из парка, друг мой! Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки (князь снял их), очки здесь уже, на границе, надел. Они с простыми стеклами.

— Княгинюшка-то, господа, княгинюшка с вами, что ли? Лицо у князя мгновенно постарело.

— Умерла княгиня, умерла в прошлом году, — ответил он и задергал ртом, — в Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминала. Очень вспоминала. И строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все богу молилась. Видишь, бог и привел.

Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на шкафы с книгами, на Александра I, на окно, где на самом доньшке таял закат.

— Царствие небесное, царствие небесное, — дрожащим голосом пробормотал он, — панихидку, панихидку отслужу в Орешневе.

Князь тревожно оглянулся, ему показалось, что где-то скрипнул паркет.

— Нету?

— Нету, не беспокойтесь, батюшка, одни мы. И быть некому. Кто ж, кроме меня, придет.

— Ну вот что. Слушай, Иона. Времени у меня мало. Поговорим о деле.

Мысли у Ионы вновь встали на дыбы. Как же, в самом деле? Ведь вот он. Живой! Приехал. А тут... Мужики, мужики-то!.. Поля?

— В самом деле, ваше сиятельство, — он умоляюще поглядел на князя, — как же теперь быть? Дом-то? Аль вернут?..

Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскатились только с одной стороны — с правой.

— Вернут? Что ты, дорогой!

Князь вынул тяжелый портсигар, закурил и продолжал:

— Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут... Ты, видно, забыл, что было... Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал-то я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего, тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я (князь поглядел на угасающие рощи), во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кой-какие имел; пишу тебе из Москвы, что тут дворец цел, что его берегут как народное достояние... На-ародное... (зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой). Народное — так народное, черт их бери. Все равно. Лишь бы было цело. Оно так даже лучше... Но вот в чем дело: бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел? — Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.

Колеса в голове Ионы ржavo заскрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленный книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал улыбаясь.

— Цел-то, цел кабинет, — бормотал Иона, — да вот горе, батюшка ваше сиятельство, запечатан он. Запечатан.

— Кем запечатан?

— Эртус Александр Абрамович из комитета...

— Эртус? — картаво переспросил Тугай-Бег. — Почему же именно Эртус, а не кто-нибудь другой запечатывает мой кабинет?

— Из комитета он, батюшка, — виновато ответил Иона, — из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то, библиотека будет и учить будут мужиков. Так вот он библиотеку устраивает.

— Ах, вот как! Библиотеку, — князь ощерился, — что ж, это приятно! Я надеюсь, им хватит моих книг? Жал о, жалко, что я не знал, а то бы им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит?

— Хватит, ваше сиятельство, — растерянно хрипнул Иона, — ведь видимо-невидимо книг-то у вас, — мороз прошел у Ионы по спине при взгляде на лицо князя.

Тугай-Бег съехался в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет раскосого в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом.

— Хватит? Превосходно. Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит. Да-с. Ну... а знаешь ли ты, Иона, что будет,

когда этот Эртус устроит библиотеку?

Иона молчал и глядел во все глаза.

Этого Эртуса я повешу вон на той липе,— князь белой рукой указал в окно,— что у ворот. (Иона тоскливо и покорно глянул вслед руке.) Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотеки, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку. Это я сделаю, Иона, клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона, будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связей, чтобы мне заполучить Эртуса, у меня хватит. Будь покоен...

Иона судорожно вздохнул.

А рядышком,— продолжал Тугай нечистым голосом,— знаешь кого пристроим? Вот этого голого. Антонов Семен. Семен Антонов,— он поднял глаза к небу, запоминая фамилию.— Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подойдет до той поры или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже раз пользовался гостеприимством в Ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне,— Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками,— ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голого. Ежели он живым мне попадется в руки, у, Иона!.. не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры! Иона! Ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?

Иона горько вздохнул и отвернулся.

— Ты верный слуга, и, сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходится в голову, как я в ту же секунду не убил голого? А? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет? — Тугай-Бег взялся за карман пальто и выдавил из него блестящую рубчатую рукоятку; беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сильным.— Но вот не убил! Не убил, Иона, потому что сдержался вовремя. Но чего мне стоило сдержаться, знаю только один я. Нельзя было убить, Иона. Это было бы слабо и неудачно, меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем, Иона, больше... Получше,— князь пробормотал что-то про себя и стих.

Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползли в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщился, встал и глянул на часы.

Ну, вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что,— у князя в руках очутился бумажник,— бери, Иона, бери, верный друг! Больше дать не могу, сам стеснен.

— Ни за что не возьму,— прохрипел Иона и замахал руками.

— Бери! — строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. — Только смотри тут не меняй, а то пристанут — откуда. Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.

— Печать-то, батюшка, — жалобно начал Иона.

Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул.

— Вздор, — сказал Тугай, — ты, главное, не бойся! Не бойся, мой друг! Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать. Веришь моему слову? Ну, то-то...

Ночь подходила к полуночи. Иону сморило сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен...

В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая ворох бумаг на полу, на кресле и на красном сукне. Рядом в большом кабинете с задернутыми двойными шторами нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах, Александр I ожил и, лысый, мягко улыбался со стены.

За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победоносно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано сверху:

Алекс. Эртус

История Ханской ставки

ниже:

1922—1923

Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь, на черные строчки. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты, часы. И двадцать минут, и полчаса сидел князь неподвижно.

Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами.

— У-у, проклятая собака, — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся.

— Фу, — прошептал он, — с ума сойдешь.

Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг

яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы:

— Это не может быть. Не... не... не...

Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов. Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукоятки палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усамн, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были вполоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом.

Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.

— Не может быть,— громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников.— Это сон.— Опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал: — Одно, одно из двух: или это мертво... а он... тот... этот... жив... или я... не поймешь...

Тугай провел по волосам, повернулся, увидел идущего к шкафу, подумал невольно: «я постарел»,— опять забормотал: — По живой моей крови, среди всего живого шли и топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я — тень? Но ведь я живу,— Тугай вопросительно посмотрел на Александра I,— я все ощущаю, чувствую. Ясно чувствую боль, но больше всего ярость.— Тугаю показалось, что голый мелькнул в темном зале, холод ненависти прошел у Тугая по суставам.— Я жалею, что я не застрелил. Жалею.— Ярость начала накапливать в нем, и язык пересох.

Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило двенадцать раз, после паузы на другой тон один раз четверть и после паузы три минуты.

— Ах, боже мой,— шепнул Тугай и заторопился. Он огляделся кругом и прежде всего взял со стола очки и надел их. Но теперь они мало изменили князя. Глаза его косили, как у Ханы на полотне, и белел в них лишь легкий огонь отчаянной созревшей мысли. Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с тру-

дом втиснул в карман пальто. Затем сел к конторке и в последний раз осмотрел ворох бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь.

— А... чума! — хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней. Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами из шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, а вернулся с канделябром и аккуратно в трех местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через пять минут душило дымом.

Приоткрыв дверь и портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло, треща, пламя, и лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стоймя на столе, и тлео сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал:

— Не вернется ничего. Все кончено. Лгать не к чему. Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус.

...Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымки лезли за ним, бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени.

В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель; пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло: огонек сморщился и исчез, но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту, и разом, ликующе, до последней пылинки, осветился шатер.

— Теперь надежно, — сказал Тугай и заторопился.

Он прошел боскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя, по винтовой лестнице спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул из освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и забытыми тайными тропами нырнул во тьму...

I

Река и часы

Это был замечательный ходя, настоящий шафранный представитель Небесной империи, лет 25, а может быть, и сорока? Черт его знает! Кажется, ему было 23 года.

Никто не знает, почему загадочный ходя пролетел, как сухой листик, несколько тысяч верст и оказался на берегу реки под изгрызенной зубчатой стеной. На ходе была тогда шапка с лохматыми ушами, короткий полушубок с распоротым швом, стеганные штаны, разодранные на заднице, и великолепные желтые ботинки. Видно было, что у ходи немножко кривые, но жилистые ноги. Денег у ходи не было ни гроша.

Лохматый, как ушастая шапка, пренеприятный ветер летал под зубчатой стеной. Одного взгляда на реку было достаточно, чтобы убедиться, что это дьявольски холодная, чужая река. Позади ходи была пустая трамвайная линия, перед ходей — ноздреватый гранит, за гранитом на откосе лодка с пробитым днищем, за лодкой эта самая проклятая река, за рекой опять гранит, а за гранитом дома, каменные дома, черт знает, сколько домов. Дурацкая река зачем-то затекла в самую середину города.

Полюбовавшись на длинные красные трубы и зеленые крыши, ходя перевел взор на небо. Ну, уж небо было хуже всего. Серое-пресерое, грязное-прегрязное... и очень низко, цепляясь за орлы и луковницы, торчащие за стеной, ползли по серому небу, выпятив брюхо, жирные тучи. Ходю небо окончательно пристукнуло по лохматой шапке. Совершенно очевидно было, что если не сейчас, то немного погода все-таки пойдет из этого неба холодный, мокрый снег и, вообще, ничего хорошего, сытного и приятного под таким небом произойти не может.

— О-о-о! — что-то пробормотал ходя и еще тоскливо прибавил несколько слов на никому непонятном языке.

Ходя зажмурил глаза, и тотчас же всплыло перед ним очень жаркое круглое солнце, очень желтая пыльная дорога, в стороне, как золотая стена — гаолян, потом два раскидистых дуба, от которых на растрескавшейся земле лежала резная тень, и глиняный порог у фанзы. И будто бы ходя — маленький сидел на корточках, жевал очень вкусную лепешку, свободной левой рукой гладил горячую, как огонь, землю. Ему очень хотелось пить, но лень было вставать, и он ждал, пока мать выйдет из-за дуба. У матери на коромысле два ведра, а в ведрах студеная вода.

Ходю, как бритвой, резануло внутри, и он решил, что опять он поедет через огромные пространства. Ехать — как? Есть —

что? Как-нибудь. Китай-са... Пусти ваг-о-о-н...

За углом зубчатой громады высоко заиграла колокольная музыка. Колокола лепетали невнятно, вперебой, но все же было очевидно, что они хотят сыграть складно и победоносно какую-то мелодию. Ходя затопал за угол и, посмотрев вдаль и вверх, убедился, что музыка происходит из круглых черных часов с золотыми стрелками, на серой длинной башне. Часы поиграли, поиграли и смолкли. Ходя глубоко вздохнул, проводил взглядом тархтящую ободранную мотоциклетку, въехавшую прямо в башню, глубже надвинул шапку и ушел в неизвестном направлении.

II

Черный дым. Хрустальный зал

Вечером ходя оказался далеко-далеко от черных часов с музыкальным фокусом и серых бойниц. На грязной окраине в двухэтажном домике во втором проходном дворе, за которым непосредственно открывался покрытый полосами гниющего серого снега и осколками битого рыжего кирпича пустырь. В последней комнатке по вонючему коридору, за дверью, обитой рваной в клочья клеенкой, в печурке красноватым зловещим пламенем горели дрова. Перед заслонкой с огненными круглыми дырочками на корточках сидел очень пожилой китаец. Ему было лет 55, а может быть, и восемьдесят. Лицо у него было, как кора, и глаза, когда китаец открывал заслонку, казались злыми, как у демона, а когда закрывал — печальными, глубокими и холодными. Ходя сидел на засаленном лоскутном одеяле на погнувшейся складной кровати, в которой жили смелые и крупные клопы, испуганно и настороженно смотрел, как колышутся и расхаживают по закопченному потолку красные и черные тени, часто передергивал лопатками, засовывал руку за ворот, яростно чесался и слушал, что рассказывает старый китаец.

Старик надувал щеки, дул в печку и тер кулаками глаза, когда в них залезал едкий дым. В такие моменты рассказ прерывался. Затем китаец захлопывал заслонку, потухал в тени и говорил на никому, кроме ходи, непонятном языке.

Из слов старого китаезы выходило что-то чрезвычайно унылое и короткое. По-русски было так: хлеб — нет. Никакой — нет. Сам — голодный. Торговать — нет и нет. Кокаин — мало есть. Опиум — нет. Последнее старый хитрый китай особенно подчеркнул. Нет опиума. Опиума — нет, нет. Горе, но опиума нет. Старые китайские глаза при этом совершенно прятались в раскосые щели, и огни из печки не могли пробить их таинственную глубину.

Что есть? ходя спросил отчаянно и судорожно пошевелил плечами.

Есть? Было, конечно, кое-что, но все такое, от чего лучше и отказаться.

— Холодно — есть. Чека ловила — есть. Ударила ножом на пустыре за пакет с кокаином. Отнимал убийца, негодяй — настькин сволочь.

Старый ткнул пальцем в тонкую стену. Ходя, прислушавшись, разобрал сиплый женский смех, какое-то шипенье и хлокотание.

— Самогон — есть.

Так пояснил старик и, откинув рукав засаленной кофты, показал на желтом предплечье, перевитом узловатыми жилами, кошой, свежий трехвершковый шрам. Очевидно было, что это след от хорошо отточенного финского ножа. При взгляде на багровый шрам глаза старого китая затуманились, сухая шея потемнела. Глядя в стену, старик прошипел по-русски:

— Бандит — есть!

Затем наклонился, открыл заслонку, всунул в огненную пасть две щепки и, надув щеки, стал похож на китайского нечистого духа.

Через четверть часа дрова гудели ровно и мощно, и черная труба начинала краснеть. Жара заливала комнatenку, и ходя вылез из полушубка, слез с кровати и сидел на корточках на полу. Старый китаец, раздобрев от тепла, поджав ноги, сидел и плел туманную речь. Ходя моргал желтыми веками, отдувался от жара и изредка скорбно и недоуменно лопотал вопросы. А старый бурчал. Ему, старому, — все равно. Ленин — есть. Самый главный очень есть. Буржуи — нет, о, нет! Зато Красная армия есть. Много — есть. Музыка? Да, да. Музыка, потому что Ленин. В башне с часами — сиди, сиди. За башней? За башней — Красная армия.

— Домой ехать? Нет, о нет! Пропуск — нет. Хороший китаец смирно сиди.

— Я — хороший! Где жить?

— Жить — нет, нет и нет. Красная армия — везде жить.

— Крас-ни... — оторопев прошептал ходя, глядя в огненные дыры.

Прошел час. Смогло гудение, и шесть дыр в заслонке глядели, как шесть красных глаз. Ходя, в зыбких тенях и красноватом отблеске сморщившийся и постаревший, валялся на полу и, простирая руки к старику, умолял его о чем-то.

Прошел час, еще час. Шесть дыр в заслонке ослепли, и в прикрытую оконную форточку тянул сладкий черный дым. Щель над дверью была наглухо забита тряпками, а дырка от ключа залеплена грязным воском. Спиртовка тощим синеватым пламенем колыхалась на полу, а ходя лежал рядом с нею на полушубке на боку. В руках у него была полуаршинная желтая трубка с распластанным на ней драконом-ящерицей. В медном, похожем на золотой, наконечнике багровой точкой таял черный шарик. По другую сторону спиртовки на рваном одеяле лежал старый китайский хрыч, с такой же желтой трубкой. И вокруг него, как вокруг ходи, таял и плыл черный дым и тянулся к форточке.

Под утро на полу, рядом с угасающим язычком пламени, смутно виднелись два оскала зубов — желтый с чернью и белый. Где был старик — никому неизвестно. Ходя же жил в хрустальном зале под огромными часами, которые звенели каждую минуту, лишь только золотые стрелки обегали круг. Звон пробуждал смех в хрустале, и выходил очень радостный Ленин в желтой кофте, с огромный блестящей и тугой косой, в шапочке с пуговкой на темени. Он схватывал за хвост стрелу-маятник и гнал ее вправо — тогда часы звенели налево, а когда гнал влево — колокола звенели направо. Погремев в колокола, Ленин водил ходю на балконе — показывать Красную армию. Жить — в хрустальном зале. Тепло — есть. Настька — есть. Настька, красавица неописанная, шла по хрустальному зеркалу, и иожки в башмачках у нее были такие маленькие, что их можно было спрятать в иоздрю. А настькин сволочь, убийца, бандит с финским ножом, сунулся было в зал, но ходя встал, страшный и храбрый, как великан, и, взмахнувши широким мечом, отрубил ему голову. И голова скатилась с балкона, а ходя обезглавленный труп схватил за шиворот и сбросил вслед за головой. И всему миру стало легко и радостно, что такой негодяй больше не будет ходить с ножом. Ленин в награду сыграл для ходи громкую мелодию на колоколах и повесил ему на грудь бриллиантовую звезду. Колокола опять пошли звенеть и вызвоили, наконец, на хрустальном полу поросль золотого гаоляна, над головой круглое жаркое солнце и резную тень у дуба... И мать шла, а в ведрах на коромыслах у нее была студеная вода.

III

Снов нет — есть действительность

Неизвестно, что было в двухэтажном домике в следующие четыре дня. Известно, что на пятый день, постаревший лет на пять, ходя вышел на грязную улицу, но уже не в полушубке, а в мешке с черным клеймом на спине «цейх № 4712» и не в желтых шикарных ботинках, а в рыжих опорках, из которых выглядывали его красивые большие пальцы с перламутровыми ногтями. На углу под кривым фонарем ходя посмотрел сосредоточенно на серое небо, решительно махнул рукой, пропел, как скрипка, сам себе: — Карас-ни...

И зашагал в неизвестном направлении.

Китайский камрад

И оказался ходя через два дня после этого в гигантском зале с полукруглыми сводами на деревянных нарах. Ходя сидел, свесив ноги в опорках, как бы в бельэтаже, а в партере громоздились безусые и усатые головы в шишаках с огромными красными звездами. Ходя долго смотрел на лица под звездами и, наконец, почувствовав, что необходимо как-нибудь отозваться на внимание, первоначально изобразил на своем лице лучшую из своих шафренных улыбок, а затем певуче и тонко сказал все, что узнал за страшный пробег от круглого солнца в столицу колокольных часов:

— Хлеб... пусти вагон... карасни... китай-са... — и еще три слова, сочетание которых давало изумительную комбинацию, обладавшую чудодейственным эффектом. По опыту ходя знал, что комбинация могла отворить дверь теплушки, но она же могла и навлечь тяжкие побои кулаком по китайской стриженной голове. Женщины бежали от нее, а мужчины поступали очень различно: то давали хлеба, то, наоборот, порывались бить. В данном случае произошли радостные последствия. Громовой вал смеха ударил в сводчатом зале и взмыл до самого потолка. Ходя ответил на первый раскат улыбкой № 2 с несколько заговорщицеским оттенком и повторением трех слов. После этого он думал, что он оглохнет. Пронзительный голос прорезал грохот:

— Ваня! Вали сюда! Вольноопределяющийся китаец по-матери знаменито кроет!

Возле ходи бушевало, потом стихло, потом ходе сразу дали махорки, хлеба и мутного чаю в жестяной кружке. Ходя во мгновение ока с остервенением съел три ломтя, хрустящих на зубах, выпил чай и жадно закурил вертушку. Затем ходя предстал пред неким человеком в зеленой гимнастерке. Человек, сидящий под лампой с разбитым колпаком возле пишущей машины, на ходю взглянул благосклонно, голове, просунувшейся в дверь, сказал

— Товарищи, ничего любопытного. Обыкновенный китаец..

И немедленно, после того как голова исчезла, вынул из ящика лист бумаги, в руку взял перо и спросил:

— Имя? Отчество и фамилия?

Ходя ответил улыбкой, но от каких бы то ни было слов удержался.

На лице у некоего человека появилась растерянность.

К-хэм... ты что, товарищ, не понимаешь? По-русски? А? Как звать? — он пальцем ткнул легонько по направлению ходи. — Имя? Из Китая?

Китай-са... — пропел ходя.

— Ну, ну! Китаец, это я понимаю. А вот звать как тебя, камрад? А?

Ходя замкнулся в лучезарной и сытой улыбке. Хлеб с чаем переварился в желудке, давая ощущение приятной истомы.

— Ак-казия, — пробормотал некий, озлобленно почесав левую бровь.

Потом он подумал, поглядел на ходю, лист спрятал в ящик и сказал облегченно:

— Военком приедет сейчас. Ужо тогда.

У

Виртуоз! Виртуоз!

Прошло месяца два. И когда небо из серого превратилось в голубое, с кремовыми пузатыми облаками, все уже знали, что как Франц Лист был рожден, чтобы играть на рояле свои чудовищные рапсодии, ходя Сен-Зин-По явился в мир, чтобы стрелять из пулемета. Первоначально поползли неясные слухи, затем они вздулись в легенды, окружившие голову Сен-Зин-По. Началось с коровы, перерезанной пополам. Кончилось тем, что в полках говорили, как ходя головы отрезает на 2 тысячи шагов. Головы не головы, но действительно было исключительно 100% попадания. Рождалась мысль о непрочности и условности 100! Может быть, 105? В агатовых косых глазах от рождения сидела чудесная прицельная панорама, иначе ничем нельзя было бы объяснить такую стрельбу.

На стрельбище приезжал на огромной машине важный в серой шинели пушистоусый, с любопытством смотрел в бинокль. Ходя, впившись прищуренными глазами вдаль, давил ручки гремевшего Максима и резал рошу, как баба жнет хлеб.

— Действительно, черт знает что такое! В первый раз вижу,— говорил пушистоусый, после того как стнх раскаленный Максим. И, обратившись к ходе, добавил со смеющимися глазами: Виртуоз!

— Вирту-зи... — ответил ходя и стал похож на китайского ангела.

Через неделю командир полка говорил басом командиру пулеметной команды:

— Сукин сын какой-то! — и, восхищенно пожимая плечами, прибавил, поворачиваясь к Сен-Зин-По.— Ему премиальные надо платить!

— Пре-ми-али... палати, палати,— ответил ходя, испуская желтоватое сияние.

Командир громыхнул как в бочку, пулеметчики ответили ему раскатами. В этот же вечер в канцелярии под разбитым тюльпаном некий в гимнастерке доложил, что получена бумага ходю откомандировать в интернациональный полк. Командир залился кровью и стукнул в нижнее до.

— А фи не хо? — и при этом показал колоссальных размеров волосатую фигу. Некий немедленно сел сочинять начерно бумагу, начинающуюся словами: как есть пулеметчик Сен-Зин-По железного полка гордость и виртуоз...

Блистательный дебют

Месяц прошел, на небе не было ни одного маленького облачка, и жаркое солнце сидело над самой головой. Синие перелески в двух верстах гремели, как гроза, а сзади и налево отходил железный полк, уйдя в землю, перекатывался дробно и сухо. Ходя, заваленный грудой лент, торчал на пологом склоне над востроносым пулеметом. Хоудино лицо выражало некоторую задумчивость. Временами он обращал свой взор к небу, потом всматривался в перелески, иногда поворачивал голову в сторону и видел тогда знакомого пулеметчика. Голова его, а под ней лохматый красный бант на груди выглядывали из-под кустиков шагах в сорока. Покосившись на пулеметчика, ходя вновь глядел, прищурившись, на солнышко, которое пекло ему фуражку, вытирал пот и ожидал, какой оборот примут все эти клокочущие события.

Они развернулись так. Под синими лесочками вдали появились черные цепочки и, то принижаясь до самой земли, то вырастая, ширясь и густея, стали приближаться к пологому холму. Железный полк сзади и налево ходи загремел яростней и гуще. Пронзительный голос взвился за ходей над холмом:

А-гонь!

И тотчас пулеметчик с бантом загрохотал из кустов. Отозвалось где-то слева, и перед вырастающей цепочкой из земли стал подыматься пыльный туман. Ходя сел плотнее, наложил свои желтые виртуозные руки на ручки пулемета, несколько мгновений молчал, чуть поводя ствол из стороны в сторону, потом прогремел коротко и призывно, стал... прогремел опять и вдруг, залившись оглушающим треском, заиграл свою страшную рапсодию. В несколько секунд раскаленные пули заплевали цепь от края до края. Она припала, встала, стала прерываться и разламываться. Восхищенный охрипший голос взмыл сзади:

Ходя! Строчи! Огонь! А-гонь!

Сквозь марево и пыль ходя непрерывным ливнем посылал пули во вторую цепь. И тут справа, вдали, из земли выросли темные полосы, и столбы пыли встали над ними. Ток тревоги незримо пробежал по скату холма. Голос, осипши, срываясь прокричал:

— По наступающей ка-ва-лерии...

Гул закачал землю до самого ходи, и темные полосы стали приближаться с чудовищной быстротой. В тот момент как ходя поворачивал пулемет вправо, воздух над ним рассадил бледным огнем, что-то бросило ходю грудью прямо на ручки, и ходя перестал что-либо видеть.

Когда он снова воспринял солнце и снова перед ним из тумана выплыл пулемет и смятая трава, все кругом сломалось и полетело куда-то. Полк сзади раздробленно вслыхивал треском и погасал. Еле дыша от жгучей боли в груди, ходя, повернувшись, увидел

сзади летящую в туче массу всадников, которые обрушились туда, где гремел железный полк. Пулеметчик справа исчез. А к холму, огнябая его полулунием, бежали цепями люди в зеленом, и их наплечья поблескивали золотыми пятнами. С каждым шагом их становилось все больше, и ходя начал уже различать медные лица. Проскрипев от боли, ходя растерянно глянул, схватился за ручки, повел ствол и загремел. Лица и золотые пятна стали проваливаться в траву перед ходей. Справа зато они выросли и неслись к ходю. Рядом появился командир пулеметного взвода. Ходя смутно и мгновенно видел, что кровь течет у него по левому рукаву. Командир ничего не прокричал ходю. Вытянувшись во весь рост, он протянул правую руку и сухо выстрелил в набегавших. Затем на глазах пораженного ходи сунул дуло маузера себе в рот и выстрелил. Ходя смолк на мгновение. Потом прогремел опять.

Держа винтовку на изготовку, задыхаясь в беге, опережая цепь, рвался справа к Сен-Зин-По меднолицый юнкер.

— Бро-сай пулемет... чертова китаеца!! — хрипел он, и пена пузырями вскакивала у него на губах. — Сдавайся...

— Сдавайся!! — выло и справа и слева, и золотые пятна и острые жала запрыгали под самым скатом. А-р-ра-па-ха! последний раз проиграл пулемет и разом стих. Ходя встал, уснули воли задавил в себе боль в груди и ту зловещую тревогу, что вдруг стеснила сердце. В последние мгновения чудесным образом перед ним под жарким солнцем успела мелькнуть потрескавшаяся земля и резная тень и поросль золотого гаоляна. Ехать, ехать домой. Глуша боль, он вызвал на раскосом лице лучезарный венчик и, теперь уже ясно чувствуя, что надежда умирает, все-таки сказал, обращаясь к небу:

— Премияли... карасни виртузи... палати! палати!

И гигантский медно-красный юнкер ударил его, тяжело размахнувшись штыком, в горло, так что перебил ему позвоночный столб. Черные часы с золотыми стрелками успели прозвенеть мелодию грохочущими медными колоколами, и вокруг ходи засверкал хрустальный зал. Никакая боль не может проникнуть в него. И ходя, безбольный и спокойный, с примерзшей к лицу улыбкой, не слышал, как юнкера кололи его штыками.

1923 г.

Я УБИЛ

Доктор Яшвин усмехнулся косенькой и странной усмешкой и спросил так:

— Листок с календаря можно сорвать? Сейчас ровно 12, значит, наступило 2-е число.

— Пожалуйста, пожалуйста, — ответил я.

Яшвин тонкими и белыми пальцами взялся за уголок и береж-

но снял верхний листок. Под ним оказалась дешевенькая страничка с цифрой «2» и словом «вторник». Но что-то чрезвычайно заинтересовало Яшвина на серенькой страничке. Он щурил глаза, вглядывался, потом поднял глаза и глянул куда-то вдаль, так что понятно было, что он видит только ему одному доступную, загадочную картину где-то за стеной моей комнаты, а может быть, и далеко за ночной Москвой в грозной дымке февральского мороза.

«Что он там разыскал?» — подумал я, косясь на доктора. Меня он всегда очень интересовал. Внешность его как-то не соответствовала его профессии. Всегда его незнакомые принимали за актера. Темноволосый, он в то же время обладал очень белой кожей, и это его красило и как-то выделяло из ряда лиц. Выбрит он был очень гладко, одевался очень аккуратно, чрезвычайно любил ходить в театр и о театре если рассказывал, то с большим вкусом и значением. Отличался он от всех наших ординаторов, и сейчас у меня в гостях, прежде всего обувью. Нас было пять человек в комнате, и четверо из нас в дешевых ботинках из хрома с нанвио закругленными носами, а доктор Яшвин был в острых лакированных туфлях и желтых гетрах. Должен, впрочем, сказать, что щегольство Яшвина никогда особенно неприятного впечатления не производило, и врач он был, надо отдать ему справедливость, очень хороший. Смелый, удачливый и, главное, успевающий читать, несмотря на постоянные посещения «Валькирии» и «Севильского цирюльника».

Дело, конечно, не в обуви, а в другом: интересовал он меня одним необычайным свойством своим — молчаливый и несомненно скрытный человек, в некоторых случаях он становился замечательным рассказчиком. Говорил очень спокойно, без вычур, без обывательских тягот и бленения «мня-я» и всегда на очень интересную тему. Сдержанный фатоватый врач как бы загорался, правой белой рукой он только изредка делал короткие и плавные жесты, точно ставил в воздухе небольшие вехи в рассказе, никогда не улыбался, если рассказывал смешное, а сравнения его порою были так метки и красочны, что, слушая его, я всегда томился одной мыслью: «Врач ты очень неплохой, и все-таки ты пошел не по своей дороге и быть тебе нужно только писателем...»

И сейчас эта мысль мелькнула во мне, хоть Яшвин ничего не говорил, а щурился на цифру «2», на неизвестную даль.

«Что он там разыскал? Картинка, что ли». Я покосился через плечо и увидел, что картинка самая неинтересная. Изображена была несоответственного вида лошадь с атлетической грудью, а рядом мотор и подпись: «Сравнительная величина лошади (1 сила) и мотора (500 лошадиных сил)».

— Все это вздор, товарищи,— заговорил я, продолжая беседу,— обывательская пошлятина. Валят они, черти, на врачей, как на мертвых, а на нас, хирургов, в особенности. Подумайте сами: человек 100 раз делает аппендицит, на сто первый у него

больной и помрет на столе. Что же, он его зарезал, что ли?

— Обязательно скажут, что зарезал,— отозвался доктор Гинс.

— И если это жена, то муж придет в клинику стулом в вас швырять,— уверенно подтвердил доктор Плонский и даже улыбнулся, и мы улыбнулись, хотя, по сути дела, очень мало смешного в швырянии стульями в клинику.

— Терпеть не могу,— продолжал я,— фальшивых и покаянных слов: «Я убил, ах, я зарезал». Никто никого не режет, а если и убивает, у нас в руках больного убивает несчастная случайность. Смешно, в самом деле! Убийство не свойственно нашей профессии. Какой черт!.. Убийством я называю уничтожение человека с заранее обдуманнным намерением, ну, на худой конец, с желанием его убить. Хирург с пистолетом в руке — это я понимаю. Но такого хирурга я еще в своей жизни не встречал, да и вряд ли встречу.

Доктор Яшвин вдруг повернул ко мне голову, причем я заметил, что взгляд его стал тяжелым, и сказал:

— Я к вашим услугам.

При этом он пальцем ткнул себя в галстук и вновь косенько улыбнулся, но не глазами, а углом рта.

Мы посмотрели на него с удивлением.

— То есть как? — спросил я.

— Я убил,— пояснил Яшвин.

— Когда? — иелепо спросил я.

Яшвин указал на цифру «2» и ответил:

— Представьте, какое совпадение. Как только вы заговорили о смерти, я обратил внимание на календарь, и вижу 2-е число. Впрочем, я и так каждый год вспоминаю эту ночь. Видите ли, ровно семь лет, ночь в ночь, да, пожалуй, и... — Яшвин вынул черные часы, поглядел,— ...да ...час в час почти, в ночь с 1-го на 2-е февраля я убил его.

— Пациента? — спросил Гинс.

— Пациента, да.

— Но не умышленно? — спросил я.

— Нет, умышленно,— отозвался Яшвин.

— Ну, догадываюсь,— сквозь зубы заметил скептик Плонский,— рак у него, наверное, был, мучительное умирание, а вы ему морфий в десятикратной дозе...

— Нет, морфий тут ровно ни при чем,— ответил Яшвин,— да и рака у него никакого не было. Мороз был, прекрасно помню, градусов на пятнадцать, звезды... Ах, какие звезды на Украине. Вот семь лет почти живу в Москве, а все-таки тянет меня на родину. Сердце щемит, хочется иногда мучительно в поезд... и туда. Опять увидеть обрывы, занесенные снегом. Днепр... Нет красивее города на свете, чем Киев.

Яшвин спрятал календарный листок в бумажник, съезжился в кресле и продолжал:

— Грозный город, грозные времена... и видал я страшные

вещи, которых вы, москвичи, не видали. Это было в 19-м году, как раз вот 1-го февраля. Сумерки уже наступили, часов шесть было вечера. За странным занятием застали меня эти сумерки. На столе у меня в кабинете лампа горит, в комнате тепло, уютно, а я сижу на полу над маленьким чемоданчиком, запихиваю в него разную ерунду и шепчу одно слово:

— Бежать, бежать...

Рубашку то засуну в чемодан, то выну... Не лезет она, проклятая. Чемоданчик ручной, малюсенький, подштанники заняли массу места, потом сотня папирос, стетоскоп. Выпирает все это из чемоданчика. Брошу рубашку, прислушиваюсь. Зимние рамы замазаны, слышно глухо, но слышно... Далеко, далеко тяжело так тянет — бу-у... гу-у... Тяжелые орудия. Пройдет раскат, потом стихнет. Выгляну в окно, я жил на крутизне, наверху Алексеевского спуска, виден мне весь Подол. С Днепра идет ночь, закутывает дома, и огни постепенно зажигаются цепочками, рядами... Потом опять раскат. И каждый раз, как ударит за Днестром, я шепчу:

— Дай, дай, еще дай.

Дело было вот в чем: в этот час весь город знал, что Петлюра его вот-вот покинет. Если не в эту ночь, то в следующую. Из-за Днепра наступали, и, по слухам, громадными массами, большевики, и, нужно сознаться, ждал их весь город не только с нетерпением, а я бы даже сказал — с восхищением. Потому что то, что творили петлюровские войска в Киеве в этот последний месяц их пребывания, — уму непостижимо. Погромы закипали поминутно, убивали кого-то ежедневно, отдавая предпочтение евреям, понятное дело. Что-то реквизировали, по городу носились автомобили и в них люди с красными галунными шлыками на папах, пушки вдвали не переставали в последние дни ни на час. И днем и ночью. Все в каком-то томлении, глаза у всех острые, тревожные. А у меня под окнами не далее как накануне лежали полдня два трупа на снегу. Один в серой шинели, другой в черной блузе, и оба без сапог. И народ то в сторону шаркался, то кучками сбивался, смотрел, какие-то простоволосые бабы выскакивали из подворотен, грозили кулаками в небо и кричали:

— Ну, погодите. Придут, придут большевики.

Омерзителен и жалок был вид этих двух, убитых неизвестно за что. Так что в конце концов и я стал ждать большевиков. А они все ближе и ближе. Даль гаснет, и пушки вдвали ворчат, как будто в утробе земли.

Итак...

Итак: лампа горит уютно и в то же время тревожно, в квартире я один-одинешенек, книги разбросаны (дело в том, что во всей этой кутерьме я лелеял безумную мечту подготовиться на ученую степень), а я над чемоданчиком.

Случилось, надо вам сказать, то, что события залетели ко мне в квартиру и за волосы вытащили меня и поволокли, и полетело

все, как чертов скверный сон. Вернулся я как раз в эти самые сумерки с окраины из рабочей больницы, где я был ординатором женского хирургического отделения, и застал в щели двери пакет неприятного казенного вида. Разорвал тут же на площадке, прочел то, что было на листочке, и сел прямо на лестницу.

На листке было напечатано машинным синеватым шрифтом:

«Содержанием сего...»

Кратко, в переводе на русский язык:

«С получением сего, предлагается вам в двухчасовой срок явиться в санитарное управление для получения назначения...»

Значит, таким образом: вот эта самая блистательная армия, оставляющая трупы на улице, батько Петлюра, погромы и я с красным крестом на рукаве в этой компании... Мечтал я не более минуты, впрочем, на лестнице. Вскочил точно на пружине, вошел в квартиру, и вот появился на сцену чемоданчик. План у меня созрел быстро. Из квартиры вон, немного белья, и на окраину к приятелю фельдшеру, человеку меланхолического вида и явных большевистских наклонностей. Буду сидеть у него, пока не выбьют Петлюру. А как его совсем не выбьют? Может быть, эти долгожданные большевики — миф? Пушки, где вы? Стихло. Нет, опять ворчат...

Я злобно выбросил рубашку, щелкнул замочком чемоданчика, браунинг и запасную обойму положил в карман, надел шинель с повязкой красного креста, тоскливо огляделся, лампу погасил и ошупью, среди сумеречных теней, вышел в переднюю, осветил ее, взял башлык и открыл дверь на площадку.

И тотчас, кашляя, шагнули в переднюю две фигуры с коротенькими кавалерийскими карабинами за плечами.

Один был в шпорах, другой без шпор, оба в папах с синими шлыками, лихо свешивающимися на щеки.

У меня сердце стукнуло.

— Вы ликарь Яшвин? — спросил первый кавалерист.

— Да, я, — ответил я глухо.

— С нами поедете, — сказал первый.

— Что это значит? — спросил я, несколько оправившись.

— Саботаж, вот що, — ответил громыхающий шпорами и поглядел на меня весело и лукаво, — ликаря не хотят мобилизоваться, за що и будут отвечать по закону.

Угасла передняя, щелкнула дверь, лестница... улица...

— Куда же вы меня ведете? — спросил я и в кармане брюк тронул нежно прохладную рубчатую ручку.

— В первый конный полк, — ответил тот, со шпорами.

— Зачем?

— Як зачем? — удивился второй. — Назначаетесь к нам ликарем.

— Кто командует полком?

— Полковник Лещенко, — с некоторой гордостью ответил первый, и шпоры его ритмически звякали с левой стороны у меня.

«Сукин я сын,— подумал я,— мечтал над чемоданчиком. Из-за каких-то подштанников... Ну что мне стоило выйти на 5 минут раньше...»

Над городом висело уже черное морозное небо, и звезды выступили на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах полыхало электричество. Гремя шпорами, меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу торчал нос пулемета, и внимание мое приковали рыжие и красные потеки в углу рядом с пулеметом, там, где дорогой гобелен висел ключьями.

«А ведь это кровь»,— подумал я, и сердце мне неприятно сжало.

— Пан полковник,— негромко сказал тот, со шпорами,— ликаря доставили.

— Жид? — вдруг выкрикнул голос, сухой и хриплый, где-то.

Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и вбежал человек.

Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами. Был туго перетянут кавказским пояском с серебряными бляшками, и кавказская же шашка горела огоньками в блеске электричества на его бедре. Он был в барашковой шапочке с малиновым верхом, перекрещенным золотистым галуном. Раскосые глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно.

— Нет, не жид,— ответил кавалерист.

Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза.

— Вы не жид,— заговорил он с сильным украинским акцентом на неправильном языке — смеси русских и украинских слов,— но вы не лучше жида. И як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходить! — приказал он кавалеристу.— И дать ликарю коня.

Я стоял, молчал и был, надо полагать, бледен. Затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал:

— Змилуйтесь, пан полковник...

Я мутно увидал трясущуюся бороденку, солдатскую рваную шинель. Вокруг нее замелькали кавалерийские лица.

— Дезертир? — пропел знакомый мне уже голос с хрипотцой,— их ты, зараза, зараза.

Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятку ударил в лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своею кровью, упал на колени. Из глаз его потоками побежали слезы...

А потом сгинул белый заиндевший город, потянулась по берегу окаменевшего черного и таинственного Днепра дорога, окаймленная деревьями, и по дороге шел, растянувшись змеей, первый конный полк.

В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные

пики качались, торчали острые заиндевелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, окаймленное наросшим мохнатым инеем, чувствовал, как мой чемоданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной. Внутри у меня все как-то стыло, так же как стыли ноги. По временам я поднимал голову к небу, смотрел на крупные звезды, и в ушах у меня, словно присохший, звучал, лишь по временам пропадая, визг того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шомполами, и его били в особняке.

Черная даль теперь молчала, и я с суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя судьба была безнадежна. Мы шли вперед в Слободку, там должны были стоять и охранять мост, ведущий через Днепр. Если бой утихнет и я не понадоблюсь непосредственно, полковник Лещенко будет меня судить. При этой мысли я как-то окаменевал и нежно и печально всматривался в звезды. Нетрудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированного человека...

Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгнула черная дорога. Я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли, я согрелся, потому что в черной железной печушке плясал багровый огонь. Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большей частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода. Временами я был один. Мой конвоир оставил меня. «Бежать», — я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплывшей стеаринной свечой, лица, винтовки. Весь дом был набит людьми, бежать было трудно. Я был в центре штаба. От двери я возвращался к столу, садился в изнеможении, клал голову на руки и внимательно слушал. По часам я заметил, что каждые пять минут под полом внизу вспыхивал визг. Я уже точно знал, в чем дело. Там кого-нибудь избивали шомполами. Визг иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание, иногда в нежные, как казалось сквозь пол, мольбы и жалобы, словно кто-то интимно беседовал с другом, иногда резко обрывался, точно ножом срезанный.

— За что вы их? — спросил я одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табурете, и я белой мазью покрывал изъеденную язву у посиневшего большого пальца. Он ответил:

— Организация попалась в Слободке. Коммунисты и жида. Полковник допрашивает.

Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком, и стало глуше слышно. С четверть часа я так провел, и вывел

меня из забытья, в котором неотступно всплывало перед закрытыми глазами рябое лицо под золотыми галунами, голос моего конвоира:

— Пан полковник вас требует.

Я поднялся, под изумленным взглядом конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут я увидел полковника Лещенко в свете фонаря.

Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами.

— Сволочь,— процедил полковник, потом обратился ко мне: — Ну, пан ликарь, перевязывайте меня. Хлопец, выйди,— приказал он хлопцу, и тот, громыхая, протиснулся в дверь. В доме было тихо. И в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно, я тоже. «Орудия»,— подумал я, вздохнул судорожно, спросил:

— От чего это?

— Перочинным ножом,— ответил полковник хмуро.

— Кто?

— Не ваше дело,— отозвался он с холодным, злобным презрением и добавил: — Ой, пан ликарь, не хорошо вам будет.

Меня вдруг осенило: «Это кто-то не выдержал его истязаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть...»

— Снимите марлю,— сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей черным волосом. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышался топот, возня, грубый голос закричал:

— Стой, стой, черт, куда...

Дверь распахнулась, и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее иступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась.

— Уйди, хлопец, уйди,— приказал полковник, и рука исчезла.

Женщина остановила взгляд на обнаженном полковнике и сказала сухим бесслезным голосом:

— За что мужа расстреляли?

— За що треба, за то и расстреляли,— отозвался полковник и страдальчески сморщился. Комочек все больше алел под его пальцами.

Она усмехнулась так, что я стал не отрываясь глядеть ей в глаза. Не видел таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала:

— А вы доктор!..

Ткнула пальцем в рукав, в красный крест и покачала головой.

— Ай, ай,— продолжала она, и глаза ее пылали,— ай, ай. Какой вы подлец... вы в университете обучались и с этой рванью...

На их стороне и перевязочки делаете?! Он человека по лицу лупит и лупит. Пока с ума не свел... А вы ему перевязочку делаете?..

Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты, и я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни.

— Вы мне говорите? — спросил я и почувствовал, что дрожу. — Мне?.. Да вы знаете...

Но она не пожелала слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул:

— Хлопцы!

Когда ворвались, он сказал гневно:

— Дайте ей двадцать пять шомполов.

Она ничего не сказала, и ее выволокли под руки, а полковник закрыл дверь и забросил крючок, потом опустился на табурет и отбросил ком марли. Из небольшого пореза сочилась кровь. Полковник вытер плевком, повисший на правом усе.

— Женщину? — спросил я совершенно чужим голосом.

Гнев загорелся в его глазах.

— Эге-ге... — сказал он и глянул зловеще на меня. — Теперь я вижу, какую птицу мне дали вместо ликаря...

.

Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете и кровь у него бежала изо рта, потом сразу выросли потеки на груди и животе, потом его глаза угасли и стали молочными из черных, затем он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустить седьмую, последнюю. «Вот и моя смерть...» — думал я, и очень приятно пахло дымным газом от браунинга. Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекла ногами. И выскочил, судьба меня побаловала, в глухой двор, пробежал мимо штабелей дров в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами и там, в выбоине, как в пещере, на битом кирпиче просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, я это слышал. Улочка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня. В трещину я видел одну звезду, почему-то думаю, что это был Марс. Мне показалось, что ее разорвало. Это первый снаряд лопнул, закрыв звезду. И потом всю ночь грохотало по Слободке и било, а я сидел в кирпичной норе и молчал и думал об ученой степени и о том, умерла ли эта женщина под шомполами. А когда стихло, чуть-чуть светало и я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, — я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда я пришел к мосту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка... Только навоз на истоптанной дороге... И я один прошел весь путь к Киеву и вошел в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль, в каких-то шапках с наушниками.

Меня остановили, спросили документы.

Я сказал:

— Я лекарь Яшвин. Бегу от петлюровцев. Где они?

Мне сказали:

— Ночью ушли. В Кневе ревком.

И вижу, один из патрульных всматривается мне в глаза, потом как-то жалостливо махнул рукой и говорит:

— Идите, доктор, домой.

И я пошел.

После молчания я спросил у Яшвина:

— Он умер? Убили вы его или только ранили?

Яшвин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой:

— О, будьте покойны. Я убил. Поверьте моему хирургическому опыту.

1926 г.

В НОЧЬ НА ТРЕТЬЕ ЧИСЛО

(Из романа «Алый мах»)

Пан куренный в ослепительном свете фонаря блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диковинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим — паном куренным.

— В бога и в мать! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь! И если ты не поморозив, так я тебе росстриляю, бога, душу, твою мать!!

Пан куренный взмахнул маузером, навел его на звезду Венеру, повисшую над Слободкой, и давил гашетку. Косая молния резнула пять раз, пять раз оглушительно весело ударил грохот из руки пана куренного, и пять же раз, кувыркнувшись весело — трах-тах-ах-тах-дах,— взмыло в обледеневших пролетах нгрное эхо.

Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Бакалейникова сбросили с моста. Сечевикн шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты надели на них черной стеной, гнилой парапет крикнул, лопнул, и доктор Бакалейников, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом.

Так — снег холодный. Но если с высоты трех саженей с моста в бездонный сугроб — он горячий, как кипятки.

Доктор Бакалейников вонзился, как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок, еще глубже,

нечеловеческим усилием взметнул вторую тучу, ощутил кипяток на щеках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колена, по щиколотки (кипяток в кальсонах) и наконец — твердая обледеневшая покатошь.

На ней доктор сделал, против всякого своего желания, гигантский пируэт, ободрал об колючую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед.

С моста два раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом — бархатная божественная ночь в алмазных брызгах.

К дрожащим звездам доктор обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта:

— Я — дурак. Я — жалкая сволочь.

Слезы выступили на глазах у доктора, и он продолжал звездам и желтым мигающим огням Слободки:

— Дураков надо учить. Так мне и надо.

Он стал закоченевшей рукой тащить носовой платок из кармана брюк. Вытащил и обмотал кисть. На платке сейчас же выступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо:

— Господи. Если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту.

Впиваясь в желтые приветливые огоньки в приплюснутых домишках, доктор сделал глубочайший вздох...

— Я — монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики. Черт! Течет... здорово ободрал. Ах, мерзавцы. Ну и мерзавцы! Господи... Дай так, чтобы большевики сейчас же вот оттуда из черной тьмы за Слободкой обрушились на мост.

Доктор сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, и больничные халаты бегут врассыпую. Остается пая куреинный и эта гнусная обезьяна в алой шапке — полковник Машенко. Оба они падают на колени.

— Змилуйтесь, добродию, — вопят они.

Но доктор Бакалейников выступает вперед и говорит:

— Нет, товарищи! Нет. Я — монар... Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да. Против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чем он здесь в этой кутерьме, но этих двух нужно убить как бешеных собак. Это негодяи. Гнусные погромщики и грабители.

— А-а... так... — зловеще отвечают матросы.

А доктор Бакалейников продолжает:

— Да, т-товарищи. Я сам застрелю их!

В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одиному. В голову. Другому.

Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине, и доктор Бакалейников опомнился. Весь в снеговой пудре, искрясь

и сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало, и в голове звонили колокола.

Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ними и сгнули в загадочной Слободке. В двух шагах от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренный, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером.

— Скидай, скидай, зануда,— говорил он.

На его круглом прищеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз.

Сечевик возился долго. Сапог с дырой наконец слез. Под сапогом была сизо-черная, заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик размотал мерзлую тряпку.

«Убьет... убьет...— гудело в голове,— ведь целы ноги у этого дурака. Господи, чего ж он молчит?»

Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев.

Сечевик сбросил наконец омерзительную тряпку, медленно обеими руками поднял ногу к самому носу куренного. Торчала совершенно замороженная белая, корявая ступня.

Мутное облако растерянности смыло с круглого лица пана куренного решимость. И моргнули белые ресницы.

— До лазарету. Пропустить його!

Расступились больничные халаты, и сечевик пошел на мост, ковыляя. Доктор Бакалейников глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним! Тут. Вот он — город — тут! Горит на горах за рекой владимирский крест, и в небе лежит фосфорический бледный отсвет фонарей. Дома. Дома. Боже мой! О мир! О благодный покой!

Звериный визг вырвался внезапно из белого здания. Визг, потом уханье. Визг.

— Жида порют,— негромко и сочно звякнул голос.

Бакалейников застыл в морозной пудре, и колыхались перед глазами то белая стена и черные глазницы с выбитыми стеклами, то широкоскулое нечто, смутно напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом.

Словно ковер выколачивали в здании. И визг ширился, рос до того, что казалось, будто вся Слободка полна воем тысячи человек.

— Что ж это такое?! — чей-то голос выкрикнул звонко и резко. Только когда широкоскулое подобие оказалось возле самых глаз Бакалейникова, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще секунда человеческого воя и он с легким и радостным сердцем впустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь. Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане.

— За что вы его бьете?

Не произошло непоправимой беды для будущего приват-доцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме и самого Бакалейникова.

Новая толпа дезертиров сечевиков и гайдамаков посыпалась из пасти Слободки к мосту. Паи куренный, пятась, поверх голов послал в черное устье четыре пули.

— Сынняя дывызя! Покажи себе! — как колотушка стукинул голос полковника Машенки. Шапка с алым верхом взметнулась, жеребец, сдавленный черными халатами, храпя от иалезавшей щетины штыков, встал на дыбы.

— Кро-ком рушь!

Черный батальон синей дивизии грянул хрустом сотен ног и, вынося в клешах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянного парапета, ввалился в черное устье и погнал перед собой обезумевших сечевиков. В грохоте смутно слышался голос:

— Хай живе батько Петлюра!!

О звездные родные украинские ночи. О мир и благостный покой!..

В девять, когда черный строй смел перед собой и уважаемого доктора и все вообще к черту, в городе за рекой, в собственной квартире доктора Бакалейникова был обычный мир в вещах и смятение в душах. Варвара Афанасьевна — жена доктора — металась от одного черного окна к другому и все всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в черной гуще с редкими огнями мужа и Слободку.

Колька Бакалейников и Юрий Леонидович ходили за нею по пятам.

— Да брось, Варя! Ну, чего ты беспокоишься? Ничего с ним не случилось. Правда, он дурак, что пошел, но я думаю, догадается же он удрать!

— Ей-богу, ничего не случится, — утверждал Юрий Леонидович, и намащенные перья стояли у него на голове дыбом.

— Ах, вы только утешаете!.. Они его в Галицию увезут.

— Ну, что ты, ей-богу. Придет он...

— Варвара Афанасьевна!!

— Хорошо, я проаккомпанирую... Боже мой! Что это за гадость? Что за перья?! Да вы с ума сошли! Где пробор?

— Хи-хи. Это он сделал прическу а ля большевик.

— Ничего подобного, — залившись густой краской, солгал Юрий Леонидович.

Это, однако, была сущая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жаана, который два месяца при Петлюре работал под загадочной вывеской «Голярия», Юрий Леонидович зазевался, глядя, как петлюровские штабные с красными хвостами драли в автомобилях на вокзал, и вплотную столкнулся с каким-то черным

блужником. Юрий Леонидович — вправо, и тот вправо, влево и влево... Наконец разминутись.

— Подумаешь, украинский барин! Полтротуара занимает. Палки-то с золотыми шарами отберут в общую кассу.

Вдумчивый и внимательный Юрий Леонидович обериулся, смерил черную замасленную спину, улыбнулся так, словно прочел на ней какие-то письма, и пробормотал:

— Не стоит связываться. Поздравляю. Большевики ночью будут в городе.

Поэтому, приехав домой, он решил изменить облик и изменил его на удивление. Вместо вполне приличного пиджака оказался свэтр с дырой на животе; палка с золотым набалдашиком была сдана на хранение матери. Ушастая дрянь заменила бровную шапку. А под дрянью на голове было черт знает что. Юрий Леонидович размошил сооружение Жаа из «Голярни» и волосы зачесал назад. Получилось будто бы ничего, но когда они высохли и приподнялись... Боже!

— Уберите его! Я не буду аккомпанировать. Черт знает... Папуас!

— Команч. Вождь — Соколиный Глаз.

Юрий Леонидович покорио опустил голову.

— Ну, хорошо, я перечешусь.

— Я думаю — перечешетесь! Колька, отведи его в свою комнату.

Когда вернулись, Юрий Леонидович был по-прежнему не команч, а гладко причесанный бывший гвардейский офицер, а ныне ученик оперной студии Макрушина, обладатель феноменального барнтона.

Город прекрасный... Го-о-род счастливый!

Моря царица, Веденец славный!..

Ти-и-хо порхает...

Бархатная лава затонила гостиную и смягчила сердца, полные тревоги.

О, го-о-о-род ди-и-виный!!

Звонящая лава залила до краев комнату, загремела бесчисленными отражениями от стен и дрогнувших стекол. И только когда приглаженный команч, приглушив звук, царствуя над покоренными аккордами, вывел изумительным меццо:

Месяц сия-а-а-ет с неба ночного!..

и Колька и Варвара Афанасьевна расслышали дьявольски-грозный зов тазов.

Аккорд оборвался, но под педалью еще пело «до», оборвался и голос, и Колька вскочил как ужаленный.

— Голову даю иаотрез, что это Васнлиса! Он, он, проклятый!

— Боже мой...

— Ах, успокойтесь...

— Голову даю! И как такого труса земля терпит?

За окнами плыл, глухо раскатываясь, шабаш. Колька заме-

тался, втискивая в карман револьвер.

— Коля, брось браунинг! Коля, прошу тебя...

— Да не бойся, господи!

Стукнула дверь в столовой, затем на веранде, выходящей во двор. Шабаш ворвался на минуту в комнату. Во дворе, рядом во дворе и дальше по всей улице звонили тазы для варенья. Разливался, потрясая морозный воздух, гулкий, качающийся, тревожный грохот.

— Коля, не ходи со двора. Юрий Леонидович, не пускайте его!

Но дверь захлопнулась, оба исчезли, и глухо поплыло за стеной: дон... дон... дон...

Колька угадал: Василиса — домовладелец и буржуй, инженер и трус, был причиной тревоги. Не только в эту грозную, смутную ночь, когда ждали советскую власть на смену Петлюре, но и в течение всего года, что город принимал и отправлял куда-то вдаль самые различные власти, жил бедный Василиса в состоянии непрерывного хронического кошмара. В нем сменялись и прыгали то грозные лица матросов с золотыми буквами на георгиевских лентах, то белые бумажки с синими печатями, то лихие гайда мацкие хвосты, то рожи германских лейтенантов с моноклями. В ушах стреляли винтовки ночью и днем, звонили тазы, из домовладельца Василиса превратился в председателя домкома, и каждое утро, вставая, ждал бедняга какого-то еще нового, чрезвычайного, всем сюрпризам сюрприза. И прежде всего дождался того, что природное свое имя, отчество и фамилию — Василий Иванович Лисович — утратил и стал Василисой.

На бесчисленных бумажках и анкетах, которых всякая власть требовала целые груды, преддомком начал писать: «Вас. Лис.» и длинную дрожащую закорючку. Все это в предвидении какой-то страшной необычайной ответственности перед грядущей, еще неизвестной, но, по мнению преддомкома, карающей власти.

Нечего и говорить, что лишь только Колька Бакалейников получил первую сахарную карточку с «Вас.» и «Лис.», весь двор начал называть домовладельца Василисой, а затем и все знакомые в городе. Так что имя Василий Иванович осталось в обращении лишь на крайний случай при разговоре с Василисой в упор.

Колька, ведавший в качестве секретаря домкома списками домовой охраны, не мог отказать себе в удовольствии в великую ночь на третье число поставить на дежурство именно Василису в паре с самой рыхлой и сдобной женщиной во дворе Авдотьей Семеновной — женой сапожника. Поэтому в графе: «2-е число, от 8 до 10» — Авдотья и Василиса.

Вообще удовольствия было много. Целый вечер Колька учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамейке под стеной, обмякший и с помутневшими глазами, а Колька с сухим стуком выбрасывал экстрактором патроны, стараясь попадать ими в Василису.

Наконец, насладившись вдоволь, собственноручно прикрепил к ветке акации медный таз для варенья (бить тревогу) и ушел, оставив на скамейке совершенно неподвижного Василису рядом с хмурой Авдотьей.

— Вы посматривайте, Васил... ис... Иванович,— уныло-озабоченно бросил Колька на прощание,— в случае чего... того... на мушку,— и он зловеще подмигнул на карабин.

Авдотья плюнула.

— Чтоб он издох, этот Петлюра, сколько беспокойства людям...

Василиса пошевелился единственный раз после ухода Кольки. Он осторожно приподнял карабин руками за дуло и за ложе, положил его под скамейку дулом в сторону и замер.

Отчаяние овладело Василисой вдесять, когда в городе начали замирать звуки жизни, а Авдотья заявила категорически, что ей нужно отлучиться на пять минут. Песнь Веденецкого гостя, глухо разлившаяся за кремовыми шторами, немного облегчила сердце несчастного Василисы. Но только на минуту. Как раз это время на пригорке за забором, над крышей сарая, к которому уступами сбегал запущенный снегом сад, совершенно явственно мелькнула тень и с шелестом обвалился пласт снега. Василиса закрыл глаза и в течение мгновения увидел целый ряд картин: вот ворвались бандиты, вот перерезали Василисе горло, и вот он — Василиса — лежит в гробу мертвый. И Василиса, слабо охнув, два раза ударил палкой в таз. Тотчас же грохнули в соседнем дворе, затем через двор, а через минуту вся Андреевская улица завывала медными угрожающими голосами, а в номере 17-м немедленно начали стрелять. Василиса, растопырив ноги, заковенел с палкой в руках.

Месяц сиял...

Загремела дверь, и выскочил, натаскивая пальто в рукава, Колька, за ним Юрий Леонидович.

— Что случилось?

Василиса вместо ответа ткнул пальцем, указывая за сарай. Колька с Юрием Леонидовичем осторожно заглянули в калитку сада. Пусто и молчаливо было в нем, и Авдотьи кот давно уже удрал, ошалевший от дьявольского грохота.

— Вы первый ударили?

Василиса судорожно вздохнул, лизнул губы и ответил:

— Нет, кажется, не я...

Колька возвел глаза к небу и прошептал:

— О что это за человек!

Затем он выбежал в калитку и пропадал с четверть часа. Сперва перестали греметь рядом, затем в номере 17-м, потом в номере 19-м, и только долго, долго кто-то еще стрелял в конце улицы, но перестал в конце концов и он. И опять наступило тревожное безмолвие.

Колька, вернувшись, прекратил пытку Василисы, властной рукой секретаря домкома вызвал Драбинского с женой (10—

12 час.) и юркнул обратно в дом. Вбежав на цыпочках в зал, Колька перевел дух и крикнул суфлерским шепотом:

— Ура! Радуйся, Варвара... Ура! Гонят Петлюру! Красные идут.

— Да что ты?

— Слушайте... Я сейчас выбежал на улицу, видел обоз. Уходят хвосты, говорю вам, уходят.

— Ты не врешь?

— Чудачка. Какая ж мне корысть?

Варвара Афанасьевна вскочила с кресла и заговорила торопливо:

— Неужели Михаил вернется?

— Да, конечно. Я уверен, что их выдвинули уже из Слободки. Ты слушай: как только их погонят, куда они пойдут? На город, ясно, через мост. Через город когда будут проходить, тут Михаил и уйдет!

— А если они не пустят?

— Ну-у... не пустят. Дураком не надо быть. Пусть сам бежит.

— Ясно,— подтвердил Юрий Леонидович и подбежал к пианино. Уселся, ткнул пальцем в клавиши и начал тихонько:

Соль... до!..

Проклятьем заклеямен...

а Колька, зажав руками рот, изобразил, как солдаты кричат «ура».

— У-а-а!..

— Вы с ума сошли оба! Петлюровцы на улице!..

— У-а-а-а!.. Долой Петлю... ая!..

Варвара Афанасьевна бросилась к Кольке и зажала ему рот рукой.

Первое убийство в своей жизни доктор Бакалейников увидел секунда в секунду на переломе ночи со второго на третье число.

В полночь у входа на проклятый мост. Человека в разорванном черном пальто с лицом, синим и черным в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренный бежал рядом и бил его шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только странно ухал. Тяжко и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сиплое:

— Ух... а...

Ноги Бакалейникова стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная Слободка.

— А-а, жидовская морда! — иступленно кричал пан куренный. — К штабелю его на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я т-тебе покажу! Що ты робив за штабелем? Що?!

Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренный забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтоб самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан куренный не рассчитал удара и

молниеносно опустил шомпол на голову. Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже: «Ух...» Как-то странно, подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Бакалейников видел, как крючковато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих.

Странно, словно каркнув, Бакалейников всхлипнул, пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зданию. Подняв голову к небу, увидел шипящий белый фонарь, а выше опять светило черное небо, опоясанное бледной перевязью Млечного Пути, и играющие звезды. И в ту же минуту, когда черный лежащий испустил дух, увидел доктор в небе чудо. Звезда Венера над Слободкой вдруг разорвалась в застывшей выси огненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. Черная даль, долго терпевшая злодейство, пришла наконец на помощь обессилевшему и жалкому в бессилье человеку. Вслед за звездой даль подала страшный звук, ударила громом тяжело и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

...Бежали серым стадом сечевики. И некому их было удерживать. Бежала и синяя дивизия нестройными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой. Исчез пан куренный, исчез полковник Машенко. Остались позади навеки Слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. И город прекрасный, город счастливый выплывал навстречу на горах.

У белой церкви с колоннами доктор Бакалейников вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на странных негнущихся ногах пошел в сторону прямо на церковь. Ближе колонны. Еще ближе. Спина начали жечь как будто тысячи взглядов. Боже, все заколочено! Нет ни души. Куда бежать? Куда? И вот оно сзади наконец, страшное:

— Стый!

Ближе колонна. Сердца нет.

— Стый! Сты-ый!

Тут доктор Бакалейников — солидный человек — сорвался и кинулся бежать так, что засvistело в лицо.

— Тримай! Тримай його!!

Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар. Удар. Удар. Третья колонна. Миг. Четвертая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинулся в переулок. Иначе бы в момент догнали конные гайдамаки на освещенной, прямой, заколоченной Александровской улице. Но дальше — сеть переулков кривых и черных. Прощайте!

В пролом стены вдавился доктор Бакалейников. С минуту ждал смерти от разрыва сердца и глотал раскаленный воздух. Развеял по ветру удостоверение, что он мобилизован в качестве врача «першого полку синей дывызин». На случай, если в пустом городе встретится красный первый патруль.

Около трех ночи в квартире доктора Бакалейникова залился оглушительный звонок.

— Ну я ж говорил! — заорал Колька. — Перестань реветь! Перестань...

— Варвара Афанасьевна! Это он. Полноте.

Колька сорвался и полетел открывать.

— Боже ты мой!

Варвара Афанасьевна кинулась к Бакалейникову и отшатнулась.

— Да ты... да ты седой...

Бакалейников тупо посмотрел в зеркало и улыбнулся криво, дернув щекой. Затем, поморщившись, с помощью Кольки стащил пальто и, ни слова не говоря, прошел в столовую, опустился на стул и весь обвис, как мешок. Варвара Афанасьевна глянула на него, и слезы опять закапали у нее из глаз. Юрий Леонидович и Колька открыв рты глядели в затылок Бакалейникову на белый вихор, и папиросы у обоих потухли.

Бакалейников обвел глазами тихую столовую, остановил мутный взгляд на самоваре, несколько секунд вглядывался в свое искаженное изображение в блестящей грани.

— Да, — наконец выдавил он из себя бессмысленно.

Колька, услышав это первое слово, решился спросить:

— Слушай, ты... Бежал, конечно? Да, ты скажи, что ты у них делал.

— Вы знаете, — медленно ответил Бакалейников, — они, представьте... в больничных халатах, эти самые синие-то петлюровцы. В черных...

Еще что-то хотел сказать Бакалейников, но вместо речи получилось неожиданное. Он всхлипнул звонко, всхлипнул еще раз и разрыдался, как женщина, уткнув голову с седым вихром в руки. Варвара Афанасьевна, не зная еще, в чем дело, заплакала в ту же секунду. Юрий Леонидович и Колька растерялись до того, что даже побледили. Колька опомнился первый и полетел в кабинет за валерианкой, а Юрий Леонидович сказал, прочистив горло, неизвестно к чему:

— Да, каналья этот Петлюра.

Бакалейников же поднял искаженное плачем лицо и, всхлипывая, выкрикнул:

— Бандиты... Но я... я... интеллигентская мразь! — и тоже неизвестно к чему...

И распространился запах эфира. Колька дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку.

Через час город спал. Спал доктор Бакалейников. Молчали

улицы, заколоченные подъезды, закрытые ворота. И не было ни одного человека на улицах. И даль молчала. Из-за реки, от Слободки с желтыми потревоженными огнями, от моста с бледной цепью фонарей не долетело ни звука. И сгнула черная лента, пересекая город, в мраке на другой стороне. Небо висело — бархатный полог с алмазными брызгами, чудом склеившаяся Венера над Слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь — путь серебряный, млечный.

1922

НАЛЕТ

(В волшебном фонаре)

Разорвало черную кашу метели косым бледным огнем, и сразу из тучи вывалились длинные, темные лошадиные морды.

Храп. Потом ударило огнем второй раз. Абрам упал в глубокий снег под натиском бесформенной морды и страшной лошадиной груди, покатился, не выпустив винтовки из рук... Стоптаный и смятый, поднялся в жемчужных, рассыпавшихся мухами, столбах.

Холода он не почувствовал. Наоборот, по всему телу прошел очень сухой жар, и жар этот уступил место поту до ступней ног. Тогда же Абрам почувствовал, что это обозначает смертельный страх.

Вьюга и он, жаркий страх, залепили ему глаза, так что несколько мгновений он совсем ничего не видал. Черным и холодным косо мело, и проплыли перед глазами огненные кольца.

— Тильки стрельни... стрельни, сучья кровь, — сказал сверху голос, и Абрам понял, что это — голос с лошади.

Тогда он вспомнил почему-то огонь в черной печечке, недописанную акварель на стене — зимний день, дом, чай и тепло. Понял, что случилось именно то нелепое и страшное, что мерещилось, когда Абрам, пугливо и настороженно стоя на посту, представлял себе, глядя в вертящуюся метель. Стрельни? О нет, стрелять он не думал. Абрам уронил винтовку в снег и судорожно вздохнул. Стрелять было бесполезно, морды коней торчали в поредевшем столбе метели, чернела недалеко сторожевая будка, и серой кучей тряпья казались сваленные в груды щиты. Совсем близко показался темный, бесформенный второй часовой Стрельцов в остром башлыке, а третий, Шукин, пропал.

— Якого полку? — сипло спросил голос.

Абрам вздохнул, взвел глаза кверху, стремясь, вероятно, глянуть на минутку на небо, но сверху сыпало черным и холодным, винт свивался ввысь — неба там не было никакого.

— Ну, ты мне заговоришь! — сказало тоже с высоты, но с другой стороны, и Абрам чутко тотчас услышал сквозь гудение

вьюги большую сдержанную злобу. Абрам не успел заслониться. Черное и твердое мелькнуло перед лицом, как птица, затем яростная, обжигающая боль раздробила ему челюсти, мозг и зубы, и показалось, что в огне треснула вся голова.

— А... А-га-а,— судорожно выговорил Абрам, хрустя костяной кашей во рту и давясь соленой кровью.

Тут же мгновенно вспыхнул Стрельцов бледно-голубым и растерзанным в конусе электрического фонарика, и еще совершенно явственно обозначился третий часовой Щукин, лежавший свернувшись в сугробе.

— Якого?! — визгнула метель.

Абрам, зная, что второй удар будет еще страшнее первого, задохнувшись, ответил:

— Караульного полка.

Стрельцов погас, потом вновь вспыхнул.

Мушки метели неслись беззлобным роем, прыгали, кувыркались в ярком конусе света.

— Тю! Жида взяли! — резнул голос в темноте за фонарем, а фонарь повернулся, потушил Стрельцова и в самые глаза Абраму впился большим выпуклым глазом. Зрачок в нем сверкал. Абрам увидел кровь на своих руках, ногу в стремях и черное острое дуло из деревянной кобуры.

— Жид, жид! — радостно пробурчал ураган за спиной.

— И другой? — жадно откликнулся бас.

Слышало только левое ухо Абрама, правое было мертво, как мертвы щека и мозг. Рукой Абрам вытер липкую густую кровь с губ, причем огненная боль прошла по левой щеке в грудь и сердце. Фонарь погасил половину Абрама, а всего Стрельцова показал в кругу света. Рука с седла сбила папаху с головы Стрельцова, и прядь волос на нем стала дыбом. Стрельцов качнул головой, открыл рот и неожиданно сказал слабо в порохе метели:

— У-у, бандитье. Язви вашу душу.

Свет прыгнул вверх, потом в ноги Абраму. Глухо ударили Стрельцова. Затем опять наехала морда.

Оба — Абрам и Стрельцов — стояли рядом у высоченной груды щитов все в том же голубоватом сиянии фонарика, а в упор перед ними метались, спешиваясь, люди в серых шинелях. В конус попадала то винтовка с рукой, то красный хвост с галуном и кистью на папаше, то бренчащий, зажеванный, в беловой пенке мунштук.

Светились два огня — белый на станции, холодный и высокий, и низенький, похороненный в снегу, на той стороне, за полотном. Мело все реже, все жиже и не гудело и не шарахало, выпавая в лицо и за шею сухие, холодные тучи, летела ровно и плавно в конус слабеющая метель.

Стрельцов стоял с лицом, залепленным красной маской, — его били долго и тяжело за дерзость, размолотив всю голову. От

ударов он остервенел, стал совершенно нечувствительным и, глядя одним глазом зрячим и ненавистным, а другим незрячим, багровым, опираясь вывернутыми руками на штабель, сияя и харкая кровью, говорил:

— Ух... бандитье... У, мать вашу... Всех половят, всех расстреляют — всех...

Иногда вскакивала в конус фигура с черным костлявым пистолетом в руке и была рукояткою Стрельцова. Он тогда ослабевал, рычал, и ноги его отползали от штабеля, и удерживался он только руками.

— Скорийше!

— Скорей!

Со стороны высокого белого станционного огня донесся веером залп и пропал.

— Ну, бей, бей же, скорей! — сипло вскрикивал Стрельцов. — Нечего людей мучить зря.

Стрельцов стоял в одной рубаше и желтых стеганых штанах; шинели и сапог на нем не было, и размотавшиеся пятнистые портянки ползли за ним, когда отползали ноги от щитов. Абрам же был в своей гадкой шинели и в валенках. Никто на них не польстился, и золотистая солома мирно глядела из правого разорванного носка так же, как и всегда.

Лицо у Абрама было никем никогда не виданное.

— Жид смеется! — удивилась тьма за конусом.

— Он мне посмеется, — ответил бас.

У Абрама сами собой, нещекотно и небольно, вытекали из глаз слезы, а рот был разодран, словно он улыбнулся чему-то да так и остался. Расстегнутая шинель распахнулась, и руками он почему-то держался за канты своих черных штанов, молчал и смотрел на выпуклый глаз с ослепляющим зрачком.

«Так вот все и кончилось, — думал он, — как я и полагал. Акварели не увижу ни в коем случае больше, ни огня. И ничего не случится, нечего ждать — конец».

— А ну, — предостерегла тьма. Сдвинулся конус, глаз перешел влево, и прямо в темноте, против часовых, в дырочках винтовок притаился этот самый черный конец. Тут Абрам разом ослабел и стал сползать — ноги поехали. Поэтому сверкнувшего конца он совсем не почувствовал.

Винтом унесло метель по полотну, и в час все изменилось. Перестало сыпать сверху и с боков. Далеко над снежными полями разорвало тучи, их сносило, и в прорези временами выглядывал край венца на золотой луне. Тогда на поле ложился жидко-молочный коварный отсвет, и рельсы струились вдаль, а груда щитов становилась черной и уродливой. Высокий огонь на станции слабел, а желтоватый, низенький был неизменен. Его первым увидал Абрам, приподняв веки, и очень долго, как прикованный, смотрел на него. Огонь был неизменен, но веки Абрама то открывались, то закрывались, и поэтому чудилось, что тот огонь мигает и шурится.

Мысли у Абрама были странные, тяжелые, необъяснимые и вялые — о том, почему он не сошел с ума, об удивительном чуде и о желтом огне...

Ноги он волочил, как перебитые, работал локтями по снегу, тянул простреленную грудь и полз к Стрельцову очень долго: минут пять — пять шагов. Когда дополз, рукой ошупал его, убедился, что Стрельцов холодный, занесенный снегом, и стал отползать. Стал на колени, потом покачался, напрягся и встал на ноги, зажал грудь обеими руками. Прошел немного, свалился и опять пополз к полотну, никогда не теряя из виду желтый огонь.

— Кто же это? Господи, кто? — женщина спросила в испуге, цепляясь за скобку двери. — Одна я, ей-богу, ребенок больной. Идите себе на станцию, идите.

— Пусти меня, пусти. Я ранен, — настойчиво повторил Абрам, но голос его был сух, тонок и певуч. Руками он хватался за дверь, но рука не слушалась и соскакивала, и Абрам больше всего боялся, что женщина закроет дверь.

— Ранен я, слышите, — повторил он.

— Ой, лиешечко, — ответила женщина и приоткрыла дверь.

Абрам на коленях вполз в черные сенцы. У женщины провалялись в кругах глаза, и она смотрела на ползущего, а Абрам смотрел вперед на желтый огонь и видел его совсем близко. Он шипел в трехлинейной лампочке.

Вполне ночь расцвела уже под самое утро. Студеная и вся усеянная звездами. Крестами, кустами, квадратами, звезды сидели над погребенной землей и в самой высшей точке, и далеко за молчащими лесами, на горизонте. Холод, мороз и радужный венец на склоне неба, у луны.

В сторожке у полотна был душный жар, и огонек, по-прежнему неутомимый и желтый, горел скупое, с шипеньем.

Сторожиха бессонно сидела на лавке у стола, глядела мимо огня на печь, где под грудой тряпья и бараньим тулупом с сипением жило тело Абрама.

Жар ходил волнами от мозга к ногам, потом возвращался в грудь и стремился задуть ледяную свечку, сидящую в сердце. Она ритмически сжималась и расширялась, отсчитывая секунды, и выбивала их ровно и тихо. Абрам свечи не слышал, он слышал ровное шипение огня в трехлинейном стекле, причем ему казалось, что огонь живет в его голове, и этому огню Абрам рассказывал про винт метели, про дробящую боль в скулах и мозгу, про Стрельцова, занесенного снегом. Абрам хотел Стрельцова вынуть из сугроба и вытащить на печь, но тот был тяжелый и трудный, как вбитый в землю кол. Абрам хотел мучительный желтый огонь в мозгу вынуть и выбросить, но огонь упорно сидел и выжигал все, что было внутри оглохшей головы. Ледяная стрелка в сердце делала перебой, и часы жизни начинали идти странным образом наоборот, холод вместо жара шел от головы

к ногам, свечка перемещалась в голову, а желтый огонь в сердце, и сломанное тело Абрама колотило мелкой дрожью в терции, вперебой и нелад со стуком жизни, и уже мало было бараньего меха, и хотелось доверху заложить мехами всю сторожку, съежиться и лечь на раскаленные кирпичи.

Прошли годы. И случилось столь же радостное, сколь и неестественное событие: в клуб привезли дрова. Конечно, они были сырые, но и сырые дрова загораются — загорелись и эти. Устье печки изрыгало уродливых огненных чертей, жар выплывал и танцевал на засохшей елочной гирлянде, на лентах портрета, выхватывая край бороды, на полу и на лице Брони. Броня сидела на корточках у самого устья, глядела в пламя, охватив колени руками, и бурчные мохнатые сапоги торчали носами и нагревались от огненного черта. Голова Брони была маково-красной от неизменной повязки, стянутой в лихой узел.

Остальные сидели на дырявых стульях полукругом и слушали, как повествовал Грузный. Як басом рассказал про атаки, про студеные ночи, про жгучую войну. Получилось так, что Як был храбрый и неунывающий человек. И действительно он был храбрый. Когда он кончил — плюнул в серое, перетянутое в талии ведро и выпустил клуб паршивого дыма от гнилого, дешевого табаку.

— Теперь Абрам, — сказала Броня, — суший профессор. Он тоже может рассказать что-нибудь интересенькое. Ваша очередь, Абрам, — она говорила с запинкой, потому что Абрам, единственный недавний приезжий человек, получал от нее в разговоре «вы».

Маленький, взъерошенный, как воробей, вылез из заднего ряда и попал в пламя во всей своей красоте. На нем была куртка на вате, как некогда носили лабазники, и замечательные, на всем рабфаке и вряд ли в целом мире не единственные штаны: коричневые, со странным зеленоватым отливом, широкие вверху и узкие внизу. Правое ухо башмака они почему-то никогда не закрывали и покоились сверху, позволяя каждому видеть полосу серого Абрамова чулка.

Обладатель брюк был глух и поэтому, на лице всегда сохраняя вежливую конфузливую улыбку, в нужных случаях руку щитком прикладывал к левому уху.

— Ваша очередь, Абрам, — распорядилась Броня громко, как все говорили с ним, — вы, вероятно, не воевали, так вы расскажите что-нибудь вообще...

Взъерошенный воробей поглядел в печь и, сдерживая голос, чтобы не говорить громче, чем надо, стал рассказывать. В конце концов он увлекся и, обращаясь к пламени и к маковой Брониной повязке, рассказывал страстно. Он хотел вложить в рассказ все: и винт метели, и внезапные лошадиные морды, и какой бывает бесформенный страшный страх, когда умираешь, а надежды нет. Говорил в третьем лице про двух часовых караульного полка,

говорил, жалостливо поднимая брови, как недострелили одного из них и он пополз прямо все время на желтый огонь, про бабу-сторожиху, про госпиталь, в котором врач ручался, что часовой ни за что не выживет, и как этот часовой выжил... Абрам левую руку держал в кармане куртки, а правой указывал в печь на огонь, как будто бы там огонь и рисовал ему эту картину. Когда кончил, то посмотрел в печку с ужасом и сказал:

— Вот как...

Все помолчали.

Як снисходительно посмотрел на коричневые штаны и сказал:

— Бывало... Отчего ж... Это бывало на Украине. А это с кем произошло?

Воробей помолчал и ответил стыдливо:

— Это со мной произошло.

Потом помолчал и добавил:

— Ну, я пойду в библиотеку.

И ушел, по своему обыкновению прихрамывая.

Все головы повернули ему вслед, и все долго смотрели не отрываясь на коричневые штаны, пока ноги Абрама не пересекли весь большой зал и не скрылись в дверях.

1923 г.

КРАСНАЯ КОРОНА

*Historia morbi*¹

Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый, частый стук. Людей боюсь до того, что, если вечером я слышу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора, № 27. Никто не может ко мне прийти. Но чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича (плакал перед ним), чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью... Она его загнала на фонарь, а фонарь стал причиной моей болезни (не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен).

¹ История болезни (лат.).

В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделаться, но теперь я смело бы сказал:

— Господин генерал, вы — зверь! Не смейте вешать людей!

Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я ее не боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди... Это отвратно.

Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал, за ним желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой безоконной стеной, и под самой крышей — огромный ржавый квадрат. Вывеска. Зуботехническая лаборатория. Белыми буквами. Вначале я ее ненавидел. Потом привык, и если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день, на ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки — страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная последняя картина.

Старуха мать сказала мне:

— Я долго так не проживу. Я вижу: безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший. Я молчал.

Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль.

— Найди его! Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это — безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его.

Она лгала. Разве она отпустила бы его опять?

Я молчал.

— Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко? Он — мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его.

Я не выдержал и сказал, пряча глаза:

— Хорошо.

Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо.

— Нет, ты поклянись, что привезешь его живым.

Как можно дать такую клятву?

Но я, безумный человек, поклялся:

Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас, я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем. Ему девятнадцать лет.

После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в двадцати верстах у речонки. Необыкновенно яркий был день. В мутных клубах белой пыли по дороге на деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню: правая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок.

— Коля! Коля! — Я вскрикнул и подбежал к придорожной канаве.

Он дрогнул. В шеренге хмурые потные солдаты повернули головы.

— А, брат! — крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда — брат. Я старше его на десять лет. И он всегда внимательно слушал мои слова. — Стой. Стой здесь, — продолжал он, — у лесочка. Сейчас мы подойдем. Я не могу оставить эскадрон.

У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все — безумие. Мать была совершенно права.

И я шептал ему:

— Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда и навсегда.

— Что ты, брат?

— Молчи, — говорил я, — молчи. Я знаю.

Эскадрон сел. Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы. И застучало вдали. Частый, частый стук.

Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом.

Через час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них — правый — то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Шурясь от солнца, я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красной. И день окончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями — ключьями.

Всадник — брат мой, в красной лохматой короне, сидел неподвижно на взмыленной лошади, и если б не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать: он едет на парад.

Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там, где час назад светились ясные глаза...

Левый всадник спешил, левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся.

И голос сказал:

— Эх, вольноопределяющего нашего... осколком. Санитар, зови доктора...

Другой охнул и ответил:

— С-с... Что ж, брат, доктора? Тут давай попа.

Тогда флер черный стал гуще и все затянул, даже головной убор...

Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз еще внизу, в № 63, он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю: раз он в короне — значит, мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшимися кровью. Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами и говорит одно и то же. Честь. Затем:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

Что он сделал со мной в первый раз! Он испугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво: раз в венчике — убитый, а если убитый приходит и говорит — значит я сошел с ума.

Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партитура «Фауста» на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клочок волос свисал на лоб. Он кивал головой:

— Брат, идем ко мне в комнату. Что я тебе покажу!..

В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав: «Иди», не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся.

Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адову муку, все ж таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил мне говорить вечно

Я решил положить конец. Сказал ему с силой:

— Что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя — за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня.

Господин генерал, он промолчал и не ушел.

Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены, так же как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к вам тот, грязный, в саже, с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера.

Итак, он не ушел. Тогда я вспугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в номере двадцать седьмом. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре:

— Безнадежен.

Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна — старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.

Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:

— Я не могу оставить эскадрон.

Да, я безнадежен. Он замучит меня

1922 г.

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА

Доктор N, мой друг, пропал. По одной версии его убили, по другой — он утонул во время посадки в Новороссийске, по третьей — он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе.

Как бы там ни было, чемодан, содержащий в себе три ночных сорочки, бритвенную кисточку, карманную рецептуру доктора Рабова (изд. 1916 г.), две пары носков, фотографию профессора Мечникова, окаменевшую французскую булку, роман «Марья Лусьева за границей», шесть порошков пирамидона по 0,3 и записную книжку доктора, попал в руки его сестры.

Сестра послала записную книжку по почте мне вместе с письмом, начинавшимся словами: «Вы литератор и его друг, напечатайте, т. к. это интересно» (далее женские рассуждения на тему «о пользе чтения», пересыпанные пятнами от слез).

Я не нахожу, чтоб это было особенно интересно — некоторые

места совершенно нельзя разобрать (у доктора N отвратительный почерк), тем не менее печатаю бессвязные записки из книжки доктора без всяких изменений, лишь разбив их на главы и переименовав их.

Само собой, что гонорар я отправлю доктору N в Буэнос-Айрес, как только получу точные сведения, что он действительно там

1.

Без заглавия — просто вопль

За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет тому назад? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один тип мне сказал: «Зато вам будет что порассказать вашим внукам!» Болван такой! Как будто единственная мечта у меня — это под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе!..

И притом не только внуков, но даже и детей у меня не будет, потому что, если так будет продолжаться, меня несомненно убьют в самом ближайшем времени...

К черту внуков. Моя специальность — бактериология. Моя любовь — зеленая лампа и книги в моем кабинете. Я с детства ненавидел Фенимора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки.

У меня нет к этому склонности. У меня склонность к бактериологии.

А между тем...

Погасла зеленая лампа. «Химиотерапия спириллезных заболеваний» валяется на полу. Стреляют в переулке. Меня мобилизовала пятая по счету власть.

2.

Йод спасает жизнь

Вечер... декабря.

Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился... К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это — «ихние». На западной пулеметы — «наши». Бегут какие-то с винтовками. Вообще — вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят: «новая власть тут...».

«Ваша часть (какая, к черту, она моя!) на Владимирской». Бегу на Владимирскую и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть... Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу — какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат:

— Держи его! Держи!

Я оглянулся — кого это?

Оказывается — меня!

Тут только я сообразил, что надо было делать — просто-напросто бежать домой. И я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад. Забор. Я на забор.

Те кричат:

— Стой!

Но как я ни неопытен во всех этих войнах, а понял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор. Вслед: трах! трах! И вот откуда-то злобный взьерошенный белый пес ко мне. Ухватился за шинель, рвет вдребезги. Я свесился с забора. Одной рукой держусь, в другой банка с йодом (200 gr). Великолепный германский йод. Размышлять некогда. Сзади топот. Погубит меня пес. Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пес моментально окрасился в рыжий цвет, взвыл и исчез. Я через сад. Калитка. Переулок. Тишина. Домой...

...До сих пор не могу отдышаться!

...Ночью стреляли из пушек на юге, но чьи это — уж не знаю. Безумно йода жаль.

3.

Ночь со 2 на 3

Происходит что-то неопишемое... Новую власть тоже выгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава богу. Слава богу. Слава...

Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15° ниже нуля (по Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу. Слободка на этом. Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные. Пешие. И пушки ехали, и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там два часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил. Когда бежал, размышлял о своей судьбе. Она смеется надо мной. Я — доктор, готовлю диссертацию, ночью сидел, как крыса притаившись, в чужом дворе! Временами я жалею, что я не писатель. Но, впрочем, кто поверит! Я убежден, что, попадись эти мои заметки кому-нибудь в руки, он подумает, что я все это выдумал.

Под утро стреляли из пушек.

Итальянская гармоника

15 февраля.

Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона (эмфизема). Играл в приемной, ожидая очереди, на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик («На сопках Манчжурии»), но пациенты были страшно смущены и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон...

Эмфизематику лекарство в аптеке сделали в двадцать минут и даром. Это замечательно, честное слово!

17 февраля.

Спал сегодня ночью — граммофон внизу сломался.

Достал бумажки с 18 печатями о том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой.

21 февраля.

Меня уплотнили...

22 февраля.

...И мобилизовали.

... марта.

Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За полком на подводе ехал граммофон и играл «Вы просите песен». Какое все-таки приятное изобретение!

Из пушек стреляли все утро...

Артиллерийская подготовка и сапоги.

Кончено. Меня увозят.

Ханкальское ущелье

Сентябрь.

Временами мне кажется, что все это сон. Бог грозный наворотил горы. В ущельях плывут туманы. В прорезах гор грозные тучи. И бурно плещет по камням

.....мутный вал.
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал.

Узун-хаджи в Чечен-ауле. Аул растянулся на плоскости на фоне синеватой дымки гор. В плоском Ханкальском ущелье пылят по дорогам арбы, двуколки. Кизлярогребенские казаки стали на левом фланге, гусары на правом. На вытопанных кукурузных полях батарен. Бьют шрапнелью по Узуну. Чеченцы как черти дерутся с «белыми чертями». У речонки, на берегу которой валяется разбухший труп лошади, на двуколке треплется краснокрестный флаг. Сюда волокут ко мне окровавленных казаков, и они умирают у меня на руках.

Грозовая туча ушла за горы. Льет жгучее солнце, и я жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечутся две сестры, поднимают бессильные свесившиеся головы на соломе двуколок, перывывают белыми бинтами, поят водой.

Пулеметы гремят дружно целой стаей.

Чеченцы шпарят из аула. Бьются отчаянно. Но ничего не выйдет. Возьмут аул и зажгут. Где ж им с двумя паршивыми трехдюймовками устоять против трех батарей кубанской пехоты...

С гортанными воплями понесся их лихой конный полк вытопанными, выжженными кукурузными пространствами. Ударил с фланга в терских казачков.

Те чуть тѣку не дали. Но подсыпали кубанцы, опять застроили пулеметы и загнали наездников за кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обреченные сакли.

Ночь.

Все тише, тише стрельба. Гуще сумрак, таинственные тени. Потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет. Фыркают лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят мигая костры. Чем черней, тем страшней и тоскливей на душе. Наш костер трещит. Дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает безграничная, черная, ползучая. Шалит, пугает. Ущелье длинное. В ночных бархатах неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой

траве, тени в черкесках. Ползут, ползут... И глазом не успеешь моргнуть: вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом и... аминь!

Тьфу, черт возьми!

— Поручиться нельзя, — философски отвечает на кой-какие дилетантские мои соображения относительно непрочности и каверзости этой ночи сидящий у костра терского 3-го конного казачок, — заскочить с хлангу. Бывало.

Ах, типун на язык! «С хлангу!» Господи, боже мой! Что же это такое! Овес жуют лошади, дула винтовок в огненных отблесках. «Поручиться нельзя!» Туманы в тьме, Узун-Хаджи в роковом ауле...

Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его специальности. При чем здесь я?

Заваливаюсь на брезент, съезживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски. Встает зеленая лампа, круг света на глянцеваых листах, стены кабинета... Все полетело верхним концом вниз и к чертовой матери! За тысячи верст на брезенте, в страшной ночи. В Ханкальском ущелье...

Но все-таки наступает сон. Но какой? То лампа под абажуром, то гигантский темный абажур ночи и в нем пляшущий огонь костра. То тихий скрип пера, то треск огненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутноватой сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загремели шашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы, газыри с серебряными головками... Ах!.. Напали!

...Да нет! Это чудится... Все тихо. Пофыркивают лошади, рядами лежат черные бурки — спят истомленные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тянет сверху. Встает бледный далекий рассвет.

Усталость нечеловеческая. Уж и на чеченцев наплевать. Век не поднимешь — свинец. Пропадает из глаз умирающий костер... Наскочат с «хлангу», как кур зарежут. Ну и зарежут. Какая разница....

Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог. Хаджи. Узун. В красном переплете в одном томе. На переплете золотой офицер с незрячими глазами и эполеты крылышками. Тебя я, вольный сын эфира. Слянка-то с эфиром лопнула на солнце... Мягче, мягче, глуше, темней. Сон.

9.

Дым и пух

Утро.

Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы поскакали за кукурузные пространства. Опять взвыл пулемет, но очень скоро перестал.

Взяли Чечен-аул...

И вот мы на плато. Огненные столбы взлетают к небу. Пылают белые домики, заборы, трещат деревья. По кривым улочкам метет пламенная вьюга, отдельные дымки свиваются в одну тучу, и ее тихо относит на задний план к декорации оперы «Демон».

Пухом полна земля и воздух. Лихие гребенские станичники проносятся вихрем к аулу, потом обратно. За седлами, пачками связанные, в ужасе воют куры и гуси.

У нас на стоянке с утра идет лукулловский пир. Пятнадцать кур бултыхнули в котел. Золотистый, жирный бульон — объедение. Кур режет Шугаев, как Ирод младенцев.

А там, в таинственном провале между массивами, по склонам которых ползет и тает клочковатый туман, пылая мщением, уходит таинственный Узун со всадниками.

Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно. И поделом — не жги аулов.

Для меня тоже кончится скверно. Но с этой мыслью я уже помирился. Стараюсь внушить себе, что это я вижу сон. Длинный и скверный.

Я всегда говорил, что фельдшер Голендюк — умный человек. Сегодня ночью он пропал без вести. Но хотя вести он и не оставил, я догадываюсь, что он находится на пути к своей заветной цели, именно на пути к железной дороге, на конце которой стоит городок. В городке его семейство. Начальство приказало мне «произвести расследование». С удовольствием. Сажу на ящике с медикаментами и произвожу. Результат расследования: фельдшер Голендюк пропал без вести. В ночь с такого-то на такое-то число. Точка.

10.

Достукался и до чеченцев

Жаркий сентябрьский день.

...Скандал! Я потерял свой отряд. Как это могло произойти? Вопрос глупый, здесь все может произойти. Что угодно. Коротко говоря: нет отряда.

Над головой раскаленное солнце, кругом выжженная травка. Забытая колея. У колеи двуколка, в двуколке я, санитар Шугаев и бинокль. Но главное — ни души. Ну ни души на плато. Сколько ни шарили стекла Цейсса — ни черта. Сквозь землю провалились все. И десятитысячный отряд с пушками и чеченцы. Если б не дымок от дгорающего в верстах пяти Чечена, я бы подумал, что здесь и никогда вообще людей не бывало.

Шугаев встал во весь рост в двуколке, посмотрел налево, повернулся на 180°, посмотрел и направо, и назад, и вперед, и вверх и слез со словами:

— Паршиво.

Лучше ничего сказать нельзя. Что произойдет в случае встречи

с чеченцами, у которых спалили пять аулов, предсказать не трудно. Для этого не нужно быть пророком...

Что же, буду записывать в книжечку до последнего. Это интересно.

Поехали наобум.

...Ворон взмыл вверх. Другой вниз. А вот и третий. Чего это они крутятся? Подъезжаем. У края брошенной заросшей дороги лежит чеченец. Руки разбросал крестом. Голова закинута. Лохмотья черной черкески. Ноги голые. Кинжала нет. Патронов в газырях нет. Казачки народ запасливый, вроде гоголевского Осипа.

— И веревочка пригодится.

Под левой скулой черная дыра, от нее на грудь, как орденская лента, тянется выгоревший под солнцем кровавый след. Изумрудные мухи суетятся, облепив дыру. Раздраженные вороны выются невысоко, покрикивают...

Дальше!

...Цейсс галлюцинирует! Холм, а на холме на самой вершине — венский стул! Кругом пустыня! Кто на гору затащил стул? Зачем?..

...Объехали холм осторожно. Никого. Уехали, а стул все лежит.

Жарко. Хорошо, что полную манерку захватил.

11.

Под вечер

Готово! Налетели. Вот они, горы, в двух шагах. Вот ущелье. А из ущелья катят. Кони-то, кони! Шашки в серебре. Интересно, кому достанется моя записная книжка? Так никто и не прочтет! У Шугаева лицо цвета зеленоватого. Вероятно, и у меня такое же. Машинально пошевелил браунинг в кармане. Глупости. Что он поможет! Шугаев дернулся. Хотел погнать лошадей и замер.

Глупости. Кони у них — смотреть приятно. Куда ускачешь на двух обозных? Да и шагу не сделаешь. Вскинет любой винтовку, приложится, и кончен бал.

— Э-хе-хе,— только и произнес Шугаев.

Заметили. Подняли пыль. Летят к нам. Доскакали. Зубы белые сверкают, серебро сверкает. Глянул на солнышко. До свиданья, солнышко...

...И чудеса в решетел!.. Наскакали, лошади кругом танцуют. Не хватают, галдят:

— Та-ла-га-га!

Черт их знает, что они хотят. Впился рукой в кармане в ручку браунинга, предохранитель на огонь перевел. Схватят — суну в рот. Так оно лучше. Так научили.

А те галдят, в грудь себя бьют, зубы скалят, указывают вдалеку.

— А-ля-ма-мя... Болгатоз-э!

— Шали-аул! Га-го-гыр-гыр.

Шугаев человек бывалый. Опытный. Вдруг румянцем по зелени окрасился, руками замахал, заговорил на каком-то изумительном языке:

— Шали, говоришь. Так, так. Наша Шали-аул пошла? Так, так. Болгатоз. А наши-то где? Там?

Те расцвели улыбками, зубы изумительные. Руками машут, головами кивают.

Шугаев окончательно приобрел нормальный цвет лица.

— Мирные! Мирные, господин доктор! Замирили их. Говорят, что наши через Болгатоз на Шали-аул пошли. Проводить хотят! Да вот и наши! С места не сойти, наши!

Глянул — внизу у склона пылит. Уходит хвост колонны. Шугаев лучше Цейсса видит.

У чечен лица любопытные. Глаз с Цейсса не сводят.

— Понравился бинок, — хихикнул Шугаев.

— Ох, и сам я вижу, что понравился. Ох, понравился. Догнать бы скорей колонну!

Шугаев трясется на облучке, читает мысли, утешает.

— Не извольте беспокоиться. Тут не тронут. Вон они наши. Вон они! Но ежели бы версты две подальше, — он только рукой махнул.

А кругом.

— Гыр... гыр!

Хоть бы одно слово я понимал! А Шугаев понимает и сам разговаривает. И руками и языком. Скачут рядом, шашками побрякивают. В жизнь не ездил с таким конвоем...

12.

У костра

Горит аул. Узуна гонят. Ночь холодная. Жмемся к костру. Пламя играет на рукоятках. Они сидят поджавши ноги и загадочно смотрят на красный крест на моем рукаве. Это замиренные покорившиеся. Наши союзники. Шугаев пальцами и языком рассказывает, что я самый главный и важный доктор. Те кивают головами, на лицах почтение, в глазах блеск. Но ежели бы версты две подальше...

13.

.

14.

Декабрь.

Эшелон готов. Пьяны все. Командир, казаки, кондукторская

бригада и, что хуже всего, машинист. Мороз 18°. Теплушки как лед. Печки ни одной. Выехали ночью глубокой. Задвинули двери теплушки. Закутались во что попало. Спиртом я сам поил всех санитаров. Не пропадать же, в самом деле, людям! Колыхнулась теплушка, залязгало, застучало вниз. Покатились.

Не помню, как я заснул и как я выскочил. Но зато ясно помню, как я, скатываясь под откос, запорошенный снегом, видел, что вагоны с треском раздавливали, как спичечные коробки. Они лезли друг на друга. В мутном рассвете сыпались из вагонов люди. Стон и вой. Машинист загнал, несмотря на огонь семафора, эшелон на встречный поезд...

Шугаева жалко. Ногу переломил.

До утра в станционной комнате перевязывал раненых и осматривал убитых...

Когда перевязал последнего, вышел на загроможденное обломками полотно. Посмотрел на бледное небо. Посмотрел кругом...

Тень фельдшера Голендюка встала передо мной... Но куда, к черту! Я интеллигент.

15.

Великий провал

Февраль.

Хаос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швыряло последнюю теплушку... Безумие какое-то.

И сюда накатилась волна...

Сегодня я сообразил наконец. О, бессмертный Голендюк! Довольно глупости, безумия. В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн-Риду на десять томов. Но я не Майн-Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом... Довольно!

Все ближе море! Море! Море!

.....
Проклятие войнам отныне и вовеки!

1922 г.

БОГЕМА

I

Как существовать при помощи литературы. Верхом на пьесе в Тифлис

Как перед истинным богом скажу, если кто меня спросит, чего я заслуживаю: заслуживаю я каторжных работ.

Впрочем, это не за Тифлис, в Тифлисе я ничего плохого не сделал. Это за Владикавказ.

Доживал я во Владикавказе последние дни, и грозный призрак голода (штамп! штамп!.. «Грозный призрак»... Впрочем, плевать! Эти записки никогда не увидят света!), так я говорю,— грозный призрак голода постучался в мою скромную квартиру, полученную мною по ордеру. А вслед за призраком постучался присяжный поверенный Гензулаев — светлая личность с усами, подстриженными щеточкой, и вдохновенным лицом.

Между нами произошел разговор. Привожу его здесь стенографически:

— Что ж это вы так приуныли (это Гензулаев)?

— Придется помирать с голоду в этом вашем паршивом Владикавказе...

— Не спорю. Владикавказ — паршивый город. Вряд ли даже есть на свете город паршивее. Но как же так помирать?

— Больше делать нечего. Я исчерпал все возможности. В подотделе искусств денег нет и жалованья платить не будут. Вступительные слова перед пьесами кончились. Фельетон в местной владикавказской газете я напечатал и получил за него 1200 рублей и обещание, что меня посадят в особый отдел, если я напечатаю еще что-нибудь похожее на этот первый фельетон.

— За что? (Гензулаев испугался. Оно и понятно: Хотят посадить — значит, я подозрительный.)

— За насмешки.

— Ну-у, вздор. Просто они здесь ни черта не понимают в фельетонах. Знаете что...

И вот что сделал Гензулаев. Он меня подстрекнул написать вместе с ним революционную пьесу из туземного быта. Оговариваю здесь Гензулаева. Он меня научил, а я по молодости и неопытности согласился. Какое отношение имеет Гензулаев к сочинению пьес? Никакого, понятное дело. Сам он мне тут же признался, что искренно ненавидит литературу, вызвав во мне взрыв симпатии к нему. Я тоже ненавижу литературу и уж, поверьте, гораздо сильнее Гензулаева. Но Гензулаев на зубок знает туземный быт, если, конечно, бытом можно назвать шашлычные завтраки на фоне самых постылых гор, какие есть в мире, кинжалы неважной стали, поджарых лошадей, духаны и отвратительную, выворачивающую душу музыку.

Так-так, стало быть, я буду сочинять, а Гензулаев подсыпать этот быт.

— Идиоты будут те, которые эту пьесу купят.

— Идиоты мы будем, если мы эту пьесу не продадим.

Мы ее написали в 7¹/₂ дней, потратив таким образом на полтора дня больше, чем на сотворение мира. Несмотря на это, она вышла еще хуже, чем мир.

Одно могу сказать: если когда-нибудь будет конкурс на самую бессмысленную, бездарную и наглую пьесу, наша получит первую премию (хотя, Впрочем... Впрочем... вспоминаю сейчас не-

которые пьесы 1921—1924 гг. и начинаю сомневаться...), ну, не первую, — вторую или третью.

Словом: после написания этой пьесы на мне несмыслимое клеймо, и единственно, на что я надеюсь, — это, что пьеса истлела уже в недрах туземного подотдела искусств. Расписка, черт с ней, пусть останется. Она была на 200 000 рублей. Сто — мне. Сто — Гензулаеву. Пьеса прошла три раза (рекорд), и вызывали авторов. Гензулаев выходил и кланялся, приложив руку к ключице. И я выходил и делал гримасы, чтобы моего лица не узнали на фотографической карточке (сцену снимали при магнии). Благодаря этим гримасам в городе расплылся слух, что я гениальный, но и сумасшедший в то же время человек. Было обидно, в особенности потому, что гримасы были вовсе не нужны: снимал нас реквизированный и прикрепленный к театру фотограф, и поэтому на карточке не вышло ничего, кроме ружья, надписи «Да здравств...» и полос тумана.

Семь тысяч я съел в 2 дня, а на остальные 93 решил уехать из Владикавказа.

Почему же? Почему именно в Тифлис? Убейте, теперь не понимаю. Хотя припоминаю: говорили, что:

- 1) в Тифлисе открыты все магазины.
- 2) — » — есть вино.
- 3) — » — очень жарко и дешевы фрукты.
- 4) — » — много газет и т. д. и т. д.

Я решил ехать. И прежде всего уложился. Взял свое имущество — одеяло, немного белья и керосинку.

В 1921 году было несколько иначе, чем в 1924 г. Именно, нельзя было так ездить: снялся и поехал, черт знает куда! Очевидно, те, что ведали разъездами граждан, рассуждали приблизительно таким образом:

— Ежели каждый захнет ездить, то что же это получится?

Нужно было поэтому разрешение. Я немедленно подал, куда следует, заявление, и в графе, в которой спрашивается:

— А зачем едешь?

Написал с гордостью:

— В Тифлис для постановки моей революционной пьесы.

Во всем Владикавказе был только один человек, не знавший меня в лицо, и это именно тот бравый юноша с пистолетом на бедре, каковой юноша стоял, как пришитый, у стола, где выдавались ордера на проезд в Тифлис.

Когда очередь дошла до моего ордера и я протянул к нему руку, юноша остановил ее на полпути и сказал голосом звонким и непреклонным:

— Зачем едете?

— Для постановки моей революционной пьесы.

Тогда юноша запечатал ордер в конверт и конверт, а с ним и меня вручил некоему человеку с винтовкой, молвив:

— В особый отдел.

— А зачем? — спросил я.

На что юноша не ответил.

Очень яркое солнце (это единственное, что есть хорошего во Владикавказе) освещало меня, пока я шел по мостовой, имея по левую руку от себя человека с винтовкой. Он решил развлечь меня разговором и сказал:

— Сейчас через базар будем проходить, так ты не вздумай побежать. Грех выйдет.

— Если бы вы даже упрасивали меня сделать это, я не сделаю, — ответил я совершенно искренно.

И угостил его папиросой.

Дружески покуривая, мы пришли в особый отдел.

Я бегло, проходя через двор, припомнил все свои преступления. Оказалось — три.

1) В 1907 году, получив 1 р. 50 коп. на покупку физики Краевича, истратил их на кинематограф.

2) В 1913 г. женился вопреки воле матери.

3) В 1921 г. написал этот знаменитый фельетон.

Пьеса? Но, позвольте, может, пьеса вовсе не криминал? А наоборот.

Для сведения лиц, не бывавших в особом отделе: большая комната с ковром на полу, огромный, невероятных размеров, письменный стол, восемь различных конструкций телефонных аппаратов, к ним шнуры зеленого, оранжевого и серого цвета и за столом маленький человек в военной форме, с очень симпатичным лицом.

Густые кроны каштанов в открытых окнах. Сидящий за столом, увидав меня, хотел превратить свое лицо из симпатичного в неприветливое и несимпатичное, причем это удалось ему только наполовину.

Он вынул из ящика стола фотографическую карточку и стал всматриваться то в меня, то в нее.

— Э, нет. Это не я, — поспешно заявил я.

— Усы сбрить можно, — задумчиво отозвался симпатичный.

— Да, но вы всмотритесь, — заговорил я, — этот черный, как вакса, и ему лет 45. А я блондин, и мне 28.

— Краска? — неуверенно сказал маленький.

— А лысина? И кроме того, всмотритесь в нос. Умоляю вас, обратите внимание на нос.

Маленький всмотрелся в мой нос. Отчаяние овладело им.

— Верно. Не похож.

Произошла пауза, и солнечный зайчик родился в чернильнице.

— Вы бухгалтер?

— Боже меня сохрани.

Пауза. И кроны каштанов. Лепной потолок. Амуры.

— А зачем вы в Тифлис едете? Отвечай быстро, не задумываясь, — скороговоркой проговорил маленький.

— Для постановки моей революционной пьесы, — скороговоркой ответил я.

Маленький открыл рот и отшатнулся и весь вспыхнул в луче.

— Пьесы сочиняете?

— Да. Приходится.

— Ишь ты. Хорошую пьесу написали?

В тоне его было что-то, что могло тронуть любое сердце, но только не мое. Повторяю, я заслуживаю каторги. Пряча глаза, я сказал:

— Да, хорошую.

Да. Да. Да. Это четвертое преступление и самое тяжкое из всех. Если б я хотел остаться чистым перед особым отделом, я должен был бы ответить так:

— Нет. Она не хорошая пьеса. Она — дрянь. Просто мне очень хочется в Тифлис.

Я смотрел на носки своих разорванных сапог и молчал. Очнулся я, когда маленький вручил мне папиросу и мой ордер на выезд.

Маленький сказал тому с винтовкой:

— Проводи литератора наружу.

Особый отдел! Забудь об этом! Ты видишь, я признался. Я снял бремя трех лет. То, что я учинил в особом отделе, для меня хуже, чем саботаж, контрреволюция и преступление по должности.

Но, забудь!!!

II

Вечные странники

В 1924-м году, говорят, из Владикавказа в Тифлис можно было проехать просто: нанять автомобиль во Владикавказе и по Военно-Грузинской дороге, где необычайно красиво. И всего 210 верст. Но в 1921 году самое слово «нанять» звучало во Владикавказе как слово иностранное.

Нужно было ехать так: идти с одеялом и керосинкой на вокзал и там ходить по путям, всматриваясь в бесконечные составы теплушек. Вытирая пот, на седьмом пути увидел у открытой теплушки человека в ночных туфлях и веером в бороде. Он полоскал чайник и повторял мерзкое слово «Баку».

— Возьмите меня с собой,— попросил я.

— Не возьму,— ответил бородатый.

— Пожалуйста, для постановки революционной пьесы,— сказал я.

— Не возьму.

Бородач по доске с чайником влез в теплушку. Я сел на одеяло у горячей рельсы и закурил. Очень густой зной вливался в просветы между вагонами, и я напился из крана на пути. Потом опять сел и чувствовал, как пышет в лихорадке теплушка. Борода выглянула.

— А какая пьеса? — спросила она.

— Вот.

Я развязал одеяло и вынул пьесу.

— Сами написали? — недоверчиво спросил владелец теплушки.

— Еще Гензулаев.

— Не знаю такого.

— Мне необходимо уехать.

— Ежели не придут двое, тогда, может быть, возьму. Только на нары не претендовать. Вы не думайте, что если вы пьесу написали, то можете выкомаривать. Ехать-то долго, а мы сами из политпросвета.

— Я не буду выкомаривать, — сказал я, чувствуя дуновение надежды в расплавленном зное, — на полу могу.

Бородатый сказал, сидя на нарах:

— У вас провизии нету?

— Денег немного есть.

Бородатый подумал.

— Вот что... Я вас на наш паек зачислю по дороге. Только вы будете участвовать в нашей дорожной газете. Вы что можете в газете писать?

— Все, что угодно, — уверил я, овладевая пайком и жуя верхнюю корку.

— Даже фельетон? — спросил он, и по лицу его было видно, что он считает меня вруном.

— Фельетон — моя специальность.

Три лица появились в тени нар и одни босые ноги. Все смотрели на меня.

— Федор! Здесь на нарах одно место есть. Степанов не придет, сукин сын, — басом сказали ноги, — я пушу товарища фельетониста.

— Ну, пусть, — растерянно сказал Федор с бородой. — А какой фельетон вы напишете?

— Вечные странники.

— Как будет начинаться? — спросили нары, — да вы полезайте к нам чай пить.

— Очень хорошо — вечные странники, — отозвался Федор, снимая сапоги, — вы бы сразу сказали про фельетон, чем на рельсе сидеть два часа. Поступайте к нам.

Огромный чудный вечер сменяет во Владикавказе жгучий день. Края для вечера — сизые горы. На них вечерний дым. Дно чаши — равнина. И по дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники. Навеки прощай, Гензулаев. Прощай, Владикавказ!

У многих, очень многих, есть воспоминания, связанные с Владимиром Ильичем, и у меня есть одно. Оно чрезвычайно прочно, и расстаться с ним я не могу. Да и как расстаться, если каждый вечер, лишь только серые гармонии труб нальются теплом и приятная волна потечет по комнате, мне вспоминается и желтый лист моего знаменитого заявления и вытертая кацавейка Надежды Константиновны...

Как расстанешься, если каждый вечер, лишь только нальются нити лампы в 50 свечей, и в зеленой тени абажура я могу писать и читать в тепле, не помышляя о том, что на дворе ветерок при 18 градусах мороза.

Мыслимо ли расстаться, если, лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок. Правда, это отвратительный потолок — низкий, закопченный и треснувший, но все же он потолок, а не небо в звездах над Пречистенским бульваром, где, по точным сведениям науки, даже не 18 градусов, а 271, и все они ниже нуля. А для того чтобы прекратить мою литературно-рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же под черными фестонами паутины — 12, выше нуля, свет, и книги, и карточка жилтоварищества. А это значит, что я буду существовать столько же, сколько и весь дом. Не будет пожара — и я жив.

Но расскажу по порядку.

Был конец 1921 года. И я приехал в Москву. Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике. Кроме того, на плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его. Не стану, чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни.

Достаточно сказать, что в первый же рейс по Тверской улице я шесть раз слышал за своими плечами восхищенный шепот: — Вот это полушубочек!

Два дня я походил по Москве и, представьте, нашел место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других мест: так же давали крупу и так же жалование платили в декабре за август. И я начал служить.

И вот тут в безобразнейшей наготе предо мной стал вопрос... о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты, так же, как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя отапливать. И, кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане.

Я отправился в жилотдел и простоял в очереди 6 часов. В начале седьмого часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через два месяца.

В двух месяцах приблизительно 60 дней, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. Пять из этих ночей, впрочем, можно было отбросить: у меня было 5 знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза на стульях и один раз на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Единственно, чего я хотел после ночевки на бульваре — это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалование, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал.

Тут и случилось нечто, которое нельзя назвать иначе как чудом. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Я полагал, что он умер.

Но он не только не умер, он жил в Москве, и у него была отдельная комната. О, мой лучший друг! Через час я был у него в комнате.

Он сказал:

— Ночуй. Но только тебя не пропишут.

Ночью я ночевал, а днем ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство.

Председатель домового управления, толстый, окрашенный в самоварную краску, человек, в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел, растопырив локти, и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка. Члены домового управления в барашковых шапках окружали своего предводителя.

— Пожалуйста, пропишите меня, — говорил я, — ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий. Никому не буду мешать. Пьянствовать и стучать не буду...

— Нет, — отвечал председатель, — не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме.

— Но где же мне жить, — спрашивал я, — где? Нельзя мне жить на бульваре.

— Это меня не касается, — отвечал председатель.

— Вылетайте, как пробка! — кричали железными голосами сообщники председателя.

— Я не пробка... я не пробка, — бормотал я в отчаянии, — куда же я вылечу. Я — человек.

Отчаяние съело меня.

Так продолжалось пять дней, а на шестой явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках и заявил, что если я не уйду завтра сам, меня уведет милиция.

Тогда я впал в остервенение.

Ночью я зажег толстую венчальную свечу с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде. Свеча плакала восковыми слезами. Я разложил большой чистый лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами: Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину. Все, все я написал на этом листе: и как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как видел звезды при 270 градусах над храмом Христа, и как мне кричали:

— Вылетайте, как пробка.

Ночью черной и угольной, в холоде (отопление тоже сломалось) я заснул на дырявом диване и увидел во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него в своем полушубке и рассказывал про звезды на бульваре, про венчальную свечу и председателя.

— Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич.

Слезы обильно струились из моих глаз.

— Так... так... так... — отвечал Ленин.

Потом он звонил.

— Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем. Пусть сидит веки-вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке. Я ему покажу совместное жительство.

Приводили председателя. Толстый председатель плакал и бормотал:

— Я больше не буду.

Все хохотали утром на службе, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах.

— Вы не дойдете до него, голубчик,— сочувственно сказал мне заведующий.

— Ну так я дойду до Надежды Константиновны,— отвечал я в отчаянии,— мне теперь все равно. На Пречистенский бульвар я не пойду.

И я дошел до нее.

В три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.

— Вы что хотите? — спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.

— Я ничего не хочу на свете, кроме одного — совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно прошу передать ему это заявление.

И я вручил ей мой лист.

Она прочитала его.

— Нет,— сказала она,— такую штуку подавать Предсе-

дателью Совета Народных Комиссаров?

— Что же мне делать? — спросил я и уронил шапку.

Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:

«Прошу дать ордер на совместное жительство».

И подписала:

Ульянова.

Точка.

Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить.

Забыл.

Криво надел шапку и вышел.

Забыл.

В четыре часа дня я вошел в прокуренное домовое управление. Все были в сборе.

— Как? — вскричали все. — Вы еще тут?

— Вылета...

— Как пробка? — зловеще спросил я. — Как пробка? Да?

Я вынул лист, выложил его на стол и указал пальцем на заветные слова.

Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. По часам, что тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался.

Три минуты.

Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза:

— Улья?.. — спросил он суконным голосом.

Опять в молчании тикали часы.

— Иван Иванович, — расслабленно молвил барашковый председатель, — выпиши им, друг, ордерок на совместное жительство.

Друг Иван Иванович взял книгу и, скребя пером, стал выписывать ордерок в гробовом молчании.

Я живу. Все в той же комнате с закопченным потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг. 22 января он налился красным светом, и тотчас вышло в свете передо мной лицо из сонного видения — лицо с бородкой клинышком и крутые бугры лба, а за ним в тоске и отчаяньи седоватые волосы, вытертый мех на кацавейке и слово красными чернилами —

Ульянова.

Самое главное, забыл я тогда поблагодарить.

Вот оно неудобно как...

Благодарю вас, Надежда Константиновна.

Не из прекрасного далека я изучал Москву 1921—1924 годов. О, нет, я жил в ней, я истоптал ее вдоль и поперек. Я поднимался почти во все шестые этажи, в каких только помещались учреждения, а так как не было положительно ни одного 6-го этажа, в котором не было бы учреждения, то этажи знакомы мне все решительно. Едешь, например, на извозчике по Златоуспенскому переулку в гости к Юрию Николаевичу и вспоминаешь:

— Ишь домина! Позвольте, да ведь я в нем был! Был, честное слово! И даже припомню, когда именно. В январе 1922 года. И какого черта меня носило сюда? Извольте. Это было, когда я поступил в частную торгово-промышленную газету и просил у редактора аванс. Аванса мне редактор не дал, а сказал: «Идите в Златоуспенский переулок, в 6 этаж, комната №... позвольте, 242? а может, и 180?.. Забыл. Неважно... Одним словом: «Идите и получите объявление в Главхиме»... или Центрохиме? Забыл. Ну, неважно... «Получите объявление, я вам 25%». Если бы теперь мне кто-нибудь сказал: «Идите, объявление получите», я бы ответил: «Не пойду». Не желаю ходить за объявлениями. Мне не нравится ходить за объявлениями. Это не моя специальность. А тогда... О, тогда было другое. Я покорно накрылся шапкой, взял эту дурацкую книжку объявлений и пошел как лунатик. Был совершенно невероятный, какого никогда даже не бывает мороз. Я влез на 6-й этаж, нашел эту комнату № 200, в ней нашел рыжего лысого человека, который, выслушав меня, не дал объявления.

Кстати, о 6-х этажах. Позвольте, кажется, в этом доме есть лифты? Есть. Есть. Но тогда, в 1922 году, в лифтах могли ездить только лица с пороком сердца. Это во-первых. А во-вторых, лифты не действовали. Так что и лица с удостоверениями о том, что у них есть порок, и лица с непорочными сердцами (я в том числе) одинаково поднимались пешком на 6-й этаж.

Теперь другое дело. О, теперь совсем другое дело. На Патриарших прудах, у своих знакомых, я был совсем недавно. Благодушно поднимаясь на своих ногах в 6-й этаж, футах в 100 над уровнем моря, в пролете между 4-м и 5-м этажами, в сетчатой трубе, я увидел висящий, весь освещенный и совершенно неподвижный лифт. Из него доносился женский плач и бубнящий мужской бас:

— Расстрелять их надо, мерзавцев!

На лестнице стоял человек швейцарского вида; с ним рядом другой в замасленных штанах, по-видимому, механик, и какие-то любопытные бабы из 16-й квартиры.

— Экая оказия,— говорил механик и ошеломленно улыбался.

Когда ночью я возвращался из гостей, лифт висел так же, но

был темный и никаких голосов из него не слышалось. Вероятно, двое несчастных, провисев недели две, умерли с голоду.

Бог знает, существует ли сейчас этот Центр- или Главхим, или его уже нет. Может быть, там какой-нибудь Химтред, может быть, еще что-нибудь. Возможно, что давно нет ни этого Хима, ни рыжего лысого, а комнаты уже сданы и как раз на том месте, где стоял стол с чернильницей, теперь стоит пианино или мягкий диван и сидит на месте химического человека обаятельная бабышня с волосами, выкрашенными перекисью водорода, читает «Тарзана». Все возможно. Одно лишь хорошо, что больше туда я не поезду ни пешком, ни в лифте.

Да, многое изменилось на моих глазах.

Где я только ни был! На Мясницкой сотни раз, на Варварке — в Деловом Дворе, на Старой Площади — в Центросоюзе, заезжал в Сокольники, швыряло меня и на Девичье поле. Меня гоняло по всей необъятной и странной столице одно желание — найти себе пропитание. И я его находил, — правда, скудное, неверное, зыбкое. Находил его на самых фантастических и скоротечных, как чахотка, должностях, добывая его странными, утлыми способами, многие из которых теперь, когда мне полегчало, кажутся уже мне смешными. Я писал торгово-промышленную хронику в газетку, а по ночам сочинял веселые фельетоны, которые мне самому казались не смешнее зубной боли, подавал прошение в Лньотрест, а однажды ночью, остервенившись от постного масла, картошки, дырявых ботинок, сочинил ослепительный проект световой торговой рекламы. Что проект этот был хороший, показывает уже то, что, когда я привез его на просмотр моему приятелю инженеру, тот обнял меня, поцеловал и сказал, что я напрасно не пошел по инженерной части: оказывается, своим умом я дошел как раз до той самой конструкции, которая уже светится на Театральной площади. Что это доказывает? Это доказывает только то, что человек, борющийся за свое существование, способен на блестящие поступки.

Но довольно! Читателю, конечно, неинтересно, как я нырял в Москве, и рассказываю я все это с единственной целью, чтобы он поверил мне, что Москву 20-х годов я знаю досконально. Я обшарил ее вдоль и поперек. И намерен описать ее. Но, описывая ее, я желаю, чтобы мне верили. Если я говорю, что это так, значит, оно действительно так.

На будущее время, когда в Москву начнут приезжать знатные иностранцы, у меня есть в запасе должность гида.

...Эй, квартиру!!

(2-й акт «Севильского цирюльника»)

Условимся раз навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может. Теперь, в дополнение к этому, сообщаю всем, проживающим в Берлине, Париже, Лондоне и прочих местах, — квартир в Москве нету.

Как же там живут?

А вот так-с и живут.

Без квартир.

* * *

Но этого мало — последние три года в Москве убедили меня, и совершенно определенно, в том, что москвичи утратили и самое понятие слова «квартира» и словом этим наивно называют что попало. Так, например: недавно один из моих знакомых журналистов на моих глазах получил бумажку: «Предоставить товарищу такому-то квартиру в доме № 7 (там, где типография)». Подпись и круглая жирная печать.

Товарищу такому-то квартира была предоставлена, и у товарища такого-то я вечером побывал. На лестнице без перил были розлиты щи, и поперек лестницы висел оборванный толстый, как уж, кабель. В верхнем этаже, пройдя по слою битого стекла, мимо окон, половина из которых была забрана досками, я попал в тупое и темное пространство и в нем начал кричать. На крик ответила полоса света, и, войдя куда-то, я нашел своего приятеля. Куда я вошел? Черт меня знает! Было что-то темное, как шахта, разделенное фанерными перегородками на пять отделений, представляющих собой большие продолговатые картонки для шляп. В средней картонке сидел приятель на кровати, рядом с приятелем его жена, а рядом с женой брат приятеля, и означенный брат, не вставая с постели, а лишь протянув руку, на противоположной стене углем рисовал портрет жены. Жена читала «Тарзана».

Эти трое жили в трубке телефона. Представьте себе вы, живущие в Берлине, как бы вы себя чувствовали, если б вас поселили в трубке. Шепот, звук упавшей на пол спички был слышен через все картонки, а ихняя была средняя.

— Маня! (из крайней картонки).

— Ну? (из противоположной крайней).

— У тебя есть сахар? (из крайней).

— В Люстгартене, в центре Берлина, собралась многотысячная демонстрация рабочих с красными знаменами... (из соседней правой).

— Конфеты есть... (из противоположной крайней).

— Свинья ты! (из соседней левой).

— В половину восьмого вместе пойдем!

— Вытри ты ему нос, пожалуйста...

Через десять минут начался кошмар: я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, просто щенки. Такой штуки им ни в жизнь не изобрести.

— Как же вы сюда попали? Го-го-го!.. Советская делегация в сопровождении советской колонии отправилась на могилу Карла Маркса... Ну?! Вот тебе и ну! Благодарю вас, я пил... С конфетами?.. Ну, их к чертям!.. Свинья, свинья, свинья! Выбрось его вон! А вы где?.. В Киото и Иокагаме... Не ври, не ври, скотина, я давно уже вижу!.. Как, уборной нету?!

Боже ты мой! Я ушел, не медля ни секунды, а они остались. Я прожил четверть часа в этой картонке, а они живут 7 (семь) месяцев.

Да, дорогие граждане, когда я явился к себе домой, я впервые почувствовал, что все на свете относительно и условно. Мне помешалось, что я живу во дворце, и у каждой двери стоит напудренный лакей в красной ливрее, и царит мертвая тишина. Тишина — это великая вещь, дар богов и рай — это есть тишина. А между тем дверь у меня всего одна (равно, как и комната), и выходит эта дверь непосредственно в коридор, и наискось живет знаменитый Василий Иванович со своею знаменитой женой.

* * *

Клянусь всем, что у меня есть святого, каждый раз, как я сажусь писать о Москве, проклятый образ Василия Ивановича стоит передо мною в углу. Кошмар в пиджаке и полосатых подштанниках заслонил мне солнце. Я упираюсь лбом в каменную стену, и Василий Иванович надо мною как крышка гроба.

Поймите все, что этот человек может сделать невозможной жизнь в любой квартире, и он ее сделал невозможной. Все поступки В. И. направлены в ущерб его ближним, и в кодексе Республики нет ни одного параграфа, которого бы он не нарушил. Нехорошо ругаться матерными словами громко? Нехорошо. А он ругается. Нехорошо пить самогон? Нехорошо. А он пьет. Буйствовать разрешается? Нет, никому не разрешается. А он буйствует. И т. д. Очень жаль, что в кодексе нет пункта, запрещающего игру на гармонике в квартире. Вниманию советских юристов: умоляю ввести его! Вот он играл. Говорю играл, потому что теперь не играет. Может быть, угрызения совести остановили этого человека? О, нет, чудачки из Берлина: он ее пропил.

Словом, он немислим в человеческом обществе, и простить его я не могу, даже принимая во внимание его происхождение. Даже наоборот: именно принимая во внимание, простить не могу. Я рассуждаю так: он должен показывать мне, человеку происхождения сомнительного, пример поведения, а никак не я ему. И пусть кто-нибудь докажет мне, что я неправ.

И вот третий год я живу в квартире с Василием Ивановичем и сколько еще проживу — неизвестно. Возможно, и до конца моей жизни, но теперь, после визита в картонку, мне стало легче. Не нужно особенно замахиваться, граждане!

Да, мне стало легче. Я стал терпеливее и к людям участливее.

Доктор Г., мой друг, явился ко мне на прошлой неделе с воплем: — Зачем я не женился?!

В устах его, первого и признанного женофоба в Москве, такая фраза заслуживала внимания.

Оказалось, домовое управление его уплотнило. Поставило перегородку в его комнате и за перегородкой поселило супружескую пару. Тщетно доктор барахтался и выл. Ничего не вышло. Председатель твердил одно:

— Вот ежели бы вы были женатый, тогда другое дело...

А третьего дня доктор явился и сказал:

— Ну, слава богу, что я не женился... Ты с женой ссоришься?

— Гм... иногда... как сказать... — ответил я уклончиво и вежливо, поглядывая на жену, — вообще говоря... бывает иногда... видишь ли...

— А кто виноват бывает? — быстро спросила жена.

— Я, я виноват, — поспешил уверить я.

— Кошмар! Кошмар! Кошмар! — заговорил доктор, глотая чай. — Кошмар! Каждый вечер, понимаешь ли, раздается одно и то же: «Ты где был?» — «На Николаевском вокзале». — «Врешь!» — «Ей-богу...» — «Врешь!» Через минуту опять: «Ты где был?» — «На Никол...» — «Врешь!» Через полчаса: «Где ты был?» — «У Ани был». — «Врешь!!!»

— Бедная женщина, — сказала жена.

— Нет, это я бедный, — отозвался доктор, — и я уезжаю в Орехово-Зуево. Черт ее бери!

— Кого? — спросила жена подозрительно.

— Эту... клинику...

Наталья Егоровна бросила этой зимой мочалку на пол, а отодрать ее не могла, потому что над столом 9 градусов, а на полу совсем нет градусов и даже одного не хватает. Минус один. И всю зиму играла вальсы Шопена в валенках, а Петр Сергеньч нанял прислугу и через неделю ее рассчитал, а прислуга куда не ушла! Потому что пришел председатель правления и сказал, что она (прислуга) — член жилищного товарищества и занимает площадь, и никто ее не имеет права тронуть. Петр Сергеньч, совершенно ошалевший, мечется теперь по всей Москве и спрашивает у всех, что ему теперь делать? А делать ему ровно нечего. У прислуги в сундуке карточка бравого красноармей-

ца, бравшего Перекоп, и карточка жилищного товарищества. Крышка Петру Сергеичу!

А некий молодой человек, у которого в «квартире» поселили божью старушку, однажды в воскресенье, когда старушка вернулась от обедни, встретил ее словами:

— Надоела ты мне, божья старушка!

И при этом стукнул старушку безменом по голове. И таких случаев, или случаев подобных, я знаю за последнее время целых четыре. Осуждаю ли я молодого человека? Нет. Категорически — нет. Ибо прекрасно чувствую, что посели ко мне в комнату старушку или же второго Василия Ивановича, и я бы взялся за безмен, несмотря на то, что мне с детства дома прививали мысль, что безменом орудовать ни в коем случае не следует.

А Саша предлагал 20 червонцев, чтобы только убрали из его комнаты Анфису Марковну...

Впрочем, довольно!

* * *

Отчего же происходит такая странная и неприятная жизнь? Происходит она только от одного — от тесноты. Факт, в Москве тесно.

Что же делать?!

Сделать можно только одно: применить мой проект и этот проект заключается в следующем: *Москву надо отстраивать.*

1924 г.

№ 13.— ДОМ ЭЛЬПИТ-РАБКОММУНА

Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась сто семидесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече, все лето гляделась томно в кругло-бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруге у подъездов ежевечерне клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сняли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит...

Однажды, например, в десять вечера, стосильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.

В квартире № 3 генерала от кавалерии де-Баррейн он до трех гостил.

До трех, припав к подножию серой кариатиды, истомленный

волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон венгерской рапсодии, *car-riccioso*, — то цыганские буйные взрывы:

Сегодня пьем! Завтра пьем!
Пьем мы всю неде-е-лю — эх!
Раз... еще раз...

До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до трех горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух: Распутин здесь. Распутин. Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у де-Баррейн стал как будто еще загадочнее, еще надменнее.

Искры стальной гордости появились у него в черных глазах, и на квартиры жестоко набавили.

А в № 2 Христи, да что Христи... Сам Эльпит снимал, в бурю ли, в снег ли, каракулевою шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в шеншилях. И улыбался. Счета женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии. Подписывался именем с хитрым росчерком... Да что говорить. Был дом... Большие люди — большая жизнь.

В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувыркался и выл под железными желобами крыш, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы... В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов... Ковры... В кабинетах беззвучно-торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», лишь чуть испорченным какими-то странноватыми, не то больными, не то уголовными глазами, фабрикант (афинские ночи со съемками при магнии), золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас-солист, еще генерал, еще... И мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам...

Большое было время...

И ничего не стало. *Sic transit gloria mundi!*¹

Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. Да было ли это, господа?.. Генерал от кавалерии!.. Слово какое!

Да... А вещи остались. Вывезти никому не дали.

¹ Так проходит мирская слава! (лат.)

Эльпит сам ушел в чем был.

Вот тогда у ворот, рядом с фонарем (огненный «№ 13»), прилипла белая таблица и странная надпись на ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкло, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеиному, и днем, и ночью плыл по лестницам шиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерне мрак. В нем спотыкались тени с узором и тоскливо вскрикивали:

— Мань, а Ма-ань! Где же ты? Черт те возьми!

В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты... Да, впрочем, что тут рассказывать...

Но было чудо: Эльпит-Рабкоммуну топили.

Дело в том, что в полуподвальной квартире, в двух комнатах, остался... Христи.

Те три человека, которым досталась львиная доля эльпитовских ковров и которые вывесили на двери де-Баррейна в бельэтаже лоскуток: «Правление», поняли, что без Христи дом Рабкоммуну не простоят и месяца. Рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищное соединение: с одной стороны, шумное, заскорузлое правление, с другой — «смотрятель»! Это Христи-то! Но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы Рабкоммуна стояла бы невредимо мышастой громадой, а не упала бы в прах.

И вот, Христи не только не обидели, но положили ему жалованье. Ну, правда, ничтожное. Около $\frac{1}{10}$ того, что платил ему Эльпит, без всяких признаков жизни сидящий в двух комнатных на другом конце Москвы.

— Черт с ними, с унитазами, черт с проводами! — страстно говорил Эльпит, сжимая кулаки. — Но лишь бы топить. Сохранить главное! Борис Самойлович, сберегите мне дом, пока все это кончится, и я сумею вас отблагодарить! Что? Верьте мне!

Христи верил, кивал стриженной седеющей головой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правление и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть.

А главное — топить. И вот, добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12°, 12°! Если там, откуда получали нефть, что-то заедало, крупно платился Эльпит. У него горели глаза.

— Ну, хорошо... Я заплачу. Дайте обоим и секретарю. Что? Перестать? О, нет, нет! Ни на минуту...

Христи был гениален. В среднем корпусе, в пятом этаже, на квартиру, в которой когда-то студия была, табу наложил.

— Нилушкина Егора туда вселить...

— Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяйственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же.

В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура. Но... Но были и тридцать бидонов с бензином эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней.

И жила серая Рабкоммуна № 13 под недреманным оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет... Монтер, начавший пить с января 18-го года, вытертый, как войлок, озверевший монтер, бабам кричал:

— А, чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный? Сверхурочные.

И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке:

— Маны! А Ма-аны! Где ты?

Опять к монтеру ходили:

— Сво-о-лочь ты! Пьяндыга. Христи пожалуемся.

И от одного имени Христи свет волшебю загорался.

Да-с, Христи был человек.

Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора, с титулом «санитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно:

— Которые тут гадют, всех в 24 часа!

И с уличенных брал дань.

И вот жили, жили, ан в феврале, а самый мороз, заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали:

— Дадим через неделю.

Христи на докладе у Эльпита промолвил тяжко:

— Ой... Я так устал! Если бы вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?

И тут, действительно, можно было видеть, что у Христи тоскливые стали, замученные глаза. У стального Христи.

Эльпит страстно ответил:

— Борис Самойлович! Вы верите мне? Ну, так вот вам: это последняя зима. И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом к чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами посмотрите. Боже сохрани — печки! Эта вентиляция... Я так боюсь. Но и стекла чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю? Ну, может, шесть дней. Я сам завтра съезжу к Иван Ивановичу.

В Рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый пар, говорил:

— Ну, что ж... Ну, потерпим. Четыре-пять дней. Но без печек...

И правление соглашалось:

— Конечно. Мыслимо ли? Это не дымоход. Долго ли до беды?

И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в особенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наставили черных буржук, не вывели бы труб в отверстия, что предательски-приветливо глядели в углах комнат под самым потолком.

И Нилушкин Егор ходил.

— Ежели мне которые... Это вам не дымоходы. В двадцать четыре часа.

На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома, Пыляева Аннушка, простоволосая, кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору:

— Сволочи! Зажирели за нашими спинами! Только и знают — самогон лакают. А как позаботиться топить — их нету! У-у, треклятые души! Да с места не сойти, затоплю седни. Права такого нету, не позволять! Косой черт (это про Христи)! Ему одно: как бы дом не закоптить... Хозяина дожидается, нам все известно!.. По его, рабочий человек хоть издохни!..

И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал:

— Ах, зануда баба... Ну, и зануда ж!

Но все же оборачивался и гулко отстреливался:

— Я те затоплю! В двадцать четыре...

Сверху:

— Сук-кин сын! Я до Карпова дойду! Что? Морозить рабочего человека!

Не осуждайте. Пытка — мороз. Озверееет всякий...

...В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись, как собачонки, спали люди, в квартире 50, комн. 5 стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики.

— Ах, тяга хороша! — восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, постукивающий крышкой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие, — замечательная тяга! Вот псы, прости господи! Жалко им, что ли? Ну, да ладно. Шито и крыто.

И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и улетали в загадочную пасть... А там в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком... Да на чердак...

Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской... Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску...

...Пречистенскую даешь! Царица небесная! Товарищи!!! Десятсот тридцать человек проснулись одновременно. Увидели — зменным дрожанием окровавились стекла. Угодники-святители! Во-ой! Двери забили, как пулеметы, в перебой... Барышня! Ох, барышня!! Один — ох — двадцать два... восемнадцать. 18... Краснопресненскую даешь!..

...Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло. В пролетах, в лифтах Ниагара до подвала. По-мо-ги-те!.. Хамовническую даешь!!

Эх, молодцы пожарные! Бесстрашные рыцари в золото-кравых шлемах, в парусине. Развинчивали лестницы, серые шланги поползли как удавы. В бога! В мать!! Рвали крюками железные листы. Топорами били страшно, как в бою. Свистели струн вправо, влево, в небо. Мать! Мать!! А гром, гром, гром. На двадцатой минуте Городская с искрами, с огнями, с касками...

Но бензин, голубчики, бензин! Бензин! Пропали головушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с комнатой 5. Ударило: раз. Еще: р-раз!

...Еще много, много раз...

А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодию. Да не *capriccio*, а страшно — *briso*. Сретенская с переулка — дае-ешь!! Качай, качай! А огонь Сретенской — салют! Ахнуло так, что в левом крыле во мгновение ока ни стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной как траурные плащи-бабочки полетели железные листы.

Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бес раздул так, что в 4-м этаже в 49 номере бабке Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и нет! И, взыв предсмертно, вылетела бабка из окна, сверкнув желтыми голыми ногами. Скорую помощь! 1-22-31!! Кровавую лепешку лечить. Угодники божие! Ванюшка сгорел! Ванюшка!! Где папенька? Ой! Ой! Машинку-то, машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон на асфальт бу-ух! Стой! Не кидай! Товарищи!.. А с пятого этажа, в правом крыле, в узле тарелок одиннадцать штук, фаянс буржуйской бывшей, как чвякнуло! И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса — черепки в простыне. Товарищи! Ой! Таньку забыли!.. Оцепить с переулка! Осади! Назад! В мать, в бога!

Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, летевшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило, и третьему перебило позвоночный столб.

С самоваром в одной руке, в другой тихий белый старичок, Серафим Саровский, в серебряной ризе. В одних рубашах. Визг, визг. В визге топоры гремят, гремят. Осади!! Потолок! Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж.

И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные — бенц! Бенц!

Трубки в дыму давятся, качаются, напором брандспойты из рук рвет. Резерв дасшь!! Да что — резерв! Уже к среднему на десять саженей не подходи! Глаза лопнут...

.....

В первый раз в жизни Христи плакал. Седеющий, стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел, не отрываясь, туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариатид. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел да смотрел.

Раз только он мотнул головой, когда Эльпит тронул за плечо и сказал хрипло:

— Ну, что уж больше... Едем, Борис Самойлович. Простудитесь. Едем.

Но Христи еще раз качнул головой.

— Поезжайте... Я сейчас.

Эльпит утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распустившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь...

...На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С заглушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы было.

То шептала чепуху какую-то:

— Засудят... Засудят, головушка горькая...

То всхлипывала.

Уж давно, давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть порошил снежок. Но звериное брюхо все висело на небе. Все дрожало и переливалось. И так исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от черной мысли «беда», от этого огненного брюха-отсвета, что торжествующе разливалось по небу... так исстрадалась, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове в первый раз в жизни просветлело.

Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села. И слезы высохли.

Подперла голову и отчетливо помыслила в первый раз в жизни так:

— Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков...

Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на зверя не оглядывалась, только все по лицу размазывала сажу, носом шмыгала.

А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться. Туманился, туманился, съежился, свился черным дымом и совсем исчез.

И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый № 13 дом Эльпит-Рабкоммуна.

1922 г.

САМОГОННОЕ ОЗЕРО

В десять часов вечера под светлое воскресенье утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье, и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил это я потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки.

Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твэна. О, миг блаженный, светлый час!..

...И в десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух.

Петух — ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в коридоре № 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха испугал меня, а то обстоятельство, что петух пел в десять часов вечера. Петух — не соловей и в довоенное время пел на рассвете.

— Неужели эти мерзавцы напоили петуха? — спросил я, оторвавшись от Твэна, у моей несчастной жены.

Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как! Это был непрерывный басовой вой в додизной душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой.

Захлопали все двери, загремели шаги. Твэна я бросил и кинулся в коридор.

В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как ижица, он покачивался и, не закрывая рта, выпускал этот самый иступленный вой, испугавший меня. В коридоре я слышал, что нечленораздельная длинная нота (фермато) сменилась речитативом:

— Так-то,— хрипло давился и завывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами,— Христос воскрес! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же никому!!! А-а-а-а!!

И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у петуха, который бился у него в руках.

Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что петух совершенно трезв. Но на лице у петуха была написана нечеловеческая мука. Глаза его вылезали из орбит, он хлопал крыльями

и выдибался из цепких рук неизвестного.

Павловна, Шурка, шофер, Аинушка, аинушки Миша, дуськи муж и обе Дуськи стояли кольцом в совершенном молчании и неподвижно, как вколотенные в пол. На сей раз я их не вию. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые.

Квартхоз квартиры № 50 Василий Иванович криво и отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то за иоги, пытался вырвать его у неизвестного гражданина.

— Иваи Гаврилович! Побойся бога! — вскрикивал он, трезвея на моих глазах. — Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под светлое христово воскресение! Иван Гаврилович, приди в себя!

Я опомился первым и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился грузно о лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где павловнина кладовка. И гражданин мгновению стих.

Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь поэтому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не иравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь «неизвестно какими делами», и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому это ее Шурка. И пусть я заведу себе «своих Шурок» и ем их с кашей. — «Я, Павловна, если вы еще раз ударите Шурку по голове, подам на вас в суд и вы будете сидеть год за истязание ребенка», — помогало плохо. Павловна грозилась, что она подаст «заявку» в правление, чтобы меня выселили. «Ежели кому не иравится, пусть идет туда, где образования».

Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина квартхоз и Катерина Ивановна под руки повели на лестницу. Неизвестный шел красный, дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные, угасающие глаза. Он был похож на отравленного беленой.

Обессилевшего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли.

Катерина Иванова, вериувшись, рассказала:

— Пошел мой сукин сын (читай: квартхоз — муж Катерины Ивановны), как добрый, за покупками. Купил-таки у Сидоровны четверть. Гаврилыча пригласил — идем, говорит, попробуем. Все люди, как люди, а они наалакались, прости господи мое согрешение, еще поп в церкви не звякнул. Ума не приложу, что с Гаврилычем сделалось. Выпили они, мой ему и говорит: чем тебе, Гаврилыч, с петухом в уборную иттить, дай я его подержу. А тот возьми, да взбелеиись. А, говорит, ты, говорит, петуха хочешь присвоить? И начал выть. Что ему почудилось, господь его ведает!..

В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женою у заутрени, и скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно. С блестящими глазами и красный, как флаг, посмотрел на посившую Катерину Ивановну и сказал:

— Удивляюсь я тебе, Василь Иванович: глава дома и не можешь с бабой совладать.

Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим словам. Ему лично, шоферу и дуськину мужу пришлось обезоруживать Василь Иваныча, причем он порезал себе руку (Василь Иванович после слов председателя вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну: «Так я ж ей покажу»).

Председатель, заперев Катерину Ивановну в кладовке Павловны, внушал Иванычу, что Катерина Ивановна убежала, и Василь Иванович заснул со словами:

— Ладно. Я ее завтра зарезу. Она моих рук не избежит.

Председатель ушел со словами:

— Ну и самогон у Сидоровны. Зверь — самогон.

В три часа ночи явился Иван Сидорыч. Публично заявляю: если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидорыча вон из своей комнаты. Но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя. Может быть, выселить ему и не удастся (а может, и удастся, черт его знает!), но отравить мне существование он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное. Если мне отравят существование, я не смогу писать фельетоны, а если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах.

— Драсс... гражданин журн... лист,— сказал Иван Сидорыч, качаясь, как былинка под ветром.— Я к вам.

— Очень приятно.

— Я насчет эсперанто...

— ?

— Заметку бы написа... статью... Желаю открыть общество... Так и написать: «Иван Сидорыч, эсперантист, желает, мол»...

И вдруг Сидорыч заговорил на эсперанто (кстати: удивительно противный язык).

Не знаю, что прочел эсперантист в моих глазах, но только он вдруг съехался, странные кургузые слова, похожие на помесь латинско-русских слов, стали обрываться, и Иван Сидорыч перешел на общедоступный язык.

— Впрочем... извин... с... я завтра.

— Милости просим,— ласково ответил я, подводя Ивана Сидорыча к двери (он почему-то хотел выйти через стену).

— Его нельзя выгнать? — спросила по уходе жена.

— Нет, детка, нельзя.

Утром, в девять, праздник начался матлотом, исполненным

Василием Ивановичем на гармонике (плясала Катерина Ивановна) и речью вдребезги пьяного аннушкиного Миши, обращенной ко мне. Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение.

В 10 пришел младший дворник (выпивший слегка), в 10 ч. 20 м. старший (мертво-пьяный), в 10 ч. 25 м. истопник (в страшном состоянии). Молчал и молча ушел. 5 миллионов, данные мною, потерял тут же в коридоре.

В полдень Сидоровна нахально не долила на три пальца четверть Василию Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил:

— Самогоном торгуют. Желая арестовать.

— А ты не путаешь? — мрачно спросили его где следует. — По нашим сведениям, самогону в вашем квартале нету.

— Нету? — горько усмехнулся Василий Иванович. — Очень даже замечательные ваши слова.

— Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка лучше — проспись. Завтра подашь заявление, которые с самогоном.

— Тэк-с... понимаем, — сказал, ошеломленно улыбаясь, Василий Иванович. — Стало быть, управы на их нету? Пущай не доливают. А что касается, какой я трезвый, понюхайте четверть.

Четверть оказалась с «явно выраженным запахом сивушных масел».

— Веди! — сказали тогда Василию Ивановичу. И он привел.

Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне:

— Сбегай с Сидоровне за четвертью.

— Очнись, окающая душа, — ответила Катерина Ивановна, — Сидоровну закрыли.

— Как? Как же они пронюхали? — удивился Василий Иванович.

Я ликовал. Но ненадолго. Через полчаса Катерина Ивановна явилась с полиой четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макенча через два дома от Сидоровны. В 7 часов вечера я вырвал Наташу из рук ее супруга, пекаря Володи («Не смей бить!!», «Моя жена!» и т. д.).

В 8 часов вечера, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена встала с дивана и сказала:

— Больше я не могу. Сделай, что хочешь, но мы должны уехать отсюда.

— Детка, — ответил я в отчаянии. — Что я могу сделать? Я не могу достать комнату. Она стоит 20 миллиардов, я получаю четыре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи.

— Я не о себе, — ответила жена. — Но ты никогда не допишешь романа. Никогда. Жизнь безнадежна. Я приму морфий.

При этих словах я почувствовал, что я стал железным.

Я ответил, и голос мой был полон металла:

— Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко.

Затем я помог жене одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю первую (не пьет ничего, кроме портвейна) смотреть, чтоб замок никто не ломал, и увез жену на три дня праздника на Никитскую к сестре.

Заключение

У меня есть проект. В течение двух месяцев я берусь произвести осушение Москвы, если не полностью, то на 90 процентов.

Условия: во главе стану я. Штат помощников подберу я сам из студентов. Жалованье им нужно положить очень высокое (рублей 400 золотом. Дело оправдает). 100 человек. Мне — квартиру в три комнаты с кухней и единовременно 1000 рублей золотом. Пенсию жене в случае, если меня убьют.

Полномочия неограниченные. По моему ордеру брать немедленно. Судебное разбирательство в течение 24 часов, и никаких замен штрафом.

Я произведу разгром всех Сидоровн и Мокеичей и отраженный попутный разгром «Уголков», «Цветков Грузии», «Замков Тамары» и т. под. мест.

Москва станет как Сахара, и в оазисах под электрическими вывесками: «Торговля до 12 час. ночи» — будет только легкое красное и белое вино.

Москва, 1923 г.

ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА

— Ну-с, господа, прошу вас, — любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол.

Мы не заставили себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки.

Село нас четверо: хозяин — бывший присяжный поверенный, кузен его — бывший присяжный поверенный же, кузина — бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая в Совнархозе, а ныне просто Зинаида Ивановна, и гость — я — бывший... впрочем, это все равно... ныне человек с занятиями, называемыми неопределенными.

Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рюмках.

— Вот и весна, слава богу; измучились с этой зимой, — сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика.

— И не говорите! — воскликнул я и, вытащив из коробки

кильку, вмиг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его килечным растерзанным телом и, любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: — Ваше здоровье!

И затем мы глотнули.

— Не слабо ли... хм... разбавил? — заботливо осведомился хозяин.

— Самый раз, — ответил я, переводя дух.

— Немножко как будто слабовато, — отозвалась Зинаида Ивановна.

Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом.

После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри, и благодущие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена и нашел, что Зинаида Ивановна, несмотря на свои 38 лет, еще очень и очень недурна, и борода Карла Маркса, помещавшегося прямо против меня рядом с картой железных дорог на стене, вовсе не так уж огромна, как это принято думать. История появления Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидящего его всей душой, — такова. Хозяин мой — один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный. Он едва ли не первый почувствовал, что происходящее — штука серьезная и долгая, и поэтому окопался в своей квартире не кое-как, кустарным способом, а основательно. Первым долгом он призвал Терентия, и Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просунул толстые трубы. После этого хозяин, полюбовавшись работой Терентия, сказал:

— Могут не топить парового, бандиты, — и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне, комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через три дня из Минска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной (из передней направо) и поставил ему черную печечку. Затем пятнадцать пудов муки он всунул в библиотеку (прямо по коридору), запер дверь на ключ, повесил на дверь ковер, к коврику приставил этажерку, на этажерку пустые бутылки и какие-то старые газеты, и библиотека словно сгинула — сам черт не нашел бы в нее хода. Таким образом из шести комнат остались три. В одной он поселился сам с удостоверением, что у него порок сердца, а между оставшимися двумя комнатами (гостиная и кабинет) снял двери, превратив их в странное двойное помещение.

Это не была одна комната, потому что их было две, но и жить в них, как в двух, было невозможно, тем более что в первой (гостиной) непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино поставил кровать и, призвав из кухни Сашу, сказал ей:

— Тут будут приходить эти. Так скажешь, что спишь здесь.

Саша заговорщически усмехнулась и ответила:

- Хорошо, барин.

Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему — юрисконсульту такого-то учреждения полагается «добавочная площадь». На добавочной площади он устроил такие баррикады из двух полок с книгами, старого велосипеда без шин, и стульев с гвоздями, и трех карнизов, что даже я, отлично знакомый с его квартирой, в первый же визит, после приведения квартиры в боевой вид, разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту.

На пианино он налепил удостоверение, что Зинаида Ивановна — учительница музыки, на двери ее комнаты удостоверение, что она служит в Совнархозе, на двери кузена, что тот секретарь. Двери он стал отворять сам после 3-го звонка, а Саша в это время лежала на кровати возле пианино.

Три года люди в серых шинелях и черных пальто, объединенных молью, и девицы с портфелями и в дождевых брезентовых плащах рвались в квартиру, как пехота на проволочные заграждения, и ни черта не добились. Вернувшись через три года в Москву, из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили.

Тогда же он и купил четыре портрета. Луначарского он пристроил в гостиной на самом видном месте, так что Нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса, а в комнате кузена над великолепным зеркальным желтым шкафом кнопками прикрепил Троцкого. Троцкий был изображен в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился четырьмя кнопками в фотографию, мне показалось, что Троцкий нахмурился. Так хмурым он и остался. Затем хозяин вынул из папки Карла Либкнехта и направился в комнату кухни. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам, обтянутым полосатой юбкой, вскричала:

— Эт-того недоставало! Пока я жива, Александр Палыч никаких Маратов и Дантонов в моей комнате не будет!

— Зин... при чем здесь Мара... — начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон. Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив.

Ровно через полчаса последовала очередная атака. После третьего звонка и стука кулаками в цветные волнистые стекла парадной двери хозяин, накиннув вместо пиджака измызганный френч, впустил трех. Двое были в сером, один в черном с рыжим портфелем.

— У вас тут комнаты. — начал первый серый и ошеломленно окинул переднюю взором. Хозяин предусмотрительно не зажег электричества, и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и олени рога расплылись во мгле.

— Что вы, товарищи!! — ахнул хозяин и всплеснул руками —

Какие тут комнаты?! Верите ли, шесть комиссий до вас было на этой неделе. Хоть и не смотрите! Не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает. Извольте видеть,— хозяин вытащил из кармана бумажку,— мне полагается 16 аршин добавочных, а у меня 13¹/₂. Да-с. Где я, спрашивается, возьму 2¹/₂ аршина.

— Ну, мы посмотрим,— мрачно сказал второй серый.

— П-пожалуйста, товарищи!..

И тотчас перед нами предстал Луначарский. Трое, открыв рты, посмотрели на наркомпроса.

— Тут кто? — спросил первый серый, указывая на кровать.

— Товарищ Епишина, Александра Ивановна.

— Она кто?

— Техническая работница,— сладко улыбаясь, ответил хозяин,— стиркой занимается.

— А не прислуга она у вас? — подозрительно спросил черный.

В ответ хозяин судорожно засмеялся:

— Да что вы, товарищ! Что я, буржуй какой-нибудь, чтобы прислугу держать! Тут на еду не хватает, а вы,— прислуга! Хи-хи!

— Тут? — лаконически спросил черный, указывая на дыру в кабинет.

— Добавочная, 13¹/₂, под конторой моего учреждения,— скороговоркой ответил хозяин.

Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул таз, и я слышал, как черный, падая, ударился головой о велосипедную цепь.

— Вот, видите, товарищ,— зловеще сказал хозяин,— я предупреждал: чертова теснота.

Черный выбрался из волчьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны.

— Не ушиблись ли вы? — испуганно спросил хозяин.

— А... бу...бу...ту...ту...ма... — невнятно пробурчал что-то черный.

— Тут товарищ Настурцина,— водил и показывал хозяин,— тут я,— и хозяин широко показал на Карла Маркса. Изумление нарастало на лицах трех.— А тут товарищ Щербовский,— и торжественно он махнул на Троцкого.

Трое в ужасе глядели на портрет.

— Да он что, партийный, что ли? — спросил второй серый.

— Он не партийный,— сладко ухмыльнулся хозяин,— но он сочувствующий. Коммунист в душе. Как и я сам. Тут у нас все ответственные работники живут, товарищи.

— Ответственные сочувствующие,— хмуро забубнил черный, потирая колено,— а шкафы зеркальные. Предметы роскоши.

— Рос-ко-ши?! — укоризненно ахнул хозяин.— Что вы, товарищ!! Белье тут лежит последнее, рваное. Белье, товарищ, предмет необходимости.— Тут хозяин полез в карман за ключом и мгновенно остановился, побледнев, потому что вспомнил, что как

раз вчера шесть серебряных подстаканников заложил между рваными наволочками.

— Белье, товарищи,— предмет чистоты. И наши дорогие вожди,— хозяин обеими руками указал на портреты,— все время указывают пролетариату на необходимость держать себя в чистоте. Эпидемические заболевания... тиф, чума и холера, все от того, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением, товарищи, является содержание себя в чистоте. Наш вождь...

Тут мне совершенно явственно показалось: судорога прошла по лицу фотографического Троцкого и губы его расклеились, как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось и хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь:

— Тут, товарищи, уборная, тут ванна, но, конечно, испорченная, видите, в ней ящик с тряпками лежит, не до ванн теперь, вот кухня — холодная. Не до кухонь теперь. На примусе готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате. Вот, товарищи, и все! Я думаю просить себе еще дополнительную комнату, а то, знаете, каждый день себе коленки разбивать — эт-то, знаете ли, слишком накладно. Куда это надо обратиться, чтобы мне дали еще одну комнату в этом доме? Под контору.

— Идем, Степан,— безнадежно махнув рукой, сказал первый серый, и все трое направились, стуча сапогами, в переднюю.

Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул.

— Вот, любуйтесь,— вскричал он,— и это каждый божий день! Честное вам даю слово, что они меня доконают.

— Ну, знаете ли,— ответил я,— это неизвестно, кто кого доконает!

— Хи-хи! — хихикнул хозяин и весело грянул: — Саша! давай самовар!..

Такова была история портретов, и в частности Маркса. Но возвращаюсь к рассказу.

...После супа мы съели бефстроганов, выпили по стаканчику белого Ай-Даниля винделправления, и Саша внесла кофе. И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок.

— Маргарита Михална, наверно,— приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет.

— Да... да... — послышалось из кабинета, но через три мгновения донесся вопль:

— Как?!

Глухо заквакала трубка и опять вопль:

— Владимир Иванович! Я же просил! Все служащие! Как же так?!

— А-а! — ахнула кузина. — Уж не обложили ли его?!

Загремела с размаху трубка, и хозяин появился в дверях.

— Обложили? — крикнула кузина.

— Поздравляю,— бешено ответил хозяин,— обложили вас, дорогая!

— Как?! — кузина встала вся в пятнах. — Они не имеют права! Я же говорила, что в то время я служила!

— Говорила, говорила! — передразнил хозяин. — Не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец-домовой в списке пишет! А все ты, — повернулся он к кузену, — просил ведь, сходи, сходи! А теперь, не угодно ли: он нас всех трех пометил!

— Ду-рак ты, — ответил кузен, наливаясь кровью, — при чем здесь я? Я два раза говорил этой каналье, чтоб отметил как служащих! Ты сам виноват! Он твой знакомый. Сам бы и просил!

— Сволочь он, а не знакомый! — загремел хозяин. — Называется приятель! Трус несчастный. Ему лишь бы с себя ответственность снять.

— На сколько? — крикнула кузина.

— На пять-с!

— А почему только меня? — спросила кузина.

— Не беспокойся! — саркастически ответил хозяин. — Дойдет и до меня и до него. Буква, видно, не дошла. Но только если тебя на пять, то на сколько же они меня шарахнут?! Ну, вот что — расслаживаться тут нечего. Одевайтесь, поезжайте к районному инспектору — объясните, что ошибка. Я тоже поеду. Живо, живо!

Кузина полетела из комнаты.

— Что ж это такое? — горестно завопил хозяин. — Ведь это ни отдыху, ни сроку не дают. Не в дверь, так по телефону! От реквизиций отбрились, теперь налог. Доколе это будет продолжаться? Что они еще придумают?!

Он взвел глаза на Карла Маркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать:

— Это меня не касается!

Край его бороды золотило апрельское солнце.

ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА

Поэма в 10-ти пунктах с прологом и эпилогом

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь, с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу, казенный экипаж.

Пролог

Диковинный сон... Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник-сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная вереница.

Манилов в шубе, на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фетинья...

А самым последним тронулся он — Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке.

И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие — тому следуют пункты...

I

Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя:

— Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырю в копну величиною! Испакостил, изгадил репутацию так, что некуда носа показать. Ведь, ежели узнают, что я — Чичиков, натурально, в два счета выкинут к чертовой матери! Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни бог, на Лубянке насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне...

И, размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал.

Все решительно в ней было по-прежнему: из щелей выглядывали тараканы и даже их как будто больше сделалось, но были и некоторые измененьица. Так, например, вместо вывески «гостиница» висел плакат с надписью: «общезитие № такой-то», и, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел.

— Комнату!

— Ордер пожалте!

Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович.

— Управляющего!

— Трах! — управляющий старый знакомый: дядя Лысый Пимен, который некогда держал «Акульку», а теперь открыл

на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гость и управляющий облобызались, шушукнулись, и дело уладилось в миг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович чем бог послал и полетел устраиваться на службу.

II

Явился всюду и всех очаровал поклонами несколько набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался.

— Пишите анкету.

Дали Павлу Ивановичу анкетный лист в аршин длины, и на нем сто вопросов самых каверзных: откуда, да где был, да почему?..

Пяти минут не просидел Павел Иванович и исписал анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее.

«Ну,— подумал,— прочитают сейчас, что я за сокровище, и...»

И ничего ровно не случилось.

Во-первых, никто анкету не читал, во-вторых, попала она в руки к барышне-регистраторше, которая распорядилась ею по обычаю: провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула.

Ухмыльнулся Чичиков и начал служить.

III

А дальше пошло легче и легче. Прежде всего оглянулся Чичиков и видит, куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки-де выдают, и слышит:

— Знаю я вас, скалдырников: возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паек! А вы дайте мне бараний бок с кашей. Потому что лягушку вашу пайковую, мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот и гнилой селедки тоже не возьму!

Глянул — Собакевич.

Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек требовать. И ведь получил! Съел и надбавки попросил. Дали. Мало! Тогда ему второй отвалили; был простой — дали ударный. Мало! Дали какой-то бронированный. Сlopал и еще потребовал. И со скандалом потребовал! Обругал всех хриstopродавцами, сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет и что есть один только порядочный человек делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья!

Дали академический.

Чичиков лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетри

шеву рассказывал, на старуху-мать, которой на свете не было. И всем академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике.

А наладивши таким образом вопрос с питанием, двинулся в другие учреждения, получать места.

Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку и часы. И точно, ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал. Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл полфунта постного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки, но как ему потом не повезло и он, канальство, еще своих шестьсот миллионов доложил. Рассказал, как предложил Внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил. И заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кинжалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков», и все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции полученным коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И наконец, до того доврался, что стал уверять, что ему выдали восемьсот аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами.

Когда же зять его Мижухев выразил сомнение, обругал его, но не Софроном, а просто сволочью.

Одним словом, надоел Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести.

Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей.

IV

Так он и сделал. И опять анкету написал и начал действовать и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами брабантские кружева; бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и невесть в каких местах.

И в самом скором времени очутились у него около пятисот апельсиновых капиталов.

Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды.

В учреждении только рты расстегнули — выгода, действительно, выходила колоссальная. Попросили указать предприятие. Извольте. На Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется — Пампуш на Твербуле. Послали запрос куда следует: есть ли там такая штука. Ответили: есть и всей Москве известна. Прекрасно.

— Подайте техническую смету.

У Чичикова смета уже за пазухой.

Дали в аренду.

Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует:

— Аванс пожалте.

— Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей.

Двух часов не прошло, представил и ведомость. По всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписи налицо.

— За заведующего — Неуважай-Корыто, за секретаря — Кувшинное Рыло, за председателя тарифно-расценочной комиссии — Елизавета Воробей.

— Верно. Получите ордер.

Кассир только крикнул, глянув на итог.

Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез дензнаки.

А затем в другое учреждение:

Пожалте подтоварную ссуду.

— Покажите товары.

— Сделайте одолжение. Агента позвольте.

— Дать агента!

Тьфу! и агент знакомый: Ротозей Емельян.

Забрал его Чичиков и повез. Привез в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян — лежит несметное количество продуктов.

— М-да... И все ваше?

— Все мое.

— Ну,— говорит Емельян,— поздравляю вас в таком случае. Вы даже не миллионщик, а трильонщик!

А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масла в огонь:

— Видишь,— говорит,— автомобиль в ворота с сапогами едет? Так это тоже его сапоги.

А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает:

— Видишь магазин? Так это все его магазины. Все что по эту сторону улицы — все его. А что по ту сторону — тоже его. Трамвай видишь? Его. Фонари?.. Его. Видишь? Видишь?

И вертит его во все стороны.

Так что Емельян взмолился:

— Верю! Вижу... только отпусти душу на покаяние.

Посхали обратно в учреждение.

Там спрашивают:

— Ну что?

Емельян только рукой махнул:

— Это,— говорит,— неопишимо!

— Ну, раз неопишимо — выдать ему $n \pm 1$ миллиардов

Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой издохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве «все разрешено», пожелала недвижимость приобрести; он вошел в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против Университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса.

И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков — трильонщик. Учреждения начали рвать его к себе нарасхват в спецы. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в пять комнат, уже Чичиков обедал и ужинал в «Ампи́ре».

Но вдруг произошел крах.

Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде. Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки, и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие, и все это заключил словами, что Чичиков жулик и что он бы его расстрелял.

Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молва.

А тут еще дура Коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в Манеже булочную открыть. Тщетно уверяли ее, что Манеж казенное здание и что ни купить его, ни что-нибудь открывать в нем нельзя, — глупая баба ничего не понимала.

А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков, и откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой зловещее, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвенели телефоны, начались совещания... Комиссия построения в комиссию наблюдения, комиссия наблюдения в Жилотдел, Жилотдел в Наркомздрав, Наркомздрав в Главкустпром, Главкустпром в Наркомпрос, Наркомпрос в Пролеткульт и т. д.

Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове. Но Ноздрева призывали, и он ответил по всем пунктам.

Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду несущее-

ствующее предприятие и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут? На вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос: не делатель ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делатель, и даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что правительство хочет выпускать новые знаки, Чичиков снял квартиру в Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов и при этом на два дня раньше, чем вышли настоящие, а когда туда нагрянули и опечатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос: точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда, и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, а если бы не он, ничего бы и не вышло.

После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда, Гоголя он тоже, как и все, и в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла.

Он и воскликнул:

— А знаете, кто такой Чичиков?

И когда все хором грянули:

— Кто?!

Он произнес гробовым голосом:

— Мошенник.

VII

Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему. Нету. В шкапу — нету. К регистраторше.

— Откуда я знаю? У Ивана Григорьича.

К Ивану Григорьичу:

— Где?

— Не мое дело. Спросите у секретаря и т. д. и т. д.

И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг — она. Стали читать и обомлели.

Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичиков. Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то, ни се, ни черт знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий (а кому — неизвестно). Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотя во двор, в третьем этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицершу Подточину, а та знает. Собственноручная подпись? Обмокни!!

Прочитали и окаменели.

Крикнули инструктора Бобчинского:

— Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары, может, там что откроется!

Возвращается Бобчинский. Глаза круглые.

— Чрезвычайное происшествие!

— Ну!!

— Никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а «Ара».

Тут все взвыли:

— Святители угодники! Вот так гусь! А мы ему миллиарды!!

Выходит, теперича ловить его надо!

И стали ловить.

VII

Пальцем в кнопку ткнули:

— Кульера.

Отворилась дверь, и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение.

— Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь.

Петрушка сказал:

— Слушаю-с.

Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно его потерял.

Позвонили Селифану в гараж:

— Машину. Срочно.

— Чичас.

Селифан встрепенулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, засвистел, загудел и полетел.

Какой же русский не любит быстрой езды?!

Любил ее и Селифан, и поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной трети времени избрал второе, от трамвая увернулся и, как вихрь, с воплем: «спасите!» въехал в магазин через окно.

Тут даже у Тентетникова, который заведывал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение:

— Уволить обоих к свиньям!

Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали: на место Петрушки — плюшкинского Прошку, на место Селифана — Григория Доезжай-не-Доедеш. А дело тем временем кипело дальше!

— Авансовую ведомость!

— Извольте.

— Попросить сюда Неуважая-Корыто.

Оказалось, попросить невозможно. Неуважая месяца два тому

назад вычистили из партии, а уж из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего.

— Кувшинное Рыло?

Уехал куда-то на куличку инструктировать Губотдел.

Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого! Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя замзавподотдел Воробей, но он не Елизавета!

Прицепились к машинистке:

— Вы?!

— Ничего подобного! Почему это я? Здесь Елизавета с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот...

И в слезы. Оставили в покое.

А тем временем, пока возились с Воробьем, правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл.

И напрасно гоняли машину по адресу: поворота направо, никакого, конечно, справочного бюро не оказалось, а была там заброшенная и разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшим уборщица Фетинья и сказала, что никого нетути.

Рядом, правда, поворота налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то Подстега Сидорова и, само собой разумеется, не знала не только чичиковского адреса, но даже и своего собственного.

IX

Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт бы в нем никакого вкуса не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, брабантские кружева с электрификацией, коробочкина покупка с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев, оказались замешанными и сочувствующий Ротозей Емельян и беспартийный Вор Антошка, открылась какая-то панاما с пайками Собакевича. И пошла писать губерния!

Самосвистов работал не покладая рук и впутал в общую кашу и путешествия по сундукам и дело о подложных счетах за разъезды (по одному ему оказалось замешано до 50 000 лиц) и проч., и проч. Словом, началось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт:

— Миллиарды были и исчезли.

Наконец, встал какой-то дядя Митяй и сказал:

— Вот что, братцы... Видно, не миновать нам следственную комиссию назначить.

И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал:

— Поручите мне.

Изумились:

— А вы... того... сумеете?

А я:

— Будьте покойны.

Поколебались. Потом красным чернилом:

— Поручить.

Тут я и начал (в жизнь не видел приятнее сна!).

Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоциклистов:

— Не угодно ли чего?

А я им:

— Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично.

Набрал воздуха и гаркнул так, что дрогнули стекла:

— Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!

— Так что подать невозможно... Телефон сломался.

— А-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!

Батюшки! Что тут началось!

— Помилуйте-с... что вы-с... Сюю... хе-хе... минутку... Эй! Мастеров! Проволоки! Сейчас починят!

В два счета починили и подали.

И я рванул дальше:

— Тяпкин? М-мерзавец! Ляпкин? Взять его, прохвоста! Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойников! Э-э-то кто?! Жена Манилова — регистраторша? В шею! Улинька Бетрищева — машинистка? В шею! Собакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзофейкин? Шулер Утешительный? Взять!! И того, что их назначил — тоже! Схватить его! И его! И этого! И того! Фетинью вон! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку в учетное отделение! Ноздрева в подвал... В минуту! В секунду!! Кто подписал ведомость? Подать его, каналью!! Со дна моря достать!!

Гром пошел по пеклу...

— Вот черт налетел! И откуда такого достали?!

А я:

— Чичикова мне сюда!!

— Н..н..н..невозможно сыскать. Они скрымшились...

— Ах, скрымшились? Чудесно! Так вы сядете на его место.

— Помил...

— Молчать!!

— Сюю минуточку... Сюю... Повремените секундочку. Ищут-с. И через два мгновения нашли!

И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе

волосы и френч и уверял, что у него нетрудоспособная мать.
— Мать?! — гремел я. — Мать?.. Где миллиарды? Где народные деньги?! Вор!! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!

Вскрыли его. Тут они.

— Все?

— Все-с.

— Камень на шею и в прорубь!

И стало тихо и чисто.

И я по телефону:

— Чисто.

А мне в ответ:

— Спасибо. Просите, чего хотите

Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложил в трубку все сметные предположения, которые давно уже терзали меня:

«Брюки... фунт сахара... лампу в 25 свечей...»

Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен, увял и пробормотал в трубку:

Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, каковые сочинения мной недавно проданы на толчке.

И.. бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь.

Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рывкнул:

— Ура!

И

Э п и л о г

конечно, проснулся. И ничего: ни Чичикова, ни Ноздрева и, главное, ни Гоголя...

«Э-хе-хе», — подумал я себе и стал одеваться, и вновь пошла перед мной по-будничному шеголять жизнь.

1922 г

НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Простодушный рассказ

Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне.

— Сидоров!

А я ему:

— Я!

Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает:

— Ты, — говорит, — что?

Я, — говорю, — ничего...

— Ты,— говорит,— неграмотный?

Я ему, конечно:

— Так точно, товарищ военком, неграмотный.

Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит:

— Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на «Травиату»!

— Помилуйте,— говорю,— за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме.

А он отвечает:

— Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие.

А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти.

Я и говорю:

— А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк уволниться вместо театра?

А он прищурил глаз и спрашивает:

— В цирк?.. Это зачем же такое?

— Да,— говорю,— уж больно занятно... Ученого слона выводить будут, и опять же рыжие, французская борьба...

Помахал он пальцем:

— Я тебе,— говорит,— покажу слона! Несознательный элемент! Рыжие... рыжие! Сам ты рыжая деревенщина! Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, неученые! Какая тебе польза от цирка? А? А в театре тебя просвещать будут... Мило, хорошо... Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать... Получай билет, и марш!

Делать нечего — взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили три стакана семечек и приходим в «Первый советский театр».

Видим, у загородки, где впускают народ,— столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна было и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает:

— Позвольте,— говорит,— товарищ мадам, вы грамотная?

А та сдуру обиделась:

— Странный вопрос! Конечно, грамотная. Я в гимназии училась!

— А,— говорит контролер,— в гимназии. Очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания!

И забрал у нее билет.

— На каком основании,— кричит барышня,— как же так?

— А так,— говорит,— очень просто, потому пускаем только неграмотных.

— Но я тоже хочу послушать оперу или концерт.

— Ну, если вы,— говорит,— хотите, так пожалуйста в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали — доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не

дают, а товарищ Куликовский им романсы поет.

Так и ушла барышня.

Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд.

Сидим.

Представление еще не началось, и потому от скуки по стаканчику семечек сжевал. Посидели мы так часика полтора, наконец стемнело в театре.

Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то. В шапочке котиковой и в пальто. Усы, борода с проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел.

Я и спрашиваю Пантелеева (он хоть и неграмотный, но все знает):

— Это кто же такой будет?

А он отвечает:

— Это дерн,— говорит,— жер. Он тут у них самый главный. Серьезный господин!

— Что ж,— спрашиваю,— почему ж это его на показ сажают за загородку?

— А потому,— отвечает,— что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примера нам, значит, и выставляют.

— Так почему ж его задом к нам посадили?

— А,— говорит,— так ему удобнее оркестром хороводить!..

А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком, и сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прямо плакать хочется.

Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает — и книжку читает и прутом размахивает. А оркестр нажаривает. Дальше — больше! За скрипками на дудках, а за дудками на барабанах. Гром пошел по всему театру. А потом как рывкнет с правой стороны... Я глянул в оркестр и кричу:

— Пантелеев, а ведь это, побей меня бог, Ломбард, который у нас на пайке в полку!

А он тоже заглянул и говорит:

— Он самый и есть! Окромя его, некому так здорово врезать на тромбоне!

Ну, я обрадовался и кричу:

— Браво, бис, Ломбард!

Но только, откуда ни возьмись, милиционер, и сейчас ко мне:

— Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать!

Ну, замолчали мы.

А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене — дым коромыслом! Которые в пиджаках кавалеры, а которые дамы в платьях, танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же, и в девятку то же самое.

Одним словом, старый режим!

Ну, тут, значит, среди прочих Альфред. Тоже пьет, закусы-
вает.

И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, все пением. Ну, и она ему тоже в ответ.

И выходит так, что не миновать ему жениться на ней, но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша, по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шасть на сцену.

И сейчас же и запел Альфреду:

— Ты что ж, такой-сякой, забыл край милый свой?

Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту альфредову махинацию к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии, и устрой он, братцы вы мои, скандал здоровнейший этой Травиате своей. Обругал ее, на чем свет стоит при всех

Поет:

Ты, — говорит, — и такая, и этакая, и вообще, — говорит, — не желаю больше с тобой дела иметь.

Ну, та, конечно, в слезы, шум, скандал!

И заболей она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором

Приходит доктор.

Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат — пролетарий. Волосы длинные, и голос здоровый, как из бочки.

Подошел к Травиате и запел

Будьте, — говорит, — покойны, болезнь ваша опасная и непременно вы померете!

И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел

Ну, видит Травиата, делать нечего — надо помирать

Ну, тут пришли и Альфред, и Любченко, просят ее не помирать. Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Но ничего не выходит!

Извините, — говорит Травиата, — не могу, должна помереть.

И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата.

А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись.

Ну, думаю: слава богу, просветились, и будет с нас! Скучная история!

И говорю Пантелееву:

— Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк!

Лег спать, и все мне снится, что Травиата поет и Ломбард на своем тромбоне крикает.

Ну-с, прихожу я на другой день к военному и говорю:

— Позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться...

А он как рыкнет:

— Все еще, — говорит, — у тебя слоны на уме! Никаких цир-

ков! Нет, брат, пойдешь сегодня в Совпроф на концерт. Там вам,— говорит,— товарищ Блох со своим оркестром вторую рапсодию играть будет!

Так я и сел, думаю: «Вот тебе и слоны!»

— Это что ж,— спрашиваю,— опять Ломбард на тромбоне нажаривать будет?

— Обязательно,— говорит.

Оказия, прости господи, куда я, туда и он с своим тромбонном!

Взглянул я и спрашиваю:

— Ну, а завтра можно?

— И завтра,— говорит,— нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю.

— Ну, а послезавтра?

— А послезавтра опять в оперу! И вообще,— говорит,— довольно вам по циркам шляться! Настала неделя просвещения.

Осатанел я от его слов! Думаю: «Этак пропадешь совсем». И спрашиваю:

— Это что ж, всю нашу роту так гонять будут?

— Зачем,— говорит,— всех! Грамотных не будут. Грамотный и без второй рапсодии хорош! Это только вас, чертей неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны!

Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак! Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия...

Думал, думал и придумал.

Пошел к военкому и говорю:

— Позвольте заявить!

— Заявляй!

— Дозвольте мне,— говорю,— в школу грамоты.

Улыбнулся тут военком и говорит:

— Молодец! — и записал меня в школу.

Ну, походил я в нее, и, что вы думаете, выучили-таки! И теперь мне черт не брат, потому я грамотный!

1921 г.

СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Не стоит вызывать его!

Не стоит вызывать его!

(Речитатив Мефистофеля.)

I

Дура Ксюшка доложила:

— Там к тебе мужик пришел...

Madame Лузина вспыхнула:

— Во-первых, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты мне «ты» не говорила! Какой такой мужик?

И выплыла в переднюю.

В передней вешал фуражку на олений рог Ксаверий Антонович Лисиневич и кисло улыбался. Он слышал ксюшкин доклад.

Madame Лузина вспыхнула вторично.

— Ах, боже! Извините, Ксаверий Антоныч! Эта деревенская дура!.. Она всех так... Здравствуйте!

— О, помилуйте!..— светски растопырил руки Лисиневич.— Добрый вечер, Зинаида Ивановна! — Он свел ноги в третью позицию, склонил голову и поднес руку madame Лузиной к губам.

Но только что он собрался бросить на madame долгий и липкий взгляд, как из двери выполз муж Павел Петрович. И взгляд угас.

— Да-а,— немедленно начал волюнку Павел Петрович,— «мужик»... хе-хе! Ди-ка-ри! Форменные дикари. Я вот думаю: свобода там... коммунизм. Помилуйте! Как можно мечтать о коммунизме, когда кругом такие ксюшки! Мужик... Хе-хе! Вы уж извините, ради бога! Муж...

«А дурак!» — подумала madame Лузина и перебила:

— Да что ж мы в передней?.. Пожалуйста в столовую...

— Да, милости просим в столовую,— пригласил Павел Петрович,— прошу!

Вся компания, согнувшись, пролезла под черной трубой и вышла в столовую.

— Я и говорю,— продолжал Павел Петрович, обнимая за талию гостя,— коммунизм... Спору нет: Ленин — человек гениальный, но... да, вот не угодно ли пайковую... хе-хе! Сегодня получил... Но коммунизм это такая вещь, что она, так сказать, по своему существу... Ах, разорванная? Возьмите другую, вот с краю... По своей сути требует известного развития... Ах, подмоченная? Ну, и папиросы!.. Вот, пожалуйста, эту... По своему содержанию... Погодите, разгорится... Ну, и спички! Тоже пайковые... Известного сознания...

— Погоди, Поль! Ксаверий Антонович, чай до или после?

— Я думаю... э-э, до,— ответил Ксаверий Антонович.

— Ксюшка! Примус! Сейчас все придут! Все страшно заинтересованы! Страшно!! Я пригласила и Софью Ильиничну...

— А столик?

— Достали! Достали! Но только... Он с гвоздями. Но ведь, я думаю, ничего?

— Гм... Конечно, это нехорошо... Но как-нибудь обойдемся...

Ксаверий Антонович окинул взглядом трехногий столик с инкрустацией, и пальцы у него сами собой шевельнулись.

Павел Петрович заговорил:

— Я, признаться, не верю. Не верю, как хотите. Хотя, правда, в природе...

— Ах, что ты говоришь! Это безумно интересно! Но предупреждаю: я буду бояться!

Madame Лузина оживленно блестела глазами, затем выбежала в переднюю, поправила наскоро прическу у зеркала и впорхнула в кухню. Оттуда донесся рев примуса и хлопанье ксюшкиных пяток.

— Я думаю...— начал Павел Петрович, но не кончил.

В передней постучали. Первая явилась Леночка, затем квариант. Не заставила себя ждать и Софья Ильинична, учительница 2-й ступени. А тотчас же за ней явился и Боборицкий с невестой Ниночкой.

Столовая наполнилась хохотом и табачным дымом.

— Давно, давно нужно было устроить!

— Я, признаться...

— Ксаверий Антонович! Вы будете медиум! Ведь да? Да?

— Господа,— кокетничал Ксаверий Антонович,— я ведь в сущности такой же непосвященный... Хотя...

— Э-э, нет! У вас столик на воздух поднимался!

— Я, признаться...

— Уверю тебя, Маня собственными глазами видела зеленоватый свет!..

— Какой ужас! Я не хочу!

— При свете! При свете! Иначе я не согласна! — кричала крепко сколоченная материальная Софья Ильинична. — Иначе я не поверю!

— Позвольте... Дадим честное слово...

— Нет! Нет! В темноте! Когда Юлий Цезарь выступал нам смерть...

— Ах, я не могу! О смерти не спрашивать! — кричала невеста Боборицкого, а Боборицкий томно шептал:

— В темноте! В темноте!

Ксюшка, с открытым от изумления ртом, внесла чайник.

Madame Лузина загремела чашками.

— Скорее, господа, не будем терять времени!

И сели за чай...

...Шалью, по указанию Ксаверия Антоновича, наглухо закрыли окно. В передней потушили свет, и Ксюшке приказали сидеть на кухне и не топтать пятками. Сели, и стала темь.

II

Ксюшка заскучала и встревожилась сразу. Какая-то чертовщина... Всюду темень. Заперлись. Сперва тишина, потом тихое, мерное постукивание. Услыхав его, Ксюшка застыла. Страшно стало. Опять тишина. Потом неясный голос...

— Господи?..

Ксюшка шевельнулась на замасленном табурете и стала прислушиваться...

Тук... Тук... Тук... Будто голос гостыи (чистая тунба, прости господи!) забубнил:

— А, га, га, га...

Тук... тук...

Ксюшка на табурете как маятник качалась от страха к любопытству... То черт с рогами мерещился за черным окном, то тянуло в переднюю...

Наконец не выдержала. Прикрыла дверь в освещенную кухню и шмыгнула в переднюю. Тыча руками, наткнулась на сундуки. Протиснулась дальше, пошарила, разглядела дверь и приникла к скважине... Но в скважине была адова тьма, из которой доносились голоса...

III

— Ду-ух, кто ты?

— А, бе, ве, ге, де, е, же, зе, и...

Тук!

— И! — вздохнули голоса.

— А, бе, ве, ге...

— Им!

Тук... Тук... Тук...

— Им-пе-ра!.. О-о! Господа...

— Император На-по...

Тук... Тук...

— На-по-ле-он!!.. Боже, как интересно!..

— Тише!.. Спросите! Спрашивайте!

— Что?.. Да, спрашивайте!.. Ну, кто хочет?..

— Дух императора,— прерывисто и взволнованно спросила Леночка,— скажи, стоит ли мне переходить из Главхима в Железком? Или нет?..

Тук... Тук... Тук...

— Ду-у... Ду-ра! — отчетливо ответил император Наполеон.

— Ги-и! — гикнул дерзкий квартирант.

Смешок пробежал по цепи.

Софья Ильинична сердито шепнула:

— Разве можно спрашивать ерунду!

Уши Леночки горели во тьме.

— Не сердись, добрый дух! — взмолилась она.— Если не сердись, стукни один раз!

Наполеон, повинуясь рукам Ксаверия Антоновича, ухитрившегося делать сразу два дела — щекотать губами шею *madame* Лузиной и вертеть стол, взмахнул ножкой и впился ею в мозоль Павла Петровича.

— Сс-с!.. — болезненно прошипел Павел Петрович.

— Тише!.. Спрашивайте!

— У вас никого посторонних нет в квартире? — спросил осторожный Боборицкий.

— Нет! Нет! Говорите смело!

— Дух императора, скажи, сколько времени еще будут у власти большевики?

— А-а!.. Это интересно! Тише!.. Считайте!..

Та-ак, та-ак, застучал Наполеон, припадая на одну ножку.

— Те... ор... и... три... ме-ся-ца!

— А-а!..

— Слава богу! — вскричала невеста. — Я их так ненавижу!

— Тсс! Что вы?!

— Да никого нет!

— Кто их свергнет? Дух, скажи!..

Дыхание затаили... Та-ак, та-ак...

...Ксюшку распирало от любопытства...

Наконец она не вытерпела. Отшатнувшись от собственного отражения, мелькнувшего во мгле зеркала, она протиснулась между сундуками обратно в кухню. Захватила платок, шмыгнула обратно в переднюю, поколебалась немного перед ключом. Потом решила, тихонько прикрыла дверь и, дав волю пяткам, понеслась к Маше нижней.

IV

Маша нижняя нашлась на парадной лестнице у лифта внизу вместе с Дуськой из пятого этажа. В кармане у нижней Маши было на 100 тысяч семечек.

Ксюшка излилась.

— Заперлись они, девоньки... Записывают про инпиратора и про большевиков... Темно в квартире, страсть!.. Жилец, барин, барыня, хахаль ейный, учительша...

— Ну!! — изумлялась нижняя и Дуська, а мозаичный пол покрывался липкой шелухой...

Дверь в квартире № 3 хлопнула, и по лестнице двинулся вниз бравый в необыкновенных штанах. Дуська, и Ксюшка, и нижняя Маша скосили глаза. Штаны до колен были как штаны, из хороши диагонали, но от колен расширились и становились как колокола.

Квадратная бронзовая грудь распирала фуфайку, а на бедре тускло и мрачно глядело из кожаной штуки востроносое дуло.

Бравый, лихо закинув голову с золотыми буквами на лбу, легко перебирая ногами, отчего колокола мотались, спустился к лифту и, обжегши мимолетным взглядом всех троих, двинулся к выходу...

— Ланпы потушили, чтобы я, значит, не видела... Хи-хи!.. И записывают... большевикам, говорят, крышка... Инпиратор.... Хи! Хи!

С бравым что-то произошло. Лакированные ботинки вдруг стали прилипать к полу. Шаг его замедлился. Бравый вдруг остановился, пошарил в кармане, как будто что-то забыл, потом зевнул и вдруг, очевидно раздумав, вместо того, чтобы выйти в парадное, повернулся и сел на скамью, скрывшись из ксюшкиного поля зрения за стеклянным выступом с надписью «швейцар».

Заинтересовал его, по-видному, рыжий потрескавшийся купидон на стене. В купидона он впился и стал его изучать...

...Облегчив душу, Ксюшка затоптала обратно. Бравый уныло зевнул, глянул на браслет-часы, пожал плечам и, видно, соскучившись ждать кого-то из квартиры № 3, поднялся и, развнченно помахивая колоколами, пошел на расстояние одного марша за Ксюшкой...

Когда Ксюшка скрылась, стараясь не хлопнуть дверью, в квартире, в темноте на площадке вспыхнула спичка у белого номерка — 24. Бравый уже не прилипал и не позевывал.

— Двадцать четыре, — сосредоточенно сказал он самому себе и, бодрый и оживленный, стрелой понесся вниз через все шесть этажей.

У

В дымной тьме Сократ, сменивший Наполеона, творил чудеса. Он плясал как сумасшедший, предрекая большевикам близкую гибель. Потная Софья Ильинична, не переставая, читала азбуку. Руки онемели у всех, кроме Ксаверия Антоновича. Мутные, беловатые силуэты мелькали во мгле. Когда же нервы напряглись до предела, стол с сидящим в нем мудрым греком колыхнулся и поплыл вверх.

— Ах!.. Довольно!.. Я боюсь!.. Нет! Пусть! Милый! Дух! Выше!.. Никто не трогает, ногами?.. Да нет же!.. Тсс!.. Дух! Если ты есть, возьми «Ia» на пнанино!

Грек оборвался сверху и грянул всеми ножками в пол. Что-то с треском лопнуло в нем. Затем он забарахтался и, наступая на ноги взвизгивающим дамам, стал рваться к пнанино... Спириты, сталкиваясь лбами, понеслись за ним...

...Ксюшка вскочила как встрепанная с ситцевого одеяла в кухне. Ее писка: «Кто такой?» — очумевшие спириты не слышали.

Какой-то новый злобный и страшный дух вселился в стол, выкинув покойного грека. Он страшно гремел ножками как из пулемета, кидался из стороны в сторону и нес какую-то околесину:

— Дра-ту-ма... бы... ы... ы...

— Миленький! Дух! — стонали спириты.

— Что ты хочешь?!

— Дверь! — наконец вырвалось у бешеного духа.

— А-а!.. Дверь! Слышите! В дверь хочет бежать!.. Пустите его!

Трык, трак, тук, — заковылял стол к двери.

— Стойте! — крикнул вдруг Боборицкий. — Вы видите, какая в нем сила! Пусть, не доходя, стукнет в дверь!

— Дух! Стукни!!

И дух превзошел ожидания. Снаружи в дверь он грянул как

будто сразу тремя кулаками.

— Ай! — визгнули в комнате три голоса.

А дух действительно был полон силы. Он забарабанил так, что у спиритов волосы стали дыбом. Вмиг замерло дыхание, стала тишина...

Дрожащим голосом выкрикнул Павел Петрович:

— Дух! Кто ты?..

Из-за двери гробовой голос ответил:

— Чрезвычайная комиссия.

...Дух испарился из стола позорно — в одно мгновение. Стол, припав на поврежденную ножку, стал неподвижно. Спириты окаменели. Затем madame Лузина простонала «Бо-о-же!» и тихо сникла в неподдельном обмороке на грудь Ксаверию Антоновичу, прошившему:

— О, черт бы взял идиотскую затею!

Трясущиеся руки Павла Петровича открыли дверь. Вмиг вспыхнули лампы, и дух предстал перед снежно-бледными спиритами. Он был кожаный. Весь кожаный, начиная с фуражки и кончая портфелем. Мало того, он был не один. Целая вереница подвластных духов виднелась в передней.

Мелькнула бронзовая грудь, граненый ствол, серая шинель, еще шинель...

Дух окинул глазами хаос спиритической комнаты и, зловеще ухмыльнувшись, сказал:

— Ваши документы, товарищи...

Э п и л о г

Боборицкий сидел неделю, квартирант и Ксаверий Антонович 13 дней, а Павел Петрович — полтора месяца.

1922 г.

ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

— А вот угле-ей... углссссссей!..

— Вот чертова глотка.

— ...глей... глей!..

— Который час?

— Половина девятого, чтоб ему издохнуть.

— Это значит, я с шести не сплю. Они навеки в отдушине поселились. Как шесть часов, отец семейства летит и орет, как сумасшедший, а потом дети. Знаешь, что я придумала? Ты в них камнем швырни. Прицелься хорошенько и попадешь.

— Ну да. Прямо в студию, а потом за стекло два месяца служить.

— Да, пожалуй. Дрянные птицы. И почему в Москве такая

масса ворон... Вон за границей голуби... В Италии...

— Голуби тоже сволочь порядочная. Ах, черт возьми! Погляди-ка...

— Боже мой! Не понимаю, как ты ухитряешься рвать?

— Да помилуй! При чем здесь я? Ведь он сверху донизу лопнул. Вот тебе твой ГУМ универсальный!

— Он такой же мой, как и твой. Сто миллионов — носки на один день. Лучше бы я ромовой бабки купила. На, зеленые.

— Ничего, я булабочкой заколю. Вот и незаметно. Осторожнее, ради бога!..

— Ты знаешь, Сема говорит, что это не примус, а оптамус.

— Ну и что?

— Говорит, обязательно взорвет. Потому что он шведский.

— Чепуху какую-то твой Сема говорит.

— Нет, не чепуху. Вчера в шестнадцатой квартире у комсомолки вся юбка обгорела. Бабы говорят, что это ее бог наказал за то, что она в комсомол записалась.

— Бабы, конечно... они понимают...

— Нет, ты не смейся. Представь себе, только что она записалась, как — трах! — украли у нее новенькие лаковые туфли. Комсомолкина мамаша побежала к гадалке. Гадалка пошептала, пошептала и говорит: взяла их, говорит, женщина, небольшого роста, замужняя, на щеке у ей родинка...

— Постой, постой...

— Вот то-то ж. Ты слушай. То-то я удивляюсь, как ни прихожу, все комсомолкина мамаша на мою щеку смотрит. Наконец потеряла я терпение и спрашиваю: что это вы на меня смотрите, товарищ? А она отвечает: так-с. Ничего. Проходите, куда шли. Только довольно нам это странно. Образованная дама, а между тем родинка. Я засмеялась и говорю: ничего не понимаю! А она: ничего-с, проходите. Видали мы блондинок!

— Ах, дрянь!

— Да ты не сердись. Прилетает комсомолка и говорит мамаше: дура ты, у ей муж по 12-му разряду, друг воздушного флота, захочет, так он ее туфлями обсыпет всю. Видала чулки телесного цвета? И надоели вы мне, говорит, мамаша, с вашими гадалками и иконами! И собиралась иконы вынести. Я, говорит, их на воздушный флот пожертвую. Что тут с мамашей сделалось! Выскочила она и закатила скандал на весь двор. Я, кричит, не посмотрю, что она комсомолка, а прокляну ее до седьмого колена! А тебе, орет, желаю, чтоб ты со своего воздушного флота мордой об землю брякнулась!

Баб слетелось видимо-невидимо, и выходит, наконец, комендант и говорит: вы немного полегче, Анна Тимофеевна, а то за такие слова, знаете ли... Что касается вашей дочери, то она заслуживает полного уважения со стороны всего пролетариата нашего номера за борьбу с капиталом при помощи воздушного флота. А вы, Анна Тимофеевна, извините меня, но вы скандалистка, вам надо валерьянкины капли пить! А та как взбеленилась — и комен-

данту: пей сам, если тебе самогонка надоела!

Ну, тут уж комендант рассвирепел: я, говорит, тебя, паршивая баба, в 24 часа выселю из дома, так что ты у меня, как на аэроплане, вылетишь к свиньям! И ногами начал топтать. Топал, топал, и вдруг прибегает Манька и кричит: Анна Тимофеевна, туфли нашлись!

Оказывается, никакая не блондинка, а это Сысонч, мамашин любовник, снес их самогонщице, а Манька...

— Да! Да! Войдите! В чем дело, товарищ?

— Деньги за энергию пожалуйста, 35 лимонов.

— Однако! Пять, десять...

— Это что. В следующем месяце 100 будет. Могэс по банку берет. Банкнот в гору. И коммунальная энергия за ним. До свиданьи-с. Виноват-с. Вы к духовному сословию не принадлежите?

— Помилуйте! Кажется, видите... брюки...

— Хе-хе. Это я для порядка. Контора запрашивает для списков. Так я против вас напишу — трудящийся элемент.

— Вот именно. Честь имею...

— Отцвели уж давно-о-о хризантемы в саду-у!

— Точить ножжи — ножницы!..

— Но любовь все живет в моем сердце больном!

— Брось ты ему пять лимонов, чтоб он заткнулся.

— А за ним шарманка ползет...

— Ну, я полетел... Опаздываю... Приду в пять или в восемь!..

— Молочка не потребуется?.. Дорогие братцы, сестрички, подайте калек убогому... Клубника. Нобель замечательная!.. Булочки — свежие, французские... Папиросы «Красная звезда». Спички... Обратите внимание, граждане, на убожество мое!

— Извозчик! Свободен?

— Пожалте... Полтора рублика! Ваше сиятельство! Рублик! Господин! Я катал!! Семь гривен! Я даю! На резвой, ваше высокоблагородие! Куда ехать? Полтинник!

— Четвертак.

— Три гривенничка... Эх, ваше сиятельство, овес.

— Ты куда? Я т-тебе угол срежу!

— Вот оно, ваше превосходительство, житье извозчище.

— Эх, держи его! Так его. Не сигай на ходу!

— Вор?

— Никак нет. В трамвай на скаку сиганул. На 50 лимонов штрахуют.

— Здесь. Стой! Здравствуйте, Алексей Алексеич.

— Праскухин-то... слышали? 25 червонцев позавчера пристроил! Прислало отделение, а он расписался и, конечно, на бега. Вчера является к заведывающему пустой, как барабан. Тот ему говорит — даю вам шесть часов срока, пополните. Ну, конечно, откуда он пополнит. Разве что сам напечатает. Ловят его теперь.

— Помилуйте, я его только что в трамвае видел. Едет с какими-то свертками и бутылками...

— Ну так что ж. К жене на дачу поехал отдыхать. Да вы не беспокойтесь. И на даче словят. И месяца не пройдет, как поймут.

— Allo ... Да, я... Не готово еще. Хорошо... На отношение ваше за № 21580 об организации при губотделе фонда взаимопомощи сообщаю, что ввиду того, что губкасса... Машинистки свободны?.. На заседании губпроса было обращено внимание цекпроса на то, запятая... написали?.. что изданное, перед «что» запятая, а не после «что», изданное Моно циркулярное распоряжение, направленное в Роно и Уоно и Губоно... а также утвержденное Губсоцвосом... Allo! Нет, повесьте трубку...

— А я тут к вам поэта направил из провинции.

— Ну и свинство с вашей стороны... Вы, товарищ? Позвольте посмотреть...

Но если даже люди
Меня затопчут в грязь,
Я воскликну, смеясь...

Видите ли, товарищ, стихи хорошие, но журнал чисто школьный, народное образование... Право, не могу вам посоветовать... журналов много... Попробуйте... Переутомился я, и денег нет... Сколько, вы говорите, за мной авансу? Уй, юй, юй! Ну, чтоб округлить, дайте еще пятьсот... Триста? Ну, хорошо. Я сейчас поеду по делу, так вы рукописи секретарю передайте... Извозчик! Гривенник!..

— Подайте, барин, сироткам...

— Стой! Здравствуйте, Семен Николаевич!

— В кассе денег ни копейки.

— Позвольте... Что ж вы так сразу... Я ведь еще и не заикнулся...

— Да ведь вы сегодня уже пятый. Капитан, за капитаном Юрий Самойлович, за Юрием Самойловичем...

— Знаю, знаю... А патриарх-то? А?

— Капитан поехал его интервьюировать...

— Это интересно... Кстати, о патриархе, сколько за мной авансу?.. Двести? Нет, триста... Извозчик! Двугривенный... Стой! Нет, граждане, ей-богу, я только на минуту, по делу. И вечером у меня срочная работа... Ну, разве на минуту... Общее собрание у них... Ну, мы подождем и их захватим... Стой!

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели!

Ого-го!.. А мы сейчас два столика сдвинем... Слуш... Раки получены... Необыкновенные раки... Граждане, как вы насчет раков? А?.. Полдюжины... И трехгорного полдюжины... Или лучше, чтоб вам не ходить — сразу дюжину!.. Господа! Мы же условились... на минуту...

Иная на сердце забота!..

Позвольте... позвольте... что ж это он поет?..

В плену... полководец... в плену-у-у...

А! это другое дело. Ваше здоровье. Братья писатели!.. Семь раз солянка по-московски!

И выйдет к тебе... полководец!

Из гроба твой ве-е-рный солдат!!

Что это он все про полководцев?.. Великая французская... Раки-то, раки! В первый раз вижу...

Bis! Bis! Народу-то! Позвольте... что ж это такое? Да ведь это Праскухин! Где?! Вон в углу. С дамой сидит! Чудеса!.. Ну, значит, еще не поймали!.. Гражданин! Еще полдюжинки!

Вни-и-из по ма-а-атушке по Во-о-олге!.. Эх, гармония хороша! Еду на Волгу! Переутомился я! Билет бесплатный раздобуду, и только меня и видели, потому я устал!

По широкому-у раздолью!..

Батюшки! Выводят кого-то!

— Я не посмотрю, что ты герой труда!!! А... а!!

— Граждане, попрошу неприличными словами не выражаться...

— Граждане, а что, если нам красного «напареули»? А?.. Поехали! На минуту... Сюда! Стоп! Шашлык семь раз...

Был душой велик! Умер он от ран!!

...Да на трамвае же!.. Да на полчаса!.. Плюньте, завтра напишете!..

— Захватывающее зрелище! Борьба чемпиона мира с живым медведем... Bis! Что за черт! Что он, неуловимый, что ли?! Вон он! В ложе сидит!.. Батюшки, половина первого! Извозчик! Извозчик!..

— Три рублика!..

— Очень хорошо. Очень.

— ...

— Миленькая! Клянусь, общее собрание. Понимаешь. Общее собрание и никаких! Не мог!

— Я вижу, ты и сейчас не можешь на ногах стоять!

— Деточка. Ей-богу. Что, бишь, я хотел сказать? Да. Праскухин-то, а? Понимаешь? Двадцать пять червонцев, и, понимаешь, в ложе сидит... Да бухгалтер же... Брюнет.

— Ложись ты лучше. Завтра поговорим.

— Это верно... Что, бишь, я хотел сделать? Да, лечь... Это правильно. Я ложусь... но только умоляю разбудить меня, разбудить меня, непременно, чтоб меня черт взял, в десять минут пятого... нет, пять десятого... Я начинаю новую жизнь... Завтра.

— Слышали. Спи.

*Посвящается всем редакторам
еженедельных журналов.*

В правом кармане брюк лежали 9 копеек — два трехкопеечника, две копейки и копейка, и при каждом шаге они бренчали, как шпоры. Прохожие косились на карман.

Кажется, у меня начинают плавиться мозги. Действительно, асфальт же плавится при жаркой температуре! Почему не могут желтые мозги? Впрочем, они в костяном ящике и прикрыты волосами и фуражкой с белым верхом. Лежат внутри красивые полушария с извилинами и молчат.

А копейки — брень-брень.

У самого кафе бывшего Филиппова я прочитал надпись на белой полоске бумаги: «Щи суточные, севрюжка паровая, обед из 2-х блюд — 1 рубль».

Вынул девять копеек и выбросил их в канаву. К девяти копейкам подошел человек в истасканной морской фуражке, в разных штанинах и только в одном сапоге, отдал деньгам честь и прокричал:

— Спасибо от адмирала морских сил. Ура!

Затем он подобрал медяки и запел громким и тонким голосом:

Ата-цвели уж давно-о!

Хэ-ри-зан-темы в саду-у!..

Прохожие шли мимо струей, молча сопя, как будто так и нужно, чтобы в 4 часа дня, на жаре, на Тверской, адмирал в одном сапоге пел.

Тут за мной пошли многие и говорили со мной:

— Гуманный иностранец, пожалуйста и мне 9 копеек. Он шарлатан, никогда даже на морской службе не служил.

— Профессор, окажите любезность...

А мальчишка, похожий на Черномора, но только с отрезанной бородой, прыгал передо мною на аршин над панелью и торопливо рассказывал хриплым голосом:

У Калущкой заставы

Жил разбойник и вор — Камаров!

Я закрыл глаза, чтобы его не видеть, и стал говорить:

— Предположим так. Начало: жара, и я иду, и вот мальчишка. Прыгает. Беспризорный. И вдруг выходит из-за угла заведующий детдомом. Светлая личность. Описать его. Ну, предположим, такой: молодой, голубые глаза. Бритый? Ну, скажем, бритый. Или с маленькой бородкой. Баритон. И говорит: Мальчик, мальчик. — А что дальше? Мальчик, мальчик, ах, мальчик, мальчик... «И в фартуке», — вдруг сказали тяжелые мозги под фуражкой. «Кто в фартуке?», — спросил я у мозгов удивленно. — «Да этот, твой детдом».

«Дураки», — ответил я мозгам.

«Ты сам дурак. Бесталанный», — ответили мне мозги, — посмотри, что ты будешь жрать сегодня, если ты сей же час не сочинишь рассказ. Графоман!»

Не в фартуке, а в халате...

«Почему он в халате, ответь, кретин?» — спросили мозги.

«Ну, предположим, что он только что работал, например, делал перевязку ноги больной девочке и вышел купить папирос «Трест». Тут же можно описать мосельпромышленность. И вот он говорит:

— Мальчик, мальчик... А сказавши это (я потом присочиню, что он сказал), берет мальчика за руку и ведет в детдом. И вот Петька (мальчика Петькой назовем, такие замерзающие на жаре мальчики всегда Петьки бывают) уже в детдоме, уже не рассказывает про Комарова, а читает букварь. Щеки у него толстые, и назвать рассказ: «Петька спасен». В журналах любят такие заглавия».

«Па-аршивенький рассказ, — весело бухнуло под фуражкой — и тем более, что мы где-то уже это читали!»

— Молчать, я погибаю! — приказал я мозгам и открыл глаза

Передо мною не было адмирала и Черномора и не было моих часов в кармане брюк

Я пересек улицу и подошел к милиционеру высоко поднявшему жезл

— У меня часы украли сейчас, сказал я

Кто? спросил он

Не знаю, ответил я

Ну тогда пропали, сказал милиционер

От таких его слов мне захотелось сельтерской воды

Сколько стоит один стакан сельтерской? — спросил я в будочке у женщины

10 копеек, ответила она

Спросил я ее нарочно, чтобы знать, жалеть ли мне выброшенные 9 копеек. И развеселился и немного оживился при мысли, что жалеть не следует

«Предположим — милиционер. И вот подходит к нему гражданин...»

«Ну-те-с?» — осведомились мозги.

— Н-да, и говорит: часы у меня свистнули. А милиционер выхватывает револьвер и кричит: «Стой!! Ты украл, подлец». Свистит. Все бегут. Ловят вора-рецидивиста. Кто-то падает. Стрельба.

«Все?» — спросили желтые толстяки, распухшие от жары в голове. «Все».

«Замечательно, прямо-таки гениально, — рассмеялась голова и стала стучать, как часы, — но только этот рассказ не примут, потому что в нем нет идеологии. Все это, т. е. кричать, выхватывать револьвер, свистеть и бежать, мог и старорежимный горо-

довой. Нес-па¹, товарищ Бенвенуто Чиллини».

Дело в том, что мой псевдоним — Бенвенутто Челлини. Я придумал его пять дней тому назад в такую же жару. И он страшно понравился почему-то всем кассирам в редакции. Все они поместили: «Бенвенутто Челлини» в книгах авансов рядом с моей фамилией. 5 червонцев, например, за Б. Челлини.

Или так: извозчик № 2579. И седок забыл портфель с важными бумагами из Сахаротреста. И честный извозчик доставил портфель в Сахаротрест, и сахарная промышленность поднялась, а сознательного извозчика наградили.

«Мы этого извозчика помним,— сказали, остервенясь, воспаленные мозги,— еще по приложениям в марксовской «Ниве». Раз пять мы его там встречали, набранного то петитом, то корпусом, только седок служил тогда не в Сахаротресте, а в Министерстве внутренних дел». Умолкни! Вот и редакция. Посмотрим, что ты будешь говорить. Где рассказик?..»

По шаткой лестнице я вошел в редакцию с развязным видом и громко напевая:

И за Сеню я!
За кирпичики,
Полюбила кирпичный завод.

В редакции, зеленея от жары в тесной комнате, сидел заведующий редакцией, сам редактор, секретарь и еще двое праздношатающихся. В деревянном окне, как в зоологическом саду, торчал птичий нос кассира.

— Кирпичики кирпичиками,— сказал заведующий,— а вот где обещанный рассказ?

— Представьте, какой гротеск,— сказал я, улыбаясь весело,— у меня сейчас часы украли на улице.

Все промолчали.

— Вы мне обещали сегодня дать денег,— сказал я и вдруг в зеркале увидал, что я похож на пса под трамваем.

— Нету денег,— сухо ответил заведующий, и по лицам я увидал, что деньги есть.

— У меня есть план рассказа. Вот чудак вы,— заговорил я тенором,— я в понедельник его принесу к половине второго.

— Какой план рассказа?

— Хм... В одном доме жил священник...

Все заинтересовались. Праздношатающиеся подняли головы.

— Ну?

— И умер.

— Юмористический? — спросил редактор, сдвигая брови.

— Юмористический,— ответил я, утопая.

— У нас уже есть юмористика. На три номера. Сидоров написал,— сказал редактор.— Дайте что-нибудь авантюрное.

— Есть,— ответил я быстро,— есть, есть, как же!

— Расскажите план,— сказал, смягчаясь, заведующий.

¹ Не так ли? (фр.)

— Кхе... Один нэпман поехал в Крым...

— Дальше-с!

Я нажал на больные мозги так, что из них закапал сок, и вымолвил:

— Ну и у него украли бандиты чемодан.

— На сколько строк это?

— Строк на триста. А впрочем, можно и... меньше. Или больше.

— Напишите расписку на 20 рублей, Бенвенутто,— сказал заведующий,— но только принесите рассказ, я вас серьезно прошу.

Я сел писать расписку с наслаждением. Но мозги никакого участия ни в чем не принимали. Теперь они были маленькие, съежившиеся, покрытые вместо извилин черными запекшимися щелями. Умерли.

Кассир было запротестовал. Я слышал его резкий скворешный голос:

— Не дам я вашему Чинизелли ничего. Он и так перебрал уже 60 целковых.

— Дайте, дайте,— приказал заведующий.

И кассир с ненавистью выдал мне один хрустящий и блестящий червонец, а другой темный, с трещиной посередине.

Через 10 минут я сидел под пальмами в тени Филлипова, укрывшись от взоров света. Передо мною поставили толстую кружку пива. «Сделаем опыт,— говорил я кружке,— если они не оживут после пива,— значит, конец. Они померли — мои мозги, вследствие писания рассказов, и больше не проснутся. Если так, я проем 20 рублей и умру. Посмотрим, как они с меня, покойничка, получают обратно аванс».

Эта мысль меня насмешила, я сделал глоток. Потом другой. При третьем глотке живая сила вдруг закопошилась в висках, жилы набухли, и съежившиеся желтки расправились в костяном ящике.

— Живы? — спросил я.

«Живы»,— ответили они шепотом.

— Ну, теперь сочиняйте рассказ!

В это время подошел ко мне хромой с перочинными ножиками. Я купил один за полтора рубля. Потом пришел глухонемой и продал мне две открытки в желтом конверте с надписью: «Граждане, помогите глухонемому».

На одной открытке стояла елка в ватном снегу, а на другой был заяц с аэропланными ушами, посыпанный бисером. Я любовался зайцем, в жилах моих бежала пенистая пивная кровь. В окнах сияла жара, плавились асфальт. Глухонемой стоял у подъезда кафе и раздраженно говорил хромому:

— Катись отсюда колбасой со своими ножиками. Какое ты имеешь право в моем Филиппове торговать? Уходи в «Эльдорадо»!

— Предположим так,— начал я, пламенея,— улица гремела, со свистом соловьиным прошла мотоциклетка. Желтый перепле-

тенный гроб с зеркальными стеклами (автобус)!..

— «Здорово пошло дело, — заметили выздоровевшие мозги, — спрашивай еще пиво чини карандаш, сыпь дальше.. Вдохненье, вдохновенье»

Через несколько мгновений вдохновение хлынуло с эстрады под военный марш Шуберта-Таузига, под хлопанье тарелок под звон серебра.

Я писал рассказ в «Иллюстрацию», мозги пели под военный марш:

Что, сеньор мой,
Вдохновенье мне дано?
Как ваше мнение?!

Жара! Жара!

1926 г.

ЗОЛОТЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ФЕРАПОНТА ФЕРАПОНTOVИЧА КАПОРЦЕВА

В корреспонденциях Ферапонта Ферапонтовича Капорцева (проживает в провинции) исправлена мною только неуместная орфография. Одним словом — корреспонденция подлинныe.

Корреспонденция первая

Несгораемый американский дом

В общегосударственном масштабе известен жилищный кризис, докатившийся даже до нашего Благодатска. Не может быть свободно по той причине, что благодаря повышенной рождаемости, вызванной Нэпом, народонаселение растет с угрожающей быстротой, и вот наш известный кооператор Павел Федорович Петров (замените его буквами «Пе, Фе, Пе», а то будет скандал) решил выйти из положения кооперативным способом. Человек то он, правда, развитой, но только скорохват американской складки. Все дело началось с того, что его супруга сверх всяких ожиданий родила вместо одного младенца — двойню, чем и толкнула Петрова на кооперативные поступки.

С разрешения начальства он образовал жилищно-строительное кооперативное бюро в составе Н. Н. Л. (агроном от первого брака его отца) и В. А. С. (жених его сестры — заведующий хоровым кружком культкомиссии) со взносом каждый в 12 червонцев для постройки американского дома термолитова типа — изумительной новинки в нашем городе.

Вообразите изумление закоренелых благодатцев, когда на углу Новосвятской и Парижской Коммуны вырос буквально как гриб двухэтажный дом на три квартиры в рассрочку с удобствами

Очень похожие на заграничные дома на открытках Швейцарии с острой крышей. Более всего удивительно, что дом оказался несгораемый, что вызвало строительную горячку и подачу прошений в Исполком (теперь их все взяли обратно).

Дураки нашего города смеялись над Петровым, предлагая испробовать дом при помощи керосина, но тот отказался, и, как оказалось, совершенно напрасно, не ходил бы он теперь к лету в шубе, с календарем в руках!

Все строительное бюро перевезло своих детей и все манатки 5 апреля (дом этот такого цвета, как папиросный пепел), и Петров дошел до того, что даже поставил в нем телефон.

А на первый день праздника, 19-го, на пасху ночью наша бдительная пожарная команда была поставлена на ноги роковым сообщением по петровскому телефону:

— Пожар!!!

Наш брандмейстер Салов ответил по телефону:

— Вы будете оштрафованы за ложный вызов и пьяную пасхальную шутку. Этого не может быть.

Тут Петров с плачущим голосом отскочил от телефона и перестал действовать, потому что в нем перегорел уже провод.

Когда же вследствие зарева с каланчи наши молодцы-пожарные прибыли, то застали всю жилищно-американскую компанию стоящую в теплых шубах на улице, а дом сгорел, как факел, успев спасти кольца его жены, запасную шубу главного американца Петрова, кастрюлю и отрывной календарь с изображением всероссийского старосты. Теперь возникает судебное дело: «О пожаре несгораемого дома». По-моему, это глупое дело! Да оно ничем и не кончится, потому что Салов обнаружил, что было самовозгорание проводов на чердаке.

Вот так все у нас в провинции происходит по-удивительному. В Москве бы он, вероятно, не сгорел.

Корреспондент *Капорцев*.

Вторая корреспонденция

Лжедимитрий Луначарский

(Из провинции от Капорцева)

В нашем славном Благодатском учреждении имеется выдающийся секретарь. Мы так и смотрим на него, что он на отлёте.

Конечно, ему не в Благодатском сидеть, а в Москве или в крайнем случае в Ленинграде. Тем более, что он говорил, что у него есть связи.

Над собой повесил надпись: «Рукопожатия переносят заразу», «Если ты пришел к занятому человеку, не мешай ему», «Посторонние разговоры по телефону строго воспрещаются» и, кроме этого, выстроил решетку, как возле нашего памятника Карла Либкнехта и таким образом оторвался от массы начисто.

Кто рот ни раскроет сквозь решетку, он ему говорит одно только слово: «короче!» Короче. Короче. Каркает, как ворон на суку.

В один прекрасный день появляется возле решетки молодой человек. Одет очень хорошо, роглан-пальто. Рыженький. Усики. Галстук бабочкой. Взял стул, сидит. Секретарь всех откаркал от решетки и к нему:

— Вам что, товарищ? Короче!

А тот отвечает:

— Ничего, товарищ, я подожду. Вы заняты.

Голос у него великолепный, интеллигентный.

Тот брови нахмурил и говорит.

— Нет, вы говорите. Короче.

Тот отвечает.

— Я, видите ли, товарищ, к вам сюда назначен.

Тот брови поднял:

— Как ваша фамилия?

А тот:

— Луначарский.

Молодой человек так скромно кашлянул. Вежливый.

— Луначарский.

Так тот открыл загородку, вышел, говорит:

— Пожалуйста сюда (уже «короче» не говорит), — и спрашивает:

— Виноват (заметьте: «виноват»), вы не родственник Анатолию Васильевичу?

А тот:

— Это неважно. Я — его брат.

Хорошенькое «неважно»! Загородку к черту. Стул.

— Вы курите? Садитесь! Позвольте узнать, а на какую должность?

А тот:

— За заведующего.

Здорово.

А заведующего нашего как раз вызвали в Москву для объяснений по поводу паровой мельницы, и мы знаем, что другой будет.

Что тут было с секретарем и со всеми, трудно даже описать — такое восхищение. Оказывается, что у Дмитрия Васильевича украли все документы, пока он к нам ехал, и деньги в поезде под самым Красноземском, а оттуда он доехал до нашего Благодатска на телеге, которая мануфактуру везла. Главное, говорит, курьезно, что чемодан украли с бельем. Все собрались в восторге, что могут оказать помощь.

И вот список наших карьеристов:

1) Секретарь дал, смеясь, 8 червонцев.

2) Кассир — 3 червонца.

3) Заведующий столом личного состава — 2 червонца, мыло, полотенце, простыню и бритву (не вернул).

4) Бухгалтер — 42 рубля и три пачки папирос «Посольских».

5) Кроме того брату Луначарского выписали авансом 50 рублей в счет жалованья.

И отправились осматривать учреждения и принимать дела. Оказался необыкновенно воспитанный, принял заявления и на каждом написал: «Удовлетворить».

Секретарь стал, как бес, все время не ходил, а бегал, как пушинка. Предлагал тотчас же телеграмму в Москву насчет документов, но столичный гость придумал лучше: «Я, говорит, все равно отправлюсь сейчас же инспектировать уезд, доеду до самого Красноземска, а оттуда лично по прямому проводу все сделаю».

Все подивились страшной быстроте его энергии. Единственная у нас машина в Благодатске, как вам известно, и на ней Дмитрий Васильевич отбыл на прямой провод (при этом: одеяло дал секретарь, два фунта колбасы, белого хлеба и в виде сюрприза положил бутылку английской горькой).

До Красноземска три часа езды на машине. Ну, скажем, на прямом проводе один час, обратно — три часа. Вернулась машина в 11 часов вечера, шофер пьяный и говорит, что Дмитрий Васильевич остался ночевать у тамошнего председателя и распорядился прислать машину завтра, в 3 часа дня. Завтра послали машину. Приезжает и — нету Дмитрия Васильевича. В чем дело — никто не может понять. Секретарь сейчас сам — скок в машину и в Красноземск. Возвращается на следующее утро, туча-тучей и никому не смотрит в глаза. Мы ничего не можем понять. Бухгалтер что-то почуял насчет 42 целковых и спрашивает дрожащим голосом:

— А где же Дмитрий Васильевич? Не заболели ли?

А тот вдруг закусил губу и:

— Асс-тавьте меня в покое, товарищ Прокудин! — Дверью хлопнул и ушел.

Мы к шоферу. Тот ухмыляется. Оказывается, прямо колдовство какое-то. Никакого Дмитрия Васильевича в Красноземске у председателя не ночевало. На прямом проводе секретарь спрашивает, не разговаривал ли Луначарский — так прямо думали, что он с ума сошел. Секретарь даже на вокзал кидался, спрашивал, не видали ли молодого человека с одеялом. Говорят, видели с ускоренным поездом. Но только галстук не такой.

Мы прямо ужаснулись. Какое-то наваждение. Точно призрак побывал в нашем городе.

Как вдруг кассир спрашивает у шофера:

— Не зеленый галстук?

— Во-во.

Тут кассир вдруг говорит:

— Прямо признаюсь, я ему, осел, кроме трех червей еще шелковый галстук одолжил.

Тут мы ахнули и догадались, что самозванец.

На 222 рубля наказал подлиз наших. Не считая вещей и закусок. Вот тебе и «короче».

Ваш корреспондент *Капорцев*

Ванькин дурак

Чуден Днепр при тихой погоде, но гораздо чуднее наш профессиональный знаменитый работник 20-го века Ванькин Исидор, каковой прилип к нашему рабклубу, как банный лист.

Ни одна ерунда в нашей жизни не проходит без того, чтобы Ванькин в ней не был.

Мы, грешным делом, надеялись, что его в центр уберут, но, конечно, Ванькина в центре невозможно держать.

И вот произошло событие. В один прекрасный день родили одновременно две работницы на нашем заводе Марья и Дарья и обе — девочек, только у Марьи рыженькая, а у Дарьи обыкновенная. Прекрасно. Наш завком очень энергичный, и поэтому решили прооктябрьить, как ту, так и другую.

Ну, ясно и понятно: без Ванькина ничто не может обойтись. Сейчас же он явился и счастливым матерям предложил имена для их крошек: Баррикада и Бебелина. Так что первая выходила Баррикада Анемподистовна, а вторая просто Бебелина Иванна, от чего обе матери отказались с плачем и даже хотели обратно забрать свои плоды.

Тогда Ванькин обменял на два других имени: Мессалина и Пестелина, и только председатель завкома его осадил, объяснив, что Мессалина такого имени нет, а это картина в кинематографе.

Загнали наконец Ванькина в пузырек. Стих Ванькин, и соединенными усилиями дали мы два красивых имени: Роза и Клара.

— Как конфетка будут октябрины, — говорил наш председатель, потирая мозолистые руки, — лишь бы Ванькин ничего не изгадил.

В клубе, имени тов. Луначарского, народу набилось видимо-невидимо, все огни горят, лозунги сияют. И счастливые матери сидели на сцене с младенцами в конвертах, радостно их укачивая.

Оъявили имена, и председатель предложил слово желающему, и, конечно, выступил наш красавец Ванькин. И говорит:

— Ввиду того и принимая во внимание, дорогие товарищи, что имена мы нашим трудовым младенцам дали Роза и Клара, предлагаю почтить память наших дорогих борцов похоронным маршем. Музыка, играй!

И наш капельмейстер, заведующий музыкальной секцией, звучно заиграл: «Вы жертвою пали». Все встали в страшном смятении, и в это время вдруг окрестность огласилась рыданием матери № 2 Дарьи вследствие того, что ее младенец Розочка на руках у нее скончалась.

Была картина, я вам доложу! Первая мать, только сказав Ванькину:

— Спасибо тебе, сволочь, — брызнула вместе с конвертом к попу, и тот не Кларой, а просто Марьей окрестил ребеночка в честь матери.

Весь отставший старушечий элемент Ванькину учинил такие октябрины, что тот еле ноги унес через задний ход клуба.

И тщетно наша выдающая женщина-врач Оль-Мих. Динамит объяснила собранию, что девочка умерла от непреодолимой кишечной болезни ее нежного возраста и была уже с 39 градусами и померла бы, как ее ни называй, никто ничего не слушал. И все ушли, уверенные, что Ванькин девчонку похоронным маршем задавил наповал.

Вот-с, бывают такие штуки в нашей милой отдаленности...

С почтением *Капорцев.*

Четвертая корреспонденция

Брандмейстер Пожаров

Покорнейше вас прошу, товарищ литератор, нашего брандмейстера пожаров (фамилия с малой буквы.— М. Б.) описать по-красивее, с рисунком.

Был у нас на станции Н. Балтийской советской брандмейстер гражданин Пожаров. Вот это был пожаров, так знаменитый пожаров, чистой воды Геркулес, наш брандмейстер храбрый.

Первым долгом налетел брандмейстер на временные железные печи во всех абсолютно помещениях и все их разобрал в пух и прах, так что наши железнодорожники, товарищи-граждане, братья-сестрицы вымерзли, как клопы.

Налетал Пожаров в каске, как рыцарь среднего века, на наш клуб и хотел его стереть с лица земли, кричал, что клуб антипожарный. Шел в бой на Пожарова наш местком и заступался и вел с разрушителем нашего быта бой семь заседаний, не хуже Перекопа. Насчет клуба загнали месткомские Пожарова в пузырек, а на библиотечном фронте насыпал Пожаров с факелами, совершенно изничтожил печную идею, почему покрывлся льдом товарищ Бухарин со своей азбукой и Львом Толстым и прекратилось население в библиотеке отныне и вовеки. Аминь. Аминь. Просвещайся, где хочешь!

И еще не очень-то доказал гражданин брандмейстер свою преданность Октябрю! Когда годовщина произошла, то он, что делает ей подарок, возвестил на пожарном дворе с трубными звуками. И пожарную машину всю до винтика разобрал. А теперь ее собрать некому, и ввиду пожара мы все просто погорим без всякого разговора. Вот так имеет годовщина подарочек!

Лучше всего припаял брандмейстер нашу кассу взаимопомощи. Червонец взял и уехал, а по какому курсу — неизвестно! Говорили, видели будто бы, что Пожаров держал курс на станц. Х. подмосковную. Поздравляем вас, братцы подмосковники, будете вы иметь!

Было жизни пожарной у нас ровно два месяца, и настала полная тишина с морозом на северном полюсе. Да будет ему

земля пухом, но червонец пусть все-таки вернет псд замок нашей нескороаемой кассы взаимопомощи.

Фамилию мою Капорцев не ставьте, а прямо напечатайте подпись «Магнит», поязвительнее сделайте его.

Примечание

Милый Магнит, язвительнее, чем Вы сами сделали вашего брандмейстера, я сделать не умею

1924—1925 г

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

Дневник больного

5-го июля. Кашлять я начал. Кашляю и кашляю. Всю ночь напролет Мне бы спать надо, а я кашляю.

7-го июля. Записался на прием.

10-го июля. Стукал молоточком и сказал «Гм!» Что это значит — это «гм»?

11-го июля. Сделали рентгеновский снимок с меня. Очень красиво. Весь темный, а ребра белые.

20-го июля. Поздравляю вас, дорогие товарищи, у меня туберкулез. Прощай, белый свет!

30-го июля. Послали меня в санаторий «Здоровый дух» на курорт. Получил на 2000 верст подъемные и бесплатный билет жесткого класса с тюфяком.

1-го августа... и с клопами. Еду, очень красивые виды. Клопы величиной с тараканов.

3-го августа. Приехал в Сибирь. Очень красивая. На лошадях ехал в сторону немного — 293 версты. Кумыс.

6-го августа. Вот тебе и кумыс! Они говорят, что это ошибка. Никакого туберкулеза у вас нет. Опять снимок делали. Видел свою почку. Страшно противная.

8-го августа. И потому я сейчас записываю в Ростове-на-Дону. Очень красивый город. Еду в здравницу «Солнечный дар» в Кисловодск.

12-го августа. Кисловодск. И ничего подобного. Почка тут ни при чем. Говорят: какой черт вас заслал сюда?!

15-го августа. Я пишу на пароходе, якобы с наследственным сифилисом, и еду в Крым (в скрытой форме). Меня рвет, вследствие качки. Будь оно проклято, такое лечение!

22-го августа. Ялта, превосходный город, если б только не медицина! Загадочная наука. Здесь у меня глисты нашли и аппендицит в скрытой форме. Я еду в Липецк Тамбовской губернии. Прощай, водная стихия Черного моря!.

25-го августа. В Липецке все удивляются. Доктор очень симпатичный. Насчет глистов сказал так:

— Сами они глисты!

Подвел меня к окошку, посмотрел в глаза и заявил:

— У вас порок сердца.

Я уж так привык, что я весь гнилой, что даже и не испугался. Прямо спрашиваю: куда ехать?

Оказывается, в Боржом.

Здравствуй, Кавказ!

1-го сентября. В Боржоме даже не позволили вещи распаковать. Мы, говорят, ревматиков не принимаем.

Вот уж я и ревматиком стал! Недолго, недолго мне жить на белом свете! Уезжаю опять в Сибирь на...

10-го сентября... Славное море, священный Байкал! Виды тут прелестные, только уж холод собачий. И сибирский доктор сказал, что это глупо — разъезжать по курортам, когда скоро снег пойдет. Вам, говорит, надо сейчас ехать погреться. Я, говорит, вас в Крым махану... Говорю, что я уже был. Мерси. А он говорит, где вы были? Я говорю: в Ялте. Он говорит: я, — говорит, — вас пошлю в Алупку. Ладно, в Алупку — так в Алупку. Мне все равно, хоть к черту на рога. Купил шубу и поехал.

25-го сентября. В Алупке все заперто. Говорят: поезжайте вы домой, а то, говорят, мечетесь вы по всей Республике, как беспризорный. Плюнул на все и поехал к себе домой.

1-го октября. И вот я дома. Пока я ездил, жена мне изменила. Пошел я к доктору. А он говорит: вы, — говорит, — человек совсем здоровый, как стеклышко. А как же так, спрашиваю, меня гоняли? А он отвечает: просто ошибка! Ну, ошибка и ошибка. Завтра иду на службу.

Больной № 555. Михаил.

1925 г.

ПАРШИВЫЙ ТИП

Если верить статистике, сочиненной недавно неким гражданином (я сам ее читал) и гласящей, что на каждую тысячу людей приходится 2 гения и два идиота, нужно признать, что слесарь Пузырев был несомненно одним из двух гениев. Явился этот гений Пузырев домой и сказал своей жене:

— Итак, Марья, жизненные мои ресурсы в общем и целом иссякли.

Все-то ты пропиваешь, негодяй, — ответила ему Марья. — Что ж мы с тобой будем жрать теперь?

— Не беспокойся, дорогая жена, — торжественно ответил Пузырев, — мы будем с тобой жрать!

С этими словами Пузырев укусил свою нижнюю губу верхними зубами так, что из нее полилась ручьем кровь. Затем гениаль-

ный кровопийца эту кровь стал слизывать и глотать, пока не насосался ею, как клещ.

Затем слесарь накрылся шапкой, губу зализал и направился в больницу на прием к доктору Порошкову

* * *

Что с вами, голубчик? — спросил у Пузырева Порошков.

По...мираю, гражданин доктор, — ответил Пузырев и ухватился за косяк.

— Да что вы? — удивился доктор. — Вид у вас превосходный.

— Пре...вос...ходный? Суди вас бог за такие слова, — ответил угасающим голосом Пузырев и стал клониться набок, как стебелек.

— Что ж вы чувствуете?

— Ут... ром... седни... кровью рвать стало... Ну, думаю, прощай... Пу...зырев... До приятного свидания на том свете... Будешь ты в раю, Пузырев... Прощай, говорю, Марья, жена моя... Не поминай лихом Пузырева!

— Кровью? — недоверчиво спросил врач и ухватился за живот Пузырева. — Кровью? Гм.. Кровью, вы говорите? Тут болит?

— О! — ответил Пузырев и завел глаза. — Завещание-то.. успею написать?

— Товарищ Фенацетинов, — крикнул Порошков лектому, — давайте желудочный зонд, исследование сока будем делать.

* * *

— Что за дьявольщина! — бормотал недоумевающий Порошков, глядя в сосуд. — Кровь! Ей-богу, кровь. Первый раз вижу. При таком прекрасном внешнем состоянии...

— Прощай, белый свет, — говорил Пузырев, лежа на диване, — не стоять мне более у станка, не участвовать мне в заседаниях, не выносить мне более резолюций...

— Не унывайте, голубчик, — утешал его сердобольный Порошков.

— Что же это за болезнь такая, ядовитая? — спросил угасающий Пузырев.

— Да круглая язва желудка у вас. Но это ничего, можно поправиться, — во-первых, будете лежать в постели, во-вторых, я вам порошки дам.

— Стоит ли, доктор, — молвил Пузырев, — не тратьте ваших уважаемых лекарств на умирающего слесаря, они пригодятся живым... Плюньте на Пузырева, он уже наполовину в гробу...

«Вот убивается парень!» — подумал жалостливый Порошков и накапал Пузыреву валерианки.

* * *

На круглой язве желудка Пузырев заработал 18 р. 79 к., освобождение от занятий и порошки. Порошки Пузырев выбросил в клозет, а 18 р. 79 к. использовал таким образом: 79 копеек дал Марье на хозяйство, а 18 рублей пропил...

* * *

— Денег нету опять, дорогая Марья,— говорил Пузырев,— накапай-ка ты мне зубровки в глаза.

В тот же день на приеме у доктора Каплина появился Пузырев с завязанными глазами. Двое санитаров вели его под руки, как архиерея. Пузырев рыдал и говорил:

— Прощай, прощай, белый свет! Пропали мои глазыньки от занятий у станка...

— Черт вас знает! — говорил доктор Каплин. — Я такого злого воспаления в жизнь свою не видал. Отчего это у вас?

— Это у меня, вероятно, наследственное, дорогой доктор,— заметил рыдающий Пузырев.

* * *

На воспалении глаз Пузырев сделал чистых 22 рубля и очки в черепаховой оправе.

Черепаховую оправу Пузырев продал на толкучке, а 22 рубля распределил таким образом: 2 рубля дал Марье, потом полтора рубля взял обратно, сказавши, что отдаст их вечером, и эти полтора и остальные двадцать пропил.

* * *

Неизвестно где гениальный Пузырев спер пять порошков кофеину и все эти пять порошков слопал сразу, отчего сердце у него стало прыгать, как лягушка. На носилках Пузырева привезли в амбулаторию к докторше Микстуриной, и докторша ахнула.

— У вас такой порок сердца,— говорила Микстурина, только что кончившая университет,— что вас бы в Москву в клинику следовало свезти, там бы вас студенты на части разорвали. Прямо даже обидно, что такой порок даром пропадает!

* * *

Порочный Пузырев получил 48 р. и ездил на две недели в Кисловодск. 48 рублей он распределил таким образом: 8 рублей дал Марье, а остальные сорок истратил на знакомство с какой-то неизвестной блондинкой, которая попалась ему в поезде возле Минеральных Вод.

— Чем мне теперь заболеть, уж я и ума не приложу,— го-

ворит сам себе Пузырев,— не иначе, как придется мне захворать громаднейшим нарывом на ноге.

Нарывом Пузырев заболел за 30 копеек. Он пошел и купил на эти 30 копеек скипидар в аптеке. Затем у знакомого бухгалтерера он взял напрокат шприц, которым впрыскивают мышьяк, и при помощи этого шприца впрыснул себе скипидар в ногу. Получилась такая штука, что Пузырев даже сам взвыл.

— Ну, теперича мы на этом нарыве рублей 50 возьмем у этих оболтусов докторов,— думал Пузырев, ковыляя в больницу.

Но произошло несчастье.

В больнице сидела комиссия, и во главе нее сидел какой-то мрачный и несимпатичный, в золотых очках.

— Гм,— сказал несимпатичный и просверлил Пузырева взглядом сквозь золотые обручи,— нарыв, говоришь? Так... Снимай штаны!

Пузырев снял штаны и не успел оглянуться, как ему вскрыли нарыв.

— Гм! — сказал несимпатичный.— Так это скипидар у тебя, стало быть, в нарыве? Как же он туда попал, объясни мне, любезный слесарь?..

— Не могу знать,— ответил Пузырев, чувствуя, что под ним разверзается бездна.

— А я могу! — сказали несимпатичные золотые очки.

— Не погубите, гражданин доктор,— сказал Пузырев и зарыдал неподдельными слезами без всякого воспаления.

* * *

Но его все-таки погубили.

И так ему и надо.

1925 г.

«ВОДА ЖИЗНИ»

Станция Сухая Канава дремала в сугробах. В депо вяло пересвистывались паровозы. В железнодорожном поселке тек мутный и спокойный зимний денек.

Все, что здесь доступно оку (как говорится),
Спит, покой ценя...

В это-то время к железнодорожной лавке и подполз, как тать, плюгавый воз, таинственно закутанный в брезент. На брезенте сидела личность в тулупе, и означенная личность, подъехав к лавке, загадочно подмигнула. Двух скучных людей, торчащих у дверей, вдруг ударило припадком. Первый нырнул

в карман, и звон серебра огласил окрестности. Второй заплясал на месте и захрипел:

— Ванька, не будь сволочью, дай рупь шестьдесят две!..

— Отпрыгни от меня моментально! — ответил Ванька, с треском отпер дверь лавки и пропал в ней.

Личность, доставившая воз, сладострастно засмеялась и молвила:

— Соскучились, ребятишки?

Из лавки выскочил некий в грязном фартуке и завыл:

— Что ты, черт тебя возьми, по главной улице приперся? Огородами не мог объехать?

— Агородами... Там сугробы, — начала личность огрызаться и не кончила. Мимо нее проскочил гражданин без шапки и с пустыми бутылками в руке.

С победоносным криком: «номер первый — ура!!!!» он влип в дверях во второго гражданина в фартуке, каковой гражданин ему отвесил:

— Чтоб ты сдох! Ну, куда тебя несет? Вторым номером встанешь! Успеешь! Фаддей — первый, он дежурил два дня.

Номер третий летел в это время по дороге к лавке и, бухая кулаками во все окошки, кричал:

— Братцы, очищенное привезли!..

Калитки захлопали.

Четвертый номер вынырнул из ворот и брызнул к лавке, на ходу застегивая подтяжки. Пятым номером вдавился в лавку мастер Лукьян, опередив на полкорпуса местного дьякона (шестой номер). Седьмым пришла в красивом финише жена Сидорова, восьмым сам Сидоров, девятым — пелагеи племянник, бросивший на пять сажений десятого — помощника начальника станции Колочука, показавшего 32 версты в час, одиннадцатым — неизвестный в старой красноармейской шапке, а двенадцатого личность в фартуке высадила за дверь, рывкнув:

— Организуй на улице!

* * *

Поселок оказался и люден и оживлен. Вокруг лавки было черным-черно. Растерянная старушонка с бутылкой из-под постного масла бросалась с фланга на организованиую очередь вторыми атаками.

— Анафемы! Мне ваша водка не нужна, мяса к обеду дайте взять! — кричала она, как кавалерийская труба.

— Какое тут мясо! — отвечала очередь. — Вон старушку с мясом!

— Плюнь, Пахомовна, — говорил женский голос из оврага, — теперь ничего не сделаешь! Теперича пока водку не разберут...

— Глаз, глаз выдушите, куда ж ты прешь!

— В очередь!

— Выкиньте этого в шапке, он сбоку залез!

— Сам ты мерзавец!

- Товарищи, будьте сознательны!
- Ох, не хватит...
- Попрошу не толкаться, я — начальник станции!
- Насчет водки — я сам начальник!
- Алкоголик ты, а не начальник!

* * *

Дверь ежесекундно открывалась, из нее выжимался некий с счастливым лицом и с двумя бутылками, а второго снаружи вжимало с бутылками пустыми. Трое в фартуках, вытирая пот, таскали из ящиков с гнездами бутылки с сургучными головками, принимали деньги.

- Две бутылочки.
- Три двадцать четыре! — вопил фартук. — Что кроме?
- Сельдей четыре штуки...
- Сельдей нету!
- Колбасы полтора фунта...
- Вася, колбаса осталась?
- Вышла!
- Колбасы уже нет, вышла!
- Так что ж есть?
- Сыр русско-швейцарский, сыр голландский...
- Давай русско-голландский полфунта...
- Тридцать две копейки? Три пятьдесят шесть! Сдачи сорок четыре копейки! Следующий!
- Две бутылочки...
- Какую закусочку?
- Какую хочешь. Истомилась моя душенька...
- Ничего, кроме зубного порошка, не имеется.
- Давай зубного порошка две коробки!
- Не желаю я вашего ситца!
- Без закуски не выдаем.
- Ты что ж, очумел, какая же ситец закуска?
- Как желаете...
- Чтоб ты на том свете ситцем закусывал!
- Попрошу не ругаться!
- Я не ругаюсь, я только к тому, что свиньи вы! Нельзя же, нельзя же в самом деле народ ситцем кормить!
- Товарищ, не задерживайте!

Двести пятнадцатый номер получил две бутылки и фунт сиинки, двести шестнадцатый — две бутылки и флакон одеколона, двести семнадцатый — две бутылки и пять фунтов черного хлеба, двести восемнадцатый — две бутылки и два куса туалетного мыла «Аромат девы», двести девятнадцатый — две и фунт стеариновых свечей, двести двадцатый — две и носки, да двести двадцать первый — получил шиш.

- Фартуки вдруг радостно охнули и закричали:
- Вся!

После этого на окне высочила надпись «Очищенного вина нет» и толпа на улице ответила тихим стоном.

* * *

Вечером тихо лежали сугробы, а на станции мигал фонарь. Светились окна домишек, и шла по разъезженной улице какая-то фигура и тихо пела, покачиваясь:

Все, что здесь доступно оку,
Спи, покой цена.

1925 г.

САМОЦВЕТНЫЙ БЫТ

Средство от застенчивости

Лично я получил такую заметку, направленную из глухой провинции в редакцию столичной газеты:

Товарищ редактор,

Пропустите, пожалуйста, мою статью или, проще выразиться, заметку с пригвождением к черной доске нашего мастера Якова (отчество и фамилия) Означенный Яков (отчество и фамилия) омрачил наш Международный праздник работники 8 марта, появившись на эстраде в качестве содокладчика, как зюзя пьяный. По своему состоянию он, не читая содоклада, а держась руками за лозунги и оборвав два из них, лишь улыбался бесчисленной аудитории наших работников, которая дружно, как один, заполнила клуб.

Когда заведующий культотделом спросил у Якова о причине его такого позорного выступления, он ответил, что выпил перед содокладом от страха, ввиду того, что он с женским полом застенчив. Позор Якову (отчество и фамилия). Таких застенчивых в нашем профессиональном союзе не нужно.

Сколько Брокгауза может вынести организм?

В провинциальном городишке лентяй-библиотекарь с лентяями из местного культотдела плюнули на работу, перестав заботиться о сколько-нибудь осмысленном снабжении рабочих книгами.

Один молодой рабочий, упорный человек, мечтающий об университете, отправлял библиотекаря существование, спрашивая у него советов о том, что ему читать. Библиотечная крыса, чтобы отвязаться, заявила, что сведения «обо всем решительно» имеются в словаре Брокгауза.

Тогда рабочий начал читать Брокгауза. С первой буквы А.

Изумительно было то, что он дошел до пятой книги (Банки — Бергер).

Правда, уже со второго тома слесарь стал плохо есть, как-то осунулся и сделался рассеянным. Он со вздохом, меняя прочитанную книгу на новую, спрашивал у культотдельской гримзы, засевшей в пыльных книжных баррикадах, «много ли осталось»? В пятой книге с ним стали происходить странные вещи. Так, среди бела дня он увидал на улице, у входа в мастерские, Бана-Абуль-Абас-Ахмет-Ибн-Магомет-Отман-Ибн-Аль, знаменитого арабского математика в белой чалме.

Слесарь был молчалив в день появления араба, написавшего «Тальме-Амаль-Аль-Хисоп», догадался, что нужно сделать антракт и до вечера не читал. Это, однако, не спасло его от 2-х визитов в молчании бессонной ночи — сперва развязного синдика вольного ганзейского города Эдуарда Банкаса, а затем правителя канцелярии малороссийского губернатора Димитрия Николаевича Бантыш-Каменского.

День болела голова. Не читал. Но через день двинулся дальше. И все-таки прошел через Банювангис, Баньюмас, Баньер-де-Бигир и через два Баньякавало — человека и город.

Крах произошел на самом простом слове «Барановские». Их было 9: Владимир, Войцех, Игнатий, Степан, 2 Яна, а затем Мечислав, Болеслав и Богуслав.

Что-то сломалось в голове у несчастной жертвы библиоте-каря:

— Читаю, читаю, — рассказывал слесарь корреспонденту, — слова легкие: Мечислав, Богуслав и хоть убей — не помню — какой кто. Закрою книгу — все вылетело! Помню одно: Мадриан. Какой, думаю, Мадриан? Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть два Бранецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан.

У него на глазах были слезы.

Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив пытку. Посоветовал забыть все, что прочитал, и написал о библиоте-каре фельетон, в котором, не выходя из пределов той же пятой книги, обругал его Безголовым моллюском и Барсучьей шкурой.

1923 г.

ПЛОЩАДЬ НА КОЛЕСАХ

Дневник гениального гражданина Полосухина

21 ноября.

Ну, и город Москва, я вам доложу. Квартир нету. Нету, горе мое! Жене дал телеграмму — пушай пока повременит, не выез-жает. У Карабуева три ночи ночевал в ванне. Удобно, только капает. И две ночи у Шувеского на газовой плите. Говорили в Елабуге у нас — удобная штука, какой черт! — винтики какие-то впиваются, и кухарка недовольна.

23 ноября.

Сил никаких моих нету. Наменял на штрафы мелочи и поехал на А, шесть кругов проездил — кондукторша пристала: «Куды вы, гражданин, едете?» — «К чертовой матери, говорю, еду». В сам деле, куды еду? Никуды. В половину первого в парк поехали. В парке и ночевал. Холодина.

24 ноября.

Бутерброды с собой взял, поехал. В трамвае тепло — надышали. Закусывал с кондукторами на Арбате. Сочувствовали.

27 ноября.

Пристал, как банный лист — почему с примусом в трамвае? Параграфа, говорю, такого нету. Чтобы не петь, есть параграф, и я не пою. Напоил его чаем — отцепился.

2 декабря.

Пятеро нас ночует. Симпатичные. Одежда расстелили — как в первом классе.

7 декабря.

Пурцман с семейством устроился... Завесили одну половину — дамское — некурящее. Рамы все замазали. Электричество — не платить. Утром так и сделали: как кондукторша пришла — купили у нее всю книжку. Сперва ошалела от ужаса, потом ничего. И ездим. Кондукторша на остановках кричит: «Местов нету!» Контролер влез — ужаснулся. Говорю, извините, никакого правонарушения нету. Заплочено и ездим. Завтракал с нами у храма Спасителя, кофе пили на Арбате, а потом поехали к Страстному монастырю.

8 декабря.

Жена приехала с детишками. Пурцман отделился в 27-й номер. Мне говорит, это направление больше нравится. Он на широкую ногу устроился. Ковры постелил, картины известных художников. Мы попроще. Одну печку поставил вагоновожатому — симпатичный парнишка попался, как родной в семье. Петю учит править. Другую в вагоне, третью кондукторше — симпатичная — свой человек — на задней площадке. Плиту поставил. Ездим, дай бог каждому такую квартиру!

11 декабря.

Батюшки! Пример-то что значит. Приезжаем сегодня к Пушкину, выглянул я на площадку — умываться, смотрю — в 6-м номере с Тверской поворачивает Щуевский!.. Его, оказывается, уплотнили с квартирой, то он и кричит — наплевать. И переехал. Ему в 6-м номере удобно. Служба на Мясницкой.

12 декабря.

Что в Москве делается, уму непостижимо. На трамвайных остановках — вой стоит. Сегодня, как ехали к Чистым прудам, читал в газете про себя — называют — гениальный человек. Уборную устроили. Просто, а хорошо, в полу дыру провертели. Да и без уборной великолепно. Хочешь на Арбате, хочешь у Страстного.

20 декабря.

Елку будем устраивать. Тесновато нам стало. Целюсь пере-
ехать в 4-й номер двойной. Да, нету квартир. В американ-
ских газетах мой портрет помещен.

21 декабря.

Все к черту! Вот тебе и елка! Центральная жилищная комис-
сия явилась. Ахнули. А мы-то, говорит, всю Москву изрыли, ис-
кали жилищную площадь. А она тут...

Всех выпирают. Учреждения всаживают. Дали 3-дневный
срок. В моем вагоне участок милиции поместится. К Пурцману
школа I ступени имени Луначарского.

23 декабря.

Уезжаю обратно в Елабугу.

1924 г.

БУБНОВАЯ ИСТОРИЯ¹

I

Сон и госбанк

Мохрикову в номере гостиницы приснился сон — громадней-
ший бубновый туз на ножках и с лентами на груди, а на лентах
были написаны отвратительные лозунги: «Кончил дело, гуляй
смело!» и «Туберкулезные, не глотайте мокроту!».

Какая смешная пакость, тьфу! — молвил Мохриков и оч-
нулся. Бодро оделся, взял портфель и отправился в Госбанк. В
Госбанке Мохриков мыкался часа два и вышел из него, имея
в портфеле девять тысяч рублей.

Человек, получивший деньги, хотя бы и казенные, чувствует
себя совершенно особенным образом. Мохрикову показалось, что
он стал выше ростом на Кузнецком мосту.

- Не толкайтесь, гражданин, — сурово и вежливо сказал
Мохриков и даже хотел прибавить: у меня девять тысяч в портфе-
ле, но потом раздумал.

А на Кузнецком кипело, как в чайнике. Ежесекундно про-
летали мягкие машины, в витринах сверкало, переливалось,
лоснилось, и сам Мохриков отражался в них на ходу с портфе-
лем то прямо, то кверху ногами.

«Упоительный городишко Москва, — начал размышлять Мох-
риков, — прямо элегантный город!»

Сладостные и преступные мечтания вдруг пузырями закипе-
ли в мозгу Мохрикова.

«Вообразите себе, дорогие товарищи, вдруг... сгорает Госбанк!
Гм... Как сгорает? Очень просто. Разве он несгораемый? Приез-

¹ Печатается с сокращениями (Ред.).

жают команды пожарные, тушат. Только шиш с маслом, не потушишь, если как следует загорится! И вот вообразите: все сгорело к чертовой матери, бухгалтеры сгорели и ассигновки... и, стало быть, у меня в кармане... Ах, да! Ведь аккредитив-то из Ростова-на-Дону? Ах, шут тебя возьми! Ну, ладно, я приезжаю в Ростов-на-Дону, а наш красный директор взял да и помер от разрыва сердца, который аккредитив подписал! И кроме того, опять пожар, и сгорели все исходящие, выходящие, входящие — все к псам сгорело! Хи-хи! Ищи тогда концов! И вот в кармане у меня беспризорных девять тысяч. Хи-хи! Ах, если б знал наш красный директор, о чем мечтает Мохриков, но он не узнает никогда... Что бы я сделал прежде всего?..»

2

Она!

«...прежде всего...»

Она вынырнула с Петровки. Юбка до колен, клетчатая. Ножки — стройности совершенно неслыханной, в кремовых чулках и лакированных туфельках. На голове сидела шапочка, похожая на цветок-колокольчик. Глазки — понятное дело. А рот был малиновый и пылал, как пожар.

«Кончил дело, гуляй смело», — почему-то вспомнил Мохриков сон и подумал: «Дама что надо. Ах, какой город Москва! Прежде всего, если б сгорел красный директор... Фу, вот талия!..»

— Пардон! — сказал Мохриков.

— Я на улице не знакомлюсь, — сказала она и гордо сверкнула из-под колокольчика.

— Пардон? — молвил ошеломленный Мохриков. — Я ничего?!

— Странная манера, — говорила она, колыхая клетчатыми бедрами, — увидеть даму и сейчас же пристать. Вы, вероятно, провинциал?

— Ничего подобного, я из Ростова, сударыня, на Дону. Вы не подумайте, чтобы я был какая-нибудь сволочь. Я инкассатор.

— Красивая фамилия, — сказала она.

— Пардон, — отозвался Мохриков сладким голосом, — это должность моя такая: инкассатор из Ростова-на-Дону.

— А что значит «инкассатор»?

— Ответственная должность, мадам. Деньги получаю в банках по девять, по двенадцать тысяч и даже больше. Тяжело и трудно, но ничего. Облечен доверием...

— Скажите, пожалуйста! Деньги! Это интересно!

— Да-с, хи-хи! Что деньги? Деньги — тлен!

— А вы женаты?

— Нет. А вы такие молодые, мадам, и одинокие, как...

— Как что?

— Хи-хи, былинка.

— Ха-ха!

— Сухаревская-Садовая, № 201... Вы ужасно дерзкий ин-касатор!

— Ах, что вы! Мерси...

3

Преображение

— Побрейте меня,— сказал Мохриков, прижимая к сердцу девять тысяч, в зеркальном зале.

— Слшес... С волосами что прикажете?

— Того, этого, причешите.

— Ваня, прибор!

Через четверть часа Мохриков, пахнувший ландышем, стоял у прилавка и говорил:

— Покажите мне лакированные полуботинки.

Через полчаса на Петровке в магазине под золотой вывеской «Готовое платье» он говорил:

— А у вас где-нибудь, может быть, этакая какая-нибудь отдельная, где можно было бы брючки переодеть?

— Пожалуйста.

Когда Мохриков вышел на Петровку, публика оборачивалась и смотрела на его ноги. Извозчики с козел говорили:

— Пожа, пожа, пожа...

Мохриков отражался в витринах и думал: «Я похож на артиста императорских театров».

4

На рассвете

.....

Когда вся Москва была голубого цвета, и коты, которые днем пребывают неизвестно где, ночью ползали как змеи, из подворотни в подворотню, на Сухаревской-Садовой стоял Мохриков, прижимая портфель к груди и, покачиваясь, бормотал:

— М-да... Сельтерской воды или пива если я сейчас не выпью, я, дорогие товарищи, помру, и девять тысяч подберут дворники на улице... То есть не девять, позвольте... Нет, не девять... А вот что я вам скажу: ботинки — сорок пять рублей... Да, а где же еще девять червонцев? Да, брился я — рубль пятнадцать... Довольно это паскудно выходит... Впрочем, там аванс сейчас я возьму. А как он мне не даст? Вдруг я приезжаю, говорят, что от разрыва сердца помер, нового назначили. Комичная история тогда выйдет. Дорогой Мохриков, спросят, а где же 250 рублей? Потерял их, Мохриков, что ли? Нет, пусть уж он лучше не помирает, сукин кот... Извозчик, где сейчас пиво можно выпить в вашей Москве?

— Пожа, пожа, пожа... В казине...

О, карты!..

Человек в шоколадном костюме и ослепительном белье, с перстнем на пальце и татуированным якорем на кисти, с фокусной ловкостью длинной белой лопаткой разбрасывал по столу металлические круглые марки и деньги и говорил:

— Банко сюиви! Пардон, мсье. Игра продолжается!..

За круглыми столами спали трое, положивши головы на руки, подобно бездомным детям. В воздухе плыл сизый табачный дым. Звенели звоночки, и бегали с сумочками артельщики, меняли деньги на марки. В голове у Мохрикова после горшановского пива несколько светлело, подобно тому как светлело за окнами.

— Мосье, чего же вы стоите на ногах? — обратился к нему человек с якорем и перстнем, — есть место, прошу, занимайте. Банко сюиви!

— Мерси! — мутно сказал Мохриков и вдруг машинально плюхнулся в кресло...

Конец истории

Озабоченный и очень вежливый человек сидел за письменным столом в учреждении. Дверь открылась, и курьер впустил Мохрикова. Мохриков имел такой вид: на ногах у него были лакированные ботинки, в руках портфель, на голове пух, а под глазами зеленоватые гнилые тени, вследствие чего курносый нос Мохрикова был похож на нос покойника. Черные косяки мелькали перед глазами у Мохрикова и изредка прерывались черными полосами, похожими на змей; когда же он возвел глаза на потолок, ему показалось, что тот, как звездами, усеян бубновыми тузами.

— Я вас слушаю, — сказал человек за столом.

— Случилось чрезвычайно важное происшествие, — низким басом сказал Мохриков, — такое происшествие, прямо неопишемое.

Голос его дрогнул и вдруг превратился в тонкий фальцет.

— В трамвай сел, — сказал Мохриков, — вылезая и вот... ножиком взрезали!

— А что было в портфеле? — спросил человек равнодушно.

— Девять тысяч, — ответил Мохриков детским голосом.

— Ваши?

— Казенные, — беззвучно ответил Мохриков.

— В каком трамвае вырезали? — спросил человек, и в глазах у него появилось участливое любопытство.

— Э... э... в этом... как его... двадцать седьмом...

— Когда?

— Только что, вот сейчас. В банке получил, сел в трамвай...

и... прямо форменный ужас...

— Так. Фамилия ваша как?

— Мохриков. Инкассатор из Ростова-на-Дону.

— Сегодня банк заперт, — сказал человек, — воскресенье. Вы, наверное, перепутали, гражданин. Вчера вы деньги получили?

«Я погиб», — подумал Мохриков, и опять тузы замелькали у него в глазах, как ласточки, потом он хриплым голосом добавил:

— Да, это я вчера... которые эти д... деньги... получил.

— А где были вечером вчера? — спросил человек.

— Э... э... ну, натурально, в номере. В общежитии, где оставился...

— В казино не заезжали?

Мохриков бледно усмехнулся.

— Что вы? Что вы? Я даже это... не, не был, да...

— Да вы лучше скажите, — участливо сказал человек, — а то ведь каждый приходит и говорит — трамвай, трамвай, даже скучно стало. Дело ваше такое, что все равно лучше прямо говорить, а то, знаете, у вас пух на голове, например, и вообще. И в трамвае вы ни в каком не ездили...

— Был, — вдруг сказал Мохриков и всхлипнул.

— Ну, вот и гораздо проще, — оживился человек за столом. — И мне удобнее, и вам.

И, позвонивши, сказал в открывшуюся дверь:

— Товарищ Вахрамеев, вот гражданина нужно будет проводить...

И Мохрикова повел Вахрамеев.

1926 г.

ЕГИПЕТСКАЯ МУМИЯ

Рассказ Члена Профсоюза

Приехали мы в Ленинград, в командировку, с председателем нашего месткома.

Когда отбегались по всем делишкам, мне и говорит председатель:

— Знаешь что, Вася? Пойдем в Народный дом.

— А что, — спрашиваю, — я там забыл?

Чудак ты, — отвечает мне наш председатель месткома, — в Народном доме ты получишь здоровые развлечения и отдохнешь, согласно 98-й статье Кодекса Труда (председатель наизусть знает все статьи, так что его даже считают чудом природы).

Ладно. Мы пошли. Заплатили деньги, как полагается, и начали применять 98-ю статью. Первым делом, мы прибегли к колесу смерти. Обыкновенное громадное колесо и посередине палка. Причем колесо от неизвестной причины начинает вер-

теться с неимоверной скоростью, сбрасывая с себя ко всем чертям каждого члена союза, который на него сядет. Очень смешная штука, в зависимости от того, как вылетишь. Я выскочил чрезвычайно комично через какую-то барышню, разорвав штаны. А председатель оригинально вывихнул себе ногу и сломал одному гражданину палку красного дерева, со страшным криком ужаса. Причем он летел, и все падали на землю, так как наш председатель месткома человек с громадным весом. Одним словом, когда он упал, я думал, что придется выбирать нового председателя. Но председатель встал бодрый, как статуя свободы, и, наоборот, кашлял кровью тот гражданин с погибшей палкой.

Затем мы отправились в заколдованную комнату, в которой вращаются потолок и стены. Здесь из меня выскочили бутылки пива «Новая Бавария», выпитые с председателем в буфете. В жизни моей не рвало меня так, как в этой проклятой комнате, председатель же перенес.

Но когда мы вышли, я сказал ему:

— Друг, отказываюсь от твоей статьи. Будь они прокляты, эти развлечения № 98!

А он сказал:

— Раз мы уже пришли и заплатили, ты должен еще видеть знаменитую египетскую мумию.

И мы пришли в помещение. Появился в голубом свете молодой человек и заявил:

— Сейчас, граждане, вы увидите феномен неслыханного качества — подлинную египетскую мумию, привезенную 2500 лет назад. Эта мумия прорицает прошлое, настоящее и будущее, причем отвечает на вопросы и дает советы в трудных случаях жизни и, секретно, беременным.

Все ахнули от восторга и ужаса, и, действительно, вообразите, появилась мумия в виде женской головы, а кругом египетские письмена. Я замер от удивления при виде того, что мумия совершенно молодая, как не может быть человек, не только 2500 лет, но и даже в 100 лет.

Молодой человек вежливо пригласил:

— Задавайте вопросы. Попроще:

И тут председатель вышел и спросил:

— А на каком же языке задавать? Я египетского языка не знаю.

Молодой человек, не смущаясь, отвечает:

— Спрашивайте по-русски.

Председатель откашлялся и задал вопрос:

— А скажи, дорогая мумия, что ты делала до февральского переворота?

И тут мумия побледнела и сказала:

— Я училась на курсах.

— Так-с. А скажи, дорогая мумия, была ты под судом при советской власти и, если не была, то почему?

Мумия заморгала глазами и молчит.

Молодой человек кричит:

— Что же вы, гражданин, за 15 копеек мучаете мумию?

А председатель начал крыть беглым:

— А, милая мумия, твое отношение к воинской повинности?

Мумия заплакала. Говорит:

— Я была сестрой милосердия.

— А что б ты сделала, если б ты увидела коммунистов в церкви? А кто такой тов. Стучка? А где теперь живет Карл Маркс?

Молодой человек видит, что мумия засыпалась, сам кричит по поводу Маркса:

— Он умер!

А председатель рывкнул:

— Нет! Он живет в сердцах пролетариата.

И тут свет потух, и мумия с рыданиями исчезла в преисподней, а публика крикнула председателю:

— Ура! Спасибо за проверку фальшивой мумии.

И хотела его качать. Но председатель уклонился от почетного качанья, и мы выехали из Народного дома, причем за нами шла толпа пролетариев с криками.

1924 г

БЫЛ МАЙ

Был май. Прекрасный месяц май. Я шел по переулку, по тому самому, где помещается театр. Это был отличный, гладкий, любимый переулочек, по которому непрерывно проезжали машины. Проезжая, они хлопали металлической крышкой, вделанной в асфальт. «Может быть, это канализационная крышка, а может быть, крышка водопроводная», — размышлял я. Эти машины отчаянно кричали разными голосами, и каждый раз, как они кричали, сердце падало и подгибались ноги.

«Вот когда-нибудь крикнет так машина, а я возьму и умру», — думал я, тыча концом палки в тротуар и боясь смерти.

«Надо ускорить шаг, свернуть во двор, пройти во внутрь театра. Там уже не страшны машины, и весьма возможно, что я не умру».

Но свернуть во двор мне не удалось. Я увидел его. Он стоял, прислонившись к стене театра и заложив ногу за ногу. Ноги эти были обуты в кроваво-рыжие туфли на пухлой подошве, над туфлями были толстые шерстяные чулки, а над чулками — шоколадного цвета пузырями штаны до колен. На нем не было пиджака. Вместо пиджака на нем была странная куртка, сделанная из замши, из которой некогда делали мужские кошельки. На груди — металлическая дорожка с пряжкой, а на голове — женский берет с коротким хвостиком.

Это был молодой человек ослепительной красоты, с длин-

ными ресницами, бодрыми глазами. Перед ним стояли пять человек актеров, одна актриса и один режиссер. Они преграждали путь в ворота.

Я снял шляпу и низко поклонился молодому человеку. Он приветствовал меня странным образом. Именно: сцепил ладони обеих рук, поднял их кверху и как бы зазвонил в невидимый колокол. Он посмотрел на меня проницательно, лихо улыбаясь необыкновенной красоты глазами. Я смутился и уронил палку.

— Как поживаете? — спросил меня молодой человек.

Я поживал хорошо, мешали мне только машины своим адским криком, я что-то мямлил и криво надел шляпу.

Тут на меня обратилось всеобщее внимание.

— А вы как поживаете? — спросил я, причем мне показалось, что у меня распух язык.

— Хорошо! — ответил молодой человек.

— Он только что приехал из-за границы, — тихо сказал мне режиссер.

— Я читал вашу пьесу, — заговорил молодой человек сурово.

«Надо было мне другим ходом, через двор, в театр пойти», — подумал я тоскливо.

— Читал, — повторил молодой человек звучно.

— И как же вы нашли, Полиевкт Эдуардович? — спросил режиссер, не спуская глаз с молодого человека.

— Хорошо, — отрывисто сказал Полиевкт Эдуардович, — хорошо. Третий акт надо переделать. Вторую картину из третьего акта надо выбросить, а первую перенести в четвертый акт. Тогда уж будет совсем хорошо.

— Пойдите-ка домой, да и перенесите, — шепнул мне режиссер и беспокойно подмигнул.

— Ну-с, продолжаю, — заговорил Полиевкт Эдуардович. — И вот они врываются и арестовывают Ганса.

— Очень хорошо! Очень хорошо! — заметил режиссер. — Его надо арестовать, Ганса. Только не находите ли вы, что его лучше арестовать в предыдущей картине?

— Вздор! — ответил молодой человек. — Именно здесь его надо арестовать и нигде больше.

«Это заграничный рассказ, — подумал я. — Но только за что он так на Ганса озверел? Я хочу слушать заграничные рассказы, умру я или не умру».

Я потянулся к молодому человеку, стараясь не проронить ни слова. Душа моя раскисла, потом что-то дрогнуло в груди. Мне захотелось услышать про раскаленную Испанию. И чтоб сейчас заиграли на гитарах. Но ничего этого я не услышал. Молодой человек, терзая меня, продолжал рассказывать про несчастного Ганса. Мало того, что его арестовали, его еще и избили в участке. Но и этого мало — его посадили в тюрьму. Мало и этого — бедная старуха — мать этого Ганса была выгнана с квартиры и ночевала на бульваре под дождем.

«Господи, какие мрачные вещи он рассказывает! И где он, на горе мое, встретился с этим Гансом за границей? И пройти в ворота нельзя, пока он не кончит про Ганса, потому что это невежливо — на самом интересном месте...»

Чем дальше в лес, тем больше дров. Ганса приговорили к каторжным работам, а мать его простудилась на бульваре и умерла. Мне хотелось нарзану, сердце замирало и падало, машины хлопали и рывкали. Выяснилось, что на самом деле никакого Ганса не было, и молодой человек его не встречал, а просто он рассказывал третий акт своей пьесы. В четвертом акте мать перед смертью произнесла проклятие палачам, погубившим Ганса, и умерла. Мне показалось, что померкло солнце, я почувствовал себя несчастным.

Рядом оборванный человек играл на скрипке мазурку Венявского. Перед ним на тротуаре, в картузе, лежали медные пятаки. Несколько поодаль другой торговал жестяными мышами, и жестяные мыши на резинках проворно бежали по досточке.

— Вещь замечательная! — сказал режиссер. — Ждем, ждем, ждем с нетерпением!

Тут дешевая маленькая машина подкатила к воротам и остановилась.

— Ну, мне пора, — сказал молодой человек. — Товарищ Ермолай, к Герцену.

Необыкновенно мрачный Ермолай за стеклами задергал какими-то рычагами. Молодой человек покачал колокол, скрылся в каретке и беззвучно улетел. Немедленно перед его лицом вспыхнул зеленый глаз и пропустил каретку Ермолая. И молодой человек въехал прямо в солнце и исчез.

И я снял шляпу, и поклонился ему вслед, и купил жестяную мышь для мальчика, и спасся от машин, войдя во дворе в маленькую дверь, и там опять увидел режиссера, и он сказал мне:

— Ох, слушайте его. Вы слушайте его. Вы переделайте третью картину. Она — нехорошая картина. Большие недоразумения могут получиться из-за этой картины. Бог с ней, с третьей картиной!

И исчез май. И потом был июнь, июль. А потом наступила осень. И все дожди поливали этот переулочек, и, беспокоя сердце своим гулом, поворачивался круг на сцене, и ежедневно я умирал, и потом опять настал май.



ФЕЛЬЕТОНЫ, ОЧЕРКИ

.....

ТОРГОВЫЙ РЕНЕССАНС
РАБОЧИЙ ГОРОД-САД
МОСКВА КРАСНОКАМЕННАЯ
СТОЛИЦА В БЛОКНОТЕ
ЧАША ЖИЗНИ
В ШКОЛЕ ГОРОДКА
III ИНТЕРНАЦИОНАЛА
ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ КОММУНА
СОРОК СОРОКОВ
БЕНЕФИС ЛОРДА КЕРЗОНА
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ
КОМАРОВСКОЕ ДЕЛО
и другие...

ТОРГОВЫЙ РЕНЕССАНС

(Москва в начале 1922-го года)

Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема; настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика (НЭПо, по сокращению, уже получившему права гражданства у москвичей).

Началось это постепенно... понемногу... То тут, то там стали отваливаться деревянные щиты, и из-под них глянули на свет после долгого перерыва запыленные и тусклые магазинные витрины. В глубине запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их зашевелилась жизнь: стали приколачивать, прибивать, чинить, распаковывать ящики и коробки с товарами. Вымытые витрины засияли. Вспыхнули сильные круглые лампы над выставками или узкие ослепительные трубки по бокам окон.

Трудно понять, из каких таинственных недр обнищавшая Москва ухитрилась извлечь товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за зеркальные витрины и разложила на полках.

Зашевелились Кузнецкий, Петровка, Неглинный, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Арбат. Магазины стали расти как грибы, окропленные живым дождем НЭПо... Государственные, кооперативные, артельные, частные... За кондитерскими, которые первые повсюду загорелись огнями, пошли галантерейные, гастрономические, писчебумажные, шляпные, парикмахерские, книжные, технические и, наконец, огромные универсальные.

На оголенные стены цветной волной полезли вывески с каждым днем новые, с каждым днем все больших размеров. Кое-где они сделаны на скорую руку, иногда просто написаны на полотне, но рядом с ними появились постоянные, по новому правописанию, с яркими аршинными буквами. И прибиты они огромными, прочными костылями.

Надолго, значит.

И старые погнувшиеся и облупленные железные листы среди них как будто подтягиваются и оживают, и хилые твердые знаки так странно режут глаз.

Дальше больше, шире...

Не узнать Москвы. Москва торгует.

На Кузнецком целый день кипит на обледеневших тротуа-

рах толчея пешеходов, извозчики едут вереницей, и автомобили летят, хрипя сигналы.

За саженными цельными стеклами буйная гамма ярких красок: улыбаются раскрашенными лицами фигурки-игрушки артелей кустарей. Выше в б. магазине Шанкса из огромных витрин тучей глядят дамские шляпы, чулки, ботинки, меха. Это один из универсальных магазинов Моск. Потр. Общ. Оно открыло восемь таких магазинов по всей Москве.

На Петровке в сумеречные часы дня из окон на черные от народа тротуары льется непрерывный электрический свет. Блестят окна конфекснонов. Сотни флаконов с лучшими заграничными духами, граненых, молочно-белых, желтых, разных причудливых форм и фасонов. Волны материй, груды галстуков, кружев, ряды коробок с пудрой. А вон безжизненно-томно сияют раскрашенные лица манекенов, и на плечи их наброшены бесценные по нынешним временам палантины.

Ожили пассажи.

Громада Мюра и Мерилиза еще безмолвно и пусто чернеет своими громадными стеклами, но уже в нижнем этаже исчезли из витрины гигантские раскрашенные карикатуры на Нуланса и По, а из дверей выметают сор. И Москва знает уже, что в феврале здесь откроют универсальный магазин Мосторга с 25 отделениями, и прежние директора Мюра войдут в его правление.

Кондитерские на каждом шагу. И целые дни и до закрытия они полны народу. Полки завалены белым хлебом, калачами, французскими булками. Пирожные бесчисленными рядами устилают прилавки. Все это чудовищных цен. Но цены в Москве давно уже никого не пугают, и сказочные, астрономические цифры миллионов (этого слова уже давно нет в Москве, оно окончательно вытеснено словом «лимон») пропускают за день блестящие, неустанно шелкающие кассы.

В б. булочной Филиппова на Тверской, до потолка заваленной белым хлебом, тортами, пирожными, сухарями и баранками, стоят непрерывные хвосты.

Выставки гастрономических магазинов поражают своей роскошью. В них горы коробок с консервами, черная икра, семга, балык, копченая рыба, апельсины. И всегда у окон этих магазинов как зачарованные стоят прохожие и смотрят не отрываясь на деликатесы...

Все 34 гастрономических магазина М. П. О. и частные уже оповестили в объявлениях о том, что у них есть и русское и заграничное вино, и москвичи берут его нарасхват.

В конце ноября «Известия» в первый раз вышли с объявлениями, и теперь ими пестрят страницы всех газет и торговых бюллетеней. А самолеты авиационной группы «Воздушный флот» уже сделали первый опыт разброски объявлений над Москвой, и теперь открыт прием объявлений «С аэроплана». Строка такого объявления стоит 15 руб. на новые дензнаки.

Движение на улицах возрастает с каждым днем. Идут трамваи по маршрутам 3, 6, 7, 16, 17, «А» и «Б», и извозчики во все стороны везут москвичей и бойко торгуются с ними:

— Пожалуйте, господин! Рублик без лишнего (10,0 тыс.)! Со мной ездили!

У Метрополя, у Воскресенских ворот, у Страстного монастыря — всюду на перекрестках воздух звенит от гомона бесчисленных торговцев газетами, папиросами, тянучками, булками.

У Ильинских ворот стоят женщины с пирожками в две шеренги. А на Ильинке с серого здания с колоннами исчезла надпись «Горный совет» и повисла другая с огромными буквами «Биржа», и в нем идут биржевые собрания и проходят через маклеров миллиардные сделки.

До поздней ночи движется, покупает, продает, толчется в магазинах московский люд. Но и поздним вечером, когда стрелки на освещенных уличных часах неуклонно ползут к полночи, когда уже закрыты все магазины, все еще живет неугомонная Тверская.

И режут воздух крики мальчишек:

— Ира рассыпная! Ява! Мурсал!

Окна бесчисленных кафе освещены, и из них глухо слышится взвизгивание скрипок.

До поздней ночи шевелится, покупает и продает, ест и пьет за столиками народ, живущий в невиданном еще никогда торгово-красном Китай-городе.

Москва, 14/1 1922 г.

РАБОЧИЙ ГОРОД-САД

(Закладка 1-го в Республике рабочего поселка)

История его возникновения

Мысль организовать под Москвой рабочий поселок зародилась у группы служащих и рабочих 3-х крупных предприятий: завода «Богатырь», электрической станции «86 года» и интендантских вещевых складов.

Это было еще в 1914 году. Конечно, никакого города создать при старом правительстве не удалось. В 1917 году, когда вспыхнула революция, мысль о поселке вновь окрепла. Но временное правительство утвердило устав поселка «Дружба 1-го марта 1917 года», отстроило великолепный поселок на канцелярской бумаге, и этим дело и кончилось. Двинулось оно дальше с октябрьским переворотом. Наркомзем, выяснив всю важность создания рабочего поселка, пошел на встречу инициативной группе и в 1918 году на Погонно-Лосином острове, у станции

Перловка, отпустил 102 десятины земли.

Это был слишком лакомый кусок, и создателям города пришлось вести большую войну с губернским лесничеством, потом с уездным и, наконец, с окрестными кулаками-крестьянами. Землю удалось отстоять при помощи Наркомзема. Только в конце 21-го года инициативная группа почувствовала себя прочно. Совнарком отпустил ссуду в 10 миллиардов.

Тогда инициаторы этого огромного дела, во главе которого стоял и, не покладая рук, работал Сергей Шестеркин, бывший смазчик на заводе «Богатырь», приступили к практическому осуществлению своей заветной мысли

Что такое город-сад!

На 102 десятинах земли на средства, собранные путем взносов рабочих, желающих поселиться, будут построены домики по образцу английских. Среди домов, предназначенных для семейных, будут общежития для холостых. Будет собственная электрическая станция, школа, больница, прачечные. Поселок рассчитывается на полторы тысячи человек. К концу этого года организаторы полагают поселить в нем первых 200 человек рабочих и служащих с «Богатыря», с электрической станции и вещевых складов.

Работы по устройству

Правление закупило старые дачи на Лосином острове и приступает к переносу их на территорию города. Начинаются работы по выкорчевыванию площади, начаты постройки.

Торжество в Перловке

Приходящие на станцию Перловка из душной Москвы поезда выбрасывают на платформу группы гостей. Мимо домиков, тонущих в сосновой зелени, все идут к даче быв. Сергеева. Веранда ее украшена зеленью, и далеко кругом разносятся звуки музыки. У входа плещутся красные флаги.

В 3 часа все съехались. На террасе, битком набитой будущими жителями города-сада, наступает тишина.

Шестеркин приветствует приехавших гостей.

Выступает т. Дивильковский, помощник управляющего делами Совнаркома, и говорит:

— Мы не можем не выразить удивления и восхищения той энергии, которую проявили устроители первого в республике рабочего города. Несмотря на все тяжести дикой разрухи, которую мы переживаем, им удалось преодолеть все препят-

ствия и осуществить свою заветную мысль: дать возможность рабочим жить не в чердаках и подвалах, в которых они задыхались всегда, а в зелени, в просторе и чистоте. Да здравствует энергия пролетариата! Да здравствует Советская власть, которая позволила осуществить прекрасную идею!

Вслед за Дивильковским говорят приветствия другие гости: член РКП Вознесенский, председатель уездного совета, представитель от МКХ, от Центросоюза.

После каждой речи гремит «Интернационал».

Закладка поселка

Рабочие, служащие, гости строятся в ряды, впереди колышатся красные плакаты, и все идут к месту закладки, где уже выделен первый фундамент.

Опять говорятся речи, и после них т. Дивильковский закладывает в фундамент первого здания в рабочем городе металлическую доску с вырезанной на ней надписью:

«РСФСР. 1922 года, мая, 28-го дня, произведена закладка поселка «Дружба 1-го марта 1917 года» — рабочего города-сада. Правление».

1922 г.

МОСКВА КРАСНОКАМЕННАЯ

Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к Храму Христа.

Хорошо у Храма! Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья.

За Храмом, там, где некогда величественно восседал тяжелый Александр III в сапогах гармоникой, теперь только пустой постамент. Грузный комод, на котором ничего нет и ничего, по-видимому, не предвидится. И над постаментом воздушный столб до самого синего неба.

Гуляй — не хочу!

Зимой массивные ступени, ведущие от памятника, исчезали под снегом, обледеневали. Мальчишки — «Ява рассыпная»! — скатывались с снежной горы на салазках и в пробежавшую «Аннушку» швыряли комьями. А летом плиты у Храма, ступени у пьедестала пусты. Маячат две фигуры, спускаются к трамвайной линии. У одной за плечами зеленый горб на ремнях. В горбе — паек. Зимой пол-Москвы с горбами ходило. Горбы за собой на салазках таскало. А теперь — довольно. Пайков гражданских нет. Получай миллионы, вали в магазин.

У другой — нет горба. Одет хорошо. Белый крахмал, штаны в полоску. А на голове выгоревший в грозе и буре бархат-

ный околыш. На околыше — золотой знак. Не то молот и лопата, не то серп и грабли, во всяком случае, не серп и молот Красный спец. Служит не то в Хму, не то в Цусе. Удачно служит, не нуждается. Каждый день ходит на Тверскую в гигантский магазин Эмпео (в легендарные времена назывался Елисеев) и тычет пальцем в стекло, за которым лежат сокровища:

— Э-э... два фунта...

Приказчик в белом фартуке:

— Слуш... с-с...

И чирк ножом, но не от того куска, в который спец тыкал, что посвежее, а от того, что рядом, где подозрительнее.

— В кассу прошу...

Чек. Барышня бумажку на свет. Не ходят без этого бумажки никак. Кто бы в руки ни взял, первым долгом через нее на солнце. А что на ней искать надо, никто в Москве не ведает. Касса хлопнула, прогремела и съела десять спецовых миллионов. Сдачи: две бумажки по сту.

Одна настоящая, с водяными знаками, другая тоже с водяными знаками — фальшивая.

В Эмпео — елисеевских зеркальных стеклах — все новые покупки. Три фунта. Пять фунтов. Икра черная лоснится в банках. Сиги копченые. Пирамиды яблок, апельсинов. К окну какой-то самоистязатель носом прилип, выкатил глаза на люстры, гроздья, на апельсины. Головой крутит. Проспал с 18-го по 22-й год!

А мимо по избитым торцам велосипедист за велосипедистом. Мотоциклы. Авто. Свистят, каркают, как из пулеметов стреляют. На «автоконыяке» ездят. В автомобиль его нальешь, пустишь — за автомобилем сизо-голубой, удушливый дым столбом.

Летят общипанные, ободранные, развинченные машины. То с портфелями едут, то в шлемах краснозвездных, а то вдруг подпрыгнет на кожаных подушках дама в палантине, в сто-миллионной шляпе с Кузнецкого. А рядом, конечно, выгоревший околыш. Нувориш. Нэпман.

Иногда мелькнет бесшумная, сияющая лаком машина. В ней джентльмен иностранного фасона. Ара.

Извозчики то вереницей, то в одиночку. Дыхание бури их не коснулось. Они такие, как были в 1822 году, и такие, как будут в 2022 году, если к тому времени не вымрут лошади. С теми, кто торгуется, — наглы, с «лимонными» людьми — угодливы:

— Вас возил, господин!

Обыкновенная совпублика — пестрая, многоликая масса, что носит у московских кондукторш название: граждaне (ударение на втором слове), — ездит в трамваях.

Бог их знает, откуда они берутся, кто их чинит, но их становится все больше и больше. На 14 маршрутах уже скрежещет в Москве. Большею частью ни стать, ни сесть, ни лечь. Бывает, впрочем, и просторно. Вот «Аннушка» заворачивает под

часы у Пречистенских ворот. Виутри кондуктор, кондукторша и трое пассажиров. Трое ожидающих сперва машинально становятся в хвост. Но вдруг хвост рассыпался. Лица становятся озабоченными. Локтями начинают толкать друг друга. Один хватается за левую ручку, другой одновременно за правую. Не входят, а «лезут». Штурмуют пустой вагон. Зачем? Что такое? Явление это уже изучено. Атавизм. Память о тех временах, когда не стояли, а висели. Когда ездили мешки с людьми. Теперь подите повисните! Попробуйте с пятипудовым мешком у Ярославского вокзала сунуться в вагон.

— Граждáне, нельзя с вещами.

— Да что вы... маленький узелочек...

— Гражданин! Нельзя!! Как вы понятия не имеете!!

Звонок. Стоп Выметайтесь.

И:

— Граждáне, получайте билеты. Граждáне, продвигайтесь вперед.

Граждане продвигаются, граждане получают. Во что попало одеты граждане. Блузы, рубахи, френчи, пиджаки. Больше всего френчей — омерзительного наряда, оставшегося на память о войне. Кепки, фуражки. Куртки кожаные. На ногах большей частью подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблучками. Но попадаете уже лак. Советские сокращенные барышни в белых туфлях.

Катит пестрый маскарад в трамвае.

На трамвайных остановках гвалт, гомои. Чревовещательские сильные альти поют:

— Сиводишняя «Известия-я»... Патриарха Тихxxx-а-а-ана!.. Эсеры... «Накану-у-ие»... Из Бирлииа только што па-а-алучена...

Несется трамвай среди говора, гомоиа, гудков. В центр.

Летит мимо московской улицы. Вывеска на вывеске. В аршин. В сажень. Свежая краска бьет в глаза. И чего, чего на них нет. Все есть, кроме твердых знаков и ятей. Цупвоз. Цустраи. Моссельпром. Отгадывание мыслей. Мосдревотдел. Виинторг. Старо-Рыковский трактир. Воскрес трактир, но твердый знак потерял. Трактир «Спорт». Театр трудящихся. Правильно. Кто трудится, тому надо отдохнуть в театре. Производство «сандаля». Вероятно, сандалий. Обувь дамская, детская и «мальчиковая». Врывсельпромгвиу. Уинторг. Мосторг и Главлесторг. Центробумтрест.

И в пестром месиве слов, букв на черном фоне, белая фигура — скелет руки к небу тянет. Помогите! Г-о-л-о-д. В терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотрись. Пред-ста-вишь себе — и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут нувориши мимо, не оглядываются...

До поздней ночи улица шумит. И мальчишки — красные купцы — торгуют. К двум ползут стрелки на огненных круглых часах, а Тверская все дышит, ворочается, выкрикивает. Вздвигают скрипки в кафе «Ку-ку». Но все тише, реже. Гаснут окна в переулках... Спит Москва после пестрого будня перед красным праздником

...Ночью спец, укладываясь, неизвестному богу молится:

— Ну, что тебе стоит? Пошли на завтра ливень. С градом. Ведь идет же где-то град в два фунта. Хоть в полтора.

И мечтает:

— Вот выйдут, вот плакатики вынесут, а сверху как ахнет.

И дождик идет, и порядочный. Из перержавевших водосточных труб хлещет. Но идет-то он в несуразное, никому не нужное время — ночью. А наутро на небе ни пылинки!

И баба бабе у ворот говорит:

— На небе-то, видно, за большевиков стоят.

Видно, так, милая...

В десять по Тверской прокатывается оглушительный марш. Мимо ослепших витрин, мимо стен, покрытых вылинявшими пятнами красных флагов, в новых гимнастерках с красными, синими, оранжевыми клапанами на груди, с красными шевронами, в шлемах один к одному, под лязг тарелок, под рев труб рота за ротой идет красная пехота.

С двухцветными эскадронными значками — разномастная кавалерия на рысях. Броневики лезут.

Вечером на бульварах толчея. Александр Сергеевич Пушкин, наклонив голову, внимательно смотрит на гудящий у его ног Тверской бульвар. О чем он думает, никому не известно... Ночью транспаранты горят. Звезды...

...И опять засыпает Москва. На огненных часах три. В тишине по всей Москве каждую четверть часа разносится таинственный нежный перезвон со старой башни, у подножия которой, не угасая всю ночь, горит лампа и стоит бессонный часовой. Каждую четверть часа несется с кремлевских стен перезвон. И спит перед новым буднем улица в невиданном, неслыханном красноторговом Китай-городе.

1922 г

СТОЛИЦА В БЛОКНОТЕ

I

Бог Ремонт

Каждый бог на свой фасон. Меркурий, например, с крылышками на ногах. Он наэпман и жулик. А мой любимый бог — бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике

вымазан известкой, от него пахнет махоркой. Он и меня зацепил своей кистью, и до сих пор я храню след божественного прикосновения на своем осеннем пальто, в котором я хожу и зимой. Почему? Ах, да, за границей, вероятно, неизвестно, что в Москве существует целый класс, считающий модным ходить зимой в осеннем. К этому классу принадлежит так называемая мыслящая интеллигенция и интеллигенция будущая: рабфаки и проч. Эти последние, впрочем, даже и не в пальто, а в каких-то кургуzych куртках. Холодно?..

Вздор. Очень легко можно привыкнуть.

Итак, это было золотой осенью, когда мы с приятелем моим — спецом — выходили из гостиницы. Там зверски орудовал прекрасный бог. Стояли козлы, со стен бежали белые ручьи, вкусно пахло масляной краской.

Тут-то Он меня и мазнул.

Спец жадно вдохнул запах краски и гордо сказал:

— Не угодно ли. Погодите, еще годик — не узнаете Москвы. Теперь «мы» (ударение на этом слове) покажем, на что мы способны!

К сожалению, ничего особенного спец показать не успел, так как через неделю после этого стал очередной жертвой «большевистского террора». Именно: его посадили в Бутырки.

За что, совершенно неизвестно.

Жена его говорит по этому поводу что-то невнятное:

— Это безобразие! Ведь расписки нет? Нет? Пусть покажут расписку. Сидоров (или Иванов, не помню) — подлец! Говорит, двадцать миллиардов. Во-первых, пятнадцать!

Расписки действительно нету (не идиот же спец в самом деле!), поэтому спеца скоро выпустят. Но тогда уж он действительно покажет. Набравшись сил в Бутырках.

Но спеца нет, бог Ремонт остался. Может быть, потому, что сколько бы спецов ни сажали, их остается все же невероятное количество (точная моя статистика: в Москве — 1 000 000, не ме-не-е!), или потому, что можно обойтись и без спецов, но бог неугомонный, прекрасный — штукатур, маляр и каменщик — орудует. И даже теперь он не затих, хоть уже зима и валит мягкий снег.

На Лубянке, на углу Мясницкой было бог знает что: какая-то выгрызенная плешь, покрытая битым кирпичом и осколками бутылок. А теперь, правда, одноэтажное, но все же здание! З-д-а-н-и-е! Целые стекла. Все как полагается. За стеклами, правда, ничего еще нет, но снаружи уже красуется надпись золотыми буквами «Трикотаж».

Вообще на глазах происходят чудеса. Зияющие окна в нижних этажах вдруг застекляются. День... два, и за стеклами загораются лампы и... или материи каскадами, или же красуется под зеленым абажуром какая-то голова, склонившаяся над бумагами. Не знаю, почему и какая голова, но что он делает, могу сказать, не заглядывая внутрь:

— Составляет ведомость на сверхурочные.

И откровенно скажу: материи — хорошо, а голова — это не нужно. Пишут, пишут... Но с этим, видно, ничего не поделаешь.

Я верю: материи и посуда, зонтики и калоши вытеснят в конце концов плешивые чиновничьи головы начисто. Пейзаж московский станет восхитительным. На мой вкус.

Я с чувством наслаждения прохожу теперь пассажи. Петровка и Кузнецкий в сумерки горят огнями. И буйные гаммы красок за стеклами — улыбаются лики игрушек кустарей.

Лифты пошли! Сам видел сегодня. Имею я право верить своим глазам?

Этот сезон подновляли, штукатурили, подклеивали. На будущий сезон, я верю, будут строить. Осенью, глядя на сверкающие адским пламенем котлы с асфальтом на улицах, я вздрагивал от радостного предчувствия. Будут строить, несмотря ни на что. Быть может, это фантазия правоверного москвича... А по-моему, воля ваша, вижу — Ренессанс.

Московская эпитафия:

— Пою тебе, о бог Ремонта!

II

Гнилая интеллигенция

Расстался я с ним в июне месяце. Он пришел тогда ко мне, свернул махорочную козью ногу и сказал мрачно:

— Ну, вот и кончил университет.

— Поздравляю вас, доктор, — с чувством ответил я.

Перспективы у новоиспеченного доктора вырисовывались в таком виде: в здравотделе сказали: «вы свободны», в общежитии студентов-медиков сказали: «ну, теперь вы кончили, так выезжайте», в клиниках, больницах и т. под. учреждениях сказали: «сокращение штатов».

Получался, в общем, полнейший мрак.

После этого он исчез и утонул в московской бездне.

— Значит, погиб, — спокойно констатировал я, занятый своими личными делами (т. наз. «борьба за существование»).

Я доборолся до самого ноября и собирался бороться дальше, как он появился неожиданно.

На плечах еще висела вытертая дрянь (бывшее студенческое пальто), но из-под нее выглядывали новенькие брюки.

По одной складке, аристократически заглаженной, я безошибочно определил: куплены на Сухаревке за 75 миллионов.

Он вынул футляр от шприца и угостил меня «Ирой распынной».

Раздавленный изумлением, я ждал объяснений. Они последовали немедленно:

— Грузчиком работаю в артели. Знаешь, симпатичная такая артель — 6 студентов 5-го курса и я...

— Что же вы грузите?!

— Мебель в магазины. У нас уж и постоянные давальцы есть.

— Сколько ж ты зарабатываешь?

— Да вот за предыдущую неделю 275 лимончиков.

Я мгновенно сделал перемножение: $275 \times 4 = 1$ миллиард сто! В месяц.

— А медицина?!

— А медицина сама собой. Грузим — раз-два в неделю. Остальное время я в клинике, рентгеном занимаюсь.

— А комната?

Он хихикнул.

— И комната есть... Оригинально так, знаешь, вышло... Перевозили мы мебель в квартиру одной актриски. Она меня и спрашивает с удивлением: — А вы, позвольте узнать, кто на самом деле? У вас лицо такое интеллигентное. Я, говорю, доктор. Если б ты видел, что с ней сделалось!.. Чаем напоила, расспрашивала. А где вы, говорит, живете? А я, говорю, нигде не живу. Такое участие приняла, дай ей бог здоровья. Через нее я и комнату получил, у ее знакомых. Только условие: чтобы я не женился.

— Это что ж, актриска условие такое поставила?

— Зачем актриска... Хозяева. Одному, говорят, сдадим, двоим ни в коем случае.

Очарованный сказочными успехами моего приятеля, я сказал после раздумья:

— Вот писали все: гнилая интеллигенция, гнилая... Ведь, пожалуй, она уже умерла. После революции народилась новая, железная интеллигенция. Она и мебель может грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься. Я верю, — продолжал я, впадая в лирический тон, — она не пропадет! Выживет!

Он подтвердил, распространяя удушливые клубы «Иры-рассыпной»:

— Зачем пропадать. Пропадать мы не согласны.

III

Сверхъестественный мальчик

Вчера утром на Тверской я видел мальчика. За ним шла, раскрыв рты, группа ошеломленных граждан мужского и женского пола и тянулась вереница пустых извозчиков, как за покойником.

Со встречного трамвая № 6 свешивались пассажиры и указывали на мальчика пальцами. Утверждать не стану, но мне показалось, что торговка яблоками у дома № 73 зарыдала от счастья, а зазевавшийся шофер срезал угол и чуть не угодил в участок.

Лишь протерев глаза, я понял, в чем дело.

У мальчика на животе не было лотка с сахариновым ирисом, и мальчик не выл диким голосом:

— Посольские! Ява!! Мурсал!!! Газетатачкапрокатывает-всех!..

Мальчик не вырывал из рук у другого мальчика скомканных лимонов и не лягал его ногами. У мальчика не было во рту папиросы... Мальчик не ругался скверными словами.

Мальчик не входил в трамвай в живописных лохмотьях и, бегая глазами по сытым лицам спекулянтов, фальшиво не гнусил:

— Пода-айте... Христа ради...

Нет, граждане. Этот единственный, впервые встретившийся мне мальчик шел степенно покачиваясь и не спеша, в прекрасной уютной шапке с наушниками, и на лице у него были написаны все добродетели, какие только могут быть у мальчика 11—12 лет.

Нет, не мальчик это был. Это был чистой воды херувим в теплых перчатках и валенках. И на спине у херувима был р-а-н-е-ц, из которого торчал уголок измызганного задачника.

Мальчик шел в школу 1-й ступени у-ч-и-т-ь-с-я.

Довольно. Точка.

IV

Триллионер

Отправился я к знакомым изпманам. Надоело мне бывать у писателей. Богема хороша только у Мюрже — красное вино, барышни... Московская же литературная богема угнетает.

Придешь и — или попросят сесть на ящик, а в ящике — ржавые гвозди, или чаю нет, или чай есть, но сахару нет, или в соседней комнате хозяйка квартиры варит самогон и туда шмыгают какие-то люди с распухшими лицами, и сидишь как на иголках, потому что боишься, что придут — распухших арестовывать и тебя захватят, или (хуже всего) молодые поэты начнут свои стихи читать. Один, потом другой, потом третий... Словом — нестерпимая обстановка.

У изпманов оказалось до чрезвычайности хорошо. Чай, лимон, печенье, горничная, всюду пахнет духами, серебряные ложки (примечание для испуганного иностранца: платоническое удовольствие), на пианино дочь играет «Молитву девы», диван, «не хотите ли со сливками», никто стихов не читает и т. д.

Единственное неудобство: в зеркальных отражениях маленькая дырка на твоих штанах превращается в дырищу величиной с чайное блюдечко и приходится прикрывать ее ладонью, а чай мешать левой рукой. А хозяйка, очаровательно улыбаясь, говорит:

— Вы очень милый и интересный, но почему вы не купите себе новые брюки? А заодно и шапку..

После этого «заодно» я подавился чаем, и золотушная «Молитва девы» показалась мне данс-макабром.

Но прозвучал звонок и спас меня.

Вошел некто, перед которым все побледнело и даже серебряные ложки съежились и сделались похожими на подержанное фразэ.

На пальце у вошедшего сидело что-то, напоминающее крест на Храме Христа Спасителя ча закате.

— Каратов девяносто... Не иначе, как он его с короны снял, — и епнул мне мой сосед — поэт, человек, воспевавший в стихах драгоценные камни, но по своей жестокой бедности не имеющий понятия о том, что такое карат.

По камню, от которого сыпались во все стороны разноцветные лучи, по тому, как на плечах у толстой жены вошедшего сидел рыжий палантин, по тому, как у вошедшего юрко бегали глаза, я догадался, что передо мной всем нэпманам нэпман, да еще, вероятно, из треста.

Хозяйка вспыхнула, заулыбалась золотыми коронками, кинулась навстречу, что-то восклицая, и прервалась «Молитва девы» на самом интересном месте.

Затем началось оживленное чаепитие, причем нэпман был в центре внимания.

Я почему-то обиделся (ну что ж из того, что он нэпман? Я разве не человек?) и решил завязать разговор. И завязал его удачно.

— Сколько вы получаете жалования? — спросил я у обладателя сокровища.

Тут же с двух сторон под столом мне наступили на ноги. На правой ноге я ощутил сапог поэта (кривой стоптанный каблук), на левой — ногу хозяйки (французский острый каблук).

Но богач не обиделся. Напротив, мой вопрос ему польстил почему-то.

Он остановил на мне глаза на секунду, причем тут только я разглядел, что они похожи на две десятки одесской работы.

— М... м... как вам сказать... Э... пустяки... Два, три миллиарда, — ответил он, посылая мне с пальца снопы света.

— А сколько стоит ваше бри... — начал я и взвизгнул от боли...

— ...бритье?! — выкрикнул я, не помня себя, вместо «бриллиантовое кольцо».

— Бритье стоит 20 лимонов, — изумленно ответил нэпман, а хозяйка сделала ему глаза: «Не обращайтесь внимания. Он идиот».

И мгновенно меня сняли с репертуара. Зашебетала хозяйка, но благодаря моему блестящему почину разговор так и увяз в лимонном болоте.

Во-первых, поэт всплеснул руками и простонал:

— 20 лимонов! Ай, яй, яй! (он брился последний раз в июне).

Во-вторых, сама хозяйка ляпнула что-то несуразно-малое насчет оборотов в тресте.

Нэпман понял, что он находится в компании денежных младенцев, и решил поставить нас на место.

— Приходит ко мне в трест неизвестный человек,— начал он, поблескивая черными глазами,— и говорит: возьму у вас товару на 200 миллиардов. Плачу векселями. Позвольте,— отвечаю я,— вы — лицо частное... э... какая же гарантия, что ваши уважаемые векселя... А пожалуйста,— отвечает тот. И вынул книжку своего текущего счета. И как вы думаете,— нэпман победоносно обвел глазами сидящих за столом,— сколько у него оказалось на текущем счету?

— 300 миллиардов? — крикнул поэт (этот проклятый санкюлот не держал в руках больше 50 лимонов)

— 800,— сказала хозяйка.

— 940,— робко пискнул я, убрав ноги под стол.

Нэпман артистически выдержал паузу и сказал:

— Тридцать три триллиона.

Тут я упал в обморок и, что было дальше, не знаю.

Примечание для иностранцев: триллионом в московских трестах называют тысячу миллиардов. 33 триллиона пишут так:
33 000 000 000 000.

V

Человек во фраке

Опера Зимина. «Гугеноты». Совершенно такие же, как гугеноты 1893 г., гугеноты 1903 г., 1913 г., наконец, и 1923 г.!

Как раз с 1913 г. я и не видел этих «Гугенотов». Первое впечатление — ошалеваешь. Две витых зеленых колонны и бесконечное количество голубоватых ляжек в трико. Затем тенор начинает петь такое, что сразу мучительно хочется в буфет и:

— Гражданин служающий, пива! («человеков» в Москве еще нет).

В ушах ляпает громовое «Пиф-Паф!!» Марсея, а в мозгу вопрос:

«Должно быть, это действительно прекрасно, ежели последние бурные годы не выперли этих гугенотов вон из театра, окрашенного в какие-то жабы тона?»

Куда там выперли! В партере, в ложах, в ярусах ни клочка места. Взоры сосредоточены на желтых сапогах Марсея. И Марсель, посылая партеру сердитые взгляды, угрожает:

Пошады не ждите,
Она не прид-е-е-т...

Рокочущие низы.

Солисты, посинев под гримом, прорезывают гремющую массу хора и медных. Ползет занавес. Свет. Сразу хочется бутер-

бродов и курить. Первое — невозможно, ибо для того, чтобы есть бутерброд, нужно зарабатывать миллиардов десять в месяц, второе — мыслимо.

У вешалок сквозняк, дымовая завеса. В фойе — шарканье, гул, пахнет дешевыми духами. Зеленой тоске после папиросы.

Все по-прежнему, как было пятьсот лет назад. За исключением, пожалуй, костюмов. Пиджачки сомнительные, френчи вытертые.

«Ишь ты, — подумал я, наблюдая, — публика та, да не та...»

И только что подумал, как увидал у входа в партер человека. Он был во фраке! Все, честь честью, было на месте. Слепительный пластрон, дивно заутюженные брюки, лакированные туфли и, наконец, сам фрак!

Он не посрамил бы французской комедии. Первоначально так и подумал: не иностранец ли? От тех всего жди. Но оказался свой.

Гораздо интереснее фрака было лицо его обладателя. Выражение унылой озабоченности портило расплывчатый лик москвича. В глазах его читалось совершенно явственно:

«Да-с, фрак. Выкуси. Никто не имеет мне права слово сказать. Декрета насчет фраков нету».

И действительно, никто фрачника не трогал, и даже особенно острого любопытства он не возбуждал. И стоял он незыблемо, как скала, омываемая пиджачным и френчным потоком.

Фрак этот до того меня заинтриговал, что я даже оперы не дослушал.

В голове моей вопрос:

«Что должен означать фрак? Музейная ли это редкость в Москве среди френчей 1923 г., или фрачник представляет собой некий живой сигнал: Выкуси. Через полгода все оденемся во фраки».

Вы думаете, что, может быть, это праздный вопрос? Не скажите...

VI

Биомеханическая глава

*Зови меня вандалом,
Я это имя заслужил*

Признаюсь: прежде чем написать эти строки, я долго колебался. Боялся. Потом решил рискнуть.

После того, как я убедился, что «Гугеноты» и «Риголетто» перестали меня развлекать, я резко кинулся на левый фронт. Причиной этого был И. Эренбург, написавший книгу «А все-таки она вертится», и двое длинноволосых московских футуристов, которые, появляясь ко мне ежедневно в течение недели,

за вечерним чаем ругали меня «мещанном».

Неприятно, когда это слово тычет в глаза, и я пошел, будь они прокляты! Пошел в театр Гитис на «Великодушного рогоносца» в постановке Мейерхольда.

Дело вот в чем: я — человек рабочий. Каждый миллион дается мне путем ночных бессонниц и дневной зверской беготни. Мои денежки как раз те самые, что носят название кровных. Театр для меня — наслаждение, покой, развлечение, словом, все, что угодно, кроме средства нажить новую хорошую неврастению, тем более, что в Москве есть десятки возможностей нажить ее без затраты на театральные билеты.

Я не И Эренбург и не театральный мудрый критик, но судите сами:

В общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены — дыра (занавеса, конечно, нету и следа). В глубине голая кирпичная стена с двумя гробовыми окнами.

А перед стеной сооружение. По сравнению с ним проект Татлина может считаться образцом ясности и простоты. Какие то клетки, наклонные плоскости, палки, дверки и колеса. И на колесах буквы кверху ногами «с ч» и «т е». Театральные плотники как дома, ходят взад и вперед, и долго нельзя понять, началось уже действие или еще нет.

Когда же оно начинается (узнаешь об этом потому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене), появляются синие люди (актеры и актрисы все в синем. Театральные критики называют это прозодеждой. Послал бы я их на завод денька хоть на два! Узнали бы они, что такое прозодежда!).

Действие: женщина, подобрав синюю юбку, съезжает с наклонной плоскости на том, на чем и женщины, и мужчины сидят. Женщина мужчине чистит зад платяной щеткой. Женщина на плечах у мужчин ездит прикрывая стыдливо ноги прозодеждой юбкой.

— Это биомеханика, — пояснил мне приятель.

Биомеханика!! Беспомощность этих синих биомехаников, в свое время учившихся произносить слащавые монологи, вне конкуренции. И это, заметьте, в двух шагах от Никитинского цирка, где клоун Лазаренко ошеломляет чудовищными saltos!

Кого-то вертящейся дверью колотят уныло и настойчиво опять по тому же самому месту. В зале настроенные, как на кладбище у могилы любимой жены. Колеса вертятся и скрипят.

После первого акта капельдинер:

— Не понравилось у нас, господин?

Улыбка настолько нагла, что мучительно хотелось биомеханику его по уху.

— Вы опоздали родиться, — сказал мне футурист.

Нет, это Мейерхольд поспешил родиться.

— Мейерхольд — гений!!! — завывал футурист.

Не спорю. Очень возможно. Пускай — гений. Мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я — масса.

Я — зритель. Театр для меня. Желая ходить в понятный театр. — Искусство будущего! — налетали на меня с кулаками. А если будущего, то пускай, пожалуйста, Мейерхольд умрет и воскреснет в XXI веке. От этого выиграют все, и прежде всего он сам. Его поймут. Публика будет довольна его колесами, он сам получит удовлетворение гения, а я буду в могиле мне не будут сниться деревянные вертушки.

Вообще к черту эту механику. Я устал.

VII

Ярон

Спас меня от биомеханической тоски артист оперетки Ярон, и ему с горячей благодарностью посвящаю эти строки. После первого же его падения на колени к графу Люксембургу, стукнувшему его по плечу, я понял, что значит это проклятое слово «биомеханика», и когда оперетка карусельным галопом пошла вокруг Ярона, как вокруг стержня, я понял, что значит настоящая буффонада.

Грим! Жесты! В зале гул и гром! И нельзя не хохотать. Немыслимо.

Бескорыстная реклама Ярону, верьте совести: исключительный талант.

VIII

Во что обходится курение

Из хаоса каким-то образом рождается порядок. Некоторые об этом узнают из газет со значительным опозданием, а некоторые по горькому опыту на месте и в процессе создания этого порядка.

Так, например, нэпман, о котором я расскажу, познакомился с новым порядком в коридоре плацкартного вагона на станции Николаевской железной дороги.

Он был, в общем, благодушный человек, и единственно, что выводило его из себя, это большевики. О большевиках он не мог говорить спокойно. О золотой валюте — спокойно. О саге — спокойно. О театре — спокойно. О большевиках — слюна. Я думаю, что если бы маленькую порцию этой слюны впрыснуть кролику — кролик издох бы во мгновение ока. Двух граммов было бы достаточно, чтобы отравить эскадрон Буденного с лошадьми вместе.

Слюны же у нэпмана было много, потому что он курил.

И когда он залез в вагон со своим твердым чемоданом и огляделся, презрительная усмешка исказила его выразительное лицо.

— Гм... подумаешь, — заговорил он... или вернее не за-

говорил, а как-то заскрипел,— свинячили, свинячили четыре года, а теперь вздумали чистоту наводить! К чему, спрашивается, было все это разрушать? И вы думаете, что я верю в то, что у них что-нибудь выйдет? Держи карман. Русский народ — хам! И все им опять заплывает!

И в тоске и отчаянии швырнул окурок на пол и растоптал. И немедленно (черт его знает, откуда он взялся — словно из стены вырос) появился некто с квитанционной кинжкой в руках и сказал, побивая рекорд лаконичности:

— Тридцать миллионов.

Не берусь описать лицо эппмана. Я боялся, что его хватит удар.

* * *

Вон она какая история, товарищи берлинцы. А вы говорите: 'bolsheviki', «bolsheviki»! Люблю порядок.

* * *

Прихожу в театр. Давно не был. И всюду висят плакаты. «Курить строго воспрещается». И думаю я, что за чудеса: никто под этими плакатами не курит. Чем это объясняется? Объяснилось это очень просто, так же, как и в вагоне. Лишь только некий с черной бородкой — прочтав плакат — сладко затаился два раза, как вырос молодой человек симпатичной, но непреклонной наружности и:

— Двадцать миллионов.

Негодяню черной бородки не было предела.

Она не пожелала платить. Я ждал взрыва со стороны симпатичного молодого человека, игравшего благодушно квитанциями. Никакого взрыва не последовало, но за спиной молодого человека без всякого сигнала с его стороны (большевистские фокусы!) из воздуха соткался миллионер. Положительно, это было гофманское нечто. Миллионер не произнес ни одного слова, не сделал ни одного жеста. Нет! Это было просто воплощение укоризны в серой шинели с револьвером и свистком. Черная бородка заплатила со сверхъестественной гофманской же быстротой.

И лишь тогда ангел-хранитель, у которого вместо крыльев за плечами помещалась небольшая, изящная винтовка, отошел в сторону, и «добродушная пролетарская улыбка занграла на его лице» (так пишут молодые барышни революционные романы).

Случай с черной бородкой так подействовал на мою впечатлительную душу (у меня есть подозрение, что и не только на мою), что теперь, куда бы я ни пришел, прежде чем взяться за портсигар, я тревожно осматриваю стены — нет ли на них какой-нибудь печатной каверзы. И ежели плакат «строго

воспрещается», подманивающий русского человека на курение и плевки, то я ни курить, ни плевать не стану ни за что.

IX

Золотой век

Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того, как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что «все образуется» и мы еще можем пожить довольно славно.

Однако я далек от мысли, что Золотой век уже наступил. Мне почему-то кажется, что наступит он не ранее, чем порядок, симптомы которого так ясно начали проступать в столь незначительных, казалось бы, явлениях, как все эти некурительные и неплевательные события, пустит окончательные корни.

ГУМ с тысячами огней и гладко выбритыми приказчиками, блестящие швейцары в государственных магазинах на Петровке и Кузнецком, «верхнее платье снимать обязательно» и т. под.— это великолепные ступени на лестнице, ведущей в Рай, но еще не самый Рай.

Для меня означенный Рай наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки. Весьма возможно, что я вырождок, не понимающий великого значения этого чисто национального продукта, столь же свойственного нам, как табачная жвачка славным американским героям сногшибательных фильмов, но весьма возможно, что просто-напросто семечки — мерзость, которая угрожает утопить нас в своей слюнявой шелухе.

Боюсь, что мысль моя покажется дикой и непонятной утонченным европейцам, а то я сказал бы, что с момента изгнания семечек для меня непреложной станет вера в электрификацию поезда (150 километров в час), всеобщую грамотность и проч., что уже несомненно означает Рай.

И маленькая надежда у меня закопошилась в сердце после того, как на Тверской меня чуть не сшибла с ног туча баб и мальчишек, с лотками летевших куда-то с воплями:

— Дунька! Ходу! Он идет!!

«Он» оказался, как я и предполагал, воплощением в сером, но уже не укоризны, а ярости.

Граждане, это священная ярость. Я приветствую ее.

Их надо изгнать, семечки. Их надо изгнать. В противном случае быстроходный электрический поезд мы построим, а Дуньки наплюют шелухи в механизм, и поезд остановится — и всё к черту.

Красная палочка

Нет пагубнее заблуждения, как представить себе загадочную великую Москву 1923 года отпечатанной в одну краску.

Это спектр. Световые эффекты в ней поразительны. Контрасты — чудовищны. Дуньки и нищие (о, смерть моя — московские нищие! Родился нэп в лакированных ботинках, немедленно родился и тот страшный, в дырах, с гнусавым голосом, и сел на всех перекрестках, занял у подъездов, заковывал по переулкам), благой мат ископаемых извозчиков и бесшумное скольжение машин, сияющих лаком, афиши с мировыми именами... а в будке на Страстной площади торгует журналами, временно исполняя обязанности отлучившегося продавца, неграмотная баба!

Клянусь неграмотная!

Я сам лично подошел к будке. Спросил «Россию», она мне подала «Корабль» (похож шрифт!). Не то. Баба заметалась в будке. Подала другое. Не то.

— Да что вы, неграмотная?! (Это я иронически спросил.)

Но долой иронию, да здравствует отчаяние! Баба действительно неграмотная.

* * *

Москва — котел: в нем варят новую жизнь. Это очень трудно. Самим приходится вариться. Среди Дунк и неграмотных рождается новый, пронизывающий все углы бытия, организационный скелет.

В отчаянии от бабы с «Кораблем» в руках, в отчаянии от зверских извозчиков, поминающих коллективную нашу мамашу, я кинулся в Столешников переулок и на скрещении его с Большой Дмитровкой увидел этих самых извозчиков. На скрещении было, очевидно, какое-то препятствие. Вереница бородачей на козлах была неподвижна. Я был поражен. Почему же не гремит ругань? Почему не вырываются вперед пылкие извозчики?

Боже мой! Препятствие-то, препятствие... Только всего, что в руках у милиционера была красная палочка и он застыл, подняв ее вверх.

Но лица извозчиков! На них было сияние, как на пасху

И когда милиционер, пропустив трамвай и два автомобиля, махнул палочкой, прибавив уже несвойственное констеблям и шуцманам ласковое:

— Давай! —

извозчики поехали так нежно и аккуратно, словно везли нездоровых москвичей, а тяжело раненных.

В порядке дайте нам точку опоры, и мы сдвинем шар земной.
1922 г.

ЧАША ЖИЗНИ

(Веселый московский рассказ с печальным концом)

Истинно, как перед богом, скажу вам, гражданин, пропа-
даю через проклятого Пал Васильича... Соблазнил меня чашей
жизни, а сам предал, подлец!..

Так дело было. Сижу я, знаете ли, тихо-мирно дома и каль-
куляцией занимаюсь. Ну, конечно, это только так говорится —
калькуляцией, а на самом деле жалования — 210. Пятьдесят
в кармане. Ну и считаешь: 10 дней до первого. Это сколько же?
Выходит — пятерка в день. Правильно. Можно дотянуть? Мож-
но, ежели с калькуляцией. Превосходно. И вот открывается
дверь и входит Пал Васильич. Я вам доложу: доха на нем —
не доха, шапка — не шапка! Вот сволочь, думаю! Лицо красное,
и слышу я — портвейном от него пахнет. И ползет за ним
какой-то, тоже одет хорошо.

Пал Васильич сейчас же знакомит.

— Познакомьтесь, — говорит, — наш тоже, трестовый.

И как шваркнет шапку эту об стол и кричит:

— Переутомился я, друзья! Заела меня работа! Хочу я от-
дохнуть, провести вечер в вашем кругу! Молю я, друзья, давайте
будем пить чашу жизни! Едем! Едем!

Ну, деньги у меня какие? Я ж докладываю: пятьдесят. А
человек я деликатный, на дурничку не привык. А на пятьдесят-
то что сделаешь? Да и последние!

Я и отвечаю:

— Денег у меня...

Он как глянет на меня.

— Свинья ты, — кричит, — обижаешь друга?!

Ну, думаю, раз так... И пошли мы.

И только вышли, начались у нас чудеса! Дворник тротуар
скребет. А Пал Васильич подлетел к нему, хват у него скребок
из рук и начал сам скрести.

При этом кричит:

— Я интеллигентный пролетарий! Не гнушаюсь работой!

И прохожему товарищу по калоше — чик! И разрезал ее
Дворник к Пал Васильичу и скребок у него из рук выхватил
А Пал Васильич как заорет:

— Товарищи! Караул! Меня — ответственного работника
избивают!!

Конечно, скандал. Публика собралась. Вижу я — дело плохо
Подхватили мы с трестовым его под руки и в первую дверь. А

на двери написано: «и подача вин». Товарищ за нами, калоша в руках.

— Позвольте деньги за калошу.

И что же вы думаете? Расстегнул Пал Васильич бумажник, и как заглянул я в него — ужаснулся! Одни сотенные. Пачка пальца в четыре толщины. Боже ты мой, думаю. А Пал Васильич отслюнил две бумажки и презрительно товарищу:

— П-палучите, т-товарищу.

И при этом в нос засмеялся, как актер:

— А. Ха. Ха.

Тот, конечно, смылся. Калошам-то красная цена сегодня была полтинник. Ну, завтра, думаю, за шестьдесят купит.

Прекрасно. Уселюсь мы, и пошло. Портвейн московский, знаете? Человек от него не пьянеет, а так — лишается всякого понятия. Помню, раков мы ели и неожиданно оказались на Страстной площади. И на Страстной площади Пал Васильич какую-то даму обнял и троекратно поцеловал: в правую щеку, в левую и опять в правую. Помню, хохотали мы, а дама так и осталась в оцепенении. Пушкин стоит, на даму смотрит, а дама на Пушкина.

И тут же налетели с букетами, и Пал Васильич купил букет и растоптал его ногами.

И слышу голос сдавленный, из горла:

— Я вас? К-катаю?

Сели мы. Оборачивается к нам и спрашивает:

— Куда, Ваше Сиятельство, прикажете?

Это Пал Васильич! Сиятельство! Вот сволочь, думаю!

А Пал Васильич доху распахнул и отвечает:

— Куда хочешь!

Тот в момент рулем крутанул, и полетели мы, как вихрь. И через пять минут — стоп на Неглинном. И тут этот рожком три раза хрюкнул, как свинья:

— Хрр... Хрю... Хрю.

И что же вы думаете! На это самое «хрю» — лакеи! Выскочили из двери и под руки нас. И метрдотель, как какой-нибудь граф:

— Сто-лик.

Скрипки:

Под знойным небом Аргентины...

И какой-то человек в шапке и в пальто, и вся половина в снегу, между столиками танцует. Тут стал уже Пал Васильич не красный, а какой-то пятнистый и грянул:

— Долой портвейны эти! Желаю пить шампанское!

Лакеи врассыпную кинулись, а метрдотель наклонил пробор:

— Могу рекомендовать марку...

И залетали вокруг нас пробки, как бабочки.

Пал Васильич меня обнял и кричит:

— Люблю тебя! Довольно тебе киснуть в твоём Центро-

союзе. Устраиваю тебя к нам в трест. У нас теперь сокращение штатов, стало быть, вакансии есть. А в тресте я царь и бог!

А трестовый его приятель гаркнул «верно!» и от восторга бокал об пол и вдребезги.

Что тут с Пал Васильичем сделалось?

— Что,— кричит,— ширину души желаешь показать? Бокальчик разбил и счастлив? А. Ха. Ха. Гляди!

И с этими словами вазу на ножке об пол — раз! А трестовый приятель — бокал! А Пал Васильич — судок! А трестовый — бокал!

Очнулся я только, когда нам счет подали. И тут глянул я сквозь туман — о-д-и-и м-и-л-и-а-р-д девятьсот двенадцать миллионов. Да-с.

Помню я, слюнил Пал Васильич бумажки и вдруг вытаскивает пять сотенных и мне:

— Друг! Бери займы! Прозябаешь ты в своем Центросоюзе! Бери пятьсот! Поступишь к нам в трест и сам будешь иметы!

Не выдержал я, гражданин. И взял я у этого подлеца пятьсот. Судите сами: ведь все равно пропьет, каналья. Деньги у них в трестах легкие. И вот, верите ли, как взял я эти проклятые пятьсот, так вдруг и сжало мне что-то сердце. И обернулся я машинально и вижу сквозь пелену — сидит в углу какой-то человек, и стоит перед ним бутылка сельтерской. И смотрит он в потолок, а мне, знаете ли, почудилось, что смотрит он на меня. Словно, знаете ли, невидимые глаза у него — вторая пара на щеке.

И так мне стало как-то вдруг тошно, выразить вам не могу!

— Гоп, ца, дрица, гоп, ца, ца!!

И как боком к двери. А лакеи впереди понеслись и салфетки нам машут!

И тут пахнуло воздухом мне в лицо. Помню еще, захрюкал опята шофер и будто ехал я стоя. А куда — неизвестно. На-чисто память отшибло...

И просыпаюсь я дома! Половина третьего.

И голова — боже ты мой! — поднять не могу! Кой-как припомнил, что это было вчера, и первым долгом за карман — хватить. Тут они — пятьсот! Ну, думаю — здорово! И хоть голова у меня разваливается, лежу и мечтаю, как это я в тресте буду служить. Отлежался, чаю выпил, и полегчало немного в голове. И рано я вечером заснул.

И вот ночью звонок...

А, думаю, это, вероятно, тетка ко мне из Саратова.

И через дверь — босиком — спрашиваю:

— Тетя, вы?

И из-за двери голос незнакомый:

— Да. Откройте!

Открыл я и оцепенел...

— Позвольте... — говорю, а голоса нету, узнать, за что же?..

Ах, подлец!! Что ж оказывается? На допросе у следователя Пал Васильич (его еще утром взяли) и показал:

— А пятьсот из них я передал гражданину такому-то,— это мне, стало быть!

Хотел было я крикнуть: ничего подобного!!

И, знаете ли, глянул этому, который с портфелем, в глаза... И вспомнил! Батюшки, сельтерская! Он! Глаза-то, что на щеке были, у него во лбу!

Замер я... не помню уж как, вынул пятьсот... Тот холодно-кровно другому:

— Приобщите к делу.

И мне:

— Потрудитесь одеться.

Боже мой! Боже мой! И уж как подъезжали мы, вижу я сквозь слезы, лампочка горит над надписью «комендатура». Тут и осмелился я спросить:

Что ж такое он — подлец — сделал, что я должен из-за него свободы лишиться?..

А этот сквозь зубы и насмешливо:

— О, пустяки. Да и не касается это вас.

А что не касается! Потом узнаю: его чуть ли не по семи статьям... Тут и дача взятки, и взятие, и небрежное хранение, а самое-то главное — растрата! Вот оно какие пустяки, оказывается! Это он — негодяй, стало быть, последний вечер доживал тогда — чашу жизни пил! Ну-с, коротко говоря, выпустили меня через две недели. Кинулся я к себе в отдел. И чувствовало мое сердце: сидит за моим столом какой-то новый во френче, с пробором.

— Сокращение штатов. И кроме того, что было... Даже странно...

И задом повернулся и к телефону.

Помертвел я... получил ликвидационные... за две недели вперед — 105 и вышел.

И вот с тех пор без перерыва и хожу... и хожу. И ежели еще неделька так, думаю, что я на себя руки наложу!..

1922 г.

В ШКОЛЕ ГОРОДКА III ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Полдень. Перемена. В гулком пустынном зале звенят голоса. Вол-о-о-дя!

Круглоголовый стриженный малый, топая подшитыми валенками, погнался за другим. Нагнал, схватил.

— Сто-ой!

Две девочки, степенно сторонясь, прошли в коридор. Под мышкой ранец, у другой связка истрепанных книжек. Туго заплетены косички и вздернуты носы. Прошел преподаватель,

шурясь сквозь дешевенькие очки. На преподавателе студенческая тужурка, косоворотка, на ногах тоже неизбежные валенки — Володька! Володька!

И Володьку к стене спиной — хлоп!

Разъяренный Володька полетел за обидчиком. Засверкали володькины пятки. Володька маленький, а ноги у Володьки как у слоненка, потому что валенки.

Сверлит в зале звон. Гулкие коридоры. Полдень. Перемена.

В музее тишина, и глухо доносится в светлую комнату володькин победный вопль.

В музее тишина, и стены глядят бесчисленными цветными рисунками. «И-с-т-о-р-и-я р-е-в-о-л-ю-ц-и-и». Печатными крупными буквами. Ниже рядами ученические рисунки. 9 января 1905 года. Толпой идут рабочие. Вон — цветные баррикады. Забастовка.

Пестреют стены. Заголовки — «Родной язык». Под заголовком на картинке рыжая лисица. Хвост пушистый, а на морде написана хитрость и умиление. Это та самая лисица, что глядела на сыр во рту глупой вороны. Ниже по улицам слонов водили. И слон серо-фиолетового цвета, одинокий, добродушный, идет мимо булочной с деловым видом, а испуганные прохожие разбегаются. Один зевака тащится за тонким слонячьим хвостом.

Известно, что слоны в диковинку у нас. В школе широко принят иллюстрированный метод. Слушают ребяташки I-й степени крыловские басни и рисуют, рисуют, и стены покрываются цветными пятнами, и вырастает живой настоящий музей. Разложены альбомы, полные детских рисунков, иллюстрирующих классное чтение.

Крепостное право. Рисунки, снимки с картин. На противоположной стене — коллекция по естествознанию. Засушенные растения. Эта коллекция — результат экскурсий учеников за Москву.

А вон экскурсии по Москве. Старорусские яркие кафтаны. Цветные мазки. Это ребяташки зарисовывали в Кремле.

По обществоведению читали им курс, и старшие группы дали ряд диаграмм.

Музей полон живым духом. В рисунках — от этих стройных диаграмм до кривых и ярких фигурок людей в праздничных одеждах с изюминками-глазами — настоящая жизнь. Все это запоминается, останется навсегда. Это не мертвая схоластическая сушь учебы, это настоящее ученье.

* * *

В зале и коридорах стихло после перемены, и в маленьком классе за черными столами двадцать стриженных и с косичками голов.

Wieviel Bilder sind hier?

- Hier sind drei Bilder. Bilder¹.

Малый шмыгнул носом и опять зачитал:

— Хир зинд дрей...

Драй,— поправила учительница, и малыш со вздохом согласился:

— Зинд драй...

И посмотрел так, чтобы увидеть одновременно и покрытую кляксами страницу и того, кто вошел.

Здесь одна из младших групп занимается по-немецки.

А в физическом кабинете за столами, уставленными приборами, те, что постарше, заняты практическими работами по физике. Стучит метроном, в колбе закипает жидкость, сыплется дробь на весы, и пытливые детские глаза следят за шкалой термометра.

В классе самой старшей группы 2-й ступени за старенькими партами подростки решают задачу по физике о грузе, погруженном в воду. Преподаватель, пошлепывая валенками, переходит от парты к парте, наклоняется к тетрадкам, к обкусанным карандашам, близоруко щурится...

* * *

Потом звонок. Опять перемена. Опять вместо тишины высоко взмывающий гул.

Из класса, где шел урок одной из старших групп, выходит преподаватель-математик. Студенческая тужурка. Потертые брюки упрятаны в те же неизбежные валенки.

— Холодно у вас.

— Нет, тепло,— отвечает он, радостно улыбаясь.

— То есть как? Я в шубе, а тем не менее...

— А бывает гораздо холоднее,— поясняет математик.

И действительно, видно, что и ребята и учителя не избалованы теплом. Все они почти в пальто. Но есть и стойкие, привычные люди. И этот человек с лицом типичного студента бодро часами сидит в школе в одной тужурке, постукивает мелом и рисует на доске груз в 5 килограммов или термометр, на котором полных пятнадцать градусов. Настоящий термометр, однако, показывает меньше. И даже гораздо меньше, судя по тому, что все время является желание засунуть руки в рукава.

* * *

Да, в школе холодно. Школа бедна. Шеф ее — Коминтерн дал ей немного угля, но вот уголь вышел, и школа выкраивает из своих скудных средств гроши на дрова. И покупает их на частном складе.

¹ — Сколько здесь картин?

Здесь три картины. Картины. (нем.).

Школа бедна Не только топливом. На всем лежит печать скудости. Кабинет физический беден Приборов так мало что сколько-нибудь сложных показательных опытов поставить нельзя. Беден естественный кабинет Доски, парты в классах все это старенькое, измызганное, потертое, все это давно нужно на слом.

Живой дух в школе но при 10° и самый живой начинает ежиться

* * *

Смотришь на преподавательниц, которые суеются среди малышей. Смотришь на эти выцветшие вязаные кофточки, на штопанные юбки, подшитые валенки и думаешь:

«Чем живет вся эта учительская братия?»

Этот математик секретарь совета получает 150 миллионов в месяц.

- Одеваться не на что, говорит математик и снисходительно смотрит на свою засаленную университетскую оболочку, ну, донашиваем старое.

- Можно, конечно, прирабатывать частными уроками, - рассказывает учитель, - но на них не хватает времени. Школа берет его слишком много Днем занятия, а вечером заседания, комиссии, совещания, разработка учебного плана... Мало ли что...

Что может быть в результате такой жизни?

Бегство бывает Каждую весну не выдержавшие пачками покидают шатающиеся стулья в классах и идут куда глаза глядят На конторскую службу. Или стараются попасть в Моно.

При слове «Моно» глаза учителя загораются

- О, Моно! - Он сияет - У Моно ставки в три раза больше

« $150 \times 3 = 450$ », - мысленно перемножаю я

Там замечательно ликует математик, - школы Мос совета бога-а-тые.. А наши он машет рукой - наши

- Какие ваши?

- Да вот Главсоцвосовские Все бедные Трудно Трудно Потому и бегут каждую весну А бегство школе тяжкая рана. Приходят новые, но преемственность работы теряется, а это очень плохо

* * *

Опять кончается перемена Стихает в коридорах За партами рядами вырастают стриженные головки Пора уходить.

* * *

О положении учителей писали много раз И сам я читал и пропускал мимо ушей. Но глянцевиные вытертые лотки и стоптанные валенки глядят слишком выразительно Надо принимать

меры к тому, чтобы обеспечить хоть самым необходимым учительские кадры, а то они растают, их съест туберкулез, и некому будет в классах школы городка III Интернационала наполнять знанием стриженные головенки советских ребят.

1923 г.

ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ КОММУНА

Одна из руководительниц в пальто и калошах стояла в вестибюле и говорила:

Заведующий поехал на заседание, а Сергей Федорович пошел по воинской повинности, и мне, как назло, сейчас нужно уходить. Такая досада... Как же тут быть? Впрочем, может быть, вам Леша все покажет?..

Дискант с площадки лестницы отозвался:

- Леша чинит замки.

- Позовите Лешу!

Сейчас!

И вверху дискант закричал:

— Ле-еша!

Послышались откуда-то издали сверху звуки пианино, а в ответ ему птичье пересвистыванье и писк. В вестибюле висел матовый с бронзой фонарь, было тихо и очень тепло, и если бы не плакат, на котором с одной стороны был мощный корабль, с другой — паровоз, а посередине — «Знание все победит», — казалось бы, что это вовсе не в коммуне, а дома, как в детстве — в доме уютном и очень теплом.

Леша пришел через несколько минут. Леша оказался председателем президиума детской коммуны — блондином-подростком в черных штанах и защитной куртке. В руках у него были старенькие замки. За Лешей тотчас вынырнул некто круглоголовый, стриженный и румяный. Из расспросов выяснилось, что это не кто иной, как:

— Кузьмик Евстафий, 13-ти лет.

Кузьмик Евстафий был в серой куртке, коротких серых же штанах и по-домашнему совершенно босой.

Леша повел в светлый зал — студию художественного творчества. Тут руководительница ушла, облегченно вздохнув, и на прощание сказала еще раз:

— Они вам все объяснят...

Студия — как музей. На стенах, столах, на подставках нет клочка места, где бы не было детских работ. Высоко на стене надпись:

«Не сознание людей определяет их бытие, но напротив — общественная жизнь определяет их сознание».

Под надписью ряды рисунков, а на широких подставках сделанные из картона, палок и ваты — снежные пространства

и юрты, северные угрюмые люди в мехах и олени.

— Какая жизнь у них, такой и бог,— говорит Леша. Это верно. При такой жизни хорошего бога не сочинишь, и бог северных некультурных людей — безобразный, с дико-изумленными глазами, неумный, по-видимому, и мучный, холодный, северный бог на стене.

Светает, товарищ,
Работать пора —
Работы усиленной
Требует край.

Под четверостишием — завод имени Бухарина. Он электрифицирован! У картонного корпуса лампа. В ограде идут рабочие. И сразу видно, что они сознательные, потому что у одного из них в руках газета.

Рядом макет: «Как жил рабочий раньше и теперь». В правой половине тьма, сумерки, мрачная печь, голый стол, теснота, нары. В левой — опрятная комната с занавесками, мебель, просторно и чисто.

«Школа прежде и теперь». Прежняя школа под эмблемой: цепь, религиозная книжка, кнут; новая — под серпом и молотом. В старой школе выпиленные из дерева горбатые ученики уткнулись носами в парты, и стоит сердитый учитель с палкой. В новой — парт нет. Там телескоп, там станки, рубанки, книги. И розоватый свет льется через огромные окна в новую просторную школу.

— А вот некоторые девочки думают, что с партами лучше, по-прежнему,— говорит Леша.

Школа, фабрика, театр — нет угла жизни, который бы не отразился в рисунках и макетах, сотворенных детскими руками в этой огромной комнате, где разбегаются глаза. Старшие ребята соорудили макеты к «Вию», младшие нагромодили маленькие примитивные и наивные макеты с декорациями к пьесам, которые они видели.

Стена полна рисунков карандашом и красками. И сверху гордо красуется надпись «Иллюстрация».

— А почему одно «л»?

— А это малыш ошибся.

Под «иллюстрацией» все, что угодно. В красках: красноармеец продает цветок в день борьбы с туберкулезом. Покупают его два явных буржуа и буржуйка в мехах. Видел малыш такую сцену и нарисовал. «Охота зимой на зайца» — представлена лихим охотником и зайцем, который перевернулся кверху ногами. Другой заяц сам летит на охотника. Рисунки, рисунки... Дальше детские поделки: валеики, перчатки, сумочки, рукоделье.

— Это девочки делали.

В теплом коридоре рядом со студией свистят и перекликаются птицы. Прыгают по жердочкам чижи и воробьи.

И лишь открывается дверь в класс естествознания, рыжая

белка с шорохом сбегает со стола, прыгает на Кузьмника Евстафия, цепляясь, заглядывает острой мордочкой в карман

В светлом классе — всё — жизнь. Побегі вербы в бутылках с водой заполнили их серебристыми корнями. Белка живет в настоящем дупле в верхнем этаже огромной клетки. В аквариумах плывут красноватые и золотистые рыбки. Двое аксолотлей, похожих на белых маленьких крокодилов, шевелят красноватыми мохнатыми ожерельями в тазу.

— Они жили в аквариуме, да там на рыбок села болезнь — плесень, вот мы их перевели временно в таз, — объясняет естествовед Кузьмик Евстафий.

По стенам — гербарии, коллекций бабочек, на стойках — минералы.

В библиотеке — ковер, тишина, давно невиданный уют, богатство книг в застекленных шкафах. Две девочки сидят, читают. Лежат газеты на столах. Все звучит и звучит в отдалении пианино, и в зале — со сценой занавес, за ним на деревянных подмостках декораций.

И нигде нет взрослых, начинает казаться, что они и не нужны совсем в этой изумительной ребячьей республике — коммуне.

В спальнях ребят внизу чистота поражающая.

На спинках кроватей полотенца. На полу нет соринки.

— Кто убирает у вас?

— Сами. Вон расписание дежурств.

В вестибюле в глубокой нише, в которую скупно льется свет из стеклянной пятиконечной звезды — розового окна, — электро-технический отдел. Мальчуган спускается по ступенькам к нише и начинает возиться с проводами. Вспыхивает свет в маленьком трамвае, и с гудением он начинает идти по рельсам. Трамвай как настоящий — с дугой, с мотором.

Между двумя картонными семиэтажными стенами лифт. Пускают в него ток, и лифт, освещенный электрической лампой, ползет вверх. Дальше телеграф. Мальчуган стучит по клавише и объясняет мне, как устроен телеграф. Электрический звонок. Электромагниты.

Все это ребята соорудили под руководством электротехника-руководителя.

* * *

Эта коммуна живет в особняке купца Шипкова на Полянке. В ней 65 ребят, мальчиков и девочек от 8 до 16 лет, большею частью сироты рабочих. В две смены, утреннюю и вечернюю, они учатся в соседних школах, а дома, у себя в коммуне, готовят по различным предметам.

Управляется эта коммуна детским самоуправлением. Есть семь комиссий — хозяйственная, бельевая, библиотечная, санитарная, учетно-распределительная, инвентарная. Сверх того,

была еще и «кролиководная». Образовалась она, как только коммунальные ребята поселили на чердаке кроликов. Но вслед за кроликами раздобыла коммуна лисицу. Дрянью-лисица забралась на чердак и передушила всех кроликов, прикончив тем самым и кролиководную комиссию.

Итак, от каждой из комиссий выделен один представитель в правление, а правление выделило президиум из трех человек. Во главе его и стоит этот самый Леша-блондин.

Судя по тому, что видишь в шипковском особняке, правление справляется со своей задачей не хуже, если не лучше, взрослых. Ведает оно всем распорядком жизни. В его руках все грани ребячьей жизни. Зорким глазом смотрит правление за всем, вплоть до того, чтобы не сорили.

— А если кто подсолнушки грызет,— говорит зловеще Кузьмик,— так его назначают на дежурство по кухне.

Но не только подсолнушки в поле зрения ребячьего управления. Решают ребята и более сложные вопросы.

Недавно мэр Лиона, Эррио, посетил коммуну. Он долго осматривал ее, объяснялся с ребятами через переводчика. Наконец, уезжая, вынул стомиллионную бумажку детям на конфеты. Но дети ее не взяли. Потом уже, чтоб не обидеть иностранца, составили тут же заседание, потолковали и постановили:

Взять и истратить на газеты и журналы.

Правление улаживает все конфликты и ссоры между ребятами, лишь только они возникают.

— А если кто сорится...— внушительно начинает Кузьмик.

Правление ведает назначением на дежурства, снабжением коммуны хлебом, наблюдением за кухней. Президиум ведет собрания. У президиума в руках нити ко всем комиссиям. И комиссии блестяще ведут библиотечное дело. Комиссии смотрят за санитарным состоянием коммуны. Благодаря им в чистоте, тепле живет ребячья коммуна в шипковском особняке.

— Работа наладилась,— говорит Леша.— Правление уже изживает себя. Оно слишком громоздко. Нам теперь достаточно трех человек президиума.

Идем смотреть последнее, что осталось,— столовую в нижнем этаже, где ребяташки в 8 час. утра пьют чай, в два обедают. В столовой, как и всюду, чисто. На стене плакат: «Кто не работает, тот не ест».

Опять в вестибюль с разрисованными стенами, с беззвучной лестницей с ковром. Опять прислушиваешься, как нежно и глухо сверху несутся звуки пианино — девочки играют в четыре руки, да птицы, снегيري и чижи, гомонят в клетках, прыгают.

И нужно прощаться с председателем президиума Лешей и с знаменитым румяным кролиководом — Кузьмиком Евстафием 13-ти лет.

Решительно скажу: гога

Другая сыщется столица, как Москва

Панорама первая: Голые времена

Панорама первая была в густой тьме, потому что въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября 1921 года. По гроб моей жизни не забуду ослепительного фонаря на Брянском вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо, что бы ни происходило, что бы вы ни говорили, Москва — мать, Москва — родной город. Итак первая панорама глыба мрака и три огня

Затем Москва показалась при дневном освещении сперва — в слезливом осеннем тумане, в последующие дни в жгучем морозе Белые дни и драповое пальто Драп, драп О чертова дерюга! Я не могу описать, насколько я мерз Мерз и бегал Бегал и мерз.

Теперь, когда все откормились жирами и фосфором, поэты начинают писать о том, что это были героические времена. Как теоретически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный — рожденный ползать, и, ползая по Москве, я чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Все буржуи заперлись на дверные цепочки и через щель высывали липовые мандаты и удостоверения. Закутавшись в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие «чижииков», трудгужналог и тому подобные напасти. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской.

К героям нечего было и идти. Герои сами были голы, как соколы, и питались какими-то инструкциями и желтой крупой, в которой попадались небольшие красивые камушки вроде амethystов.

Я оказался как раз посредине обеих групп, и совершенно ясно и просто передо мною лег лотерейный билет с надписью — «смерть». Увидев его, я словно проснулся. Я развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то что удары сыпались на меня градом, и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня, при первом же взгляде на мой костюм, в тан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартиры на том основании, что если я и не чистый воды буржуй, то во всяком случае его суррогат. И не выселили. И не выселят. Смею вас заверить. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс манда-тами, как собака шерстью, и научился питаться мелкокаратной разноцветной кашей. Тело мое стало худым и жилистым, сердце железным, глаза зоркими. Я закален.

Закаленный с удостоверениями в кармане, в драповой дерюге, я шел по Москве и видел панораму. Окна были в пыли.

Они были заколочены. Но кое-где уже торговали пирожками. На углах обязательно помещалась вывеска «Распределитель №...». Убейте меня, и до сих пор не знаю, что в них распределяли. Внутри не было ничего, кроме паутины и сморщенной бабы в шерстяном платке с дырой на темени. Баба, как сейчас помню, размахивала руками и сипло бормотала:

— Заперто... заперто, и никого, товарищ, нетути!

И после этого провалилась в какой-то люк.

Возможно, что это были героические времена, но это были голые времена.

Панорама вторая: Сверху вниз

На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка — верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нирензее, а ныне Дома Советов в Гнездниковском переулке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маковки сорока сороков. Апрельский ветер дул на платформе крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. Но все же это был уже теплый ветер. И казалось, что он задувает снизу, что тепло подымается от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых городов, но снизу, сквозь тонкую завесу тумана, подымался все же какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко, до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства.

— Москва звучит, кажется, — неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.

— Это — нэп, — ответил мой спутник, придерживая шляпу.

— Брось ты это чертовое слово! — ответил я. — Это вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить.

На душе у меня было радостно и страшно. Москва начинает жить, это было ясно, но буду ли жить я? Ах, это были еще трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но все же я и подобные мне не ели уже крупы и сахарина. Было мясо на обед. Впервые за три года я не «получил» ботинки, а «купил» их; они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на два.

Внизу было занято и страшновато. Нэпманы уже ездили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами.

И спустившись с высшей точки в гущу, я начал жить опять. Они не выбросили. И не выбросят, смею уверить.

Внизу меня ждала радость, ибо нет нэпа без добра: баб с дырами на темени повыкинули всех до единой. Паутина исчезла: в окнах кое-где горели электрические лампочки и гирляндами висели подтяжки.

Это был апрель 1922 года.

Панорама третья: На полный ход

В июльский душный вечер я вновь поднялся на кровлю того же девятиэтажного нирензеевского дома. Цепями огня светились бульварные кольца, и радиусы огня уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но звук достиг. Теперь это был явственный звук: Москва ворчала, гудела внутри. Огни, казалось, трепетали, то желтые, то белые огни в черно-синей ночи. Скрежет шел от трамваев, они звякали внизу, и глухо, впереводку, с бульвара неслись звуки оркестров.

На вышке трепетал свет. Гудел аппарат — на экране был помещичий дом с белыми колоннами. А на нижней платформе, окаймляющей верхнюю, при набегавшем иногда ветре шелестели белые салфетки на столах, и фрачные лакеи бегали с блестящими блюдами. Нэпманы влезли и на крышу. Под ногами были четыре приплюснутых головы с низкими лбами и мощными челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали среди нэпманских голов, и стол был залит цветами. Белые, красные, голубые розы покрывали стол. На нем было только пять кусочков свободного места, и эти места были заняты бутылками. На эстраде некто в красной рубашке, с партнершей — девицей в сарафане — пел частушки:

У Чичерина в Москве
Нотное издательство!

Пианино рассыпалось каскадами.

— Бра-во! — кричали нэпманы, звеня стаканами. — Бис!

Приплюснутая и сверху казавшаяся лишенной ног девица семенила к столу с фужером, полным цветов.

— Бис! — кричал нэпман, топтал ногами, левой рукой обнимал даму за талию, а правой покупал цветок. За неимением места в фужерах на столе, он воткнул его в даму, как раз в то место, где кончался корсаж и начиналось ее желтое тело. Дама хихикнула, дрогнула и ошпарила нэпмана таким взглядом, что он долго глядел мутно, словно сквозь пелену. Лакей вырос из асфальта и перегнулся. Нэпман колебался не более минуты над карточкой и заказал. Лакей махнул салфеткой, всунулся в стеклянную дыру и четко бросил:

Восемь раз оливье, два лангет-пикана, два бифштекса.

С эстрады грянул и затопал лихой, веселый матросский танец. Замелькали ноги в лакированных туфлях и в штанах клешем.

Я спустился с верхней площадки на нижнюю, потом - в стеклянную дверь и по бесконечным широким нирензеевским лестницам ушел вниз. Тверская приняла меня огнями, автомобильными глазами, шорохом ног. У Страстного монастыря толпа стояла черной стеной, давали сигналы автомобили, обходя ее. Над толпой висел экран. Дрожа, дробясь черными точками, мутясь, погасая и опять вспыхивая на белом полотне, плыли картины. Бронепоезд с открытыми площадками шел, колыхаясь. На площадке, молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди вгоняли снаряд в орудие. Взмах руки, орудие вздрагивало, и облако дыма отлетало от него.

На Тверской звенели трамваи, и мостовая была извороченной грудой кубиков. Горели жаровни. Москву чинили и днем и ночью.

Это был душный июль 1922 года.

Панорама четвертая: Сейчас

Иногда кажется, что Больших театров в Москве два. Один — такой: в сумерки на нем загорается огненная надпись. В кронштейнах вырастают красные флаги. След от сорванного орла на фронте бледнеет. Зеленая квадрига чернеет, очертания ее расплываются в сумерках. Она становится мрачной. Сквер пустеет. Цепями протягиваются непреклонные фигуры в тулупах поверх шинелей, в шлемах, с винтовками, с примкнутыми штыками. В переулках на конях сидят всадники в черных шлемах. Окна светятся. В Большом идет съезд.

Другой — такой: в излюбленный час театральной музыки, в семь с половиной, нет сияющей звезды, нет флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой стоит громадой, как стоял десятки лет. Между колоннами желто-тускловатые пятна света. Приветливые театральные огни. Черные фигуры текут к колоннам. Часа через два внутри полутемного зала в ярусах громоздятся головы. В ложах на темном фоне ряды светлых треугольников и ромбов от раздвинутых завес. На сукне волны света, и волной катится в грохоте меди и раскатах хора триумф Радамеса. В антрактах, в свете, золотым и красным сияет театр и кажется таким же нарядным, как раньше.

В антракте золото-красный зал шелестит. В ложах бенуара причесанные парикмахером женские головы. Штатские сидят, заложив ножку на ножку, и, как загипнотизированные, смотрят на кончики своих лакированных ботинок (я тоже купил себе лакированные). Чин антрактного действия нарушает только одна эппманша. Перегнувшись через барьер ложи в бельэтаже, она взволнованно кричит через весь партер, сложив руки рупором:

— Дора! Пробирайся сюда! Митя и Соня у нас в ложе!

Днем стоит Большой театр — желтый и грузный, облупившийся, потертый. Трамваи огибают Малый, идут к нему. Мюр и Мерилиз, лишь только начнет темнеть, показывает в огромных стеклах ряды желтых огней. На крыше его вырос круглый щит с буквами: «Государственный Универсальный магазин». В центре щита лампа загорается вечером. Над Незлобинским театром две огненные строчки: «Сегодня банкноты 251» — то гаснут, то вспыхивают. В Столешниковом на экране корявые строчки: «Почему мы советуем покупать ботинки только в...» На Страстной площади, на крыше — экран, объявления, то цветные, то черные, вспыхивают и погасают. Там же, но на другом углу, купол вспыхнет, потом потемнеет, вспыхнет и потемнеет — «Реклама».

Все больше и больше этих зыбких цветных огней на Тверской, Мясницкой, на Арбате, Петровке. Москва заливается огнями с каждым днем все сильнее. В окнах магазинов всю ночь не гаснут дежурные лампы, а в некоторых почему-то освещение *à giorno*¹. До полуночи торгуют гастрономические магазины МПО.

Москва теперь и ночью спит, не гася всех огненных глаз.

С утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов. Грузовики, ковыляя и погромыхивая цепями, ползут по разъезженному рыхлому, бурому снегу. В ясные дни с Ходынки летят с басовым гудением аэропланы. На Лубянке вкруговую, как и прежде, идут трамваи, выскакивая с Мясницкой и с Большой Лубянки. Мимо первопечатника Федорова, под старой зубчатой стеной, они один за другим валят под уклон вниз к «Метрополю». Мутные стекла в первом этаже «Метрополя» просветлили, словно с них бельма сняли, и показали ряды цветных книжных обложек. Ночью драгоценным камнем над подъездом светится шар: «Госкино II».

Напротив, через сквер, неожиданно воскрес Тестов и высунул в подъезде карточку: крестьянский суп. В Охотном ряду вывески так огромны, что подавляют магазинчики. Но Параскева-Пятница глядит печально и тускло. Говорят, что ее снесут. Это жаль. Сколько видал этот узкий проход между окнами с мясными тушами и ларьками букинистов и белым боком церкви, ставшей по самой середине улицы.

Часовню, что была на маленькой площади, там, где Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже снесли.

Торговые ряды на Красной площади, являвшие несколько лет изумительный пример мерзости запустения, полны магазинов. В центре у фонтана гудит и шаркает толпа людей, торгующих валютой. Их симпатичные лица портит одно: некоторое выражение неуверенности в глазах. Это, по-моему, вполне понятно: в ГУМе лишь три выхода. Другое дело у Ильинских ворот — сквер, простор, далеко видно...

¹ Как днем (ит.).

Эпидемически буйно растут трактиры и воскресают. На Цветном бульваре в дыму, в грохоте рвутся с лязгом звуки «натуральной» польки:

Пойдем, пойдем, ангел милый,
Польку танцевать с тобой.
С-с-с-с-слышу, с-с-слышу с-с-с-с-с...
...Польки звуки неземной!!!

Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в беседу, жалуются на тугие времена, на то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает киноплакаты на полотнищах поперек улицы. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают: «Суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом», десятки диспутов, лекций, концертов. Судят «Санина», судят «Яму» Куприна, судят «Отца Сергия», играют без дирижера Вагнера, ставят «Землю дышом» с военными прожекторами и автомобилями, дают концерты по радио, портные шьют стрелецкие гимнастерки, нашивают сияющие звезды на рукава и шевроны, полные ромбов. Завалили киоски журналами и десятками газет...

И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег. Еще басистей загудели грузовики, яростней и веселей. К Воробьевым горам уже провели ветку, там роют, возят доски, там скрипят тачки — готовят Всероссийскую выставку.

И, сидя у себя в пятом этаже, в комнате, заваленной букинистскими книгами, я мечтаю, как летом влезу на Воробьевы туды, откуда глядел Наполеон, и посмотрю, как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, блестит Москва. Москва — мать.

1923 г.

БЕНЕФИС ЛОРДА КЕРЗОНА

(От нашего московского корреспондента)

Ровно в шесть утра поезд вбежал под купол Брянского вокзала. Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами — Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить.

Вот они, извозчики. На Садовую запросили 80 миллионов. Сторговался за полтинник. Поехали. Москва. Москва. Из парков уже идут трамваи. Люди уже куда-то спешат. Что-то здесь за месяц новенького? Извозчик повернулся, сел боком, повел туманные, двоедушные речи. С одной стороны правительство ему нравится, но с другой стороны — шины полтора миллиарда! Первое Мая ему нравится, но антирелигиозная пропаганда «не соответствует». А чему, неизвестно. На физиономии

написано, что есть какая-то новость, но узнать ее невозможно.

Пошел весенний благодатный дождь, я спрятался под кузов, и извозчик, помахивая кнутом, все рассказывал разные разности, причем триллионы называл «триллиардами» и плел какую-то околесицу насчет патриарха Тихона, из которой можно было видеть только одно, что он — извозчик — путает Цепляка, Тихона и епископа Кентерберийского.

И вот дома. А никуда я больше из Москвы не поеду. В десять простыня «Известий», месяц в руках не держал. На первой же полосе — «Убийство Воровского!»

Вот оно что. То-то у извозчика — физиономия. В Москве уже знали вчера. Спать не придется днем. Надо идти на улицу, смотреть, что будет. Тут не только Воровский. Керзон. Керзон. Керзон. Ультиматум. Канонерка. Тральщики. К протесту, товарищи!! Вот так события! Встретила Москва. То-то показалось, что в воздухе какое-то электричество!

И все-таки сон сморил. Спал до двух дня. А в два проснулся и стал прислушиваться. Ну да, конечно, со стороны Тверской — оркестр. Вот еще. Другой. Идут, очевидно.

В два часа дня Тверскую уже нельзя было пересечь. Непрерывным потоком, сколько хватал глаз, катилась медленно людская дента, а над ней шел лес плакатов и знамен. Масса старых знакомых, октябрьских и майских, но среди них мельком новые, с изумительной быстротой изготовленные, с надписями, весьма многозначительными. Проплыл черный траурный плакат: «Убийство Воровского — смертный час европейской буржуазии». Потом красный: «Не шутите с огнем, господин Керзон. Порох держим сухим».

Поток густел, густел, стало трудно пробираться вперед по краю тротуара. Магазины закрылись, задернули решетками двери. С балконов, с подоконников глядели сотни голов. Хотел уйти в переулок чтобы окольным путем выйти на Страстную площадь, но в Мамонтовском безнадежно застряли ломовики, две машины и извозчики. Решил катиться по течению. Над толпой поплыл грузовик-колесница. Лорд Керзон в цилиндре, с раскрашенным багровым лицом, в помятом фраке, ехал стоя. В руках он держал веревочные цепи, накинутые на шею восточным людям в пестрых халатах, и погонял их бичом. В толпе сверлил пронзительный свист. Комсомольцы пели хором:

Пиши, Керзон, но знай ответ:

Бумага стерпит, а мы нет!

На Страстной площади навстречу покатился второй поток. Шли красноармейцы рядами без оружия. Комсомольцы кричали им по складам:

Да здрав-ству-ет Крас-на-я Ар-ми-я!!

Милиционер ухитрился на несколько секунд прорвать реку и пропустить по бульвару два автомобиля и кабриолет. Потом ломовикам хрипло кричал:

— В объезд!

Лента хлынула на Тверскую и поплыла вниз. Из переулка вынырнул знакомый спекулянт, посмотрел: знамена, многозначительно хмыкнул и сказал:

— Не нравится мне это что-то... Впрочем, у меня грыжа. Толпа его затерла за угол, и он исчез.

В Совете окна были открыты, балкон забит людьми. Трубы в потоке играли «Интернационал», Керзон, покачиваясь, ехал над головами. С балкона кричали по-английски и по-русски:

— Долой Керзона!!

А напротив на балкончике под обелиском Свободы Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:

...британ-ский лев вой!

Ле-вой! Ле-вой!

— Ле-вой! Ле-вой! — отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибала к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:

— Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!

И стал объяснять:

— Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо!! Когда убивали бакинских коммунистов...

Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:

— Вставай, проклятьем заклеянный!

Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:

— В отставку Керзона!!

В Охотном во всю ширину шли бесконечные ряды, и видно было, что Театральная площадь залита народом сплошь. У Иверской трепетно и тревожно колыхались огоньки на свечках, и припадали к иконе с тяжкими вздохами четыре старушки, а мимо Иверской через оба пролета Вознесенских ворот бурно сыпали ряды. Медные трубы играли марши. Здесь Керзона несли на штыках, сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Керзоном из пролета выехал джентльмен с доской на груди: «Нота», затем гигантский картонный кукиш с надписью: «А вот наш ответ».

По Никольской удалось проскочить, но в Третьяковском опять хлынул навстречу поток. Тут Керзон мотался на веревке на шесте. Его били головой о мостовую. По Театральному проезду в людских волнах катились виселицы с деревянными скелетами и надписями: «Вот плоды политики Керзона». Лакнированные машины застряли у поворота на Неглинный в гуще народа, а на Театральной площади было сплошное море. Ничего

подобного в Москве я не видел даже в октябрьские дни. Несколько минут пришлось нырять в рядах и закипающих водоворотах, пока удалось пересечь ленту юных пионеров с флажками, затем серую стену красноармейцев и выбраться на забитый тротуар у Центральных бань. На Неглинном было свободно. Трамваи всех номеров, спутав маршруты, поспешно уходили по Неглинному. До Кузнецкого было свободно, но на Кузнецком опять засверкали красные пятна и посыпались ряды. Рахмановским переулком на Петровку, оттуда на бульварное кольцо, по которому один за другим шли трамваи. У Страстного снова толпы. Выехала колесница — клетка. В клетке сидели Пилсудский, Керзон, Муссолини. Мальчуган на грузовике трубил в огромную картонную трубу. Публика с тротуаров задирала головы. Над Москвой медленно плыл на восток желтый воздушный шар. На нем была отчетливо видна часть знакомой надписи: «...всех стран соеди...»

Из корзины пилоты выбрасывали листы летучек, и они, ныряя и чернея на голубом фоне, тихо падали в Москву.

1923 г

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Скорый № 7: Москва — Одесса

Отъезд

Новый Брянский вокзал грандиозен и чист. Человеку, не ездившему никуда в течение двух лет, все в нем кажется сверхъестественным. Уйма свободного места, блестящие полы, носильщики, кассы, возле которых нет остервеневших, измученных людей, рвущихся куда-то со стоном и руганью. Нет проклятой, липкой и тяжелой ругани, серых страшных мешков, раздавленных ребят, нет шмыгающих таинственных людей, живших похищением чемоданов и узлов в адской сумятице. Словом, совершенно какой-то неопиcуемый вокзал. Карманников мало, и одеты все они по-европейски. Носильщики, правда, еще хранят загадочный вид, но уже с некоторым оттенком меланхолии. Ведь билет теперь можно купить за день в «Метрополе» (очередь 5—6 человек!), а можно и по телефону его заказать. И вам его на дом пришлют.

Единственный раз защемило сердце, это когда у дверей, ведущих на перрон, я заметил штук тридцать женщин и мужчин с чайниками, сидевших на чемоданах. Чемоданы, чайники и ребята загибались хвостом в общий зал. Увидев этот хвост, увидев, с каким напряжением и хмурой сосредоточенностью люди на чемоданах глядят на двери и друг на друга, я застыл и побледнел.

Боже мой! Неужели же вся эта чистота, простор и спской-
стве — обман?! Боже мой! Распахнутся двери, взвоют дети,
посылятся стекла, «свистнут» бумажник... Кошмар! Посадка!
Кошмар.

Проходивший мимо некто в железнодорожной фуражке
успокоил меня:

— Не сомневайтесь, гражданин. Это они по глупости. Ни-
чего не будет. Места нумерованы. Идите гулять, а за пять минут
придете и сядете в вагон.

Сердце мое тотчас наполнилось радостью, и я ушел осмат-
ривать вокзал.

Минута в минуту — 10 ч. 20 м. — мимо состава мелькнула
красная фуражка, впереди хрипло свистнул паровоз, исчез за-
стекленный гигантский купол, и мимо окон побежали трубы,
вагоны, поздний апрельский снег.

В пути

Это черт знает что такое! Хуже вокзала. Купе на два ме-
ста. На диванах явно новые чехлы, на окнах занавески. Про-
водник пришел, отобрал билет и плацкарту и выдал квитанцию.
В дверь постучали. Вежливости неопишуемой человек в кожа-
ной тушурке спросил:

— Завтракать будете?

— О, да! Я буду завтракать!

А вот гармоник предохранительных между вагонами нет.
Из вагона в вагон, через мотающиеся в беге площадки, в пред-
последний вагон — ресторан. Огромные стекла, пол сплошь за-
крыт ковром, белые скатерти. Паровое отопление работает, и
при входе сразу охватывает истома.

Стелется синеватый, слоистый дым над столами, а мимо
в широких стеклах бегут перелески, поля с белыми пятнами
снега, обнаженные ветви, рощи, опять поля.

И опять домой, к себе в вагон через «жесткие», бывшие
третьеклассные вагоны. В купе та же истома, от трубы под
окном веет теплом — проводник затопил.

Вечером, после второго путешествия в ресторан и возвра-
щения, начинает темнеть. Как будто меньше снегу на полях.
Как будто здесь уже теплее. В лампах в купе накаливаются
нити, звучат голоса в коридоре. Слышны слова «банкнот»,
«безбожник». Мелькают пестрые листы журналов, и часто про-
ходит проводник с метелкой, выбрасывает окурки. В ресторан
уходят джентльмены в изящных пальто, в остроносых башма-
ках, в перчатках. Станции пробегают в сумерках. Поезд стоит
недолго, несколько минут. И опять и опять мотает вагоны, силь-
нее идет тепло от труб.

Ночью стихает мягкий вагон, в купе раздеваются, не слышно
сонного бормотания о банкноте, валюте, калькуляции, и в тепле
и сне уходят сотни верст, Брянск, Конотоп, Бахмач.

Утром становится ясно: снегу здесь нет и здесь тепло.

В Нежине, вынырнув из-под колес вагона, с таинственным и взбудораженным лицом выскакивает мальчишка. Под мышками у него два бочоночка с солеными огурцами.

— Пятнадцать лимонов! — пищит мальчишка.

— Давай их сюда! — радостно кричат пассажиры, размахивая деньгами. Но с мальчишкой делается что-то страшное. Лицо его искажается, он проваливается сквозь землю.

— Сумасшедший! — недоумевают москвичи. Вслед за мальчишкой выскакивает баба и тоже в корчах исчезает.

Загадка объясняется тотчас же. Мимо вагонов идет непреклонный страж в кавалерийской шинели до пят и раздраженно бормочет:

— Вот чертовы бабы!

Потом обращается к пассажирам:

— Граждане! Не нарушайте правил. Не покупайте у вагона. Вон — лавка!

Пассажиры устремляются в погоню за нежинскими огурцами и покупают их без нарушения правил и с нарушением тактовых.

Около часу дня, с опозданием часа на два, показывается из-за Дарницких лесов Днепр, поезд входит на заштопанный после взрывов железнодорожный мост, тянется высоко над мутными волнами, и на том берегу разворачивается в зелени на горах самый красивый город в России — Киев.

Под обрывами разбегаются заржавевшие пути. Начинают тянуться бесконечные и побитые в трепке, в войне составы, классные и товарные. Мелькает смутная стертая надпись на паровозе: «Пролетар...»

Пробегают здания, и на нем надпись — «Київ — II».

1923 г.

КОМАРОВСКОЕ ДЕЛО

С начала 1922 года в Москве стали пропадать люди. Случалось это почему-то чаще всего с московскими лошадиными барышниками или подмосковными крестьянами, приезжавшими покупать лошадей. Выходило так, что человек и лошади не покупал, и сам исчезал.

В то же время ночами обнаруживались странные и неприятные находки — на пустырях Замоскворечья, в развалинах домов, в брошенных недостроенных банях на Шаболовке оказывались смрадные серые мешки. В них были голые трупы мужчин.

После нескольких таких находок в Московском уголовном розыске началась острая тревога. Дело было в том, что все мешки с убитыми носили на себе печать одних и тех же рук — одной работы. Головы были размозжены, по-видимому, одним и тем же тупым предметом, вязка трупов была одинаковая —

всегда умелая и аккуратная руки и ноги притянуты к животу Завязано прочно, на совесть

Розыск начал работать по странному делу настойчиво. Но времени прошло немало, и свыше тридцати человек улеглись в мешки среди груд замоскворецких кирпичей

Розыск шел медленно, но упорно. Мешки вязались характерно — так вяжут люди привычные к запряжке лошадей. Не извозчик ли убийца? На дне некоторых мешков нашли следы овса. Большая вероятность: извозчик. 22 трупов уже нашли, но опознали из них только семерых. Удалось выяснить, что все были в Москве по лошадиному делу. Несомненно, извозчик.

Но больше никаких следов. Никаких нитей абсолютно от момента, когда человек хотел купить лошадь, и до момента, когда его находили мертвым, не было. Ни следа, ни разговоров ни встреч. В этом отношении дело действительно исключительное.

Итак, извозчик. Трупы в Замоскворечье, опять в Замоскворечье, опять. Убийца — извозчик, живет в Замоскворечье.

Агентская широкая петля охватила конные площади, чайные стоянки, трактиры. Шли по следам замоскворецкого извозчика.

И вот в это время очередной труп нашли со свежей пеленкой, окутывающей разможенную голову. Петля сразу сузилась: искали семейного, у него недавно ребенок.

Среди тысячи извозчиков нашли

Василий Иванович Комаров, легковой, проживал на Шаболовке в доме № 26. Извозным промыслом занимался странно: почти никогда не рядился, но на конной площади часто бывал. Деньги имел всегда. Пил много.

Ночью на 18 мая в квартиру на Шаболовке явилась агента с ордером окружной милиции, якобы по поводу самогонки. Легковой встретил их с невозмутимым спокойствием. Но когда стали открывать дверь в чуланчик на лестнице, он, выпрыгнув со второго этажа в сад, ухитрился бежать, несмотря на то что квартиру оцепили.

Но ловили слишком серьезно и в ту же ночь поймали в подмосковном Никольском, у знакомой молочницы Комарова. За стали Комарова за делом. Он сидел и писал на обороте удостоверения личности показание о совершенных им убийствах и в этом показании зачем-то путал и оговаривал своих соседей.

В Москве на Шаболовке в это время агенты осматривали последний труп, найденный в чулане. Когда чулан открывали, убитый был еще теплый.

* * *

Пока шло следствие, Москва гудела словом «Комаров извозчик». Говорили женщины о наволочках, полных денег, о том, что Комаров кормил свиней людскими внутренностями, и т. п.

Все это, конечно, вздор.

Но та сущая правда, что выяснилась из следствия, такого сорта, что уж лучше были бы и груды денег в наволочках, и даже гнусная кормежка свиней, или какие-нибудь зверства, извращения. Оно, пожалуй, было бы легче, если б было залутанней и страшней, потому что тогда стало бы понятно самое страшное во всем этом деле — именно сам этот человек — Комаров (несущественная деталь: он, конечно, не Комаров Василий Иванович, а Петров Василий Терентьевич. Фальшивая фамилия, вероятно, след уголовного, черного прошлого... Но это не важно, повторяю).

Никакого желания нет писать уголовный фельетон, уверяю читателя, но нет возможности заняться ничем другим, потому что сегодня неотступно целый день сидит в голове желание все-таки Комарова понять.

Он, оказывается, рогожи специальные имел, на эти рогожи спускал из трупов кровь (чтобы мешков не марать и саней); когда позволили средства, для этой же цели купил оцинкованное корыто. Убивал аккуратно и необычайно хозяйственно: всегда одним и тем же приемом, одним молотком по темени, без шума и спешки, в тихом разговоре (убитые все и были эти интересовавшиеся лошадьми люди. Он предлагал им на конной свою лошадь и приглашал их для переговоров на квартиру) наедине, без всяких сообщников — улав жену и детей.

Так бьют скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя.

Вне этого был он обыкновенным плохим человеком, каких миллионы. И жену, и детей бил и пьянствовал, но по праздникам приглашал к себе священников, те служили у него, он их угощал вином. Вообще был богомольный, тяжелого характера человек.

Репортеры, фельетонисты, обыватели щеголяли две недели словом «человек-зверь». Слово унылое, бессодержательное, ничего не объясняющее. И настолько выявлялась эта мясная хозяйственность в убийствах, что для меня лично она сразу убила все эти несуществующие «зверства», и утвердилась у меня другая формула: «и не зверь, но и ни в коем случае не человек».

Никак нельзя назвать человеком Комарова, как нельзя назвать часами одну луковицу, из которой вынут механизм.

Эту формулу для меня процесс подтвердил. Предстал перед судом футляр от человека — не имеющий в себе никаких признаков зверства. Впрочем, может быть, какие-нибудь особенные, доступные специалисту-психиатру черты и есть, но на обыкновенный взгляд — пожилой обыкновенный человек, лицо неприятное, но не зверское, и нет в нем никаких признаков вырождения.

Но когда это создание заговорило перед судом и, в особенности, захихикало сиплым смешком, хоть и не вполне, но в значительной мере (не знаю, как другим) мне стало понятно, что это значит — «не человек».

Когда его первая жена отравилась, оно — это существо — сказало:

— Ну и черт с ней!

Когда существо жени ось второй раз, оно не поинтересовалось даже узнать, откуда его жена, кто она такая.

— Мне-то что, детей, что ли, с ней крестить! (Смешок.)

— Раз, и квас! (На вопрос, как убивал. Смешок.)

— Хрен его знает! (На многие вопросы эта идиотская поговорка. Смешок.)

— Человечиной не кормили ваших поросят?

— Нет (хи-хи!)... да если б кормил, я бы больше поросят завел... (хи-хи!)

Дальше — больше. Все в жизни этот залихватский, гнусный «хрен», сопровождаемый хихиканьем. Оказывается, людей кругом нет. Есть «чудаки» и «хомуты». Презирает. Какая тут «звериность»? Если б зверино ненавидел и с яростью убивал, не так бы оскорбил всех окружающих, как этим изумительным презрением. Собаку — животное — можно было бы замучить этим из ряда выходящим невниманием, которым Комаров награждал окружающих людей. Жена его — «римско-католическая пани» (хи-хи). «Много кушает». Ни злобы, ни скупости. «Пусть кушает возле меня эта римско-католическая рвань». Злобы нет, но «оплеухи иногда я ей давал». Детей бил «для науки».

— Зачем убивали?

Тут сразу двойное. Но все понятно. Во-первых, для денег. Во-вторых, вот «не любил людей». Вот бывают такие животные, что убить его — двойная прибыль: и польза, и сознание, что избавишься от созерцания неприятного божьего создания. Гусеница, скажем, или змея... Так Комарову — люди.

Словом, создание — мираж в оболочке извозчика. Хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди. Вне людей.

Жуткий ореол «человека-зверя» исчез. Страшного не было. Но необычайно отталкивающее.

Убивать. Он боялся? Нет. Он — сильное, не трусливое существо.

По-моему, над интервьюерами, следствием и судом полегоньку даже глумился. Иногда чепуху какую-то городил. Но вяло с усмешечкой. Интересуетесь? Извольте. «Цыганку бы убить или попа»... Зачем? «Да так»...

И чувствуется, что никакой цыганки убивать ему вовсе не хотелось, равно как и попа, а так — насели с вопросами «чудаки», он и говорит первое, что взбредет на ум.

Интервьюер спросил, что он думает о том, что его ожидает. «Э... все поколеем!»

Равнодушен, силен, не труслив и очень глупый в человеческом смысле. Прибаутки его ни к селу ни к городу, мысли скупые нелепые. И на человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане!.. все это чуйки, отравленные большими городами.

Что касается силы.

В одну из ночей, не знаю, после какого именно убийства, вез запакованный обескровленный труп к Москве-реке. Милиционер остановил:

— Что везешь?

— А ты, дурной, — мягко ответил Комаров, — пощупай.

Милиционер был действительно «дурной». Он потрогал мешок и пропустил Комарова.

Потом Комаров стал ездить с женой.

Вследствие этих поездок на скамье рядом с Комаровым оказалась Софья Комарова.

Лицо тоже знакомое. Не раз на Сухаревке, на Доминковке, на Смоленском приходилось видеть такие длинные, унылые лица, желтые бабьи лица, окаймленные платком.

Комарова выводили, когда Софья давала показания, и, несмотря на это, сложилось впечатление, что она чего-то не договаривала. Думается, что никаких особенных тайн, впрочем, она не скрыла. Во время убийств Комаров ее высылал вместе с ребятами. А может быть, и помогала временам — прибрать, замыть после работы. Дело — женское.

Ну, и вот эти поездки.

«Так... дурочка... слабая», — определил ее муж. Несомненно, над тупой, пустой «римско-католической» бабой висела камнем воля мужа.

Приговор?

Ну, что тут о нем толковать.

Приговор в первый раз вынесли Комарову, когда милиция под конвоем повезла его, чтобы он показал, где закопал часть трупов (несколько убитых он зарыл близ своей квартиры на Шаболовке).

Словно по сигналу слетелась толпа. Вначале были выкрики, истерические вопли баб. Затем толпа зарычала потихоньку и стала наваливаться на милицейскую цепь — хотела Комарова рвать.

Непостижимо, как удалось милиции отбить и увезти Комарова.

Бабы в доме, где я живу, тоже вынесли приговор «сварить живьем».

— Зверюга. Мясорубка. У этих тридцати пяти мужиков сколько сирот оставил, сукни сын.

На суде три психиатра смотрели:

— Совершенно нормален. Софья — тоже.

Значит...

— Василия Комарова и жену его Софью к высшей мере наказания, детей воспитывать на государственный счет.

От души желаю, чтобы детей помнил тяжкий закон наследственности. Не дай бог походить им на покойных отца и мать.

1923 г.

КИЕВ-ГОРОД

Экскурс в область истории

Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах. Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, всящий в высоту...

Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских.

Но это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег...

...И вышло совершенно наоборот

Легендарные времена оборвались, и внезапно и грозно наступила история. Я совершенно точно могу указать момент ее появления: это было в 10 час. утра 2-го марта 1917 г., когда в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадочными словами:

- Депутат Бубликов.

Ни один человек в Киеве, за это я ручаюсь, не знал, что должны были обозначать эти таинственные 15 букв, но знаю одно: ими история подала Киеву сигнал к началу. И началось и продолжалось в течение четырех лет. Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддается. Будто уэлсовская атомистическая бомба лопнула под могилами Аскольда и Дира, и в течение 1000 дней гремело и колокотало и полыхало пламенем не только в самом Киеве, но и в его пригородах, и в дачных его местах в окружности на 20 верст радиусом.

Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьет всех до единого современных писателей и явится лет через 50 новый настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели на грандиозном памятнике 1917 до 1920 годам.

Пока что можно сказать одно: по счету киевлян, у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил.

В Киеве не было только греков. Не попали они в Киев случайно, потому что умное начальство их спешно увело из Одессы. Последнее их слово было русское слово:

Вата!

Я их искренно поздравляю, что они не пришли в Киев. Там бы их ожидала еще худшая вата. Нет никаких сомнений, что их выкинули бы вон. Достаточно припомнить: немцы, железные немцы в тазах на головах, явились в Киев с фельдмаршалом Эйхгорном и великолепными туго завязанными обозными фурами. Уехали они без фельдмаршала и без фур, и даже без пулеметов. Все отняли у них разъяренные крестьяне.

Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Семен Васильевич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли. Самыми последними под занавес приехали зачем-то польские паны (явление XIV-е) с французскими дальнобойными пушками.

Полтора месяца они гуляли по Киеву. Искушенные опытом киевляне, посмотрев на толстые пушки и малиновые выпушки, уверенно сказали:

Большевики опять будут скоро.

И все сбылось как по-писаному. На переломе второго месяца среди совершенно безоблачного неба советская конница грубо и буденно заехала куда-то, куда не нужно, и паны в течение

нескольких часов оставили заколдованный город. Но тут следует сделать маленькую оговорку. Все, кто раньше делали визит в Киев, уходили из него по-хорошему, ограичиваясь относительно безвредной шестидюймовой стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши же европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причем Цепной — вдребезги.

И посейчас из воды вместо великолепного сооружения — гордости Киева — торчат только серые унылые быки. А, поляки, поляки!.. Ай, яй, яй!..

Спасибо сердечное скажет вам русский народ.

Не унывайте, милые киевские граждане! Когда-нибудь поляки перестанут на нас сердиться и отстроят нам новый мост, еще лучше прежнего. И при этом на свой счет.

Будьте уверены. Только терпение...

Status praesens¹

Сказать, что «Печерска нет», это будет, пожалуй, преувеличением. Печерск есть, но домов в Печерске на большинстве улиц нету. Стоят обглоданные руины, и в окнах кой-где переплетенная проволока, заржавевшая, спутанная. Если в сумерки пройти по пустынным и гулким широким улицам, охватят воспоминания. Как будто шевелится теи, как будто шорох из земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, дробно стучат затворы... вот, вот вырастет из булыжной мостовой серая, расплывчатая фигура и ахнет сипло:

— Стой!

То мелькнет в беге цепь и тускло блеснут золотые погоны, то пропляшет в беззвучной рыси разведка в жупанах, в шапках с малиновыми хвостами, то лейтенант в монокле, с негнувшейся спиной, то вылощенный польский офицер, то с оглушающим бешеным матом пролетят, мотая колоколами-штанами, тени русских матросов.

Эх, жемчужина — Киев! Беспокойное ты место!..

Но это, впрочем, фантазия, сумерки, воспоминание.

Днем, в ярком солнце, в дивных парках над обрывами — великий покой. Начинают зеленеть кроны каштанов, одеваются липы. Сторожа жгут кучи прошлогодних листьев, таят дымом в пустынных аллеях. Редкие фигурки бродят по Мариинскому парку, склоняясь, читают надписи на вылинявших лентах венков. Здесь зеленые боевые могилки. И щит, окаймленный иссохшей зеленью. На щите исковерканные трубки, осколки измерительных приборов, разломанный виит. Значит, упал в бою с высоты неизвестный летчик и лег в гроб в Мариинском парке. В садах большой покой. В Царском светлая тишина. Будят

¹ Современное состояние (лат.).

ее только птички переклики да изредка доносящиеся из города звонки киевского коммунального трамвая.

Но скамеек нигде ни одной. Ни даже признаков скамеек. Больше того: воздушный мост — стрелой перекинутый между двумя обрывами Царского сада, лишился совершенно всех деревянных частей. До последней щепочки разнесли настил киевляне на дрова. Остался только железный остов, по которому, рискуя своей драгоценной жизнью, мальчики пробираются ползком и цепляясь.

В самом городе тоже есть порядочные дыры. Так, у бывш. Царской площади в начале Крещатика вместо огромного семиэтажного дома стоит обугленный скелет. Интересно, что самое бурное время дом пережил и пропал на хозрасчете. По точному свидетельству туземцев, дело произошло так. Было в этом здании учреждение хозяйственно-продовольственного типа. И был, как полагается, заведующий. И, как полагается, дозаведывался он до того, что или самому ему пропасть, или канцелярии его сгореть. И загорелась ночью канцелярия. Слетелись, как соколы, пожарные, находящиеся на хозрасчете. И вышел заведующий и начал вертеться между медными касками. И словно заколдовал шланги. Лилась вода, гремела ругань, лазили по лестницам, и ничего не вышло — не отстояли канцелярию.

Но проклятый огонь, не состоящий на хозрасчете и не поддающийся колдовству, с канцелярии полез дальше и выше, и дом сгорел, как соломенный.

Киевляне — народ правдивый, и все в один голос рассказывали эту историю. Но даже если это и не так, все-таки основной факт налицо — дом сгорел.

Но это ничего. Киевское коммунальное хозяйство начало обнаруживать признаки бурной энергии. С течением времени, если все будет, даст бог, благополучно, все это отстроится.

И сейчас уже в квартирах в Киеве горит свет, из кранов течет вода, идут ремонты, на улицах чисто и ходит по улицам этот самый коммунальный трамвай.

Достопримечательности

Это киевские вывески. Что на них только написано, уму непостижимо.

Оговариваюсь раз и навсегда: я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но, тем не менее, киевские вывески необходимо переписать.

Нельзя же, в самом деле, отбить в слове «гомеопатическая» букву «я» и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую. Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: «голярня», «перукарня», «цирульня» или просто-напросто «парикмахерская»!

Мне кажется, что из четырех слов — «молошна», «молочна», «молочарня» и «молошная» — самым подходящим будет пятое — молочная.

Ежели я заблуждаюсь в этом случае, то в основном я все-таки прав — можно установить единообразие. По-украински, так по-украински. Но правильно и всюду одинаково.

А то что, например, значит «С.М.Р. іхел»? Я думал, что это фамилия. Но на голубом фоне совершенно отчетливы точки после каждой из трех первых букв. Значит, это начальные буквы каких-то слов? Каких?

Прохожий киевлянин на мой вопрос ответил:

— Чтoб я так жил, как я это знаю.

Что такое «Karasik» — это понятно, означает «Портной Карасик»; «Дитячий притулок» — понятно благодаря тому, что для удобства национальных меньшинств сделан тут же перевод: «Детский сад», но «смеріхел» непонятен еще более, чем «Коуту всерокомпама», и еще более ошеломляющ, чем «Ідальня».

Население. Нравы и обычаи

Какая резкая разница между киевлянами и москвичами! Москвичи — зубастые, напористые, летающие, спешащие, американизированные. Киевляне — тихие, медленные и без всякой американизации. Но американской складки людей любят. И когда некто в уродливом пиджаке с дамской грудью и наглых штанах, подтянутых почти до колен, прямо с поезда врывается в их переднюю, они спешат предложить ему чаю и в глазах у них живейший интерес. Киевляне обожают рассказы о Москве, но ни одному москвичу я не советую им что-нибудь рассказывать. Потому что, как только вы выйдете за порог, онн хором вас признают лгуном. За вашу чистую правду.

Лишь только я раскрыл рот и начал бесстрастное повествование, в глазах у моих слушателей появились такие веселые огни, что я моментально обиделся и закрылся. Попробуйте им объяснить, что такое казино, или «Эрмтаж» с цыганскими хорами, или московские пивные, где выпивают море пива и хоры с гармониками поют песнь о разбойнике Кудеяре:

...«Господу богу помолимся»...

что такое движение в Москве, как Мейерхольд ставит пьесы, как происходит сообщение по воздуху между Москвой и Кенигсбергом или какие хваты сидят в трестах и т. д.

Киев такая тихая заводь теперь, темп жизни так непохож на московский, что киевлянам все это непонятно.

Киев стихает к полуночи. Наутро чиновники идут на службу в свои всерокомпы, а жены нянчат ребят, а свояченицы, чудом че сокращенные, напудрив носы, отправляются служить в «Ару».

«Ара» — солнце, вокруг которого, как земля, ходит Киев.

Все население Киева разделяется на пьющих какао счастливых, служащих в «Аре» (1-й сорт людей), счастливых, получающих из Америки штаны и муку (2-й сорт), и чернь, не имеющую к «Аре» никакого отношения.

Женитьба заведующего «Арой» (пятая по счету) — событие, о котором говорят все. Ободраинное здание бывшей Европейской гостиницы, возле которого стоят киевские джинрикси, — великий храм, набитый салом, хинином и банками с надписью «Evaporated milk».

И вот кончается все это. «Ара» в Киеве закрывается, заведующий-молодожен уезжает в июне на пароходе в свою Америку, а между свояченицами стоит скрежет зубовой. И в самом деле, что будет — неизвестно. Хозрасчет лезет в тихую заводь из всех щелей, управляющий домом угрожает ремонтом парового отопления и носит с каким-то листом, в котором написано «смета в золотом исчислении».

А какое тут золотое исчисление у киевлян! Они гораздо беднее москвичей. И, сократившись, куда суется киевская барышня? Плацдарм маленький, и всекомпомов на всех не хватит.

Аскетизм

Нэп катится на периферию медленно, с большим опозданием. В Киеве теперь то, что в Москве было в конце 1921 года. Киев еще не вышел из периода аскетизма. В нем, например, еще запрещена оперетка. В Киеве торгуют магазины (к слову говоря, дрянью), но не выпирают нагло «Эрмитажи», не играют в лото на каждом перекрестке и не шляются на дутых шинах до рассвета, напившись Абрау-Дюрсо.

Слухи

Но зато киевляне вознаграждают себя слухами. ужно сказать, что в Киеве целая пропасть старушек и пожилых дам, оставшихся ни при чем. Буйные боевые годы разбили семьи, как нигде. Сыновья, мужья, племянники или пропали без вести, или умерли в сыпняке, или оказались в гостеприимной загранице, из которой не знают, как обратно выбраться, или «сокращены по штату». Никаким компом старушки не нужны, собес не может их накормить, потому что не такое учреждение собес, чтоб в нем были деньги. Старушкам действительно невмоготу, и живут они в странном состоянии: им кажется, что все происходящее — сон. Во сне они видят сон другой — желанную чаемую действительность. В их головах рождаются картины...

Киевляне же, надо отдать им справедливость, газет не читают, находясь в твердой уверенности, что там заключается «обман». Но так как человек без информации немислим на

земном шаре, им приходится получать сведения с евбаза (еврейский базар), где старушки вынуждены продавать канделябры.

Оторванность киевлян от Москвы, тлетворная их близость к местам, где зарождались всякие Тютюники, и, наконец, порожденная 19-м годом уверенность в непрочности земного является причиной того, что в телеграммах, посылаемых с евбаза, они не видят ничего невероятного.

Поэтому: епископ Кентерберийский инкогнито был в Киеве, чтобы посмотреть, что там делают большевики (я не шучу). Папа римский заявил, что если «это не прекратится», то он уйдет в пустыню. Письма бывшей императрицы сочинил Демьян Бедный...

В конце концов пришлось плюнуть и не разуверять.

Три церкви

Это еще более достопримечательно, нежели вывески. Три церкви, это слишком много для Киева. Старая, живая и автокефальная, или украинская.

Представители второй из них получили от остроумных киевлян кличку:

— Живые попы.

Более меткого прозвища я не слыхал во всю свою жизнь. Оно определяет означенных представителей полностью — не только со стороны их принадлежности, но и со стороны свойств их характера.

В живости и проворстве они уступают только одной организации — попам украинским.

И представляют полную противоположность представителям старой церкви, которые не только не обнаруживают никакой живости, но наоборот, медлительны, растерянны и крайне мрачны.

Положение таково: старая ненавидит живую и автокефальную, живая — старую и автокефальную, автокефальная — старую и живую.

Чем кончится полезная деятельность всех трех церквей, сердца служителей которых питаются злобой, могу сказать с полнейшей уверенностью: массовым отпадением верующих от всех трех церквей и ввержением их в пучину самого голого атеизма. И повинны будут в этом не кто иные, как сами попы, дискредитировавшие в лоск не только самих себя, но самую идею веры.

В старом, прекрасном, полном мрачных фресок, в Софийском соборе детские голоса — дисканты нежно возносят моления на украинском языке, а из царских врат выходит молодой человек, совершенно бритый и в митре. Умолчу о том, как выгляды сверкающая митра в сочетании с белесым лицом и живыми

беспокойными глазами, чтобы приверженцы автокефальной церкви не расстраивались и не вздумали бы сердиться на меня (должен сказать, что пишу я все это отнюдь не весело, а с горечью).

Рядом — в малой церкви, потолок которой затянут траурными фестонами многолетней паутины, служат старые по-славянски. Живые тоже облюбовали себе места, где служат по-русски. Они молятся за Республику, старым полагается молиться за патриарха Тихона, но этого нельзя ни в коем случае, и думается, что не столько они молятся, сколько тихо анафематствуют, и наконец, за что молятся автокефальные — я не знаю. Но подозреваю. Если же догадка моя справедлива, могу им посоветовать не тратить сил. Молитвы не дойдут. Бухгалтеру в Киеве не бывать.

В результате в головах киевских евбазных старушек произошло полное затмение. Представители старой церкви открыли богословские курсы; кадрами слушателей явились эти самые старушки (ведь это же нужно додуматься!). Смысл лекций прост — виноват во всей тройной кутерьме — сатана.

Мысль безобидная, на курсы смотрят сквозь пальцы, как на учреждение, которое может причинить вред лишь его участникам.

Первую неприятность из-за этих курсов получил лично я. Добрая старушка, знающая меня с детства, наслушавшись моих разговоров о церквях, пришла в ужас, принесла мне толстую книгу, содержащую в себе истолкование ветхозаветных пророчеств, с наказом непременно ее прочитать.

— Прочти,— сказала она,— и ты увидишь, что антихрист придет в 1932 году. Царство его уже наступило.

Книгу я прочел, и терпение мое лопнуло. Тряхнув кой-каким багажом, я доказал старушке, что, во-первых, антихрист в 1932 году не придет, а во-вторых, что книгу писал несомненный и грязно невежественный шарлатан.

После этого старушка отправилась к лектору курсов, изложила всю историю и слезно просила наставить меня на путь истины.

Лектор прочитал лекцию, посвященную уже специально мне, из которой вывел, как дважды два четыре, что я не кто иной, как один из служителей и предтеч антихриста, осраив меня перед всеми моими киевскими знакомыми.

После этого я дал себе клятву в богословские дела не вмешиваться, какие б они ни были — старые, живые или же автокефальные.

Наука, литература и искусство

Нет.

Слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня нет. Я

не знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо.

Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого может вылепить всякий, кому не лень.

Трехлетняя племянница моя, указав на памятник, нежно говорила:

— Дядя Карла. Цёрный.

Финал

Город прекрасный, город счастливый. Над разлившимся Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнечных пятнах.

Сейчас в нем великая усталость после страшных громахающих лет. Покой.

Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город. А память о Петлюре да сгинет

1923 г

ШАНСОН Д'ЭТЭ¹

Дождливая интродукция

Лето 1923-е в Москве было очень дождливое. Слово «очень» следует здесь расшифровать. Оно не значит, что дождь шел часто, скажем, через день или даже каждый день, нет, дождь шел три раза в день, а были дни, когда он не прекращался в течение всего дня. Кроме того, раза три в неделю он шел по ночам. Вне очереди начинались ливни. Полуторачасовые густые ливни с зелеными молниями и градом, достигавшим размеров голубиноного яйца.

По окончании потопа, лишь только в небе появлялись первые голубые клочки, на улицах Москвы происходили оригинальные путешествия: за 5 миллионов переезжали на извозчиках и ломовых с одного тротуара на другой. Кроме того, можно было видеть мужчин, ездивших друг на друге, и женщин, шедших с ногами, обнаженными до пределов допустимого и выше этих пределов.

В редкие антракты, когда небо над Москвой было похоже на взбитые сливки, москвичи говорили:

— Ну, слава богу, погода устанавливается, уже полчаса дождя не было...

На Тверскую и Театральную площадь выезжали несколько серо-синих бочек, запряженных в одну лошадь, управляемую человеком в прозодежде (брезентовое пальто и брезентовый

¹ Песнь лета (фр.).

же шлем). Через горизонтальную трубку, помещенную сзади бочки, сквозь частые отверстия сочилась по столовой ложке вода, оставляя сзади шагом едущей бочки сырую дорожку шириной в два аршина.

Сидя у окна трамвая, я сделал карандашиком в записной книжке подсчет: чтобы полить Театральную площадь, нужно 90 таких одновременно работающих бочек, при условии, если они будут ездить карьером.

Небо на издевательство поливального обоза отвечало жуткими пушечными раскатами, косым пулеметным градом, выбивавшим стекла, и реками воды, затоплявшими подвалы. На Неглинном утонули две женщины, потому что Неглинка под землей прорвала трубу и взорвала мостовую. Пожарные команды работали, откачивая воду из кафе «Риш», извозчики клячи бесились от секшего града. Это было в июне и в июле. После этого сырой обоз исчез и дождь принял нормальные формы.

Но если обоз опять появится на Театральной, чтобы дразнить небеса, ответственность за гибель Москвы да ляжет на него.

Разноцветные грибы

Дожди вызвали в Москве интересный грибной всход. Первыми появились на всех скрещениях красноголовцы. Это были милиционеры в новой форме. На них фуражки с красными околышами, черным верхом и зеленым кантом, зеленые же петлицы и зеленая же гимнастерка и галифе. Со свистками, кокардами и жезлами в чехлах они имеют вид настолько бравый, что глаз приятно отдыхает на них. Милицейское же начальство положительно блестяще.

Ревущие, воющие, кричающие машины в количестве трех с половиной тысяч бегают по Москве и на всех перекрестках кокетливо-европейски объезжают изваянные красноголовые фигурки на зеленых ножках.

Трамваи в Москве имеют стройный вид: ни на подножках, ни на дугах нет ни одного висящего, и никто — ни один человек в Москве — не прыгает и не соскакивает на ходу. Добился трамвайного идеала Московский Совет в каких-нибудь 5—6 дней гениальным и простым установлением 50-рублевого штрафа на месте преступления. Но в течение этих шести дней возле трамваев и в трамваях была порядочная кутерьма. Красноголовцы с квитанционными книжками выскакивали точно изпод земли и вежливо штрафовали ошалевших россиян.

Наиболее строптивые платили не 50, а пятьсот, и уже не на месте прыжка, а в милиции.

Позвольте прикурить

Трамвайный штраф имел совершенно неожиданные последствия. Ровно неделю тому назад на Лубянке я подошел на трамвайной остановке к гражданину и попросил у него прикурить. Вместо того, чтобы протянуть мне папиросу, гражданин бросился от меня бежать. Решив, что он сумасшедший, я двинулся дальше по Театральному проезду и получил еще три отказа.

При словах: «Позвольте прикурить», — граждане бледнели и прятали папиросы за спину. Прикурил я за колонной у Александровского пассажа рядом с Мюром, причем дававший прикурить озирался, как волк. От него я узнал, что вышло постановление штрафовать за прикуривание на улице. Основание: бездельники задерживают спешащих на службу совработников.

Чистосердечно признаюсь, я был в числе тех, кто поверил. Кончилось все через несколько дней заметкой в «Известиях», в которой московские жители именовались «обывателями». Но меланхолический тон заметки ясно показывал, что исполненный гражданского мужества автор и сам не прикуривал.

Вслед за красными грибами выросли грибы невиданные: с черными головами. Молодые люди мужского и женского пола в кепи точь-в-точь таких, в каких бывают мальчишки-порты на заграничных кинематографических фильмах. Черноголовцы имеют на руках повязки, а на животах лотки с папиросами. На кепи золотая надпись: «Моссельпром».

Итак, Моссельпром пошел в окончательный и решительный бой с уличной нелегальной торговлей. Мысль великолепная, тем более, что черноголовые, оказывается, безработные студенты. Но дело в том, что студенты любят читать книжки. Поэтому очень часто на животе лоток, а на лотке «Исторический материализм» Бухарина. «Исторический материализм», спору нет, книга интересная, но торговля имеет свои капризы и законы. Она требует, чтобы человек вертелся, орал, приставал, напоминал о своем существовании. Публика смотрит на черноголовых благосклонно, но товар иногда боится спрашивать у человека с книжкой, потому что приставать с требованием спичек к юноше, занятому чтением, — хамство. Может быть, он к экзамену готовится?

Я бы на этих лотках написал золотом: «Книжке — время, а торговле — час».

Мне лично больше всего понравился гриб белый. Это многоэтажный дом на Новинском бульваре, который вырос на месте недостроенных, брошенных в военное время красных кирпичных стен.

Строить, строить, строить! С этой мыслью нам нужно ложиться, с нею вставать. В постройке наше спасение, наш выход, успех. На выставке выросли уже павильоны, выросла

железнодорожная ветка, из парков временами выходят блестящие лакированные трамвайные вагоны (вероятно, капитальный ремонт), но нам нужнее дома.

Дачники, черт бы их взял!

Итак, в этом году началось. Они двинулись тучами по всем линиям, расходящимся от Москвы, и сели окрестным пейзамам на шею. Пейзане приняли их, как библейскую саранчу, но саранчу жирную, и содрали с них за каждый час сидения, сколько могли. Весь март Акулины и Егоры покупали на задаточные деньги коров, материал на штаны, косы и домашнюю посуду.

Иван Иванычи и Марья Ивановны забрали с собой керосиновые лампы, «Ключи счастья», одеяла, золотушных детей и поселились в деревянных курятниках и взвыли от комаров. Через неделю оказалось, что комары малярийные. Дачники питались пейзажским молоком, разведенным на 50% водой, и хиной, за которую в дачных аптеках брали в три раза дороже, чем в Москве. На всех речонках расселись паразиты с гнилыми лодками, на станциях паразитки с мороженым, пивом, папиросами, грязными черешнями. В зелени, лаская глаз, выросла красивая надпись: «Лото на Клязьме с 5 час. вечера» и повсюду: «Ресторан».

На речонках и прудах до рассвета лопотали моторы. У станций стаями торчали бородачи в синих кафтанах и драли за $\frac{1}{4}$ версты дороже, чем в Москве за полторы версты.

За мясо, за яблоки, за дрова, за керосин, за синее молоко — вдвое!

Пляж у нас, господин, замечательный... Останетесь довольны. В воскресенье — чистый срам. Голье, ну, в чем мать родила, по всей реке лежат. Только вот — дождик!

(В сторону) — Что это за люди, прости господи! Днем голые на реке лежат, ночью их черти по лесу носят!

Пейзане вставали в 3 часа утра, чтобы работать, дачники в это время ложились спать. Днем пейзамам доили коров, косили, жали, убрали, стучали топорами, дачники изнывали в деревянных клетушках, читали «Атлантиду» Бенуа, шлялись под дождем в тоскливых поисках пива, приглашали дачных врачей, чтобы их лечили от малярии, и по утрам пачками, зевая и томясь, стоя неслись в дачных вагонах в Москву.

Наконец, дождь их доконал, и целыми батальонами они начали дезертировать. В Москву, в «Эрмитаж» и «Аквариум». Еще дней 5—6, и они вернутся все.

Нету от них спасения!

Заключительный аккорд

Дождь, представьте опять пошел
Выйдем на берег
Там волны будут нам ноги лобзать

1923 г

ЗОЛОТИСТЫЙ ГОРОД

I

Пища богов

Жуткая свинья От угла рояля до двери в комнату Анны Васильевны

Вася! Ведь ты врешь?

Вру? Вру? Поезжайте сами посмотрите! Это обидно, в конце концов все, что ни скажу все вру! Сто восемнадцать пудов свинья

Ты сам видел?

Все видели.

Нет ты скажи, ты сам видел?

Ну, мне Петров рассказывал... Чудовищная свинья!

Лгун твой Петров чудовищный. Ведь такая свинья в товарный вагон не влезет, как же ее в Москву везли?

— Я почему знаю! Может быть, на этой... как ее... на открытой платформе. Или на грузовике.

— Где ж такую свинью развели?

— А черт ее знает! В каком-нибудь совхозе. Конечно, не мужицкая. Мужичьи свиньи паршивые, маленькие, как кошки. Вот и притащили им такую, с автомобиль. Они посмотрят, посмотрят да и сами заведут таких.

— Нет, Вася... Ты такой человек. такой человек...

— Ну, черт с вами! Не буду больше рассказывать!

II

На Москве-реке

Августовский вечер ясен. В пыльной дымке по Садовому кольцу летят громыхающие ящики трамвая «Б» с красным аншлагом: «На выставку». Полным-полно. Обгоняют грузовики и легкие машины, поднимающая облако пыли и бензинового дыму.

На Смоленском толчея усиливается. Среди шляпок и шляп вырастает белая чалма, среди спин пиджаков — полосатая спина бухарского халата. Еще какие-то шафранные скуластые лица, раскосые глаза.

Каменный мост в ущелье-улице показывается острыми

красными пятнами флагов. По мосту, по пешеходным дорожкам льется струя людей, и навстречу, гудя, вылезает облупленный автобус. С моста разворачивается городок. С первого же взгляда в заходящем солнце на берегу Москвы-реки он легок, воздушен, стремителен и золотист.

Публика высыпается из трамвая, как из мешка. На усыпанных песком пространствах перед входами муравейник людей.

Продавцы с лотками выкрикивают:

Дюшес, дюшес сладкий!

И машины рывкают, ползают, пробираясь в толпе. На остановках стена людей, осаждающих обратные «Б», а у касс хвосты.

И всюду дальше дерево, дерево, дерево. Свежее, оструганное, распиленное, золотое, сложившееся в причудливые башни, павильоны, фигуры, вышки.

Чешуя Москвы-реки делит два мира. На том берегу низенькие, одноэтажные красные, серенькие домики, привычный уют и уклад, а на этом — разметавшийся, острокрыший, островерхий, колючий город-павильон.

Из трамвая, отдуваясь, выбирается фигура хорошо и плотно одетая, с золотой цепочкой на животе, окидывает взором буйную толчею и бормочет:

- Черт их знает, действительно! На этом болоте лет пять надо было строить, а они в пять месяцев построили! Манечка! Надо будет узнать, где тут ресторан!

Толстая Манечка, гремя и сверкая кольцами, браслетами, цепями и камнями, впивается в пиджак, и пара спешит к кассам.

Турникеты скрипят, и продавцы и продавщицы значков воздушного флота налетают со всех сторон.

- Гражданин, значок! Значок!

- Газета «Смычка» с планом выставки! Десять рублей! С подробным планом!

Под ногами хрустит песок. Направо разноцветный, штучный, словно из детских кубиков сложенный павильон.

III

Кустарный

Из глубины — медный марш. У входа, в синей форме, в синем мягком шлеме, дежурный пожарный. «Зажигать огонь и курить строго воспрещается». Сигнал. «В случае пожара...» и т. д. У стола отбирают дамские сумки и портфели.

Трехсветный, трехэтажный павильон весь залит пятнами цветных экспонатов по золотому деревянному фону, а в окнах синяющая и стальная гладь Москвы-реки.

«Sibcustprom» — изделия из мамонтовой кости. Маленький бюст Троцкого, резные фигурные шахматы, сотни вещей и безделушек.

Горностаевым мехом по овчине белые буквы «Н.К.В.Т.» и щиты, и на щитах меха. Черно-бурые лисицы, черный редкий волк, песцы разные — недопесок, синяк, гагара. Соболя байкальские, якутские, нарымские, росомахи темные.

Бледный кисейный вечерний свет в окне и спальня красного дерева. Столовая. И всюду Троцкий, Троцкий, Троцкий. Черный бронзовый, белый гипсовый, костяной, всякий.

«Игрушки — радость детей», и кустсоюз выбросил ликующую золото-сине-красную гамму и карусель.

Мальцевский завод, кузнецовские фабрики работают, и Продасиликат оставил полки разноцветным стеклом, фарфором, фаянсом, глиной. Разрисованные чайники, чашки, посуда — экспорт на Восток, в Бухару.

Комиссия, ведающая местами заключения, показала работы заключенных: обувь, безделушки. Портрет Карла Маркса глядит сверху.

Gossspirit. От легких растворителей масел, метиловых спиртов и ректификата к разноцветным 20-градусным водкам, пестроэтикетной башенной рябиновке-смирновке. Мимо плывет публика, и вздохи их выются вокруг поставца, ласкающего взоры. Рюмки в ряду ждут избранных — спецов-дегустаторов.

Уральские самоцветы, яшма, малахит, горный дымчатый хрусталь. На гигантском столе модель фабрики галош, опять меха, ткани, вышивки, кожи. Вижу в приволье, куда сбегают легкие лестницы, экипажи, брички показательной образцовой мастерской. Бочки, оси, колеса...

Лампы вспыхивают под потолком, на стенах, павильон наливается теплым светом, угасает Москва-река за окном.

IV

Цветник — Ленин

Шуршит песок. Тень легла на Москву. Белые шары горят, в высоте арка оделась огнями. Киоск с пивом осаждают. Духота.

Главное здание — причудливая смесь дерева и стекла.

В полумраке — внутренний цветник. У входа — гигантские резные деревянные торсы. А на огромной площади утонула трибуна в гуще тысячной толпы. Слов не слышно, но видна женская фигура. Несомненно, деревенская баба в белом платочке. Последние ее слова покрывает не крик, а грохот толпы, и отзывается на него издали затерявшийся под краем подковы — главного павильона — оркестр. С трибуны исчезает белый платок, вместо него черный мужской силуэт.

— Доро-гой! Ильич!!!

Опять грохот. Затем буйный марш, и рядами толпа валит между огромным цветником и зданием открытого театра к Нескучному на концерт. В рядах плывут клинобородые мужики,

армейцы в шлемах, пионеры в красных галстуках, с голыми коленями, женщины в платочках, сельские бородатые захолустные фигуры и московские рабочие в картузах.

Даму отрезало рекой от театра. Она шепчет:

— Не выставка, а черт знает что! От пролетариата прохода нет. Видеть больше не могу!

Пиджак отзывается сильным шепотом:

— Н-да, трудновато!

И их начинает вертеть в водовороте.

К центру цветника непрерывное паломничество отдельных фигур. Там знаменитый на всю Москву цветочный портрет Ленина. Вертикально поставленный, чуть наклонный двускатный щит, обложенный землей, и на одном скате с изумительной точностью выращен из разноцветных цветов и трав громадный Ленин, до пояса. На противоположном скате отрывок его речи.

Три электросолнца бьют сквозь легкие трельяжи, решетки и мачты открытого театра. Все дерево, все воздушное, сквозное, просторное. На громадной сцене медный оркестр льет вальс, и черным-черны скамьи от народу.

V

Вечер. Узбеки

Тень покрывает город и Москву-реку. В фантастическом выставочном цветнике полумрак, и в нем цветочный Ленин кажется нарисованным на громадном полотне.

Павильоны, что тянутся по берегу реки к Нескучному, начинают светиться. Ослепительно ярко загорается павильон с гипсовыми мощными торсами, поддерживающими серые пожарные шланги. На фронтоне, на стене надписи. Пожары в деревне. Борьба с пожарами. В павильоне полный свет, но еще стоят внутри кой-где леса. Он еще не окончен.

— Не беспокойтесь, завтра откроют. Со мной так было: утром придешь, посмотришь работу, а вечером этого места не узнаешь — кончили!

И опять: свет, потом полумрак. Горит павильон Сельско-союза. В стеклах дыни, груши. Рядом — темноватая глыба. Чернеет подпись «закрыто». В полумраке, в отсвете ламп с отдаленных фонарей, в кафе на берегу реки, едят и пьют. Сюда, на берег реки, еще не дали света.

По Москве-реке бегут огоньки на лодках. Стучит в отдалении мотор, и распластаный гидроплан прилепился к самому берегу. Армейцы в шлемах тучей облепили загородку, смотрят водяную алюминиевую птицу.

В полумраке же квадраты и шашечные клетки показательных орошаемых участков, темны и неясны очертания у цветников, окаймляющих павильоны рядом белых астр. Пахнут по-вечернему цветы табака.

По дорожкам народ группами стремится к Туркестанскому павильону, входят в него толпами. Внутри блестит причудливая деревянная резьба, свет волной. Снаружи он расписан пестро, ярко, необыкновенно.

И тотчас возле него начинает приветливо пахнуть шашлыком.

Там, где беседка под самым берегом, память угасшего, отжившего века Екатерины — Павла — Александра, на грани, где зеленым морем надвигается Нескучный сад с огнями электрическими, резкими, новыми, вдоль берега кипят гигантские самовары, бродят тубетейки, чалмы.

За Туркестанским хитрым, расписным домом библейская какая-то арба. Колеса-гиганты, гигантские шляпки гвоздей, гигантские оглобли. Арба. Потом по берегу, вдоль дороги, под деревьями навесы деревянные и низкие настилы, крытые восточными коврами. Манит сюда запах шашлыка москвичей, и белые московские барышни, ребята, мужчины в европейских пиджаках, поджав ноги в остроносых ботинках, с расплывшимися улыбками на лицах, сидят на пестрых толстых тканях. Пьют из каких-то безруких чашек. Стоят перетянутые в талию, тускло блестящие восточные сосуды.

В печах под навесами бушует красное пламя, висят на перекаладинах бараны освежаванные туши. Мечутся фартуки. Мелькают черные головы.

Раскаленный уголь в извитую громоздкую трубку, и черный неизвестный восточный гражданин Республики курит.

— Кто вы такие? Откуда? Национальность?

— Узбеки. Мы.

Что ж. Узбеки, так узбеки. К узбеку в кассу сыпят 50-ти и сторублевые бумажки.

— Четыре порции. Шашлык.

Пельмени ворчат у печей. Жаром веет. Хруст и говор. Едят маслящиеся пельмени, едят какой-то витой белый хлеб, волокут шашлык на тарелках.

Мимо навесов по дороге непрерывно идут и идут в Нескучный сад. Оттуда доносится то глухо, то ясными взрывами музыка.

VI

Движение

По дорожкам, то утрамбованным, то зыбким и рыхлым, снуют и снуют, идут вперед к туркестанцам, идут назад к выходам. По дороге еще буфет, и тоже темно. Также еще не дали свету. Но и там звенят ложечки и стаканы.

Круглое, светящееся преграждает путь. Павильон Нарпита. В кольцевой галерее снаружи, конечно, едят и пьют, и подает «услуживающий» в какой-то диковинной фуражке с красным ярлы-

ком Внутри в стеклянном граненом павильоне, чинно и чисто
Диаграммы, масляными красками вдоль всей верхней части
стены картины будущего общественного питания Обществен
ные кухни с наилучшим техническим оборудованием Обществен
ные столовые

Посредине сервирован стол Так чисто, на красивой посуде
будут есть, когда процветет «Nagrit»

Выставка теперь живет до 12 часов ночи Но за два, за три
часа по пескам, в суете, по пространству с уездный город,
и вот ноги больше не хотят ходить

На выставку надо ездить много раз пять, шесть, чтобы
успеть хоть сколько-нибудь добросовестно осмотреть, что-нибудь
запомнить, всюду побывать

На выход! На выход! Домой!

И вот у выходов долгий, скучный, тяжелый фокус Отсюда
в город трамвай идет полный, до отказа Тучи ждут Когда в
него попадешь?

Вон мелькнула надежда Стоит черный автомобиль с про
долговатыми лавками

Берете публику?

Нет Это машина Горбанка

Но вот спасительный красный ящик Неуклюж как слон
облуплен, тяжел, грузен

- До Страстного?

75 рублей

Скорее садиться Места занимают вмиг

О, боже! Кишки вытрясет!

Последним на ходу вскакивает некто с портфелем Физио
номия настолько озабоченная, портфель настолько внушитель
ный, взгляды настолько сосредоточенные, что сразу видно -
не простой смертный, а выставочный. Так и есть

- Вот я организую автобусное движение. На хороших маши
нах

Очень бы хорошо было А то, знаете ли, пропадешь

— Еще бы. Ведь это не машина, а..

Но не успел организатор сказать, что именно. Тряхнуло так
что язык вскочил между зубами.

Так и надо Скорее организовывай.

И загудело, и замотало, и начало качать по набережной к
Храму Христа.

— Только бы живым выйти!

VII

Через две недели

Две недели я не был на выставке, и за эти две недели резко
изменился деревянный город

Он окрасился, покрылся цветными пятнами. Затем исчезли

последние леса у павильонов, исчез мусор. Почва под сентябрьским солнцем высохла, утрамбовалась, и идти теперь легко.

Потом город запыхтел, и застучал, и заиграл. Посетителей стало все больше, и в праздничные дни начинается толчея. Впечатление такое, что всех вливающих за турникеты охватывает какое-то радостное возбуждение. Крики газетчиков, звуки оркестров, толпа, краски — все это поднимает настроение. Как грибы, выросли киоски: пивные, папиросные, винные, фруктовые, молочные. И надо сказать, что они очень облегчают осмотр и хождение. За несколько часов ходьбы под теплым солнцем хочется пить.

VIII

Надия на бога и пожарный телеграф

Зычный пожарный, трубный сигнал. Белый павильон, испещренный лозунгами. «Центральный пожарный отдел».

Громадные белые торсы поддерживают серые шланги. Кто делал? Резинотрест.

Дальше брезентовые костюмы на манекенах, каски, упряжь, насосы. Диаграммы, рисунки, плакаты, картины.

Смысл: деревню надо отстоять. Деревню надо учить не только бороться с пожарами, но и их предупреждать. Во всю стену огнеупорная стена из соломы — прессованной соломы. Работа Стройноторга.

Над соломитом громадное полотно: без всяких футуристических ухищрений реально написана картина — горит деревня. Мечутся лошади, полыхает пламя, и женщины простоволосые простирают руки к небу. Старуха с иконой.

Подпись: «Кому разум не помог, молитва не поможет».

Харьков выставил литографии. На одной украинец, спокойный и веселый, у/беленькой хаты. Он потому спокойный, что он меры против пожара принимал.

А рядом нищий, оборванный у пепелища:

— Я не вживав заходив проти пожеж. Жив на одчай и покладав надію на бога — й пожежа довела мене до вбожества.

Красные блестящие коробки пожарных телеграфов, сложные телефоны, сигнализация, модели, показывающие, как положить трубы от печек, чтобы они были безопасны, пенные огнетушители «Богатыря и Рекорда», водоподъемник системы «Шенелис», всевозможные виды керосиновых ламп и лозунги, лозунги и диаграммы.

Голос руководителя:

— Этим концом ударяете об землю и затем направляете струю, куда угодно...

Как сберечь свои леса

В Дом Крестьянина — большой двухэтажный дом — вовлекла толпа экскурсантов.

Женщина с красной повязкой на рукаве шла впереди и объясняла:

— Сейчас, товарищи, мы с вами пройдем в Дом Крестьянина, где вы прежде всего увидите уголок нашего Владимира Ильича...

В доме такая суета, что разбегаются глаза и смутно запоминаются лишь портреты Ленина, Калинина и еще какие-то картинки.

Стучат, идут вверх, вниз. И вдруг дверь и, оказывается, внутри театр. Сцена без занавеса. У избушки баба в платочке, целый конклав умных клинобородых мужиков в картузах и сапогах и один глупый, мочальный и курносый, в лаптях. Он, извольте видеть, без всякого понятия свел целый участок леса.

— Товарищи! Мыслимое ли это дело? А? — восклицает умный, украшенный картузом, обращаясь к публике. — Прав он или не прав? Если не прав, поднимите руки.

Публика с удовольствием созерцает дурака, вырубившего участок, но, не будучи еще приучена к соборному действию, рук не поднимает.

Выходит, стало быть, прав? Пушай вырубает? Здорово? — волнуется картуз на сцене. — Товарищи, кто за то, что он не прав, прошу поднять руки!

Руки поднимаются у всех.

— Это так! — удовлетворен обладатель цивилизованного головного убора. — Присудим мы его назвать дураком!

И дурак с позором уходит, а умные начинают хором петь куплеты. Заливается гармония:

Надо, надо нам учиться,
Как сберечь свои леса,
Чтоб потом не очутиться
Без избы и колеса!

Ходят, выходят, спешно распаковывают какую-то посуду. Вероятно, для крестьянской столовки. И опять валит навстречу толпа, и опять женский голос:

..и увидите уголок Владимира...

Карамель, табак и пиво

От Дома Крестьянина по берегу реки дальше вглубь, в зелень, к Нескучному саду. Неузнаваемое место. По-прежнему вековые деревья и тени, гладь пруда, но в зелени белые, цветные, причудливые здания. И почти изо всех пыхтенье, стрекотание, стук машин.

Вон он, Моссельпром. Грибом каким-то, под шапкой надпись «Ресторан».

И со входа сразу охватывает сладкий запах карамели. Белые колпаки, снежные халаты. Мнут карамельную массу, машина режет карамельные конуса. На плитах тазы с начинкой. Барышни-зрительницы висят на загородке — симпатичный павильон! 2-я государственная кондитерская фабрика имени П. А. Бабаева, бывшие знаменитые «Абрикосова Сыновья».

На стенах — диаграммы государственного дрожжевого № 1 завода Моссельпрома.

В банках и ампулах сепарированные дрожжи, сусло, солод ячменный и овсяной, культуры дрожжей.

Диаграммы производительности 1-й государственной макаронной фабрики все того же вездесущего Моссельпрома.

В январе 1923 года макаронных изделий — 7042 пуда, в мае — 10 870 пудов.

В следующем отделении запах табака убивает карамель. Халаты на работницах синие. Дукал. По-иностранному тоже написано: «Doukat». Машины режут, набивают, клеют гильзы. Выставка разноцветных коробок, и среди них уже появились «Привет с выставки».

Дальше приютился славный фруктовый, бывш. Калинин, ныне — Первый завод фруктовых вод.

В карбонизаторе при 5 атмосферах углекислота насыщает воду. Фильтры Chamberland'a.

Разлив пива. Машина брызжет, моет бутылки, мелькают изумительного проворства руки работниц в тяжелых перчатках. Вертится барабан разливной машины, и пенистое золотистое пиво Моссельпрома лезет в бутылки.

За стойкой тут же посетители его покупают и пьют кружками.

Показательная выставка бутылок — что выпускает бывш. Калинин теперь? Все. По-прежнему сифоны с содовой и сельтерской, по-прежнему разноцветные бутылки со всевозможными водами. И приятны ярлыки: «На чистом сахаре».

Опять табак, потом шелка, а потом усталость

Здесь что? Павильон Табакотреста.

Здесь бывш. Асмолов, а теперь Донская государственная фабрика в Ростове-на-Дону. Тоже режут машины табак, набивают папиросы. Здесь торгуют специальными расписными острограницными коробками по сотне только что изготовленных папирос.

Растут зеленые лапчатые табаки — тыккульк, дюбек, тютюн. Стоят модели огневых сушильных сараев, висят цапки, шнуры, иглы. Пестрят лозунги: «Мотыжение в пору — даст обилие сбору», «Вершки и пасынок оборвешь — лучший лист соберешь».

Идет заведующий и говорит о том, насколько сократилась площадь плантаций в России и какие усилия употребляются, чтобы поощрить табаководство на Кубани, в Крыму, на Кавказе.

Гильз на рынке мало, и теперь в России не выделяют табаку, а только готовые папиросы.

* * *

Недалеко от павильона, где работает Асмолов, павильон с гигантским плакатом «Махорка». Плакат кричит крестьянину: «Сей махорку — это выгодно»...

Довольно табаку. Дальше!

* * *

И вот павильон текстильный. ВСНХ. Здесь прекрасно. Во-первых, он внешне хорош. Два корпуса, соединенных воздушной галереей-балконом с точеной балюстрадой. Зелень обступила текстильное царство. Внутри же бесконечная в двух этажах гамма красок, бесконечные волны шелков, полотен, шевиотов, ситцу, сукон.

Начинается с Петроградского Государственного Пенькового Треста, «The Petrograd State Hemp Trust», выставившего канаты, и мешки, и веревки, и диаграммы, а дальше непрерывным рядом драпированных гостиных идут вязниковские льняные фабрики, опять пеньковые тресты, Гаврило-Ямская мануфактура с бельевыми и простынными полотнами и десятки трестов: шелко-трест, хлопчато-бумажный трест, суконный трест, Иваново-Вознесенский текстильный... камвольный «Мострикоб»...

Московский текстильный институт со своими шелковичными червями, которые тут же непрерывно жуют, жуют груды зеленых листьев...

После осмотра текстильного треста ноги больше не носят. Назад, к Москве-реке, к лавочкам, отдыхать, курить, смотреть, но не «осматривать»... В один раз не осмотришь все

равно и десятой доли. Поэтому — назад. Мясохладобойни, скороморозилки Наркомтруда — потом, павильон НКПСа — потом (сияющий паровоз вылезает прямо в цветник), Мосполиграф — потом...

К набережной — смотреть закат.

ХII

Кооперация! Кооперация! Неудачник — японец

А он прекрасен — закат. Вдали догорают золотые луковичы Христа Спасителя, на Москве-реке лежат зыбкие полосы, а в городе-выставке уже вспыхивают бледные электрические шары.

Толпа густо стоит перед балконом павильона Центросоюза, обращенным на реку. Цветные пестрые ширмы на балконе, а под ними три фигурки. Агитационный кооперативный Петрушка.

За прилавком круглый купец в жилетке объегоривает мужика. В толпе взмывает смех. И действительно, мужик замечательный. От картуза до котомки за спиной. Какое-то особенное специфически мужицкое лицо. Сделана фигурка замечательно. И голос у мужика неподражаемый. Классный мужик.

— Фирма существует 2000 лет, — рассыпается купец.

— Батюшки! — изумляется мужик.

Он машет деревянными руками, и трясет бородой, и призывает господ бога, и получает от жулика-купца крохотный сверток товара за миллиард.

Но является длинноносый Петрушка-кооператор, в зеленом колпаке, и вмиг разоблачает штуки толстосума, и тут же устраивает кооперативную лавку, и заваливает мужика товаром. Победенный купец валится набок, а Петрушка танцует с мужиком дикий радостный танец, и оба поют победную песнь своими козлиными голосами:

Кооперация! Кооперация!
Даешь профит ты нации!..

— Товарищи, — вопит мужик, обращаясь к толпе, — заключим союз и вступим все в Центросоюз.

* * *

У пристани Доброфлота — сотни зрителей. Алюминиевая птица — гидроаэроплан RRD-ae — в черных гигантских калошах стоит у берега. Полет над выставкой — один червонец с пассажира. В толпе — разговоры, уже описанные незабвенным Иваном Феодоровичем Горбуновым.

— Юнкерс шибче Фоккера!

— Ошибаетесь, мадам, Фоккер шибче.

— Удивляюсь, откуда вы все это знаете?

— Будьте покойны. Нам все это очень хорошо известно потому мы в Петровском парке живем.

— Но ведь вы сами не летаете?

— Нам не к чему. Сел на 6-й номер, и в городе.

— Трусите?

— Червонца жалко.

— Идут. Смотри, японцы идут! Летать будут!

Три японца, маленькие, солидные, сухие, хорошо одетые, в роговых очках. Публика встречает их сочувственным гулом за счет японской катастрофы.

Двое влезли благополучно и нырнули в кабину, третий сорвался с лестнички и в полосатых брюках, и в клетчатом пальто, и в широких ботинках — сел в воду с плеском и грохотом.

В первый раз в жизни был свидетелем молчания московской толпы. Никто даже не хихикнул.

— Не везет японцам в последнее время...

Через минуту гидроплан стремительно проходит по воде, подымая бурный пенный вал, а через две — он уже уходит гудящим жуком над Нескучным садом.

— Улетели три червончика, — говорят красноармеец.

XIII

Бои за трактор. Владимирские рожечники

Вечер. Весь город унизан огням. Всюду белые ослепительные точки и кляксы света, а вдали начинают вертеться в темной вечерней зелени цветные рекламные колеса и звезды.

В театре три электрических солнца заливают сцену. На сцене стол, покрытый красным сукном, зеленый огромный ковер и зелень в кадках. За столом президиум — в пиджаках, куртках и пальтишках. Оказывается, идет диспут: «Трактор и электрификация в сельском хозяйстве».

Все лавки заняты. Особенно густо сидят.

Наступает жгучий момент диспута.

Выступал профессор-агроном и доказывал, что нам в настоящий момент трактор не нужен, что при нашем обнищании он ляжет тяжелым бременем на крестьянина. Возражать скептику и защищать его записалось 50 человек, несмотря на то, что диспут длится уже долго.

За конторкой появляется возбужденный оратор. В солдатской шинелишке и картузе.

— Дорогие товарищи! Тут мы слышали разные слова — электрификация, машинизация, механизация, и тому подобное и так далее. Что должны означать эти слова? Эти слова должны обозначать не что иное, товарищи, что нам нужны в деревне электричество и машины. (Голоса в публике: «Правильно!») Профессор говорит, что нам, мол, трактор не нужен. Что это

обозначает, товарищи? Это означает, товарищи, что профессор наш спит. Он нас на старое хочет повернуть, а мы старого не хотим. Мы голые и босые победили наших врагов, а теперь, когда мы хотим строить, нам говорят ученые — не надо? Ковырай, стало быть, землю лопатой? Не будет этого, товарищи. («Браво! Правильно!»)

Появляются сапоги-бутылки из Смоленской губернии и сладким тенором спрашивают, какой может быть трактор, когда шпегат стоит 14 рублей золотом?

Профессор в складной речи говорит, что он ничего... Что он только против фантазий, вызывает к учету, к благоразумию, строгому расчету, требует заграничного кредита и, в конце концов, начинает говорить стихами.

Появляется куцая куртка и советует профессору, ежели ему не нравится в России, которая желает иметь тракторы, удалиться в какое-нибудь другое место, например, в Париж.

После этого расстроенный профессор накрывается панамой с цветной лентой и со словами:

— Не понимаю, почему меня называют мракобесом? — удаляется в тьму.

Оратор из Наркомзема разбивает положения профессора, ссылается на канадских эмигрантов и зовет к электрификации, к трактору, к машине.

Прения прекращаются.

И в заключительном слове председатель страстно говорит о фантазерах и утверждает, что народ, претворивший не одну уже фантазию в действительность в последние 5 изумительных лет, не остановится перед последней фантазией о машине. И добьется.

— А он не фантазер?

И рукой невольно указывает туда, где в сумеречном цветнике на щите стоит огромный Ленин.

* * *

Кончен диспут. Валит все гуще народ в театр. А на сцене, став полукругом, десять клинобородых владимирских рожечников высвистывают на длинных деревянных самодельных дудках старинные русские песни. То стонут, то заливаются дудки, и невольно встают перед глазами туманные поля, избы с лучинами, тихие заводы, сосновые суровые леса. И на душе не то печаль от этих дудок, не то какая-то неясная надежда. Обрывают дудки, обрывается мечта. И ясно гудит в последний раз гидроплан, садясь на реку, и гроздьями, букетами горят огни, и машут крыльями рекламы. Слышен из Нескучного медный марш.

ЧАСЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

(С натуры)

В Доме союзов, в Колонном зале — гроб с телом Ильича. Круглые сутки — день и ночь — на площади огромные толпы людей, которые, строясь в ряды, бесконечными лентами, теряющимися в соседних улицах и переулках, вливаются в Колонный зал.

Это рабочая Москва идет поклониться праху великого Ильича.

Стрела на огненных часах дрогнула и стала на пяти. Потом неуклонно пошла дальше, потому что часы никогда не останавливаются. Как всегда, с 5-ти начали садиться на Москву сумерки. Мороз лютый. На площадь к Белому Дому стал входить эскадрон.

— Эй, эгей, со стрелки, со стрелки!

Стрелочник вертелся на перекрестке со своей вечной штангой в руках, в боярской шубе, с серебряными усами. Трамвай со скрежетом ломился в толпу. Машины зажгли фонари и выли.

— Эй, берегись!!

Эскадрон вошел с хрустом. Шлемы были наглухо застегнуты, а лошади одеты инеем. В морозном дыму завертелись огни, трамвайные стекла. На линии из земли родилась мгновенно черная очередь. Люди бежали, бежали в разные концы, но увидели всадников, поняли, что сейчас пустят. Раз, два, три... сто, тысяча!..

— Со стрелки-то уйдите!

— Трамвай!! Берегись! Машина — стрелой — берегись!

— К порядочку, товарищи, к порядочку. Эй, куда?

— Братики, Христа ради, поставьте в очередь проститься.

Проститься!

— Опоздала, тетка. Тет-ка! Ку-да-а?

— В очередь! В очередь!

— Батюшки, по Дмитровке-то хвост ушел!

— Куда ж деться-то мне, головушке горькой? Сквозь землю, что ль, провалиться?

Запрыгал салон, заметался, а кони милицейские гигантские так и лезут. Куда ж бедной бабе деваться. Провались, баба... Кепи красные, кони танцуют. Змеей, тысячей звеньев идет хвост к Параскеве-Пятнице, молчит, но идет, идет! Ах, быстро по-падем!

— Голубчики, никого не пущайте без очереди!

— Порядочек, граждане.

— Все померем...

— Думай мозгом, что говоришь. Ты помер, скажем, к примеру, какая разница. Какая разница, ответь мне, гражданин?

— Не обижайте!

— Не обижаю, а внушить хочу. Помер великий человек,

поэтому помолчи. Псмолчи минуточку, сообрази в голове происшедшее...

— Куды?! Эгей-й!! Эй! Эй!

— Рота, стой!!!

Ближе, ближе, ближе. Хруст, хруст. Стоп. Хруст... Хруст... Стоп... Двери. Голубчики родимые, река течет!

— По три в ряд, товарищи.

— Вверх! Вверх!

— Огней, огней-то!

Караулы каменные вдоль стен. Стены белые, на стенах огни кустами. Родилась на стрелке Охотного река и течет, покрывая красный ковер.

— Тише ты. Тш...

Шапки сияли, идут? Нет, не идут, не идут. Это не идут, братишки, а плывет река в миллион. На ковре ложится снег

И в море белого света протекает река.

* * *

Лежит в гробу на красном покламенте человек. Он желт восковой желтизной, а бугры лба его лысой головы круты. Он молчит, но лицо его мудро, важно и спокойно. Он мертвый. Серый пиджак на нем, на сером красное пятно — орден Знамени. Знамена на стенах белого зала в шашку — черные, красные, черные, красные. Гигантский орден — сияющая розетка в кустах огня, а в сердце ее лежит на покламенте обреченный смертью на вечное молчание человек.

Как словом своим на слова и дела подвинул бесчисленные шлемы караулов, так теперь убил своим молчанием караулы и реку идущих на последнее прощание людей.

Молчит караул, приставив винтовку к ноге, и молча течет река.

Все ясно. К этому гробу будут ходить четыре дня по лютому морозу в Москве, а потом в течение веков по дальним караванным дорогам желтых пустынь земного шара, там, где некогда, еще при рождении человечества, над его колыбелью ходила бессменная звезда.

* * *

Уходит, уходит река. Белые залы, красивый ковер, огни. Стоят красноармейцы, смотрят сурово.

— Лиза, не плачь. Не плачь... Лиза...

— Воды, воды дайте ей!

— Санитара, пропустите, товарищи!

Мороз. Мороз. Накройтесь, накройтесь, братишки. На дворе лютый мороз.

— Батюшки? Откуда ж зайтить-то?!

— Нельзя здесь!
— Порядочек, граждане!
— Только выход. Только выход.
— Товарищ дорогой, да ведь миллион стоит на Дмитровке!
Не дожусь я, замерзну. Пустите? А?
— Не могу, очереди!
Огни из машины на ходу бьют взрывами. Ударят в лицо — погаснут.
— Эй! Эгей! Берегись! Берегись! Машина раздавит. Берегись!
Горят огненные часы.

1924 г.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ

*Науки юношей питают, отраду старцам подают.
Наука сокращает нам жизнь, короткую и без того.*

В коридоре Рязанского строительного техникума путей сообщения прозвучал звонок. Классное помещение наполнилось учениками, красными, распаренными и дышащими тяжело, со свистом.

Открылась дверь, и на кафедру взошел многоуважаемый профессор электротехники, он же заведующий мастерской.

— Т-тиша,— сказал электрический профессор, строго глянув на багровые лица своих слушателей,— по какому поводу такой вид? Безобразный?

— Вентилятор качали для кузнечного горна! — хором взревели сто голосов.

— Ага, а почему я не вижу Колесаева?

— Колесаев умер вчера...— ответил хор, как в опере, басами.

— За-ка-чался!!.— отозвался хор теноров.

— Тэк-с. Ну, царство ему небесное. Раз умер, ничего не поделаешь. Воскресить я его не властен. Верно?

— Веррр-но!!.— грянул хор.

— Не ревите дикими голосами,— посоветовал ученый.— На чем, бишь, мы остановились в прошлый раз?

— Что такое электричество!..— ответил класс.

— Правильно. Ну-те-с, приступаем дальше. Берите тетрадки, записывайте мои слова...

Как листья в лесу, прошелестели тетрадки, и сто карандашей застрочили по бумаге.

— Прежде, чем сказать, что такое электричество,— загудело с кафедры,— я вам... э... скажу про пар. В самом деле, что такое пар? Каждый дурак видел чайник на плите... Видели?

— Видели!!.— как ураган, ответили ученики.

— Не орите... Ну, вот, стало быть... кажется со стороны — простая штука, каждая баба может вскипятить, а на самом деле это не так... Далеко, я вам скажу, дорогие мои, не так... Может ли баба паровоз пустить? Я вас спрашиваю?

— Нет-с, миленькие, баба паровоз пустить не может. Во-первых, не ее это бабье дело, а в-третьих, чайник — это ерунда, а в паровозе пар совсем другого сорта. Там пар под давлением, почему под означенным давлением, исходя из котла, прет в колеса и толкает их к вечному движению, так называемому перпетуум-мобиле.

— А что такое перпетуум? — спросил Куряковский — ученик.

— Не перебивай. Сам объясню. Перпетуум такая штука... это, братишки... ого-го! Утром, например, сел ты на Брянском вокзале в Москве, засвистал и покатил, и, смотришь, через 24 часа ты в Киеве в совершенно другой советской республике, так называемой Украинской, и все это по причине концентрации пара в котле, проходящего по рычагам к колесам так называемым поршнем по закону вечного перпетуума, открытого известным паровым ученым Уан-Степом в XVIII веке до Рождества Христова при взгляде на чайник на самой обыкновенной плите в Англии городе Лондоне...

— А нам говорили по механике вчера, что плиты до Рождества Христова еще не было! — пискнул голос.

— И Англии не было! — бухнул другой.

— И Рождества Христова не было!!

— Го-го-го!! Го!! — загремел класс...

— М-молчать! — гроыхнул преподаватель. — Харюзин, оставь класс! Подстрекатель! Вон!

— Вон! Харюзин!! — взвыл класс.

Харюзин, разливаясь в бурных рыданиях, встал и сказал:

— Простите, товарищ преподающий, я больше не буду.

— Вон! — неуклонно повторил профессор. — Я о тебе доложу в совете преподавателей, и ты у меня вылетишь в 24 часа!

— На перпетууме вылетишь, ур-ра!! — подтвердил взволнованный класс.

Тогда Харюзин впал в отчаяние и дерзость.

— Все равно пропадать моей голове, — залихватски рявкнул он, — так уж выложу я все! Накипело у меня в душеньке!

— Выкладывай, Харюзин! — ответил хор, становясь на сторону угнетенного.

— Сами вы ни черта не знаете, — захныкал Харюзин, адресуясь к профессору, — ни про перпетуум, ни про электротехнику, ни про пар... Чепуху мелете!..

— О-го-го?! — запел заинтересованный класс.

— Я?.. Как ты сказал?.. Не знаю? — изумился профессор, становясь багровым. — Ты у меня ответишь за такие слова! Ты у меня, Харюзин, наплачешься!

— Не боюсь никого, кроме бога одного! — ответил Харюзин в экстазе. — Мне теперь нечего терять, кроме моих цепей!

Вышибут? Вышибай!! Пей мою кровь за правду-матку!!

— Так его! Крой, Харюзин!!— гремел класс.— Пострадай за правду!

— И пострадаю,— выпевал Харюзин,— только мозги морочите! Околесицу порете! Двигатель для вентилятора поставить не можете!

— Пр-равильно,— бушевал восхищенный класс,— замучили качанием! Рождества не было! Уан-Степа не было!! Сам, старый черт, ничего не знаешь!!!

— Это... бунт...— прохрипел профессор,— заговор! Да я!.. Да вы!..

— Бей его!! — рухнул класс в грохоте.

В коридоре зазвенел звонок, и профессор кинулся вон, а вслед ему засвистел разбойничьим свистом стоголосый класс.

1924 г

ИГРА ПРИРОДЫ

*А у нас есть железнодорожник
с фамилией Врангель...*

Из письма рабкора

Дверь, ведущую в местком станции М., отворил рослый человек с усами, завинченными в штопор. Военная выправка выпирала из человека.

Предместкома, сидящий за столом, окинул вошедшего взором и подумал: «Экий brave...»

— А вам чего, товарищ? — спросил он.

— В союз желаю записаться,— ответил визитер.

— Так-с... А вы где же работаете?

— Да я только что приехал,— пояснил гость,— весовщиком сюда назначили...

— Так-с. Ваша как фамилия, товарищ?

Лицо гостя немного потемнело.

— Да фамилия, конечно...— заговорил он,— фамилия у меня... Врангель.

Наступило молчание. Предместкома уставился на посетителя, о чем-то подумал и вдруг машинально ощупал документы в левом кармане пиджака.

— А имя и, извините, отчество? — спросил он странным голосом.

Вошедший горько и глубоко вздохнул и вымолвил:

— Да имя... ну, что имя, ну, Петр Николаевич.

Предместкома привстал с кресла, потом сел, потом опять привстал, глянул в окно, с окна на Врангеля, с Врангеля на дверной ключ, с ключа косо на телефон. Потом вытер пот и спросил хрипло:

— А откуда же вы приехали?

Пришелец вздохнул так густо, что у предместкома шевельнулись волосы, и вымолвил:

— Да вы не думайте... Ну, из Крыма..

Словно пружина развернулась в предместкома.

Он вскочил из-за стола и мгновенно исчез.

— Так я и знал! — кисло сказал гость и тяжело сел на стул

Со звоном хлопнул ключ в дверях. Предместкома с глазами, сияющими, как звезды, летел через зал III класса, потом через I класс и прямо к заветной двери. На лице у предместкома играла краска. По дороге он вертел руками и глазами, наткнулся на кого-то в форменной куртке и ему взвыл шепотом:

— Беги, беги в месткоме дверь покарауль! Чтоб не ушел!

— Кто?!

— Врангель!

— Сдурел!!

Предместкома ухватил носильщика за фартук и прошипел

— Беги скорей, дверь покарауль! Дурында Награду получишь!..

Носильщик выпучил глаза и стрельнул куда-то вбок За ним — второй.

Через три минуты у двери месткома бушевала густая толпа В толпу клином врезался предместкома, потный и бледный, а за ним двое в фуражках с красным верхом и синеватыми околышами. Они бодро пробирались в толпе, и первый звонко покрикивал:

— Ничего интересного, граждане! Прошу вас очистить помещение!.. Вам куда? В Киев? Второй звонок был Прошу очистить!

— Кого поймали, родные?

— Кого надо, того и поймали, попрошу пропустить..

— Деникина словил месткомщик!..

— Дурында, это Савинков ушел... А его залопали у нас!

— Я обнаружил по усам, — бормотал предместкомщик чело веку в фуражке, — глянул... Думаю, батюшки — он!

Двери открылись, толпа полезла друг на друга, и в щели мелькнул пришелец...

Глянув на входящих, он горько вздохнул, кисло ухмыльнулся и уронил шапку.

— Двери закрыть!.. Ваша фамилия?

— Да Врангель же.. да я ж говорю..

— Ага!

Форменные фуражки мгновенно овладели телефоном

Через пять минут перед дверьми было чисто от публики, и по очистившемуся пространству проследовал кортеж из семи фуражек. В середине шел, возведя глаза к небу, пришелец и бормотал

— Вот, твоя воля... замучился... В Херсоне водили... В Кие ве водили... Вот горе-то!.. В Совнарком подам, пусть хоть какой хочут название дадут...

Я обнаружил, — бормотал предместкома в хвосте, — ба-
тюшки, думаю, усы! Ну, у нас это, разумеется, быстро, по-
военному: р-раз — на ключ. Усы — самое главное.

Ровно через три дня дверь в тот же местком отворилась,
и вошел тот же бравый. Физиономия у него была мрачная.
Предместкома встал и вытаращил глаза.

Э... Вы?

Я, — мрачно ответил вошедший и затем молча ткнул
бумагу.

Предместкома прочитал ее, покраснел

— Кто ж его знал... — забормотал он... — Гм да игра при-
роды. Главное, усы у вас, и Петр Николаевич

Вошедший мрачно молчал

Ну что ж. Стало быть, препятствий не встречается
Да. Зачислим. Да вот усы сбили меня...

Вошедший злобно молчал.

Еще через неделю подвыпивший весовщик Карасев подошел
к мрачному Врангелю с целью пошутить.

— Здравия желаю, ваше превосходительство, — заговорил он,
взяв под козырек и подмигнув окружающим. — Ну как изволи-
те поживать? Каково показалось вам при власти Советов и
вообще у нас в Ресепесере?

— Отойди от меня, — мрачно сказал Врангель.

— Сердитый вы, господин генерал, — продолжал Карасев, —
у-у, сердитый! Боюсь, как бы ты меня не расстрелял. У него это
просто, взял пролетария..

Врангель размахнулся и ударил Карасева в зубы так, что с
того соскочила фуражка.

Кругом засмеялись.

— Что ж ты бьешь, гадюка перекопская? — сказал дрожа-
щим голосом Карасев. — Я шутю, а ты...

Врангель вытащил бумагу из кармана и ткнул ее в нос
Карасеву. Бумагу облепили и начали читать:

«...Ввиду того, что никакого мне проходу нету в жизни, прошу
мою роковую фамилию сменить на многоуважаемую фамилию
по матери — Иванов...»

Сбоку было написано химическим карандашом: «Удовлет-
ворить».

— Свинья ты... — заныл Карасев. — Что ж ты мне ударил?

— А ты не дражни, — неожиданно сказали в толпе. — Ива-
нов, с тебя магарыч.

ПО ТЕЛЕФОНУ

Пьеса

*У нас на ст. Щелково-Северных
занимаются частными разговорами по
служебному телефону..*

(Из письма рабкора)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГОЛОСА

Голос стационарного чина
Голос барышни
Голос горничной
Голос чужой жены
Загробный голос
Голос мужа.

На станции Индивидуальная в 30-ти верстах от Москвы в углу висит телефон и скучает. Блестит трубка, а над нею надпись «Частные разговоры по слу. телефо. воспрещ.» Стационарный чин подходит к трубке и снимает ее.

Голос чина: Дайте город... Мерси...

Голос барышни: 2-15...

Голос чина: Пожалста... 05-07-08... Да... Мерси... Это кто?

Голос горничной: Это я, Феклуша.

Голос чина (шепотом): Что, Пал Федорыч дома?

Голос горничной: Нет, они в тресте.

Голос чина: Тогда попросите Марию Николавну...

Голос чужой жены: Я слушаю.

Голос чина: Здрасьте, Мария Николавна.

Голос чужой жены: Ах, это вы, Илюша!. А я вас не узнала

Голос чина (страстно и печально): Вот как, уже не узнаете! Нехорошо! Так недавно — и уже забыт. Один... в глуши. А вы там в столице... (вздыхает).

Голос чужой жены (кокетливо): Отчего вы так вздыхаете?

Голос чина: Так...

Голос чужой жены: Откуда вы звоните, Илюша?

Голос чина: От себя, со станции.

Голос чужой жены: По служебному?

Голос чина: Конечно, врэман... Мари...

Голос чужой жены: Ну?

Голос чина: Когда же вы приедете?

Голос чужой жены: Сегодня не могу... (шепотом): Муж остался.

Голос чина: Черт!.. А как же командировка?

Голос чужой жены (печально): Отложил.

Голос чина: Чер!.. Мари!..

Голос чужой жены: Ну?..

Голос чина: Мари, ты помнишь?

Голос чужой жены: Не смейте мне говорить «ты»!
Гадкий!

Голос чина: Я гадкий? Вот как, Мари!.. Я несчастный, а не гадкий, Мари. Я так скучаю. Тут снег, сосны, одиночество... И вот я один... Со мною лишь верный мой товарищ браунинг... Эх!..

Голос чужой жены: Илюша, как вам не стыдно так малодушничать!

Загробный голос: Дайте Индивидуальную.

Голос барышни: Пи-и!.. Занято...

Голос чина: Мари, ты любишь меня?

Голос чужой жены: Отстаньте!

Загробный голос: Дайте Индивидуальную...

Голос барышни: Пи-и-и! Занято...

Голос чина: Мари! Ответь мне, ты любишь меня?

Загробный голос: Дайте Индивидуальную...

Барышня: Пи-и-и! Занято...

Загробный голос: Что за черт! Кто там прицепился к станции? У меня важная телефонограмма!

Голос чина: Я решил, Мари, больше я не могу тянуть. Ответь мне, или пуля из моего браунинга прекратит мои мучения навеки...

Голос горничной (испуганно): Барыня, барыня, отойдите от телефона... Барин вернулся...

Голос чужой жены (не слушая): Илюша, вы не делаете этого!

Голос чина: Скажи!

Загробный голос: Дайте Индивидуальную. Черт бы их побрал!

Голос чужой жены: Ну, хорошо, люблю...

Голос мужа: Ну, наконец-то я тебя поймал! Так ты любишь, мерзавка? Отвечай! Кого ты любишь? Кого? Кого? Гадина! (Слышно, как хрустят пальцы.)

Голос чужой жены: Жорж, опоминись! Я разговаривала с Катей!

Голос мужа: Знаю я эту Катю! Эта Катя с усами! Это Илюшка с Индивидуальной!

Голос чужой жены (в ужасе): Неправда!

Голос мужа (вырывая трубку): Вы слушаете? Если еще раз...

Загробный голос: Дайте Индивидуальную... У меня телефонограмма!

Голос барышни (устало): Ну, хорошо. Соединяю.

Загробный голос: Слава господи! Передайте...

Голос мужа: Ах, вот как, передать?.. Я вам сейчас передам. Если... Если вы еще раз осмелитесь звонить по моему номеру... (задыхаясь) я вам всю морду разобью! Мерзавец!

Загробный голос (онемел).

Голос мужа: Станционный негодяй!

Загробный голос (опомнился): Шта?! Как вы смеете?! Я начальник отделения!

Голос мужа: Ты сволочь, а не начальник отделения!

Загробный голос (визгливо): Шта?! Да вы с ума сошли! Барышня!.. Барышня!!

Голос барышни (в отчаянии): Повесьте трубку. Я вас не туда присоединила!

Загробный голос: Кто говорит?! Я вас под суд дам! Дать мне сюда начальника станции!!

Голос мужа (беснуясь): Малчать!!

Голос барышни: Господисусе! Повесьте трубку! (С резком разъединяет.)

Молчание.

1924 г.

ТРИ ВИДА СВИНСТВА

«В наших густо населенных домах отсутствуют какие-либо правила и порядок общежития».

(Из газет)

1

Белая горячка

Пять раз сукин сын Шурка на животе, по перилам, с 5-го этажа съезжал в «Красную Баварию» и возвращался с парочкой. Кроме этого, достоверно известно: с супругами Болдиными со службы возвратилось $1\frac{1}{2}$ бутылки высшего сорта нежинской рябиновки изготовления Госспирта, его же изготовления бледно-зеленой русской горькой 1 бутылка, 2 портвейна московского разлива.

— У Болдиных получка,— сказала Дуська и заперла дверь на ключ.

Заперся наглухо квартхоз, пекарь Володя и Павловна, мамаша.

Но в 11 часов они заперлись, а ровно в полночь открылись, когда в комнате Болдиных лопнуло первое оконное стекло. Второе лопнуло в двери. Затем последовательно в коридоре появился пестик, окровавленная супруга Болдина, а затем и сам супруг в совершенно разорванной сорочке.

Не всякий так может крикнуть «караул», как крикнула супруга Болдина. Словом, мгновенно во всех 8-ми окнах кв. № 50, как на царской иллюминации, вспыхнул свет.

После «портвейного разлива» прицелиться, как следует, не-

возможно, и брошенный пестик, проскочив в одном дюйме над головой квартхоза, прикончил дуськинню трюмо. Осталась лишь ореховая рама. Тут впервые вспыхнуло винтом грозное слово:

— Милиция!

— Милиция, — повторили привидения в белье.

То не Фелия Литвин с оркестром в 100 человек режет резонанс театра страшными криками Аиды, нет, то Василий Петрович Болдин режет свою жену:

— Милиция! Милиция!

2

С законным браком

Когда молодой человек с усами в штопор проследовал по коридору, единодушно порхнуло восхищенное слово:

— Ах, молодец-мужчина! Ай, да павловнина Танька! Подцепила жениха!

Молодец-мужчина за стыдливой Таней, печатницей, последовал прямо в комнату № 11 и мамаше Павловне сказал такие слова:

— Я не какой-нибудь супчик, мамаша. Беспартийная личность. Я не то, чтобы поиграть с невинной девушкой и выставить ее коленом. А вас, мамаша, будем лелеять. Ходите к обедне, сам за вас буду торговать.

Пощатнулась суровая Павловна, и поехал мерзавец Шурка по перилам в Моссельпром за сахарным песком.

Обвенчался молодец-мужчина в церкви Св. Матвея, что на Садовой ул., и видели постным маслом смазанную голову молодца-мужчины рядом с головой Тани, украшенной флердоранжем.

А через месяц сказал молодец-мужчина мамаше Павловне:

— И когда вы издохнете, милая мамаша, с вашими обеднями. Тесно от вас.

Встала Павловна медленно, причем глаза у нее стали, как у старого ужа:

— Я, издохну? Сам сдохнешь, сынок. Ворюга. Обожрал меня с Танькой. Царица небесная, да ударь же ты его, дьявола, громом!

Но не успело ударить громом молодца-мужчину. Он медленно встал из-за чайного стола и сказал так:

— Это кто же такой «ворюга»? Позвольте узнать, мамаша? Я ворюга? — спросил он, и голос его упал до шепота. — Я — ворюга? — прошептал он уже совсем близко, и при этом глаза его задержались пеленой.

— Караул! — ответила Павловна, и легко и гулко взлетело повторное: — Караул!

— Милиция! Милиция! Милиция!

Именины

В день святых Веры, Надежды и Любви и матери их Софии (их же память празднуем 17-го, а по советскому стилю назло 30-го сентября) ударила итальянская гармония в квартире № 50, и весь громадный корпус заходил ходуном. А в половине второго ночи знаменитый танцор Пафнютыч решил показать, как некогда он делал рыбку. Он ее сделал, и в нижней квартире доктора Форточкера упала штукатурка с потолка, весом в шесть с половиной пудов. Остался в живых доктор лишь благодаря тому обстоятельству, что в этот момент находился в соседней комнате.

Вернулся Форточкер, увидел белый громадный пласт и белую тучу на том месте, где некогда был его письменный стол, и взвыл:

— Милиция! Милиция! Милиция!

1924 г.

СЧАСТЛИВЧИК

*Выиграл! Выиграл!
Вот счастливец...
Он всегда выиграет!!!*

Песня.

Вечером в квартиру железнодорожника Карнаухова на станции И. постучали. Супруга Карнаухова, накинув пуховый пла-ток, пошла открывать.

— Кто там?

— Это я, Дашенька, — ответил за дверью под всхлипывание дождя вежливым голосом сам Карнаухов и внезапно заржал, как лошадь.

— Напился, ирод? — заговорила Дашенька, гремя болтом.

Луч света брызнул из лампочки, и в пелене дождя показалось растерянное и совершенно трезвое лицо Карнаухова, а рядом с ним из мрака вылезла лошадиная морда с бельмом на глазу. Супруга отшатнулась.

— Иди, иди, Саврасочка, — плаксиво заговорил Карнаухов и потянул лошадь за повод. Лошадь, гремя копытами, влезла на крыльцо, а оттуда — в сени.

— Да ты?! — начала Дашенька и осталась с открытым ртом.

— Тпррр-у... Дашенька, ты не ругайся... Но... но... о, сволочь, — робко заговорил Карнаухов, — она ничего лошадка, смиренная. Она тут в сенцах постоит...

Тут Дашенька опомнилась:

— Как это так в сенцах? Кобыла в сенцах? Да ты очумел!!

— Дашенька, нельзя ее на дворе держать. Сарайчика ведь нету. Она животная нежная. Дождик ее смочит — пропадет кобылка.

И чтоб ты с ней пропал! — воскликнула Дашенька. — Откуда ж ты на мою голову такую гадину привел? Ведь ты глянть, она хромая!

— И слепая, Дашенька, — добавил Карнаухов, — вишь, у ей бельмо, как блин.

— Да ты что ж, смеешься!! — взревела Дашенька. — Сколько ты за нее заплатил? И на какого тебе лешего лошадь, несчастный?

— Полтинник, Дашенька. Пятьдесят копеек всего.

— Полтинник? Да я б два фунта сахара купила...

— Дашенька, верь совести — на дамские ботинки целился. Тебе ж думал подарочек к рождению сделать.

— Какие ботинки, алкоголик?

— Я не алкоголик, Дашенька... Лотерея произошла. Я убежать хотел, а начальник депо поймал. Здравствуй, говорит, Карнаухов, разыгрываю я, говорит, Карнаухов, интересные предметы в лотерею — бери билеты. Я, говорю, не хочу. А он отвечает таким голосом: а, не хочешь!.. Ну, как хочешь... Давно я замечаю, что ты, Карнаухов, меня не любишь. Ну, ладно... Вижу, не возьмешь — беда! Ну, говорю, позвольте билетик. А он уверяет — у тебя, говорит, счастливая натура, обязательно ты выиграешь или дамские ботинки № 36, или музыкальный ящик, играющий 19 пьес. Я уж, говорит, по твоему лицу вижу. Стали таскать билеты, всем пустые, а мне № 98 — хлоп — кобыла! Публика хохочет, я убежать хотел, а начальник депо говорит: нет, стой! Это не по закону. Выиграл, так забирай! А куда я ее дену? Стал дарить — никто не берет, публика хохочет.

— Вон! — рявкнула Дашенька. — Вон вместе с кобылой, и чтоб твоего духу не пахло дома!

— Даш...

— Вон! — повторила Дашенька и распахнула двери.

— Ну-типруу... Дашенька, ты послушай... Иди, иди, стерва..

Кобыла загрохотала копытами. Лампа последний раз сверкнула в дождевые полосы, а затем завеса тумана съела счастливица с его выигрышем.

Сквозь шум дождя глухо донеслось:

— Но-но... Чтоб ты издохла...

ТОРГОВЫЙ ДОМ НА КОЛЕСАХ

Молчаливая обычно станция «Мелкие Дребезги» энской советской дороги загудела, как муравейник, в который мальчишка воткнул палку. Железнодорожники кучками собирались у громадного знака вопроса на белой афише. Под вопросом было напечатано: «ОНА ЕДЕТ!!!»

— Кто едет?! — изнывали железнодорожники, громоздясь друг на друга.

— Кооперативная лавка-вагон!! — отвечала афиша.

— Го-го, здорово! — шумели железнодорожники.

И на следующий день она приехала.

Она оказалась длинным товарным вагоном, испещренным лозунгами, надписями и изречениями:

«Нигде, кроме как в нашем торговом доме!»

«Сони, Маши и Наташи, летите в лавку нашу!»

«Железнодорожник! Зачем тебе высасываться в лавке частного паука, когда ты можешь попасть к нам?!»

— Ги-ги, здорово! — восхищались транспортники. — Паук — это наш Митрофан Иванович.

Станционный паук Митрофан Иванович мрачно глядел из своей лавчонки.

«Транспортная кооперация путем нормализации, стандартизации и инвентаризации спасет мелиорацию, электрификацию и механизацию».

Этот лозунг больше всего понравился стрелочникам.

— Понять ни черта нельзя, — говорил рыжебородый Гусев, — но видно, что умная штука.

— Каждый, кто докажет документом, что он член, получает скидку в 83 $\frac{1}{2}$ %, — гласил плакат, — все не члены получают такую же!!

В касе взаимопомощи наступило столпотворение. Транспортники стояли в хвосте и брали заимообразно совзнаками и червонцами.

А в полдень облепленная народом кооплавка начала торговать.

Три приказчика извивались, кассирша кричала: «сдачи нет!», и пер станционный народ штурмом.

— Три фунтика колбаски позвольте, стосковались по колбаске. У паука Митрофан Ивановича гнилая.

— Колбаски-с нет. Вся вышла-с. Могу предложить вместо колбаски омары в маринаде.

— Амары? А почему?

— Три пятьдесят-с.

— Чего три?!

— Известно-с — рубля.

— Банка?!

— Банка-с.

— А как же скидка? Я член...

— Вижу-с. Со скидкой три пятьдесят, а так они шесть двадцать.

— А почему они воняют?

— Заграничные-с.

— Ремней в данный момент не имеется, могу предложить взамен патентованные брюкодержатели «Дуплекс» — лондонские с автоматическими пуговицами «Пли». 7 руб. 25 коп. Купившим сразу дюжину дополнительная скидка — 15%. Виноват, гражданин. Он на талию надевается.

— Батюшки, лопнул!!

— Уплатите в кассу 7 руб. 25 коп.

— Ситцу нет, мадемуазель. Есть портьерная ткань лионская, крупными букетами. Незаменяема для обивки мебели.

— Хи-хи. У нас и мебели-то нету.

— Жаль-с. Могу предложить стулья «комфорт» складные для пикников...

— А вам что, мадам?

— Я не мадам, — ошеломленно ответил Гусев, поглаживая бороду.

— Пардон, чем могу?

— Мне бы ситцу бабе в подарок.

— Миль пардон, ситец вышел. Для подарка вашей почтенной супруге могу предложить парижский корсет на шелку с китовым усом.

— А где ж у него рукава?

— Извиняюсь, рукава не полагаются. Ежели с рукавами, возьмите пижаму. Незаменяемая вещь в морских путешествиях.

— Нам по морям не путешествовать. Нет, уже позвольте карсетик. Вещица прочная.

— Будьте покойны, пулей не прострелишь. Номер размера вашей супруги?

— У нас по простоте, не нумерованная, — ответил стыдливо Гусев, — известно, серость...

— Пардон, тогда мы на глаз. Рукой обхватить можно? Гусев подумал:

— Никак нет. Двумя, ежели у кого руки длинные...

— Гм. Это порядочный размер. Супруге вашей диета необходима. Так мы предложим вам № 130, для тучных специально.

— Хорошо, — согласился покладистый Гусев.

— 11 руб. 27 коп... Что кроме?

Кроме Гусев купил бритвенное зеркало «жокей-клуб», показывающее с одной стороны человека увеличенным, а с другой стороны уменьшенным. Просил мыла, а предложили русско-швейцарский сыр. Гусев отказался за неимением средств и, подкрепившись у Митрофан Ивановича самогоном, явился к супруге.

— Показывай, что купил, пьяница? — спросила Гусева супруга.

— Вишь, Маша, выбор в лавке у них заграничный, ни черта нету,— пояснил Гусев, вскрывая сверток,— говорят, тучная ты № 130...

— Ах, они, охальники! — супруга всплеснула руками. — Что они, мерили меня, что ли? И ты хорош: про жену такие слова!

Она глянула в зеркало и ахнула. Из круглого стекла выглянула великанская физия с обвисшими щеками и волосами, толстыми, как нитки.

Супруга повернула зеркало другой стороной и увидала самое себя с головой маленькой, как чернильница.

— Это я такая? № 130?! — спросила супруга, багровея.

— Тучная ты, Ма... — пискнул Гусев, присел, но не успел закрыться. Супруга махнула корсетом и съездила его по уху так, что шелк лопнул и китовый ус вонзился ему в глаз.

Через две минуты Гусев, растопырив ноги, сидел у входа в свое жилище и глядел заплывшим глазом в хвост поезду, увозившему кооперативную лавку.

Гусев погрозил ей кулаком.

Встал и направился к Митрофан Ивановичу.

1924 г.

МАДМАЗЕЛЬ ЖАННА

*У нас, в клубе на ст. 3., был вечер
порицательницы и гипнотизерки Жанны.*

*Угадывала чужие мысли и заработала
150 рублей за вечер.*

Рабкор.

Замер зал. На эстраде появилась дама с беспокойными подкрашенными глазами в лиловом платье и красных чулках. А за нею бойкая, словно молью траченная личность в штанах в полоску и с хризантемой в петлице пиджака. Личность шнырнула глазом вправо и влево, изогнулась и шепнула даме на ухо:

— В первом ряду лысый, в бумажном воротничке, второй помощник начальника станции. Недавно предложение делал — отказала. Нюрочка. (Публике громко.) — Глубокоуважаемая публика. Честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадмазель Жанну из Парижа и Сицилии. Угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно интимные семейные тайны!

Зал побледнел.

(Жанне.) — Сделай загадочное лицо, дура. (Публике.) — Однако не следует думать, что здесь какое-либо колдовство или чудеса. Ничего подобного, ибо чудес не существует. (Жанне.) — Сто раз тебе говорил, чтоб браслетку надевать на вечер. (Публике.) — Все построено исключительно на силах природы с разрешения месткома и культурно-просветительной комиссии

и представляет собою виталлопатию на основе гипнотизма по учению индийских факиров, угнетенных английским империализмом. (Жанне.) — Под лозунгом сбоку с ридикюлем, ей муж изменяет на соседней станции. (Публике.) — Если кто желает узнать глубокие семейные тайны, прошу задавать вопросы мне, а я внушу путем гипнотизма, усыпив знаменитую Жанну... Прошу вас сесть, мадамзель... По очереди, граждане! (Жанне.) — Раз, два, три — и вот вас начинает клонить ко сну! (Делает какие-то жесты руками, как будто тычет в глаза Жанне.) Перед вами изумительный пример оккультизма. (Жанне.) — Засыпай, что сто лет глаза таращишь? (Публике.) — Итак, она спит! Прошу...

В мертвой тишине поднялся помощник начальника, побагровел, потом побледнел и спросил диким голосом от страха:

— Какое самое важное событие в моей жизни? В настоящий момент?

Личность (Жанне): — На пальцы смотри внимательней, дура.

Личность повертела указательным пальцем под хризантемой, затем сложила несколько таинственных знаков из пальцев, что обозначало «раз-би-то-е».

— Ваше сердце,— заговорила Жанна, как во сне, гробовым голосом,— разбито коварной женщиной.

Личность одобрительно заморгала глазами. Зал охнул, глядя на несчастного помощника начальника станции.

— Как ее зовут? — хрипло спросил отвергнутый помощник.

— Эн, ю, эр, о, ч... — завертела пальцами у лацкана пиджака личность.

— Нюрочка! — твердо ответила Жанна.

Помощник начальника станции поднялся с места совершенно зеленый, тоскливо глянул во все стороны, уронил шапку и коробку с папиросами и ушел.

— Выйду ли я замуж? — вдруг истерически выкликнула какая-то барышня.— Скажите, дорогая мадамзель Жанна?

Личность опытным глазом смерила барышню, приняла во внимание нос с прыщом, льняные волосы и кривой бок и сложила у хризантемы условный шиш.

— Нет, не выйдете,— сказала Жанна.

Зал загремел, как эскадрон на мосту, и помертвевшая барышня выскочила вон.

Женщина с ридикюлем отделилась от лозунгов и сунулась к Жанне.

— Брось, Дашенька,— слышался сзади сиплый мужской шепот.

— Нет, не брось, теперь я узнаю все твои штучки-фокусы,— ответила обладательница ридикюля и спросила:

— Скажите, мадамзель, что, мой муж мне изменяет?

Личность обмерила мужа, заглянула в смущенные глазки, приняла во внимание густую красноту лица и сложила палец

крючочком, что означало — «да».

— Изменяет, — со вздохом ответила Жанна.

— С кем? — спросила зловещим голосом Дашенька.

«Как, черт, ее зовут? — подумала личность. — Дай бог памяти... да, да, да, жена этого... ах, ты, черт... вспомнил — Анна».

— Дорогая Ж...анна, скажите, Ж...анна, с кем изменяет ихний супруг?

— С Аниой, — уверено ответила Жанна.

— Так я и знала! — с рыданием воскликнула Дашенька. — Давно догадывалась. Мерзавец!

И с этими словами хлопнула мужа ридикиюлем по правой, гладко выбритой щеке.

И зал разразился бурным хохотом.

1925 г.

ЗАЛОГ ЛЮБВИ

Роман

1

Лунные тени

Угасли звуки на станции. Даже неугомонный маневровый паровоз перестал выть и заснул на пути. Луна, радостно улыбаясь, показалась над лесом и все залила волшебным зеленоватым светом. А тут еще запахло акации, ударили в голову, и засвистал безработный соловей... И тому подобное.

Две тени жались в узорию теи кустов, и в лунном отблеске изредка светились проводнички пуговицы.

— Ведь врешь ты все, подлец, — шепнул женский голос, — поиграешь и бросишь.

— Маруся, и тебе не совестно? — дрожа от обиды, шептал сильный голос. — Я, по-твоему, способен на такую пакость? Да я скорей, Маня, пулю пушу себе в лоб, чем женщину обману!

— Пустишь ты пулю, держи карман, — бормотал женский голос, волиуясь. — От тебя жди! Сорвешь цвет удовольствия, а потом сел в скорый поезд, только тебя и видели. Откатись ты лучше от меня!

«Целуются, черти, — тоскливо думал холостой начальник станции, сидя на балконе. — Луна, положим, такая, что с семафором поцелуешься».

— Знаем, — шептала тень, отталкивая другую тень, — видели таких. Поешь, поешь, а потом я рыдать с дитем буду, кулаками ему слезы утирать.

— Я тебя не допущу рыдать, Манюша. Сам ему, дитю, если таковое появится, кулаками слезы вытру. Он у нас и не пикнет. Дай в шейку поцелую. Четыре червонца буду младенцу выдавать. Или три.

«Фу ты, наваждение», — крикнул начальник станции и убрался с балкона.

— Одним словом, уходи.

— Дай-ка губки...

— На... И откатывайся... Прилип, как демон.

«Неподатливая баба, — думала тень, поблескивая пуговицами. — Ну, я тебя разгрызу! Ах, ты черт. Мысль у меня мелькнула... Эх, и золотая ж голова у меня»...

— Знаешь, Маруся, что я тебе скажу. Уж если ты словам моим не веришь, так я тебе залог оставлю.

— Уйди ты с залогом, не мучай!

— Нет, Маруся, ты погоди. Ты знаешь, что я тебе оставлю, — тень зашептала, зашептала, стала расстегивать пуговицы. — Уж это такой залог... без этого, брат ты мой, я и существовать не могу. Все равно к тебе вернусь.

— Покажи...

Долго еще шептались тени, что-то прятали. Потом настала тишина.

Луна вдруг выглянула из-за сосен и стыдливо завернулась в облака, как турчанка в чадру.

И темно.

2

В сундуке залог

Лил дождь. Маруся сидела у окна и думала:

«Куда ж он, подлец, запропастился? Ох, чужало мое сердце. Ну, да ладно, попрыгаешь, попрыгаешь, да приедешь. Далеко без залога не ускачешь. Мое счастье в сундуке заперто... Но все-таки интересно, где он находится, соблазнитель моей жизни?»

3

Злодейский план

Соблазнитель в это время находился в отделении милиции.

— Вам что, гражданин? — спросило его милиционерское начальство.

Соблазнитель кашлянул и заговорил:

— Гм... Так что, произошло со мной несчастье.

— Какое?

— Неописуемая вещь. Труднижку посеял.

— Вещь описуемая. Бывает с неаккуратными людьми. При каких обстоятельствах произошло?

— Обстоятельства обыкновенные. Вот извольте видеть, дыра в кармане. Вышел я погулять... Луна светит... Я ей и говорю...

— Кому ей?

— Тьфу!.. Это я обмолвился. Виноват. Ничего не говорю, а

просто смотрю, батюшки — дыра, а трудкнижки нет!

— Публикацию поместите в газете, а затем, вырезав ее, явитесь в отделение. Выдадим новую.

— Слушаюсь.

4

Роковое письмо

Через некоторое время в «Гудке» появилось:

«Утеряна трудкнижка за № таким-то, на имя такого-то. Выдана таким-то отд. милиции 8 мая 23 г.».

А через некоторое время в «Гудок» пришло письмо, поразившее редакцию, как громом:

«Многоуважаемый товарищ редактор! Это все ложь! Книжка не утеряна, и такой-то врет. Он отдал ее мне в залог любви. А теперь опубликовывает в газете!»

5

Эпилог

Такой-то рвал на себе волосы и кричал:

— Что ж мне теперь делать после такого сраму?!

Стоял перед ним приятель и говорил ему:

— Не знаю, что уж тебе и посоветовать. Сделал ты подлость по отношению к женщине. Сам теперь и казись!

1925 г.

ТАЙНА НЕСГОРАЕМОГО ШКАФА

Маленький уголовный роман

1

Трое и Хохолков

Дверь открылась с особенно неприятным визгом, и вошли трое. Первый был весь в кожаных штанах и с портфелем, второй — в пенсне и с портфелем, третий — с повышенной температурой и тоже с портфелем.

— Ревизионная комиссия, — отрекомендовались трое и добавили: — Позвольте нам члена месткома товарища Хохолкова.

Красивый блондин Хохолков привстал со стула, пожелтел и сказал:

— Я — Хохолков, а что?

— Желательно посмотреть профсоюзные суммы,— ответила комиссия, радостно улыбувшись.

— Ах, суммы? — сказал Хохолков и подавился слюной.— Сейчас, сейчас.

Тут Хохолков полез в карман, достал ключ и сунул его в замочную скважину несгораемого шкафа. Ключ ничего не открыл.

— Это не тот ключ,— сказал Хохолков,— до чего я стал рассеянным под влиянием перегрузки работой, дорогие товарищи! Ведь это ключ от моей комнаты!

Хохолков сунул второй ключ, но и от того пользы было не больше, чем от первого.

— Я прямо кретин и неврастеник,— заметил Хохолков,— сую, черт знает, что сую! Ведь это ключ от сундука от моего.

Болезненно усмехаясь, Хохолков сунул третий ключ.

— Мигрень у меня... Это от ворот ключ,— бормотал Хохолков.

После этого он вынул малюсенький золотой ключик, но даже и всовывать не стал его, а просто сухо плюнул:

— Тьфу... от часов ключик...

— В штанах посмотри,— посоветовала ревизионная комиссия, беспокойно переминаясь на месте, как тройка, рвущаяся вскачь.

— Да не в штанах он. Помню даже, где я его посеял. Утром сегодня, чай когда наливал, наклонился, он и выпал. Сейчас!

Тут Хохолков проворно надел кепку и вышел, повторяя:

— Посидите, товарищи, я сию минуту...

2

Записка от трупa

Товарищи посидели возле шкафа 23 часа.

— Вот черт! Засунул же куда-то! — говорила недоуменно ревизионная комиссия.— Ну уж, долго ждали, подождем еще, сейчас придет.

Но он не пришел. Вместо него пришла записка такого содержания:

«Дорогие товарищи! В припадке меланхолии решил покончить жизнь самоубийством. Не ждите меня, мы больше не увидимся, так как загробной жизни не существует, а тело, т. е. то, что некогда было членом месткома Хохолковым, вы найдете на дне местной реки, как сказал поэт:

Безобразен труп ужасный,
Посинел и весь распух,
Горемыка ли несчастный
Испустил свой грешный дух..
Ваш уважающий труп Хохолкова»

Умный слесарь

Попробуй, сказали слесарю

Слесарь наложил почерневшие пальцы на лакированную поверхность, горько усмехнулся и заметил

Разве мыслимо? У нас и инструмента такого нету Местную пожарную команду надо приглашать, да и та не откроет да и занята она: ловит баграми Хохолкова.

Как же нам теперича быть? — спросила ревизионная комиссия

- Специалиста надо вызывать, — посоветовал слесарь.

- Скудова же тут специалист? — изумилась комиссия

Из тюремного замка, ответил слесарь, ибо он был умен

Месье Майорчик

- Ромуальд Майорчик, — представился молодой бритый, необыкновенного изящества человек, явившийся в сопровождении потертого человека в серой шинели и с пистолетом, — чем могу быть полезен?

Очень приятно, — неуверенно отозвалась комиссия, — видите ли, вот касса, а труп потонул в меланхолии, вместе с ключом.

- Которая касса? — спросил Майорчик.

- Как которая? Вот она.

- Ах, вы это называете кассой? Извиняюсь, — отозвался Майорчик, презрительно усмехаясь, — это — старая коробка, в которой следует пуговицы держать от штанов. Касса, дорогие товарищи, — заговорил месье Майорчик, заложив лакированный башмак за башмак и опершись на кассу, — действительно хорошая была в Металлотресте в Одессе, американской фирмы Робинзон и К°, с 22 отделениями и внутренним ящиком для векселей, рассчитанная на пожар с температурой до 1200 градусов. Так эту кассу, дорогие товарищи, мы с Владиславом Скрибунским по кличке Золотая Фомка вскрыли в семь минут от простого 120-вольтового провода. Векселя мы оставили Металлотресту на память, и он по этим векселям не получил ни шиша, а мы взяли две с половиной тысячи червей.

- А где же теперь Золотая Фомка? — спросила комиссия, побледнев.

В Москве, — ответил месье Майорчик и вздохнул, — ему еще два месяца осталось. Ничего, здоров, потолстел даже, говорят. Он этим летом в Батум поедет на гастроль. Там в моргагентстве интересную систему прислали Германская с двойной бронировкой стен

Комиссия открыла рты, а Майорчик продолжал

Трудиные кассы английские, дорогие товарищи, с тройным шрифтом на замке и электрической сигнализацией. Изящная штучка. В Ленинграде Бостанжого, он же графчик Карапет резал ее 27 минут. Рекорд.

Ну и что? спросила потрясенная комиссия

- Векселя! — грустно ответил Майорчик. — Пишетрест. Они потом гнилые консервы поставили... Ну, что же с них получишь по векселям? Ровно ничего! Нет, дорогие товарищи, бывают такие кассы, что вы, прежде чем к ней подойти, любуетесь ею полчаса. И как возьмете в руки инструмент, у вас холодок в животе. Приятно. А это что же? — и Майорчик презрительно похлопал по кассе. — К-калоша. В ней и деньги-то неприлично держать, да их там, наверно, и нет

- Как это нету? сказала потрясенная комиссия. И быть этого не может. Восемь тысяч четыреста рублей должно быть в кассе

Сомневаюсь, заметил Майорчик, не такой у нее вид, чтобы в ней было восемь тысяч четыреста.

- Как это по виду вы можете говорить?

Майорчик обиделся.

— Касса, в которой деньги, она не такую внешность имеет. Эта касса какая-то задумчивая. Позвольте мне головную дамскую шпильку обыкновенного размера.

Головную дамскую шпильку обыкновенного размера достали у машинистки в месткоме. Майорчик вооружился ею, закатал рукава, подошел к кассе, провел по шву пальцами, затем согнул шпильку и превратил ее в какую-то закорючку, затем сунул ее в скважину, и дверь открылась мягко и беззвучно.

Восемь тысяч четыреста, — иронически усмехался Майорчик, уводимый человеком с пистолетом, — держи шире карман, в ней восемь рублей нельзя держать, а вы — восемь тысяч четыреста!

5

Загадочный документ

Действительно, никаких восьми тысяч четырехсот там не было. Потрясенная комиссия вертела в руках документ, представлявший собою угол, оторванный от бумаги. На означенном углу были написаны загадочные и неоконченные слова:

«Мар..

золот...

1400 р...».

Позвать эксперта, — распорядилась комиссия.

Эксперт явился и расшифровал документ таким образом:

— Марта — такого-то числа... золотой валютой... 1400 рублей.

— Где же остальные семь тысяч? — стояла комиссия

Тайна документа разгадана

У Хохолкова на квартире в старых брюках нашли вторую половину разорванного документа, и было в ней написано следующее:

«...уся, милая, бесценная,
..ая, целую вас
..аз и непременно приду сегодня вечером.
Ваш Хохолков».

Сложили обе половины. И тогда комиссия взвыла:

— Где же все восемь тысяч четыреста? Поганец труп, куда же он задевал профсоюзные деньги?! И куда он сам девался, и почему пожарная команда не может откопать его на дне местной реки?!

7

Страшное явление

И вот в одну прекрасную ночь ревизионная комиссия, возвращаясь с очередной ревизии, столкнулась в переулке с человеком.

— С нами крестная сила! — воскликнула комиссия и стала пятиться.

И было от чего пятиться. Стоял перед комиссией человек, как две капли воды похожий на покойного Хохолкова. Вовсе он не был посиневшим и не распух.

— Позвольте, да ведь это Хохолков!

— Ей-богу, это не я! Я просто похож, — ответил незнакомец, — тот Хохолков потонул, вы про него и забудьте. Моя же фамилия — Иванов, я недавно приехал. Оставьте меня в покое.

— Нет, позволь, позволь, — сказала комиссия, держа Хохолкова за фалду, — ты все-таки объясни: и у тебя родинка на правой щеке, у тебя глаза бегают и у Хохолкова бегают. И пиджак тот самый, и брови те же самые, только кепка другая, ну, так ведь кепка же не приклеенная к голове. Объясни, где восемь тысяч четыреста?!

— Не погубите, товарищи, — вдруг сказал незнакомец хохолковским голосом и стал на колени, — я вовсе не тонул, просто бежал, мучимый угрызениями совести, и вот ключ от кассы, а восьми тысяч четырехсот не ищите, дорогие товарищи. Их уже нет. Пожрала их гадина Маруся, местная артистка, которая через день делает себе маникюр. Оторвался я от массы, дорогие товарищи, но, принимая во внимание мое происхождение...

— Ах, ты, поросенок, поросенок, — сказала ревизионная комиссия, и Хохолкова повели.

Благополучный конец

И привели в суд. И судили, и приговорили, и посадили в одну камеру с Майорчиком. И так ему и надо. Пусть не тратит профсоюзных денег, доверенных ему массою, на чем и назидательному уголовному роману конец. Точка.

1926 г.

ЛЕСТНИЦА В РАЙ

С натуры

Лестница, ведущая в библиотеку ст Москва-Белорусская (1-я Мещанская ул.), совершенно обледенела.

Рабкор

Рабочий Косин упал удачно. С громом приехал со второго этажа в первый, там повернулся на площадке головой вниз и выехал на улицу. Следом за ним приехала шапка, за шапкой — книжка «Война и мир», сочинение Л. Толстого. Книжка выехала горбом, переплет дыбом, и остановилась рядом с Косиным.

— Ну, как? — спросили внизу ожидавшие своей очереди.

— Штаны порвал, — ответил глухо Косин, — хорошие штаны, жена набрала на Сухаревке, — и ощупал великолепный звездный разрыв на бедре.

Затем он поднял произведение Толстого, накрылся шапкой и, прихрамывая, ушел домой.

Вторым рискнул Балчугов.

— Я тебя осилю, я тебя одолею, — бормотал он, прижимая к груди собрание сочинений Гоголя в одном томе, — я, может, на Карпаты в 15-м году лазил и то ни слова не сказал. Ранен два раза... За спиной мешок, в руках винтовка, на ногах сапоги, а тут с Гоголем, — с Гоголем, да не осилить... Я «Азбуку коммунизма» желаю взять, я... чтоб тебя разорвало!.. Я... (он терялся в кромешной тьме)... чтоб вам с вашей библиотекой ни дна, ни покрывки!..

Он сделал попытку ухватиться за невидимые перила, но те мгновенно ускользнули из рук. Затем ускользнул Гоголь и через мгновение был на улице.

— Ох! — пискнул Балчугов, чувствуя, что нечистая сила отрывает его от обледеневших ступенек и тащит куда-то в бездну.

— Спа... — начал он и не кончил.

Ледяной горб под ногами коварно спихнул Балчугова куда-то,

где его встретил железный болт. Балчугов был неудачник, и болт пришелся ему прямо в зубы.

— Сп...— ахнул Балчугов, падая головой вниз.

— Те!! — кончил он, уже сидя на снегу.

— Ты снегом...— посоветовали ожидавшие...

— Не снегом...— ответил Балчугов (щеку его раздувало на глазах),— а колом по голове этого шамого библиотекаря и правление клуба тоже... мордой бы... по этой лестнице...

Он пошарил руками по снегу и собрал разлетевшиеся листки «Тараса Бульбы». Затем поднялся... и пошел домой.

— Обменял книжку...— бубнил он, держась за щеку,— вот так обменял — шатается...

Тьма поглотила его.

— Полезем, что ли, Митя? — робко спросил ожидающий.— Газету охота почитать.

— Ну их к свиньям собачьим,— ответил Митя,— живота решишься, а я женился недавно. У меня жена. Вдова останется. Идем домой.

Тьма съела и их.

1925 г.

БИБЛИФЕТЧИК

*На одной из станций библиотекарь
в вагоне-читальне в то же время и
буфетчик...*

Из письма рабкора

— Пожалте! Вон столик свободный. Сейчас обтеру. Вам пивка или книжку?

— Вася, библифетчик спрашивает, чего нам... Книжку или пивка?

— Мне... ти... титрадку и бутирброд.

— Тетрадок не держим.

— Ах, вы... вотр маман... трах-тарарах...

— Неприличными словами просюте не выражаться.

— Я выра... вы... ражаю протест!

— Сооруди нам, милый, полдюжинки!..

— Герасим Иванович! Полдюжины светлого!

— Воблочки с икрой.

— Вам воблочку?

— Нам чиво-нибудь почитать.

— Чего прикажете?

— Ну, хоша бы Гоголя.

— Вам домой? Нельзя-с. На вынос книжки не отпускаем. Кушайте, то бишь, читайте здесь.

— Я заказывал шницель. Долго я буду ждать?

- Чичас. Замучился.
- Наше вам!
- Урра. С утра здесь. Читаем за ваше здоровье!
- То-то я и смотрю, что вы лыка не вяжете. Чем это так надрались?
- Критиком Белинским.
- За критика!!
- Здоровье нашего председателя уголка! Позвольте нам два экземпляра мартовского.
- Пст! Эй! Ветчики сюда. А моему мальцу что-нибудь комсомольское для развития.
- Историю движения могу предложить.
- Ну, давай движение. Пушай ребенок читает.
- Я из писателей более всего Трехгорного обожаю.
- Известный человек. На каждой стене, на бутылке опять же напечатан...
- Порхает наш Герасим Иванович, как орел...
- Благодетель! Каждого ублаготвори, каждому подай...
- Антон!
- Герасим Иванович, от группы читателей шлем наше ура.
- Некогда, братцы... Пе... то-ись читайте на здоровье.
- Умрешь! Па... ха... ронють, как ие жил иа свети...
- Сгинешь... не востиешь... кви... кви... селю друзей! Налей... Налей!...

1924 г.

НОВЫЙ СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИГИ

Маленький фельетон

Книгоспилка (книжный союз) в Харькове продала на обертку 182 пуда 6 ф. книг, изданных Наркомземом для распространения на селе.

Кроме того, по 4 рубля за пуд продавали лавочники издания украинских писателей «Плуг».

Р а б к о р.

В книжном складе не было ни одного покупателя, а приказчики уныло стояли за прилавком. Звякнул звоночек, и появился гражданин с рыжей бородой всером. Он сказал:

- Драсте...
- Чем могу служить? — обрадованно спросил его приказчик.
- Нам бы гражданина Лермонтова сочинение, — сказал гражданин, легонько тикиув.
- Полиое собрание прикажете?
- Гражданин подумал и ответил:

— Полное. Пудиков на пятнадцать-двадцать.

У приказчика волосы встали дыбом.

— Помилте, оно и все-то весит фунтов пять, не более.

— Нам известно,— ответил гражданин,— постоянно его покупаем. Заверните экземпляричков пятьдесят. Пушай ваши мальчишки вынесут, у меня тут ломовик дожидается.

Приказчик брызнул по деревянной лестнице вверх и с самой крайней полки доложил почтительно:

— К сожалению, всего пять экземпляров осталось.

— Экая жалость,— огорчился покупатель,— ну, давай хуч пять. Тогда, милый человек, соорудите мне еще всемирную историю.

— Сколько экземпляров? — радостно спросил приказчик.

— Да отвесь полсотенки...

— Экземпляричков?

— Пудиков.

Все приказчики вылезли из книжных нёр, и сам заведующий подал покупателю стул.

— Вася! Полка 15-а. Скидай «Всемирную», всю как есть. Не прикажете ли в переплетах? Папка, тисненная золотом...

— Не требуется,— ответил покупатель.— Нам переплеты ни к чему. Нам, главное, чтобы бумага была скверная.

Приказчики опять ошалели.

— Ежели скверная,— нашелся наконец один из них,— тогда могу предложить сочинения Пушкина в издании Наркомзема.

— Пушкина не требуется,— ответил гражданин,— ён с картинками — картинки твердые. А Наркомзема заверни пудов пять на пробу.

Через некоторое время полки опустели, и сам заведующий вежливо выписывал покупателю чек. Мальчишки, кряхтя, выносили на улицу книжные пачки. Покупатель заплатил шуршащими белыми червонцами и сказал:

— До приятного свидания.

— Позвольте узнать,— почтительно спросил заведующий,— вы, вероятно, представитель крупного склада?

— Крупного,— ответил с достоинством покупатель,— седелками торгуем. Наше вам.

И удалился.

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Роман тов. Жюль Верна
С французского на эзоповский перевел Михаил А. Булгаков

ЧАСТЬ I

ВЗРЫВ ОГНЕДЫШАЩЕЙ ГОРЫ

Глава I

История с географией

В океане, издавна за свои бури и волнения названном Тихим, под 45-м градусом находился крупнейший необитаемый остров, населенный славными и родственными племенами — красными эфиопами, белыми арапами и арапами неопределенной окраски, получившими от мореплавателей почему то кличку «махровых».

«Надежда», корабль знаменитого лорда Гленарвана, впервые подошедший к острову, обнаружил на нем оригинальные порядки: несмотря на то, что красные эфиопы численностью превышали и белых, и махровых арапов в 10 раз, правили островом исключительно арапы. На троне в тени пальмы сидел украшенный рыбьими костями и сардинными коробками повелитель Сизи-Бузи, с ним рядом верховный жрец и еще военачальник Рики-Тики-Тави.

Красные же эфиопы были заняты обработкой маисовых полей, рыбной ловлей и собиранием черепаших яиц.

Лорд Гленарван начал с того, с чего привык начинать всюду, где бы ни появлялся: водрузил на горе флаг и сказал по-английски.

— Этот остров... мой немножко будет.

Произошло недоразумение. Эфиопы, не понимавшие никакого языка, кроме своего, из флага сделали себе штаны. Тогда лорд стал пороть эфиопов под пальмами, а перепоров всех, вступил в переговоры с Сизи-Бузи и от последнего узнал, что этот остров — его — сизин-бузин — и «флаг не надо».

Оказывается, остров открывали уже два раза. Во-первых, немцы, а за ними какие-то, которые лопали лягушек. В доказательство Сизи ссылался на сардиночные коробки и умильно намекивал, что «огненная вода вкусная очень есть, да».

— Пронюхали, сукины сыны! — проворчал лорд по-английски и, похлопав Сизи по плечу, милостиво разрешил ему и в дальнейшем числить остров за собой.

Затем произошел товарообман. Матросы сгрузили на берег с «Надежды» стеклянные бусы, тухлые сардинки, сахарии и огненную воду. Бурно ликуя, эфиопы свезли на берег бобровые шкуры, слоновую кость, рыбу, яйца и жемчуг.

Сизи-Бузи огненную воду взял себе, сардинки тоже, бусы также, а сахарин подарил эфиопам.

Установились правильные сношения. Суда заходили в бухту, сбрасывали английские ценности, забирали эфиопову дрянь. На острове поселился корреспондент «Нью-Йоркского Таймса» в белых штанах и с трубкой и немедленно заболел тропическим триппером.

Остров в учебниках географии был назван — «Эфиопов остров» (л'Иль д'Эфиоп).

Глава 2

Сизи пьет огненную воду

Засим остров достиг невиданного процветания. Верховный жрец, военачальник и сам Сизи-Бузи буквально плавали в огненной воде. Лицо Сизи сделалось в конце концов как лакированное и какое-то круглое, без складок. Армия белых арапов, украшенная бусами, лесом копий сверкала у шатра.

Проходившие суда нередко слышали победные крики, несущиеся с острова:

— Да здравствует наш повелитель Сизи-Бузи, а равно и верховный жрец! Ура, ура!

Кричали арапы и громче всех махровые.

Со стороны эфиопов доносилось громкое молчание. Не получая огненного пайка и работая до потери задних ног, означенные эфиопы находились в состоянии томном и даже граничащем с глухим неудовольствием. А так как среди эфиопов, как и среди всех людей, имеются смутьяны, то бывало и так, что у эфиопов зарождались завиральные мысли:

— Это как же, братцы? Ведь это выходит не по-божецки? Водка им (арапам), бусы им, а нам шиш с сахарином? А как работать — это тоже мы?

Кончилось это крупной неприятностью и опять-таки для эфиопов. Сизи-Бузи при самом начале брожения умов послал к эфиоповым вигвамам карательную арапову экспедицию, и та в два счета привела эфиопов к одному знаменателю.

Перепоротые, они кланялись в пояс и говорили:

— И детям закажем.

И, таким образом, вновь наступили ясные времена.

Глава 3

Катастрофа

Вигвамы Сизи и жреца помещались в лучшей части острова у подножия потухшей триста лет назад огнедышащей горы.

Однажды ночью она проснулась совершенно неожиданно, и сейсмографы в Пулкове и Гринвиче показали зловещую чепуху.

Из огнедышащей горы вылетел дым, за ним пламя, потом поперли какие-то камни, а затем, как кипяток из самовара, жаркая лава.

И к утру было чисто. Эфиопы узнали, что они остались без повелителя Сизи-Бузи и без жреца, с одним военачальником. На месте королевских вигвамов громоздились горы лавы.

Глава 4

Гениальный Кири-Куки

В первое мгновение эфиопы были разбиты громом и даже произошли в толпе слезы, но уже во второе мгновение по головам и эфиопов, и уцелевших арапов во главе с военачальником пронесся совершенно естественный вопрос: «Что же будет дальше?»

Вопрос повлек за собой гудение, сперва неясное, а затем громкое, и неизвестно, во что бы это вылилось, если бы не произошло удивительное событие.

Над толпой, напоминающей маковое поле с редкими белыми пятнами и махрами, взвилось чье-то испитое лицо и бегающие глаза, и затем, возвышаясь на бочке, всей своей персоной предстал известный всему острову пьяница и бездельник Кири-Куки.

Эфиопов разбilo громом второй раз, и причиной этому был поразительный вид Кири-Куки. Все от мала до велика привыкли его видеть околачивающимся то в бухте, где выгружали огненные прелести, то возле вигвама Сизи, и отлично знали, что Кири чистой воды махровый арап. И вот Кири явился перед ошалевшими островитянами раскрашенным с ног до головы в боевые эфиоповы красные цвета. Самый опытный глаз не отличил бы вертлявого пройдоху от обыкновенного эфиопа.

Кири качнулся на бочке вправо, потом влево и, открыв большой рот, грянул изумительные слова, тотчас занесенные в записную книжку восхищенным корреспондентом «Таймса»:

— Как таперича стали мы свободные эфиопы, объявляю вам спасибо!

Абсолютно ни один из эфиопова моря не понял, почему именно Кири-Куки объявляет спасибо и за что спасибо?! И вся громада ответила ему изумленным громовым:

— Ура!!!

Несколько минут бушевало оно на острове, а затем его прорезал новый вопль Кири-Куки:

— А теперь, братцы, вали присягать!

И когда восхищенные эфиопы взвыли:

— К-кому?!!

Кири ответил произительно:

— Мне!!!

На сей раз хлопнуло арапов. Но паралич продолжался недолго. С криком:

— Угодил, каналья, в точку! — военачальник первый бросился качать Кири-Куки.

Всю ночь на острове, играя в небе отблесками, горели веселые костры и, пьяные от радости и от огненной воды, раскупоренной тароватым Кири, плясали вокруг них эфиопы.

Проходящие суда тревожно бороздили небо радиомолниями и собирались остров для порядку обстрелять, но вскоре весь цивилизованный мир был успокоен телеграммой таймсовского корреспондента:

«У дураков на острове национальный праздник — байрам точка мошенник гениален».

Глава 5

Bount

Затем события покатались со сверхъестественной быстротой. В первый же день, чтобы угодить эфиопам, Кири остров назвал Багровым, в честь основного эфиопова цвета, и этим эфиопов, равнодушных к славе, не прельстил, а арапов обозлил. Во второй день, чтобы угодить арапам, в должности военачальника утвердил арапа же Рики-Тики и этим арапам не угодил, потому что каждый из них хотел быть начальником, а эфиопов обозлил. В третий, чтобы угодить лично себе, соорудил себе из шпротовой коробки лохматый головной убор, до чрезвычайности напоминающий корону покойного Сизи. Этим никому не угодил и всех обозлил, ибо арапы полагали, что каждый из них достоин коробки, а эфиопы, развращенные огненной водой, были вообще против коробки, напоминающей им весьма жгуче приведение к одному знаменателю.

Последнее же мероприятие Кири-Куки было направлено по адресу огненной воды, и на нем Кири окончательно и засыпался. Кири объявил, что огненной воды будет всем поровну, и не исполнил. Очень просто. Ежели всем, то ее нужно много. А где же ее взять? В обмен на воду Кири загнал очередной урожай маиса — воды много не добыл, зато не только эфиопам, но и арапам подвело животы, и получилось неудовольствие.

В прекрасный жаркий день, когда Кири по обыкновению лежал негодный к употреблению в своем вигваме, к начальнику Рики-Тики явился некий эфиоп, на физиономии коего были явно выписаны его смутьянские наклонности. В момент его появления Рики пил огненную воду под аккомпанемент хрустящего жареного поросенка.

— Тебе чего надо, эфиопская морда? — сухо спросил мрачный командир.

Эфиоп пропустил комплимент мимо ушей и прямо приступил к делу.

— Да как же это? — заныл он. — Ведь это что же? Вам и водка и поросята? Это опять, стало быть, старые порядки?

— Ага. Ты, значит, поросенка захотел? сдерживаясь, спросил воин.

— А как же? Чай, эфиоп тоже человек? — дерзко ответил визитер и нагло отставил ногу.

Рики взял поросенка за хрустящую ножку и, развернув его винтом, хлопнул эфиопа в зубы так, что из поросенка брызнуло масло, изо рта эфиопа — кровь, а из глаз — слезы попеременно с крупными зелеными искрами.

— Вон!!! — закончил Рики дискуссию.

Неизвестно, что такое учинил эфиоп, вернувшись к себе домой, но хорошо известно, что к концу дня весь остров уже гудел, как улей. А уже ночью фрегат «Ченслер», проходя мимо острова, видел два зарева в южной бухте Голубого Спокойствия и весь мир встревожил телеграммой:

«Острове огни всем признакам ослов эфиопов снова праздник Гаттерас».

Но почтенный капитан ошибся. Правда, огни были, но праздничного в них не заключалось ровно ничего. Просто в бухте горели вигвамы эфиопов, подожженные карательной экспедицией Рики-Тики.

Наутро огненные столбы превратились в дымные, причем их было не два, а уже девять. К ночи дымы превратились опять в лапчатые зарева (шестнадцать штук).

Мир был встревожен газетным заголовком в Париже, Лондоне, Риме, Нью-Йорке, Берлине и прочих городах: «В чем дело?»

И вот пришла телеграмма таймсовского корреспондента, поразившая мир:

«Шестой день горят вигвамы арапов. Тучи эфиопов ... (неразборчиво). Кири жулик бежа... (неразборчиво)».

А через день грянула на весь мир ошеломляющая телеграмма, уже не с острова, а из европейского порта:

«Ephiop sakatil grandiosni bount. Ostrov gorit, povalnaja tscho-uma. Gori troufov. Avansom piatsof. Korrespondent».

ЧАСТЬ II

ОСТРОВ В ОГНЕ

Глава 6

Таинственные пироги

На рассвете часовые на европейском берегу крикнули:

— На горизонте суда!!

Лорд Гленарван вышел с подозрной трубой и долго изучал черные точки.

— Мой не понимай,— сказал джентльмен,— похоже, пироги диких?..

— Гром и молния! — воскликнул Мишель Ардан, отбросив Цейсс в сторону. — Ставлю вашингтонский доллар против дырявого лимона выпуска 23-го года, если это не арапы!

— И очень просто, — подтвердил Паганель.

Ардан и Паганель угадали.

— Что означай-т? — спросил лорд, удивившись в первый раз в жизни.

Вместо ответа арапы только хныкали. На них было положительно страшно смотреть. Когда они немного отдышались, выяснились ужасные вещи: «Эфиопов тучи. Проклятые смутьяны разожгли этих дураков. Требование: арапов к чертям. Рики послал экспедицию, и ее перебили. Мерзавец Кири-Куки улизнул первый на пироге. Остатки карательной экспедиции во главе с Рики-Тики вот они — в пирогах. Они мало-мало к лорду приехали».

— Сто сорок чертей и одна ведьма! — грянул Ардан. — Они собираются жить в Европе. Компренэ-ву?!

— Но кто кормить будет? — испугался Гленарван. — Нет, вы обратно остров езжай...

— Нам таперича, ваше сиятельство, на остров и носу показать невозможно, — плакали арапы, — эфиопы нас начисто убивают. А во вторых строках, вигвамы наши к черту попалили. Вот ежели бы какую ни на есть военную силу послать, смирить этих сволочей...

— Благодарю, — иронически ответил лорд, указывая на телеграмму корреспондента, — у вас там чума. Мой еще с ума не сходил. Один мой матрос дороже, чем ваш паршивый остров весь. Да.

— Точно так, ваше превосходительство, — согласились арапы, — известно, что мы ни черта не стоим. А насчет чумы гос подин корреспондент верно пишут. Так и косит, так и косит И опять же голод.

— Так-с, — задумчиво сказал лорд, — ладно. Мой будет посмотреть, — и скомандовал: — В карантин!

Глава 7

Араповы муки

Чего натерпелись арапы в гостях у лорда, и выразить невозможно. Началось с того, что их мыли в карболке и держали за загородкой, как каких-нибудь ослов. Кормили аккуратно, как раз так, чтобы арапы не умирали. А так как установить точную норму при таком методе невозможно, то четверть арапов все-таки отдала богу душу.

Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд направил их на работы в каменоломни. Там были надсмотрщики, а у надсмотрщиков бичи из воловьих жил...

Мертвый остров

Суда получили приказ обходить остров на пушечный выстрел. Так они и делали. По ночам было видно слабое догорающее зарево, а днем остров тлел черным дымом. Потом к этому прибавился удушающий смрадный дух. По голубым волнам тянуло трупным запахом.

— Крышка острову,— говорили матросы, глядя в бинокли на коварную зеленую береговую полосу.

Арапы, превратившиеся на хлебах лорда в бледные тени, шляясь в каменоломнях, злорадствовали:

— Так им и надо, прохвостам. Пушай поумирают к свиньям. Когда все издохнут, вернемся и остров займем. А уже этому мерзавцу Кири-Куки кишки выпустим своеручно, где бы ни попался.

Лорд хранил спокойное молчание.

Засмоленная бутылка

Ее выбросила однажды волна на европейский берег. Ее вскрыли с карболовыми предосторожностями в присутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые каракули эфиопской рукой. Переводчик разобрался в них и представил лорду документ: «Погибаем с голоду. Ребята (через ять) малыедохнут. Чума то же самое. Чай, ведь мы люди? Хлебца пришлите. Любящие эфиопы».

Рики-Тики посинел и взвыл:

— Ваше сиясь!.. Да ни за что! Да пушай поумирают! Да ежи! после всего их бунта да еще и кормить...

— Я и не собираюсь,— холодно ответил лорд и съездил Рики по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами.

— В сущности, это свинство...— пробормотал сквозь зубы Мишель Ардан.— Можно было бы послать немного маису.

— Благодарю вас за совет, месье,— сухо ответил Гленарван,— интересно знать, кто будет платить за маис? И так эта арапская орава налопала на черт знает сколько. В глупых советах я не нуждаюсь.

— Вот как? — прищурившись, спросил Ардан.— Позвольте узнать, сэр, когда мы стреляемся? И клянусь, дорогой сэр, я попаду в 20 шагах в вас так же легко, как в собор Парижской Богоматери.

— Я не поздравляю вас, месье, если вы окажетесь в 20 шагах от меня,— ответил лорд,— вес вашего тела увеличится на вес пули, которую я всажу вам в один из ваших глаз по вашему выбору.

Филеас Фогг был секундантом лорда, Паганель — Ардана. Вес Ардана остался прежним, и Ардан в лорда не попал. Он попал в одного из арапов, сидевших из любопытства за кустом. Пуля вошла арапу в переносицу и вышла через затылок. Арап умер в то время, когда она была на полпути — посредине мозга.

Ардан и Гленарван пожали друг другу руки и разошлись.

Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью 50 арапов сбежали на пирогах с европейского берега, оставив лорду начальную записку:

«Спасибо за карболку и воловьши жилы надсмотрщиков. Надеемся, что когда-нибудь мы им переломаем ноги. Едем обратно на остров. С эфиопами замиряемся. Лучше от чумы подохнуть дома, чем от вашей тухлой солонины. С почтением. Арапы».

Уехавшие уперли с собою подзорную трубу, испорченный пулемет, 100 банок сгущенного молока, шесть дверных блестящих ручек, 10 револьверов и двух европейских женщин.

Лорд перепорол оставшихся арапов и занес в книжку стоимость похищенного.

ЧАСТЬ III

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

Глава 10

Изумительная депеша

Прошло 6 лет. Изолированный мертвый остров был забыт. С кораблей изредка издали видели моряки в бинокли пышную зелень его берегов, скалы и пенный прибой. Больше ничего.

Семь лет было назначено, чтобы выветрилась чума и остров стал безопасным. В конце седьмого предполагалась экспедиция на остров с целью вселения арапов обратно. Арапы, худые, как скелеты, томились в каменоломнях.

И вот в начале седьмого года цивилизованный мир был потрясен изумительным известием. Радиостанции Америки, Англии, Франции приняли радиотелеграмму:

«Чума кончилась. Слава богу, живы, здоровы, чего и вам желаем. Ваши уважаемые эфиопы».

Наутро во всем мире газеты вышли с аршинными заголовками:

«ОСТРОВ ГОВОРИТ!!!

ЗАГАДОЧНОЕ РАДИО!!! ЭФИОПЫ ЖИВЫ?!»

— Клянусь фланелевыми панталонами моей бабушки! — взревел М. Ардан. — Это сверхъестественно. Не то удивительно, что они выжили; а то, что они дают телеграммы. Не дьявол же им соорудил радиостанцию?!

Лорд Гленарван принял известие задумчиво. Арапы же были

совершенно разбиты. Рики-Тики-Тави хныкал и просил лорда: — Таперича, ваше преосвященство, единственно: перебить их — экспедицию послать. Ведь это что ж такое делается?! Остров наш наследственный. До каких же пор мы тут томиться будем?

— Мой будет посмотрейт,— ответил лорд.

Глава II

Капитан Гаттерас и загадочный баркас

В чудесный майский день у острова на море показался дым винтом, и вскоре корабль под командой капитана Гаттераса, командированный лордом Гленарваном, пристал к берегу. Матросы усеяли ванты и борты и с любопытством глядели на остров. Глазам их представилась следующая картина: в бухте мирно дремала вода, и неизвестный баркас торчал у самого берега среди целой стаи новеньких, видимо, только что отстроенных пирог. Загадка радиотелеграммы объяснилась тут же: вдали глядел в изумрудном тропическом лесу шпиль чрезвычайно уродливо сооруженной радиостанции.

— Сто дьяволов! — вскричал капитан. — Эти остолопы сами построили эту кривую дылду!

Матросы весело хохотали, глядя на корявый плод эфиопова творчества.

Лодка с корабля подошла к берегу и высадила капитана с несколькими матросами.

Первое, что поразило отважных мореплавателей, — это чрезвычайное изобилие эфиопов. Гаттераса обступили не только взрослые, но и целая куча молодых. На самом берегу гирляндами сидели толстые маленькие эфиопчики и удили рыбу, свесив ноги в голубую воду.

— Черт меня возьми, если эта чума не пошла им на пользу! — удивился Гаттерас. — У них такие морды, как будто их кормили кашей «Геркулес»! Ну-с, будем посмотреть дальше...

Дальше его поразили именно старенький баркас, приютившийся в бухте. Одного опытного взгляда было достаточно, чтобы убедиться: баркас с европейской верфи.

— Это мне не нравится, — процедил сквозь зубы Гаттерас, — если только они не украли эту дырявую калошу, то спрашивается, какая каналья шлялась на остров во время карантина? Мне сильно сдается, что баркас немецкий! — И, обратившись к эфиопам, он спросил:

— Эй, вы! Краснорожие черти! Где вы свистнули лодку?

Эфиопы лукаво заулыбались, показав жемчужные зубы, и ничего не ответили,

— Не желаете отвечать? Ладно, — капитан нахмурился, — я вас сделаю разговорчивее.

С этими словами он направился к баркасу. Но эфиопы преградили ему и матросам путь.

— Прочь! — рявкнул капитан и привычным жестом взялся за задний карман.

Но эфиопы не ушли прочь. В одно мгновение Гаттерас и матросы оказались в тесном и плотном кольце. Шея капитана побагровела. В толпе он вдруг разглядел одного из белых арапов, бежавших из каменоломни.

— Ба-а! Старый знакомый! — воскликнул Гаттерас. — Теперь я понимаю, откуда смуты! Подойди сюда, негодяй!

Но негодяй не пожелал подойти. Он так и заявил:

— Не пойду!

Капитан Гаттерас в бешенстве оглянулся, и шея его стала фиолетовой, составив прекрасный контраст с белым полем его шлема. Дело в том, что в руках у многих эфиопов он разглядел ружья, чрезвычайно похожие на немецкие винтовки, а в руках у арапа — свистнутый у Гленарвана парабеллум. Лица матросов, обычно бойкие, стали серьезно-серенькими. Капитан глянул на жгучее синее небо, затем на рейд, где покачивался его корабль. Оставшиеся на борту матросы пестрели белыми пятнышками на реях и мирно наблюдали берег.

Капитан Гаттерас умел владеть собой. Шея его постепенно приобрела нормальный цвет, говорящий о том, что паралич на сей раз отсрочен.

— Пропустите-ка меня обратно на корабль, — вежливо-хриплым голосом сказал он.

Эфиопы расступились, и Гаттерас, эскортируемый моряками, отбыл на корабль. Через час на нем загремели якорные цепи, а через два он уже виднелся лишь маленьким дымком на горизонте солнечного моря.

Глава 12

Непобедимая Армада

В бараках, занятых арапами, творилось что-то неопишемое. Арапы выпускали победные клики и ходили на головах. В этот день им ведрами подали золотистый жирный бульон. Лохмотьев на арапах больше не было. Им выдали великолепные ситцевые штаны и сколько угодно краски для боевой татуировки. У барачников стояли в козлах новехонькие скорострельные винтовки и пулеметы.

Рики-Тики-Тави был интереснее всего. Он сверкал кольцами в носу, пестрел развевающимися перьями. Лицо у него сияло, как у живоцерковного попа на Пасху. Он ходил, как помешанный, и говорил только одно:

— Ладно, ладно, ладно. Ужо таперя, голубчики, вы у меня попрыгаете. Дай срок, доплывем. Вот только доплывем.

И при этом пальцами он делал такие жесты, как будто кому-то невидимому выдирает глаза.

— Стройся! Смирно! Ура! кричал он и летал перед фронтом отяжелевших от бульона арапов

Три бронированных громады в порту стали принимать араповы батальоны. И тут произошло событие. На середину перед фронтом вылезла оборванная и истасканная фигурка с головой, стриженной ежиком. Ошеломленные арапы всмотрелись и узнали в фигурке не кого иного, как самого Кири-Куки, скитавшегося все это время неизвестно где.

Он имел наглость выйти перед фронтом арапов и с заискивающей улыбкой обратиться к Рики-Тики:

— А меня-то что ж, братцы, забыли? Чай, я ваш Тоже арап. И меня на остров возьмите. Я пригожусь...

Он не успел окончить речь. Рики позеленел и вытащил из-за пояса широкий острый ножик.

— Ваше здоровье,— трясущимися губами обратился он к лорду Гленарвану, — этот самый... вот этот вот и есть Кири-Куки, из-за которого сыр-бор загорелся. Дозвольте мне, ваша светлость, своими ручками ему глоточку перерезать?

— Отчего же. С удовольствием,— ответил лорд благодушно,— только скорей, не задерживай посадку.

Кири-Куки успел только раз пискнуть, пока Рики мастерским ударом перехватил ему глотку от уха до уха.

Затем лорд Гленарван и Мишель Ардан выступили перед фронтом, и лорд произнес напутственную речь:

— Езжайт, эфиопов покоряйт. Мой будет помогайт, с ко-рабля стреляйт. Ваш потом будет платийт за этот

И батальоны арапов под музыку сели на суда

Глава 13

Неожиданный финал

Как жемчужина, сияющий предстал в ослепительный день остров. Суда подошли к берегу и начали высаживать вооруженный арапов строй. Рики, полный боевого пламени, соскочил первый и, потрясая саблей, скомаидовал:

— Храбрые арапы, за мной!

И арапы устремились за ним.

Затем произошло следующее: из плодородной земли острова навстречу незванным гостям встала неопишуемая эфиопова сила. Эфиопы ползли густейшими шеренгами. Их было так много, что зеленый остров во мгновение ока стал красным. Они перли тучами со всех сторон, и над их красным океаном, как зубная щетка, густо лезла щетина копий и штыков. Кое-где вкрапленные, неслись в качестве отделенных комаидиров те самые арапы, что дали ходу из каменоломни. Означенные арапы были вдребезги расписаны эфиоповыми знаками, потрясали револьверами. На их лицах ясно было написано, что им нечего терять. Из глоток у них несло только одно — боевой командный вопль.

— В штыки!!!

На что эфиопы отвечали таким воем, от которого стыла в жилах кровь:

— Бей их, сукиных сынов!!!

Когда враги встретились, стало ясно, что армия Рики не что иное, как белый остров в бушующем багровом океане. Он расплеснулся и охватил арапов с флангов.

— Клянусь рогами дьявола! — ахнул на борту флагманского корабля М. Ардан. — Я не видал ничего подобного!

— Подкрепите их огнем! — приказал лорд Гленарван, отрываясь от подозрной трубы.

Капитан Гаттерас подкрепил. Бухнула четырнадцатидюймовая пушка, и снаряд, дав недолет, лопнул как раз на стыке между арапами и эфиопами. В клочья разорвало 25 эфиопов и 40 арапов. Второй снаряд имел еще больший успех: 50 эфиопов и 130 арапов. Третьего снаряда не последовало, ибо лорд Гленарван, наблюдавший за результатами стрельбы в подозрную трубу, ухватил капитана Гаттераса за глотку и оттащил от пушки с воплем:

— Прекратите это, черт бы вас взял! Ведь вы лупите по арапам!!

В шеренгах арапов после первых двух подарков Гаттераса поднялся невероятнейший визг и вой, и ряды их дрогнули.

Взвыл даже Рики-Тики, вокруг которого закрутился бешеный водоворот. В водовороте вынырнуло внезапно искаженное лицо одного из рядовых арапов. Он подскочил к ошалевшему вождю и захрипел, причем пена вылезала у него вместе со словами:

— Как?! Мало того, что ты нас затянул в каменоломни и мариновал семь лет!!! А теперь еще!! Загнал под чемоданы?! Спереди эфиопы, а сзади по башке снарядам?! А-а-а-а!!!

Арап во мгновение выхватил ножик и вдохновенно всадил его Рики-Тики, чрезвычайно метко угадав между 5-м и 6-м ребром с левой стороны.

— Помо... — ахнул вождь, — гите, — закончил он уже на том свете — перед престолом всевышнего.

— Ур-ра!!! — грянули эфиопы.

— Сдаемся!! Ура! Замирайся, братцы! — завyli смятенные арапы, вертясь в бушующих водах эфиоповой необозримой рати.

— Ур-ра!! — ответили эфиопы.

И все смешалось на острове в невообразимой каше.

— Семьсот лихорадок и сибирская язва!! — вскричал М. Ардан, впиваясь глазами в стекла Цейсса. — Пусть меня повесят, если эти остолопы не помирились!! Гляньте, сэр! Они братаются!!

— Я вижу, — гробовым голосом ответил лорд, — мне очень интересно было бы знать, каким образом мы получим теперь вознаграждение за все убытки, связанные с кормлением этой оравы в каменоломнях?

— Бросьте, дорогой сэр, — вдруг задушевно сказал М. Ар-

дан,— ничего вы не получите здесь, кроме тропической малярии. И вообще я советую вам немедленно поднимать якоря. Берегись!!! — вдруг крикнул он и присел. И лорд присел машинально рядом с ним. И вовремя. Как дуновение ветра, над их головами прошла сверкнувшая туча стрел эфиопов и пуль арапов.

— Дайте им!! — взревел лорд Гаттерасу.

Гаттерас дал и неудачно. Лопнуло высоко в воздухе. Соединенная арапо-эфиопская рота ответила повторной тучей, причем она прошла ниже, и лорд собственнoглазно видел, как в корчах, сразу побагровев, упали семь матросов.

— К чертям эту экспедицию!! — прогремел дальновидный Ардан.— Ходу, сэр!! У них отравленные стрелы. Ходу, если вы не хотите привезти чуму в Европу!!

— Дай на прощание!! — просипел лорд.

Известный сапожник-артиллерист Гаттерас дал на прощание куда-то криво и косо, и суда снялись с якоря. Третья туча стрел безвредно села в воду.

Через полчаса громады, одевая дымом горизонт, уходили, разрезая гладь океана. В пенистой кормовой струе болтались семь трупов отравленных и выброшенных матросов.

Остров затягивало дымкой, и исчезала в ней изумрудная, напоенная солнцем береговая полоса.

Глава 14

Финальный сигнал

В ночь одело огненным заревом тропическое небо над Багровым Островом, и суда хлестнули во все радиостанции словами:

«Острове байрам чрезвычайных размеров точка черти пьют кокосовую водку!!»

А засим Эйфелева башня приняла зеленые молнии, сложившиеся в аппаратах в неслыханно наглую телеграмму:

«ГЛЕНАРВАНУ И АРДАНУ!

На соединенном празднике посылаем вас к... (неразборчиво) мат... (неразборчиво).

«С ПОЧТЕНИЕМ ЭФИОПЫ И АРАПЫ».

— Закрывать приемники,— грянул Ардан.

Башня мгновенно потухла. Молнии угасли, и что происходило в дальнейшем, никому не известно.

1924 г.

ГЛАВ-ПОЛИТ-БОГОСЛУЖЕНИЕ

Конотопский уисполком по договору от 23 июля 1922 г. с общиной верующих поселка ст. Бахмач передал последней в бессрочное пользование богослужебное здание, выстроенное на полосе железнодорожного отчуждения и пристроенное к принадлежащему Зап. ж. д. зданию, в коем помещается жел. дорожная школа.

...Окна церкви выходят в школу...

(Из судебной переписки.)

Отец дьякон бахмачской церкви, выходящей окнами в школу, в конце концов не вытерпел и надрызгался с самого утра в день Параскевы-Пятницы и, пьяный, как зонтик, прибыл к исполнению служебных обязанностей в алтарь.

— Отец дьякон! — ахнул настоятель. — Ведь это что же такое?.. Да вы гляньте на себя в зеркало: вы сами на себя не похожи!

— Не могу больше, отец настоятель! — взвыл отец дьякон. — Замучили ркаянные. Ведь это никаких нервов не хва... хва... хватит. Какое тут богослужение, когда рядом в голову зудят эту грамоту...

Дьякон зарыдал, и крупные, как горох, слезы поползли по его носу.

— ...верите ли, вчера за всенощной разворачиваю требник, а перед глазами огненными буквами выскакивает: «Религия есть опиум для народа». Тьфу! Дьявольское наваждение. Ведь это ж... ик... до чего ж доходит?.. И сам не заметишь, как в кам... ком... мун... нистическую партию уверуешь. Был дьякон, и, ау, нету дьякона! Где, спросят добрые люди, наш милый дьякон? А он, дьякон... он в аду... в гигиене огненной.

— В геенне, — поправил отец настоятель.

— Один черт, — отчаянно молвил отец дьякон, криво влезая в стихарь, — одолел меня бес!

— Много вы пьете, — осторожно намекнул отец настоятель, — оттого вам и мерещится.

— А это мерещится? — злобно спросил отец дьякон.

— Владыкой мира будет труд!! — донеслось через открытые окна соседнего помещения.

— Эх, — вздохнул дьякон, завесу раздвинул и пророкотал: — Благослови, владыка!

— Пролетарию нечего терять, кроме его оков.

— Всегда, ныне, и присно, и во веки веков, — подтвердил отец настоятель, осеняя себя крестным знамением.

— Аминь! — согласился хор.

Урок политграмоты начался мощным пением Интернационала и ектении:

— Весь мир насилия мы разрушим до основания! А затем...

— Мир всем! — благодушно пропел настоятель.

— Замучили долгогривые, — захныкал учитель политграмоты, уступая место учителю родного языка, — я — слово, а они — десять!

— Я их перешибу, — похвастался учитель языка и приказал:

— Читай, Клюкин, басню.

Клюкин вышел, одернул пояс и прочитал:

— Попрыгунья-стрекоза

Лето красное пропела,

Оглянуться не успела...

— Яко спаса родила!! — грянул хор в церкви.

В ответ грохнул весь класс и прыснули прихожане.

Первый ученик Клюкин заплакал в классе, а в алтаре заплакал отец настоятель.

— Ну их в болото, — ошеломленно хихикая, молвил учитель, — довольно, Клюкин, садись, пять с плюсом.

Отец настоятель вышел на амвон и опечалил прихожан сообщением:

— Отец дьякон заболел внезапно и... того... богослужить не может.

Скоропостижно заболевший отец дьякон лежал в приделе алтаря и бормотал в бреду:

— Благочестив... самодержавнейшему государю наше... замучили проклятые!..

— Тиш-ша вы, — шипел отец настоятель, — услышит кто-нибудь, беда будет...

— Плевать... — бормотал дьякон, — мне нечего терять... ик... кроме оков.

— Аминь! — спел хор.

* * *

Примечание «Гудка»: В редакции получен материал, показывающий, что дело о совместном пребывании школы и церкви в одном здании тянется уже два года. Просьба всем соответствующим учреждениям сообщить, когда же кончится это невозможное сожительство?

1924 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ

*Хвала тебе, Ай-Петри великан,
В одежде царственной из сосен!
Взошел сегодня на твой мощный стан
Штабс-капитан в отставке Просин!*

Из какого-то рассказа

Неврастения вместо предисловия

Улицы начинают казаться слишком пыльными. В трамвае сесть нельзя — почему так мало трамваев? Целый день мучительно хочется пива, а когда доберешься до него, в небо вонзается воблина кость и, оказывается, пиво никому не нужно. Теплое, в голове встает болотный туман, и хочется не моченого гороху, а ехать под Москву в Покровское-Стрешнево.

Но на Страстной площади, как волки, воют наглецы с букетами, похожими на конские хвосты.

На службе придираются: секретарь — примазавшаяся личность в треснувшем пенсне — невыносим. Нельзя же в течение двух лет без отдыха созерцать секретарский лик!

Сослуживцы, людишки себе на уме, явные мешчане, несмотря на портреты вождей в петлицах.

Домоуправление начинает какие-то асфальтовые фокусы и мало того, что разворотило весь двор, но еще на это требует денег. На общие собрания идти не хочется, а в «Аквариуме» какой-то дьявол в светлых трусиках ходит по проволоке, и юродство его раздражает до невралгии.

Словом, когда человек в Москве начинает лезть на стену, значит, он доспел, и ему, кто бы он ни был — бухгалтер ли, журналист или рабочий, ему надо ехать в Крым.

В какое именно место Крыма?

Коктебельская загадка

— Натурально в Коктебель, — не задумываясь ответил приятель. — Воздух там, солнце, горы, море, пляж, камни. Карадаг, красота!

В эту ночь мне приснился Коктебель, а моя мансарда на Пречистенке показалась мне душной, полной жирных, несколько в изумруд отливающих мух.

— Я еду в Коктебель, — сказал я второму приятелю.

— Я знаю, что вы человек недалекий, — ответил тот, закуривая мою папиросу.

— Объяснитесь?

— Нечего и объясняться. От ветру сдохнете.

— Какого ветру?

— Весь июль и август дует, как в форточку. Зунд.

Ушел я от него.

— Я в Коктебель хочу ехать, — неуверенно сказал я третьему и прибавил: — Только прошу меня не оскорблять, я этого не позволю.

Посмотрел он удивленно и ответил так:

— Счастливцев! Море, воздух, солнце...

— Знаю. Только вот ветер — зунд.

— Кто сказал?

— Катошихин.

— Да ведь он же дурак! Он дальше Малаховки от Москвы не отъезжал. Зунд — такого и ветра нет.

— Ну, хорошо.

Дама сказала:

— Дует, но только в августе. Июль — прелесть

И сейчас же после нее сказал мужчина:

— Ветер в июне — это верно, а июль — август будете как в раю.

— А черт вас всех возьми!

— Никого ты не слушай, — сказала моя жена, — ты издержался, тебе нужен отдых...

Я отправился на Кузнецкий Мост и купил книжку в ядовитосинем переплете с золотым словом «Крым» за 1 руб. 50 коп.

Я — патентованный городской чудак, скептик и неврастеник — боялся ее читать. «Раз путеводитель, значит, будет хвалить».

Дома при опостылевшем свете рабочей лампы раскрыли мы книжечку и увидали на странице 370-й: (Крым. Путеводитель. Под общей редакцией члена президиума Моск. Физио-Терапевтического Общества и т. д. Изд. «Земли и Фабрики») буквально о Коктебеле такое:

«Причиной отсутствия зелени является «Крымский сирокко», который часто в конце июля и августа начинает дуть неделями в долину, сушит растения, воздух насыщает мелкой пылью, до иступления доводит нервных больных... Бесперывный ветер, не прекращавшийся в течение 3-х недель, до иступления доводил неврастеников. Нарушались в организме все функции, и больной чувствовал себя хуже, чем до приезда в Коктебель».

(В этом месте жена моя заплакала).

«...Отсутствие воды — трагедия курорта, — читал я на стр. 370—371, — колодезная вода, соленая, с резким запахом моря...»

— Перестань, детка, ты испортишь себе глаза...

«...К отрицательным сторонам Коктебеля приходится отнести отсутствие освещения, канализации, гостиниц, магазинов, неудобства сообщения, полное отсутствие медицинской помощи, отсутствие санитарного надзора и дороговизна жизни...»

— Довольно! — нервно сказала жена.

Дверь открылась.

— Вам письмо.

В письме было:

— Приезжайте к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед 70 коп.

И мы поехали...

В Севастополь!

— Невозможно,— повторял я, и голова моя металась, как у зарезанного, и стучалась о кузов. Я соображал: хватит ли мне денег? Шел дождь. Извозчик как будто на месте топтался, а Москва ехала назад. Уезжали пивные с красными раками во фраках на стеклах, и серые дома, и глазастые машины хрюкали в сетке дождя. Лежа в пролетке, коленями придерживая мюровскую попку, я рукой сжимал тощий кошелек с деньгами, видел мысленно зеленое море, вспоминал, не забыл ли я запереть комнату...

«1-с» — великолепен. Висел совершенно молочный туман, у каждой двери стоял проводник с фонарем, был до прочтения плацкарты недоступен и величествен, по прочтении предупредителен. В окнах было светло, а в вагоне-ресторане на белых скатертях бутылки Боржома и красного вина.

Коварно, после очень негромкого второго звонка, скорый снялся и вышел. Москва в пять минут завернулась в густейший черный плащ, ушла в землю и умолкла.

Над головой висел вентилятор-пропеллер. Официанты были сверхчеловечески вежливы, возбуждая даже дрожь в публике. Я пил пиво баварское и недоумевал, почему глухие шторы скрывают от меня подмосковную природу.

— Камнями швыряют, сукины сыны,— пояснил мне служащий, изгибаясь, как змея.

В жестком вагоне ложились спать. Я вступил в беседу с проводником, и он на сон грядущий рассказал мне о том, как крадут чемоданы. Я осведомился о том, какие места он считает наиболее опасными. Выяснилось: Тулу, Орел, Курск, Харьков. Я дал ему рубль за рассказ, рассчитывая впоследствии использовать его. Взамен рубля я получил от проводника мягкий тюфячок (пломбированное белье и тюфяк стоят 3 рубля). Мой мюровский чемодан с блестящими застежками выглядел слишком аппетитно.

— Его украдут в Орле,— думал я горько.

Мой сосед привязал чемодан веревкой к вешалке, я свой маленький саквояж положил рядом с собой и конец своего галстука прикрепил к его ручке. Ночью я благодаря этому видел страшный сон и чуть не удавился. Тула и Орел остались где-то позади меня, и очнулся я не то в Курске, не то в Белгороде. Я глянул в окно и расстроился. Непогода и холод тянулись за сотни верст от Москвы. Небо затягивало пушечным дымом, солнце старалось выбраться, и это ему не удавалось.

Летели поля, мы резали на юг, на юг опять шли из вагона в вагон, проходили через мудрую и блестящую международку, ели зеленые щи. Штор не было, никто камнями не швырял, временами сек дождь и косыми столбами уходил за поля.

Прошли от Москвы до Джанкой 30 часов. Возле меня стоял чемодан от Мерилиза, а напротив в непромокаемом пальто начальник станции Джанкой с лицом, совершенно синим от холода. В Москве было много теплей.

Оказалось, что Феодосийского поезда нужно ждать 7 часов.

В зале первого класса, за стойкой, иконописный, похожий на завоевателя Мамай, татарин поил бессонную пересадочную публику чаем. Малодушие по поводу холода исчезло, лишь только появилось солнце. Оно лезло из-за товарных вагонов и боролось с облаками. Акации торчали в окнах. Парикмахер обрил мне голову, пока я читал его таксу и объявление:

«Кредит портит отношение».

Затем джентльмен американской складки заговорил со мной и сказал, что в Коктебель ехать не советует, а лучше в тысячу раз в Отузах. Там — розы, вино, море, комнатка 20 руб. в месяц, а он, там, в Отузах, председатель. Чего? Забыл. Не то чего-то кооперативного, не то потребительского. Одним словом, он и винодел.

Солнце тем временем вылезло, и я отправился осматривать Джанкой. Юркий мальчишка, после того как я с размаху сел в джанкойскую грязь, стал чистить мне башмаки. На мой вопрос, сколько ему нужно заплатить, лъстиво ответил:

— Сколько хотите.

А когда я ему дал 30 коп., завыл на весь Джанкой, что я его ограбил. Сбежались какие-то женщины, и одна из них сказала мальчишке:

— Ты же мерзавец. Тебе же гривенник следует с проезжего.

И мне:

— Дайте ему по морде, гражданин.

— Откуда вы узнали, что я приезжий? — ошеломленно улыбаясь, спросил я и дал мальчишке еще 20 коп. (он черный, как навозный жук, очень рассудительный, бойкий, лет 12, если попадете в Джанкой — бойтесь его).

Женщина вместо ответа посмотрела на носки моих башмаков. Я ахнул. Негодяй их вымазал чем-то, что не слезает до сих пор. Одним словом, башмаки стали похожи на глиняные горшки.

Феодосийский поезд пришел, пришла гроза, потом стук колес, и мы на юг, на берег моря.

Коктебель. Фернампиксы и «лягушки»

Представьте себе полукруглую бухту, врезанную с одной стороны между мрачным, нависшим над морем массивом, это — развороченный, в незапамятные времена погасший вулкан Карадаг; с другой — между желто-бурыми, сверху точно по линейке срезанными грядями, переходящими в мыс — Прижок козы.

В бухте — курорт Коктебель.

В нем замечательный пляж, один из лучших на Крымской жемчужине: полоса песку, а у самого моря полоска мелких, облитых морем разноцветных камней.

Прежде всего о них. Коктебель наполнен людьми, болеющими «каменной болезнью». Приезжает человек, и если он умный — снимает штаны, вытряхивает из них московско-тульскую дорожную пыль, вешает в шкаф, надевает короткие трусики, и вот он на берегу.

Если не умный — остается в длинных брюках, лишающих его ноги крымского воздуха, но все-таки он на берегу, черт его возьми!

Солнце порою жжет дико, ходит на берег волна с белыми венцами, и тело отходит, голова немного пьянеет после душных ущелий Москвы.

На закате новоприбывший является на дачу с чуть-чуть ошалевшими глазами и выгружает из кармана камни.

— Посмотрите-ка, что я нашел!

— Замечательно, — отвечают ему двухнедельные старожилы, в голосе их слышна подозрительно-фальшивая восторженность, — просто изумительно! Ты знаешь, когда этот камешек особенно красив?

— Когда? — спрашивает наивный москвич.

— Если его на закате бросить в воду, он необыкновенно красиво летит, ты попробуй!

Приезжий обижается. Но проходит несколько дней, и он начинает понимать. Под окном его комнаты лежат груды белые, серые и розоватые голыши, сам он их нашел, сам же и выбросил. Теперь он ищет уже настоящие обломки обточенного сердолика, прозрачные камни, камни в полосах и рисунках.

По пляжу слоняются фигуры: кожа у них на шее и руках лупится, физиономии коричневые, сидят и роются, ползают на животе.

Не мешайте людям — они ищут фернампиксы! Этим загадочным словом местные коллекционеры окрестили красивые породистые камни. Кроме фернампиксов, попадаются «лягушки», прелестные миниатюрные камни, покрытые цветными глазками. Не брезгают любители и «пейзажными собаками». Так называются простые серые камни, но с каким-нибудь фантастическим рисунком. В одном и том же пейзаже на собаке может каждый, как в гамлетовском облике, увидеть все, что ему хочется.

- Вася, глянь-ка, что на собачке нарисовано!
- Ах, черт возьми, действительно, вылитый Мефистофель..
- Сам ты Мефистофель! Это Большой театр в Москве!

Те, кто камней не собирает, просто купается, и купание в Коктебеле первоклассное. На раскаленном песке в теле рассасывается городская гниль, исчезают ломоты и боли в коленях и пояснице, оживают ревматики и золотушные.

Только одно примечание: Коктебель не всем полезен, а иным и вреден. Сюда нельзя ездить людям с очень расстроенной нервной системой.

Я разъясняю Коктебель: ветер в нем дует не в мае или августе, как мне говорили, а дует он круглый год ежедневно, не бывает без ветра ничего, даже в жару. И ветер раздражает неврастеников.

Коктебель из всех курортов Крыма наиболее простенький. Т. е. в нем сравнительно мало нэпманов, но все-таки они есть. На стене оставшегося от довоенного времени помещения поэтического кафе «Бубны», ныне, к счастью, закрытого и наполовину обращенного в развалины, красовалась знаменитая надпись: «Нормальный дачник — друг природы.

Стыдитесь, голые уроды!»

Нормальный дачник был изображен в твердой соломенной шляпе, при галстукке, пиджаке и брюках с отворотами.

Эти друзья природы прибывают в Коктебель и ныне из Москвы и точно в таком виде, как нарисовано на «Бубнах». С ними жены и свояченицы: губы тускло-малиновые, волосы завиты, бюстгальтер, кремовые чулки и лакированные туфли.

Отличительный признак этой категории: на закате, когда край моря одевается мглой и каждого тянет улететь куда-то ввысь или вдаль, и позже, когда от луны ложится на воду ломкий золотой столб и волна у берега шипит и качается, эти сидят на лавочках спиной к морю, лицом к кооперативу и едят черешни.

* * *

О голых уродах. Они-то самые умные и есть. Они становятся коричневыми, они понимают, что кожа в Крыму должна дышать, иначе не нужно и ездить. Нэпман ни за что не разденется. Хоть его озолоти, он не расстанется с брюками и пиджаком. В брюках часы и кошелек, а в пиджаке бумажник. Ходят раздетыми в трусиках комсомольцы, члены профсоюзов из тех, что попали на отдых в Крым, и наиболее смышленные дачники.

Они пользуются не только морем, они влезают на скалы Карадага, и раз, проходя на парусной шлюпке под скалистыми отвесами, мимо страшных и темных гротов, на громадной высоте на козьих тропах, таких, что если смотреть вверх — немного холодеет в животе, я видел белые пятна рубашек и красенькие головные повязки. Как они туда забрались?!

Некогда в Коктебеле еще в довоенное время застрял какой-то бездомный студент. Есть ему было нечего. Его заметил содержатель единственной тогда, а ныне и вовсе бывшей гостиницы Коктебеля и заказал ему брошюру рекламного характера.

Три месяца сидел на полном пансионе студент, прославляя судьбу, растолстел и написал акафист Коктебелю, наполнив его перлами красноречия, не уступающими фернампискам.

«...и дамы, привыкшие в других местах к другим манерам, долго бродят по песку в фиговых костюмах, стыдливо поднимая подолы»...

Никаких подолов никто стыдливо не поднимает. В жаркие дни лежат обожженные и обветренные мужские и женские голые тела.

«Качает»

Пароход «Игнат Сергеев», однотрубный, двухклассный (только второй и третий класс), пришел в Феодосию в самую жару — в два часа дня. Он долго выл у пристани морAGENTства. Цепи ржаво драли уши, и вертелись в воздухе на крюках громаднейшие клубы прессованного сена, которое матросы грузили в трюм.

Гомон стоял на пристани. Мальчишки-носильщики грохотали своими тележками, тащили сундуки и корзины. Народу ехало много, и все койки второго класса были заняты еще от Батума. Касса продавала второй класс без коек, на диваны кают-компаний, где есть пианино и фисгармония.

Именно туда я взял билет, и именно этого делать не следовало, а почему, об этом ниже.

«Игнат», постояв около часа, выбросил таблицу «отход в 5 ч. 20 мин.» и вышел в 6 ч. 30 мин. Произошло это на закате. Феодосия стала отплывать назад и развернулась всей своей белизной. В иллюминаторы подул свежестью...

Буфетчик со своим подручным (к слову: наглые, невежливые и почему-то оба пьяные) раскинули на столах скатерти, по скатертям раскидали тарелки, такие тяжелые и толстые, что их ни обо что нельзя расколотить, и подали кому бифштекс в виде подметки с салым картофелем, кому половину костлявого цыпленка, бутылки пива. В это время «Игнат» уже лез в открытое море.

Лучший момент для бифштекса с пивом трудно выбрать. Корму (а кают-компания на корме) стало медленно, плавно и мягко поднимать, затем медленно и еще более плавно опускать куда-то очень глубоко.

Первым взяло гражданина соседа. Он остановился над своим бифштексом на полдороге, когда на тарелке лежал еще порядочный кусок. И видно было, что бифштекс ему разонравился. Затем его лицо из румяного превратилось в прозрачно-зеленое, покрытое мелким потом.

Нежным голосом он произнес:

— Дайте нарзану...

Буфетчик с равнодушно наглыми глазками брякнул перед ним бутылки. Но гражданин пить не стал, а поднялся и начал уходить. Его косо понесло по ковровой дорожке.

— Качает! — весело сказал чей-то тенор в коридоре.

Благообразная нянька, укачивавшая ребенка в Феодосии, превратилась в море в старуху с серым лицом, а ребенка вдруг плюхнула как куль на диван.

Мерно... вверх... подпирает грудобрюшную преграду... вниз...

«Черт меня дернул спрашивать бифштекс...»

Кают-компания опустела. В коридоре, где грудой до стеклянного потолка лежали чемоданы, синеватая дама на мягком диванчике говорила сквозь зубы своей спутнице:

— Ох... Говорила я, что нужно поездом в Симферополь...

«И на какого черта я брал билет второго класса, все равно на палубе придется сидеть». Весь мир был полон запахом бифштекса, и тот ощутительно ворочался в желудке. Организм требовал третьего класса, т. е. палубы.

Там уже был полный разгар. Старуха армянка со стоном ползла по полу к борту. Три гражданина и очень много гражданок висели на перилах, как пустые костюмы, головы их мотались.

Помощник капитана, розовый, упитанный и свежий, как огурчик, шел в синей форме и белых туфлях вдоль борта и всех утешал.

— Ничего, ничего... Дань морю.

Волна шла (издали из Феодосии море казалось ровненьким, с маленькой рябью) мощная, крупная, черная, величиной с хорошую футбольную площадку, порою с растрепанным седоватым гребнем, медленно переваливалась, подкатывалась под «Игната», и нос его лез... ле-ез... ох... вверх... вниз.

Садился вечер. Мимо плыл Карадаг. Сердитый и чернеющий в тумане, где-то за ним растворялся во мгле плоский Коктебель. Прощай. Прощай.

Пробовал смотреть в небо — плохо. На горы — еще хуже. О волне — нечего и говорить...

Когда я отошел от борта, резко полегчало. Я тотчас лег на палубе и стал засыпать... Горы еще мерещились в сизом дыму.

Ялта

Но до чего же она хороша!

Ночью, близ самого рассвета, в черноте один дрожащий огонь превращается в два, в три, а три огня — в семь, но уже не огней, а драгоценных камней...

В кают-компанию дают полный свет.

— Ялта.

Вот она мерцает уже многоярусно в иллюминаторе.

Еще легчает, еще. Огни в иллюминаторе пропадают. Мы у подножия их. Начинается суeta, тени на диване оживают, появляются чемоданы. Вдруг утихает мерное ворчание в утробе «Игната», слышен грохот цепей. И сразу же качает.

Конечно — Ялта!

Ялта и хороша, Ялта и отвратительна, и эти свойства в ней постоянно перемешиваются. Сразу же надо зверски торговаться. Ялта — город-курорт: на приезжих, т. е., я хочу сказать, прибывающих одиночным порядком, смотрят как на доходный улов.

По спящей еще черной в ночи набережной носильщик привел куда-то, что показалось похожим на дворцовые террасы. Смутно белеет камень, парапеты, кипарисы, купы подстриженной зелени, луна догорает над волнорезом сзади, а впереди дворец — черт возьми!

Наверное, привел в самую дорогую гостиницу.

Так и оказалось: конечно, самая дорогая. Номера в два рубля «все заняты». Есть в три рубля.

— А почему электричество не горит?

— Курорт-с!

— Ну ладно, все равно.

В окнах гостиницы ярусами Ялта. Светлеет. По горам цепляются облака и льется воздух. Нигде и никогда таким воздухом, как в Ялте, не дышал. Не может не поправиться человек на таком воздухе. Он сладкий, холодный, пахнет цветами, если глубже вдохнуть, — ощущаешь, как он входит струей. Нет лучше воздуха, чем в Ялте!

* * *

Наутро Ялта встала умытая дождем. На набережной суeta больше, чем на Тверской: магазинчики налеплены один рядом с другим, все это настежь, все громоздится и кричит, завалено татарскими тюбетейками, персиками и черешнями, мундштуками и сетчатым бельем, футбольными мячами и винными бутылками, духами и подтяжками, пирожными. Торгуют греки, татары, русские, евреи. Все втридорога, все «по-курортному», и на все спрос. Мимо блещущих витрин непрерывным потоком белые брюки, белые юбки, желтые башмаки, ноги в чулках и без чулок, в белых туфельках.

Морская часть

Хуже, чем купанья в Ялте, ничего не может быть, т. е. говорю о купании в самой Ялте, у набережной.

Представьте себе развороченную, крупно-булыжную московскую мостовую. Это пляж. Само собой понятно, что он покрыт обрывками газетной бумаги. Не менее понятно, что во имя курортного целомудрия (черт бы его взял, и кому это нужно!)

налеплены деревянные, вымазанные жиденькой краской загородки, которые ничего ни от кого не скрывают, и, понятное дело, нет вершка, куда можно было бы плюнуть, не попав в чужие брюки или голый живот. А плюнуть очень надо, в особенности туберкулезному, а туберкулезных в Ялте не занимать. Поэтому пляж в Ялте и заплеван.

Само собой разумеется, что при входе на пляж сколочена скворешница с кассовой дырой, и в этой скворешнице сидит унылое существо женского пола и цепко отбирает гривенники с одиночных граждан и пятаки с членов профессионального союза.

Диалог в скворешной дыре после купанья:

— Скажите, пожалуйста, вы вот тут собираете пятаки, а вам известно, что на вашем пляже купаться невозможно совершенно.

— Хи-хи-хи.

— Нет, вы не хихикайте. Ведь у вас же пляж заплеван, а в Ялту ездят туберкулезные.

— Что же мы можем поделать!

— Плевательницы поставить, надписи на столбах повесить, сторожа на пляж пустить, который бы бумажки убирал.

В Ливадии

И вот в Ялте вечер. Иду, все выше, выше по укáтаннм узким улицам и смотрю. И с каждым шагом вверх все больше разворачивается море, и на нем как игрушка с косым парусом застыла шлюпка. Ялта позади с резными белыми домами, с остроконечными кипарисами. Все больше зелени кругом. Здесь дачи по дороге в Ливадию уже целиком прячутся в зеленой стене, выглядывают то крышей, то белыми балконами. Когда спадает жара, по укатанному шоссе я попадаю в парки. Они громадны, чисты, полны очарования. Море теперь далеко, у ног внизу совершенно синее, ровное, как в чашу налито, а на краю чаши, далеко, далеко — лежит туман.

Здесь среди выложенных аллей, среди дорожек, проходящих между стен розовых цветников, приютился раскидистый и низкий, шоколадно-штучный дворец Александра III, а выше него, невдалеке, на громадной площадке белый дворец Николая II.

Резчайшим пятном над колоннами на большом полотнище лицо Рыкова. На площадках, усыпанных тонким гравием, группами и в одиночку, с футбольными мячами и без них, расхаживают крестьяне, которые живут в царских комнатах. В обонх дворцах их около 200 человек.

Все это туберкулезные, присланные на поправку из самых отдаленных волостей Союза. Все они одеты одинаково — в белые шапочки, в белые куртки и штаны.

И в этот вечерний, вольный, тихий час сидят на мраморных

скамейках, дышат воздухом и смотрят на два моря — парковое зеленое, гигантскими уступами — сколько хватит глаз — падающее на море морское, которое теперь уже в предвечерней мгле совершенно ровное, как стекло.

В небольшом отдалении, за дворцовой церковью, с которой снят крест, за колоколами, висящими низко в прорезанной белой стене (на одном из колоколов выбита на меди голова Александра II с бакенбардами и крутым носом. Голова эта очень мрачно смотрит), выложенный свитский дом, а у свитского дома звучит гармоника и сидят отдыхающие больные.

* * *

Когда приходишь из Ливадии в Ялту, уже глубокий вечер, густой и синий. И вся Ялта сверху до подножия гор залита огнями, и все эти огни дрожат. На набережной сияние. Сплошной поток, отдыхающий, курортный.

В ресторанчике-поплавке скрипки играют вальс из «Фауста». Скрипкам аккомпанирует море, набегая на сваи поплавка, и от этого вальс звучит особенно радостно. Во всех кондитерских, во всех стеклянно-прозрачных лавчонках жадно пьют холодные ледяные напитки и горячий чай.

Ночь разворачивается над Ялтой яркая. Ноги ноют от усталости, но спать не хочется. Хочется смотреть на высокий зеленый огонь над волнорезом и на громадную багровую луну, выходящую из моря. От нее через Черное море к набережной протягивается изломанный широкий золотой столб.

«У Антона Павловича Чехова»

В верхней Аутке, изрезанной кривыми узенькими улочками, вздирающимися в самое небо, среди татарских лавчонок и белых скученных дач, каменная беловатая ограда, калитка и чистенький двор, усыпанный гравием. Посреди буйно разросшегося сада дом с мезонином идеальной чистоты, и на двери этого дома маленькая медная дощечка: «А. П. Чехов».

Благодаря этой дощечке, когда звонишь, кажется, что он дома и сейчас выйдет. Но выходит средних лет дама, очень вежливая и приветливая. Это — Марья Павловна Чехова, его сестра. Дом стал музеем, и его можно осматривать.

Как странно здесь.

В этот день Марья Павловна уже показывала дом группе экскурсантов, устала, и нас водила по дому какая-то другая пожилая женщина. Неудобно показалось спросить, кто она такая. Она очень хорошо знает быт чеховской семьи. Видимо, долго жила в ней.

В столовой стол, накрытый белой скатертью, мягкий диван, пианино. Портреты Чехова. Их два. На одном — он девятиных

годов — живой, со смешливыми глазами. «Таким приехал сюда» На другом — в сети морщин. Картина — печальная женщина, и рука ее не кончена. Рисовал брат Чехова.

— Вот здесь сидел Лев Николаевич Толстой, когда приезжал к Антону Павловичу в гости. Но кроме него сидели многие Бунин и Вересаев, Куприн, Шаляпин, и Художественного театра актеры приезжали к нему репетировать.

В кабинете у Чехова много фотографий. Они прикрыты кисейей. Тут Станиславский и Шаляпин, Комиссаржевская и др.

Какое-то расписное деревянное блюдо, купленное Чеховым на ярмарке на Украине. Блюдо, за которое над Чеховым все домашние смеялись, — вещь никому не нужная.

С карточки на стене глядит один из братьев Чехова, задумчиво возвел взор к небу. Подпись:

«И у журавлей, поди, бывают семейные неприятности. Кра...»

Верхние стекла в трехстворчатом окне цветные; от этого в комнате мягкий и странный свет. В нише, за письменным столом, белоснежный диван, над диваном картина Левитана. Зеленый и речка — русская природа, густое масло. Грусть и тишина.

И сам Левитан рядом

При выходе из ниши письменный стол. На нем в скупом немецком порядке карандаши и перья, докторский молоток и почтовые пакеты, которые Чехов не успел уже вскрыть. Они пришли в мае 1904 г., и в мае он уехал за границу умирать.

В особенности донимали Антона Павловича начинающие писатели. Приедет, читает, а потом спрашивает: «Ну, как вы находите, Антон Павлович?»

А тот был очень деликатный, совестился сказать, что ерунда. Язык у него не поворачивался. И всем говорил: «да ничего, хорошо»... Работайте! Не то, что Шаляпин, тот прямо так и бухал каждому: «Никакого у вас голоса нет, и артистом вы быть не можете!»

В спальне на столике порошок фенацетина — не успел его принять Чехов — и его рукой написано «phenal»... и слово оборвано.

Здесь свечи под зеленым колпаком, и стоит толстый красный шкаф — мать подарила Чехову. Его в семье называли насмешливо «наш многоуважаемый шкаф», а потом он стал «многоуважаемый» в «Вишневом саду».

На автомобиле до Севастополя

Если придется ехать на автомобиле из Ялты в Севастополь, да сохранит вас небо от каких-либо машин, кроме машин Крымкурсо. Я пожелал сэкономить два рубля и «экономил». Обратился в какую-то артель шоферов. У Крымкурсо место до Севастополя стоит 10 руб., а у этих 8.

Бойкая личность в конторе артели, личность лысая и европейски вежливая, в грязнейшей сорочке, сказала, что в машине поедет пять человек. Когда утром на другой день подали эту машину — я ахнул. Сказать, какой это фирмы машина, не может ни один специалист, ибо в ней не было двух частей с одной и той же фабрики, ибо все были с разных. Правое колесо было «Мерседеса» (переднее), два задних были «Пеуса», мотор фордовский, кузов черт знает какой. Вероятно, просто русский. Вместо резиновых камер — какая-то рвань.

Все это громыхало, свистело, и передние колеса ехали не просто вперед, а «разъезжались», как пьяные.

И протестовать поздно, и протестовать бесполезно. Можно на севастопольский поезд опоздать, другую машину искать нигде.

Шофер нагло, упорно и мрачно улыбается и уверяет, что это лучшая машина в Крыму по своей быстроходности. Кроме того, поехали, конечно, не пять, а 11 человек: 8 пассажиров с багажом и три шофера — двое действующих и третий — бойкое существо в синей блузе, кажется, «автор» этой «первой по быстроходности машины», в полном смысле слова «интернациональной». И мы понеслись.

В Гаспре «первая по быстроходности машина», конечно, сломалась, и все пассажиры этому, конечно, обрадовались.

Заключенный в трубу, бежит холоднейший ключ. Пили из него жадно, лежали как ящерицы на солнце. Зелени — океан; уступы, скалы...

Шина лопнула в Мисхоре.

Вторая — в Алушке, облитой солнцем. Опять страшно радовались. Навстречу пролетали лакированные машины Крымкурсо с закутанными в шарфы эппманскими дамами.

Но только не в шарфах и автомобилях нужно проходить этот путь, а пешком. Тогда только можно оценить красоту Южного берега.

Севастополь и Крыму конец

Под вечер обожженные, пыльные, пьяные от воздуха катили в беленький раскидистый Севастополь и тут ощутили тоску: «вот из Крыма нужно уезжать».

Автобандиты отвязали вещи. Угол на одном чемодане был вскрыт, как ножом, и красивым углом был вырван клочок из пледа. Все-таки при этой дьявольской езде машина «лизнула» крылом одну из мажар.

Лихие ездоки полюбовались на свою работу и уехали с веселыми гудками, а мы вечером из усеянного звездами Севастополя, в теплый и ароматный вечер, с тоской и сожалением, уехали в Москву.

1925 г.

ШПРЕХЕН ЗИ ДЕЙТЧ!

В связи с приездом в СССР многих иностранных делегаций усилился спрос на учебники иностранных языков. Между тем, новых учебников мало, — а старые неудовлетворительны по своему типу.

Металлист Шукии постучался к соседу своему по общежитию — металлисту Крюкову.

— Да, да, — раздалось за дверью.

И Шукии вошел, а войдя, попятился в ужасе.

Крюков в одном белье стоял перед маленьким зеркалом и кланялся ему. В левой руке у Крюкова была книжка.

— Здравствуй, Крюков, — молвил пораженный Шукии, — ты с ума сошел?

— Найи, — ответил Крюков, — не мешай, я сейчас.

Затем отпрянул назад, вежливо поклонился окну и сказал:

— Благодарю вас, я уже ездил. Даике зер! — Ну, пожалуйста, еще одну чашечку чаю, — предложил Крюков сам себе и сам же отказался: — Мерси, не хочу. Их виль... Фу, дьявол... Как его. Нихт. Нихт! — победоносно повторил Крюков и выкатил глаза на Шукиина.

— Крюков, миленький, что с тобой? — плаксиво спросил приятель. — Опоминись.

— Не путайся под ногами, — задумчиво сказал Крюков и устоялся на свои босые ноги. — Под ногами, под ногами, — забормотал он, — а как нога? Все вылетело. Вот леший... Фусс, фусс! Впрочем, нога не встретится, нога ненужное слово.

«Коичен парень, — подумал Шукии, — достукался, давно я замечал...»

Он робко кашлянул и пискнул:

— Петенька, что ты говоришь? Выпей водицы.

— Благодарю, я уже пил, — ответил Крюков, — а равно и ел (он подумал), а равно и курил. А равно...

«Посижу, посмотрю, чтобы он в окно не выбросился, а там можно будет людей собрать. Эх, жаль, хороший был парень, умный, толковый...» — думал Шукии, садясь на край продраиного дивана.

Крюков раскрыл книгу и продолжал вслух:

— Имеете ли вы трамвай, мой дорогой товарищ?.. Гм... Камрад... (Крюков задумался). Да, я имею трамвай, но моя тетка тоже уехала в Италию. Гм... Тетка тут ни при чем. К чертовой матери тетку! Выкинем ее, майне танте. У моей бабушки ист ручного льва. Варум? Потому что они очень дороги в наших местах. Вот сукины сыны! Неподходящее! — кричал Крюков. — А любите ли вы колбасу? Как же мне ее не любить, если третий день идет дождь! В вашей комнате имеется ли электричество, товарищ? Нет, но зато мой дядя пьет запоем уже третью неделю

и пропил нашего водолаза. А где аптека? — спросил Крюков Шукина грозно.

— Аптека в двух шагах, Петенька,— робко шепнул Шукин.

— Аптека,— поправил Крюков,— мой добрый приятель, находится напротив нашего доброго мэра и рядом с нашим одним красивым садом, где мы имеем один маленький фонтан.

Тут Крюков плюнул на пол, книжку закрыл, вытер пот со лба и сказал по-человечески:

— Фу... Здравствуй, Шукин. Ну, замучился, понимаешь ли.

— Да что ты делаешь, объясни? — взмолился Шукин.

— Да понимаешь ли, германская делегация к нам завтра приедет, ну, меня выбрали встречать и обедом угощать. Я, говорю, по-немецки ни в зуб ногой. Ничего, говорят, ты способный. Вот тебе книжка — самоучитель всех европейских языков. Ну и дали! Черт его знает, что за книжка!

— Усвоил что-нибудь?

— Да кое-что, только мозги свернул. Какие-то бабушки, покойный дядя... А настоящих слов нет.

Глаза Крюкова вдруг стали мутными, он поглядел на Шукина и спросил:

— Имеете ли вы кальсоны, мой сосед?

— Имею, только перестань! — взвыл Шукин, а Крюков добавил:

— Да, имею, но зато я никогда не видал вашей уважаемой невесты!

Шукин вздохнул безнадежно и убежал.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Из ранних редакций

ГЛАВА ИЗ РОМАНА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»

19

— Шаркни ножкой, скажи дяде: здравствуй, дядя,— научила Елена, наклоняясь.

— Драсту, дядя,— недоверчиво и вздохнув сказал Петька Щеглов Мышлаевскому.

— Здравствуй,— мрачно ответил ему Мышлаевский, потом покосился вниз и добавил: — Судя по твоей физиономии, ты большой шалун.

Петька Щеглов тотчас же взялся за юбку Елены, засопел, губы выпятил кувшинчиком, нахмурился.

— Ну, балбес, ну балбес длинный, чего ребенка дразнишь?

— Чиво дразнишь? — выговорил и Петька неприязненно.

Шервинский, Карась, сама Елена захохотали, а Петька спрятался за юбку, так что выглядывала левая его нога в тупоносом ботинке и праздничной лиловой штанине.

— Не слушай их, не слушай, маленький, они нехорошие,— говорила Елена, извлекая Петьку из складок,— гляди на елку смотри, какие огоньки.

Петька вылез из юбки, глаза его устремились по направлению маленьких огней. От них вся гостиная сверкала, переливалась, источала запах леса, сверкал дед.

— Дать ему апельсин,— растрогался Мышлаевский,— дать.

— Потом апельсин,— распорядилась Елена,— а теперь танцевать давайте. Все. Танцевать хочешь? Ну, ладно.

Колыхнулась портьера, и в гостиную вышел Турбин. Он был в смокинге, открывавшем широкую белую грудь, с черными запонками. Голова его, наголо остриженная во время тифа, чуть-чуть начала обростать, гладко выбритое лицо было лимонного оттенка, он опирался на палку. Блестящие глаза его еще больше заблестели от елочных огней. Следом за Турбиным явился Лариосик, и тоже в смокинге. И главное, добытом неизвестно где; всем отлично было известно, что в багаже Лариосика этого одеяния не было. Как большой хомут на Лариосиковой шее сидел отложной крахмальный воротник с лентой черной бабочкой, и из рукавов вылезали твердые манжеты с запонками в виде лошадиной морды с хлыстом. Лариосик целых два дня летал где-то по городу и достал все-таки смокинг, узнав, что

это дело принципиальное. Петлюра — каналья. Пусть хоть десять Петлюр будет в городе, а здесь, в стенах Анны Владимировны, он не властен. Пусть стены еще пахнут формалином, пусть из-за этого чертова формалина провалилась первая елка в сочельник, не провалится вторая, и последняя, сегодня — в крещенский сочельник. Она будет, она есть, и вот он, Турбин, встал вчера, желтый. И рана его заживает чудесно. Сверхъестественно. Это даже Янчевский сказал, а он, все видевший на своем веку, знает, что сверхъестественного не бывает в жизни. Ибо все в ней сверхъестественно.

На Мышлаевском смокинг сидит, как не на каждом сядет. И не поймешь, в чем дело. И не нов, и пластрон не первоклассный, а между тем все как-то к месту. Вероятно, штаны первоклассные. Вот, например, Лариосику трудно как-то в смокинге, выражение лица трудно как-то подобрать к смокингу, и все время кажется, что подтяжки выскочат в прорез жилета, а Мышлаевский ворочается свободно, размашисто, никаких выражений лица не устраивает, а между тем его хоть в кинематографе снимай. И портит его только одно. Не свойственная Мышлаевскому дума, довольно тревожная. Она улеглась в трех складках на патрицианском лбу и в беспокойных глазах. И так: то оживится Мышлаевский, то вдруг нахмурится и задумается. В чем дело — неизвестно. Во всяком случае, когда Николка на печке в столовой изобразил свежую своевременную надпись китайской тушью:

Пор. Мышлаевский сделал попытку воспитать ребенка в крещенский сочельник 1919 года. Он хороший семьянин, —

Мышлаевскому эта надпись не понравилась. Он нахмурился, как облако, пожевал губами.

— Ты что-то много последнее время острить стал.

Николка густо покраснелся.

— Если, Витенька, тебе не нравится, я сотру. Ты обиделся?

— Нет, не обиделся, а просто интересуюсь, чего это ты распрыгался так. Что-то больно весел. Манжетки выставил... на жениха похож.

Николка расцвел малиновым огнем, и глаза его утонули в озере смущения.

— На Мало-Провальную слишком часто ходишь, — продолжал Мышлаевский добивать противника шестидюймовыми снарядами, — это, впрочем, хорошо. Рыцарем нужно быть, поддерживать турбинские традиции.

— Не понимаю, Витенька, про что ты говоришь, — забормотал Николка, — на какую такую Провальную?..

— Вот такую самую... Иди встречай.

Звонок протрещал в передней высоко и в сердце Николки. В гостиной оборвалась на клавишах фриска из 2-й рапсодии под пальцами Елены.

— Очень рада. Очень. Позвольте же вас познакомить. Все белогвардейцы.

— У вас так нагадио, я не знала. Пгамо смутишься...

— Что вы. Не обращайтесь внимания. Только свои. Смокинги — это они принципиально. По поводу Петлюры.

— Социальной революции, — вставил Мышлаевский.

Ирина Най, вся в черном и траурном, худая, блекла рядом с пышной Еленой, отливающей золотом, и в елочиных огнях казалась креповой свечой. Николка без толку мыкался где-то сзади представляющихся. Ему казалось, что руки и ноги у него привинчены неудобно и неудачно и некуда их пристроить. Воротничок резал шею. Он был в студеическом, еще на Карасе не было смокинга, а визитка и полосатые брюки, благодаря которым плотный Карась был похож на удачливого молодого подрядчика. И Шервинский был не в смокинге. Но зато Шервинский один мог затмить всех в смокингах. Шервинский во фраке. Но зато уже фрак. Будьте благонадежны. Во-первых, правая сторона пластрона у него гофрирована, с вашего разрешения, как бумажная оборка на окороке, в полулунии жилета вставлено что-то сверкающее шелковыми красками, похожее на звездный флаг величественных Соединенных Штатов. Запонки бриллиантовые, каждая — карат. Значит, 1/2 карата. Брюки заутюжены и вздернуты, так что видны ажурные чулки. И, наконец, туфли открытые с черными бантами. Будьте покойны. Через месяц будет дебютировать в Оперном, невзирая на этого мужлана с его оравой. Демона будет петь. Re... la... fa... re! Экм... Чем он хорош... Че-е-е-ем.

— Голос действительно поразительный.

— Как же, я слышала. Мне говорили про вас. Это вы пели на гетманском вечере в купеческом.

— Он самый.

— Пожалуйста, спойте. Очень прошу. Демона.

— Де-мо-на. (Изображение галерки Николкой. Весьма сходно.)

— Говогят, что у вас гоос, как у Баттистини.

— И даже немного хуже.

— Не плачь, дитя... (С галерки.)

— Он не гордый. Спойте.

— Ирина Феликсовна, близко не садитесь. Абсолютно невозможно слушать.

— Его лучше слушать из другой комнаты.

— А еще лучше с другой улицы.

Черными ютными значками, густыми, встал Демон над стойбой клавиатурой и вытеснил Валентина в сторону, под розовый абажур. Все равно Валентина скоро убьют и даже уже убили. Будет царить коварный Демон. Но Демон не воцарился, и перешел его Василиса. На Василисе, конечно, никаких смокингов. И даже ботинки не праздничные, а деловые, обыкновенные. Праздничные ушли на ногах Немоляки в неизвестную тьму.

Василиса, кланяясь направо и налево и приветливо пожимая руки, в особенности Карасю, проследовал, скрипя раи-

том, прямо к пианино. Елена, солнечно улыбаясь, протянула ему руку, и Василиса, как-то подпрыгнув, приложился к ней. «Черт его знает, Василиса какой-то симпатичный стал после того, как у него деньги поперли, — подумал Николка и мысленно пофилософствовал: — Может быть, деньги мешают быть симпатичным. Вот здесь, например, ни у кого нет денег, и все симпатичные. И я, в сущности, симпатичен. Но горе в том, что я некрасив. Эх... эх...»

Василиса чаю не хочет. Нет, покорнейше благодарит. Очень, очень хорошо. И елочка... Хе, хе. Как это у вас уютно все так, несмотря на такое ужасное время. Э... хе... Нет, покорнейше благодарит. К Ванде Михайловне приехала сестра из деревни, и он должен сейчас же вернуться домой. Он пришел затем, чтобы передать Елене Васильевне письмо. Сейчас открывал ящик в двери, и вот оно. Счел своим долгом. Честь имеет кланяться. Василиса, подпрыгивая, попрощался, на Ирину Най покосился внимательнейшим образом. «Ишь тоже смотрит, — сурово подумал Николка, — в сущности, и ловелас этот Василиса. Жалко, Ванды нет, небось не посмотрел бы».

Елена просит извинения. Пожа-пожа-пожалуйста, — пели разные голоса.

— Никол, играй марш пока.

Одну секунду.

«Письмо из-за границы. Да неужели? Вот бывают же такие письма. Только возьмешь в руки конверт, а уже знаешь, что там такое. И как оно пришло? Никакие письма не ходят. Даже из Житомира в Город приходится посылать почему-то с оказией. И как все у нас глупо, дико в этой стране. Ведь оказия-то эта самая тоже в поезде едет? Почему же, спрашивается, письма не могут ездить, пропадают? А вот это дошло. Не беспокойтесь, такое письмо дойдет, найдет адресата. Ваг... Варшава. Но по черк не Тальберга. Как неприятно сердце бьется».

Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так хорошо, словно кто-то сдернул цветистый шелк и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки. Лицо Елены изменилось, стало похоже на старинное лицо матери, смотревшей из резной рамы. Губы дрогнули, но сложились презрительные складки. Дернула ртом. Вышедший из рваного конверта листок рубчатой серенькой бумаги лежал в пучке света.

«...Тут только узнала, что ты развелась с мужем. Остроумно-вы видели Сергея Ивановича в посольстве — он уезжает в Париж вместе с семьей Герц; говорят, что он женится на Лидочке Герц; как странно все делается в этой кутерьме. Я жалею, что ты не уехала. Жаль всех вас, оставшихся в лапах у мужиков. Здесь в газетах, что будто бы Петлюра наступает на Город. Мы надеемся, что немцы его не пустят...»

В голове у Елены механически прыгал и стучал Николкин марш сквозь стены и дверь, наглухо завешенную Людовиком XIV-ым. Людовик смеялся, откинув руку с тростью, увитой

лентами. В дверь стукнула рукоять палки, и Турбин вошел, постукивая. Он покосился на лицо сестры, дернул ртом так же, как и она, и спросил:

— От Тальберга?

Елена помолчала, ей было стыдно и тяжело. Но потом сейчас же овладела собой и подтолкнула листок Турбину: «От Оли... из Варшавы...» Турбин внимательно вцепился глазами в строчки и забегал, пока не прочитал все до конца, потом еще раз обращение прочитал:

«Дорогая Леночка, не знаю, дойдет ли...»

У него на лице заиграли различные краски. Так — общий тон шафранный, у скул розовато, а глаза из голубых превратились в черные. В общем это бывало с доктором Турбиным редко, в общем он был человек мягкий, совершенно излишне мягкий.

— С каким бы удовольствием... — процедил он сквозь зубы, — я б по морде съездил...

— Кому? — спросила Елена и шмыгнула носом, в котором скоплялись слезы.

— Самому себе, — ответил, изнывая от стыда, доктор Турбин, — за то, что поцеловался тогда с ним.

Елена моментально заплакала.

— Сделай ты мне такое одолжение, — продолжал Турбин, — убери ты к чертовой матери вот эту штуку. — Он рукоятью ткнул в портрет на столе.

Елена подала, всхлипывая, портрет Турбину. Турбин выдрал мгновенно из рамы карточку Сергея Ивановича и разодрал ее в клочья. Елена по-бабы заревела, тряся плечами, и уткнулась Турбину в крахмальную грудь. Она косо, суеверно, с ужасом поглядывала на коричневую икону, перед которой все еще горела лампадка в золотой решетке.

«Вот помолилась... условие поставила... ну что ж... не сердись... не сердись, мать божия», — подумала суеверная Елена. Турбин испугался.

— Тише, ну тише... услышат они, что хорошего?

Но в гостиной не слышали. Пианино под пальцами Николки изрыгало отчаянный марш «Двуглавый Орел», и слышался топот ног. Потом долетел взрыв смеха.

— Я на службу поступаю, — растерянно бормотала Елена, давясь слезами.

— А ну тебя со службой, — сипло шептал Турбин.

* * *

Елена, напудренная, с подмазанными, поблекшими глазами, вышла в гостиную. Все двинулись к ней. Шервинский выпихнул на середину Петьку Щеглова. Тот, ошеломленный огнями, пляской и неизвестными веселыми людьми, готовый на все, выступил и выложил Елене с таким видом, как будто ему все равно:

- Папа мажет...
- Йодом... (Шепот суфлера.)
- Йодом бок, мама пляшет кек-вок.
- Господа!!

* * *

Ходить можно только до двенадцати часов ночи. Почему — неизвестно. Но до двенадцати. Поэтому ровно в четверть двенадцатого поднялась Ирина Най и стала прощаться. Огни на елке догорели, разогретая хвоя источала лесной дух, на полу блестело в двух местах олово конфет, пахло апельсиновыми корками.

— Приходите, приходите к нам еще, — говорила Елена, — мы все так рады были познакомиться с вами.

— Сейчас мы вас проводим, будьте спокойны, — говорил Мышлаевский, улыбаясь Ирине и косясь на Николку, — кто-нибудь проводит. Я или Федор Николаевич...

Николка поблудел и засопел. «Какая свинья... — подумал он слезливо, — чего он на меня взелся и портит мне жизнь».

— Или, может быть, Никол Васильевич? — сжалился Мышлаевский. — Никол, ты можешь?.. Или ты будешь хозяйничать?

— Нет, я могу, конечно. Я... — не своим голосом ответил Николка и тотчас же надел фуражку.

— Да, я могу... сию минуту... — встрял Лариосик, хотя его никто и не просил, и тотчас начал шурить глаза, разыскивая свою шапку.

«Вот несчастье, господи... вот несчастье», — подумал Николка и торопливо, оборвав вешалку на шинели, полез в рукава.

— Нет, Ларион, уж Никол проводит, он оделся, — оторвался с колен Мышлаевский, он застегивал пуговицы на серых ботах Ирины Най, — ты, пожалуйста, останься. Ты специалист по разведению спирта. Я спирту принес.

— Я?.. Ага?.. Да... — в высшей степени изумленно отозвался Лариосик, ни разу в жизни не разводивший спирта.

— Господа, напгасно вы беспокоитесь, я сама дойду. Я нисколько не боюсь.

— Нет уж, это нельзя, — скрепил Мышлаевский, — так мы вас отпустить не можем. А с Николом вы будете как за каменной стеной.

Был ясный, сильный мороз, пустынная улица. Как только они вышли и дверь прогремела сложными запорами под руками Лариосика, глаза Ирины Най провалились в черных кольцах, а лицо побелело; потом брызнул из-за угла свет высокого фонаря, и они миновали дощатый забор, ограждавший двор № 13, и стали подниматься вверх по спуску. Ирина зябко передернула плечами и уткнула подбородок в мех. Николка шагал рядом, мучаясь страшным и непреодолимым: как предложить ей руку. И никак не мог. На язык как будто повесили гнрю фунта в два. «Идти так нельзя. Невозможно. А как сказать?..

Позвольте вам... Нет, она, может быть, что-нибудь подумает. И может быть, ей неприятно идти со мной под руку?.. Эх!..»

— Какой мороз, — сказал Николка.

Ирина глянула вверх, где в небе многие звезды и в стороне на скате купола луна над потухшей семинарией на далеких горах, ответила:

Очень. Я боюсь, что вы замегзнете.

«На тебе. На, — подумал тяжко Николка, — не только не может быть и речи о том, чтобы взять ее под руку, но ей даже неприятно, что я с ней пошел. Иначе никак нельзя истолковать такой намек...»

Ирина тут же поскользнулась, крикнула «ай» и ухватилась за рукав шинели. Николка захлебнулся. Но такой случай все-таки не пропустил. Ведь уж дураком нужно быть. Он сказал:

— Позвольте вас под руку...

— А где ваши пегчатки?.. Вы замегзнете... Не хочу

Николка побледнел и твердо поклялся звезде Венере: «Приду и тотчас же застрелюсь. Кончено. Позор»

— Я забыл перчатки под зеркалом...

Тут ее глаза оказались поближе возле него, и он убедился, что в этих глазах не только чернота звездной ночи и уже тающий траур по картавому полковнику, но лукавство и смех. Она сама взяла правой рукой его правую руку, продернула ее через свою левую, кисть его всунула в свою муфту, уложила рядом со своей и добавила загадочные слова, над которыми Николка продумал целых двенадцать минут до самой Мало-Провальной:

— Нужно быть половчей...

«Царевна... На что я надеюсь? Будущее мое темно и безнадёжно. Я неловок. И университета еще даже не начинал... Красавица...» — думал Никол. И никакой красавицей Ирина Най вовсе не была. Обыкновенная миловидная девушка с черными глазами. Правда, стройная, да еще рот недурен, правилен, волосы блестящие, черные.

У флигеля, в первом ярусе таинственного сада, у темной двери остановились. Луна где-то вырезывалась за переплетом деревьев, и снег был пятнами, то черный, то фиолетовый, то белый. Во флигеле все окошки были черны, кроме одного, светящегося уютным огнем. Ирина прислонилась к черной двери, откинула голову и смотрела на Николку, как будто чего-то ждала. Николка в отчаянии, что он, «о, глупый», за двадцать минут ничего ровно не сумел ей сказать, в отчаянии, что сейчас она уйдет от него в дверь, в этот момент, как раз когда какие-то важные слова складываются у него в никому не годной голове, осмелел до отчаяния, сам залез рукой в муфту и искал там руку, в великом изумлении убедившись, что эта рука, которая всю дорогу была в перчатке, теперь оказывается без перчатки. Кругом была совершенная тишина. Город спал.

— Идите, — сказала Ирина Най очень негромко, — идите а то вас петлюговцы агестуют

— Ну и пусть,— искренне ответил Николка,— пусть.

— Нет, не пусть. Не пусть.— Она помолчала.— Мне будет жалко...

— Жал-ко?.. А?..— И он сжал руку в муфте сильней.

Тогда Ирина высвободила руку вместе с муфтой, так с муфтой и положила ему на плечо. Глаза ее сделались чрезвычайно большими, как черные цветы, как показалось Николке, качнула Николку так, что он прикоснулся пуговицами с орлами к бархату шубки, вздохнула и поцеловала его в самые губы.

— Может быть, вы хгабый, но такой неповоротливый...

Тут Николка, чувствуя, что он стал безумно храбрым, отчаянным и очень поворотливым, охватил Най и поцеловал в губы. Ирина Най коварно закинула правую руку назад и, не открывая глаз, ухитрилась позвонить. И тотчас шаги и кашель матерн послышались во флигеле, и дрогнула дверь... Николкины руки разжались.

— Завтра приходите,— зашептала Най,— вечером. А сейчас уходите, уходите...

По совершенно пустым улицам, хрустя, вернулся Николка, и почему-то не по тротуару, а по мостовой посредине, близ рельсов трамвая. Он шел как пьяный, расстегнув шинель, заломив фуражку, чувствуя, что мороз так и щиплет уши. В голове и на языке гудела веселая фриска из рапсодии, а ноги шли сами. Город был бел, ослеплен луной, и тьма-тьмущая звезд красовалась над головой. Ни один черт их не подсчитает. Да и надобности нет считать их, знать по именам. Кажется, среди них одна пастушеская вечерняя Венера да еще мерцал безумно далекий, зловещий и красный Марс.

* * *

Рана Турбина заживала сверхъестественно. Круглые дырки перестали источать гной. Затем они стали зарастать. Турбин перестал носить разрезанные рубахи, уменьшилась повязка, а 24 января Николка спустился по лестнице, все двери прошел и снял заклею с таблицы. Таблица выглянула на свет божий. Ясным ровным молочным январским днем в кабинете Турбина горел синим лохматым пламенем примус; Турбин возился в белом кабинетике, звеня инструментами, пересматривая и перекладывая какие-то склянки. Вечер 24 января прошел мирно и тихо, и никто не появился из пациентов. Турбин походил по гостиной, очень часто поглядывая на карманные часы, в восемь часов вечера оделся и ушел из квартиры, неопределенно сказав:

— Вернусь в половине десятого или в одиннадцать.

И вечер пошел своим порядком. Понятное дело, появился и Шервинский и Мышлаевский. Карась бывал редко. Карась решил плюнуть на все и, запасшись студенческим документом, а офицерские запрятав куда-то, так что сам черт бы их не нашел, ухитрился поступить в петлюровскую продовольственную управу,

Изредка Карась появлялся в турбинском убежище и рассказывал, какой нехороший украинский язык.

— Какой он украинский?.. — сипел Мышлаевский. — Никогда на таком языке никакой дьявол не говорил. Это его твой этот, как его, Винниченко выдумал...

— Почему он мой?.. — протестовал Карась¹. — Я ничего общего с ним не желаю иметь.

— И не имей, — говорил Мышлаевский, выставляя ноги на середину комнаты, — подозрительная личность этот Винниченко, а ты джентльмен.

— Выбачайте, панове, — говорил по-украински Николка и делал при этом маленькие глаза.

Если при этом присутствовал Турбин, он говорил:

— Я тебя покорнейше прошу не говорить на этом языке.

— Выбачаюсь, — отвечал Николка.

Потом с Николкой происходила резкая перемена. Он переставал шутить, становился серьезным и выбирался к себе в комнату; там дольше, чем обыкновенно, делал туалет, там же надевал пальто и уходил, стараясь сделать это незаметно. Но, несмотря на все это, все прекрасно знали, куда направляется Николка. Да и знать это было нетрудно. Николка приобрел страсть к крахмальным воротничкам. Щеткой чистил локти, которые у него вечно были в мелу, и один раз неожиданно побрился, взяв для этой цели бритву у Лариосика. Вежливый и отзывчивый Лариосик охотно снабдил Николку всеми принадлежностями, необходимыми для бритья, но не удержался, чтобы не сказать, щурясь и моргая:

— Ты, Николка, светлый, тебе, в сущности, можно и не бриться. Ничего не заметно. А щеку ты подпирай языком...

Николка, косясь в зеркало, подпер густо намыленную щеку языком, и тотчас по щеке, смешиваясь с белым мылом, потекла вишневая кровь.

Итак, братья Турбины большею частью отсутствовали по вечерам. Мышлаевский же и Шервинский прочно обосновались в убежище и ночевали почти всякую ночь. Благодаря присутствию Мышлаевского все трапезы, как дневные, так и вечерние, превратились в закусывания, при которых горячие блюда были второстепенными добавлениями. В фокусе стали селедки под острым соусом, огурцы и лук, и в столовой в конце концов утвердился прочный запах небольшого и уютного ресторана.

— Ты, Виктор, такую массу водки пьешь, что у тебя склероз делается, — говорила золотая Елена, плавающая в струях синего табачного дыма.

— Шампанского для нас еще Петлюра не припас, — хрипел Мышлаевский, исчезая в облаках ядовитого дыма, — вся надежда на большевиков; теперь, может, они напоят.

¹ В корректуре — Лариосик (Ред.).

Глубокими вечерами или ночью, когда уже все сходились и Турбин, таинственно погруженный в свои склянки и бумаги, сидел, окрашенный зеленым светом, у себя в спальне, из комнаты Николки доносились гитарные звоны-переливы, и часто, сидя по-турецки на кровати, слушал Николка, как Лариосик декламирует ему свои стихи.

И падает время,
И падает время...—

глухим голосом читал Лариосик, выкатывая глаза,—

Как капли в пещере...

— Очень хорошо, Ларион, очень,— одобрял Николка

Да, время падало совершенно незаметно, как капли в пещере Пролетали белые дни то с вертящимися метелями, то закованные в белый мороз, медленно протекали жаркие вечера. Из гостиной часто слышалось медовое пение Демона:

К тебе я стану прилетать...

Демон каждый вечер в бобровой шапке и шубе приезжал в трамвае из далекого Дикого переулка. И пел. Голос его становился все лучше и лучше, как будто бы даже с каждым днем.

«В сущности, дрянь малый, беспринципный,— думала Елена в тихой печали, глядя в окно на оперные огни,— но голос изумительный, бог его знает, приспособленный. Нет, этот не пропадет, будьте покойны».

Огни подмигивали ложно, как будто стараясь уверить, что все хорошо и спокойно в Городе, что Петлюра — это так, вздор — Петурра, а соль вся здесь, в теплых стенах, в полутемной гостиной. И чувствовалось, что это ложно, увы, нет там, в небесах, покоя, где горит дрожащий Марс. Нужно ловить каждую эту минуту, что падает, как капля, в жарком доме, скатываясь с часов; а то кто поручится, что не разломятся небеса змеевидной шрапнельной ракетой, не заворчит опять даль.

— Оставьте руку, Шервинский,— вяло говорила Елена полупшепотом,— оставьте.

Но Шервинский не отставал, пальцы его играли на кисти, потом пробирались к локтю, к плечу. Изредка он наклонялся к плечу, норовил гладкими бритыми губами поцеловать в плечо.

— Ах, наглец, наглец,— шепотом говорила Елена.

Гитара... трэнь... трэнь... Неопределенно... глухо... потому что, видите ли, ничего еще не известно...

«Не было печали,— думал под зеленым абажуром Турбин,— от одной дряни избавились, и обязательно будет другая. Вот чертовы бабы... Никогда их к хорошему человеку не потянет. Он, правда, особенного ничего плохого не сделал, но ведь какой

же он, к черту, муж? Врун, каких свет не производил, идейки никакой в голове. Только что голос. Но ведь голос можно и так слушать, не выходя замуж. Да... А, черт...»

Турбин вставал, ходил, курил, дергал ртом, и все прогулки по комнате неизменно заканчивались одним и тем же: Турбин доставал из ящика письменного стола кабинетный портрет, откидывал папиросную бумагу и вглядывался в лицо женщины с черными бровями и светлыми волосами. Вздыхал, рот кривил. Говорил — «не пойду...». Стискивал губы и немедленно уезжал.

Глубокими вечерами сидел в пыльной, низкой, со старинным запахом комнате и бормотал, глядя то на эпoletы сороковых годов, то в глаза Юлии Марковны:

— Скажи мне, кого ты любишь?

— Никого, — отвечала Юлия Марковна и глядела так, что сам черт не разобрал бы, правда ли это или нет.

— Выходи за меня... выходи, — говорил Турбин, стискивая руку.

Юлия Марковна отрицательно качала головой и улыбалась.

Турбин хватал ее за горло, душил, шипел:

— Скажи, чья это карточка стояла на столе, когда я раненый был у тебя?.. Черные баки...

Лицо Юлии Марковны наливалось кровью, она начинала хрипеть. Жалко — пальцы разжимаются.

— Это мой двою... троюродный брат.

— Где он?

— Уехал в Москву.

— Большевик?

— Нет, он инженер.

— Зачем в Москву поехал?

— Дело у него.

Кровь отливала, и глаза Юлии Марковны становились хрустальными. Интересно, что можно прочесть в хрустале? Ничего нельзя.

— Почему тебя муж оставил?

— Я его оставила.

— Почему?

— Он — дрянь.

— Ты дрянь и лгунья. Я тебя люблю, гадину.

Юлия Марковна улыбалась.

Так вечера и так ночи. Турбин уходил около полуночи через многоярусный сад, с искусанными губами. Смотрел на дырявый закоростеневший переплет деревьев, что-то шептал.

— Деньги нужны...

И однажды напоролся на Николку. Николка, блестя воротничком и пуговицами шинели, шел, заломив голову и изучая звезды. Так и столкнулись нос к носу в нижнем ярусе сада у начала кирпичной дорожки, ведущей к мшистой калитке. Произошла пауза.

— Ты, Никол? Ты где был? Гм...

— Я к Най-Турсам ходил,— сообщил Николка, убирая глаза куда-то в сторону,— расписание поездов носил.

— Разве они уезжают?

— Нет, они нет,— ответил неожиданно навравший про расписание Николка и сам же испугался. Как это так уезжают? Кто уезжает? Даже жутко.— Нет, это, видишь ли, Алеша, старушка-хозяйка.

— Ну, ладно. Не важно... Так они тут во флигеле?

— Ей-богу,— сказал Николка.

— Ну, идем вместе.

Братья заскрипели по снегу. Захлопнули калитку.

— А ты, Алеша, здесь тоже был?

— М-да,— слышалось в воротнике.

— По делам или к больному?

— К... угу,— ответил воротник.

— Оригинальный сад,— начал занимать Николка брата разговором,— все ярусы, ярусы, флигеля...

— Угу.

* * *

Турбин дал себе слово не читать газет, тем более украинских. Сидел дома, смутно слушал о том, что творится в Городе; за вечерним чаем, лишь только начинался разговор о Петлюре, начинал речь о том, что это, конечно, миф и что продолжаться это долго не может.

— А что же будет? — спросила Елена.

— А будут, кажется, большевики,— ответил Турбин.

— Господи боже мой,— сказала Елена.

— Пожалуй, лучше будет,— неожиданно вставил Мышлаевский,— по крайней мере сразу поотвинчивают нам всем головы, и станет чисто и спокойно. Зато на русском языке Заберут в эту, как их, че-ку, по матери обложат и выведут в расход.

— Что ты гадости какие-то говоришь?

— Извини, Леночка, но, кажется, что-то здорово с Москвы ветром потянуло.

— Да, будьте любезны,— присоединился к разговору и Демон-Шервинский и выложил на стол газету.— «Вести».

— Вот сволочь,— ответил Турбин,— как же она уцелела?

Действительно, эта бессмертная газета была единственной уцелевшей на русском языке. Полмесяца жила газета тем, что поносила покойного гетмана и говорила о том, что Петлюра имеет здоровые корни и что мобилизация идет у нас блестяще. Вторые полмесяца она печатала приказы таинственного Петлюры на двух языках — ломаном украинском и параллельно ломаном русском, а третьи — передовые о том, что большевики негодяи и покушаются на здоровую украинскую государственность, и еще какие-то таинственные и мутные сводки, из которых можно было при внимательном чтении узнать, что какая-то

чепуха вновь закипает на Украине и где-то, оказывается, идет драка с поляками, где-то идет драка с большевиками, причем...

— Позвольте... позвольте...

Р-раз.. и нарушил Турбин свое честное слово. Впился в газету

врачам и фельдшерам явиться на регистрацию
под угрозой тягчайшей ответственности

- Начальник санитарного управления у этого босяка Петлюры доктор Курицкий

- Ты смотри, Алексей, лучше зарегистрируйся, — насторожился Мышлаевский, — а то влипнешь как пить дать. Ты на комиссию подай.

- Покорнейше благодарю, — Турбин указал на плечо, — а они меня разденут и спросят, кто вам это украшение посадил? Дырki-то свежие. И влипнешь еще хуже. Вот что придется сделать Ты, Никол, снеси за меня эту идиотскую анкету, сообщишь, что я немного нездоров. А там видно будет.

- А они тебя катанут в полк, — сказал Мышлаевский, раз ты здоровым себя покажешь.

Турбин сложил кукиш и показал его туда, где можно было предполагать мифического и безликого Петлюру.

В ту же минуту на нелегальное положение, и буду сидеть, пока этого проходимца не вышибут из Города

— Уберут, — сказал уверенно Карась

- Кто?

— Об этом товарищ Троцкий позаботится, можешь быть уверен, — пояснил мрачный Мышлаевский

* * *

Деньги. Черт возьми, практика лопнула. Позвольте. Звоню Ну-ка, Никол. Открывай.

Первый пациент появился 30 января вечером, часов около шести. Вежливо приподняв шапку Николке, он поднялся с ним вместе по лестнице, в передней снял пальто с козым мехом и попал в гостиную. Обитатели квартиры сошлись в столовой и повели тихую беседу, как всегда бывало, когда Алексей начинал принимать.

Пожалуйста, — сказал Турбин

С кресла поднялся худенький и желтоватый молодой человек в сереньком френче. Глаза его были мутны и сосредоточены. Турбин в белом халате посторонился и пропустил его в кабинет

- Садитесь, пожалуйста. Чем могу служить?

- У меня сифилис, — хриловатым голосом сказал посетитель и посмотрел на Турбина прямо и мрачно

Лечились уже?

Лечился, но плохо и неаккуратно. Лечение мало помогало

- Кто направил вас ко мне?
- Настоятель церкви Николая Доброго отец Александр.
- Как?
- Отец Александр.
- Вы что же, знакомы с ним?
- Я у него исповедался, и беседа святого старика принесла

мне душевное облегчение, — объяснил посетитель, глядя в небо. — Мне не следовало лечиться... Я так полагал. Нужно было бы терпеливо снести испытание, ниспосланное мне Богом за мой страшный грех, но настоятель внушил мне, что это я рассуждаю неправильно. И я подчинился ему.

Турбин внимательнейшим образом впился в зрачки пациенту и первым долгом стал исследовать рефлексы. Но зрачки у владельца козьего меха оказались обыкновенные, только полные одной печальной чернотой.

— Вот что, — сказал Турбин, отбрасывая молоток, — вы человек, по-видимому, религиозный?

— Да, я день и ночь думаю о Боге и молюсь ему. Единственному прибежищу и утешителю...

— Это, конечно, очень хорошо, — осторожно перебил Турбин, не спуская глаз с его глаз, — и я отношусь к этому с уважением; но вот что я вам посоветую: на время лечения вы уж откажитесь от вашей упорной мысли о Боге. Дело в том, что она у вас начинает смахивать на идею фикс. А в вашем состоянии это будет безусловно вредно. Вам нужен воздух, движение и сон.

— По ночам я молюсь.

— Нет, это придется изменить. Часы молитвы придется сократить. Они вас будут утомлять, а вам необходим покой.

Больной покорно опустил глаза.

Он стоял перед Турбиным обнаженным и подчинялся осмотру.

— Кокаин вы не нюхали?

— В числе мерзостей и пороков, которым я предавался, был и этот. Теперь нет.

«Черт его знает... а вдруг жулик... притворяется; надо будет посмотреть, чтобы в передней шубы не пропали».

Турбин нарисовал ручкой молотка на груди у больного большой знак вопроса. Белый знак превратился в красный.

— Вот видите, дермографизм у вас есть. Вы перестаньте увлекаться религиозными вопросами. Вообще поменьше предавайтесь всяким тягостным размышлениям. Одевайтесь. С завтрашнего дня начну вам впрыскивать ртуть, а через неделю первое вливание.

— Хорошо, доктор.

— Кокаин нельзя. Пить нельзя. Женщины тоже...

— Я удалился от женщин и ядов. Удалился и от злых людей, — говорил больной, застегивая рубашку, — злой гений моей жизни, предтеча антихриста, уехал в город дьявола.

— Батюшка, нельзя так, — застонал Турбин, — ведь вы же

в психиатрическую лечебницу попадете. Про какого антихриста вы говорите?

— Я говорю про его предтечу Михаила Семеновича Шполянского, человека с глазами змеи и с черными баками.

— Как вы говорите? С черными баками? А скажите, пожалуйста, где он живет?

— Он уехал в царство антихриста, чтобы подать сигнал и полчища аггелов вести на этот Город в наказание за грехи его обитателей. Как некогда Содом и Гоморра...

— Это вы большевиков аггелами? Согласен. Но все-таки так нельзя... «Баки»... Вот что...

Ammon. bromat

Kal. bromat

Natr. bromat

Вы бром оудете пить. По столовой ложке три раза в день... Какой он из себя... этот ваш предтеча?

— Он черный...

— Молодой?

— Да, он молодой. Но мерзости в нем, как в тысячелетнем диаволе. Жен он склоняет на разврат, юношей на порок, и трубят уже, трубят боевые трубы грешных полчищ, и виден над полями лик сатаны...

— Троцкого?

— Да, это имя его, которое он принял. А настоящее его имя по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион, что значит губитель.

— Ну, батюшка, серьезно вам говорю: если вы не прекратите это, вы смотрите... у вас мания развивается...

— Нет, доктор, я нормален. Вы не думайте. Сколько, доктор, вы берете за ваш святой труд?

— Помилуйте, что у вас на каждом шагу слово «святой»? Ничего особенно святого я в своем труде не вижу. Беру я 400 за первый курс, который продолжается около полутора месяцев. Если будете лечиться у меня, оставьте часть в задаток.

— Очень хорошо.

Френч растегнулся.

— У вас, может быть, денег мало,— пробурчал Турбин, глядя на потертые колени («Нет, он не жулик... нет... но свихнется»),— тогда можете меньше оставить.

— Нет, доктор, зачем же. Вы облегчаете по-своему человечество.

— И иногда очень удачно. Пожалуйста, бром принимайте аккуратно.

— Полное облегчение, уважаемый доктор, мы получим только там.— Больной вдохновенно указал в беленький потолок.— А сейчас ждут нас всех испытания, коих мы еще не видали... И наступят они очень скоро.

— Ну, покорнейше благодарю. Я уже испытал достаточно.

— Нельзя зарекаться, доктор, ох нельзя, — бормотал больной, напяливая козий мех в передней, — ибо сказано: третий ангел вылил чашу в источники вод, и сделалась кровь.

«Где-то я уже слышал это?.. Ах, ну, конечно, со священником всласть натолковался. Вот подошли друг к другу — прелесть».

— Убедительно советую, поменьше читайте Апокалипсис... Повторяю, вам вредно... Честь имею кланяться. Завтра в шесть часов, пожалуйста. Никол, будь добр, выпусти.

* * *

Однажды вечером Шервинский вдохновенно поднял руку и молвил:

— Ну-с? Здорово? И когда стали их поднимать, оказалось, что на папах у них красные звезды...

Открыв рты, Шервинского слушали все, даже Анюта прислонилась к дверям.

— Какие такие звезды? — мрачайшим образом спросил Мышлаевский.

— Маленькие, как кокарды, пятиконечные. На всех папах. А в середине серп и молоточек. Прут, как саранча, так и лезут. Первую дивизию Петлюрину побили к чертям.

— Да откуда это известно? — подозрительно спросил Мышлаевский.

— Очень хорошо известно, если они уже есть раненые в госпиталях в Городе.

— Алеша, — вскричал Николка, — ты знаешь, красные идут! Сейчас, говорят, бои идут под Бобровицами.

Турбин первоначально перекошил злобно лицо и сказал с шипением:

— Так и надо. Так ему, сукину сыну, мрази, и надо. — Потом остановился и тоже рот открыл. — Позвольте... это еще, может быть, так, утки... небольшая банда...

— Утки? — радостно спросил Шервинский. Он развернул «Весть» и маникюрным ногтем отметил:

На Бобровицком направлении наши части доблестным ударом отбросили красных.

— Ну, тогда действительно гроб... Раз такое сообщено, значит, красные Бобровицы взяли.

— Определенно, — подтвердил Мышлаевский.

* * *

Эполеты на черном полотне. Старая кушетка.

— Ну-с, Юленька, — молвил Турбин и вынул из заднего кармана револьвер Мышлаевского, взятый напрокат на один вечер, — скажи, будь добра, в каких ты отношениях с Михаил Семеновичем Шполянским?

Юлия попятилась, наткнулась на стол, абажур звякнул... дзинь... В первый раз лицо Юлии стало неподдельно бледным.

— Алексей... Алексей... что ты делаешь?

— Скажи, Юлия, в каких ты отношениях с Михаил Семеновичем? — повторил Турбин твердо, как человек, решившийся наконец вырвать измучивший его гнилой зуб.

— Что ты хочешь знать? — спросила Юлия, глаза ее шевелились, она руками закрылась от дула.

— Только одно: он твой любовник или нет?

Лицо Юлии Марковны ожило немного. Немного крови вернулось к голове. Глаза ее блеснули странно, как будто вопрос Турбина показался ей легким, совсем нетрудным вопросом, как будто она ждала худшего. Голос ее ожил.

— Ты не имеешь права мучить меня... ты, — заговорила она, — ну хорошо... в последний раз говорю тебе — он моим любовником не был. Не был. Не был.

— Поклянись.

— Клянусь.

Глаза у Юлии Марковны были насквозь светлы, как хрусталь.

Поздно ночью доктор Турбин стоял перед Юлией Марковной на коленях, уткнувшись головой в колени, и бормотал:

— Ты замучила меня. Замучила меня, и этот месяц, что я узнал тебя, я не живу. Я тебя люблю, люблю... — страстно, облизывая губы, он бормотал...

Юлия Марковна наклонялась к нему и гладила его волосы.

— Скажи мне, зачем ты мне отдалась? Ты меня любишь? Любишь? Или же нет?

— Люблю, — ответила Юлия Марковна и посмотрела на задний карман стоящего на коленях.

* * *

Когда в полночь Турбин возвращался домой, был хрустальный мороз. Небо висело твердое, громадное, и звезды на нем были натисканы красные, пятиконечные. Громаднее всех и всех живее — Марс. Но доктор не смотрел на звезды.

Шел и бормотал:

— Не хочу испытаний. Довольно. Только эта комната. Эполеты. Шандал.

В три дня все повернулось наново, и испытание — последнее перед началом новой, неслыханной и невиданной жизни — упало сразу на всех. И вестником его был Лариосик. Это произошло ровно в четыре часа дня, когда в столовой собрались все к обеду. Был даже Карась. Лариосик появился в столовой в виде несколько более парадном, чем обычно (твердые манжеты торчали), и вежливо и глухо попросил:

— Не можете ли вы, Елена Васильевна, уделить мне две минуты времени?

— По секрету? — спросила удивленная Елена, шурша поднялась и ушла в спальню.

Лариосик припелся за ней.

— Придумал Ларион что-то интересненькое, — задумчиво сказал Николка.

Мышлаевский, с каждым днем мрачневший, мрачно оглянулся почему-то (он разбавлял на буфете спирт).

— Что такое? — спросила Елена

Лариосик потянул носом воздух, прищурился на окно поморгал и произнес такую речь:

— Я прошу у вас, Елена Васильевна, руки Анюты. Я люблю эту девушку. А так как она одинока, а вы ей вместо матери, я, как джентльмен, решил довести об этом до вашего сведения и просить вас ходатайствовать за меня.

Рыжая Елена, подняв брови до предела, села в кресло. Произошла большая пауза.

— Ларион, — наконец заговорила Елена, — решительно не знаю, что вам на это и сказать. Во-первых, простите, ведь так недавно еще пережили вашу драму... Вы сами говорили, что это неизгладимо...

Лариосик побагровел.

— Елена Васильевна, я вычеркнул ту дурную женщину из своего <сердца>. И даже карточку ее разорвал. Конечно, Лариосик ладонью горизонтально отрезал кусок воздуха.

— Потом... Да вы серьезно говорите?

Лариосик обиделся.

— Елена Васильевна... Я...

— Ну простите, простите... Ну если серьезно, то вот что. Все-таки, Ларион Ларионыч, вы не забывайте, что вы по происхождению вовсе не пара Анюте...

— Елена Васильевна, от вас с вашим сердцем я никак не ожидал такого возражения.

Елена покраснела, запуталась.

— Я говорю это только вот к чему — возможен ли счастливый брак при таких условиях? Да и притом, может быть, она вас не любит?

— Это другое дело, — твердо вымолвил Лариосик, — тогда, конечно... Тогда... Во всяком случае, я вас прошу передать ей мое предложение.

— Почему вы ей сами не хотите сказать?

Лариосик потупился.

— Я смущаюсь... я застенчив...

— Хорошо, — сказала Елена, вставая, — но только хочу вас предупредить... мне кажется, что она любит кого-то другого...

Лариосик изменился в лице и затопал вслед за Еленой в столовую. На столе уже дымился суп.

— Начинайте без меня, господа, — сказала Елена, — я сейчас...

В комнате за кухней Анюта, сильно изменившаяся за последнее время, похудевшая и похорошевшая какою-то наивной зрелой красотой, попятилась от Елены, взмахнула руками и сказала:

— Да что вы, Елена Васильевна. Да не хочу я его.

— Ну что же...— ответила Елена с облегченным сердцем,— ты не волнуйся, откажи и больше ничего. И живи спокойно. Успеешь еще.

В ответ на это Анюта взмахнула руками и, прислонившись к косяку, вдруг зарыдала.

— Что с тобой? — беспокойно спросила Елена. — Анюточка, что ты? Что ты? Из-за таких пустяков?

— Нет,— ответила, всхлипывая, Анюта,— нет, не пустяки... Я, Елена Васильевна,— она фартуком размазывала по лицу слезы и в фартук сказала,— беременна.

— Что-о? Как? — спросила ошалевшая Елена таким тоном, словно Анюта сообщила ей совершенно невероятную вещь. — Как же ты это? Анюта?

* * *

В спальне под соколом поручик Мышлаевский впервые в жизни нарушил правило, преподанное некогда знаменитым командиром тяжелого мортирного дивизиона, — артиллерийский офицер никогда не должен теряться. Если он теряется, он не годится в артиллерию.

Поручик Мышлаевский растерялся.

— Знаешь, Виктор, ты все-таки свинья,— сказала Елена, качая головой.

— Ну уж и свинья?.. — робко и тускло молвил Мышлаевский и поник головой.

* * *

В сумерки знаменитого этого дня 2 февраля 1919 года, когда обед, скомканный к черту, отошел в полном беспорядке, а Мышлаевский увез Анюту с таинственной запиской Турбина в лечебницу (записка была добыта после страшной ругани с Турбиным в белом кабинетике Еленой), а Николка, сообразивший, в чем дело, утешал убитого Лариосика, в спальне у себя Елена в сумерках у притолоки сказала Шервинскому, который играл свою обычную гамму на кистях ее рук:

— Какие вы все прохвосты...

— Ничего подобного,— ответил шепотом Демон, немало не смущаясь, и, притянув Елену, предварительно воровски оглянувшись, поцеловал ее в губы (в первый раз в жизни, надо сказать правду).

— Больше не появляйтесь в доме,— неубедительно шепнула Елена.

— Я не могу без вас жить,— зашептал Демон, и неизвестно, что бы он еще нашептал, если бы не брызнул в передней звонок.

КОПЫТО ИНЖЕНЕРА

Три отрывка из черновых редакций романа
«Мастер и Маргарита»

* * *

...илат снял кольцо с пальца, положил его на стол и сказал:

— Возьмите на память, Толмай.

И когда уже город заснул, у подножия Иродова дворца, на балконе в теплых сумерках на кушетке спал человек, обнявшись с собакой.

Пальмы стояли черные, а мрамор был голубой от луны.
— Так вот что случилось с Иудой Искарриотом, Иван Николаевич,— закончил неизвестный.

— Угу,— молвил Иванушка.

— Должен вам сказать,— заговорил Владимир Мионович,— что у вас недурные богословские знания. Только непонятно мне, откуда вы всё это взяли.

— Ну так, ведь...— неопределенно ответил инженер, шевельнув бровями.

— И вы любите его, как я вижу,— сказал Владимир Мионович, прищурившись.

— Кого?

— Иисуса.

— Я? — спросил неизвестный и покашлял,— кх... кх,— но ничего не ответил.

— Только, знаете ли, в Евангелиях совершенно иначе изложена вся эта легенда,— все не сводя глаз и все прищурившись, говорил Берлиоз.

Инженер улыбнулся.

— Обижать изволите,— отозвался он.— Смешно даже говорить о Евангелиях, если я вам рассказал. Мне видней.

Опять оба писателя уставились на инженера.

— Так вы бы сами и написали Евангелие,— посоветовал неприязненно Иванушка.

Неизвестный рассмеялся весело и ответил:

— Блестящая мысль! Она мне не приходила в голову. Евангелие от меня, хи-хи...

— Кстати, некоторые главы из вашего Евангелия я бы напечатал в моем «Богоборце»,— сказал Владимир Мионович,— правда, при условии некоторых исправлений.

— Сотрудничать у вас я счел бы счастьем,— вежливо молвил неизвестный,— но ведь вдруг будет другой редактор. Черт знает, кого назначат. Какого-нибудь кретина или несимпатичного какого-нибудь...

— Говорите вы всё какими-то подчеркнутыми загадками,— с некоторой досадой заметил Берлиоз,— впечатление такое, что

вам известно не только глубокое прошлое, но даже и будущее.

— Для того, кто знает хорошо прошлое, будущее узнать не составляет особенного труда,— сообщил инженер.

— А вы знаете?

— До известной степени. Например знаю, кто будет жить в вашей квартире.

— Вот как?

— Пока я в ней буду жить!

«Он русский, русский, он не сумасшедший,— внезапно загнуло в голове у Берлиоза,— не понимаю, почему мне показалось, что он говорит с акцентом? Что такое, в конце концов, что он несет?»

— Солнце в первом доме,— забормотал инженер, козырьком ладони прикрыв глаза и рассматривая Берлиоза, как рекрута в приемной комиссии,— Меркурий во втором, луна ушла из пятого дома, шесть несчастье, вечер семь, влежку фигура. Уй! Какая ерунда выходит, Владимир Миронович!

— А что? — спросил Берлиоз.

— Да...— стыдливо хихикнув, ответил инженер,— оказывается, что вы будете четвертованы.

— Это действительно ерунда,— сказал Берлиоз.

— А что, по-вашему, с вами будет? — запальчиво спросил инженер.

— Я попаду в ад, в огонь,— сказал Берлиоз, улыбаясь и в тон инженеру,— меня сожгут в крематории.

— Пари на фунт шоколаду, что этого не будет,— предложил, смеясь, инженер,— как раз наоборот: вы будете в воде.

— Утону? — спросил Берлиоз.

— Нет,— сказал инженер.

— Ну, дело темное,— сомнительно молвил Берлиоз.

— А я? — сумрачно спросил Иванушка.

На того инженер не поглядел даже и отошел так:

— Сатурн в первом. Земля. Бойтесь фурибунды.

— Что это такое фурибунда?

— А черт их знает,— ответил инженер,— вы уж сами у директора спросите.

— Скажите, пожалуйста,— неожиданно спросил Берлиоз,— значит, по-вашему, криков «распни его!» не было?

Инженер снисходительно усмехнулся:

— Такой вопрос в устах машинистки из ВСНХ был бы уместен, конечно, но в ваших?.. Помилуйте! Желал бы я видеть, как какая-нибудь толпа могла вмешаться в суд, чинимый прокуратором, да еще таким, как Пилат! Поясню, наконец, сравнением. Идет суд в ревтрибунале на Пречистенском бульваре, и вдруг, воображаете, публика начинает завывать: «расстреляй, расстреляй его!». Моментально ее удаляют из зала суда, только и делов. Да и зачем она станет завывать? Решительно ей все равно, повесят ли кого или расстреляют. Толпа — во все времена толпа, чернь, Владимир Миронович!

— Знаете что, господин богослов! — резко вмешался вдруг Иванушка, — вы все-таки полегче, но, но, без хамства! Что это за слово — «чернь»? Толпа состоит из пролетариата, мсье!

Глянув с большим любопытством на Иванушку в момент произнесения слова «хамство», инженер тем не менее в бой не вступил, а с плутовской улыбкой ответил:

— Как когда, как когда...

— Вы можете подождать? — вдруг спросил Иванушка у инженера мрачно, — мне нужно пару слов сказать товарищу?

— Пожалуйста, пожалуйста! — ответил вежливо иностранец, — я не спешу.

Иванушка сказал:

— Володя...

И они отошли в сторонку.

— Вот что, Володенька, — зашептал Иванушка, сделав вид, что прикуривает у Берлиоза, — спрашивай сейчас у него документы...

— Ты думаешь?... — шепнул Берлиоз.

— Говорю тебе! Посмотри на костюм. Это эмигрант-белогвардеец... Говорю тебе, Володька, здесь Гепеу пахнет... Это шпион...

Все, что нашептал Иванушка, по сути дела было глупо. Никаким ГПУ здесь и не пахло и почему, спрашивается, чтобы поболтать со своим случайным встречным на Патриарших по поводу Христа, так уж непременно необходимо требовать у него документы. Тем не менее у Владимира Мироновича моментально сделалась какие-то неприятные глаза и искоса он кинул предательский взгляд, чтобы убедиться, не удрал ли инженер, но серая фигура виднелась на скамейке. Все-таки поведение инженера было в высшей степени сдержанно.

— Ладно, — шепнул Берлиоз, и лицо его постарело.

Приятель вернулись к скамейке, и тут же изумление овладело Владимиром Мироновичем.

Незнакомец стоял у скамейки и держал в протянутой руке визитную карточку.

— Простите мою рассеянность, досточтимый Владимир Миронович. Увлечшись беседованием, совершенно забыл рекомендовать себя вам, — проговорил незнакомец с акцентом.

Владимир Миронович сконфузился и покраснел.

«Или слышал, или уж больно догадлив, черт...» — подумал он.

— Имею честь, — сказал незнакомец и вынул карточку.

Смущенный Берлиоз и Иванушка увидели на карточке слова «D-r Theodor Voland».

«Буржуйская карточка», — успел подумать Иванушка.

— В кармане у меня паспорт, — прибавил доктор Воланд, пряча карточку, — подтверждающий это.

— Вы — немец? — спросил густо-красный Берлиоз.

— Я? Да, немец! Именно немец! — так радостно восклик-

нул тот, как будто впервые от Берлиоза узнал, какой он национальности.

— Вы — инженер? — продолжал опрос Берлиоз.

— Да! Да! Да! — подтвердил Воланд, — я — консультант. Лицо Иванушки приобрело глуповато растерянное выражение.

— Меня вызвал, — объяснял инженер, причем начал выговаривать слова все хуже и хуже, — я все устроил...

— А-а... — очень почтительно и приветливо сказал Берлиоз, — это очень приятно. Вы, вероятно, специалист по металлургии?

— Не-ет, — немец помотал головой, — я по белой магии!

Оба писателя как стояли, так и сели на скамейку, а немец остался стоять.

— Там титановник так все запутал, так запутал, — продолжал говорить немец...

— Как?! — воскликнул Берлиоз.

«На т-тебе», — подумал Иван.

— Виноват... и вас по этой специальности пригласили к нам?!

— Да, да, пригласили, — тут приятели снова услышали, что профессор говорит с резчайшим немецким акцентом, — тут в государственной библиотеке громадный отдел старых книги, магии и демонологии и меня пригласили как специалист, единственный в мире. Они хотят, разбирайт, продавайт...

— А-а! Вы — историк!

— Я — историк, — охотно подтвердил профессор, — я очень люблю разные истории. Смешные. И сегодня будет смешная история на Патриарших¹...

...Он стал приплясывать рядом с Христом, выделявая ногами нелепые коленца и потрясая руками. Псы оживились, загавкали на него тревожно...

— Так бокал налитый... тост заздравный просит... — пел инженер и вдруг²

А вы, почтеннейший Иван Николаевич, — сказал снова инженер, — здорово верите в Христа. — Тон его стал суров, акцент усилился.

— Началась белая магия, — пробормотал Иванушка.

— Необходимо быть последовательным, — отозвался на это консультант. — Будьте добры, — он говорил вкрадчиво, — наступите ногой на этот портрет, — он указал острым пальцем на изображение Христа на песке.

— Просто странно, — сказал бледный Берлиоз.

Да, не желаю я! — взбунтовался Иванушка.

¹ Пропуск в тексте (Ред.).

² Пропуск в тексте (Ред.).

— Бонтесь,— коротко сказал Воланд.

— И не думаю!

— Бонтесь!

Иванушка, теряясь, посмотрел на своего патрона и приятеля.

Тот поддержал Иванушку:

— Помилуйте, доктор! Ни в какого Христа он не верит, но, ведь тоже по-детски нелепо доказывать свое неверие таким способом!

— Ну, тогда вот что! — сурово сказал инженер и сдвинул брови, — позвольте вам заявить, гражданин Бездомный, что вы — врун свинячий! Да, да! Да, нечего на меня зенки тарашить!

Тон инженера был так внезапно нагл, так странен, что у обоих приятелей на время отвалился язык. Иванушка вытаращил глаза. По теории нужно было бы сейчас же дать в ухо собеседнику, но русский человек не только нагловат, но и трусоват.

— Да, да, да, нечего пялить,— продолжал Воланд,— и трепаться, братишка, нечего было,— закричал он сердито, переходя абсолютно непонятным способом с немецкого акцента на акцент черноморский,— трепло ты, братишка. Тоже богоборец, антибожник! Как же ты мужикам будешь проповедовать?! Мужик любит пропаганду резкую — раз, и в два счета, чтобы! Какой ты пропагандист! Интеллигент! У, глаза бы мои не смотрели!

Все что угодно мог вынести Иванушка, за исключением последнего. Ярость заиграла на его лице.

— Я — интеллигент?! — обеими руками он трахнул себя в грудь, — я — интеллигент,— захрипел он с таким видом, словно Воланд обозвал его, по меньшей мере, сукиным сыном. — Так смотри же!! — Иванушка метнулся к изображению.

— Стойте!! — громовым голосом воскликнул консультант, — стойте!

Иванушка застыл на месте.

— После моего Евангелия, после того, что я рассказал об Иешуа, вы, Владимир Миронович, неужели вы не остановите юного безумца?! А вы,— и инженер обратился к небу,— вы слышали, что я честно рассказал?! Да! — и острый палец его вонзился в небо. — Остановите его! Остановите!! Вы — старший!

— Это так глупо все!! — в свою очередь закричал Берлиоз,— что у меня уже в голове мутится! Ни поощрять его, ни останавливать я, конечно, не стану!

И Иванушкин сапог вновь взвился, послышался топот, и Христос разлетелся по ветру серой пылью.

И был час девятый.

— Вот! — вскричал Иванушка злобно.

— Ах! — кокетливо прикрыв глаза ладонью, воскликнул Воланд, а затем, сделавшись необыкновенно деловитым, успокоенно добавил: — Ну, вот, все в порядке, и дочь ночи Мойра допрала свою нить.

— До свиданья, доктор,— сказал Владимир Мионович,— мне пора.— Мысленно в это время он вспомнил телефон РКИ...

— Всего добренького, гражданин Берлиоз,— ответил Воланд и вежливо раскланялся.— Кланяйтесь там! — Он неопределенно помахал рукой.— Да, кстати, Владимир Мионович, ваша матушка почтенная не ошибалась¹...

...«Странно, странно все-таки,— думал Берлиоз,— откуда он это знает... Дикий разговор... Ну, словом, прежде всего, телефон...»

Дико взглянув еще раз на сумасшедшего, Берлиоз стал уходить.

— Может быть, прикажете, я ей телеграммку дам? — вдогонку крикнул инженер,— здесь телеграф на Садовой поблизости. Я бы сбегал? А?!

Владимир Мионович на ходу оглянулся и крикнул Иванушке:

— Иван! На заседание не опаздывай! В девять с половиной ровно!

— Ладно, я еще домой забегу,— откликнулся Иванушка.

— Послушайте! Эй! — прокричал, сложив руки рупором, Воланд,— я забыл вам сказать, что есть еще шестое доказательство, и оно сейчас будет вам предъявлено!..

Но Берлиоз не слушал...

На Патриарших же огненный закат уже сладостно распускал свои паруса с золотыми крыльями и вороны купались в нем над липами перед сном. Пруд стал загадочен, в тенях. Псы во главе с Бимкой вереницей вдруг снялись и побежали не спеша следом за Владимиром Мионовичем. Бимка неожиданно обогнал Берлиоза, заскочил впереди него и, отступив задом, пролаял несколько раз. Видно было, как Владимир Мионович замахнулся на него угрожающе, как Бимка брызнул в сторону, хвост зажал между ногами и провыл скорбно.

— Даже богам невозможно милого им человека избавить! — разразился вдруг какими-то стихами сумасшедший, приняв торжественную позу и руки воздев к небу.

— Ну, мне надо торопиться,— сказал Иванушка,— а то я на заседание опоздаю.

— Не торопитесь, милейший,— внезапно, резко и окончательно меняясь, могучим голосом молвил инженер,— клянусь подолом старой сводни, заседание не состоится, а вечер чудесный. Из помоек тянет тухлым — чувствуете жизненную вонь гнилой капусты? Горожане жарят бигос... Посидите со мной...

И он сделал попытку обнять Иванушку за талию.

— Да, ну вас, ей-богу! — нетерпеливо отозвался Иванушка и даже локоть выставил, спасаясь от назойливой ласки инженера. Он быстро двинулся и пошел.

¹.Пропуск в тексте (Ред.).

Долгий нарастающий звук *возняк* в воздухе, и тотчас из-за угла дома с Садовой на Бронную вылетел вагон трамвая. Он летел и качался, как пьяный, вертел задом и приседал, стекла в нем дребезжали, а над дугой хлестали зеленые молнии.

У турникета, выводящего на Бронную, внезапно осветилась тревожным светом таблица и на ней выскочили слова «Берегись трамвая!!»

— Вздор! — сказал Воланд, — ненужное приспособление, Иван Николаевич, случая еще не было, чтобы уберечься от трамвая тот, кому под трамвай необходимо попасть!¹..

Трамвай проехал по Бронной. На задней площадке стоял Пилат, в плаще и сандалиях, и держал в руках портфель.

«Симпатия этот Пилат», — подумал Иванушка, — «псевдоним — Варлаам Собакин»...

Иванушка заломил картузик на затылок, выпустил <рубаху>, как сапожками топнул, двинул мехи баяна. Вдохнул семисотрублевый баян и грянул:

Как поехал наш Пилат
На работу в Наркомат!
Ты-гар-га, маты-гарга!

— Тр-р-р!.. — отозвался свисток. Суровый голос послышался:

— Гражданин! Петь под пальмами не полагается. Не для того сажали их.

— В самом деле. Не видал я пальм, что ли, — сказал Иванушка, — да ну их к лысому бесу. Мне бы у Василия Блаженного на паперти сидеть...

И точно учинился Иванушка на паперти. И сидел Иванушка, погромыхивая веригами, а из храма выходил страшный грешный человек — исполу царь, исполу монах. В трясущейся руке держал посох, острым концом его раздирая плиты. Били колокола. Таяло.

— Скудные дела твои, царь, — сурово сказал ему Иванушка, — лют и бесчеловечен, пьешь губительные обещанные дьяволом чаши, вселукавый монах. Ну, а дай мне денежку, царь Иванушка, помолюся уж за тебя.

Отвечал ему царь, заплакавши:

— Почто пужаешь царя, Иванушка. На тебе денежку, Иванушка-верижник, божий человек, помолись за меня!

И звякнули медяки в деревянной чашке.

Завертелось все в голове у Иванушки и ушел под землю Василий Блаженный. Очнулся Иванушка на траве в сумерках на Патриарших прудах, и пропали пальмы, на месте их беспокойные МКХ уже липы посадили.

¹ Пропуск в тексте (Ред.).

— Ай! — жалобно сказал Иванушка, — я, кажется, с ума сошел! Ой, конец...

Он заплакал, потом вдруг вскочил на ноги.

— Где он? — дико вскричал Иванушка, — держите его, люди! Злодей! Злодей! Куси, куси, куси, Банга, Банга!

Но Банга исчез.

На углу Ермолаевского неожиданно вспыхнул фонарь и залил улицу, и в свете его Иванушка увидел уходящего Воланда.

— Стой! — прокричал Иванушка и одним взмахом перебросился через ограду и кинулся догонять.

Весьма отчетливо он видел, как Воланд повернулся и показал ему фигу. Иванушка надал и внезапно очутился у Мясницких ворот, у почтамта. Золотые огненные часы показали Иванушке половину десятого. Лицо Воланда в ту же секунду высунулось в окне. Завыв, Иванушка бросился в двери, завертелся в зеркальной вертушке и через нее выбежал в Савельевский переулок, что на Остоженке, и в нем увидел Воланда, тот, раскланявшись с какой-то дамой, вошел в подъезд. Иванушка за ним, двинул в дверь, вошел в вестибюль. Швейцар вышел из-под лестницы и сказал:

— Зря приехали, граф. Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. С вашей милости на чаек... Каждую среду будут ходить.

И фуражку снял с галуном.

— Застрелю! — завыв Иванушка, — с дороги, арамей!

Он влетел во второй этаж и рассыпным звоном наполнил всю квартиру. Дверь тотчас же открыл самостоятельный ребенок лет пяти. Иванушка вбежал в переднюю, увидел в ней бобровую шапку на вешалке, подивился — зачем летом бобровая шапка, ринулся в коридор к двери в ванную, дернул ее — заперто, дернул посильнее, и крюк в ванной на двери оборвал. Он увидел в ванне совершенно голую даму с золотым крестом на груди и с мочалкой в руке. Дама так удивилась, что не закричала даже, а сказала:

— Оставьте это, Петрусь, мы не одни в квартире, и Павел Дмитриевич сейчас вернется.

— Каналья, каналья, — ответил ей Иванушка и выбежал из ванной на Каланчевскую площадь. Далеко впереди он снова увидел Воланда. Тот нырнул в подъезд оригинального дома.

«Так его не поймаешь», — соображал Иванушка, нахватав из кучи камней и стал садить ими в подъезд. Через минуту он трепетно забился в руках дворника сатанинского вида.

— Ах, ты, буржуазное рыло, — сказал дворник, давя Иванушкины ребра, — здесь кооперация, пролетарские дома. Окна зеркальные, медные ручки, штучный паркет, — и начал бить Иванушку, не спеша и сладко.

— Бей, бей! — кричал Иванушка, — бей, но помни! Не по

буржуазному рылу лупишь, по пролетарскому. Я ловлю ниже-
нера, в ГПУ его доставлю.

При слове «ГПУ» дворник выпустил Иванушку, на коленях
стал и сказал:

Прости, ради Христа, распятого же при Понтийском Пи-
лате. Запутались мы на Каланчевской, кого не надо лупим..

Надрав из его бороды волосьев, Иванушка скакинул и вы-
скочил на набережной храма Христа Спасителя. Приятная вонь
поднималась с Москвы-реки вместе с туманом. Иванушка уви-
дел несколько человек мужчин. Они снимали с себя штаны,
сидя на камушках. За компанию снял и Иванушка башмаки,
носки, рубаху и штаны. Снявши, посидел и заплакал, а мимо
него в это время бросались в воду люди и плавали, от удоволь-
ствия фыркая. Наплакавшись, Иванушка поднялся и увидел,
что нет его носков, башмаков, штанов и рубахи.

«Украл, — подумал Иванушка, — и быстро, и незаметно»..

Над храмом в это время зажглась звезда, и побрел Ива-
нушка в одном белье по набережной, и запел громко:

В моем саду растет малина..

А я влюбился в суккиного сына!

В Москве в это время во всех переулках играли балалайки
и гармоники, изредка свистали в свистки. Окиа были раскрыты,
и в них горели оранжевые абажуры...

Готов, — сказал чей-то бас...

* * *

Писательский ресторан, помещавшийся в городе Москве на
бульваре, как раз наспротив памятника знаменитому поэту
Александру Ивановичу Житомирскому, отравившемуся в 1933-м
году осетриной, носил дикое название «Шалаш Грибоедова».

«Шалашом» его почему-то прозвал известный всей Москве
необузданный лгун Козобьев, театральный рецензент, в день от-
крытия ресторана напившийся в нем до положения риз.

Всегда у нас так бывает, что глупое слово точно прилипает
к человеку или вещи, как ярлык. Черт знает, почему «шалаш»?!
Возможно, что сыграли здесь роль давившие алкоголические
полшария проклятого Козобьева низкие сводчатые потолки
ресторана. Неизвестно. Известно только, что вся Москва стала
называть этот ресторан — «Шалашом».

А не будь Козобьева, дом, в котором помещался ресторан, носил
бы свое официальное и законное название «Дом Грибоедова»,
вследствие того, что если, опять-таки, не лжет Козобьев, дом
этот не то принадлежал тетке Грибоедова, не то в нем прожи-
вала племянница знаменитого драматурга. Впрочем, кажется
никакой тетки у Грибоедова не было, ровно также как и племян-
ницы. Но это и не суть важно.

Народный комиссариат просвещения, терзаемый вопросом:

об устройстве дел и жизни советских писателей, количество коих к 30-м годам поднялось до угрожающей цифры 4500 человек (из них 4494 проживали в городе Москве, а 6 человек в Ленинграде)¹...

— Дант?! Да что же это такое, товарищи дорогие?! Кто? Дант! Ка-кая Дант! Товарищи! Безобразие! Мы не допустим!

Взревело так страшно, что председатель изменился в лице. Жалобно тенькнул колокольчик, но ничего не помог.

В проход к эстраде прорвалась женщина. Волосы ее стояли дыбом, изо рта торчали золотые зубы. Она то заламывала костлявые руки, то била себя в изможденную грудь. Она была страшна и прекрасна. Она была та самая женщина, после появления которой и первых иступленных воплей, толпа бросается на дворцы и сжигает их, сшибает трамвайные вагоны, раздирает мостовую... убивает.

Председатель, впрочем, был человек образованный и понял, что случилась беда.

— Я! — закричала женщина, страшно раздирая рот. — Я — Караулина, детская писательница! Я! Я! Я! Мать троих детей! Мать! Я! Написала, — пена хлынула у нее изо рта, — тридцать детских пьес! Я! Написала пять колхозных романов! Я шестнадцать лет, не покладая рук... Окна выходят в сортир, товарищи, и сумасшедший с топором гоняется за мной по квартире! И я! И я! Я! Не попала в список! Товарищи!

Председатель даже не звонил. Он стоял, а правление лежало, откинувшись на спинки стула.

— Я! И кто же? Кто? Дант! Учившаяся на зубоврачебных курсах, Дант, танцующая фокстрот, попадает в список одной из первых! Товарищи! — закричала она тоскливо и глухо, возведя глаза к потолку, обращаясь, очевидно, к тем, кто уже покинул волчий мир скорби и забот. — Где же справедливость?!

И тут такое случилось, чего не бывало ни на одном собрании никогда. Товарищ Караулина, детская писательница, закусив кисть правой руки, на коей сверкало обручальное кольцо, завалилась на бок и покатилась по полу в проходе, как бревно, сброшенное с платформы.

Зал замер, но затем чей-то голос грозно рявкнул:

— Вон из списка!

— Вон! Вон! — загремел зал так страшно, что у председателя застыла в жилах кровь.

— Вон! В Гепеу этот список! — взмыл тенор.

— В Эркаи!

Караулину подняли и бросили на стул, где она стала трястись и всхрипывать. Кто-то полез на эстраду, причем все правление шарахнулось, но выяснилось, что он лез не драться, а за графином. И он же облил Караулиной кофточку, пытаясь ее напоить.

¹ Пропуск в тексте (Ред.)

— Стоп, товарищи! — прокричал кто-то властно, и бушующая масса стихла. — Организованно, — продолжал голос.

Голос принадлежал плечистому парню, вставшему в среднем ряду. Лицо выдавало в нем заводилу, типичного бузотера, муристого парня. Кроме того, на лице этом было написано, что в списке этого лица нет.

— Товарищ председатель, — играя змеинными переливами, заговорил бузотер, — не откажите информировать собрание: к какой писательской организации принадлежит Беатриче Григорьевна Дант? Р-раз. Какие произведения написала упомянутая Дант? Два. Где означенные произведения напечатаны? Три. И каким образом она попала в список?

«Говорил я Перштейну, что этому сукиному сыну надо дать комнату», — тоскливо подумал председатель.

Вслух же он спросил бодро:

— Всё? — и неизвестно зачем позвонил в колокольчик. — Товарищ Беатриче Григорьевна Дант, — продолжал он, — долгое время работала в качестве машинистки и помощника секретаря в кабинете имени Грибоедова.

Зал ответил на это сатанинским хохотом.

— Товарищи! — продолжал председатель. — Будьте же сознательны! — он завел угасающие глаза на членов правления и убедился, что они его предали.

— Покажите, кто хоть этот Дант! — рявкнул некто. — Дайте полюбоваться!

— Вот она, — глухо сказал председатель и ткнул пальцем в воздух.

И тут многие встали и увидели в первом ряду необыкновенной красоты женщину. Змеинные косы были уложены корзинкой на царственной голове. Профиль у нее был античный, как и фас. Цвет кожи был смертельно бледный. Глаза были открыты как черные цветы. Платье — кисейно-желтое. Руки ее дрожали.

— Товарищ Дант, товарищи, — говорил председатель, — входит в одно из прямых колен известного писателя Данте, — и тут же подумал: «Господи, что же это я отмочил такое?!»

Вой, грохот потряс зал. Что-нибудь разобрать было трудно, кроме того, что Данте не Григорий, какие-то мерзости про колено и один вопль:

— Издевательство!

И крик:

— В Италию!!

— Товарищи! — закричал председатель, когда волна откатилась. — Товарищ Дант работает над биографией мадам Севинье!

— Вон!

— Товарищи! — кричал председатель безумно. — Будьте благоразумны! Она — беременна!

И почувствовал, что и сам утонул, и Беатриче утопил.

Но тут произошло облегчение. Аргумент был так нелеп, так

странен, что на несколько времени зал закоченел с открытыми ртами. Но только на мгновения.

А затем — вой звериный:

— В родильный дом!

Тогда председатель понял, что не миновать открыть козырную карту.

— Товарищи! — вскричал он. — Товарищ Дант получила солидную авторитетную рекомендацию.

— Вот, как! — прокричал кто-то...

* * *

...Нужно сказать, что в то время как буфетчик переживал свое приключение, у здания «Варьете» стояла, все время меняясь в составе, толпа. Началось с маленькой очереди, стоявшей у двери «Ход в кассу» с восьмью часов утра, когда только-только устанавливались очереди за яйцами, керосином и молоком. Примечательно появление в очереди мясистых рож барышников, обычно дежуривших под милыми колоннами Большого театра или у среднего подъезда Художественного в Камергерском. Ныне они перекочевали и появление их было весьма знаменательно. И точно: в «Варьете» было 2100 мест. К одиннадцати часам была продана половина. Тут Суковский и Нютон опомнились и кинулись куда-то оба. Через подставных лиц они купили билеты и к полудню, войдя в контакт с барышниками, заработали: Суковский 125 рублей, а Нютон — 90. К полудню стало страшно у кассы. В двенадцать часов с четвертью на кассе поставлена заветная доска «Все билеты проданы на сегодня», и барышники, и просто граждане стали покупать на завтра и на послезавтра. Суковский и Нютон приняли горячее участие в операциях, причем не только никто не знал об этом, но и они друг о друге не знали.

В два часа барышники перестали шептаться: «есть на сегодня два в партере», и лица их сделались загадочными. Действительно, публика у «Варьете» стала волноваться, к барышникам подходили, спрашивали: «нет ли?», и они стали отвечать сквозь зубы: «есть, кресло в шестом ряду — 50 рублей». Сперва от них испуганно отпрыгивали, а с трех часов дня стали брать.

В контору посыпались телефонные звонки, стали раздаваться солидные голоса, которым никак нельзя было отказать.

Все двадцать пять казенных мест Нютон расписал в полчаса, а затем пришлось разметить и приставные стулья для гостей, которые попроще. Все более к вечеру выяснялось, что в «Варьете» будет что-то особенное. Особенного, впрочем, не мало было уже и днем за кулисами.

Во-первых, весь состав служащих отравил жизнь Осипу Григорьевичу, расспрашивая, что он пережил, осматривали шею Осипа, но шея оказалась, как шея, — безо всякой отметины... Осип Григорьевич сперва злился, потом смеялся, потом врал

что-то о каком-то тумане и обмороке, потом врал, что голова у него осталась на плечах, а просто Воланд его загипнотизировал и публику, потом удрал домой. Рибби уверял всех, что это действительно гипноз и что такие вещи он уже 20 раз видел в Берлине. На вопрос, а как же собака объявила: «сеанс окончен»? — и тут не сдался, а объяснил собачий поступок чревоуещанием. Правда, Нютон сильно прижал Рибби к стенке, и тот заверил клятвенно, что ни в какие сделки с Воландом он не входил, а, между тем, две колоды отнюдь не потусторонние, а самые реальнейшие были тут налицо. Рибби, наконец, объяснил их появление тем, что Воланд подсунул их заранее.

— Мудрено!

— Значит, фокус?!

Пожарный был прост и не врал. Сказал, что когда голова его отлетела, он видел со стороны свое безголовое тело и смертельно испугался. Воланд, по его мнению, колдун.

Все признали, что колдун, не колдун, а действительно артист первоклассный.

Затем вышла «Вечерняя Газета» и в ней громовое сообщение о том, что Аполлона Павловича выбросили с должности в два счета. Следовало это сообщение непосредственно за извещением, исходящим от компетентного органа, укорявшего Аполлона Павловича в неких неэтических поступках. Каких именно — сказано не было, но по Москве зашептались, захихикали обыватели: «зонтики... шу-шу, шу-шу...».

Вслед за «Вечерней Газетой» на головы Библейского и Ньютона обрушилась «молния». «Молния» содержала в себе следующее:

«Моснов уверовал. Освобожден. Но под Ростовом снежный занос. Может задержать сутки. Немедленно отправляйтесь Исканитуч. Наведите справки Воланде, ему вида не подавая. Возможен преступник. Педулаев».

— Снежный занос в Ростове, в июне месяце, — тихо и серьезно сказал Нютон, — он белую горячку получил во Владикавказе. Что ты скажешь, Библейский?

Но Библейский ничего не сказал. Лицо его приняло серьезный старческий вид. Он тихо поманил Ньютона, и из грохота и шума кулис и конторы увел в маленькую реквизитную. Там, среди масок с распухшими носами, две головы склонились.

— Вот что, — шепотом заговорил Библейский, — ты, Нютон, знаешь, в чем дело...

— Нет, — шепнул Нютон.

— Мы с тобой дураки.

— Гм...

— Во-первых: он действительно во Владикавказе?

— Да, — твердо отозвался Нютон.

— И я говорю — да, он во Владикавказе.

Пауза.

— Ну, а ты понимаешь, — зашептал Робинский, — что это значит?

Благовест смотрел испуганно.

— Это. Значит. Что. Его отправил Воланд.

— Не мож...

— Молчи.

Благовест замолчал.

— Мы вообще поступаем глупо,— продолжал Робинский,— вместо того, чтобы сразу выяснить это и сделать из этого оргвыводы...

Он замолчал.

— Но ведь заноса нет...

Робинский посмотрел серьезно, тяжело и сказал:

— Занос есть. Все правда.

Благовест вздрогнул.

— Покажи-ка мне еще раз колоды,— приказал Робинский.

Благовест торопливо расстегнулся, нашарил в кармане что-то, выпучил глаза и вытащил два блина. Желтое масло потекло у него меж пальцев.

Благовест дрожал, а Робинский только побледнел, он остался спокоен.

— Пропал пиджак,— машинально сказал Благовест.

Он открыл дверцу печки и положил в нее блины, дверцу закрыл. За дверцей слышно было, как сильно и тревожно замыкал котенок. Благовест тоскливо оглянулся. Маски с носами, усеянными крупными, как горох, бородавками глядели со стены. Котенок мяукнул раздражающе.

— Выпустить? — дрожа спросил Благовест...

Он открыл заслонку, и маленький симпатичный щенок вылез весь в саже и скуля.

Оба приятеля молча проводили взорами зверя и стали в упор разглядывать друг друга.

— Это... гипноз...— собравшись с духом, вымолвил Благовест.

— Нет,— ответил Робинский.

Он вздрогнул.

— Так что же это такое? — визгливо спросил Благовест.

Робинский не ответил на это ничего и вышел.

— Постой, постой! Куда же ты? — вслед ему закричал Благовест и услышал:

— Я еду в Исналитуч.

Воровски оглянувшись, Благовест выскочил из реквизиторской и побежал к телефону. Он вызвал номер квартиры Берлиоза и с бьющимся сердцем стал ждать голоса. Сперва ему почудился в трубке свист, пустой и далекий, разбойничий свист в поле. Затем ветер, и из трубки повеяло холодом. Затем дальний, необыкновенно густой и сильный бас запел далеко и мрачно: «...черные скалы, вот мой покой... черные скалы...» Как будто шакал захохотал. И опять: «черные скалы... вот мой покой...»

Благовест повесил трубку. Через минуту его уже не было в здании «Варьете».

Робинский солгал, что он едет в Исналитуч. То есть поехать-то туда он поехал, но не сразу. Выйдя на Триумфальную, он нанял таксомотор и отправился совсем не туда, где помещался Исналитуч, а приехал в громадный солнечный двор, любовавшись на стаю кур, клевавших что-то в выгоревшей траве, и явился в беленькое низенькое здание. Там он увидел два окошечка, а возле правого небольшую очередь. В очереди стояли две печальных дамы в черном трауре, обливаясь время от времени слезами, и четверо смуглейших людей в черных шапочках. Все они держали в руках кипы каких-то документов. Робинский подошел к столику, купил за какую-то мелочь анкетный лист и все графы заполнил быстро и аккуратно. Затем спрятал листы в портфель и мимо очереди, прежде чем она успела ахнуть, влез в дверь. «Какая нагл...» — только и успела шепнуть дама.

Сидевший в комнате, напоминавшей келью, хотел было принять Робинского неласково, но взгляделся в него и выразил на своем лице улыбку. Оказалось, что сидевший учился в одном городе и в одной гимназии с Робинским. Порхнули одно или два воспоминания золотого детства. Затем Робинский изложил свою доку — ему нужно ехать в Берлин. И весьма срочно. Причина — заболел нежно любимый и престарелый дядя. Робинский хочет поспеть на Курфюрстендамм закрыть дяде глаза. Сидящий за столом почесал затылок. Очень трудно выдают разрешения. Робинский прижал портфель к груди. Его могут не выпустить? Его? Робинского? Лояльнейшего и преданнейшего человека? Человека, сгорающего на советской работе? Нет! Он просто-напросто желал бы повидать лицо того, у кого хватит духу Робинскому отказать...

Сидевший за столом был тронут. Заявив, что он вполне сочувствует Робинскому, присовокупил, что он есть лишь лицо исполнительное. Две фотографические карточки? Вот они, пожалуйста. Справку из домкома? Вот она. Удостоверение от фининспектора? Пожалуйста.

— Друг, — нежно шепнул Робинский, склоняясь к сидевшему, — ответик мне завтра...

Друг выпучил глаза.

— Однако!.. — сказал он и улыбнулся растерянню и восхищению, — раньше недели случая не было...

— Дружок, — шепнул Робинский, — я понимаю. Для какого-нибудь подозрительного человека, о котором нужно справки собирать. Но для меня?..

Через минуту Робинский, сердитый и деловой, вышел из комнаты. В самом конце очереди, за человеком в красной феске, с кипой бумаг в руках стоял... Благовест.

Молчание длилось секунд десять.

СОДЕРЖАНИЕ

О творческом пути Михаила Булгакова. Б. Соколов	3
---	---

ПОВЕСТИ

ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ	16
ТАЙНОМУ ДРУГУ	46
ДЬЯВОЛНАДА	68
РОКОВЫЕ ЯЙЦА	96
СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ	152

РАССКАЗЫ

ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА	225
ПОЛОТЕНЦЕ С ПЕТУХОМ	225
СТАЛЬНОЕ ГОРЛО	234
КРЕЩЕНИЕ ПОВОРОТОМ	240
ВЬЮГА	247
ТЬМА ЕГИПЕТСКАЯ	256
ПРОПАВШИЙ ГЛАЗ	263
МОРФИЯ	273
ПСАЛОМ	297
ХАНСКИЙ ОГОНЬ	300
КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ	314
Я УБИЛ	321
В НОЧЬ НА ТРЕТЬЕ ЧИСЛО	330
НАЛЕТ	340
КРАСНАЯ КОРОНА	345
НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА	349
БОТЕМА	358
ВОСПОМИНАНИЕ	364
ТРАКТАТ О ЖИЛИЩЕ	368
№ 13. — ДОМ ЭЛЬПИТ-РАБКОММУНА	373
САМОГОННОЕ ОЗЕРО	380
ЧЕТЫРЕ ПОРТРЕТА	384
ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА	390
НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ	399
СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС	403
ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ	409
ВОСПАЛЕНИЕ МОЗГОВ	414
ЗОЛОТЫЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ФЕРАПОНТА ФЕРАПОНТОВИЧА КАПОР-	
ЦЕВА	418
ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ	424
ПАРШИВЫЙ ТИП	425
«ВОДА ЖИЗНИ»	428
САМОЦВЕТНЫЙ БЫТ	431
ПЛОЩАДЬ НА КОЛЕСАХ	432
БУБНОВАЯ ИСТОРИЯ	434
ЕГИПЕТСКАЯ МУМИЯ	438
БЫЛ МАЯ	440

ФЕЛЬЕТОНЫ, ОЧЕРКИ

ТОРГОВЫЙ РЕНЕССАНС	444
РАБОЧИЙ ГОРОД-САД	446
МОСКВА КРАСНОКАМЕННАЯ	448
СТОЛИЦА В БЛОКНОТЕ	451
ЧАША ЖИЗНИ	464
В ШКОЛЕ ГОРОДКА III ИНТЕРНАЦИОНАЛА	467
ПЕРВАЯ ДЕТСКАЯ КОММУНА	471
СОРОК СОРОКОВ	475
БЕНЕФИС ЛОРДА КЕРЗОНА	480
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ	483
КОМАРОВСКОЕ ДЕЛО	485
КИЕВ-ГОРОД	490
ШАНСОН Д'ЭТЭ	498
ЗОЛОТИСТЫЙ ГОРОД	502
ЧАСЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ	515
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ	517
ИГРА ПРИРОДЫ	519
ПО ТЕЛЕФОНУ	522
ТРИ ВИДА СВИНСТВА	524
СЧАСТЛИВИК	526
ТОРГОВЫЙ ДОМ НА КОЛЕСАХ	528
МАДМАЗЕЛЬ ЖАННА	530
ЗАЛОГ ЛЮБВИ	532
ТАЙНА НЕСГОРАЕМОГО ШКАФА	534
ЛЕСТНИЦА В РАЙ	539
БИБЛИФЕТЧИК	540
НОВЫЙ СПОСОБ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КНИГИ	541
БАГРОВЫЙ ОСТРОВ	543
ГЛАВ-ПОЛИТ-БОГОСЛУЖЕНИЕ	556
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО КРЫМУ	558
ШПРЕХЕН ЗИ ДЕЙТЧ?	571

ПРИЛОЖЕНИЕ (Из ранних редакций)

ГЛАВА ИЗ РОМАНА «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»	573
КОПЫТО ИНЖЕНЕРА	592

Литературно-художественное издание

Михаил Афанасьевич Булгаков

ДЬЯВОЛИАДА

Повести, рассказы,
фельетоны, очерки

Составитель Ирина Александровна Корявская

Предисловие Бориса Вадимовича Соколова

Художник Аурел Иванович Олоденко

Редактор Н. Сундеев. Художественный редактор А. Салтыченко.
Технический редактор О. Циплякова. Корректор А. Сосновская.

ИБ № 3840

Подписано к печати с ФПФ 24.05.89. Формат 60×90¹/₁₆.
Бумага кн.-журн. Гарнитура «Литературная». Печать высокая с ФПФ.
Усл. печ. л. 38,0. Уч.-изд. л. 41,92. Усл. кр.-отт. 38,0.
Тираж 400 000 (3-ий з-д 200 001—300 000). Зак. 930. Цена 5 руб.

Издательство «Литература артистиков»
277004, Кишинев, пр. Ленина, 180.

Центральная типография, 277068, Кишинев, ул. Флорилор, 1.
Государственный комитет Молдавской ССР по делам
издательства, полиграфии и книжной торговли.



